ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения *№ 4 | 2012*

Деревня Балай | 100 × 150 | 2008 | холст, масло

Осенний букет | 76 × 76 | 2009 | холст, масло

Творчество красноярского художника *Ивана Данилова* хорошо известно как в России, так и за рубежом. Член Союза художников России и Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО, он провёл ряд персональных и групповых выставок в Москве (Центральный Дом художника), Германии, Ливане, Китае, Австралии, Японии, Южной Корее и США. Его работы находятся в музеях и частных коллекциях во многих странах мира. В 2000 г. имя И. С. Данилова было внесено во «Всемирную энциклопедию художников» («Allgemeines Künstlerlexikon»). В 2006 г. в Китае (г. Харбин), в Музее русского искусства, открыт его персональный зал с постоянно действующей экспозицией.

ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения №4 | 2012

В номере

ДиН встречи
Марина Саввиных
3 Мосты над облаками

ДиН мемуары
Владимир Алейников
13 Вокруг самиздата
Иван Китаев
46 Страницы жизни

ДиН стихи
Владимир Коркунов
45 Сезон дождей
Александр Кердан
123 Двойной портрет в окне вагона
Георгий Яропольский
125 Сомкнутые дни
Вера Зубарева
128 Мысль на пробужденье
Игорь Панин
158 От любви до ненависти и обратно
Алла Ходос
200 Между вымыслом и жизнью
Владимир Штокман
201 Черепашка по имени Никогда
Андрей Насонов
203 Ночной пейзаж
Михаил Дынкин
205 Ступень и крест

ДиН ревю
Лейбгор
54 Венецианец
Сергей Кузнечихин
161 С точностью до шага
Олег Корабельников
174 Избранные произведения в двух томах
Владимир Шанин
202 Енисейская летопись

ДиН память
Михаил Воронецкий
55 Нерасторжимость

ДиН диалог
Юрий Беликов, Елена Чудинова
58 Стражница Христова континента

ДиН фантастика
Владимир Балашов
64 Безбилетник

ДиН роман
Елена Крюкова
129 Русский Париж

Страницы Международного сообщества писательских союзов
Марех Кезуа
159 На планете Марих
Абзагу Колбая
162 Шрам от слезы

Валерий Иванов
165 Марсианское счастье

ДиН ПЕРЕВОД

Ли Чон Хи
169 В ожидании машины времени

БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА

Юрий Гладышев
172 Собака Сталина

Вадим Наговицын
175 Ганин луг

Ольга Гуцол
182 Торт морковный

Илья Оганджанов
207 Встреча

Элина Астраханцева
210 Синий шар

Наталия Гарбер
212 Эммочка

КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ

Игорь Белов
195 Вызывающе другой

Анна Гедымин
197 Осветить лицо улыбкой…

ДиН ДЕБЮТ

Артём Кривулько
198 Туфли, чувствующие боль

ДиН ПУБЛИЦИСТИКА

Владимир Шанин
216 Заблудившийся во времени

ДиН ЭССЕ

Алексей Шепелёв
225 Протопоп Аввакум: сквозь воду, огонь и медные трубы

ДиН АРТЕФАКТ

Ирлан Хугаев
234 Предание о Хуга

ДиН ДЕТЯМ

Марина Золотаревская
237 Доктор Бартек и его учительница

247 ДиН АВТОРЫ

Марина Саввиных

Мосты над облаками

1.

Семнадцатое мая. Москва. Ощущение прыжка из полярной зоны в субтропики. У трапа самолёта в красноярском аэропорту Емельяново хотелось подышать на пальцы: в шесть часов утра термометр за окошком показывал минус два по Цельсию. Через четыре часа полёта Домодедово встретило плюс двадцатью. Свежая нежная зелень—после всё ещё коричневато-розоватых сибирских берёзок—ощутимо поднимает настроение. Благодать!

В городе, однако, чувство благодати постепенно притупляется. Москва—такая близкая, доступная и будто бы уже дружески приветливая—тем не менее, смотрит букой: снова вся в строительных лесах, кое-где сдвинуты и перевёрнуты решётки металлических ограждений. Как будто недавние большие страсти ещё витают в воздухе… или что-то подобное ожидается вскоре. Время—к полудню. В метро тесно и тревожно. На улицах непривычно просторно…

Мне в Москве—только переночевать. Выхожу из-под земли на проспекте Мира и направляю стопы к Наташе Слюсаревой. Наташина квартира—обитель Художника. Если, конечно, понимать «художество» широко. Картины, иконы, статуэтки, изящная мелкая пластика, посуда, даже цветы на балконе… Артистическое ателье, да и только! А сама хозяйка—гармоническая живая ось этого дома. Вне возраста. Вне времени. И даже, кажется, вне общего всем остальным существам пространственно-временного континуума. Она сама себе—континуум. Вот именно—Дама.

Совсем недавно у Наташи вышли две книги. Одна—большая, серьёзная. Другая—маленькая, ироническая, сказочная, мистически многозначная. «Прогулки короля Гало». Её сюжет, герои, образы навеяны картинами Виктора Кротова, адепта романтического сюрреализма; Наташа написала о нём маленькое виртуозное эссе «Розовая звезда». Я читала прежде и с параллельным миром Кротова была знакома. Но эта книжка меня проглотила заживо! Едва зацепив глазами её первые строчки, я выпала из реальности, пока не оказалось, что книжка уже—вся. Точка. Правда, хочется уже пристать ко мне с вопросом, где её можно прочесть? Даю ссылочку: вот здесь, друзья мои, http://magazines.russ.ru/kreschatik/2009/4/sl25.html и здесь http://magazines.russ.ru/kreschatik/2010/1/s018.html. С экрана. Общение с книжкой, конечно же, совсем другое дело. Но каким образом доставить в руки жаждущего читателя не виртуальное, а натуральное существо в обложке, я, увы, пока не знаю. Впрочем, ищущий да обрящет!

С Наталией Слюсаревой «День и ночь» сотрудничает с 2010 года. Она блестящий эссеист, знаток культуры—русской и европейской, особенно—итальянской (свободно владеет итальянским языком). Но дело даже не в эрудиции, не в знании как таковом. Есть люди, само бытие которых—вроде знамения большого стиля. Наташа—как раз такая. В её присутствии любая вещь становится арт-моделью. В любом жесте всякого человека, оказывающегося рядом, проглядывает перформанс. А как она готовит! Боже мой!

Однако мне пора. В Москве запланировано несколько встреч. И самая впечатляющая, конечно,—в студии телекомпании «Диалог», у Евгения Степанова. Телевидение, можно сказать, новорождённое, но жизнь вокруг него кипит вовсю. Едва переступив порог, я тут же знакомлюсь с множеством замечательных людей, с которыми вряд ли столкнулась бы когда-нибудь вот так—сразу и одновременно. А ведь в одновременности встреч с особого рода персонами есть тонкий значительный смысл! И я смакую этот смысл, будто бы уже и «часов не наблюдая».

Первым делом—к зеркалу! Через несколько минут мне работать «на камеру». Я никогда себе не нравлюсь в зеркале, а тут ещё—жара, усталость, некоторая нервозность ожидания. В общем, я снова катастрофически себе не нравлюсь, что с этим делать—не очень понимаю, машинально поправляю волосы и косметику и выхожу к народу довольно кисло. Но тут очаровательная Олеся Брукс, помощница Степанова, сообщает мне заговорщическим тоном, что я похожа на Вивьен Ли… Я улыбаюсь неожиданности «посыла» и забываю напрочь и о том, как я выгляжу, и о камерах, вокруг

которых между тем разворачивается какая-то своя техническая суета.

Женя великолепно ведёт передачу. Разговор строит разумно и деликатно, ничуть не «тянет одеяло на себя», чем грешат многие телеведущие, но постепенно извлекает из моей головы всё то, что, с его точки зрения, сказать было необходимо и достаточно. Это, между прочим, специфическое мастерство. Интервью — жанр, дающийся не каждому журналисту. Женя делает это красиво и точно. На экране всё выглядит не менее эффектно, чем выглядело бы на бумаге. Но я всё же не могу не поддаться искушению предать бумаге некоторые фрагменты этого видеоролика[1].

ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ. Я, как член редколлегии, в меру своих скромных сил стараюсь помогать журналу «День и ночь», потому что считаю, что это действительно замечательный журнал. На мой взгляд, это лучший литературный журнал России. Такими словами, конечно, не разбрасываются, но я так искренне думаю, потому что это журнал, который объединяет совершенно различных литераторов. Это не кастовый журнал, что редкость в литературном мире. Здесь можно встретить произведения и Сергея Есина, и Юрия Беликова, и кого угодно — и реалистов, и авангардистов, и пост-футуристов. Здесь печатается Сергей Бирюков, здесь печатается молодой футурист Денис Безносов. И конечно, здесь очень много писателей-сибиряков, красноярских авторов. Я знаю, что журнал выходит при поддержке администрации Красноярского края, и мы здесь, в Москве, о сибирской литературе узнаём, конечно, прежде всего по этому журналу… Я помню те времена, те переломные моменты, когда Роман Солнцев ушёл из жизни; помню то плачевное состояние, в котором находилась редакция, потому что не было финансирования, в редколлегии разброд и шатание, и никто не знал, что же будет с журналом; но он выжил, окреп и, не побоюсь этих слов, стал даже, на мой взгляд, интереснее, чем был…

МАРИНА САВВИНЫХ. Не стала бы сейчас акцентировать какой-то региональный аспект: сибирская литература, красноярская литература. Мне кажется, это всё-таки уходит. Литература сейчас существует в мировом ракурсе. Писатели, поэты, которые сейчас печатаются практически во всех журналах русскоязычного мира, образуют авторско-читательское сообщество, где связи выстроены иначе, нежели мы привыкли… вот московские писатели… вот питерские… красноярские, иркутские или новосибирские… Теперь это не столь существенно. Тем более что молодёжь действительно уже ощущает себя «гражданами мира». И если говорить о самых интересных, перспективных молодых писателях, с которыми мы стали сотрудничать совсем недавно, то я могу назвать, например, такую замечательную писательницу, как Анастасия Астафьева. Можно сказать, что генетические корни её — в Сибири, потому что… она не любит об этом говорить, но это так… она дочь Виктора Петровича Астафьева, и в её прозе удивительным образом живёт очень глубокая, узнаваемая астафьевская нота. Нарочно это сделать невозможно и подделать никак нельзя… <…>

ЕС. Вы позиционируете себя как журнал для семейного чтения?

МС. Да. Именно — для чтения. Я и писателей часто предупреждаю об этом. Понимаете, дорогие, — говорю, — мы хотим, чтобы журнал читался, чтобы читателю было интересно. Хотя… читатель, который в меньшинстве, тоже имеет право на достойное чтение. Поэтому, например, благодаря Максиму Амелину, с которым мы недавно перебросились письмами… Максим занимается переводами древних греков и римлян… меня совершенно пленили его переводы Пиндара на русский язык примерно середины семнадцатого века… Это очень сложно, предполагает сумасшедшую, запредельную читательскую работу. Но — безумно интересно. И я подумала: а не ввести ли нам такую рубрику, которая была бы предназначена вот для таких точечных, уникальных контактов редкого текста и редкого читателя? Такая рубрика появилась у нас. Она называется «ДиН-артефакт». <…> Журнал — как зеркало, в котором играют свет и тень. Сама эта игра света и тени как раз и создаёт то «лица необщее выраженье», на которое мы очень рассчитываем. Нам очень хочется отличаться от других журналов.

ЕС. Вчера была научная конференция, которую проводил Институт иностранных языков и культуры имени Льва Толстого; я имел честь быть приглашённым на эту конференцию, выступал с докладом о новых формах современной русской поэзии. Была очень внимательная филологическая аудитория, и люди задавали вопросы о литературных журналах: какие существуют журналы, какие тиражи. Я рассказал, какие были тиражи до перестройки у «Нового мира», у «Дружбы народов». Недавно мы вместе выступали на радио с Александром Луарсабовичем Эбаноидзе, главным редактором «Дружбы народов», и я его спросил: сейчас какой тираж у журнала? Оказывается, около двух тысяч экземпляров. А до перестройки было — два миллиона и больше. Когда я ещё печатался в «Дружбе народов», в восьмидесятые годы прошлого века, там были миллионные тиражи. Сейчас, конечно, тиражи журналов значительно снизились. В десятки раз. Но, тем

1. http://tv-dialog.ru/programs/20120608_savvinyh.php

не менее, читательская аудитория есть. Она переместилась в Интернет. Известные порталы «Журнальный зал», «Читальный зал», «Мегалит» какую-то нишу здесь заполнили. Как к этому относиться — действительно непонятно. То ли это хорошо, то ли это плохо… Мы, издатели журналов, с одной стороны, рады, что у нас такая большая читательская аудитория. Но, с другой стороны, подписка упала, продажи журналов сократились катастрофически. Выжить издателю толстого журнала сейчас без поддержки государства очень сложно. Но не все журналы, даже те, которые входят в «Журнальный зал», эту поддержку имеют. «Дети Ра», например. От государства этот журнал никогда ни рубля не получал. Он существует благодаря одному инвестору. Не будем сейчас о нём говорить. Но читательская аудитория есть. «жз» посещают в день, наверное, огромные тысячи, поэтому можно сказать, что, в принципе, читатель никуда не делся. Он существует, причём в таком объёме, как и раньше. Другое дело, что это виртуальный читатель. Мы даже и не знаем, кто это, какая у нас целевая аудитория. Таких исследований, к сожалению, не так много. Вопрос: есть ли какая-то перспектива у толстого литературного журнала? Что с ним будет? Ведь это уникальнейшее культурное явление.

мс. Видимо, толстый журнал ждёт то же самое, что и книгу как таковую. Книга становится предметом роскоши. Прошли те времена, когда ради насыщения рынка печатались книги — фантастика, приключения, всё то, чего мы были лишены, что добывали на чёрном рынке, — Бог знает как… на газетной бумаге, отпечатанные чуть ли не дома на принтере… и люди всё это хватали. Сейчас это совершенно ушло. Книга должна быть такой, чтобы её можно было с удовольствием держать в руках, она должна радовать все наши чувства — даже обоняние… Она должна быть шедевром полиграфического искусства. Точно так же и журнал. Пусть он издаётся тиражом в пятьсот экземпляров. Но пусть каждый экземпляр воспринимается как уникальная вещь. Как само по себе — художество. Как спектакль. Это же дело не только драматурга. Но и режиссёра, актёров, музыкантов, художников… Когда всё это совпадает, получается настоящий спектакль. Шедевр. Вот так и журнал. Каждый его выпуск. Что же касается просто текста, он может размещаться и только в Интернете. Сейчас все читают с экрана. На самом деле, возможности — расширились. Я думаю, и рынок текстов тоже переместится в Интернет. Он каким-то образом должен структурироваться. И это уже происходит. <…>

Запись закончилась. Вслед за мной должны были беседовать с Женей Вера Зубарева и Ирина Голубева. Возникшая пауза увлекла всех на кухню — пить кофе и переводить дух. Откуда-то возникают и тут же отправляются под водопроводный кран гроздья винограда и ещё какие-то фрукты. В воздухе дрожат стихи — что-то знакомое, но даже, кажется, ещё и не рождённое, чьё-то грядущее творение, нечувствительно витающее между нами… Но моё внимание уже захвачено Сашей Орловым. Нам есть о чём потолковать.

Александр Владимирович Орлов — историк, специалист по истории религий, педагог, редактор, поэт. У нас множество общих тем, и одна из них — прямо животрепещущая — касается изучения в школе древней русской литературы. Здесь всё — проблема. Что именно из всего массива произведений, созданных на Руси между XI и XVII веками, выбирать для чтения и обсуждения с детьми? Какими сведениями снабдить школьников, чтобы знакомство с великой словесностью Древней Руси не стало для них умственной пыткой? А главное: когда и как вводить в читательскую практику подростков летописи, жития, воинские повести, большие эпические полотна? У меня накоплен огромный материал — несколько лет я разрабатывала и вела в Красноярском литературном лицее курс «Шедевры древней русской литературы», — и теперь, задыхаясь от избытка чувств, рассказываю Саше, как с моими семиклассниками мы читали «Сказание о Борисе и Глебе», как разбирали почти одновременно гениальное стихотворение Бориса Чичибабина «Ночью черниговской с гор Араратских…», как увлечены были дети и взрослые, участвовавшие в этих уроках-диалогах!.. Вижу: Саше интересно. Он говорит о возможности сотрудничества с журналами «Основы православной культуры в школе» и «Переправа», рассказывает об Арсении Замостьянове, тоже историке, писателе, редакторе, эрудите, авторе книг о Державине и Суворове… Спасибо Жене Степанову! Я, кажется, обрела новых друзей и новых авторов для «ДиН». Саша обещает прислать мне по электронной почте свою книжку — «Московский кочевник» (и действительно вскоре делает это!). Спустя время я читаю её с нарастающим интересом: вах! какой ракурс, однако! Я не ожидала увидеть такие стихи в книжке московского учителя. И мне уже хочется поделиться ими с нашим взыскательным читателем. Вот — две «пьесы», так сказать, навскидку.

Эфа

Уходишь? Прощай, моя пёстрая эфа,
Твой дом — каменистый бархан.
Блудница пустыни, частица рельефа,
Хранишь ты от гнева Иран.

Запомню навеки кубовые дали,
Ущелье, где были с тобой.
Мне горы дорогу к тебе указали,
Пустынь обжигающий зной

Меня провожал, обещал я вернуться,
В том клялся злой ветер теббад,
Не мог я без слёз, уходя, оглянуться:
Змея призывала назад.

Нескучный сад

Упиться изгойством так хочется мне,
Уйти ото всех, восседать на скамье,
Там, в дебрях ветвистого парка,
Где бродит печально овчарка,
Где солнца наряд—золотая парча,
Где ветер шумит языком толмача,
Где сладостным запахом душит имбирь,
Где сердце псалмами поёт мне псалтырь,
Где тёмная ночь—прозорливый чернец,
Где тайны скрывает Нескучный дворец.

Ещё бы говорить, слушать и говорить, но у меня через полтора часа поезд, и сломя голову я снова мчусь в метро… Раз-два-три, ёлочка, гори! Утром у меня по плану—Питер!

2.

Ах, Питер, Питер… Санкт-Петербург. Прохладная грёза моих юношеских бдений над томиками Блока, Ахматовой, Мандельштама… Можно сказать, друг сердца, прежде вымечтанный в глубине одиночества, а потом—неожиданно и случайно повстречавшийся на одном из перекрёстков судьбы. Всегда возвращаюсь в Питер с предвкушением долгожданного свидания, и, Господи, как же он до сих пор ласков ко мне! Здесь живут мои любимейшие люди, знающие город как собственную ладонь, но я уже ловлю себя на том, что с Питером хочу быть один на один. Интимно. С точки зрения любого нормального человека, я, наверное, веду себя дико и неадекватно. Обниму крепко-крепко какую-нибудь замшелую липу и долго стою так, закрыв глаза и прижавшись щекой к тёплой шершавой коре… впрочем, в Питере полным-полно собственных чудиков. На меня никто не обращает внимания. А я грею ладони на чугунной решётке канала Грибоедова: какая нежность! какое счастье! Жаль, наслаждения этого нельзя продлить… Ждут меня иные встречи.

На этот раз я в Санкт-Петербурге на Международном открытом литературном фестивале «Петербургские мосты». Мне рассказала о нём питерская поэтесса Елена Елагина, наш давний автор и вообще близкий по духу человек. Списавшись с организаторами и обсудив возможность нашего участия в программе, я решилась и приехала: людей посмотреть и «ДиН» показать.

У фестиваля уже довольно длительная история. Он был задуман как продолжение поэтического марафона 2003 года, проходившего во время празднования 300-летия Петербурга. Как сообщает буклет, изданный к открытию «пм» в 2012 году, инициаторами первого фестиваля (2004) стали «Ассоциация творческих объединений Северо-Запада», ЛитО «Пиитер» и литературный клуб «xl». Бессменные организаторы «мостов»—Галина Илюхина, Виктор Ганч, Дмитрий Легеза, Евгений Антипов, Ольга Хохлова и Вадим Макаров. С тех пор прошло уже восемь поэтических форумов продолжительностью от одной до трёх недель—во время «белых ночей», в конце мая—начале июня. Сотни поэтических вечеров, более полутысячи участников, почти полторы тысячи индивидуальных выступлений, гости из 29 городов России, а также из Украины, Эстонии, Латвии, Литвы, Беларуси, Казахстана, Грузии, Таджикистана, Великобритании, Германии, Израиля, Бельгии, Швейцарии, Канады и сша. В рамках фестиваля—поэтические конкурсы им. Н.С. Гумилёва «Заблудившийся трамвай», детский—«Первый автограф», турнир им. Д. Хармса «Четвероногая ворона» и состязания поэтов в формате «ринг» и «биатлон». Кроме этого, ежегодно—презентации ЛитО и различных поэтических школ, диспуты, мастер-классы, «капустники» и всевозможные другие варианты общения—на любой вкус. Здесь бывали и выступали Евгений Бунимович и Мария Ватутина, Дмитрий Воденников и Александр Кабанов, Светлана Кекова и Бахыт Кенжеев, Илья Фоняков и Елена Шварц, Александр Кушнер и Михаил Яснов… С прошлого года на «Петербургских мостах» выступают не только поэты, пишущие на русском языке. Звучат стихи на литовском, финском, французском, грузинском, немецком… Налажены связи с другими литературными фестивалями: «Киевские лавры», «Волошинский сентябрь» (Коктебель), «Труа ривьер» (Квебек). В общем, на литературном календаре русскоязычного мира «Петербургские мосты»—заметное событие.

К сожалению, уже с самого начала я знала, что побывать на всех мероприятиях фестиваля мне не удастся: 25 мая в Красноярске должна стартовать литературная конференция, к которой я причастна самым непосредственным образом,—поэтому показать «День и ночь» гостям «Петербургским мостов» смогу только 20-го, в Доме Набокова, на встрече поэтов русского зарубежья, среди которых—множество наших авторов. С кем-то из них я надеялась здесь и познакомиться лично, кого-то открыть для читателей «ДиН», о ком-то рассказать.

В назначенное время у Дома Набокова—группками по два-три человека—клубятся поэты. Никого

не знаю в лицо и несколько минут пребываю в растерянности. Но тут является улыбающийся Евгений Лукин, главный редактор журнала «Северная Аврора», раздаёт свеженький, ещё горячий, номер и моментально вовлекает меня в общее движение. Обнимаю Лену Елагину, когда-то пленившую меня строчками:

Когда я останусь навеки одна,
Когда ни покрышки не будет, ни дна,
А только парение духа
Вне зренья, сознанья и слуха,
Неужто всё это и будет покой?
Неужто об этом мы молим с тоской
И льём беспричинные слёзы
В предчувствии метаморфозы?—

и вступаю в обиталище набоковских пенатов. Их здесь бережно опекают: в доме, несмотря на давно устоявшийся музейный уклад, веет жизнью, тихой, строгой, без «актуальных» глупостей и претензий, но всё-таки жизнью, в которой всё время что-то происходит.

Перед началом мероприятия—несколько приятных знакомств. Саша Либуркин. Колоритнейшая личность. Знаю его по рассказу «Крепкий мужчина», напечатанному в «ДиН» в начале прошлого года, по публикациям в предпочитаемых мною журналах «Дети Ра» и «Зинзивер», а также по редким (но метким!) столкновениям в соцсетях. На мой взгляд, очень яркий прозаик, ироничный, честный, обязательный. Какой-то по-человечески настоящий. Что ныне редкость.

Галина Илюхина, организатор всего этого чудного «безобразия», прилетела, как говорится, «вся в мыле». Позже я поняла, что созвониться с ней в дни фестиваля практически невозможно. Её телефон занят беспрерывно. Кажется, двадцать четыре часа в сутки кто-то её «достаёт». Или она—кого-то. Галина извлекает из пакетов и сумок дипломы, подарки, сувениры. Всё это водружается на монументальный набоковский стол, где уже лежат стопками журналы, альманахи, сборники, привезённые гостями,—и встреча начинается.

Мне предоставлена возможность рассказать о журнале «День и ночь» и прочесть собственные стихи. Как всегда в таких случаях, на «себя» времени почти не остаётся—и слава Богу! «Себя» читать вслух я… не то чтобы не люблю, но мне нужна особая атмосфера, так сказать, короткая дистанция между мной и публикой, а для этого необходимо уникальное совпадение множества факторов… Поэтому уже под самый занавес своего выступления читаю стихотворение о Петербурге, получаю довольно искренние, как мне кажется, аплодисменты, возвращаюсь на своё место и начинаю, наконец, внимательно слушать. Впечатление, в общем, типичное для большинства литературных фестивалей. Большая часть произведений (текстов?), читаемых перед публикой, внимания почти не задевают. И когда на этом фоне вдруг звучит подлинная поэзия, испытываешь нечто подобное вспышке света в темноте или электрическому разряду.

Елена Игнатова, урождённая петербурженка, с 1990 года живёт в Иерусалиме. Еврейская нота, горькая, трагическая, болезненная, в её стихах очень заметна. Тонкие переплетения библейских мотивов и исторических ретроспектив только что ушедшего века создают атмосферу доверительного разговора друзей-интеллигентов—о судьбах мира и человека. Поэтесса читает как бы внутрь себя, голосом слабым, чуть надтреснутым, но стихи таковы, что зал слушает в напряжённом молчании—каждое слово отчётливо и ясно.

И где она, земля лидийских гордецов,
золотоносных рек и золотых полотен,
где мир в зародыше, где он ещё так плотен,
где в небе ходит кровь сожжённых городов,
где человек жесток, и наг, и беззаботен…

Сева Гуревич подарил книжку «Несаргассово море», красиво изданную московским издательством «Водолей Publishers». Я о таком поэте прежде не слышала и книжку перелистала, по крайней мере, с любопытством, которое не сразу, конечно, но было вознаграждено.

Не дым Отечества, гашиш в кальяне сладок…
В груди качнётся мир чужой земли,
Едва колеблясь в мареве лампадок,
Что по тебе в который раз зажгли.

Или такое:

Я останусь в Содоме, в Гоморре,
Но и так же—надёжно—в строю,
Чтоб, как угорь в Саргассово море,
Смог вернуться на землю свою.

Смог вернуться… ты скажешь: «Не надо…»—
Прежде срока от грёз не буди…
А прадедова песня «Гренада»
Будет ждать у начала пути.

Или ещё:

Налейте вина или водки, очищенный спирт
Встречается реже, но в принципе тоже подходит:
Лишь здесь, на Руси, столь естественен пьющий пиит
При нашей любой, непохожей на счастье, погоде…

Налейте скорее—я выпью, неделю пропью,
Чтоб выпью болотной завыть, обезуметь воочью,
Покуда по клавишам песню безбожную бью—
По полной, как ряженый,—в избы соседские ночью…

Подарок Евгения Мякишева—двойная книга, совместная с ушедшим уже, к всеобщему прискорбию, Геннадием Григорьевым. В послесловии к книжке про Мякишева сказано: «Более колоритной фигуры в поэтических кругах не только Санкт-Петербурга, но и, пожалуй, всего мира не сыскать. Фактурная внешность, скорее подошедшая бы бандюгану из сериалов или карикатурному скинхеду, резко контрастирует с тонким до ранимости устройством его души и его стихов». С Мякишевым я теперь лично знакома. Подтверждаю. Что же до устройства души его—приглядись, только осторожно, не обожгись, не оцарапайся, читатель:

Я—волшебный поэт, но любовник я тоже нехилый…
Не смотри на меня исподлобья, а прямо гляди:
Ведь общение с женщиной—опыт свиданья с могилой
Под кладбищенский шелест слепого восторга в груди.
И я честно и прямо на этом незримом погосте
Новый крест—словно саженец—словом печали полью…
И звериная злоба в глаза человеческой злости
Поглядит с сожаленьем сквозь бедную душу мою.

А вот это мне особенно близко:

Кончается зима.
Сливаются сосульки.
Приходит горний стыд—
Круговорот воды.
Побереги себя,
Играя на свистульке
Мелодию смешной
Вселенской ерунды.
Когда к тебе придут
Безглазые и злые
Властители пустот
Из полной темноты,
Базлай, блажи, вяжи
Узоры удалые:
Покуда жив язык—
Не растворишься ты.

Было бы, наверное, несправедливо и неверно не уделить здесь места стихам Галины Илюхиной; я не слышала, как она читает,—да и где она читала? Ей всё время не до себя, этой коренной лошадке литературных забегов… Может быть, оттого и пишется у неё иногда такое:

Наступила осень, небо запотело.
Всё склубилось в стаи, что не улетело:

листики, что пали в приступе падучей,
недоспавший дворник собирает в кучи.
Хмурые собаки по помойкам рыщут,
в коллективной форме добывая пищу.
С ворохом нетленок, сложенных за лето,
жмутся по тусовкам хитрые поэты.

Дворники сжигают жухлых листьев горки,
тянется по скверам дым прозрачно-горький.
Вороша ногами прелых листьев кучи,
держат живодёры наготове крючья:
санитарный доктор надавал заданий
всех собак избавить оптом от страданий.

Только на поэтов нету разнарядки—
чтоб свалили в кучку пухлые тетрадки,
чтоб костёр до неба, а самих—к отстрелу:
всё отправить фтопку, что не улетело.
То-то будет радость, то-то станет чище…

Не боись, поэты. Вас никто не ищет.

Итак, собственную корзинку духовных яств я, кажется, собрала. Вечер подошёл к концу. Прощаюсь. С кем-то вежливо, с кем-то—надеясь на скорую встречу, кого-то—обнимая сердечно. Всё. Мне снова—пора.

3.

Здесь, в Питере, живёт дружественное семейство волшебников. Даниловы. После гениального опуса Вл. Орлова[2] само фамильное именование указывает на причастность носителей оного к небесным канцеляриям. Даниловы, присутствием которых окрашены и согреты годы моей ранней юности, учились вместе со мной в Красноярском педагогическом институте—Наташа на филологическом, Миша на историческом факультете. Они как-то очень быстро женились, и уже на втором курсе у них родился первенец, Саша. Помню, какая для нас, восемнадцатилетних дурочек, это была диковина! (В Советском Союзе секса, разумеется, не было, и откуда берутся дети, мы узнавали на уроках биологии—от краснеющей учительницы, показывающей на плакате пестики и тычинки. :-)) Мы бегали к Даниловым поглядеть на младенца и удивлялись, как ловко Наташа с ним управляется,—ведь крошечный такой, прикоснуться страшно! Теперь Саша сам—отец семейства, человек вполне преуспевающий, живёт в Германии, откуда поддерживает родителей и материально, и морально. Повзрослел и младший сын Даниловых, вот-вот, как говорится, вылетит из гнезда… Жизнь идёт, судьба вяжет свои узлы.

Судьба этой семьи—причудливое кружево. После Красноярска—Прибалтика, Сочи… и—наконец—Петербург. Как в песне поётся: «Переходы, перегрузки, долгий путь домой…» Девяностые Даниловых побили и потрепали—без всяких шуток, на измор. Но они не сломались, нашли себя в радикально изменившемся мире—не отказавшись при этом от высоких принципов, в свете которых воспитаны. Основной из них: смысл жизни—творчество.

Миша—музыкант, философ, мудрец… При этом он уже давно реализует творческий потенциал в такой—у нас ещё вполне экзотической—

2. Имеется в виду роман «Альтист Данилов».

специальности, как ресторанное дело. Кто таков «ресторанный критик»? Для нас до сих пор — в лучшем случае — персонаж голливудской продукции… Дядька или тётка из мультика «Рататуй». Вблизи — совсем не так. Михаил Данилов — выдающийся художник «общепита». О ресторанах, кафе, бистро и прочих «жанрах» этого искусства он знает всё! И даже книгу об этом написал. Читается, скажу вам, как увлекательный роман.

Наташа работала на телевидении, преподавала, пробовала себя в стихах, прозе, драматургии, пока наконец не кристаллизовалось то, в чём, на мой взгляд, и заключено её призвание. Наталья Данилова — «повивальная бабка» духа. Как Сократ. Только работает она не со взрослыми людьми, закосневшими в предрассудках, а с маленькими детьми, дошкольниками. Ей помогает в этом собственная литературная одарённость. Наташа создала целый мир — фантастический и реальный, в котором живут и действуют герои придуманных ею целебных игр. Две относительно самостоятельные части романа-сказки Натальи Даниловой «Остров детства» опубликованы в «ДиН»: «Собиратель слёз» — в 2008 году, «Сила двенадцати» — в 2011-м. Мало этого: вместе с коллегами, психологами и педагогами, Наташа разработала стройную и чрезвычайно эффективную образовательную систему, которую назвала «Юный гений» и проверила на практике в течение многих лет. Этот подход помогает преодолеть множество психологических проблем, связанных с вхождением в мир современных детей, особенно — одарённых (Наташа, правда, уверена, что «неодарённых» детей не бывает!). То, что она рассказывает о своих воспитанниках, вызывает ужас и восторг. Ужас — потому что её работа нередко обнаруживает в психике отпрысков более чем успешных семей такие бездны страхов и комплексов, что поневоле задумываешься о будущем цивилизации! Восторг — потому что она раскрывает в ребятишках неисчерпаемый умственный и чувственный потенциал, проявляющийся тут же в рисунках, сказках, стихах, играх, беседах. В методичке, сопровождающей интеллектуально-развивающую игру, созданную Натальей Даниловой, говорится:

«Никаких сомнений, ваш ребёнок — гений. А как же иначе?! Ведь он — носитель генов. Тех самых, которые вы передали ему при рождении, словно некую интеллектуальную собственность. Юный гений растёт, мы помогаем ему развиваться, помогаем преодолевать сумеречное, сонное состояние сознания. Будим его. А всё для того, чтобы наш наследник смог найти своё великое предназначение в этом мире — своё призвание. Чтобы впоследствии он смог не только выживать, используя навыки и знания, которые вы ему привьёте, но и для того, чтобы он получал удовольствие от дела, которому посвятит свою жизнь. <…> Все дети — гении. В них скрыт потенциал, который не поддаётся описанию».

Таков исходный посыл этого педагогического чуда. Как всякое настоящее чудо, в сегодняшней российской действительности укореняется оно с большим трудом. Однако Наташа героически стоит на своём — работает, ищет, настаивает, добивается. Борется, одним словом. И я с трепетом, тревогой и гордостью слежу за её борьбой, по мере возможности поддерживая и помогая.

Наташины размышления о «генах» — предвосхищают другую встречу, которую с нетерпением жду. В Питере живёт и работает Анастасия Викторовна Астафьева. Ася. Дочка Виктора Петровича, рождённая в Вологде. Признаюсь честно: меня возмущают стыдливые эпитеты вроде «внебрачная», «побочная» и т. д., и т. п. «Побочных» детей не бывает! Дочь есть дочь. Сын есть сын. Всё остальное — условия, обстоятельства и нюансы появления ребёнка на свет — к сути вопроса не имеет никакого отношения! Когда я впервые увидела Асю — у меня перехватило дыхание: как *похожа!* Но внешность — не главное. Моё знакомство с Анастасией Астафьевой началось задолго до прошлогодней — очной — встречи в Петербурге. Волею судеб передо мной оказался текст её пьесы «Письма к отцу», некоторое время уже ходивший в Интернете. Пьеса поразила меня не столько конкретностью фактов, на которых основана (хотя конкретные факты из жизни знаменитостей всегда, так или иначе, цепляют сознание), сколько явным, безусловным и даже очевидно *обусловленным* талантом автора. Я — словно гончая по следу — кинулась в Интернет. И что же? Передо мною открылось оригинальное, яркое, глубокое и сильное дарование. Многообещающее. Спустя несколько месяцев после этого открытия мне удалось связаться с Асей, мы стали понемногу публиковать её прозу. И вскоре Ася предложила в «ДиН» свой первый роман, который и был опубликован в двух номерах 12-го года.

Мы встретились на Дворцовой площади, долго бродили по жаркому, цветущему и благоухающему Петербургу… Говорили — и, кажется, не могли наговориться. У Аси — астафьевский характер. Жёсткий, прямолинейный, решительный. Не слишком-то склонный к компромиссам. И я внутренне радуюсь, что мы с ней не расходимся во взглядах на большинство современных этических и эстетических проблем.

Ася — участница той самой литературной конференции, которая вот-вот начнётся в Красноярске. Ей очень хочется приехать в Красноярск пораньше, чтобы успеть побывать в Овсянке, встретиться с людьми, хорошо знавшими и любящими Виктора

Петровича. Организаторы конференции пошли ей навстречу — и вот она улетает в Сибирь за сутки до моего отъезда из Петербурга, так что, когда я возвращаюсь домой, мои домашние встречают меня уже вместе с Асей.

4.

Сидим по разным городам,
Подвержены тоске и сглазу,
И каждый думает: ни разу
И в мыслях друга не предам!
Оглянешься — кругом ни зги!
Как в сказке — не туман, так вьюга,
И даже в мыслях нету друга,
Одни лишь верные враги…

Несмотря на сарказм, мысль, в общем-то, справедливая и до сих пор актуальная. Литературный мир расколот на лагеря, кланы и тусовки, и если деструктивная его часть — не без помощи денежных влияний известного происхождения — более или менее консолидирована и способна по команде «фас» всей стаей броситься и «порвать»[3], то наиболее талантливые писатели, следующие принципу художественной правды, чаще всего так вот и «сидят по разным городам». Если бы не Интернет, литературный процесс давно уже рассыпался бы на молекулы и перестал иметь место. Но Сеть — Сетью, а живые встречи — необходимы. Мосты над облаками должны иметь не только виртуальное, но и материальное выражение. Этой цели как раз и служат всевозможные фестивали, которые ежегодно проводятся по всему постсоветскому пространству благодаря подвижническим усилиям отдельных литераторов, сумевших наладить связь властей и общественности и сосредоточить усилия тех и другой вокруг некой фестивальной идеи. О «Петербургских мостах» я рассказала. В Крыму каждое лето проходят «Славянские традиции» и в начале каждой осени — «Волошинский сентябрь». В Казани — Державинские чтения. В Александрове — Цветаевский фестиваль. И так далее, и так далее…

В. П. Астафьев основал когда-то в Красноярском крае популярнейший форум «Литературные встречи в русской провинции». Раз в два года этот фестиваль собирал на красноярской земле писателей, журналистов, издателей, библиотекарей, учителей словесности — всех, кто причастен к слову, к тексту, к книге. Традиция эта поддерживалась какое-то время и после ухода Астафьева, а потом незаметно заглохла.

Литературная конференция, организованная в Красноярске силами государственного учреждения культуры «Дом искусств», педагогическим университетом и краевой научной библиотекой, — надеемся, первая ласточка на пути возрождения литературных встреч в регионе.

Тема конференции: «Сибирь: проблемы и перспективы развития региональной литературной среды». Спектр вопросов, уверена, до боли близок провинциальным литераторам вне зависимости от места проживания, поэтому, несмотря на относительную немногочисленность участников форума, дискуссии за «круглым столом» прошли темпераментно, плотно и результативно. В гостях у красноярских писателей и читателей побывали, кроме Анастасии Астафьевой, московские поэты и организаторы литпроцесса Максим Лаврентьев и Андрей Коровин, литераторы из Омска, Абакана, Кызыла, Иркутска… Ждали «махатму русской поэзии» Юрия Беликова из Перми, но он, к сожалению, заболел и приехать не смог.

Красноярский форум достаточно хорошо освещён в СМИ: постарались и сотрудники красноярского Дома искусств во главе с молодой и — в лучшем смысле слова — амбициозной начальницей Татьяной Николаевной Шнар, и гости — Максим и Андрей, оперативно давшие информацию о событии в московских источниках. Поэтому здесь — лишь несколько любопытных цитат.

Максим Лаврентьев: «Я могу судить о состоянии сибирской литературы, наблюдая в Интернете за журналом «День и ночь», который в Москве известен… этот журнал, мне кажется, не только в масштабах Красноярска, но и в масштабах России представляет определённую ценность… Мы приехали сюда, чтобы узнать то, чего мы не знали прежде. Москва — большой шумный город, мы варимся, как говорится, в собственном соку, не знаем России, как и Россия не знает нас».

Андрей Коровин: «Любой молодой автор, который знает, что такое Интернет, сегодня может получить признание, отправив свои подборки в литературные журналы, на литературные конкурсы, среди которых — очень престижный «Дебют» и, в том числе, Волошинский литературный конкурс, которым я занимаюсь… Новые имена, которые открывают разнообразные конкурсы и редакции, — за них, в общем-то, хватаются организаторы литературного процесса и помогают войти в современное литературное пространство. Сегодня, благодаря Интернету, это происходит гораздо проще и удобнее. С другой стороны, начинающему автору нужно быть достаточно активным, чтобы «засветиться» самому. Тогда можно добиться

3. Животрепещущий пример — реакция «прогрессивной интеллигенции» на стихи Ю. П. Мориц, посвящённые т. н. «протестному движению».

признания без специальных подталкиваний со стороны общественных организаций…»

Анастасия Астафьева: «Энергетика текста на бумаге совсем иная, нежели энергетика электронного текста. Мне даже кажется, что когда ты общаешься с живой книгой, ты от неё получаешь энергию, а когда ты общаешься с текстом на экране, такое ощущение, что твоя энергия уходит туда… Примерно восемьдесят процентов населения нашей страны как бы не существует. Об этих людях не пишут в газетах, на телевидении о них не снимают передач, даже те документальные картины, которые производятся на местных студиях, практически нигде не показываются, в лучшем случае — ходят по кинофестивалям. Получается, что люди, живущие в сельской местности, в маленьких городах, — просто не существуют. Об их проблемах, заботах нигде не говорится. Те люди, которые находятся внутри этой ситуации, — это, наверное, единственные летописцы, которые способны и должны отражать то, что на самом деле в стране происходит. Общественную значимость региональной литературы я как раз вижу в её готовности и способности создавать художественную летопись жизни страны за последние пятнадцать-двадцать лет… Вспоминая о журнале «День и ночь», хочется снова и снова отметить, какое высокое качество литературы в этом журнале присутствует. Очень немногие журналы, даже столичные, этим отличаются, к сожалению. И какой должен быть острый взгляд и литературное чутьё у главного редактора, у тех, кто журнал составляет, чтобы из тысячи приходящих рукописей отбирать то, что интересно и качественно в литературно-художественном отношении. Буквально вчера я перелистала свежий, второй за этот год, номер «Дня и ночи» и открыла для себя рассказы Елены Басалаевой. Молодая писательница, ей, по-моему, двадцать два — двадцать три года, и я с удовольствием прочла и даже пообещала Марине Олеговне, что как только освобожусь от своих дел, напишу на неё хорошую рецензию, и мы разместим её в журнале «День и ночь»… <…> Чем чаще я смотрю на наших прославленных, чересчур прославленных, растиражированных писателей, тем чаще мне думается, что я не хотела бы так часто мелькать на телевидении, вести какие-нибудь ток-шоу… поэтому если писатель зарабатывает деньги *таким* образом, то не хочется».[4]

Красноярская публика приняла гостей тепло и открыто, что, в общем-то, ей всегда было свойственно. Наша публика — вопреки ожиданиям некоторых гастролёров, надеющихся на то, что если «пипл хавает», то уж глубинка-то «схавает» и подавно, — строга, взыскательна и бескомпромиссна. Но если гости приходятся по душе — щедрость сибиряков не знает границ. Это проверенный факт. Однако важно и обратное. Думаю, приезд Андрея Коровина и Максима Лаврентьева, с их свежими соображениями о том, как обстоят дела в современном литературном мире и каковы тенденции его движения, с их готовностью к диалогу и способностью генерировать идеи и проекты, пригодные к воплощению в обозримом будущем, с искренним стремлением к сотрудничеству и дружеству, — знаковое событие для Красноярска. Привычный образ «московского гостя» ребята заметно поколебали. До того, что мне даже вспомнился знаменитый эпизод из «Войны и мира», когда Андрей Болконский прибывает на батарею Тушина и, передав распоряжение командования об отступлении, собственноручно помогает разворачивать орудия и грузить боеприпасы. «А то приезжало начальство — так скорее драло», — говорит ему солдат. И Андрей, и Максим производят впечатление людей, готовых вместе с нами «разворачивать пушки». Конференцию они, во всяком случае, отработали, не щадя ни сил, ни времени.

Максим выступал в Зеленогорске. В Красноярск вернулся поздно вечером, когда встреча гостей с читателями и писателями в Доме искусств подходила к концу. Все устали и думали уже о лёгоньком фуршете, незаметно материализующемся на столе напротив директорского кабинета. С появлением Максима вечер словно зарядился новой энергией. В воздухе повеяло… белой акацией, старинными благовониями, подмосковными майскими дождями… «Рояль был весь раскрыт, и струны в нём дрожали». Максим играл, окружившие его дамы пели милыми голосами…

Как поэт Максим Лаврентьев — парадоксально гармоничен. Ленский, Рахметов и Базаров в одном лице. Тонкий лирик, даже чуть стесняющийся своей застенчивости и нежности, — и брутальный «критический реалист». Его книга «На польско-китайской границе» произвела на меня в своё время ошеломляющее впечатление.

• • •

Хотелось нам, судьбу опередив,
За столиком в полуденной Гаване
Расслабленно тянуть аперитив,
А может быть, податься на Гавайи.

Но мы чужими будем в Боготе,
Не ждут нас в Катманду из Касабланки.
Всё оттого, что мы с тобой не те,
Обиженные, злые, как собаки.

Поедем-ка на Северный Кавказ
И где-нибудь в окрестностях Майкопа
По миру иллюзорному хоть раз
Ударим из реального окопа.

4. http://press-centr.sibnovosti.ru/conferences/1002

Иначе остаётся Эрмитаж,
Кунсткамера, стеклянный шар над Невским
И эта жизнь, всегда одна и та ж,
Где, кроме Бога, больше выпить не с кем.

● ● ●

Кто скажет, что мы—посредники
Между двумя мирами,
Когда мы идём по Сретенке
Прямо или дворами,
В потёртой джинсе из Турции,
В обуви Made in China.
(Одетые по инструкции,
Это—секрет и тайна.)
Когда мы спешим на сейшены,
Слэмы, фотобьеннале,
И нас не поймёшь: рассержены
Или козла пинали?—
Кто скажет, что мы—последние
Праведники столицы,
Хранители и наследники,
Гиды и летописцы.

К сожалению, мне так и не удалось на этот раз услышать, как Максим читает стихи «вживую». Зато я впервые слышала, как читает Андрей Коровин. Это был захватывающий моноспектакль. Поэт, артистически—со сцены—представляющий свою музу,—видимо, во все времена редкость. Слушатели долго не хотели его отпускать, настолько он был доступен, привлекателен, каждой фразой открыт общению.

Хотя эта поэзия—далеко не проста для восприятия. Арсенал современных и даже сверхсовременных поэтических инструментов ею, кажется, использован весь. И в то же время (невероятно!)—она целомудренна, изящна и глубоко гуманна.

голова обтекает небо травой рекой
неподъёмной нежностью маминою рукой
и куда ни посмотришь—везде моя голова
этот взгляд бездонный вечный как синева

и в моей голове живёт твоя голова
метакоды её и мета-её-слова
дети птицы жрецы и боги твоей главы
в голове моей глаголют твои словы

в голове моей живёт настоящий Бог
он всё больше молчит и—никуда за порог
и когда укрывшись звездой он спокойно спит
мир на волоске моей головы висит

Что же касается Аси Астафьевой—совершенно очевидно, что Красноярск её принял и полюбил. Ася мне сказала перед самым уже отъездом: «Я только сейчас поняла, что такое *Отечество*». Значит—всё будет: новые встречи, новые произведения, новая большая жизнь, полная любви и разума.

5.

Пишу эти строки спустя полтора месяца после вышеописанных событий. Июнь 12-го многим запомнится своими тревогами, скандалами и трагедиями… Не оставив нам никаких сомнений в том, что впереди—полоса испытаний, борьбы и бедствий нарастающего масштаба. На что надеемся? Чего с любовью, верою и надеждой ждём?

Колеблются мосты над облаками,
Построенные нашими руками,—
Так птицы проницательные вьют
Надежды неустойчивый приют…

Хорошо бы удержать равновесие.

Москва—Санкт-Петербург—Красноярск,
май—июнь 2012

Владимир Алейников

Вокруг самиздата

Продолжение. Начало в «ДиН» №3/2012.

Лучше всех, пожалуй, и, как это всегда у неё получалось, кратко и точно, в форме своеобразного изречения, определила суть моих стихов незабвенная Мария Николаевна Изергина:

— Стихи Владимира Алейникова я очень люблю, и для меня они лучшее, что сейчас пишется. Что меня больше всего привлекает в его стихах — это свет.

Сформулировано ею это было в восьмидесятых, многажды высказано прилюдно, при большом, как тогда ещё довольно часто бывало, скоплении народа, в её коктебельском доме, на знаменитой веранде, перевидавшей всё и всех, потом — записано.

Однако о том, что она постоянно ощущает исходящий из моих стихов свет, стала говорить она ещё со времени нашего знакомства, вскоре переросшего в долголетнюю прочную дружбу, то есть ещё со знаменательного для меня лета шестьдесят пятого.

Особенный этот свет, который она так верно ощущала всем своим существом, помогал ей жить — так она говорила.

А прожила она девяносто три с половиной года, и вдосталь было в её жизни и сложностей, и трагедий.

Поразительно стойкий человек!

А какое чутьё — на слово, на звучание его, на каждую новую краску, на тон, на ритм, на дыхание, на тот синтез, который так определяет вообще всё и столь важен в искусстве, на интонации, на все те откровения и открытия, которых она так всегда ждала от речи!

Я знаю, что понять мои стихи помогло ей — отчасти, конечно, и всё-таки это важно, — то, что она прекрасно знала музыку, сама была очень хорошей певицей и музыкантшей.

Но и не только это. Помогало и другое.

Важна была, так сказать, закваска. Воспитание. Образованность. Реакция на хорошее и плохое. Мгновенная отзывчивость на подлинное искусство.

А ещё важна была — её неудержимая тяга к свету, сквозь все невзгоды собственной, сложной, рано изуродованной революцией, гражданской войной, сталинщиной и минувшим режимом, но всё равно, несмотря на пережитые драмы и трагедии, чистой, возвышенной, насыщенной событиями, полноценной, плодотворной, в прямом смысле этого слова — творческой, прекрасной жизни.

Мария Николаевна, сколько её помню, никогда никому ни на что не жаловалась, всеми силами стремилась никогда никому не быть в тягость, никогда никого не поучала, не учила жить.

Она сама была дивным примером жизнелюбия и жизнетворчества, она всегда шла по своему собственному, когда-то избранному ею, пути, и это был — именно Путь.

Она была человеком волошинского круга.

В коктебельском мире она была — Мусей, так звал её Волошин, и волошинские акварели, именно с таким обращением к ней в дарственных надписях, висели на стенах в её доме, — тогда как её старинная подруга, вдова Волошина, Мария Степановна, была — Марусей.

Были у Марии Николаевны и ещё две давних подруги — Надежда Януарьевна Рыкова, поэтесса и переводчица, и Анастасия Ивановна Цветаева, младшая сестра Марины Цветаевой.

Постоянно окружали её и другие, довольно многие, достаточно близкие ей люди.

Она дружила с Григорием Николаевичем Петниковым, жившим в Старом Крыму и наведывавшимся в Коктебель, настоящим и тонким, с ведическим мироощущением, почему-то недооценённым, как это у нас в стране сплошь и рядом бывает, поэтом, другом Хлебникова, человеком образованным, деликатным, ясным, особенным и для меня самого человеком, о котором я обязательно ещё скажу.

Мы, коктебельцы, когда-то — сами ещё молодые, в прежние годы ходили, бывало, в Старый Крым пешком.

Это был один из своеобразных коктебельских ритуалов. Полагалось тогда — будучи в Коктебеле, хотя бы разок сходить в Старый Крым.

Надо сказать, пешие эти прогулки — многого стоили. И все они — в памяти.

Мы собирались небольшой группой — и отправлялись в путь, по горам, среди киммерийской природы.

И Мария Николаевна всегда передавала привет Петникову.

И я заходил к Григорию Николаевичу — и обязательно передавал ему этот привет.

И Петников — мгновенно, прямо на глазах, — весь расцветал. Действительно расцветал. Глаза его начинали вдруг лучиться, лицо преображалось, черты лица становились мягче.

Он оживал, молодел. Голос его теплел, в нём проскальзывали нотки волнения.

Он улыбался по-юношески, даже по-детски, наивно, смущённо, радостно, искренне, распахнуто как-то, светло.

Он ликовал — так мне казалось.

Он, старокрымский затворник, явно дорожил этими приветами.

Он дорожил дружбой с Марией Николаевной. Более того: он гордился этой дружбой.

Сама же Мария Николаевна говорила о Петникове с неизменным пиететом, всегда выделяя его из числа остальных своих знакомых — тех, из старшего поколения.

Говорила она о Петникове — всегда с особым теплом и даже с любовью, — ну конечно, с нею — дружеской, человеческой любовью.

Всё, как обычно это бывало у неё, сводилось к сжатой, чёткой формуле:

— Григорий Николаевич — настоящий поэт. Образованный человек. Талантливый. Воспитан. Учтив с дамами. Внимателен. Мы с ним очень дружим. Давно дружим.

Порой вспоминала слова Петникова: «Писать — легко. Вычёркивать трудно!»

Я замечал, что, говоря о Петникове, Мария Николаевна и сама всегда преображалась.

И она вдруг хорошела, молодела, словно озарялась вспыхнувшим негаданно ясным светом.

В голосе её звучали не просто тёплые интонации, но — мелодия, мелодия нежности.

А глаза — многое говорили они без слов, эти её выразительнейшие, сияющие глаза.

Возможно, это была не просто дружба двух людей старшего поколения, а более глубокая, более крепкая, более важная связь двух душ, двух сердец.

Вспоминаю забавные рассказы Марии Николаевны о том, как в начале двадцатых годов, живя в доме у Волошина, они с Надеждой Январьевной Рыковой, две подруги, обе задорные, острые на язык, донимали Брюсова своими вроде бы и наивными, невинными, но на поверку — не просто колкими, острыми, а скорее жалящими придирками, всяческими вопросами, довольно жёсткими суждениями — и доводили его буквально до бешенства, — причём объединённому и целенаправленному напору их сам Брюсов, как это ни удивительно, при его-то всегдашней готовности к полемике, и противопоставить-то ничего толком не мог — а только, слушая их, терялся, тушевался, раздражался и в итоге пасовал, сдавался.

Молодое поколение, в лице двух юных дам, обезоруживало его и побеждало.

Хотя и сам ведь Брюсов был далеко ещё не старик. Ну сколько ему было тогда — лет пятьдесят? А вот выдохся, видно, в прежних дебатах и боях. Состарился преждевременно. Внутренне. Душевно. И пороха, нужного для полемики запала — уже не хватало у него.

Может быть, он действительно был уже дряхлым, опустошённым, уставшим от всего и всех человеком.

Стоит вспомнить здесь его попытки приспособиться, подладиться к советской власти. Стоит вспомнить чрезмерно бурную его деятельность на культурном фронте, о которой так хорошо написал Ходасевич, а ещё лучше — Марина Цветаева.

Ну и, конечно, пристрастие Брюсова к наркотикам, к морфию, — сказалось на общем состоянии его организма.

Вскоре после поездки в Коктебель Брюсов умер.

Мария Николаевна, вспоминая молодые свои, на пару с Рыковой, перепалки с ним, подзуживания, выпады, розыгрыши, даже сожалела, бывало: уж не послужили ли их коктебельские атаки на служащего советской власти вождя символистов хотя бы одной из причин, хотя бы косвенной причиной смерти его, неожиданной для всех?

Нет, конечно, — успокаивала она сама себя. Причина была в другом. В том, что Брюсов был уже весь разрушен — и физически, и духовно — разрушен. Что поделаешь? Как ведёт себя человек в жизни — очень важно. Это прямым образом сказывается и на творчестве его, если это человек творческий, и на судьбе.

Острый же язычок Марии Николаевны проявлялся порою и жалил кого полагается — и в последующие годы.

Некоторые выпады её, тирады и характеристики различных попавшихся к ней на язык, как говорится, персонажей — бывали блестящими, собранно-меткими, били в точку, несколькими характерными, обдуманными штрихами давали такой портрет конкретного человека, что это надолго запоминалось.

Никогда Мария Николаевна этим не злоупотребляла. Но было это — оружие. И все её знакомые прекрасно об этом знали.

Помню Анастасию Ивановну Цветаеву — худенькую, светящуюся грустным и ясным светом памяти своей и судьбы, с развевающимися на коктебельском ветерке белыми волосами, — и эти прикосновения приморского ветерка, бриза, — молодили её, и в лице её, худом, живом, словно пульсирующем от избытка силой воли сдерживаемых

чувств и эмоций—угадывались порою и черты лица старшей её сестры.

Помню лежащие грудами в комнате Марии Николаевны, и на рояле, и вокруг него, письма и открытки Анастасии Ивановны, её дарственные надписи на журнальных публикациях и книгах,—довольно крупный, неровный, корявый, валкий, но—упорный, весь в движении, устремлённый вперёд, несгибаемый почерк.

Переписку они поддерживали довольно интенсивно. Она была продолжением их бесед, с годами—всё более редких, но это и понятно—почему так получалось.

В письмах Анастасии Ивановны были—рассказы о своём житье-бытье, просьбы, рекомендации для собиравшихся приехать к Марии Николаевне знакомых, сообщения о своих литературных делах, о том, чем занята, что она пишет, а главным был тон, из которого следовало, что жизнь—замечательная штука, и надо в этой жизни и по-настоящему дружить, и много работать.

Некоторые кусочки из цветаевских писем, под настроение, Мария Николаевна, случалось, зачитывала мне вслух.

В голосе её звучала тогда—любовь.

Она любила Цветаевых, обеих. Любила вообще всё, что связано было с обеими сёстрами. Любила поэзию Марины Цветаевой. Иногда, редко, после чтения цветаевских стихов ворчала:

— Кликуша!

Ворчала—любя.

И тут же всё ставила на свои места:

— Но какой поэт!..

Она любила и Ахматову. Очень любила. И—в разговорах со мною—иногда вроде бы и отдавала ей предпочтение. Но именно—вроде бы.

Любила она стихи обеих—и Цветаевой, и Ахматовой.

С Ахматовой была она знакома. В комнате Марии Николаевны всегда висела её фотография.

Между прочим, рассказывала мне Мария Николаевна, что приходилось ей стоять в тридцатых годах, в Ленинграде, вместе с Анной Андреевной,—в очередях, тех самых, тюремных, из ахматовского «Реквиема»—помните?

«Показать бы тебе, насмешнице и любимице всех друзей, царскосельской весёлой грешнице, что случится с жизнью твоей,—как трёхсотая, с передачею, под Крестами будешь стоять и своею слезой горячею новогодний лёд прожигать. Там тюремный тополь качается, и ни звука—а сколько там неповинных жизней кончается...»

Это там, именно в этих очередях,—было то, о чём Ахматова пишет в предисловии к «Реквиему»:

«В страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то «опознал» меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо (там все говорили шёпотом):

— А это вы можете описать?

И я сказала:

— Могу.

Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было её лицом».

И с Павлом Николаевичем Лукницким, человеком, создавшим летопись жизни и творчества Николая Гумилёва, а потом собиравшим и систематизировавшим материалы о жизни и творчестве Анны Ахматовой, в молодости дружила Мария Николаевна.

Помню старую фотографию: вместе с широко улыбающимся красавцем, Павлом Лукницким, плывут в лодочке две красавицы-сестры Изергины.

Мария Николаевна иногда Лукницкого вспоминала.

Говорила о нём:

— Прекрасный человек. Из культурной семьи. Дворянин.

Или, с явным, гордым одобрением в голосе:

— В Александровском корпусе учился. В Пажеском корпусе учился. Красив был—невообразимо!..

И, словно резюмируя:

— Молодец! Многое для русской культуры сделал!..

Её общение с людьми было вообще очень широким.

В этом, с годами всё расширяющемся, означенном светом высокой духовности круге находились и прекрасно уживались представители сразу нескольких поколений, от стариков до зелёной молодёжи.

Помню на веранде у Марии Николаевны скульптора Анатолия Ивановича Григорьева, скульптора очень серьёзного, очень крупного—и, как это ни досадно, всё ещё должным образом не оценённого, хотя многообразное и сложное творчество его давно говорит само за себя.

Надо—смотреть и видеть. Но ещё и—увидеть. И понять. Искусство—может подождать, конечно. Может—ждать. Годами. Десятилетиями. И даже веками.

Если оно настоящее, то—увидят, наконец. И поймут, даст Бог. Так и будет—потом, в грядущем.

Но—насколько же лучше стали бы люди, если бы они многое увидели и поняли—вовремя!

Григорьев довольно долго пробыл в сталинских лагерях.

Огромное количество его работ—погибло.

Его пасынок, Юра Арендт, рассказывал мне, что одиннадцать грузовиков работ григорьевских

были в своё время вывезены из мастерской его и оставлены где-то на хранение, да там и сгинули.

Григорьев был женат на Ариадне Александровне Арендт, представительнице знаменитой династии врачей, когда-то — выходцев из Швеции, давно обрусевших, — и один из Арендтов лечил Пушкина.

Ариадна Александровна сама была великолепным скульптором.

А ещё она была — старинной, близкой подругой Марии Николаевны Изергиной.

Григорьев и Арендт построили себе дом в Коктебеле, дом с двумя небольшими мастерскими. Они жили здесь подолгу — и оба много работали.

В период смога, весной шестьдесят пятого года, скульптор Геннадий Бессарабский познакомил меня с Григорьевым.

Анатолий Иванович звал меня к себе в Коктебель:

— Приезжайте, Володя! Будете жить у нас.

Я был изгнан из Московского университета. Многие мне сочувствовали. Известность моя в Москве была тогда велика.

Григорьеву очень нравились мои стихи. Он слушал, как я их читал, в мастерской Гены Бессарабского, при свечах, где Гена сидел в своём инвалидном кресле чуть в стороне от всех, а за длинным деревянным столом сидели Генина жена, Маша, поразительной доброты и внутреннего света женщина, и Григорьев, живо реагировавший на каждое слово стихов, небольшой, но такой уж ладный, что хотелось сказать — крепенький, в очках, поблёскивающих отсветами мерцающих свечей, с несколько всклокоченной бородкой, и слушал стихи, и всплёскивал руками, и всё звал меня к себе:

— Приезжайте к нам! У нас вам будет хорошо, Володя!..

Но я уехал тогда на Тамань, в археологическую экспедицию. Меня вела — судьба.

Беспокоить своим присутствием в доме двух пожилых людей — Анатолия Ивановича и Ариадну Александровну — я стеснялся.

В Коктебеле — заходил к ним, Тогда, когда удавалось вырваться из экспедиции, ненадолго, — в Крым, в том же шестьдесят пятом. Да и позже навещал двух этих замечательных скульпторов.

Так получилось, что с Григорьевым был я знаком даже немного раньше, чем с Марией Николаевной Изергиной. Но — всё в том же, столь значимом для меня, шестьдесят пятом году.

Вспоминаю Ариадну Александровну Арендт, сидящую в инвалидном кресле, в своём коктебельском доме, тихую, светлую, поднимающую к людям, к солнцу своё открытое миру и свету, судьбе и творчеству, прекрасное, исполненное благородства и внимания, чистое лицо, её чуткий, полный участия ко всему происходящему в доме и бесконечного терпения, очень ясный, всё запоминающий взгляд, выражение глаз её — горестное и радостное, её седые, убранные назад волосы, её крепкие, крупные, сильные руки — рабочие руки, руки мастера, её прямой, как у Гёте, нос, её густые брови и высокий, чуть загорелый лоб, вспоминаю исходящую от неё, от всей её фигуры, от этой породистой головы, от этих творческих рук, этих творческих глаз силу, силу воли, силу духа, силу верности избранному Пути, — и снова, как и больше тридцати лет назад, восхищаюсь красотою её, да и красотой всех этих коктебельских людей — и мужа Ариадны Александровны, Анатолия Ивановича Григорьева, тоже красивого ведь человека, и подруги Арендтов — Марии Николаевны Изергиной, и Надежды Януарьевны Рыковой, и Анастасии Ивановны Цветаевой, и Марии Степановны Волошиной, — красотою — людей волошинского круга, красотою — словно сотворённой и благословлённой самим Волошиным.

Григорьев захаживал к Марии Николаевне на веранду. Они были почти ровесниками. Анатолий Иванович был на год старше. Он мог ходить — потому и приходил порой сюда, один.

А вот Ариадну Александровну надо было — навещать. Что и делала Мария Николаевна с большой охотой, навещая свою подругу Алю на протяжении долгих лет.

Дружба Арендтов — так все называли эту супружескую пару — с Марией Николаевной — целая эпопея. Или, скорее, летопись. Во всяком случае — это одна из важных страниц в истории русской культуры.

И чрезвычайно важно было бы, если бы сын Ариадны Александровны, Юрий Арендт, сам обо всём этом рассказал.

В моём коктебельском доме есть каталог произведений Ариадны Александровны, каталог её выставки.

На титульном листе — надпись:

«Дорогому Владимиру Алейникову, одарённейшему поэту, сердечно, А. Арендт, Ю. Арендт. 23.IX.1991».

Две подписи. Григорьева тогда уже не было в живых.

Ариадна Александровна написала воспоминания о некоторых близких ей людях, начиная с Волошина.

Пора и Юре писать свои воспоминания. Ей-богу, пора!..

По складу ума своего была Мария Николаевна Изергина независимой в суждениях, сдержанной в выражении собственных чувств, но была и удивительно внимательной к окружающим её людям, даже порой готовой к самопожертвованию, способной на всё одним махом решающие поступки.

Нередко она первой делала шаг навстречу новому для неё человеку, угадав в нём то, что считала подлинным.

Так в годы моей молодости, навсегда связанной с Коктебелем, было и со мной.

Наша встреча оказалась для обоих—знаковой.

Очень многому я у неё научился. Просто очень многому. Перечислять, чему именно, я не стану. Это—в памяти, в сердце, в душе. Поверьте на слово.

Очень многое, с огромным тактом, ненавязчиво, но и целенаправленно, зная, что будет это мне только на пользу, дала она мне.

По натуре была она, конечно, мистиком—не занудным, западного толка, а настолько оригинальным и тонким, не зависимым ни от кого, была—сама по себе, со своими парадоксами, прозрениями, выводами, проникновениями в тайное, которое так любила она превращать в явь, что и сопоставить-то не с кем.

Она порой казалась мне ведической богиней Явью, а дом её—храмом Яви. Потому что её Явь, её настоящее—оказывались вне категорий, изобиловали жизнетворной энергией бытия.

Была она отменно образована. Всегда приятно это подчеркнуть. Читала и говорила на нескольких языках.

В семье у них все были образованными людьми.

Семья жила в Симферополе, в собственном доме. Имелось и загородное поместье.

Отец Марии Николаевны родом был из Тверской губернии, занимал какую-то важную должность в Крыму.

Вспоминая своего отца, Мария Николаевна непременно подчёркивала, как он, позаимствовав понравившееся ему изречение у кого-то из древних, любил приговаривать: «Там, где я,—нет провинции!»

Этим лишний раз давал он понять окружающим, что умный и способный человек, живя в любом месте российской державы, всегда найдёт применение своим способностям и силам—на пользу отечеству, разумеется.

Отец состоял на государственной службе и с обязанностями своими, судя по всему, справлялся прекрасно.

Да и в общественной жизни Крыма, и в культурной жизни процветавшего до революции полуострова был он фигурой заметной.

А мать Марии Николаевны, красавица-англичанка, занималась воспитанием детей—двоих дочерей.

Надо сказать, это ей удалось.

Обе сестры Изергины были начитанны, образованны, музыкальны, с малых лет владели иностранными языками, обе тяготели к искусству,—будучи при этом обе хороши собою, прелестны, обаятельны, талантливы и умны.

Младшая сестра Марии Николаевны в дальнейшем была известным искусствоведом, долго работала в Эрмитаже.

Мария Николаевна была известной певицей. Голос у неё был просто чудесным—настоящее сопрано. Кроме того, была она и прекрасной пианисткой, аккомпаниатором.

Она работала в театре, позднее—преподавателем музыки и пения в разных музыкальных учебных заведениях.

До войны—училась и работала. Во время войны—постоянно бывала с концертами на фронте. После войны—опять работала.

Году в пятьдесят седьмом она окончательно поселилась в Коктебеле. Построила себе дом.

Главнейшим же даром Марии Николаевны—был дар общения с людьми. Он заключал в себе поистине уникальный синтез—всех искусств, человеческих способностей, дарований, качеств и достоинств, ума, такта, обаяния, понимания людей—и ещё столько всякого, самого разного, соединённого воедино, параллельного и сопутствующего, врождённого и приобретённого в результате жизненного опыта, что лучше вовремя прекратить—хотя бы пока что, на некоторое время,—уже назревающий перечень многих выдающихся достоинств этой женщины.

Итак, семья Изергиных жила в Симферополе.

О том, что значила для этой благополучной, счастливой семьи смена власти в стране и сколько бед всем им пришлось претерпеть, я распространяться не стану.

Вспомню лучше рассказанный мне однажды Марией Николаевной эпизод из времён гражданской войны.

Мать Марии Николаевны была женщиной с очень развитым чувством собственного достоинства, с ясным умом и твёрдым характером. В любой жизненной ситуации она оставалась верна своим принципам и не теряла присутствия духа.

Случилось так, что в симферопольский дом к Изергиным нагрянул, неожиданно для всех, отряд красноармейцев с жёстким предписанием: реквизировать имущество у буржуев.

Красноармейцы вели себя вызывающе. Всем видом своим они словно показывали: ну вот, сейчас вы своё получите!

Особенно преуспел в этом командир отряда, молодой парень, вполне заурядного, простецкого вида.

Он прямо-таки пылал ненавистью к буржуям и эксплуататорам трудового народа, просто изнывал от нетерпения—немедленно начать отбирать всё подряд. Он так горел этим желанием—реквизировать всё имущество в ненавистном ему доме, у неизвестных ему, но тоже ненавистных каких-то там Изергиных, что, казалось, вот-вот вспыхнет, как сухой хворост или как спичка. Он то бледнел, то багровел—то ли от повышенного

осознания им своего революционного долга, то ли от ярости и гнева.

Он желал — отобрать всё, до последней ниточки. Для дела революции, понятно. Не для себя же. Он был революционный идеалист. Встречались тогда и такие, и в немалом числе.

Он был грозен в своём порыве. Его уже несло. Он кричал. Он надвигался на Изергиных, крича и ругаясь. Он не владел собой. Ему надо было — действовать!

Сёстры Изергины под натиском ворвавшихся в их дом чудовищ растерянно жались к роялю. От отчаяния они готовы были зарыдать. Но они сдерживали себя. Они были — Изергины. Нельзя было показывать революционной солдатне свою слабость.

Их мать, красивая, статная, неподвижно стояла посреди комнаты.

Командир отряда вплотную придвинулся к ней и торжествующе сказал:

— Ну, всё. Начинаем! Вон сколько здесь добра!

Мать Марии Николаевны спокойно сказала ему:

— У меня есть охранная грамота!

Тот запнулся, насторожился:

— Где? Как? Почему это? А ну покажите!

Мать, ни на секунду не теряя самообладания, держась по возможности уверенно, независимо, а по привычке — прямо, с достоинством, подошла к секретеру, выдвинула неторопливо ящик, вынула оттуда первую попавшуюся бумажку, какую-то старую квитанцию, — и протянула её командиру:

— Вот, пожалуйста! Читайте!

Тот схватил протянутую ему бумажку и впился в неё глазами.

И вдруг он покраснел, как-то замялся, стушевался, сник.

Что вело эту смелую женщину? Что заставило её так рисковать? Каким чутьём поняла она, что командир красноармейцев — неграмотен? Трудно сказать. Думаю, было это наитие. Даже озарение.

А теперь она твёрдо знала: этот простецкий с виду молодой парень — совершенно точно не умеет читать!

Командир отряда поводил по бумажке глазами, повертел её в руках, нарочито придирчиво присмотрелся к имевшейся на бумажке печати, пошевелил зачем-то губами, будто ещё раз внимательно читая текст, — да и протянул эту завалявшуюся в ящике секретера старую квитанцию молча стоящей перед ним прямой и стройной даме:

— Всё в порядке! Охранная грамота на имущество имеется. Извиняйте за беспокойство.

Мать Марии Николаевны невозмутимо взяла бумажку и положила её обратно в секретер. Задвинув поплотнее ящик, она повернулась к командиру красноармейцев и внимательно, с укором, посмотрела на него.

Тот окончательно смутился. Надо было срочно выпутываться из создавшегося неловкого положения.

— Хлопцы! — стараясь придать своему срывающемуся голосу должную уверенность, обратился он к ожидающему его команды отряду. — Ошибочка вышла. Айда отсюда!

И отряд, громыхая по полу сапогами и прикладами винтовок, удалился из дома.

Громко хлопнула за ними входная дверь — и всё затихло.

Сёстры Изергины потрясённо смотрели на мать.

Мать — смотрела на дочерей.

Потом она снова достала спасшую их случайную квитанцию.

Все вместе, втроём, они стояли и смотрели на эту бумажку. Это была — немая сцена, прямо как в спектакле.

Некоторое время длилось общее их молчание.

И только потом все трое дружно расхохотались.

Смех смехом, а дом был спасён.

Пока что спасён. А потом…

Ещё эпизод, из той же эпохи.

Юная Мария Николаевна ехала в поезде.

Зачем-то понадобилось ехать.

Ехала она всего-то — от Симферополя до Бахчисарая. Но — в битком набитом людьми вагоне, и даже не в вагоне, а в тамбуре. Ехала она целый день.

И в этом тамбуре так плотно стояли пассажиры, со своими мешками и вещами, что, попытавшись хоть немножко продвинуться вперёд и подняв ногу, Мария Николаевна уже не сумела поставить её обратно на пол: места не было.

Так и простояла она целый день, до самого Бахчисарая, на одной ноге.

Когда-то, очень давно, в юности или даже в отрочестве, Марии Николаевне гадала цыганка.

Эта цыганка нагадала, что проживёт Мария Николаевна девяносто три года.

Об этом необычном, странном гадании много раз Мария Николаевна вспоминала.

И ведь в самом деле, гадание отдавало пророчеством.

Так ведь всё и случилось.

Мария Николаевна, получается, словно закодировала себя на все свои годы. И прожила действительно девяносто три года. Ещё и на полгода больше — из упрямства ли, вопреки ли конкретике предсказания, или просто — от рисковости, бывшей в её характере, — ну прямо как её мать, протянувшая командиру красноармейского отряда вместо охранной грамоты случайную бумажку, или ещё по какой причине — уж и не знаю, — но это была Мария Николаевна, а не кто-нибудь, и она и в этом отчасти победила судьбу, и воля её оказалась сильнее воли цыганки-гадалки.

Мария Николаевна была настоящей дамой—той, прежней ещё, самой крепкой закалки.

Передать это я даже и не берусь.

Это следовало видеть самому, это надо было оценить, прочувствовать.

Сколько шарма и всепокоряющего обаяния таилось в этой невысокой, до глубокой старости стройной, с прекрасными манерами, с прямой спиной, с открытым лучистым взглядом голубых глаз, с изящными маленькими руками, с чудесными пушистыми волосами, и вовсе не хрупкой, нет, крепенькой, ладной, пропорционально сложённой женщине, которую и язык-то ни у кого не поднимался назвать старухой!

Какая там ещё старуха? Чушь!

Молодость, вечная, как весна, всегда жила в ней.

Она умела быть естественной в отношениях абсолютно со всеми, сразу находила общий язык и с теми умниками из интеллигентской среды, что называются высоколобыми, и с местными жителями, и со старинной её, задушевной приятельницей, молочницей Клавой, добрых сорок лет, наверное, приносившей к ней на веранду свежее, недавно надоенное молоко и страсть как любившей присесть ненадолго, потолковать о том о сём.

Вот уж кто любил Марию Николаевну—так это Клава.

Иногда я вижу её в посёлке.

Клава, женщина простая, деревенская, истовая труженица, одна, без давно умершего мужа, вытаскивающая на своих плечах огромное своё хозяйство, в котором, помимо целого стада коров, есть ещё и всякая домашняя птица, и кабаны, и кошки, и собаки, Клава, работающая год за годом, от зари и до зари, и вместе с тем натура ещё и романтичная, поэтическая, потому что, разыскивая порой своих разбредшихся по окрестным холмам коров, любит она думать свои думы, провожает улетающих на юг журавлей, сочиняет даже собственные песни—и поёт их, там, подальше от всех, на холмах, для души,—Клава, человек очень хороший, верный Марии Николаевне человек, вспоминает её с такой любовью, с такой нежностью, находит для выражения своих мыслей и обуревающих её чувств такие светлые, предельно искренние, глубокие и добрые слова, что у меня порой слёзы наворачиваются на глаза, когда я слушаю её сбивчивые, но просто потрясающие меня своей откровенностью и неугасимой любовью речи.

Вот что значит душевная связь, незаметно, да зато уж навсегда переросшая в духовную!

И всё это—Мария Николаевна. Её воздействие. И её свет.

Иногда мне кажется, что она всё видела насквозь.

Когда-то сказанное ею—сбывается.

Всё связанное с нею—с годами обретает особый, более глубокий смысл.

В конце ноября девяносто первого года сидим мы вдвоём у Марии Николаевны на веранде, беседуем потихоньку.

Речь зашла об архетипах.

Мария Николаевна:

— Вот, кстати, об архетипе. Мария Степановна Волошина. Помните её, Володя?

Я:

— Ну ещё бы!

Мария Николаевна:

— Так вот что я вам скажу. Мария Степановна взяла на себя роль Бабы Яги. Да-да. Сидит в избушке. То есть у себя в доме. В своём доме. В волошинском доме. В Доме Поэта. Сидит, охраняет дом. Сохраняет дом. Кому хочу—открою, захочу—не пущу никого!

— А ведь точно!—согласился я.—Каково ей было всё сберечь в целости и сохранности? Ведь другого такого, до любой мелочи сохранённого, дома—нигде больше в мире нет.

Мария Николаевна:

— Помните эту историю с дамой, этакой из себя, женой какого-то крупного партийного чиновника, той, что рвалась в Дом Поэта, прямо-таки с боем рвалась—посмотреть «руку Волошина»? И Мария Степановна её—не пустила!

— Помню,—сказал я.

— Баба Яга!—убеждённо сказала Мария Николаевна.—Была Мария Степановна—Баба Яга. Настоящая. Хорошая Баба Яга. Потому всё и уцелело. Вот вам и архетип!

Как-то—об одном нашем общем знакомом, человеке маленького роста:

— Все маленькие мужички—Наполеончики. Маленькие Наполеончики. Уж я-то знаю. Навидалась. Повадки, амбиции—Наполеончиковые!.. И этот гражданин—вылитый Наполеончик!..

И опять—абсолютно верно.

Максимилиана Александровича Волошина знала Мария Николаевна с детства.

Волошин часто бывал в доме у Изергиных, в Симферополе.

В Коктебеле в первый раз побывала Мария Николаевна в двадцать первом году.

Жила она, разумеется, у Волошина.

Было голодно. Иногда—очень голодно.

В посёлке имелась столовая. Там давали обеды—Волошину и его матери, которую все звали Пра.

Иногда в этой столовой кормили обедами и Марию Николаевну. И случалось даже, что выдавали, в дополнение к скудному обеду, по два куска хлеба, намазанного солёным смальцем. Роскошь! Деликатес!

Мария Николаевна, семнадцатилетняя, вечно полуголодная, так мечтала всегда—откусить, хоть немножко попробовать, хоть самую малость, чуть-чуть—откусить этого редкостного яства!

Но всегда—сдерживала себя. Проявляла силу воли.

И приносила этот намазанный смальцем хлеб—изумлённому Волошину.

Что тут скажешь? Характер!

Зимними вечерами, живя в Коктебеле, оставаясь в своём доме совсем одна, садилась, бывало, Мария Николаевна за рояль—и пела, аккомпанируя себе, романсы. Для себя. Для души.

А иногда пела—«для Маруси». То есть для Марии Степановны Волошиной.

В Доме Поэта сохранились магнитофонные записи её голоса.

Да и в первое наше знакомство—Мария Николаевна пела.

Я приехал с друзьями из экспедиции, с Тамани. Направились мы прямиком в волошинский дом. А там—обе подруги: и Маруся, и Муся.

Лето шестьдесят пятого. Июнь. Море за окном волошинской мастерской. Листва за окном гостиной. Рояль.

И—голос Марии Николаевны. Дивное, светящееся сопрано.

Сколько лет уж прошло с тех пор—а так и звучит в душе этот голос…

Или это—свет?..

Она чуяла свет, потому что была с ним в родстве.

Мне, в письме:

«Дорогой Володя! Спасибо вам за светлое письмо. Помните, что я ваши стихи очень люблю. Они светлые, и вы в них никогда не ноете. Я очень не люблю и меня раздражает это повальное трагедийное нытьё и просто нытьё. То, что вы прислали мне,—прелестное стихотворение».

— Мне моря грезятся незримые круги…

Элегия о счастье Коктебеля…

Мария Николаевна, лет двадцать, пожалуй, назад,—мне:

— Очень рада, что вы живёте в ладу и с Людой, и с жизнью.

И я этому ладу—рад.

Её внимание к людям, её участие в их жизни, её верность своему окружению—оказались благотворными для нескольких поколений коктебельцев, перебывавших в её доме.

Её мистичность была для неё столь же органичной, сколь и практическая жилка, а вернее, то умение выживать, которому она вынуждена была научиться.

Её отношение к каждому прожитому дню, каждому событию, каждому знакомому человеку было настолько своеобычным и каким-то доверительно-предопределённым, что можно было поверить: из ничего, на пустом месте, просто ради торжества жизни и человеческой радости, она способна вырастить цветок—или сад, с виноградными лозами, на которых зреют тяжёлые сочные гроздья, со знаменитыми розами «Глория Дей», похожими на благоухающие частицы солнца, с роскошно цветущей дымчато-лиловатыми кистями, невероятной, вовсю разросшейся глицинией, раскинувшейся над домом; она способна была сама—творить.

Вот что произошло со мной месяц назад.

Сказать об этом надо, потому что это очень даже в духе Марии Николаевны и лишний раз говорит о её присутствии в мире.

Я работал над этой книгой.

Как-то всё не клеилось, мысли расползались, голова побаливала.

Бывают такие состояния, когда пишешь большую вещь,—промежуточные, с раскачкой, с желанием перевести дух, а там как Бог даст, авось всё и сдвинется с места, и пойдёт сызнова.

Это ещё и пограничные состояния, очень интересные сами по себе, когда, несмотря на замедленность работы, конкретного дела твоего, всё внутри тебя обострено, все нервы, все клетки твои почему-то обладают повышенной чувствительностью, и ты понимаешь, что так надо, что состояние такое—почва для нового рывка, для подъёма духа, и надо просто ждать.

Так вот, я томился чем-то, маялся, чего-то ждал.

И вдруг я ощутил словно некий зов.

Я почувствовал внутренний толчок, у меня сразу сильнее забилось сердце.

Мне тут же, незамедлительно, захотелось разыскать фотографии Марии Николаевны. Они находились где-то здесь, в моих бумагах, среди всех этих повсюду лежащих ворохов.

Я стал искать фотографии. Перерыл все бумажные груды. И нашёл их—одну фотографию шестьдесят пятого года, как раз того времени, когда мы с Марией Николаевной познакомились, и три фотографии девяностых годов, очень хорошие, где образ её был так выразителен. Я поставил эти фотографии перед собою, стал разглядывать их.

Я смотрел на Марию Николаевну. Мне казалось, что я разговариваю с нею, как и прежде, ещё сравнительно недавно, на протяжении тридцати четырёх лет. Я слышал её голос, видел её глаза.

И тогда я сел за стол и набело записал довольно большой кусок прозы—о ней. Писал я, всё время видя её перед собой.

Происходило всё это днём. Когда я закончил писать и опомнился, в окне было темно и стоял глубокий вечер.

Я вышел во двор.

На западе, за Тепсенем, где находится коктебельское кладбище, в небе, совсем низко над землёй, над отдалёнными кряжами, несмотря на всё сгущающуюся темноту, горела ровная, чистая полоса розовато-оранжевого, с золотистым искрением, ясного, не собирающегося угасать, света,—а чуть повыше в небе, но в том же направлении, сияла крупная, лучистая вечерняя звезда, на которую—я тут же вспомнил об этом—так любила смотреть из своего заполненного разнообразной разросшейся зеленью двора Мария Николаевна.

В чём же дело? Что за совпадения?

Всё это—не случайно.

Я возвратился в дом, закурил и стал довольно мучительно—потому что время, когда я помногу работаю, как-то смещается всегда у меня, движется с причудами, по-особенному,—припоминать, какое же нынче число. И вспомнил. Было двадцать девятое июня.

Ровно год назад мы в этот день захоронили на коктебельском кладбище, среди могил старых коктебельцев, урну с прахом Марии Николаевны, и народу там было немного, но зато все свои, и служил священник, и люди говорили хорошие слова, а потом, все вместе, пришли мы к Юре Арендту, где помянули Марию Николаевну, и тоже некоторые славные люди говорили о ней, и все мы вспоминали её, и на открытой с одной стороны просторной веранде, где мы сидели, прямо перед нами, на стене, была прикреплена фотография Марии Николаевны, тоже девяностых годов, напоминающая те, что есть у меня, что стоят и сейчас рядом.

Это её, Марии Николаевны, был зов.

Это от неё шёл ко мне творческий импульс.

Это стало мне ясно, как Божий день.

А сегодня, тридцатого июля, я переписываю фрагмент своей книги, те строки, где говорю я о Марии Николаевне, и отчётливо осознаю, почему я делаю это: завтра—тридцать первое июля, день её рождения под знаком Льва, ей исполнилось бы девяносто пять лет.

Вот такие у нас в Коктебеле, с его особенной мистикой, бывают истории.

Всё здесь взаимосвязано, как и в поэзии, всё происходит не напрасно, всё на своём месте здесь во времени и пространстве, и всему этому объяснение—коктебельский живучий Дух.

Вижу вас, милая, дорогая вы моя Мария Николаевна, вижу вас там, в вашей большой затенённой комнате, вижу вас—читающей книгу, вообще читающей, всегда читающей—на тех языках, которые вы знали, а вот вы за роялем, а вот поёте—редкостный голос, настоящее сопрано, а вот вы на своей веранде, где длинный деревянный стол, и деревянные скамьи по трём сторонам от него, и самодельный абажур, и всякие картинки на стенах, а там, в доме,—фотографии дорогих вам людей: очень немногие—висят, остальные, многие,—убраны, но иногда достаются, пересматриваются, и письма—тоже там, в доме, в вашей комнате, письма—от самых разных людей, с которыми вы дружите давно, с которыми вы хорошо знакомы, с которыми вы познакомились недавно, когда они были здесь, у вас,—письма, сложенные в аккуратные стопочки, разобранные по адресатам, по годам,—и вы их тоже иногда достаёте, перечитываете, да и прячете обратно,—или отвечаете своим корреспондентам, исписывая листочки-четвертушки почтовой бумаги своим очень разборчивым, неторопливым почерком, вкладываете эти листочки в заранее припасённые конверты, чтобы завтра отнести на почту, или там же, у себя в комнате, записываете вы в большеформатные тетради события и впечатления дня—одно за другим, в столбец, лаконично, чётко,—привычка, но зато потом, через годы, посмотрите под настроение, что там, в этих ваших дневниках,—и сразу же отчётливо вспоминается то, что было,—и уже вечереет, но ещё не вечер, скоро соберутся гости, пойдут опять разговоры, но это уж как всегда, а главное—всем здесь, у вас, хорошо, все здесь как дома, а вот утро, и вы выходите на веранду, хозяйка неповторимого, незабываемого дома, и пьёте свой традиционный кофе, а по привычке, ещё до завтрака,—принимаете памирское, прямо оттуда, с гор, неочищенное, натуральное мумиё, и вы оживляетесь, входите в день, выходите в свой сад, и на душе у вас покойно, и вы улыбаетесь, глаза чуть сощурены, в уголках их, под ними и во все стороны от них—веерообразные морщинки, и губы полуоткрыты, зубы целёхоньки и белёхоньки, лицо загорелое, головка точёная, во всей фигуре—собранность, стать, и только волосы, белые ваши волосы, легчайшие, пушистые,—вы уже перестали их подкрашивать, надоело,—белейшие, ковыльные ваши волосы окаймляют ваше лицо, ваши глаза, вашу улыбку, взлетают под ветром, струятся, приникают к загорелой коже, раскидываются вокруг вас, как будто это сам солнечный свет, его струение, сияние, и в мире воцаряется лад, и так в нём светло, и так всегда радостно быть вот здесь, вместе с вами, посреди лета, посреди света, рядом.

Она тоже была человеком самиздата—и это ещё более нас с нею сближало.

Мы оба были старинные единомышленники, почти заговорщики.

Она читала—всё, знала—всё.

Любой мало-мальски приличный поэт или прозаик, музыкант или артист, любой деятель искусства, оказавшийся в Коктебеле, считал своим долгом нанести ей визит. Хотя в девяти случаях из десяти уместнее было бы сказать: прийти на поклон.

Она разбиралась, ох как разбиралась и в текстах, и в людях.

Далеко не каждому был открыт её дом.

Она была проницательна. Иногда, вдруг, по наитию,—прорицала. Холодом прошибало тогда оторопевших гостей.

Она была бесконечно добра к своим любимцам, но и вообще была добра к людям, в целом, несмотря на тяжёлый свой жизненный опыт.

Феноменальным был её выбор, отбор, везде и во всём: самое главное, самая суть, самое—то, и навсегда.

Она была в доску своей среди нашей неофициальной, богемной пишущей и рисующей публики.

Человек самиздата, собрала она большой архив, и в нём представлены были практически все чего-то да стоящие авторы.

У неё хранилось множество моих самиздатовских сборников, рукописей, рисунков.

Она берегла эти бумаги, держала отдельно от прочих, постоянно и внимательно перечитывала.

Она—из любви своей к моим стихам—собрала, отобрала все эти мои бумаги в своё, удельное, владение.

Она никогда не разрешала выносить эти тексты из дома.

Она вообще мало кому позволяла к ним прикасаться.

Она словно ревновала их к другим людям.

И если на папках с текстами разных других авторов были просто написаны их фамилии, то на папках с моими стихами её рукою было крупно выведено: «Мой Алейников».

Частенько, чтобы или подразнить, или раззадорить, или осадить, или раз и навсегда поставить кого-то на место, подчёркивала она, адресуясь к гостям своим, в основном и пишущим стихи или прозу, своё особенное отношение ко мне, выделяемость ею меня из других, непохожесть на других, обособленность среди других, и это всегда действовало.

Была она человеком собственных принципов и ясной для неё, прочной позиции в жизни, с любыми её градациями, от повседневности до высоких материй, до парения духа.

А насколько, при всей своей твёрдости, порой и властности, была она женственной, была женщиной, поистине прекрасной, с головы до ног, обаятельной, даже больше, обладающей той особой притягательностью, за которой встаёт—тайна.

Судя по фотографиям, в молодости была она удивительно хороша собою.

Невысокая, вся этакая ладная, всё в ней пропорционально, ну, миловидная, и всё в ней вроде бы как у всех, но—нет, не как у всех, а всё—своё, собственное, а за светлым обликом её—скрытый от лишних глаз и всё же раскрывающийся тем, кому она верила, внутренний её образ, духовный.

Диво дивное, да и только.

Бывают же такие чудесные люди!

Она радовалась моим, наконец-то вышедшим одна за другою и незамедлительно подаренным ей, с соответствующими тёплыми надписями, книгам—радовалась так, как не радовался, наверное, я сам.

Она постоянно держала их при себе. Никому не давала читать, даже на короткое время.

Она читала их, читала, перечитывала, она вчитывалась в тексты так, что я начинал понимать: это часть и её жизни.

Это было—её, родное.

А как она любила и умела слушать стихи!

Мало кому это дано.

Уговорит почитать, бывало. Сидим у неё на веранде. Я—перед нею. Она—напротив. Я читаю ей.

И вижу, краем зрения—вижу: всё в ней вдруг раскрывается—глаза, всё лицо, губы, она вся—слух, вся—внимание, порыв навстречу звуку, слову, и я чувствую, как стихи входят в неё, как она воспринимает их по-особому, всем, что есть в ней, движением всей фигуры её, как-то откинутой, свободно приподнятой над прямоугольником стола, как у певчих птиц, и руки, жесты их—певучие, и это отключение себя от всего остального, лишнего, мешающего слушать, это переключение себя только на музыку стихов, на звучащую речь, эта заворожённость звуком, песней, восторг, за которым—громадная память, в ней всё и останется, эта её радость общения, с глазу на глаз, один на один, и внимание, внимание, а за ним—редчайшее понимание, такое, ради чего жить стоит,—незабываемо!

Несколько позже, в начале девяностых, уже хорошо изучив мои изданные книги, она развила свою, приведённую выше, мысль, записала её на случайном листке и отдала мне.

Вот эти её слова: «На фоне поэтического нытья стихи Владимира Алейникова, даже печальные, прямо-таки благовестят о свете и радости. Для меня они волшебные. Их не надо объяснять, их надо слушать».

В середине девяностых, там же, у себя на веранде, разом прекратив нелепые, раздраживившие её споры молодёжи о том, кто есть кто в поэзии,—она решительно изрекла:

— Алейников—русский поэт, потому что он мыслит по-русски.

Вот что она понимала куда лучше других!

И наконец, уже незадолго до смерти, году в девяносто седьмом, она, постаревшая после перенесённого инсульта и несколько от этого напряжённая, но по-прежнему внутренне собранная,

малоразговорчивая, но мыслящая на удивление отчётливо и ясно, как и всегда, читавшая опять у себя в комнате мои книги, вышла вдруг на веранду, к гостям, к своим постояльцам, с палочкой, спокойная, светлая, вся — свет, белые волосы вразлёт, голова вскинута, помедлила, а потом ясно и просто сказала:

— Алейников в поэзии — гений.

Господи, Мария Николаевна!..

Нет её теперь в Коктебеле — и что-то очень существенное ушло, и наследники продали дом, а новые владельцы вознамерились построить новый, в стиле новых русских, и распорядились сломать тот, незабвенный, столь дорогой для нас всех, и почему-то очень долго его ломали, никак не хотел он исчезать — да потому, что велика там была концентрация духа, огромна была накопленная почти за сорок лет энергия, — и разрешили эти новые владельцы окрестным жителям, всяким хваткким тёткам, забрать всё, что приглянется, — не только мебель, утварь, но и книги, и бумаги, и вообще всё, что находилось в изергинском доме, — те и стали тащить, увозили добро тачками, машинами, несли на руках, и всё растащили, совершенно всё, — и образовалось на месте дорогого дома — чудовищное зияние, и засохла от обиды оставленная было для красоты глициния, захирел сад, оставленный на хранение соседям рояль пожирают жуки-древоточцы, сложенные во дворе стройматериалы потихоньку разворовали, дохнуло таким запустением, что сердце сжималось, когда увидишь его, — но ведь это была Мария Николаевна, и это была особая коктебельская мистика, а потому далеко идущие планы новых владельцев рухнули в одночасье, грянул гром, разразился прошлогодний августовский кризис, деньги в банке у новых владельцев «накрылись», строительство нового их дворца заглохло — да и вряд ли будет возведён на этом вот осквернённом месте достойный дом! — а тот, прежний, дом Марии Николаевны, её дом, всех нас — дом, жив, существует, пусть и в памяти, но он есть, потому что жив и дух Коктебеля, — и порой идём мы вдвоём с закадычным моим и самым верным другом, большим, десятилетним эрдельтерьером Ишкой, Ивасиком, которого так любила Мария Николаевна, и сам он очень её любил, идём мы с ним возле Долинного переулка, где был дорогой для нас дом, — и вдруг Ишка вытягивает голову, напрягается, вглядывается вперёд, а потом, натягивая поводок, рвётся туда, к Марии Николаевне, оглядывается на меня: ну идём, идём туда скорее! — словно чует что-то впереди, и тянет меня туда, спешит, и я иду за ним, и вот мы приходим — на руины радости...

И всё-таки верю я, что в эти минуты Мария Николаевна — именно там, с нами, у себя, в своём доме.

Белые волосы вьются, плещутся на ветерке. Поднята высоко и гордо точёная голова. И улыбка — ну кто ещё так улыбался? И эти глаза, голубые, с прищуром.

Вот она машет рукой. Сейчас услышу и голос. Ну, здравствуйте.

— Вы ждёте?

— Да.

— Вы рады?

— Да.

— Вы бессмертны?

— Да.

Лёгкая, ладная. Светлая, светлая.

Горлицы кличут, и собираются в небе, клубясь, облака, с картин Богаевского прямиком переходят в небо над нами, и над Святой горою плотная шапка облачка, будет дождь, будет плач, будет радость в природе, пахнет сизой полынью, пахнут розы, склоняясь над низкой оградой, будет дождь, по холмам порыжевшим проходят лиловые тени, серебром растекаются заросли диких маслин, пробивается солнце сквозь вязкую мглу над расплёснутым чашею морем, будет новая жизнь, будет свет над седой головой.

Будет всё, что должно обязательно быть, что не может не быть, будет мир над землёй благодатной, и воскреснет, я знаю, благословенный ваш дом.

Смотрит на меня с фотографий Мария Николаевна, внимательно смотрит.

И я смотрю на неё.

Она жива. В Коктебеле вечер. Поют сверчки и цикады. Звёзды совсем близко, за ветвями деревьев. Собирался было дождь, но прошёл стороной. Тепло и тихо, темно и светло.

Слышу её голос. Она просит меня почитать ей стихи.

Никто нам не мешает. Мы вдвоём среди этого летнего вечера.

Да, Мария Николаевна, я почитаю вам.

Вот хотя бы это, написанное летом шестьдесят пятого года, когда, познакомившись с вами, я впервые побывал в вашем доме, стихотворение.

Вы пришли в Дом Волошина, где мы четверо — я, Михалик Соколов, Аркадий Пахомов и Фергес Фрейзер, — приехавшие с Тамани, прямо из археологической экспедиции, усталые, худые, молодые, сидели у Марии Степановны Волошиной, — помните?

Мы разговорились тогда, и мне даже не показалось и не подумалось, а поверилось, что знаком я с вами давным-давно.

Вы пели тогда. Как вы пели! Мы слушали, слушали вас. Близился вечер, нам надо было где-нибудь переночевать. Михалика и Фергеса оставила у себя Мария Степановна.

А меня с Аркадием вы повели к себе.

И сейчас я до секунды, отчётливо, помню поразительное ощущение от ночлега в вашем доме—душевный покой, веяние свободы, распахнутое на юг окошко, ночной ливень, утреннюю свежесть окружающего мира и вашего сада, с ясной синевой и умытой зеленью в окне, с заглядывающими в комнату золотистыми розами,—и вас, улыбающуюся мне, говорящую утренние добрые слова, и весь этот коктебельский день с вами, и вечер, и чувство светлой радости, охватившее меня, измотанного тяжёлыми для меня событиями после разгрома СМОГа, измученного неопределённостью моего существования, но спасающегося, как всегда, творчеством.

— Когда, раскрывая окно, мы слышим кружение влаги…

Да, строй был рождён именно тогда, летом шестьдесят пятого. Книга, так и называющаяся, «Лето 65», была написана. Всё это вы прекрасно помните, как и все последующие чтения стихов из этой и из других моих книг—здесь, на вашей веранде.

Но давайте-ка вместе с вами перенесёмся сразу в девяносто первый год, когда, поселившись в Коктебеле, я писал «Скифские хроники».

Вы были тогда первой слушательницей и читательницей этих стихов, и дружили мы с вами уже двадцать шесть лет,—вот ведь как время шло. Зато вы были совсем рядом.

Тирсы Вакховых спутников помню и я, все в плюще и листве виноградной,—прозревал я их там, где встречались друзья в толчее коктебельской отрадной. Что житуха нескладная—ладно, потом, на досуге авось разберёмся, вывих духа тугим перевяжем жгутом, помолчим или вдруг рассмеёмся. Это позже—рассеемся по миру вдрызг, позабудем обиды и дружбы, на солёном ветру, среди хлещущих брызг, отстоим свои долгие службы. Это позже—то смерти пойдут косяком, то увечья, а то и забвенье, это позже—эпоха сухим костяком потеснит и смутит вдохновенье. А пока что—нам выпала радость одна, небывалое выдалось лето,—пьём до дна мы—и музыка наша хмельна там, где песенка общая спета. И не чуем, что рядом—печали гуртом, и не видим, хоть вроде пытливы, как отчётливо всё, что случится потом, отражает зерцало залива.

Ну вот ещё это стихотворение, вы любили его.

Оно—о самом важном для меня и для вас, о том, что в искусстве—навсегда.

Откуда бы музыке взяться опять?—оттуда, откуда всегда внезапно умеет она возникать—не часто, а так, иногда. Откуда бы ей нисходить, объясни?—не надо, я знаю и так на рейде разбухшие эти огни и якоря двойственный знак. И кто мне подскажет, откуда плывёт, неся паруса на весу, в сиянье и мраке оркестр или флот, прощальную славя красу? Не надо подсказок,—я слишком знаком с таким, что другим не дано,—и снова с её колдовским языком и речь, и судьба заодно. Мы спаяны с нею—и вот на плаву, меж почвой и сферой небес, я воздух вдыхаю, которым живу, в котором пока не исчез. Я ветер глотаю, пропахший тоской, и взор устремляю к луне,—и все корабли из пучины морской поднимутся разом ко мне. И все, кто воскресли в солёной тиши и вышли наверх из кают, стоят и во имя бессмертной души безмолвную песню поют. И песня растёт и врывается в грудь, значенья и смысла полна,—и вот раскрывается давняя суть звучанья на все времена.

Я немного устал, простите, Мария Николаевна. Передохну. Отвык читать. Не то что в прежние годы. Вы знаете. И простите меня, пожалуйста, за то, что в девяностых, когда мы с вами жили так близко друг от друга и так часто виделись, не всегда я откликался на ваши просьбы почитать вам стихи. Отнекивался, чудак: мол, потом какнибудь. Вы—понимали. Вздыхали и ждали. Это «потом» тянулось годами. Вы, любившая слушать мои стихи с голоса, читали их с листа, в моих книгах. И только изредка я словно спохватывался и читал вам. Ах, как вы слушали! Как не хватает мне вас теперь.

Вспомнил сейчас: читал я у вас вот это стихотворение, только что прочитанное, и у вас были люди на веранде, и кто-то с видеокамерой записал это чтение,—и, наверное, кассета с этой записью есть у этого кого-то, но мы-то с вами так её и не видели. Так вот всегда и бывало у нас с вами. У кого-то есть наши фотографии, где мы вместе, рядом. У кого-то—ещё что-то. А что у нас? У нас, Мария Николаевна, есть нечто неизмеримо большее—наше общение, которого теперь, это уже совершенно отчётливо ясно, ничем не заменишь, наша с вами дружба, которая для меня свята.

Что? Уже и полночь миновала? Вот ведь как бывает, за разговором. Ну, вот и ваш день. Тридцать первое июля. Поздравляю вас с девяностопятилетием. Для вас это не возраст. Вы для меня всегда молоды и светлы. Улыбаетесь? Но это правда. Я знаю, вы живы. Дай вам Бог ещё долгих лет жизни—в памяти людской. И мне вы желаете того же? Спасибо. Я хорошо помню всё, что говорили вы мне на протяжении тридцати трёх лет наших встреч. Да, я постараюсь ещё пожить и поработать. Надо ещё очень многое сделать.

Вы спрашиваете меня об этой вот моей книге прозы? Да, я пишу её. И напишу. Как и остальные книги об ушедшей эпохе и населяющих её людях. Вы ведь хорошо меня знаете, я максималист. Замыслы всегда у меня огромные. Вот, с Божьей помощью, и воплощаю их в слове—простите за высокий стиль. Я не просто должен, я обязан

написать эти свои книги прозы. Больше некому, говорите? Это уж точно. Верите, что напишу их? Да, это важно для меня.

Спрашиваете, пишу ли я и стихи сейчас? Да, пишу. Головы на всё не хватает. Вот, получилась тут нелепость. Хотел недавно посмотреть начало новой книги стихов. То, что я мыслю книгами, вы знаете. Стал искать — нет рукописи, нет, и всё тут. И то ли я её в Москве забыл, то ли потерял, не соображу никак. Голова этой моей прозой занята, и я всё время вроде как в другом измерении пребываю, там, в речи прозы, которую слышу и записываю по-своему, потому что своё у неё дыхание, свой ритм. А тут потянуло к стихам. Но где их взять? Хорошо, старые мои криворожские друзья выручили, Алик и Соня Учителя. Я вспомнил, что в марте, когда навещал в Кривом Роге маму, перепечатал в одном экземпляре тридцать с чем-то стихотворений новых и подарил им. Позвонил, объяснил, в чём дело. И они, буквально дня через три, прислали мне бандеролью эту переснятую на ксероксе компактную машинопись. Как хорошо, согласитесь, что есть такие вот чудесные люди на свете! Где сама рукопись — не знаю. Но начало новой книги — опять со мной, и, думаю и надеюсь, появится и продолжение. Книга ведь сама говорит, когда её надо записывать. Тогда, когда я её слышу, звук её слышу, И когда вижу очертания, как некое кристаллическое образование, как соты.

Я не утомил вас? Отвык разговаривать. С годами косноязычным стал. Говорю с пятого на десятое. Нет? Ну ладно. А то у меня все слова туда, в писания мои, уходят. Эх, помните, когда я молодой был, как мы с вами, бывало, говорили! И сейчас хорошо говорим? Ну что же, значит, так и есть. Я-то сам, прежде всего, слушать именно вас рад всегда.

Но раз вам хорошо со мной, а мне так уж точно очень хорошо с вами вот так, по старинке, сидеть себе рядышком да разговаривать, можно это занятие и продолжить.

Вы помните тот занятный эпизод, с Нобелевской премией?

Тогда, примерно в мае или в самом начале лета девяносто шестого года, навестил я вас, как всегда, вместе с другом Ишкой. Мы сидели у вас на веранде, я — напротив вас, как обычно, и о чём-то говорили, допустим — о погоде.

Как всегда, присутствовал на веранде и народ, ваши гости и постояльцы, причём в изрядном количестве, но это нам нисколько не мешало.

Диалог наш длился, и постепенно от погоды мы перешли к более высоким материям.

И вдруг пришёл некто, не помню уж, кто именно, — и принёс газету. «Независимую».

Старую, уже затрёпанную. Кажется, ещё апрельскую.

Этот некто, не обращая ни на кого, в том числе и на меня, никакого внимания, с порога ринулся к вам, тыча пальцем в газетную, слегка пожелтевшую, сложенную вчетверо полосу, где я успел заметить собственную фотографию.

Некто размашистым жестом протянул вам газету — и, слегка даже заикаясь от волнения, изрёк срывающимся голосом, в котором наигранный пафос граничил с таким изумлением, какого он, видимо, сроду не испытывал:
— Алейников!.. Нобелевская!..

Разговоры за столом, чаепитие, дегустация разливного совхозного портвейна и прочие процедуры сразу прекратились.

Все оторопели. А кое-кто и просто онемел, так и остался сидеть с открытым ртом.

Вы же спокойно взяли в руки газету, посмотрели, что там напечатано, и сказали:
— Здесь написано: «Недавно стало известно, что обсуждается вопрос о выдвижении Алейникова на соискание Нобелевской премии».

Напомню, что в этой газете было опубликовано интервью со мной, поскольку год был у меня юбилейный, мне исполнилось пятьдесят лет, — а сверху, над текстом интервью, помещена была так называемая врезка, где вкратце говорилось о том, кто я такой, какова моя деятельность и так далее.

Я попытался было объяснить всё это гостям, но никто меня не слушал.

Народ вёл себя так, будто я эту премию уже получил.

На меня смотрели с почтением, так, будто я стал, например, выше ростом на несколько голов, или пришёл сюда весь увешанный орденами, или в короне на голове, с державой и скипетром в руках, в горностаевой мантии на плечах.

Надо же, как действуют на людей подобные известия!

Было мне и смешно, и грустно.

Я переглянулся с вами и увидел, что вы реагируете на всё происходящее сходным образом.

Вокруг ваших глаз уже собирались лучистые морщинки улыбки.

В это время на веранду ввалилось ещё человек десять гостей. Один из них тащил на плече внушительных размеров видеокамеру, а под мышкой нёс раздвижной треножник.

За ним шла накрашенная дама в тёмных очках и несла сумку с кассетами и микрофон.

Их встретили криками:
— Алейников!..
— Премия!..
— Нобелевская!..

Мужик с видеокамерой, ни минуты не мешкая, установил своё съёмочное орудие на треножник — и, бросив короткий взгляд в ту сторону, куда ему указывали разволновавшиеся посетители веранды, то есть на меня, принялся меня снимать.

Я попытался было объясниться с публикой ещё разок, но куда там!

Картина получалась такая, что хоть караул кричи.

Девицы в купальниках, только что вернувшиеся с моря, придирчиво расспрашивали меня, сколько же я теперь денег отхвачу.

Проснувшиеся от шума похмельные молодые ребятишки предлагали всем скинуться и широко отметить событие.

Какой-то щуплый мужичонка — поэт-юморист из Старого Крыма, как оказалось, — пробивался ко мне, издалека ещё призывая меня помочь ему издать книгу.

А тут ещё подъехала машина — и на веранду завалилась компания из Феодосии.

Видя весь этот бедлам, вы встали с места.

Все затихли.

Вы сказали публике:

— Я считаю, что Володя Алейников достоин не только Нобелевской премии, но и большего.

Публика выжидающе слушала.

Вы продолжили:

— В газете сказано: «обсуждается вопрос о выдвижении». Это ведь не значит ещё того, что премия у Володи в кармане. Такое дело так вот сразу не делается. Придётся и подождать. Поняли теперь, что к чему?

Но публика — не хотела понимать.

У неё появился повод для выпивки и всеобщего веселья.

Вы поглядели на своих гостей, махнули рукой и сказали, обращаясь только ко мне:

— А впрочем… Пусть веселятся!.. Володя, я рада. Всё у вас будет хорошо. Вы только работайте, пишите. Остальное произойдёт само собой. Вы знаете давно, как я люблю вашу поэзию и верю в вас. Давайте-ка посидим вот здесь, в сторонке, рядом.

И мы присели в сторонке. И я рассказал вам, сколько хлопот доставили мне эти газетные известия о полагающейся мне Нобелевской премии.

На родине, в Кривом Роге, земляки тоже решили, что премию я уже получил. Маме непрерывно звонили, поздравляли. У неё хватало юмора, чтобы отвечать как надо, но и она вскоре устала от звонков.

Моя учительница украинского языка и литературы, Евгения Григорьевна, ликуя, сказала ей:

— Мария Михайловна, поздравляю вас! Бунин — и наш Володя. Два нобелевских лауреата. Замечательно! Я счастлива!..

И уже невозможно было переубедить людей, им нравилось верить в то, что премию я получил.

И так далее. Такая вот была история…

Вы улыбались, и я видел, что вы сами верите в эту премию.

Опять почитать вам? Не поздно ли? Никогда не поздно? Хорошо. А что же? Вы знаете, сколько их у меня, этих стихов. Да, вы это лучше других знаете. Какое стихотворение? Ах, это? Да, пожалуй. Вы правы, в книгах девяностых годов оно — одно из ключевых. Вот, послушайте.

Мне знать о том сегодня не дано, кто книгу эту в будущем откроет, кто душу несговорчиво настроит на то, что было слишком уж давно. Подобие воздушного моста протянется незримо между нами — и с новыми сомкнутся временами слова мои — наверно, неспроста. Ну, здравствуй, здравствуй, — сердце отвори навстречу лихолетью и печали, где речь мою впотьмах не замечали, хотя она светилась изнутри. Прислушайся к дыханию в ночи, вглядись туда, где больше, чем у прочих, кипело чувств, до шума не охочих, — пойми и помни, помни и молчи. И незачем, пожалуй, объяснять, чего когда-то стоило всё это — весь этот мир, где таинства и света довольно, чтоб Вселенную обнять. И, светом этим издали ведом и таинства почувствовав биенье, ты сам придёшь ко мне хоть на мгновенье сюда, где дух мой жив и прочен дом.

Нам с вами говорить, Мария Николаевна, можно ещё и ещё. И читать вам стихи — это всегда радость для меня. Какой вы всё-таки светлый-пресветлый человек! Мы общаемся, и у нас вроде происходит какой-то благотворный взаимообмен энергиями, я это чувствую. А вы? Вы давно это знаете? Да, особенный, совсем особенный вы человек в моей жизни. И в судьбе. Вы говорите, что нам пора прощаться? Нет, я-то не устал. Это я вас должен беречь и щадить. Всё-таки пора? Ну, хорошо. Бог в помощь вам, дорогая Мария Николаевна, — там, где вы сейчас живы. И вы мне говорите — с Богом.

<…>

Итак, у книг свои дороги. Свои у них дороги, свои пути, зачастую и неисповедимые. Пути эти и перепутья, стёжки и дорожки, прямые и обходные, кривые и объездные, торные и потаённые, всякие, существуют, во всём своём разнообразии, порой и в голове-то не укладывающемся, давно и всегда, столько же времени, сколько существует и книга. Пути, по которым движутся книги, не зависят от авторов, их написавших. Это пути — человеческие, а значит — живые. Да и сами книги совершенно не зависят от их авторов. Изданные, вышедшие в свет — каково это, как сказано: в свет! — вышедшие одновременно и на свет, к свету — ночному ли, при котором их читают, дневному ли, — вышедшие и ушедшие в странствия, отстранившиеся от их авторов, живут они самостоятельно, собственной своей жизнью, и ничего уже с этим не поделаешь. Они — написаны, но ещё они — изданы, то есть — отданы читателям, розданы им, рассеяны везде, куда только добрались они, где

только, в чьих руках, в чьём владении они ни оказались. Да, во владении, потому что читатель книгой—владеет. Это его собственность. Вещь? Ну, не совсем. Скорее, некий с виду безмолвный, а на деле—живой, говорящий, многое хорошему читателю говорящий предмет, объект—не знаю, как точнее выразиться. Нечто—с речью. Со словом. Со светом—если это настоящая книга. То есть такая, которая благотворно воздействует на человека. Жить ему помогает. Исцеляет. Именно таких—не так уж много. Но они—есть.

Книга—лучшее, что придумал человек. Лучшее—потому что сущее. Иногда и вещее. Всегда—говорящее, звучащее. Можно читать про себя. Можно и вслух. На выбор. Читаешь про себя—слово звучит, внутри, в мозгу, в сознании твоём звучит. Читаешь вслух, особенно стихи,—тоже звучит, да ещё как. Поёт. Было бы слово, словом. Была бы речь—речью. Продлевал бы автор книги, особенно поэтической,—звучание речи, дыхание речи. Ощущал бы читатель такой книги—что дыхание речи длится. Тогда и жить можно. И работать дальше. Был бы контакт. Была бы связь—автора с читателем. Читать уметь по-настоящему тоже работа, большая. Настоящий читатель—трудится в поте лица. Он вроде как второй автор книги—для себя самого. Свет авторского слова зафиксирован, оставлен, сохранён в книге. Читатель—воспринимает этот свет. И создаёт, сам творит—ещё один свет, свой собственный, свет восприятия книги, свет впечатления, свет размышлений своих о прочитанном. Образуются как бы два световых луча. Они проходят параллельно. И, как две прямые, по Лобачевскому, уж где-нибудь да пересекаются. Пересекаются—значит, смыкаются. Соединяются. Происходит новый контакт. Образуется новая связь. Возникает, вспыхивает новый свет—авторского слова и читательской мысли о нём. Этот свет не исчезает. Он уходит куда-то в космические хранилища, в информационное поле Вселенной. Всё в мире сохраняется. Энергия не исчезает бесследно. Она видоизменяется, трансформируется, но—существует, в новом виде—но живёт. Вот и книга—живёт и живёт, куда бы её ни забрасывала судьба,—книга, речевой, информационный, световой сгусток, частица всеобщей связи в мире, всего и со всем, что живо. Книга—почти верига, если она написана, но не издана, если она тяготит её автора. Книга—благо, если она подлинная. И вдвойне благо, если ещё и изданная, желательно—вовремя, что случается далеко не всегда. Изданная книга—бывает подобием брега, куда можно из потопившей твой корабль и поистрепавшей тебя стихии выбраться. В книге—что-то от бега: бега глаз по строкам, бега мысли, авторской и читательской, бега времени, которое бежит незаметнее, когда ты читаешь. Настоящая книга—от Бога.

Книги, как известно, сами приходят к людям. Приходят, доходят. Уж как-то—добираются. Иногда годами стоит книга где-нибудь поблизости, на полке, и ты её не трогаешь. И вдруг—срабатывает что-то, и ты берёшь именно её, и читаешь. Она пришла к тебе. Пришла—сама. Поэтому желательно заведомо хорошие книги иметь под рукой, дома. А вдруг—вот так—сами придут? А так всегда и бывает. Книга—она свой час чувствует. В нужный час, в нужный миг—приходит. Открывай, читай, вникай. Что в ней, между альфой и омегой, между началом и завершением? Содержание. Слово. Речь. Свет.

В Петербурге, в период белых ночей, можно читать, не включая электричества. Хорошая книга—сама источник света. Сама светолюбива, сама светоносна.

Когда осенью в Коктебеле у нас начинают выключать вечерами электричество—для экономии ли, от всеобщего безобразия ли, тут не разберёшься,—и в доме темно, и помещение комнаты сразу же как-то сужается, сжимается, и сгущаются, обобщаются все детали, все предметы немудрёной нашей домашней обстановки, и мир, тёмный и густой, по ту сторону окна, упорно хочет слиться, соединиться с миром дома в одно целое, неразрывное, густое состояние мрака, состояние тьмы, хочет образовать нечто общее, беспросветное, непроглядное, непролазное, и темнота даже в поры норовит проникнуть, не то что в глаза,—я читаю при свечах.

Да, зажигаю свечи—и тёплый, живой их свет соединяется со светом, исходящим от хорошей книги. Эти два света соединяются со светом ощущений моих и размышлений. Такой тройственный свет—сила. С ним хорошо. Он помогает, он настраивает на живые, жизненные волны. И в самом деле: оторвёшься от книги, подойдёшь к окошку, а за ним—не такая уж и тьма, а за ним—и звёзды видны. Вот что такое книга.

Потому и держу я, по давней своей привычке, хорошие книги, любимые мои книги, те, которые читаю, те, которые часто перечитываю,—здесь, рядом, под рукой. Почувствовал знакомый импульс—доверяйся ему. Первоначальный импульс—начало нового движения в жизни и залог продолжения жизни. И жизни речи одновременно. Потому что жизнь физическая, существование человеческое в мире, и жизнь речи—неразрывны, они в вечном единстве. В начале ведь было слово. Потом—всё остальное, включая и человека. Протягиваешь руку—берёшь книгу. Открываешь, читаешь. Дышишь. Существуешь. Движешься во времени и пространстве—мыслью движешься, сознанием, душой. Метаморфоза движения: взаимодействие, взаимопреображение. Кружение времени: Леонардовский круг, в который вписана человеческая фигура. Кружение, округление пространства:

сфера. Земная, небесная, космическая. Сфера. Область распространения слова. Света. Сфера. Среда. Замкнутая поверхность, в центре которой — свет. Сфера. Внутреннее пространство шара. Дара. Сфера. Мера. Та, которой в вышних будут мерить этот дар. Сфера. Эра. Уходящая. И — грядущая. Сфера. Вера. Без неё — никак нельзя.

Читаешь ли, пишешь ли при свече — и теплее делается в мире, да и в душе твоей.

Мои слова:

— Наше время — свеча и полынь.

Символ былой эпохи. Фирменный знак её. Код, по которому отыщут её звучание. Слово. Речь её.

Со свечой, точно встарь, — при свече, у свечи, — в киммерийском тумане, при тумане, в забвенье, в дурмане, сквозь туман — с лепестком на плече, сгустком крови сухим, лепестком поздней розы — в проём за кордоном, в лабиринт за провалом бездонным, в Зазеркалье с таким пустяком, как твоё отражение там, где пространство уже не помеха, где речей твоих долгое эхо сквозь просвет шелестит по листам.

Состояние — в октябре. Пребывание — в одиночестве. Вместе с речью. Движение. Творчество. При свече и звезде.

Отдаляются книги от их авторов, отрываются, отстраняются — и приходят к людям. Приближаются. Прислоняются. Прирастают. Пусть. Пусть читают их наши могикане — в Европе ли, в Азии ли, в Америке ли. Не знаю, добрались ли мои книги до Африки. Или до Австралии. Пусть читают мои книги — там, куда эти книги разными путями, но добрались. Потому что — «кто в Париже, а кто в Нью-Йорке», — ещё Ахматовой это сказано. И не только в этих известных местах. Я попробовал было вспомнить и перечислить нынешние «места обитания» моих книг — да и махнул рукой на это: зачем заполнять страницы длинным перечнем — имён ли, городов ли, зарубежных и отечественных, отдалённых стран ли, названия которых до сих пор, с детства, отдают для меня неугасимой романтикой, хотя в действительности наверняка они куда прозаичнее, нежели сам их звук, — впрочем, не знаю, не бывал, — да тут если об отечестве своём вспомнишь или об отделившихся от отечества республиках, так и то получится путеводитель или справочник: где кто живёт — и, живя там, книги ещё читает. А сколького я просто не знаю? Не нужно мне это «что? где? когда?», не нужно. Уже не нужно. Раньше — интересовало всё-таки: где они, книги, куда, к кому попали? А постепенно — всё новая и новая работа заслонила всё это. Прежнее — уже написано. А нынешнее — пишется. И вот сколько из этого нынешнего — опять не издано. Неужели опять — на круги своя? Что за круговорот?

В России, читатель, книг моих ты не найдёшь. Никто не спешит переиздавать их. Переиздают — другое: продукцию междувременья. Мои книги — уже раритеты. Вот так мне стали всё чаще говорить. Да так оно и есть. Но отыскать и прочитать мои книги при желании всё-таки можно. Спрашивай у тех, кто любит стихи. Ищущий да обрящет.

Кто я, живущий у себя в Коктебеле, глядящий годами в окно на Святую гору, сидящий за старым письменным столом, посреди груд собственных рукописей, и сочиняющий эту книгу?

Я — мастодонт. Или — реликт. Или — что-то ещё в этом роде.

Так, во всяком случае, выразился лет пять назад один молодой предприниматель, производящий мебель, которого занесло сюда, в Крым, на отдых, на считанное количество дней, определённых им самим, главой предприятия, самому себе, дабы хоть здесь отдышаться от дел.

Он, деловой человек, донельзя занятый там, в Москве, занятый — выше головы, с расписанным по минутам каждым днём, очень трезвый и рассудительный в поступках, привыкший рассчитывать каждый свой шаг и взвешивать каждое своё слово, здесь, в киммерийском отдалении от постоянной нервотрёпки, оказался на поверку милым парнем, любящим литературу, да вот только почти не имеющим возможности читать, в силу фантастической занятости собственным делом, съедающей всё его личное время, целиком, без остатка.

На отдыхе он прочитал мои «Скифские хроники», большой том, вмещающий несколько книг стихов, написанных в начале девяностых, в Коктебеле.

И я хорошо помню его изумление, растерянность, даже некоторую оторопелость, когда он, с книгой в руках, пришёл ко мне, — помню его сбивчивые слова, которые сведу вкратце к следующему: да как это можно, да неужели это ещё можно, неужели это ещё возможно — в наше сумасшедшее время — писать стихи? — неужели это правда? — и кто-то ещё пишет их? — он поражён, в его голове бизнесмена это с трудом укладывается, он озадачен: значит, выходит, несмотря на всеобщий бред, поэзия существует? — и я, стоящий перед ним, живу почти отшельником и пишу свои книги?

Он смотрел на меня, как на диковинного зверя, находящегося не в зоопарке, а почему-то на воле.

— Можно писать стихи, — ответил я ему, — и надо их писать.

Вот тогда он и изрёк своё словцо, в котором выразилось то, как он, молодой и деловой, меня, немолодого и неделового, но верного поэзии, воспринимает.

Можно в наше время писать стихи — скажу я тебе, читатель, и нужно их писать.

Если это настоящие стихи. Если это — призвание.

Итак, я—мастодонт, реликт.

Очень хорошо.

«Лексикон русской литературы XX века» Вольфганга Казака, где кое-что сказано обо мне, тоже не приобретёшь ты, читатель, в книжном магазине, тем более если живёшь ты не в Москве, а в провинции или, что ещё печальнее, в бывших братских республиках, ныне государствах независимых и практически лишённых налаженного притока книжных новинок и даже российской периодики.

Заведующий харьковской центральной библиотекой с нескрываемым ужасом говорил мне, что, как он ни бьётся, ничего, ну ничегошеньки не может выписать из Москвы—ни книг, ни журналов.

Большим событием оказались недавно—что бы вы думали?—полученные для подписки—на весь Киев!—десять экземпляров «Литературной газеты».

Давным-давно захирела библиотека известнейшего на весь наш бывший Союз коктебельского Дома творчества писателей. Захирела—и тихо сошла на нет.

Как и сам этот Дом творчества.

Он пустует. Дичает. Мутирует. Он меняется. Трансформируется в нечто странное. Общедоступное. Дорогущее. И—преступное.

Не по карману теперь писателям ездить на море, а скидок (о прежние годы, с их вниманием бережным к людям, и особенно творческим людям, инженерам душ человеческих и ловцам этих душ, писателям, и поэтам, и композиторам, и художникам, всем, всем, всем, кто, понятно, в Союзе числится соответствующем, сплошь творческом, где, кого ни возьми, все члены этих самых Союзов, трудятся днём и ночью, только и делают, что творят, и творят, и творят, и потом, за труды свои, получают возможность ездить отдыхать, или, как считалось, неустанно и там творить, в свои собственные, писательские, да и прочие, им подобные, удивительные, приветливые, притягательные дома,—о советские, с их движением к коммунизму грядущему, годы, с гонорарами и с авансами, с тиражами астрономическими, с профсоюзами, льготами всякими, с поликлиниками первоклассными, с переделкинскими просторами и малеевскими деньками!)—скидок этих, изъятых решительно из сознания граждан творческих пережитков советского прошлого, на путёвки в райское место и в помине давно уже нет.

В нём теперь иногда отдыхают бугаи с цепями пудовыми золотыми на прочной шее, приезжающие на сверкающих, лоснящихся от ухода за ними, как будто лошади породистые, дорогие, немыслимых иномарках.

Бугаи, бабуины, гориллы, гамадрилы, орангутанги плещутся нехотя в море, заводят амуры с бабами, жрут водку, хлещут коньяк, по привычке режутся в карты и в охотку парятся в сауне.

Здесь больше—надо же, как обернулось всё!—не стучат портативные в основном (для удобства, для путешествий по просторам Союза, для творческих регулярных командировок, для того, чтобы в Доме творчества можно было засесть за них и создать что-нибудь эпохальное, что-нибудь, чтоб тянуло на премию, Государственную желательно, чтоб читатели раскупали в магазинах книжных немедленно свежевыпеченные, нетленные, в ногу дружно со временем радостным и прекрасным охотно идущие, выдающиеся, понятно, не сгорающие, наверно, не стареющие шедевры) пишущие машинки, не скрипят уже не гусиные—золотые, пожалуй, перья, не склоняются ночью бессонной над лежащими на столе ворохами, Эльбрусами рукописями полные грандиозных замыслов и серьёзнейших, видимо, дум писательские высоколобые головы.

Ну, они и раньше-то особо не склонялись.

Больше здесь вдоль берега, подвыпивши, слонялись.

Крайне редко здесь что-то писали.

Больше пили здесь да гуляли.

Но гонор-то был: ну как же, советские, понимаешь ли, писатели, то-то, этакая обособленная, ухоженная, обласканная властями, терзаемая страстями тайными, подловатая, нагловатая, глуповатая иногда, порой вороватая, в бедах многих сплошь виноватая, быдловатая, грязью чреватая, на поверку жуткая каста.

Толстенный том, содержащий перечень членов Союза писателей, раньше, бывало, неминуемо поражал воображение тех, кто, любопытства ради, просто для ознакомленья, его открывал впервые.

Много ли было средь них, тех, из справочника,—настоящих?

А форсу-то, а фасону сколько в них раньше было!

Ты поди попробуй пройди через их, писателей, зону, территорию Дома творчества, напрямик, побыстрее, к морю!

Сразу же остановят:

— А ты куда направляешься? Здесь посторонним ходить нельзя. Давай поворачивай туда, откуда пришёл, побыстрее шагай обратно.

То же самое было всегда и у входа, с калиточкой крепкой, на замок иногда запираемой, для спокойствия пущего, стало быть, на литфондовский, отгороженный с двух сторон железною сеткой, для элиты, для тех, кто лучше прочих граждан, удобный пляж.

Там всегда восседала грозная, точно Цербер, злющая тётка, и уж своих-то, членов, отдыхающих в Доме творчества писателей, с их семействами, со специальными, личными, у каждого, пропусками—к морю, на пляж, закрытый от ненужных глаз,

пропусками — к стихии, вроде свободной, — наперечёт, в лицо, всех поимённо, знала.

Чужих — ни в жисть не пропустит! Налетит — и растопчет вмиг. А то и проглотит. Всякое случалось. Должность такая.

А вечера! Вот эти, всех краше на белом свете, прозрачные, долгие, праздные летние вечера!

После дневной удачной работы — ну, сомневаюсь, что таковая была у писателей, понаехавших отовсюду сюда, чтобы здесь отдыхать в основном, отдыхать, отдыхать, но отнюдь не работать! — степенно, вальяжно, с достоинством подчёркнутым, выходили сочинители, утомлённые сплошь трудами своими великими, эпопеями многотомными. на площадку перед столовой.

Как раз на этом вот месте раньше, кстати, стоял дом коктебельского, здешнего, священника, дом Синицына, человека доброго, светлого, хорошего друга Волошина.

Но писатели вряд ли об этом хоть когда-нибудь что-нибудь слышали.

Одни в одиночку, другие — парами, по-семейному, с жёнами, по-туземному, с перебором изрядным, обвешанными купленными у местных шустрых, сметливых торговцев ювелирными, так считалось, из камней окрестных, изделиями — серьгами, кулонами, бусами, браслетами, брошками, кольцами, шли они по широкой, тенистой от деревьев разросшихся набережной, потрудившиеся на славу на бескрайней литературной, пóтом щедро политой ниве, шли, отужинавшие, размякшие, шли вдоль моря неторопливо, со значением: эй, народ, мол, ты, братец, не забывай, подтянись — писатель идёт!

«Весь цвет литературы СССР» — ликуйте и приветствуйте — идёт!

Идёт писатель! Учитель жизни.

А если много их — учителя.

Их вдосталь было. По всей отчизне.

Ох, терпеливая у нас земля!

Очень любили они это — учить жить.

Будто бы знали: вот так можно жить, даже нужно, а так вот — категорически, никак, ни за что нельзя.

Учить-то учили, — а сами, в большинстве своём, — были гады ползучие, гниды поганые. Пробу негде ставить на них.

(Вот Гумилёв, действительно умный был человек, тот Ахматовой Анне Андреевне, супруге своей законной, не единожды говорил:

— Аня, если я вдруг начну, хоть один-единственный раз, кого-то учить жить, то, пожалуйста, сразу, немедленно, не жалея, меня отрави!

Эх, Николай Степанович!

С пулей в сердце, полученной вами от таких вот, по-большевистски всезнающих, как им казалось, «учителей жизни», лежите вы, русский поэт, офицер, путешественник, мученик, в земле болотистой питерской.

Встали бы, поглядели бы на всю эту псевдописательскую свору, на кодлу злокозненную «учителей жизни», — так действительно, может быть, в заговоре против таких «педагогов», с их мерзкой, кровавой властью, приняли бы участие!..)

Мы, в молодости далёкой свободолюбивой нашей, чурались этого места.

Дом творчества из упрямства обходили мы стороной.

Для нас он — не существовал.

Вот парк его — да, этот парк был хорош, ничего не скажешь, только вспомнишь о нём да взгрустнёшь, был хорош, просторен и зелен, и подрастал, разрастался на глазах у нас, и садовник, создавший его когда-то, всю душу в него вложивший, радовался, как ребёнок, детищу своему.

Но и на парк этот чудный смотрели мы — со стороны.

Посторонние все мы здесь были.

Чужие. Всегда — чужаки.

Не учились мы встарь у здешних обитателей сытых — жизни.

А те учили-учили — и, надо же, научили.

Власть нынче, можно сказать, та же самая, что и прежде. Только — вывернутая. Повёрнутая вспять. С ног на голову перевёрнутая.

Под иной, с латиницей, вдруг сквозь кириллицу проступившей, не случайно, стало быть, вывеской.

И всё вокруг — привыкайте к сюрпризу — наперекосяк.

Потому что, удобно устроившись, находясь под новою вывеской, власть имущие, с их подручными, думают лишь о себе.

Что им, видите ли, — народ!

Он, как сказано было, безмолвствует.

Парк, роскошный когда-то, известнейшего коктебельского Дома творчества — в запустении. Гибнет он. Как бы время его сжирает.

Ни теплицы, ни оранжереи, ни растений диковинных всяких, взгляды наши когда-то радовавших. Ничегошеньки нет. Увы!

Редеют, уходят, как люди знакомые, словно годы отшумевшие, как мечты, исчезают куда-то деревья.

Всё меньше их. Меньше. Меньше.

Всё больше на этой лакомой территории — торопливого, суетливого, меркантильного, выгодного коммерчески, прежде всего, — другого.

Выросли здесь коттеджи, и дома поскромнее, частные, и кафе, и какие-то летние бестолковые забегаловки, и всякие пёстрые будки с питьём непременным и куревом.

Расплодились. Вовсю расплодились.

Ходи здесь теперь — кто хошь.

Всё равно смотреть уже не на что.

Ну разве что на дома, новёхонькие, под Запад сварганенные, впрямь игрушечки?

Неохота что-то. Не тянет

И грустит, вздыхает, страдая от кошмара, старик-садовник: дело жизни его загубили…

Писатели же никого не учат ещё — пока что.

Они шевелят мозгами, гадают, соображают: как же им жить — по возможности, сытнее и лучше, — дальше?

Помню, приходит однажды Людмила, моя жена, летним утром домой. Весёлая. Непривычно как-то весёлая. Словно в цирке она побывала. Или, может, на выступлении доморощенных юмористов. Что случилось? Что за веселье?

Смеётся. Почти до слёз. Что-то вспомнит, махнёт рукою — эх, мол, надо же, ну и ну, вот дела! — и опять смеётся.

Была, говорит, на рынке. На том, ещё непривычном для нас, коктебельцев старых, недавно устроенном, новом, большом, даже слишком большом, чтоб зваться ему коктебельским. Там, где народу полно — и приезжих, потенциальных покупателей, и, разумеется, продавцов, то есть местных, отчасти, в основном же приезжих, из прочих городков и посёлков, людей.

Была — говорит — на рынке.

И такую картину видела.

Писатель Василий Белов, человек известный и даже знаменитый в своей, специфической, области деревенской российской литературы, находился там среди прочих, не имеющих никакого отношения к литературе, праздных граждан, прежде — Союза, монолитного, а теперь — самостийных, отдельных стран, именуемых сокращённо — СНГ, зачем — непонятно, по привычке, видать, советской, живучей, как тараканы, к самым разным аббревиатурам, и особенно — к заковыристым, чтоб давать возможность гадать, что же это всё-таки значит, как прикажете понимать сокращенье очередное, в данном случае — бывшей страны, всем известной совсем недавно, а теперь неизвестно куда, видно, в прорву истории, канувшей, всем тупым и непосвящённым, — ну так вот, писатель Белов находился на рынке — и там покупал что-то малое, скромное, без каких-нибудь барских замашек, без бравады, без шика, без вызова окружающим, чтобы видели, как умеет писатель, при надобности, при желании, под настроение, покупать, с размахом, продукты, — нет, запросы его были скромными, незатейливыми, простыми, как и проза его, в которой находили, впрочем, заядлые знатоки, читай — игроки, и ценители, сто собак в ковырянии этом съевшие, нечто большее, нежели только деревенскую тему, глобальное, заставляющее призадуматься всех землян о судьбе посконной, сплошь иконной, исконной России, с населением пёстрым её, называемым обобщённо россиянами, этак по-новому, в ногу с ритмами современности, понимай, мол, как хочешь, приятель, что за странные россияне и откуда они взялись, ни с того ни с сего, видать, по приказу, никак не иначе, и куда подевались разом все народы, издревле различные, населяющие искони всех в себя охотно вобравшую, всех вместившую, всех расселившую, без особенной толкотни, без обид почти, без претензий слишком громких, без объяснений, почему и зачем это надо, по всему видать, от великой к человеку, любому, любви, несусветной, непостижимой иностранцами, в парадоксах и нелепых метаморфозах, изумительной, выживающей и в воде, и в огне, страны, с очень скромными, лишь бы выжить и сейчас, лишь бы хлебушек был да водица к нему, запросами, — потому и писатель российский, сын страны своей, сын достойный, человек исключительно скромный и порядочный, как говорят, обходился малым, насущным, в данном случае необходимым, покупал — так, немного, чуть-чуть, на зубок положить, да и только, пожевать, а там, как известно, будет день, будет пища, попробовать что-нибудь такое, чего не найдёшь ты сроду на Севере, в блёклой, сирой, белёсой мгле, на не слишком-то щедрой земле, что-нибудь, понимаете, южное, с тёплым солнцем и с морем дружное, чтобы вкус ощутить благодати, ну а с ним и к себе на полати можно лезть, вспоминая вдруг, что хорош таки этот Юг.

Маленький, седенький, тихий, он бесшумно по рынку слонялся — и ничем совершенно в толпе оживлённой не выделялся.

Но некто большой и толстый его узрел-таки. Вычислил. Пригляделся попристальней — он! Сам. На рынке. С народом. Надо же!

Бросился этот некто, большой и толстый, к нему, расталкивая поспешно всех, мешавших порыву, локтями.

Подбежал. Наконец подбежал. Добрался. Какая удача!

И громко, так, чтобы все слышали, завопил:

— Василий Иванович! Родненький! Свет вы наш! Надёжа вы наша! Учитель вы наш! Ненаглядный! Что же это? Что за напасть? Что же это такое деется, год от года всё хлеще, вокруг? Что же деется? Господи! Батюшка вы наш! Учитель! Наставник! Заступник! Отец наш родной! Как жить-то будем? Скажите! Как же нам дальше-то жить?..

Этот большой и толстый, по всему видать, и особенно по роже раздутой его, из разряда таких, о которых в народе, отнюдь не случайно, говорят: кирпича просит, скорее всего, нет, чего там, безусловно, за километр их, таких, без бинокля видно, тоже, как и ему подобные громовержцы и жополизы, по писательской линии числился.

И жить, в своё время, при власти советской, тоже учил.

Наверняка — учил.

Но рангом был — рылом не вышел? или выслужиться не успел? или было способностей, может

быть, маловато литературных?—он явно пониже, и это сразу же ощущалось, по иерархии некоей, намного ниже Белова.

Тот—уж само собой, учитель. Учитель жизни.

Известный. Даже, по многим параметрам, знаменитый. На всю-то Россию-матушку, представьте,—один такой.

И уродился ведь—в ней, в России,—такой вот умный мужик. Да… Ума палата! Умён—всё насквозь видит.

Авторитет, одним словом.

Для большого и толстого—точно.

Авторитет, ребятки, россияне,—ещё и какой!

Одного лишь хотел на рынке, средь народа, большой и толстый: слово, даже, возможно, то, что в начале было, как сказано встарь в Писании, слово простое, слово мудрое, золотое, от любимого, авторитетного, дорогого учителя жизни, услыхать своими ушами, чтобы в душу оно запало, чтоб запомнить его навсегда и понять, коль не всё, так хоть что-нибудь.

Чтобы—хоть ненадолго утешил.

Чтобы—сразу надежду вселил.

А то и наказ отеческий тут же дал: что делать конкретно, на какие битвы грядущие выходить, чтобы «дальше-то жить».

Людмила, смеясь, говорила: сцена была уморительная.

Большой и толстый, пыхтя, вопрошая о кровно важном для себя, нависал над Беловым, массой всей на него наседал.

А маленький, хлипкий, тщедушный Белов тушевался, терялся, смущался, причём непрерывно, вот ведь как, ужимался в размере.

И так ужался, в комочек, в пятнышко белесоватое, что его и почти не видно стало, так изменился он вдруг.

И оттуда, снизу, едва различимый глазом простым, седенький, полупрозрачный, уменьшившийся до размеров крохотного паучка, раскрасневшийся от растерянности, от беспомощности своей, от своей беззащитности явной перед этим большим и толстым, от досады, от неожиданности, от свалившейся так некстати, ни с того ни с сего, как снег на голову, глобальной, практически неразрешимой, во всяком случае, сразу же, на месте прямо, проблемы, от заданного ему в лоб нелепейшего вопроса, на который что-нибудь, видимо, ну хоть что-нибудь более-менее простое, доступное всякому человеку, пристойное, внятное, надо было, пожалуй, ответить, поскольку вокруг писателей успели уже собраться любопытные, этак жалобно, беспомощно, еле слышно, срывающимся от волнения сухим голоском, пропищал:

— Я вообще-то сюда отдыхать недавно приехал!..

Большой и толстый, опешив, сник, погрустнел—и, в горестном раздумье своём пребывая, оставаясь в неведенье полном относительно смысла жизни, отшумев, как буран, удалился.

Думал, небось, по пути: эх, плохи наши дела, если даже такой человек золотой, как Василий Иванович, ничего на такой вот острый и насущный для всех людей, ключевой, коренной, консенсусный вопрос не сумел ответить!..

Белов же быстренько, наспех, купил какие-то фрукты—и потихоньку, бочком, тихим, вприпрыжку, шажком, чтобы, не приведи Боже, спаси, защити, ещё на кого-нибудь из мучающихся извечными вопросами жизни и смерти не нарваться,—вполне успешно, без последствий, впрямь нежелательных, ретировался с рынка.

Шёл, торопясь, не оглядываясь, по направлению к Дому творчества, в лоно писательское (бывшее, ну а теперь—в лоно, скорее, бандитское или предпринимательское, в логово, так вернее, резче, прямее, честнее, поскольку былое лоно логовом обернулось для неизвестно каких, непонятно откуда здесь взявшихся элементов, смурных и сытых, почему-то наголо бритых, ну а если не бритых, то жирных, лбов мордатых, вроде бы мирных, но зато хамовитых, наглых, новоявленных жизни хозяев, с их подругами голенастыми, без мозгов, но зато уж в золоте с головы до ног, напоказ, псевдомузыкой вовлечёнными в хаотический ритм, в экстаз, да ещё с бильярдом, с картами, с иномарками навороченными, с интересами, укороченными до простейших, элементарных, с отбываньем дней календарных в киммерийском раю, чтоб впредь с интересом на мир смотреть),—покачивая по пути седенькой тихой головкой.

Ушёл—и совсем затерялся—навсегда ли?—там, вдалеке…

Вскоре, поскольку здесь у нас, в Коктебеле, всё рядом и всё на виду, я и сам встретил нежданно Белова.

Я возвращался с моря. Поднялся по тропе на горку.

Смотрю—наверху не кто-нибудь там из простых, а Белов стоит.

Тщедушный такой, что сразу же пожалеть его искренне хочется, успокоить, от бед житейских по возможности оградить.

Маленький, прямо ребёночек.

Ребёночек-старичок.

Стоит писатель, взирает, пристально так, на окрестности.

Взгляд—ну, взгляд-то всё видящий, всё вокруг примечающий.

Ничто, безусловно, не спрячется, ничто, полагаю, нигде, ни за что, как бы там ни хитрило, как бы там умело и даже по-военному, по-спецназовски (по-натовски, наконец, всё равно это самое НАТО всё давно в Крыму прошныряло, все военные тайны выведало, и чего там с ним церемониться,

если здесь оно вроде как дома), эко диво, ни маскировалось, не утаится от зоркого писательского, подобного, ни больше ни меньше, орлиному, ну, пускай соколиному, взгляда.

Стоит в глубочайшей, творческой, вероятно, а может быть, просто человеческой, тоже вполне уважительной, честной задумчивости.

Видно всем, как по лбу его думы волнами ходят.

Стоит, слегка, понемногу, пошатываясь под ветром.

Но не падает, нет, куда там, почему-то на месте держится.

Как шахматная маленькая фигурка, из белых фигур. Вырезанная грубовато, с обобщёнными, весьма условными очертаниями, но зато и по-своему выразительная, наподобие народной игрушки русской, из цельного куска дерева, да вдобавок ещё и наивно, по-детски, в два-три цвета, но тоже ведь выразительно, завершая весь образ легко и свободно, что вообще поразительно, представление сразу давая о сути, рождая метафору, затаившуюся внутри, но готовую в нужное время раскрыться, от руки, а ля прима, раскрашенная, фигурка-чурочка, фигурка-крохотулька, заезжий ванька-встанька, знак, зарубка, заначка в памяти, фигурка-талисман.

А может, деревенский домовой?

Стоит, качая белой головой.

Шатнётся влево, вправо,—снова прям.

Как штык, стоит. Зачем—не знает сам.

И занесло его за тридевять земель, поди гадай—зачем, сюда, к нам, в Коктебель!

Надо же! Вот история!

Каким таким ветром, понять бы, догадаться бы, занесло?

Ветер дует, хороший такой, свежий, крепкий, солёный бриз.

А писатель Белов стоит возле Киловой горки, глядит на округу, битком набитую россиянами, украинцами, белорусами, всякими немцами, как их, скопом, в былое время завсегда на Руси называли, без разбору, для верности, то есть обобщённо, раз-два—и в дамках, церемониться с ними нечего, немцы—немцы они и есть, не поймёшь вовек, что лопочут, да и незачем понимать, своего бормотанья хватает, поделиться бы, что ли, да не с кем, почему-то никто не хочет, ну а может, боятся просто, душу русскую не постичь никому, ведь она—загадка, потому и живём несладко, ваша правда и наш удел, и остались мы не у дел, не беда, как-нибудь да выстоим, с Божьей помощью, снова,—думает.

Седенькой, беленькой, старческой, кроткой головкой покачивает.

Осуждающе, горестно смотрит на окрестный, увы, успешно испоганенный скороспелыми, на дрожжах беспредела поднявшимися и плодящимися усердно, чтобы каждый клочок пространства отхватить себе поскорее, новшествами всеядного, повсеместного междувременья, но стойкий, с неистребимым коктебельским духом высоким, с коктебельским светом, пейзаж.

Мысль!—на лбу его многодумном, словно там это впрямь написано, для всеобщего, знать, обозрения, в назиданье всем, так и читается.

Вид—словно сбоку отчётливо скомандовали уже: «Мотор!»

И, выдержав паузу, буквально секундную: «Съёмка!»

Изрядную дозу актёрской игры почему-то учуял я в этой его задумчивой слишком, какой-то неестественной, с вызовом, позе.

«На берегу пустынных волн»—и, в тон, подобное, морское, где, позабывший о покое, «стоял он, дум великих полн».

«Прощай, свободная стихия!»

«Что кинул он в краю родном?»

Кого—сами знаете—кинули?

Стоит в Киммерии приезжий, Белов, российский писатель.

Считалось так: деревенщик.

Стоит—у моря. У Чёрного.

Над морем. Сказочным. Синим.

На горке стоит—ну прямо как на созданном—для него ли?—природой самой—постаменте.

«Ветер свищет».

А он стоит.

«Увы, он счастия не ищет и не от счастия бежит».

Мыслит, стало быть, человек.

Белой своей головкой то и дело потряхивает.

Наверное, напряжённо, всерьёз, как положено, думает, как писатель, как гражданин, поскольку писатель, известно всем, «гражданином быть обязан»,—а может, кто знает, и, по-нашенски, по-простецки, просто что-нибудь там кумекает, замышляет, соображает,—в любом, даже в худшем, случае, думает: как же ему ответить, при случае, всё-таки на мучительный этот вопрос:

как жить-то, сограждане, будем?
как же нам дальше-то жить?..

Действительно—как же?

За Россию я болею душой. Но и за Украину болею я душой. Я здесь вырос. Моя родина—здесь. Почти не осталось книжных магазинов в Кривом Роге, моём родном городе. На месте некоторых—банки, учреждённые бывшими комсомольцами. В помещениях других—торгуют чем угодно, только не книгами. Чудом держится магазин «Букинист», руководимый героической заведующей, Любовью Кирилловной Белой,—верной поэзии и ею спасаемой.

И так далее.

Куда уж дальше?

В столичных журналах, где приводятся краткие биографические сведения об авторах, печатаюсь я

лишь изредка. Вот и получается, что неоткуда тебе, мой читатель, почерпнуть простейшие сведения обо мне, выжившем, непрестанно работающем и задающем тебе, как сфинкс, всяческие, только кажущиеся наивными, вопросы. Поэтому отвечу сам. В упомянутые выше годы было мне, соответственно, шестнадцать в шестьдесят втором — и, считай дальше, двадцать три в шестьдесят девятом. То есть был я тогда юн — или, как приятнее и как-то солиднее произносить, молод. И вопросы мои, по существу — позывные, некие импульсы души, токи, волны, на которых я разговариваю с тобой, — не столь уж наивны. Они обожжены, обуглены, закалены моим собственным опытом. Ведь годы эти, мои собственные, пройденные, перенасыщенные и малоприметными, и невероятными событиями, несмотря на трагичность их, праздничные, потому что отданные служению Речи, такие дорогие для сердца, такие важные для души — и, увы, безвозвратные, — накрепко, навсегда связаны с самиздатом.

Вот почему не было скидок на возраст. Взялся за гуж — не говори, что не дюж. Это всем знакомо, это поговорка русская. А ты попробуй-ка взяться. Да ещё и сдюжить. Выдюжить. Особенно тогда, как теперь любят выражаться со значением, с акцентом на этой особенности минувшей поры, с придыханием, с пафосом, с нажимом, — ну прямо как с нажимом в школьном почерке, выработанном в той, советской школе, с её чернильницами-непроливайками и скрипучими, охотно ставящими жирные фиолетовые кляксы в разлинованных тетрадках, царапающимися, своенравными пёрышками, вставленными в деревянные, изгрызенные в порыве усердия ручки, а тут уже и строгая учительница, в сером, неброском костюме своём, с кружевным воротничком, охватывающим простуженное горло, в очках, рядом, и склонилась над тобой, над партой, над тетрадкой, и указывает прицельно вытянутым пальчиком своим на несусветную грязь в накарябанном кое-как задании, и всё придётся переписывать заново, и пропади она пропадом, эта школа, и надоели все эти занятия и вся эта их дисциплина хуже горькой редьки, хотя вот грозятся к завучу вызвать на проработку, и кто-то возьмёт, глядишь, над тобой шефство, и придётся остаться на дополнительные занятия, и есть, всё-таки есть опасность, что останешься ещё и на второй год в этом же классе, и вообще всё отсюда ещё начиналось, и даже куда раньше, с детского садика, а может быть, и с яслей, — при тоталитарном режиме. И действительно ведь — тоталитарном. Как ни закрывай на это нынче близорукие, но ещё недавно бывшие зоркими глаза свои. Как ни отбрыкивайся от этого. Как ни крути. И никак, ну никак не пролетарском. Скорее, полуцарском. Где царь-генсек — с партбилетом. Полубарском. Полубоярском. Полудикарском. Режиме, уж точно. Зажиме. Рот зажимали. Прижиме. К земле — к родной, между прочим, земле, — прижимали. Гнули. Да не согнули. И ломали. Да не сломали. Попробуй-ка, в таких-то условиях, — тащить этот свой пресловутый воз. И вытащить его, не откуда-нибудь — из трясины. И дотащить его, все преграды преодолев, не куда-нибудь — а до цели. Своей цели. Не заплохеет ли?

По вечерам у нас в Коктебеле с улицы порой слышно: цокают подкованными копытами по неровной, с выбоинами, кое-где наспех блямбами асфальта залатанными, с весьма крутыми подъёмами и весёлыми длинными спусками, странно безлюдной в этом году, можно сказать — пустой, обрамлённой акациями, тополями и вездесущей алычой, полудремлющей в полупризрачной тишине, под распухшей, как от пчелиного укуса, вытаращившей круглое око луной, под разросшимися в изобилии августовскими звёздами, слишком знакомой и одновременно, по причине такого вот совершенно нежданного новшества, карнавального шика, театрального, полуабсурдного сдвига, заоконной, столь близкой, но уже запредельной дороге, цокают, ну словно кузнечики-коники, поют-тирликают копытами, словно сверчки-цвиркуны, цок да цок, замечательные, ухоженные лошадки.

Смирные лошадки, симпатичные. Дети их обожают. Запряжённые в лёгонькие повозки, с узенькими скамеечками для сидения по обеим сторонам и с передним, особенным, слегка выдвинутым вперёд, отграниченным от обеих скамеечек местом для возницы.

На одной из повозок есть даже очень уж знакомая надпись: «Эх, прокачу!» Ну точно — из Ильфа с Петровым.

Не хватило собственной фантазии у хозяина, взял готовое. Чего там выдумывать что-нибудь новое? И так поймут. А кто поголовастее — те и сообразят, откуда надпись.

На других повозках — попросту выкрашенных в яркие, броские цвета — никаких надписей нет.

Лошадки — все с украшениями, принаряженные. Украшения незатейливые — ленточки, бантики, бубенчики, но зато — приятные, о детстве напоминающие, радующие глаз.

На передних сидениях, вроде как независимо, подчёркнуто независимо — ну хотя бы от нынешнего времени, от конца столетия, от всей этой техники и связанной с ней суеты, как-то невозмутимо-весело, задорно-серьёзно, восседают загорелые местные татары.

Они, за умеренную плату, катают всех желающих.

Желающие, разумеется, — сплошь отдыхающие.

Местные жители — не катаются, им и в голову такое не приходит.

Отдыхающим — нравится кататься. Они залезают в повозки, усаживаются на скамеечки. Возница

натягивает вожжи. Цокает, чмокает—языком, губами. Лошадки послушно сдвигаются с места. И тащат повозки. Везут. Отдыхающие—глазеют по сторонам.

Особенно нравится кататься—детям. Они просто в восторге от этих, уже ставших ритуальными, процедур.

У татар-возниц—отбою нет от желающих прокатиться. Отдыхающие—с удовольствием ездят. Поднимаются на горку. Спускаются с горки. Возвращаются в детство. Побудут там немного, расчувствуются, встрепенутся душой—и опять сюда, в нынешнюю действительность.

Эта нынешняя курортная действительность зовёт к себе—на набережную, к шашлыкам из несвежего мяса и протухшей осетрины, к винам, сплошь поддельным, каких прежде сроду здесь не бывало, одни названия чего стоят, не говоря уж о качестве их, к нехитрым развлечениям и прочим сомнительным прелестям их недолгого, по нынешним-то временам, летнего отдыха. Действительность затягивает их, всасывает в себя—и преспокойно, не поморщившись, поглощает. И отдыхающие, иногда и с коротким растерянным вскриком, исчезают в ней навсегда. Как в ненасытной утробе. Как в коварной пучине. Мелькнёт в шашлычном едком чаду беззащитная чья-то рука, высунется наружу на короткое, разом всё обрывающее безжалостное мгновение, затрепещет на ветерке—да и канет куда-то в разверстую бездну гульбы.

А лошадки—тащат себе и тащат лёгонькие, будто перочинным ножиком из дощечек выструганные, раскрашенные в яркие, наивные, будто ребёнок возился с красками, праздничные тона, плавно катящиеся на маленьких, старательно смазанных, чтобы не скрипели, игрушечных каких-то колёсах, едущие себе да едущие под луной, под деревьями, под разбрызганными светоносными крупными кляксами на тетрадном листе небосвода, может, и школьными, детскими, ну а может, и взрослыми, августовскими звёздами, волшебные эти повозочки, и они всё едут да едут.

И татары всё возят и возят—всех желающих, всех, кто увидел хоть раз гипнотически действующую на людей залихватскую надпись: «Эх, прокачу!»

Цок да цок, цок да цок!—стрекочут копыта лошадок.

И сверчки по садам подпевают им: тир-лир-лир-ли!

Возницы. Лошадки. Повозки. Зрачки и сверчки.

Сон? Или—зов?

Тоже ведь—воз.

Но—куда легче, нежели наш!

Конечно, мой нынешний молодой собеседник, нынче ты себя чувствуешь свободным, раскрепощённым—что, впрочем, не всегда уберегает от примитивной, зауряднейшей, а иногда и омерзительной распущенности—в поступках ли, в словах ли, сказанных на, людях, написанных ли, а то и напечатанных, это теперь делается запросто, нашлись бы средства на издание, появились бы на горизонте щедрые спонсоры—и опус легко может выйти в свет. В мозгу твоём нет той изощрённо составленной отравы—информационной, бытовой, политической, да любой, их все можно свести к одному определению: государственной,—той, которой пичкали всех нас при советском режиме. Травили, но не одолели. Не вышло. Выстояли.

Ты молод, читатель, и полон сил. Почему-то я обращаюсь именно к тебе—может, потому, что меня всё чаще расспрашивают вот такие же молодые люди—о моём бурном прошлом.

И я тебе почему-то верю. Чувствую, что—поймёшь.

Ведь мы с тобой—современники. Ещё—современники. Уже—современники.

Мой теперешний возраст более тяжёлой гирькой перевешивает—нет, несравнимо тяжким, чудовищным грузом перетягивает, придавливает, вжимает в сумятицу чисел и цифр, делений и стрелок, пружин и болтов—одну чашу весов. Горькую, гордую чашу судьбы с трудом я поставил на эту вот, в общем-то хрупкую, чашу весов. Но зачем? Не напоказ ведь! Пришлось—испить. И не допита ещё она, эта светлая чаша.

Мой теперешний возраст—возглас. Который вырвался прямо сейчас из груди моей. Мой теперешний возраст—воздух. Которым я дышу сейчас. Мой теперешний возраст—дух. Мой теперешний возраст—свет. И нет на него скидок, как не было и на тот мой, молодой возраст. Где—зарождение духа. Где—золотое начало света. Мой возраст—рост. Световой. Светозарный. Духовный. Световые годы мои. Светозарное будущее—надеюсь и верю. Духовный завет.

Мой возраст—прост. Пласт. Крест. И—мост. Звёзд весть. И—честь. Есть то, что—есть.

Всегда у меня так.

—Это—возраст полыни…

Быть может, и получится у нас диалог. А нет—ну что же, довольствуйся монологом. «Печален будет мой рассказ». Но и—по-своему—радостен.

В ту пору, когда занялся я самиздатом, силы меня просто переполняли. Переполняли—и поднимали. Поднимали—и вели. Вели—и приводили. К свету, в котором—дух.

Силы эти были—та, сплошь творческая, сплошь певческая, ведическая—по сути своей, жреческая—по стати своей, плоть от плоти земли моей, в плоть и кровь мою издавна, с детства, вошедшая, чтобы в плоть и кровь моей речи грядущей облечься, животворная, светлая, щедрым солнцем нашим напитанная, стариною нашей целимая,

чистым небом нашим хранимая, сплошь—деятельная, сплошь—сеятельская,—энергия, дарованная мне—знаю это—свыше, там, где я рос. Почва, закваска, основа.

Начало движению моему в мире положено было давно, ещё от рождения. Рождение—вхождение. В мир и в свет.

Сила этих сил—в том, к чему тянутся незримые связи, духовные нити. В Том, кому служат небесные рати.

Мы были—рати земные. Но некоторые из нас—наделены были связью: с теми, небесными. Некоторые. Не все. Далеко не все.

Все были—просто ратью. К ней—стягивались. Отовсюду. Сходились, съезжались. Чувствуя—братство. Ощущая—зов.

Такая рать—не толпа, не стадо, не стая. Такая рать—сгусток. Энергетический. Творческий—практически для всех. Творческий—значит, деятельный. Просвещённый, сплочённый. Чтобы сберечь и развить—у некоторых—дар: певческий.

Силы—жилы. Натянутые. На лире. Им надо—звучать.

Было совершенно необходимо куда-то приложить их, применить на деле, в действии. Самиздат—одна из точек их приложения, так я выражусь. Или, скорее, сфера. Что и точнее, и поближе к истине. Сфера. А ещё вернее—среда. Круг, в котором я существовал, где было мне всегда интересно.

Мы все тогда старались казаться взрослее, чем оно было на самом деле. Нет, не мода это, но веяние времени. Потребность жаждущей знаний души. Отсюда и отсутствие скидок на наш возраст.

Я тянулся к людям, которые могли открыть для меня то, что я ещё не знал, чего не успел ещё узнать. Необходимость эта жила во мне сызмальства. Я дружил с людьми, бывшими на восемь, на десять лет старше меня, и даже ещё постарше, и вёл себя с ними на равных. Сейчас я отчётливо понимаю: сближало меня с достойными людьми, поддерживало и вело то, что было у меня,—моё, наиболее дорогое, данное мне для сохранения его и развития,—дар. Из этого и надо исходить. Помня об этом прежде всего, следует находить когда-нибудь все жизненные тропы мои и дороги.

Дар—это свет, он всегда есть в моих писаниях, какого бы рода ни были они. Жар души я сумел не растратить в пустыне.

И ни на йоту не чувствую себя постаревшим. Ещё чего! Всё при мне. И это обострённо, даже ревностно ощущают некоторые давние мои приятели, выглядящие нынче ходячими развалинами и почти не способные породить что-нибудь толковое в слове.

Ну, это показательно. Всё зависит от того, как человек себя в жизни ведёт.

Хотелось бы сказать этим некоторым: не мните о себе слишком много, не имея на то достаточных оснований, не стройте из себя этаких «поэтов»—за километр видно, каковы на самом деле вы, что из себя представляете, не предавайте друзей, не живите в собственной лжи, которую вы почему-то упорно не желаете признавать таковой, а десятилетиями выдаёте за правду, помните о древнейшем русском законе причины и кары, живите по возможности проще, ведите себя естественно и просто везде и во всём—и да воздастся вам, а пока—что ж: пожинайте то, что посеяли, глотайте то, что заслужили.

Жаль, конечно, этих ребятишек, этих нынешних облезлых дяденек. Никого не хочу я судить. Известно, что есть высший судия. Но говорить о таком я, к сожалению, вынужден. Что есть, то есть—куда от этого денешься? Измена свету перечёркивает творчество, вносит необратимые изменения в жизнь.

Сам я нередко грущу и сожалею о том, что немало было и у меня в минувшем промашек, да и теперь бывают. Стараюсь вовремя опомниться, стряхнуть наваждение, сделать по возможности верный шаг. Это всегда трудно, но делать это необходимо. А как же иначе?

Спасение моё—работа. Панацея от бед. Сохранение света.

Может, поэтому, прежде всего, чувствую я, что молод, по крайней мере—душой, и мир воспринимаю, как когда-то давно, лет в шестнадцать,—нет, это уже возраст моей работы над словом с полнейшей отдачей,—я считал себя взрослым, вовсю шло формирование поэтики, я рвался вперёд, вёл меня—мой свет,—и вот я призадумался и понимаю: слегка не то чтобы резко постаревший, но всё же изменившийся внешне, физически—ну хотя бы наличие седины о чём-то да говорит,—мир я воспринимаю так же, как воспринимал его в детстве, и всегда изумляюсь ему, это всегда—открытие.

Так не в этом ли—молодость? И, может быть, осознание этой вот моей особенности и заставило Сашу Соколова считать, что я—«самый из нашей плеяды подлинный, глубокий и молодой»?

Разбирайтесь сами. Мне некогда. Я работаю. Вот моя обычная отговорка.

Что же касается обстоятельств, сопутствовавших моей и моих товарищей самиздатовской деятельности, то об этом речь впереди. Их как песку морского, этих обстоятельств. И вовсе не рыбой в воде себя я среди них ощущал. Приходилось барахтаться, выныривать, выплывать из пучины, выбираться на берег, потому что там у меня было—дело.

Ну а неопытность—что о ней вспоминать? От неё избавлялись по возможности быстро, с ней расставались без сожаления: чай, не дети. А кто же? Мужи? Да, таковыми себя мы искренне считали.

Возраст — не помеха. Обстоятельства — не преграда.

А опыта мы набирались — с избытком, с запасом. Хватило бы не только на десятерых — у каждого из нас, — а уж и не знаю, на какое количество народу, не представляю, как и выразиться в данном случае, потому что подсчитывать — бессмысленно, да и незачем, и сравнивать чей-нибудь опыт с другим опытом — пустая затея, в чужую шкуру не влезешь, и вообще, как сказал поэт, «не сравнивай — живущий несравним», и потому мало ли сколько у человека набиралось — кому какое дело, об лишь на небесах совершенно точно знают, — вот этого и достаточно, из этого и надо исходить, а здесь, у нас, на земле, обобщённо выражаясь, вдосталь у каждого было этого самого, как принято считать — личного, и совершенно правильно именно так считают, и особенно при том условии, если человек, о котором речь идёт, — действительно личность, а ещё — кровного, поскольку сживался, срастался твой собственный опыт с тобою, поскольку и ты с ним — сживался, срастался, в крови было всё это, с кровью давалось, а ещё — и это очень важно — опыта духовного, и тут уж ясно, что ещё более обособленно каждому он давался, что эту сторону общечеловеческого опыта лучше так вот, запросто, не трогать, не касаться её, если в точности не знаешь её результатов, относиться к этому по возможности бережнее, деликатнее, ведь опыт наш духовный — в творчестве нашем прежде всего и сильнее всего сказывается, — вот лучше всего и обратить когда-нибудь внимание на то, что мы там, в своё время, создали, — всё и раскроется, всё и прояснится — в каждом отдельном случае, — и делайте тогда свои выводы, если в состоянии их сделать, и ещё, разумеется, опыта земного, всеобъемлющего, основного, решающего, такого, в который входят все грани, все градации, все виды людского, всеобщего, а с ним и юдольного, — свет на пути твоём, свет и любовь, и надежда, и вера, — горчайшего нашего, сладчайшего нашего, редчайшего нашего, извечного нашего, реального нашего — так и запомните — опыта. В моём случае — всё происходило именно так.

Остальные — пускай прикидывают сами, соображают сами и разбираются с собою сами. Им и карты в руки. Или — перья. Или — пишущие машинки. Или — как теперь принято — компьютеры. На выбор. На тот случай, если сами, глядишь, да надумают что-нибудь да написать о былом. Что, на мой взгляд, у них — у этих других — маловероятно. А у большинства из них — и непредставимо.

Писать — это им не языком, где угодно и о чём угодно, молоть, были бы только повод, любой годится, да желательно — выпивка, да публика, чтобы — перед нею то ли рисоваться, то ли красоваться, чтобы — к ней адресоваться, чтобы — слушала. Вот здесь они в своей стихии. Разговорной. На людях. В компании — не скажу, что честной. Но в компании — где внимание. И то хорошо. И достаточно. И даже вдохновение у таких вот говорунов появляется. Уж точно — появляется. Случается. Не всегда. Иногда. Но — бывает. Сам видел. Однако вдохновение это — скорее возбуждение. Говорун такой сам себя взвинчивает — и слушателей своих заводит. Говорун — врун. Говорит вроде и правду, а прислушаешься — привирает. Завирается. Им без этого — ну никак нельзя. Им без этого — крышка. Им без этого — свет не мил. Вот и держат это за правило. Это их говорильное правило — им способностей поубавило. Творческих. Писательских. Писать им некогда. Они — говорят. Бают. А такой баюн — вовсе не поюн.

Да и сама даже устная традиция, столь замечательная, достойнейшая, так чудесно сохранившаяся в народе, — не для них, не для этих других. Только не для них! — решительнее скажу. Категорически — не для них. Куда им до этого! Кишка тонка. Не дано им такое постичь и продлить.

И, хотя иногда и услышишь от кого-нибудь из таких вот других что-нибудь любопытное, и само по себе занятное, и не без блеска даже, кратковременного, но всё же пробежавшего по словам и успевшего потускнеть на лету, по ходу рассказа, что-нибудь отчасти знакомое, что-нибудь — из того, что не знал, неожиданно, вдруг, под настрой, им припомнившееся в застолье, под воздействием винных паров, но ведь это — слова на ветер, в пустоту, в никуда, на воздух, — и попробуй заставь их, этих самых других, записать ну хоть что-нибудь, ну хоть самую малость их бесчисленных россказней, их богемных историй, их обильнейших баек, записать — на бумаге, записать — чтоб оставить на ней, как и до́лжно писателю, ежели он таковым, по инерции, всё же считается, поступать, то есть — просто работать, — нет, куда там, какое там, им не до этого, слишком уж хлопотно, некогда, времени всё не хватает, нет, потом как-нибудь, всё успеется, — нет, уже улетели слова их навсегда, безвозвратно, улетели, развеялись по ветру, растворились в воздушном пространстве, — и если однажды они и рискнут, и попробуют что-нибудь да записать — то, как правило, там, на бумаге, выходит что-то жалкое, слабый лишь отсвет, беспомощный отзвук всех тех их давно улетевших на воздух, растраченных без толку слов.

Но — почему же и не попробовать им? Никому это не возбраняется. Пусть пишут. Если сумеют. И — а кто его знает? — авось и сдюжат.

Не впервой мне верить в людей. Не впервой говорить им: попробуй! Вдруг получится? Даже тогда, если случай почти безнадёжный, но чувствуешь: есть ещё у человека, где-то там, внутри, остатки растраченных попусту способностей. А если есть они, эти остатки, обломки, то, наверное, можно

попробовать собрать их, сложить, чтобы нечто целостное из этого всего получилось.

Втолковываешь им: работай! Люди слушают. Соглашаются. И опять ничего не делают.

Бог с ними! Пусть решают. Пусть сами решают—как им быть, что им делать, и способны ли они—теперь, когда это очень важно,—хоть что-нибудь создавать.

Мне же надо—с Божьей помощью—дальше продолжать свой рассказ.

Или—сказ? И сказ этот—далеко не весь. То есть не весь сказ о былом, а лишь часть его. Связанная с самиздатом.

Или—миф? Миф—риф. Налетев на него, корабль может разбиться и затонуть. Придётся выбираться на остров. Таинственный, конечно. А какой же ещё? Может, это остров самиздата? И над ним—горит, сияет в небесах «стоцветной силою»—звезда островитян?

Или же—легенда? Предание, поэтическое, конечно,—об историческом событии, каковым и являлся, да и является посейчас, и ещё будет в дальнейшем, без всякого сомнения, уж мне-то это ясно, являться наш самиздат? Сага о героических деяниях былого? Весьма специфический, что-то там этакое поясняющий, текст—при некоей, скажем, карте,—или, что попроще, плане,—или, что ещё проще, куда уж проще, схеме ушедшей эпохи?

Что за легендарный жанр?

—Вот и пришёл к нам Владимир Алейников! Живая легенда!—так встретил меня в редакции журнала «Знамя», года три, пожалуй, назад, Сергей Чупринин, главный редактор этого всем известного толстого ежемесячного журнала, поднимаясь в просторном своём кабинете из-за большого, массивного, поблёскивающего тёмным, отражающим заоконный свет, благородно-сдержанным лаком, загруженного сверху, но не очень, так, чтобы места достаточно оставалось, рукописями и всякими, наверняка важными и среди них—деловыми, бумагами, поражающими плотностью и белизной, отчасти гостеприимного, но очень с виду солидного, начальственного стола, решительным движением отодвигая назад удобное мягкое кресло, откидывая, как-то наискось по отношению к туловищу, свою крупную, сгустком дум взлетавшую голову, закидывая, опять же—назад, наискось и за плечи, густые, довольно длинные и уже седоватые волосы, улыбаясь по-детски, радостно, поправляя очки—и устремляясь ко мне навстречу.

Пришлось отшучиваться. Хотя, если чуть призадуматься, правду ведь человек сказал. От души говорил. Ну, и на том спасибо. Такая правда—глаза не колет. Она их—просветляет. Увлажняет скупой и достаточно горькой слезой. Проясняет—воспоминаниями о молодости, как известно, у нас—крылатой. О молодости, о свежести, о недюжинной силе. И округляет их, конечно,—если, пускай и с запозданием, но узнаёт наконец вот такой, безусловно, хороший, да и почти ровесник мой—ну, на годок помладше, такой вот приветливый, явно настроенный на доверительный, искренний тон, да и чуть ли, вот именно, чуть ли не на дружеский, нашенский лад, солидный, приятный во всех отношениях, интересный в общении, образованный, умный, отзывчивый, очень правильный человек,—что же вот этой, пришедшей к нему, уцелевшей—нет, выжившей чудом, и всё ещё, вот уж загадка-то, как и прежде, живой,—да, представьте, живой легенде!—пришлось испытать в минувшем.

Нам не понадобилось даже долго присматриваться друг к другу. Взаимопонимание—было. Хотя и, по старинке, с непривычки, всё ещё—удивляло.

—Если бы я был тогда, в шестьдесят пятом году, в Москве—я был бы вместе с вами!—твёрдо сказал мне Чупринин.

Имелся в виду наш СМОГ.

—Верю. Конечно, верю!—так я ответил ему.

А почему бы и нет? Запросто мог бы он быть с нами тогда.

Всё могло быть. Вообще всё могло быть. И сейчас—всё может быть. На то она и жизнь, со всеми её поворотами и парадоксами, чтобы чему-то, ну хоть чему-то, но обязательно—быть. Потому-то и человеку—желательно быть. Нет, необходимо—быть. Сбыться. Состояться. Сказать своё слово. Сделать своё дело. Здесь, в этой жизни. А по возможности—и в той, что будет, непременно будет—потом.

Так мы сидели вдвоём—человек, основавший СМОГ, и человек который мог бы в нём быть,—и говорили. О неофициальном, не так уж давно—подпольном, запретном, гонимом—искусстве.

Чупринин сказал:

—Это я предложил термин—«другое искусство».

—Хороший термин. Пожалуй, на сегодня—лучший. Куда уж лучше других!—ответил я.—Хоть по-человечески, по-русски сказано. А то—какой-то там «андеграунд»! Одно словцо чего стоит. Не приживётся оно в нашей речи. А «другое искусство»—это нормально. Потом, глядишь, и ещё точнее определение найдётся.

Чупринин был доволен.

В его кабинете, помимо его собственного стола, был и другой, длинный,—наверное, для заседаний редакции. По обе стороны от него рядами стояли слегка отодвинутые стулья. Этот стол, длинный, упирался в более короткий чупрининский стол как раз посередине. И оба стола, так уж получалось, образовывали подобие большой буквы «Т». Начальной буквы названия одного моего сочинения.

Мы говорили — и мне было интересно слушать возможного моего товарища, потенциального соратника — там, в далёком былом.

Здесь, в нынешнем нашем, окружающем нас обоих со всех сторон, вплотную глядящем на нас и опять-таки неспокойном, напряжённом, таком непростом настоящем, был он главой серьёзного журнала, был вообще весь, целыми днями, в делах, то есть занят был выше всякой приемлемой, допустимой для выносливого, конечно, и всё-таки устающего от подобных нагрузок добросовестного человека, но, как нарочно, всё разбухающей, гипертрофированной какой-то нормы, занят, занят и занят, выше головы занят, но, уставая, конечно же, очень, ещё и выдерживал это, с трудом, с напряжением — но выдерживал, — ещё и умудряясь при этом выкраивать время и работать дома — писать свои статьи и книги.

Речь шла о том, что хорошо бы, да и давно уж пора, мне, ветерану богемы, известному в своей среде и далеко за её пределами поэту, живой легенде былого и настоящего, написать для «Знамени» воспоминания о СМОГе.

Мы говорили — и курили, курили — и говорили. Я всё-таки приглядывался к Чупринину, он — ко мне.

Заодно привыкал я к новой для себя обстановке, не очень-то ещё знакомой. К атмосфере существенно изменившихся, с советских-то времён, можно сказать — разительно упростившихся, новых отношений редакции с автором. С некоторым усилием над собой вроде бы и привыкал, но внутри себя понимал, что вряд ли, наверное, да и не наверное, а скорее всего, привыкну я к этому окончательно, так, чтобы чувствовать себя здесь действительно свободно. Слишком велика ещё была память о тех, давешних временах, с их отношением к поэтам. И незыблемой оставалась внутренняя моя, столь развитая, оправданная, закалённая, выстраданная этика — тех ещё, памятных мне, времён: никуда, ни к кому на поклон не ходить, никого никогда ни о чём не просить, выдерживать марку, помнить о собственных достоинстве и чести, никому не продаваться, не служить властям, быть по возможности независимым от всего, что мешает жить и работать, всегда, везде и во всём оставаться самим собою, в любых условиях делать своё, к которому призван, дело. Насколько нынче изменились обстоятельства, насколько редакции и вся вообще московская литературная жизнь стали другими — это надо было ещё осмыслить.

У себя в Коктебеле я находился годами вдали, в стороне от всего этого. А в Москве бывал нечасто — и подолгу в ней не засиживался, как и в этот раз, — ведь я уже всё чаще, находясь в столице и по укоренившейся привычке почти никуда не выбираясь из дому, подумывал о том, что пора мне, пора возвращаться обратно: в Киммерии — весна.

Тут я вспомнил, что принёс в подарок Чупринину — поскольку он, помимо того, что главный редактор журнала, ещё и очень известный литературный критик, а ещё и просто очень любящий поэзию человек, — мои книги.

В какой-то газете, не помню уж, какой именно, видел я фотографию: идут рядышком Сергей Чупринин и Вольфганг Казак.

С Казаком, крупнейшим славистом, высоко ценившим постоянно изумлявшую его поистине баховским, как совершенно верно догадался он, звучанием и многообразием поэзию мою, я изредка переписывался, а познакомился лично несколько позже, в те дни, когда вышел его «Лексикон», и в Доме литераторов состоялся вечер, посвящённый этому событию, и профессор Казак был так счастлив, что завершил свой труд, и мы с ним познакомились наконец вживую, а не заочно, как было раньше, и он надписал мне свой «Лексикон», вручил мне его — и, с нескрываемым интересом разглядывая меня, громко и, как и вообще всё у него получалось, непосредственно, несколько растягивая фразу, продлевая её звучание, сказал:

— Так вот вы какой!

На что я, пожимая его руку, ответил:

— Да такой вот, какой есть.

И подарил ему некоторые свои книги, которых ещё не было у него, поскольку, из-за коктебельского отшельничества, не представлялся случай их ему передать.

И Казак рассиялся в улыбке.

Я напомнил Чупринину об этой фотографии. Я сказал ему, что, глядя там, в Коктебеле, ещё несколько лет назад, на эту фотографию, непроизвольно как-то подумал о том, что он, снятый в движении, подавшийся вперёд, какой-то открытый весь, улыбающийся, с разлетающимися волосами, живой, симпатичен мне и по-человечески интересен.

Чупринин оживился. Поведал мне об истории этой фотографии. Всё было тогда — впервые. И Казак, ранее запрещённый у нас, тоже приехал в Москву — впервые. И такой вот материал в газете — был впервые. Всё было внове. Всё обещало впереди что-то хорошее, такое, чего давно уже ждали. Неужели придёт оно?

Покуда он рассказывал, я достал из сумки мои книги. Надписал их по очереди — и вручил Сергею Ивановичу. Все.

— Ого! — сказал Чупринин.

И потянулся навстречу книгам. Начал их рассматривать, листать. Сразу видно — по повадкам — любит книгу человек.

— Потом почитаете, дома! — сказал я ему. — Книги сложные. Такое чтение, сами понимаете, — дело непростое.

Чупринин согласился. Оторвался от книг. Положил их на стол, рядом с собой. И, всё-таки

поглядывая на них с явным, хищным, профессиональным интересом, опять сказал мне:

— Владимир Дмитриевич! Напишите для нас воспоминания. Мы — напечатаем.

Не скрою — приятно мне было такое слышать. Первый случай в жизни со мною такой, когда мне сами официальные журнальные издатели печататься предлагают. Да ещё и в известном журнале. Да ещё и сам главный его редактор.

Я сказал:

— Напишу, конечно! Я уже их пишу, сейчас.

Тут — как будто подул ветерок, приятный, весенний, — и в раскрытую настежь дверь чупрининского кабинета свободной и лёгкой походкой, посверкивая на обоих нас ещё издали своими карими озорными девчоночьими глазами, одетая в модный, конечно, с виду мятый, но так полагается, ладненький серенький пиджачок и такую же, с виду невзрачную, но, конечно же, модную юбку, вскидывая на ходу свои худенькие, лёгкие руки с узкими ладонями и тонкими пальцами, глядя на которые, в былые годы, в период нашей с ней дружбы, я всегда вспоминал некоторые песенки Вертинского, вошла заместительница Чупринина, одна из главных фигур в современной российской литературной критике и публицистике, в отдалённом прошлом — большая любительница и ценительница прежних моих стихов, да и сейчас вроде бы не забывающая об этом прошлом, современница моя славная и даже бывшая соратница моя, с которой был я знаком уже около тридцати лет, прелестная женщина, милая Наташа Иванова, тоже радостно и широко улыбаясь и немедленно, вся подавшись вперёд, похожая на птицу в полёте, устремляясь ко мне.

Вот и ещё одна встреча! И всё — прямо здесь, не сходя с места. Чудеса! Всем нам троим тем более было о чём словечком перемолвиться.

Наташа тоже призвала меня:

— Приноси свою прозу нам!

Ну вот, и она — всё о том же.

— Напишу! — говорю ей. — Работаю.

Хорошо — общаться с людьми. Если люди — хорошие.

Но пора было мне возвращаться домой.

Попрощался я с ними, тепло попрощался, — и с Чуприниным, и с Наташей, — и ушёл восвояси.

На Никольской, весёлой, торгующей всем и всегда, всякой всячиной, от горячих пирожков до нательных серебряных крестиков, деловой, бестолковой, то беспечной, то ушлой улице, в тесноте, в толчее людской, взглянул я исподволь, искоса на Кремль, на кирпичные башни, на Красную площадь, вернее — предГУМовский малый кусочек её, — да и нырнул вместе с толпою в метро, чтобы вынырнуть из него там, у себя уже, в Новогирееве. И — от метро, уже нашего, местного, с безобразным базаром вокруг, с апофеозом всеобщей какой-то, всеядной, глобальной торговли, с нехорошим, противным душком распада и тлена, с тем развалом, в котором легко задохнуться и даже пропасть, — поскорее домой: к работе своей! К работе.

Вот нужны всем — воспоминания. Подавай их — и всё тут. Нужны.

Напишу. Всему своё время. И уже их пишу — сейчас — для «Знамени» ли, для пламени ли духа, для времени ли света. Но — пишу. И они вкраплениями, пластами входят и в эту книгу. И в другие книги мои — войдут. Обязательно войдут. Это — кровное. Становление духа. Тот, когда-то вспыхнувший, свет.

Вот хорошее слово — предание. Но предание ли — всё это? Слово — сказанное. Переходящее. Из уст в уста. От человека к человеку. От поколения к поколению.

Правдивый рассказ о былом. Так. Но — какой же ещё? Правдивый — значит, живой. Живой. Правдой жизни — правдивый. Живучий. Тот, что останется. Надолго. Тот, выживающий. Вызывающий — дух выживающий. Призывающий — навсегда.

Предание. В нём — гадание, и рыдание, и страдание. Сострадание? Да, конечно же. Дух и свет. Живая вода. Над живой водой — ожидание: ах, взойдёт ли твоя звезда?

А звезда, слава Богу, всё всходит и всходит. Жаль, что время уходит. Жаль, что многое не доходит до людей, — но потом дойдёт. Слишком часто уж так выходит. Но когда-нибудь да приходит — сразу всё. И любой находит всё, что в руки к нему идёт.

Ну а тот, под звездой, восходит к новым звёздам. И снова — ждёт. Снова по мосту переходит — но куда? Свет его ведёт. Свет ведёт — и в Дух переходит. Звук приходит. И — Речь грядёт.

Предание. Оправдание. Чего? Судьбы? Речи? Предание. Спецзадание: выполнить. Передать. Предание: здание. Выстроить. Возвести. Предание. Созидание. Вспомнить. Выстоять. И создать.

Предание. Предвестие апокрифа. Предвидение канона. Для канона — крупного плана, общего фона. Верного тона.

В преддверии речи.

…зажигает, вздохнув, человек подсознания свечи.

Это уж точно.

Поскольку день ясный, солнечный, и солнце стоит прямо над Святой горой и светит мне в окно — и, естественно, света сейчас более чем достаточно, — я зажигаю — всё-таки зажигаю, мысленно зажигаю, — знаю, что делаю, — свечи, свои свечи, наши свечи — пусть горят они ярко, так ярко, чтобы озарилось прошлое моё, озарилось — и появилось, всё, полностью, ничего вдалеке не утаивая,

ничего от меня не скрывая, потому что не скроешь того, что в душе столь давно всё живёт и живёт, не запрячешь куда-нибудь, впрок, с глаз подальше и чтоб не мешало пока,—нет, оно обнаружится и возвратится ко мне, зазвучит, расцветёт, лепестки настроений раскроет, стебельки состояний протянет к источнику света, чтобы вновь подниматься на этой земле по возможности в рост, чтобы корни поглубже ушли в заповедную почву, чтобы зёрна созрели, упали в родимую почву—и снова с весною взошли, чтобы слово пришло ненароком и сердце согрело, задышало свободно, расправило крылья свои, поднялось в небеса птицей Сва, птицей Сирином стало, Гамаюном запело и Фениксом в пламя вошло, возрождаясь в огне, воскресая,—огниво, кресало, жар костра вдохновенного, лампа, лучина, свеча—всё горит, всё пылает, всё ночь освещает земную, чтобы речь пробуждалась и вдаль за собою вела, чтобы в этой дали зарождалось, как прежде, сиянье, чтобы здесь, в настоящем, оно поддержало меня, чтоб в грядущем оно продолжалось,—отсюда и свечи, свечи, внутренним зреньем давно различимые, в них—дух эпохи, что слишком легко не уходит—и, похоже, что так и останется в нас, никуда не уйдёт, потому что куда уходить ей? и к кому ей податься? и кто её примет сейчас?—нет, не хочет искать она где-то иного родства, пониманья она не желает искать у других,—здесь её понимают и здесь она с нами сроднилась,—оставайся же, милая!—будь, вся как есть, у меня, и не просто в гостях—будь как дома и чувствуй свободно в этом доме себя, будь своей, будь самою собой, как была и всегда ты,—мы чаю с тобою заварим, посидим, побеседуем,—время вдвоём коротать не впервой нам, ты знаешь,—ты музыку вспомнишь былую, свет былой, дух былой—и сольёшь их в звучанье одно с тем, что помню и я, с тем, что нынче пишу я запоем, с тем, что слишком люблю, чтоб не выразить в слове его.

В данном случае—слово само за себя говорит: самиздат.

Слово. Не натужное, не вымученное в поте лица, но вдохновенное, надо полагать, свыше, явленное—в озарении. Органичное, звучное, личное, прочное. Прямо скажем: удачное слово.

Для истории, для литературы, да и для жизни повседневной—нашей с вами, сограждане и зарубежные граждане, жизни,—какой бы она ни была,—такая небывалая, несомненная и более чем несомненная удача, такое поразительное—высший класс—попадание прямо в яблочко, попадание в десятку—не шутка.

Сразу же после такого вот снайперского выстрела—средствами языка, разумеется, а не в буквальном понимании этого действия,—после такого вот дерзкого проникновения куда-то в самый центр живущего своей долголетней и таинственной жизнью, постоянно видоизменяющегося, светящегося не отражённым, а собственным светом, колоссального массива речи, если вообразить его как некий лучезарный, пенящийся магмой всевозможных звучаний, сияющий шар, впитывающий, перерабатывающий и выплёскивающий из себя все известные и ещё неведомые энергии мироздания, но неизменно сберегающий золотой их запас, всегда дающий творческому человеку определённый шанс, постоянно, поскольку сам он—живой организм, заботящийся о том, чтобы продлить дыхание не только сочетаний слов или отдельного слова, но и каждого звука, вообще всего, что произносится в мире,—так вот, говорю я вам, после такого вот рождения слова, обогатившего речь, обрадовавшего её или огорчившего, но всё равно пополнившего её волшебные кладовые, нечто новое внёсшего в неё,—непременно что-нибудь да происходит в человеческом обществе. Хорошее ли, плохое ли—но обязательно происходит. И длиннейшим трепещущим шлейфом вытягивает за собою—разного рода последствия. То есть—явленный новый звук имеет продолжение и развитие. Остановить, замедлить или ускорить вызванные словом события, хоть как-то повлиять на них—мы не можем. Это—выше нас.

Пример? Пожалуйста.

Вот хотя бы: *большевики*.

Ведь как сработало!

Не придумали бы в своё время—и, что самое важное, вовремя—чьи-то весьма непростые, мозговитые, хитрые, не знаю, каким уж конкретно, да явно нечистою силой внушённым, умом наделённые, бесовские, стало быть, головы—именно такого—складного, простого, кодового слова, не прозвучало бы оно близким нашему—соответствующему русскому менталитету—стержневому мышлению, весомым, значительным голосом общей народной массы, чем-то очень убедительным, и—не хочешь, так захочешь—убеждающим, нашёптывающим бессонными ночами свои дремучие, извечные, горькие думы думающему человеку из низов—о том, что должна, вот теперь-то уж точно должна всем обещанная, долгожданная правда одолеть треклятую кривду, с удальством, с широтой, ой ты гой еси, вольная воля, размахнись, рука, раззудись, плечо, с богатырским, исконным размахом, с непременным, всем миром, прицелом в неизменно желанное будущее, где не только хлеб-соль на столе ожидает решительно всех, но и скатерти-самобранки, и молочные реки с кисельными берегами потекут, на каждом шагу, и всегда, днём и ночью, во веки веков, без конца и без края, будет пир на весь мир, пир горой да сплошная гульба, потому что известно: веселие здесь, на Руси, есть пити и еси, а работа не волк,

что ей в лес убегать, лес—он наш, как и вся эта, братцы, земля,—вон гляди,—ну куда её столько—чай, хватит на всех,—всё, что было чужим, будет нашим,—что хочешь разрушим,—что хотим, то построим себе, хочешь—дом, хочешь—город, а хочешь—и мир,—сил-то хватит у нас и не то совершить, здесь отныне—всё наше, мы не нищие больше, мы сами с усами, и каждый здесь, брат, сам себе голова,—мы не то что какую-то гору свернём на пути, мы и реки при случае вспять повернём, мы—народ, не замай нас, не трогай, а то, чего доброго, и осерчаем,—не по Сеньке такая-то шапка, понятно, да больно тепла, хороша, Мономаховой царской не хуже,—да и лучше уж нам не кобениться, брать что дают,—не подачка, не милостыня, а земля,—ну а если обманывать снова надумают—сами возьмём, всё как есть отберём, всё как есть будет нашим,—и баста, спину гнули на вас—поработать пора на себя—вон какую житуху сулят всем нам вскорости—ишь ты, поди ж ты,—со сразу разумеемым везде и во всём большинством, старшинством, с торжеством неизвестно откуда явившегося, непонятно откуда свалившегося на людские, российские, головы злополучного этого, посулившего дырку от бублика вместо хлеба и вместо земли, охмурившего—всех, обманувшего—всех, но так, что ему—поверили, заговорщицкого, партийного, большевистского большинства,—ещё неизвестно, что было бы—со страною нашей великою, с околпаченным нашим народом.

Ещё пример?

Наше с Губановым: СМОГ.

Пусть это и аббревиатура—но что-то опять-таки щёлкнуло, совпало, сомкнулось, таинственный механизм речи сработал, аббревиатура сменилась как по волшебству чуть ли не универсальным понятием,—и вот он налицо, знак времени, призыв к объединению—для моего поколения.

Почему это произошло? Да потому, что слово «СМОГ» воспринималось как слово «сумел», мобилизовывало, притягивало к себе точно магнит, заставляло подтянуться, призывало к здоровому творческому соревнованию, к созидательному труду, чтобы когда-нибудь кто-нибудь из смогистов, хорошо поработав на литературной ниве, с полным правом мог сказать: сумел.

Магия слова, как видим, и важна, и нужна. Сила слова—в проецировании живой энергии на людей и в возвращении этой энергии к исходной точке, дабы процесс повторялся.

Эпопея с нашим СМОГом тянется вот уже четвёртое десятилетие, а если быть точнее—добрых тридцать четыре, с хвостиком, года,—это на август девяносто девятого, а впереди ещё и осень, и зима, и следующий год, и грядущее столетие,—и завершения ей, судя по всему, не предвидится вообще.

Гениальная выдумка. Иначе и не скажешь, как ни пытайся, как ни подбирай к ней, тишком или в открытую, какие-нибудь там отмычки или ключи.

Ларчик этот—с секретом, да ещё каким! Так-то просто, как ни бейся, как ни пыхти,—не откроется. И как это осенило нас с Лёней—тогда ещё, в юности нашей? До сих пор диву даюсь.

Ларчик—вот он. Смотрите. Он давно—на виду. Было два ключа от него. Один ключ—у Губанова, да так с ним и остался. Другой ключ—у меня.

Что в ларчике—ещё, даст Бог, узнаете. Если его открою—для вас. Поживём—увидим. Так всегда говорят.

Ларчик этот—открывать слишком часто мне, право же, незачем. Ни к чему это. И почти не для кого. Я и так слишком хорошо, лучше всех остальных, знаю—что там, внутри. А там—нечто.

Странная эпопея. Поистине—странная. Не желающая—исчезать. Не желающая—расставаться: и со мной, и со всеми нами. Выживающая—кровь из носу, во что бы то ни стало, но только—так, и не иначе. Вызывающая—огонь, да не один, все огни—на себя. То есть—ушедшая далеко вперёд. Как на войне—в расположение сил противника. И всё ещё находящаяся там, впереди. Воспевающая—речь и явь, дух и свет, честь и братство. Затевающая—нет, уже давно затеявшая,—вечный спор—нет, поединок вечный,—с тем, что всюду на земле всего страшнее—с равнодушием беспамятным людским. Начатая—тогда ещё, давно, в советское время. Продолжающаяся—ныне, в междувременье. Готовая протянуться—в грядущие времена. И, несомненно, будет она продлеваться и в них.

Эпопея—типично русская. Со стержневым, врождённым,—всё и насквозь пронзит—природным, как речь, мышлением. С несколькими—так уж вышло—слишком уж разными авторами, пока ещё, всё ещё, вместе ещё, одни—довольно отчётливо, другие—уже посмутнее, а третьи—те еле-еле в глубокой дали различимы, но всё-таки прорисовывающимися, хотя и основательно уже, решительно и даже беспощадно прореженными, пристально отобранными самим суровым временем, до нас двоих—меня с Губановым, а там, в дальнейшем, в скором будущем, тем паче—в грядущем, там, в сознании потомков, число всех этих авторов, я знаю, всенепременно будет сгущено—до одного—из мифа, из легенды, из прошлого ли,—всё уже едино, всё ясно всем, и так всегда бывает,—до одного лишь автора, конечно,—до этакого нового Гомера. Уже не эллинского—русского. Но, впрочем, Гомер, тот, прежний, правильней—Омир, фракиец был, а значит—тоже рус.

Эта новая «СМОГиада» или «СМОГиссея»—всех нас, небось, да и потомков наших, и мало ли кого ещё переживёт.

Эпопея эта, и прежде всего—скрытая до сих пор от многих любопытствующих подоплёка её,

основа её, почва её,—всё обрастает и обрастает, ну прямо как днище большого корабля—множеством прилепившихся к нему на нелёгких морских путях, самых разнообразных, и мелких, и покрупнее, водорослей и ракушек, так и путешествующих вместе с ним,—всевозможными, зачастую нелепыми, иногда и бредовыми вымыслами, беззастенчивыми, с выкрутасами и переборами, в общей сумме своей и яйца выеденного не стоящими, но поныне упорными и обильными домыслами, ну и, само собой, неисчислимыми по количеству их, не говоря уже о качестве вранья, слухами,—эпопея эта, подчёркиваю, давным-давно уже стала отечественной легендой—и неумолимо, неудержимо превращается в самый настоящий, классический, не по греческому—по отечественному—так доходчивей—образцу, со своими богами и героями, со своими бурными событиями, невероятными приключениями, борениями с силами тьмы и со злом, со своим, как тугая пружина закрученным, острым—лезвием, жалом!—сюжетом, со своими загадками и отгадками—на авось, со своими метаморфозами—и, конечно же, давними тайнами, с тайным смыслом подспудным своим, с зашифрованным знаком судьбы, с потаённым, запрятанным вглубь, на потом, кодом той, миновавшей эпохи, по которому, прежде его отыскав и осмыслив, там, в грядущем, когда-нибудь всех нас разыщут и встретят,—непреложный, немеркнущий миф.

Наше содружество и каждый персонаж этой разыгранной нами когда-то в открытую, на глазах у всех, в том числе и прежде всего—у властей, многоактовой, дерзкой, с прологом и эпилогом, с полудетской, наивной завязкой и вполне уже взрослой, жестокой развязкой, сумбурной, написанной набело, по вдохновению, пьесы, никакой и не драмы, а, конечно же, натуральной трагедии,—

(напомню, что действо происходило в середине шестидесятых, посреди истосковавшейся по свободному слову, огромной и тогда ещё неделимой страны, в самой сердцевине того самого, тоталитарного режима),—

продолжает, с годами—всё хлеще и хлеще, находиться в тумане разросшихся, шатких, зыбучих, но ставших привычными, слишком условных, слоистых, расплывчатых, чуть ли не призрачных, недостоверных, таких ненадёжных, таких никудышных, но всё же таких неизбежных и всеми охотно лелеемых толков.

И в наши, нынешние дни, на склоне века, СМОГ, почему-то в числе диссидентских групп, а не как литературное движение, изучают, уже—изучают,—что же, к этому, в общем-то, всё ведь и шло!—на занятиях по новейшей истории в школах, лицеях, колледжах и институтах, то есть в средних и высших учебных заведениях,—и подростки, и молодёжь,—причём, что и забавно и грустно, и досадно, и возмутительно,—сами преподаватели—ровным счётом никакого понятия не имеют—о сущности явления.

Приходит однажды из института моя старшая дочь Маша.
—Папа!—говорит мне.—У нас на лекции по истории преподавательница рассказывала о СМОГе.
—Ну и кто же мы такие, по её словам?—спрашиваю,
—Правозащитники. Диссиденты. Борцы с советским режимом.
—А как же литература?—недоумеваю.—Как же поэзия?
—О поэзии вашей она ничего нам не говорила, Правозащитники вы—и всё. Пострадали за правое дело. На себе испытали гонения власти. Вас преследовали. В тюрьмы сажали и в психушки. А вы всё равно боролись. И победили. У нас в стране теперь новая власть. А вы—мученики и герои. Так она говорила.

Развёл я руками. Ну что тут скажешь!
—Маша!—говорю дочери.—Кто у тебя папа?
—Поэт!—отвечает она.
—Я что, в тюрьме сидел? Прокламации писал? Демонстрации устраивал? Призывал к свержению власти?
—Нет, конечно!—говорит Маша.
—У меня что, нечем больше было в жизни заняться, кроме как подрывной деятельностью? Чем я всю жизнь занят? Ну, скажи мне!
—Стихи пишешь,—отвечает мне Маша,—переводишь. Прозу пишешь. И всегда этим занимался, сколько я тебя помню.
—Ну вот! Правильно! Так при чём же всё остальное? То, что рассказывают? И зачем они вас в заблуждение вводят? Что это за безобразие такое?
—Не знаю!—отвечает задумчиво Маша.—Преподавательница так говорит.

Приходит однажды с занятий в лицее моя младшая дочь Оля.
—Папа!—кричит с порога.—У нас на уроке истории проходили СМОГ.
—Ну и кто мы такие?—спрашиваю, уже догадываясь об ответе.
—В советское время, при Брежневе, вы были борцами за свободу.
—Так!—говорю.—А ещё?
—Тогда был период застоя. Было безвременье. Всем приходилось тяжело. Вы объединились в диссидентскую группу. Вы боролись с режимом.
—Каким же это образом?—спрашиваю.
—Вы устраивали демонстрации в защиту диссидентов, осуждённых за свои независимые взгляды на действительность и за свою антисоветскую

деятельность. Ну, ещё публиковали на Западе всякие острые материалы, разоблачающие советский строй. Вас за это преследовали. Вас держали в психушках на принудительном лечении, гноили в тюрьмах и лагерях. Но вы и там не сдавались. И оттуда раздавались ваши смелые голоса. И радиостанции всего свободного мира передавали ваши правдивые слова. Был железный занавес. Никого за границу тогда не выпускали. Тяжело вам приходилось. Не то что сейчас. Мы вот с Машей захотели—и в Италию с экскурсией съездили. А вы так ничего и не видели, кроме кухонь, где вы собирались по вечерам, чтобы там разрабатывать ваши планы борьбы, перепечатывать на ваших незарегистрированных пишущих машинках для самиздата «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына и слушать по ночам «Голос Америки», радиостанцию «Свобода» и «Немецкую волну», где про вас иногда рассказывали. Вот что нам учительница говорила.

— Доченька!—вздыхаю.—Скажи, я когда-нибудь занимался политикой? Что это за бред такой в ваши головы впихивают?

— Нет, папа!—отвечает мне Оля.—Политикой ты сроду не занимался. Ты всю жизнь стихи писал. И пишешь. Ты литературой всю жизнь занимаешься. Ты вон седой уже стал.

— Так что же это за ахинея?—возмущаюсь.—Откуда они берут все эти сведения? Кто им такие материалы готовит? Что это за стряпня возмутительная?

— Ты, папочка, успокойся!—утешает меня умная Оля.—Мало ли что учительница говорит? Ну, ерунда всё это, конечно. Она в бумажку заглядывает какую-то. По бумажке читает.

— И фамилии—по бумажке?

— И фамилии. И говорит, что смог—это туман такой, в Англии. Будто мы сами не знаем.

— Но наш-то СМОГ—не туман!

— Ваш—не туман. А у неё—туман в голове. Это уж точно.

— Боже праведный!—восклицаю.—Но о поэзии она, хоть что-нибудь, говорила?

— О поэзии—ни полслова. И даже о том, что все вы что-то писали, стихи или прозу,—ну совершенно ничего. Диссиденты, страдальцы, герои—и всё. Да ты, папа, на учительницу не обижайся. Дура она. Сама не знает, что говорит, не ведает, что творит. Что с неё взять?—подбадривает меня Оля.—Ты у нас поэт, папа. Ты у нас—гений. Мы-то все это—знаем!

— Это уж точно—не ведает!—соглашаюсь я с Олей.—А на добром слове—спасибо.

Но долго ещё представляю себе учительницу, читающую по бумажке наши фамилии, наверняка их коверкая, и объясняющую детям, какими мы храбрыми были борцами с режимом.

О поэзии—ни полслова

Будто она—не нужна была вовсе мифическим этим борцам.

И не такое ещё, а похлеще, позабористее, побредовей порой приходилось мне слышать. О былом. О себе. О друзьях моих давних. Обо всём, что прошло. О таком, что вовек не пройдёт—потому что достаточно света с ним в мире юдольном.

Досужие болтуны, сроду не бывавшие в нашей шкуре, задним числом охотно перемывают нам косточки в устных россказнях и в печати. Действует магия слова. Притяжение его велико и опасно для них, потому что слово «СМОГ» просвечивает их как рентгеном—и сразу видно, кто есть кто. Но они этого—не понимают. Они обольщены, околдованы. Им хотелось бы оказаться там, на нашем месте, в гуще минувших событий. Им—это конкретным болтунам. Бесчисленным и безликим. Хотя—некоторые рожи и рыла из этого стада отчётливо видны.

Хорошие люди—другое дело. Хороших, толковых—мы тогда привечали. Особенно своих—мы их за версту чуяли. Мы бы их—так я думаю, так полагаю—приняли бы к себе. И если они жалеют сейчас о том, что не были с нами,—их можно, конечно же, можно понять. Значит—из такого же теста, как и мы, эти люди. Значит—нашей закваски. Ну, не успели они тогда—быть вместе с нами, это понятно. Не сумели. Обстоятельства, значит, были такие в жизни, что не позволили сблизиться. Ну так—и теперь ведь можно объединиться! А что? Пусть они теперь—сумеют. Пусть будут все они—жалеющие ли, желающие ли—вместе с нами, оставшимися, уцелевшими. Только и всего. Сумеют ли? Это ведь важно—взять да и суметь! Смочь. На то он и СМОГ.

В стаде же болтунов—давняя паника. Они-то, может быть, и хотели бы—к нам. Да не сумели. Тогда. И сейчас—не могут. Не дано. И сам СМОГ, а он—дух такой,—их не пустит. Не допустит безобразия.

СМОГ—это как зона в «Сталкере». Вы там поосторожнее себя ведите. А то—мало ли чего выйдет? Здесь всякое бывает. Уж такое бывает, что потом долго не опомнитесь. А может, и вовсе не опомнитесь. Деградируете. Отомрёте. Исчезнете как вид. На то она и зона, что—не такая, ну вот очень уж не такая, разительно, фантастически—не такая, как все. Особая. На то он и СМОГ, чтобы, поначалу всех, без особого разбора, принимая, быстро в них разобраться—и беспощадно отсеивать. Отбрасывать. За ненадобностью. Любопытное большинство—за то, чтобы не путали Божий дар с яичницей. Какую-то часть—за профнепригодность. Некоторых—из брезгливости. И откровенных гадёнышей—за предательство своих же товарищей и за подлость по отношению к ним. Так-то оно лучше. Спокойнее. Жить. Дышать. И работать.

И остались в итоге—единицы. И это—правильно. Даже очень правильно. Только так и надо. Так. Во имя речи. Так. Во спасение духа. Остаются всегда—считанные. Избранные. Это

и есть — объединение наше. Содружество. И оно — уже сгустилось. Особенно — с годами. Внутренне собралось. В комок. В плод. И в нём — ядро. Из него тоже ещё что-то — или кто-то — со временем — вырастет. Встанет во весь рост. На земле. Под солнцем. В единственном числе. Один. За всех. Так всегда бывает. Вот именно так, только так — и бывает. Вот из этого и исходить надо. Исходить из этого — и подходить к этому. Восходить.

А то — СМОГ им подавай! В СМОГ они хотели бы попасть! Ещё чего! Дудки! Мы-то — немногие — Божьи дудки. А вы — чьи?

Числиться в смогистах давно уже стало чем-то престижным, вроде как некоей отмеченностью, причастностью к таинству. Оттого и развелось липовых членов нашего содружества видимо-невидимо. Но желанные врата — наглухо для них закрыты. Правдивое слово — не терпит полуправды, а тем более — вранья.

Слово — тело. Оболочка незримая — для мысли. Для поэзии. Здоровое тело. В нём — здоровый дух. В нём — нескончаемый свет. Слово — смело. Могло. И смогло. Сумело. Зародиться. Восстать. Уцелеть. Возрасти. Прозвучать.

ДиН стихи

Владимир Коркунов

Сезон дождей

● ● ●

С. Д.

Здесь до тебя — не так уж много дней,
растерянных и розданных кому-то.
(И если ты не можешь стать моей,
я назовусь твоим в одну минуту!)
Я разорву пространство, как в тот раз,
когда я шёл на ощупь, выживая.
Ты вышивала солнечный рассказ,
и мы друг другу душу зашивали.
Мы сны встречали с первою зарёй
лишь потому, что до седого срока
я без тебя был всё-таки с тобой,
и (одинокий) был не одиноким.

● ● ●

Тот дождь, он шёл как будто в нём,
Как будто сквозь меня и вне…
Л. Б.

Как перебыть сезон дождей?
Где свет во тьме неотличаем,
в размытом отклике теней
обрывки туч в рассвет кричали…

Как перестать сезон дождей,
когда ложатся рвано брызги?
Мои запутанные мысли
запутываются быстрей…

И пред дождём нагой душой
ловить в тебе идущий ливень…
Невыносимости покой
по сердцу бьёт невыносимо…

● ● ●

Открыть силок — и вынести в руках
живое, то, что вырваться стремиться.
Теперь я знаю, как приходит страх —
смотреть за удаляющейся птицей.

И верить в то, что горизонта нет,
что ты не пропадёшь, но, улетая,
наивно мыслить: разлучает смерть, —
напротив, иногда объединяет.

Растает вскоре птичий силуэт,
сольётся с горизонтом неизбежно.
…Когда уходят, то разлуки — нет,
есть мнимая нелепая надежда.

● ● ●

Разлуки нас с тобой свели
и разлучили так нелепо.
Жилища наши на мели
напоминают склепы.

И нет ни права, ни конца
разрушить это умиранье.
Твоё ли это — пол-лица
во мне печатью на прощанье?

И эта светлая тоска —
так неожиданно, но точно
крадётся в области виска
февральской ночью.

Иван Китаев

Страницы жизни

Из книги «Один из многих»

Название книги «Один из многих» говорит само за себя. Автор как раз один из тех, кто сделал свою судьбу сам, прошёл путь от ученика столяра, плотника на строительстве Семипалатинского полигона и дороги Абакан—Тайшет, от военного строителя, возводившего в таёжной глуши завод по обогащению урана, до академика. Путь этот не был усыпан розами: несколько раз был на волосок от смерти, испытал и голод, и холод, и утраты; окончил два института, Академию общественных наук, аспирантуру, имеет звание кандидата исторических наук. Работал секретарём Тольяттинского горкома, Куйбышевского обкома, директором Центрального партийного архива, заместителем директора Института марксизма-ленинизма. После 1991 года работал начальником главка и начальником департамента Министерства промышленности России, преподавал экономику в академии, в настоящее время—вице-президент Международной академии корпоративного управления. Предлагаем вашему вниманию несколько глав из книги.

Довольно часто приходится слышать от взрослых людей о несбыточной мечте вернуться в своё счастливое детство. У меня же никогда не было даже мысли вернуться в *своё* детство. Оно не было счастливым. Первые годы жизни прошли во время войны, а когда война кончилась, наступили не менее тяжёлые дни. Голод послевоенных лет вспоминается с таким ужасом, что трудно описать словами. 1946–48 годы—сплошные неурожаи в Центральной и Чернозёмной областях России. Я помню себя, восьмилетнего, когда, лёжа на русской печке, я не мог поднять руку от бессилия и голода, и это был вернейший признак того, что смерть рядом. Есть было нечего. Спасали жмых—спрессованные отходы при производстве подсолнечного масла—и гнилая прошлогодняя картошка, которую мы собирали весной на поле, сушили её и делали из неё муку, а потом пекли оладьи. Условия быта были ужасные. Семья в десять человек ютилась в одной избе, где рядом с нами в зимние холода жили и телята, и маленькие поросята. Было всегда холодно, топили лишь соломой, изба быстро остывала. Не было даже простыней, спали на матрасах, набитых соломой. На четверых детей-школьников было три пары старых валенок, в школу мы ходили по очереди. Но учились хорошо.

Отец пришёл с войны тяжелораненый, у него была перебита нога ниже колена, и он ходил на костылях. Чтобы как-то выжить, сажали примерно полгектара картошки, которую надо было пропалывать, окучивать, копать. Отец задумал посадить фруктовый сад, что в нашем селе было редчайшим делом. Посадили более ста деревьев и кустарников, надо было поливать. Речка находилась примерно в ста метрах от дома, а под каждое дерево надо было вылить не менее трёх вёдер воды. Но и такое детство скоро кончилось. После школы я решил поступить учеником на мебельную фабрику, которая находилась в семи километрах от села, в районном центре. Работа мне нравилась, я постигал азы мебельщика. Тяжело было ходить пешком по грязи, в метель семь километров туда и семь обратно. Дорога шла по опушке леса, потом полем, где-то посередине находился небольшой овражек с мостиком, и заканчивалась в нашем селе. И в любую погоду пятнадцатилетний паренёк отмерял по восемь тысяч пятьсот шагов—как раз семь километров—туда и обратно. Потом я купил велосипед, невиданную в то время вещь в нашем селе, и стало легче.

В зимнее время были случаи нападения волков на людей. Не миновала эта участь и меня. В декабрьский поздний вечер я, как обычно, возвращался домой. Вдруг я заметил вдалеке зелёные огоньки, которые быстро приближались и как бы окружали меня. Сначала я подумал, что это какая-то игра природы, потом я заметил серые тени, бегущие в мою сторону. Надо сказать, что храбрости мне это не прибавило. Я понял, что это волки. Убегать было бесполезно, я знал, что

волки догонят любое животное, даже лошадь. Но тут вмешалась судьба в виде возвращающегося из райцентра односельчанина. Он увидел волков и стал настёгивать лошадь, которая понеслась галопом. Поравнявшись со мной, он крикнул, чтобы я прыгал в сани, что я и сделал. Он кинул мне в руки вилы, сказав, что если волки настигнут, надо бить вилами в первого. В этом случае стая останавливается и разрывает раненого сородича. Но деревня была уже недалеко, раздавался лай собак, и волки отстали.

По окончании учёбы мне присвоили высокий разряд, и я стал получать зарплату побольше и помогать по мере сил семье. Потом я получил паспорт, что было тоже событием, так как сельским жителям паспорта не выдавали и они не могли свободно уехать куда-либо…

В 1955 году нашу огромную страну всколыхнуло сообщение о том, что собираются осваивать целину. Миллионы юношей и девушек откликнулись на призыв, чтобы своим трудом преобразить новые земли. Не удержался от этого порыва и я. Для этого я поехал в Воронеж, пошёл в горком комсомола, там меня приняли, побеседовали и зачислили кандидатом на эту поездку.

Меня удивило, что на собеседовании рядом с молодыми комсомольскими вожаками сидели взрослые серьёзные люди, задавали дополнительные вопросы и предлагали заполнить подробные анкеты, в которых надо было указать всех своих родственников вплоть до бабушек и дедушек.

Набрав восемьсот человек, сформировали эшелон и отправили нас в дальние края. <…> В дороге мы были два месяца. <…>

Нас привезли под Семипалатинск, затем на станцию Жана-Семей на берегу реки Иртыш. Было начало февраля 1955 года. Мы быстро набросили временные железнодорожные рельсы и поставили на них свои вагончики. Только тогда мы поняли, что у людей, которые с нами беседовали и для которых мы заполняли анкеты, были насчёт нас определённые планы. Из числа прибывших отобрали тринадцать человек, среди которых оказался и я. Все парни были достаточно взрослые, уже отслужившие в армии, а мне не было ещё семнадцати. Но я имел строительную специальность, поэтому, видимо, и заинтересовал работодателей. Нас погрузили в специальный, нами же изготовленный санный поезд с небольшим вагончиком. Выгрузили нас в открытой степи. Мы поставили большую армейскую палатку, установили в ней две печки-буржуйки. Палатка была тёплой, в ней было три слоя утеплителя. Установили дежурство, армейский порядок, по очереди готовили еду.

Задача, стоящая перед нами, была такая: в этом месте с условным названием «82-й километр» мы должны были начать строить новый город, как мы уже понимали, для военных целей. Инженер-геодезист определял координаты и наносил их на карту. Меня он взял в помощники, я носил линейку с теодолитом, устанавливал таблички с названием будущих улиц. Названия мы придумывали сами: Коммунистическая, Комсомольская, Воронежская, Пионерская и так далее. Позднее я узнал, что в городе Курчатове, а именно его мы начинали строить в степи, эти названия сохранились до сих пор.

К нам приходили санные поезда с деревянными панелями для домов, необходимым оборудованием и питанием для нас. Зима в Казахстане суровая. В этих бескрайних полупустынных пространствах дуют сильнейшие ветры, образуя огромные песчаные барханы летом и сугробы зимой. Спустя какое-то время санные поезда перестали к нам приходить. Мы не получали строительные материалы, оборудование, продукты. Сначала у нас кончились мясные и другие консервы, потом масло и даже соль. Приходилось варить на обед жидкий суп и гречневую кашу. Мы чувствовали, что слабеем с каждым днём. Но никакой паники не было, дисциплина строго соблюдалась. Мы установили новый порядок: из палатки по одному не выходить и всячески поддерживать друг друга. Договорились, что если придётся умирать, а такой вариант был вполне возможен, то умерших выносить на северную сторону палатки, чтобы с наступлением тепла не было запаха тлена.

Прибавилась новая беда: сильнейшим шквалом ветра ночью сорвало край палатки, затем ветер расстелил её по снегу, и мы оказались на открытом воздухе. Нас спасло то, что палатка не загорелась, а мы были одеты в тёплую одежду. Потом мы кое-как натянули палатку и стали ждать помощи.

У нас, как ни странно, не было ни радио, ни радиостанции. К нам не прилетали вертолёты. Потом мы узнали, что санный поезд в течение двух недель не мог пробиться к нам из-за глубокого снега. Три трактора С-100 с трудом пробирались сквозь сугробы, потеряв дорогу, несколько раз возвращаясь на одно и то же место.

В один прекрасный день мы услышали далёкий тракторный гул и поняли, что спасены. К нам прибыли врачи, нас потихоньку привели в норму, и мы продолжали строить новый город — один из форпостов будущего Семипалатинского полигона по испытанию атомного и водородного оружия. Чтобы закончить этот рассказ, добавлю, что лет двадцать после этого я не мог есть гречневую кашу и не мог видеть продукты, приготовленные с добавлением этой крупы.

Летом того же года нас отвезли на высокий берег Иртыша, предупредили, что будет испытываться новое оружие, и приказали лечь головой в сторону взрыва. Никакой защитной одежды, оборудования, противогазов не дали. Назвали точное время: середина дня. Предупредили, что

ни в коем случае нельзя смотреть в ту сторону, так как можно потерять зрение. Взрыва мы не слышали, но появилась вспышка, которая затмила солнечный свет. На несколько секунд в небе стало так светло, как не бывает в обычной жизни. Потом мы возвратились на свои рабочие места и продолжали работать. Наверное, нас спасло то, что ветер дул в другую сторону и радиационная пыль не попала на нас. <…>

Через полтора года вырос вполне приличный городок, где вместе с нами жили военные, учёные, специалисты Семипалатинского полигона, которые ежедневно уезжали на строительство подземных шахт для испытания новых видов оружия. Мы продолжали создавать инфраструктуру нового города.

Потом нас направили на строительство «Трассы мужества» Абакан — Тайшет. Там были ещё более тяжёлые условия, ещё сложнее ситуация. Приходилось выходить на работу в любую погоду, даже при морозе в пятьдесят градусов. Нашу группу отделили от всей строительной организации и создали строительно-монтажную колонну. На маленькой станции Камышет наши вагончики поставили на резервный тупичок, и мы стали выезжать на строительство новой трассы. Работа предстояла специфическая. На бетонных опорах, установленных строителями ещё летом, надо было провести необходимые работы: подготовить их верхние части для укладки шпал и рельсов, сорвать опалубку, убрать лишнюю арматуру. На высоте пятьдесят-семьдесят метров, пристегнувшись монтажным поясом к какой-то арматуре, при сорокапятиградусном морозе, мы выполняли эту работу. Однажды и я работал на одной из опор, таким же образом пристегнувшись к арматуре, на высоте примерно семьдесят метров. Но вдруг сорвался и повис на поясе. Мои товарищи никак не могли помочь мне в этой ситуации, и я висел на морозе. Потом несколько человек взобрались по остаткам арматуры наверх и освободили меня.

<…>

Конечно, было неимоверно трудно. Но эти трудности только закаляли меня и моих товарищей. Перед нами был пример великого мужества, когда однажды весной на берегу одной из речушек нашли планшет, принадлежащий, как потом выяснилось, начальнику изыскательской партии, работавшей в этих местах во время Великой Отечественной войны. Я сам видел запись в блокноте, сделанную рукой начальника партии Кошурникова: «Прощайте, замерза…». Позднее, когда была построена дорога, на ней появились станции Кошурниково, Стофатто, Журавлёво.

Мне не пришлось участвовать в открытии трассы Абакан — Тайшет, это произошло значительно позже.

В памяти сохранились воспоминания о неземной красоте тех изумительных мест: вековая вечнозелёная тайга, горные реки с чистейшей водой, горы, сопки, на которые не ступала нога человека. В летнее время тайга покрывалась изумрудной зеленью и цветами, доселе незнакомыми нам.

Много лет спустя, бывая во многих странах мира, я пытался сравнить чужую, незнакомую красоту и практически всегда был уверен, что красота нашей тайги превосходит чужеземную.

В семидесятых-восьмидесятых годах мне много раз довелось побывать в различных странах мира, фактически на всех континентах, кроме Австралии.

В эти поездки я ездил, как правило, руководителем официальных делегаций или туристических групп, выполнял другие деликатные поручения руководства ЦК. Назову некоторые из этих стран: Куба, Турция, Египет, Греция, Венгрия, Чехословакия, Танзания, Занзибар, Германия, Австрия, Франция, Китай, Корея, Болгария, Перу, Колумбия, Эквадор и другие.

Особенно запомнилась поездка в Латинскую Америку в 1982 году. Советская делегация впервые в истории посетила этот континент. Нам посчастливилось ознакомиться с историей, культурой, архитектурой Перу, Колумбии и Эквадора. В том году были получены приглашения от молодёжных организаций этих стран принять участие в фольклорных фестивальных мероприятиях. <…> Для участия в этих мероприятиях мы подобрали группу талантливых самодеятельных артистов из городов Куйбышева, Тольятти и Мурманска. Многие из них имели высшее образование в области культуры и могли играть на многих видах музыкальных народных инструментов.

Мы подготовили интересную программу, сугубо в русском народном стиле. Я предложил за оставшиеся до поездки три недели разучить как можно больше зажигательных латиноамериканских танцев и песен. Это было сделано и чрезвычайно помогло в нашей поездке.

В тот год промежуточный аэропорт Шеннон в Ирландии отказался принимать советские самолёты, и мы вынуждены были лететь с пересадками в Одессе, Марокко, Гаване, Веллингтоне и Боготе. Друзья в Гаване, где мы провели сутки, любезно показали нам свой прекрасный город. Путешествие оказалось длительным, и в самолёте мы провели более сорока часов.

По уже давно выработанной методике, перед поездками я внимательно знакомился с политическим устройством, культурой, историей, экономикой этих стран. Так я поступил и перед поездкой в Латинскую Америку. Но все полученные знания и консультации людей, проработавших в этом регионе многие годы, не соответствовали тому, что мы увидели в Боготе и в других городах и странах

Латинской Америки. Дело в том, что в то время совсем недавно закончилась война между Колумбией и Уругваем, как тогда говорили, по пограничным проблемам. К моменту нашего приезда Богота и другие города Колумбии, а затем и Перу, были наводнены огромным количеством вооружённых людей, не имеющих никакого отношения ни к правительственным, ни к правоохранительным органам. Бросались в глаза нищета, безработица, поскольку промышленность в этих странах была в зачаточном состоянии, а сельское хозяйство носило ярко выраженный сезонный характер и базировалось в основном на производстве кофе.

Молодёжная организация, пригласившая нас на фестиваль, не имела навыков приёма туристических групп, не имела своей собственности и не была авторитетна в правительственных и других органах власти. Готовясь к поездке, я получил в Москве достаточно большую сумму денег, в основном в американских дорожных долларах. Для того чтобы обменять их на нормальные доллары, а затем обменять их на национальную валюту песо, нужно было побывать в банке и произвести эти операции. Но, по стечению обстоятельств или по какой другой причине, все коммерческие банки в Боготе были закрыты из-за забастовки служащих.

Государственный национальный банк Колумбии продолжал работать, так как его служащим запрещено было бастовать, и я отправился туда. Перед поездкой в Латинскую Америку мне порекомендовали взять в переводчицы молодую женщину, по национальности перуанку. Она много лет назад, спасаясь от преследований в своей стране, инкогнито приехала в Советский Союз, вышла замуж за русского, окончила университет Дружбы народов в Москве, потом стала жить с семьёй в Тольятти и работала переводчицей с испанского. Звали её Илия. Хорошо зная язык и обычаи латиноамериканцев, она очень помогала мне в этой поездке, но и создавала немало трудностей.

И вот мы с ней появляемся в национальном банке Колумбии. Мы обратились к клерку и получили ответ, что могут поменять лишь незначительную сумму, порядка трёхсот долларов. Клерк посоветовал нам обратиться к вышестоящему руководителю, и мы пошли на другой этаж к начальнику отдела. Получили ответ, что могут обменять пятьсот долларов. Больше он обменять не может, так как раньше никто из Советского Союза не привозил такую большую сумму. Мы обратились к заместителю президента банка и получили ответ примерно с такой же формулировкой. Через все препоны и преграды, через десятки охранников мы с Илией пробрались на верхние этажи банка и добились встречи с президентом национального банка, который одновременно являлся министром финансов страны. Продержав нас в приёмной достаточно долгое время, он всё-таки принял нас. Я, пожалуй, в первый раз видел такую роскошь в кабинете министра и президента банка. В гигантском кабинете, в его дальнем углу, сидел хозяин кабинета. При нашем появлении он встал и, не подав руки, предложил присесть за приставной столик. <…> После формального знакомства через переводчицу я изложил свою просьбу об обмене денег. Он предложил мне обсудить эту проблему без переводчицы на английском, немецком и испанском языках. Я ответил, что свободно владею только русским и китайским языками. Хозяин кабинета даже привстал от удивления и сказал, что этих языков он не знает и готов продолжить разговор с переводчицей. Далее он сказал, что не может обменять такую большую сумму, привезённую из Советского Союза, что эти доллары могут быть фальшивыми. Вежливо и корректно я попросил Илию дословно перевести мою аргументацию, что наша группа впервые приехала в их страну для ознакомления с великолепной культурой, традициями и людьми за многие тысячи километров, и вдруг получаем отказ в обмене денег по чисто формальным причинам. Я добавил, что нас выселяют из гостиницы и мы не можем питаться. Мы не имеем возможности знакомиться со страной и принимать участие в фестивале.

Реакция министра была ужасной. Он вскочил, покраснел, стал кричать, что я не имею права упрекать его. В конце концов он предложил выход из положения. Одно из трёх советских учреждений, имеющих счёт в национальном банке Колумбии, даст гарантийное письмо, что в случае обнаружения фальшивых дорожных долларов это учреждение возвратит национальному банку все потери, а также на каждой купюре дорожного доллара поставит свою подпись и печать.

Я отправился в представительство Аэрофлота в Боготе и получил там категорический отказ. Тогда я обратился в Торговое представительство СССР, но и там получил такой же ответ.

Оставалась одна надежда. Посольство СССР в Боготе. Сотрудники, которым я рассказал о проблеме, ответили, что решение этих вопросов не входит в круг их обязанностей. Тогда я отправился на третий этаж и, буквально оттолкнув охранника, вошёл в кабинет посла. Я к тому времени знал, что посол был в отпуске, и временным поверенным в делах Колумбии был в то время Иван Лаптев. Прикинувшись простачком, я шагнул в кабинет, широко раскрыл руки и сказал, что рад видеть земляка,—я знал, что он родился в Саратове и вырос на Волге. Завязалась душевная беседа, нашлись общие знакомые. Я рассказал Лаптеву о своих проблемах, он возмутился, но сказал, что здесь, в Колумбии, всё возможно. Будучи человеком осторожным, он сказал, что без главного бухгалтера ничего сделать не может, а тот сопровождает какое-то официальное лицо в поездке по стране.

Но я настоял на своём, и бухгалтера разыскали. Я сам написал текст гарантийного письма, Илия перевела его на испанский. Лаптев и главбух подписали его и поставили печать посольства.

Мы вернулись в национальный банк Колумбии и, выслушав опять очередную тираду и возмущение, что посол не расписался на каждой купюре и не поставил печать, всё-таки уговорили президента ограничиться одной подписью на гарантийном письме.

Мы спустились в операционный зал, где толпились тысячи людей, в том числе грабители и воры, способные за десять песо вонзить кинжал или пустить пулю. Меня одного забрала охрана, не обращая внимания на мои просьбы взять с собой переводчицу, так как я даже не знаю внешнего вида национальной валюты. И вот меня по неизвестной причине несколько раз возят на лифте вверх-вниз, останавливаются на этажах, заводят в металлические хранилища, где хранятся золото и другие ценности банка. Мне показалось, что они хотят похвастаться передо мной богатством страны. Наконец на одном из этажей мне начали отсчитывать настоящую гору национальной валюты, не обращая внимания на мои слова, что у меня нет никакой большой сумки и не во что сложить песо. Кончилось тем, что меня с охапкой денег втолкнули в лифт и нажали кнопку первого этажа. Я вновь очутился в человеческом муравейнике. Илия, увидев меня с охапкой денег, вытащила все свои сумки и сумочки, мы распихали по ним песо и бегом побежали к такси, выбирая по их внешнему виду наиболее старые и побитые. Три или четыре раза мы меняли такси, чтобы уберечься от возможной погони грабителей.

Я рассчитался с гостиницей, рестораном, выдал членам своей группы положенную им валюту, оставшуюся часть положил в сейф гостиницы. С этого дня мы стали знакомиться с городом и его достопримечательностями. По Боготе нас постоянно сопровождали автомобили сил безопасности, и я уже стал различать сопровождающих и их звания.

Одна из экскурсий запомнилась особо. Готовясь к поездке, я узнал, что в Боготе есть единственный в мире музей золота. Это национальный музей, куда руководители страны стараются возвратить вывезенные в своё время конкистадорами знаменитые изделия из золота народа инков и ещё более древнего народа наска.

Оплатив экскурсию, мы вошли в здание. При входе мы обязаны были сдать всю кино-, фото- и другую звукозаписывающую аппаратуру, ибо в музее всякие записи запрещены. <…> При входе в музей образовалась группа экскурсантов: наших человек двадцать и ещё такое же количество людей европейского вида, а также японцев или китайцев. Распахнулись двери, и мы вошли в гигантский полутёмный зал. Внезапно вспыхнул яркий свет. В помещении примерно пятьдесят на пятьдесят метров и высотою примерно шесть метров всё было завешано изделиями из золота. От яркого света и блеска золота все вошедшие буквально остолбенели, у многих, что называется, отвалилась челюсть. Чтобы восстановить ситуацию, обращаясь к своей группе, я громко сказал, что наш знаменитый соотечественник обещал в своё время делать из этого презренного металла общественные туалеты. Мои люди заулыбались, лица приняли нормальное выражение, а иностранные туристы стали расспрашивать своих переводчиков, что же такое сказал русский руководитель своим людям. Слишком ярко была видна реакция нашей группы на мои слова.

…Когда мы вышли из музея, я с содроганием заметил, что вся площадь занята по её периметру солдатами и офицерами сил безопасности, которые с автоматами наперевес направляются в нашу сторону. Постепенно цепь военных приближалась к нашей группе, и мы стали уже серьёзно нервничать. Ситуация усугублялась и тем, что меня накануне предупредил сотрудник нашего посольства о возможном появлении в Боготе человека, заменившего Че Гевару в качестве организатора партизанского коммунистического движения в Латинской Америке. Этот человек окончил в Москве университет Дружбы народов, хорошо говорил по-русски и, возможно, захочет встретиться с нашей группой. Меня предупредили, что за этим человеком охотится ЦРУ и чтобы я был осторожен. Глядя на заполненную военными площадь, я сразу подумал об этой безумной встрече и, зная, что силы безопасности страны охотятся за этим человеком, должен был найти какой-то выход. Я видел, что среди военных было много метисов, которые, как известно, мечтают обнять белую женщину. Я быстро подозвал к себе шесть девушек из нашей группы, незаметно показал, кто из офицеров возглавляет воинскую команду, и сказал девушкам, чтобы они подбежали к офицерам и обняли их, чтобы разрядить обстановку. Когда цепь приблизилась к нам метров на тридцать, девушки подбежали к офицерам и буквально повисли на них. Последовали команды по-испански, автоматы были поставлены на предохранители, пистолеты спрятаны в кобуру, и мы смешались с толпой военных. Появились кино- и фотоаппараты, возникла дружеская атмосфера. В этот момент появился наш запоздавший автобус, и мы спокойно уехали в гостиницу.

<…>

Потом мы много путешествовали по стране, увидели много интересного, узнали её поближе. <…>

С человеком, который заменил Че Гевару, я встретился в другое время и в другом месте. <…>

В Лиме мне пришлось встретиться с серьёзными трудностями в связи с моей переводчицей Илией. Несмотря на многие годы, проведённые ею в Советском Союзе, специальные службы Перу помнили, что она была активистской молодёжного коммунистического движения и выехала из страны нелегально. Более того, её родная сестра, художница Этна Веларде, являлась женой Генерального секретаря Перуанской коммунистической партии Хорхе дель Прадо. Этот человек много лет провёл в тюрьмах и лагерях, но в 1980 году был освобождён, избран сенатором в парламент страны и стал неприкосновенной личностью. Он получал государственную зарплату и жил весьма зажиточно. Мы с Илией н6еоднократно бывали у него в гостях, рассказывали о нашей стране и получали от него сведения об истории, культуре и искусству Перу. Поэтому к нам было особое внимание со стороны соответствующих органов. <…>

В моих путешествиях по дальним странам случались и драматические события, вроде произошедшего в Колумбии, и весёлые, и даже курьёзные. В одну из поездок в Центральную Африку наш самолёт Аэрофлота был внепланово посажен в аэропорту Адена. Город знаменит тем, что расположен на самом юге Аравийского полуострова, где соединяются два океана — Индийский и Атлантический. Круглый год температура там тридцать-сорок градусов по Цельсию, а влажность воздуха достигает ста процентов. В те годы шла война между Южным Йеменом и Северным Йеменом, которые были самостоятельными государствами.

Советскую группу после посадки разместили отдельно от всех пассажиров в небольшой комнате без кондиционера, без буфета и туалета. Нам не разрешили выходить из помещения, и у дверей поставили солдата с автоматом. Шло время, не было никакой информации, мы изнывали от жары и жажды. От липкого пота, от духоты наши люди буквально взбеленились. Всю злость мои коллеги вымещали на бедном солдате, называя его обезьяной, недавно слезшей с дерева (он был негроидом), вслух давали ему другие обидные клички. Я как мог успокаивал людей, ведь солдат ни в чём не виноват.

Через пару часов солдат жестом подозвал меня и на чистейшем русском языке без акцента спросил меня: «Ты здесь главный?» Я буквально опешил, люди застыли с раскрытыми ртами. А солдат продолжал говорить по-русски о том, чтобы прекратили лаяться, а лучше бы попросили по-хорошему, и он сделает всё для советской группы. По нашей просьбе он принёс нам воду, бутерброды и фрукты.

Мы разговорились. Он рассказал, что окончил в Ярославле школу для детей погибших подпольщиков и партизан со всего мира, потом учился в Москве и окончил Высшую школу КГБ, имеет звание майора сил безопасности Южного Йемена и высокий пост в государстве. Солдатом его одели специально для охраны нашей группы в Адене, чтобы не привлекать лишнего внимания. Мы проговорили несколько часов и даже нашли общих знакомых. Через шесть-семь часов наш самолёт продолжил свой полёт. Я не записал ни фамилию, ни адрес моего нового знакомого, но думаю, что судьба его печальна. После поглощения Южного Йемена и образования единого государства Йемен начались страшные гонения и уничтожение тех, кто имел другие взгляды, и тех, кто имел несчастье учиться в Москве.

Из этого события я сделал для себя вывод на всю жизнь: где бы я ни был, всегда вести себя как гражданин мира и не допускать негативных высказываний в адрес других людей. Многолетний опыт показал, что это было самое правильное решение. <…>

Очередной вызов в Москву, в ЦК КПСС, в начале 1989 года я принял спокойно, потому что подобные вызовы были достаточно частыми. После беседы с заведующим идеологическим отделом Копто А. С., с которым мы близко познакомились во время моей поездки на Кубу, где он был послом, меня пригласили в Институт марксизма-ленинизма, к директору этого института, академику Академии наук страны Смирнову Г. Л. Он предложил мне переехать в Москву и поработать в качестве его заместителя и одновременно директором Центрального партийного архива. Это предложение было для меня чрезвычайно неожиданным и интересным. Смирнов рассказал мне, что со времени организации нашей партии на эту должность назначались совершенно доверенные, принципиальные руководители, с безупречной репутацией, честные во всех отношениях. Назначение оформлялось решением ЦК КПСС и подписывалось лично членами Политбюро, секретарями ЦК и некоторыми заведующими отделами. Я вернулся в Куйбышев, где работал секретарём обкома, и стал ждать вызова. Ожидание растянулось на целый месяц. Мне говорили потом, что предлагались другие кандидатуры, из москвичей, но победила точка зрения, что эту должность должен занять кто-то с периферии, не входящий в какую-либо группировку.

Вспоминается такой эпизод. Для моего представления в качестве директора собрали руководителей подразделений института и работников архива. Смирнов Г. Л. стал зачитывать этапы моей биографии, начав, естественно, с периода простым рабочим в возрасте пятнадцати лет. После слов «бригадир монтажников» в зале послышался громкий шёпот: «До сего времени монтажник нами ещё не руководил!» Но по мере чтения дальнейшей моей биографии всё больше присутствующих

воспринимали меня уже с большим интересом. Я думаю, что два института, профессия экономиста, инженера, политолога и учёная степень кандидата исторических наук, не говоря о работе в должности секретаря обкома, сделали своё дело. Коллектив меня принял. Началась новая, интереснейшая полоса в моей жизни. <…>

Осваивать эту сложную работу мне помогали работники архива, отличные специалисты, среди которых были доктора и кандидаты наук, профессора и доценты. Помогали мне и некоторые правила, которые я выработал в предшествующие годы, когда мне приходилось каждые два-три года переходить на новую работу — с повышением. В числе этих правил были и такие: называть своих сотрудников по имени-отчеству и только на «вы», никогда не слушать сплетен и наветов, относиться ко всем внимательно и справедливо. На новой работе я быстро отучил любителей пошептаться о ком-либо из сослуживцев. Одному из таких любителей я предложил пригласить того человека, о ком он «шептал», и повторить при нём все свои слова. Сотрудник буквально умолял меня не делать этого. Я согласился. Информация об этой беседе стала достоянием гласности, и никто никогда больше не приходил ко мне с такими разговорами.

Сотрудники архива много знали того, что было неизвестно большинству народа. Это и исторические события, и закрытые документы, и прогнозы на будущее, подготовленные учёными и аналитиками. С началом перестройки появился большой интерес к историческим документам. Сотрудники архива активно включились в эту работу, предлагали для публикации десятки ранее закрытых документов, включая наиболее утаиваемые от общества. Мы подготовили, и ЦК принял постановление, разрешающее отечественным и зарубежным исследователям работать в нашем архиве без ограничений. Ограничения касались только совершенно секретных постановлений ЦК и некоторых документов Коминтерна. В течение года мы принимали до тысячи иностранных и несколько тысяч отечественных исследователей. Должен признать, что мы иногда принимали решение не допускать до наших документов некоторых иностранных исследователей, зная, что они приезжают с желанием найти материалы, порочащие нашу страну. И даже по просьбе высокопоставленных работников ЦК мы не пускали иностранцев в архив и сами готовили для них квалифицированный и принципиальный ответ.

Сотрудники архива много знали и о многом догадывались. В начале 1991 года я узнал от них прогноз на будущее. Они утверждали, что с появлением в стране пятнадцати-двадцати новых карликовых партий, которые в это время активно регистрировались, будет проведён так называемый круглый стол, где эти партии проголосуют за лишение КПСС всех финансовых и материальных ресурсов. Затем это решение будет оформлено специальным законом, и наша партия прекратит своё существование.

Но всё пошло, как известно, совершенно по другому пути. Все события того времени хорошо известны, я скажу лишь то, что касается меня. После так называемого путча Ельцин Б. Н. подписал указ о национализации Центрального партийного архива и подчинении его вновь образованному архивному управлению при Правительстве РФ. Я встретился с руководителями этого управления и получил информацию о том, что они готовятся полностью открыть все архивы партии и будут продавать наиболее интересные документы любому желающему за американские доллары. Я сразу же написал заявление об увольнении, не желая участвовать в распродаже секретов нашей партии и страны.

<…>

В октябре 1994 года меня пригласили работать в Государственный комитет по промышленной политике Правительства России, и я был назначен начальником Главного управления финансово-промышленных групп. Началась интереснейшая работа, как мы её называли — по спасению остатков промышленности в стране. До моего прихода на эту работу в стране было создано всего шесть ФПГ. Я активно включился в разработку и принятие закона о ФПГ, который был принят в 1995 году, и мы стали интенсивно формировать такие группы. В соответствии с этим законом предприятия, КБ, НИИ и банки, входившие в них, имели право частично объединять свои материальные и финансовые ресурсы, снижать налоговые нагрузки и уменьшать внутренние финансовые расходы. Мы подбирали предприятия, связанные по технико-технологической линии, получающие друг от друга сырьё, полуфабрикаты и комплектующие изделия. Затем проводили собрания этих коллективов, совещания руководителей, разрабатывали технико-экономические обоснования, в результате всё это выносилось на заседания Госкомпрома, где принимались решения о юридической регистрации ФПГ. За два года мы сумели создать семьдесят девять ФПГ, куда вошли более шестисот предприятий, организаций и банков. Большинство из них работало успешно и устойчиво.

Мне пришлось принимать самое активное участие в организации ФПГ «Интеррос». Основой этой группы должен был стать Норильский никелевый горно-металлургический комбинат, который осуществлял почти девяносто процентов мирового производства стратегически важного металла — никеля, выплавлял платину и другие редкоземельные металлы. Руководителем этой

ФПГ был утверждён В. Потанин, ранее малоизвестный бизнесмен. Ему были предоставлены огромные преференции и льготы. Говорили, что для покупки акций комбината ему был выделен беспроцентный кредит в сумме порядка четырёхсот миллионов долларов. А в средствах массовой информации того времени говорилось, что этот пакет акций стоил примерно два миллиарда долларов. Через год прибыль комбината превысила один миллиард долларов в год. Потанин рассчитался с банком за четыреста миллионов и стал получать баснословную прибыль. В дальнейшем ФПГ преобразовалась в холдинг.

Подобные решения по льготам и беспрецедентным кредитам для покупки основных предприятий нефтяной, нефтехимической, машиностроительной промышленности принимались в тот период для определённых людей. В результате появились новые русские миллиардеры, впоследствии их стали называть олигархами. <…>

Мне пришлось быть… свидетелем распродажи за бесценок избранным людям и группам лиц могучих заводов и полезных ископаемых мирового уровня. Избранным — конечно же, в кавычках. Среди этих «избранных» мне быть не хотелось. Общеизвестно, что вся эта работа, вся деятельность сопровождалась жульничеством, обманом, кровью и смертью многих участников этого процесса. <…>

В июне 1995 году я опубликовал большую статью в журнале «Деловые люди» с названием: «ФПГ — надежда российской промышленности». В статье я анализировал положение дел в промышленности и приводил убийственные цифры государственного долга промышленным предприятиям за произведённую продукцию и гигантской задолженности рабочим по заработной плате. В статье я отмечал, что по сравнению с 1980 годом уменьшился выпуск наиболее сложных и важных товаров и оборудования на сорок-пятьдесят процентов. Я писал, что утверждение Чубайса о том, что в стране удалось стабилизировать инфляцию, не соответствует действительности. Я доказывал, что невыплаченные зарплаты и неоплаченная продукция как раз и привели к этому результату. Далее говорилось о необходимости ФПГ, которые работают устойчиво.

Последствия моей статьи были несколько необычными. Спустя несколько дней меня вызвали по ВЧ-связи и предупредили, что со мной хочет поговорить Чубайс. Анатолий Борисович вначале коротко расспросил меня о моём послужном списке, а потом стал резко выговаривать за мою статью и её выводы. Тогда мы были оба государственными служащими, он ещё не был знаменит, и я резонно отвечал ему, что мои аналитические выкладки базируются на реальных цифрах и выводах. Беседа закончилась необычно: Чубайс пригрозил мне, что я буду уволен с государственной службы. Подобную угрозу я принял совершенно спокойно. <…>

В середине 1995 года решением Правительства России меня утвердили членом коллегии Госкомпрома, что позволило принимать более активное участие в принятии решений в самом комитете, а также выходить лично с предложениями в любые государственные органы, включая Правительство. <…>

В конце 1996 года на моём столе случайно оказались вместе два документа, очень похожих. Один из них, из Международного валютного фонда, диктовал Правительству РФ условия, при которых МВФ сможет выделить России запрашиваемые займы и кредиты. В частности, требовалось отменить все дотации сельскому хозяйству, даже если Госдума примет решение о выделении средств на эти цели. Были также требования об установлении в 1997 году тарифов на газ и электричество для населения страны на уровне зарубежных тарифов, а также об отключении от систем газа и электроэнергии должников. Было там и о повышении пенсионного возраста, о запрете пенсионерам работать и многое другое.

Второй документ был от Правительства РФ. В нём для согласования с министерствами и ведомствами был направлен план первоочередных мероприятий правительства на 1997 год, где один к одному были перечислены все требования МВФ в том же порядке, что и в документе этого международного спрута. Добавлены были только фамилии исполнителей и сроки. Не оставалось никаких сомнений, кто же руководит нашей страной. <…>

В начале 1997 года указом Президента РФ Госкомпром был ликвидирован и образовано Министерство промышленности. Все сотрудники старого комитета были уволены, и начался долгий и трудный процесс комплектования нового министерства. Люди потеряли работу и остались без средств к существованию. Мне повезло: я был назначен начальником департамента собственности, развития предпринимательства и имущественных отношений. Кстати, функции по организации и регистрации ФПГ остались в нашем департаменте. И началась рутинная работа. Министр Беспалов Ю. А. и министр оборонной отрасли попросили меня и ещё трёх специалистов из этих министерств подготовить для Правительства РФ предложения по восстановлению промышленной мощи страны. Наша группа подготовила такие предложения. Среди прочих там были такие: объявить амнистию незаконно переведённым за границу капиталам при условии, что пятьдесят процентов этих капиталов остаются навечно в распоряжении их хозяина, а остальные хозяин передаёт Правительству России в качестве кредита с рассрочкой до двадцати пяти лет. Мы предлагали также приостановить процесс приватизации, разобраться с теми, кто

купил заводы и фабрики по заниженным ценам, не прибегая ни в коем случае к национализации.

Трудно описать реакцию руководителей страны на эти предложения. В адрес министров посыпались обвинения, что они стоят на старых позициях, желают сохранить старые порядки, не понимают задачи и не могут возглавлять министерства.

Нам стало известно, что один из руководителей Правительства РФ выезжал в США для консультации по этим вопросам. После его возвращения был подготовлен и подписан Ельциным Б. Н. указ о ликвидации министерств без определения правопреемников. Все сотрудники министерств были уволены и оказались в буквальном смысле на улице. Я, как и все остальные, встал на учёт на биржу труда. Но предлагаемые вакансии не подходили мне по многим параметрам. К тому же подошёл пенсионный возраст, и я стал получать пенсию.

В своё время, в 1996 году, я сумел организовать Международную академию корпоративного управления, членами которой стали учёные и специалисты, принимавшие участие в разработке положений и законов о ФПГ, составлении проектов таких групп, а также руководители крупных ФПГ. Президентом академии был избран доктор экономических наук, профессор Винцлав Ю. Б., а его заместителем избрали меня.

Участие в работе академии позволяет мне продолжать работу по организации различных проектов, создаваемых объединений и холдингов, оказанию им практической помощи в разработке экономических и других задач. Жизнь продолжается. <…>

ДиН ревю

Лейбгор

Венецианец

Вышел в свет роман Лейбгора «Венецианец». Лейбгор — псевдоним двух авторов, Михаила Горевича и Владимира Лейбовича. Роман имеет долгую историю: в 1991–92 гг. главы из романа звучали на радиостанции «Эхо Москвы» в авторском чтении, затем long-list премии «Букер», публикация романа в объеме, существовавшем на тот момент, в журнале «Волга» №3, 4 1993 г. К сожалению, путь романа к читателю был прерван. В 2011 г. в ряде журналов — «День и ночь» №6, «Крещатик» №3 и др. — опубликованы отдельные главы книги.

Создание «Венецианца» и его судьба — события знаковые. Этот роман обретёт невероятную и долгую жизнь. Для вас велика сейчас радость издания романа. Он рядом с вами. И всё же вы чувствуете, как он уже отодвигается от вас, начинает жить самостоятельно. А ведь это лишь начало. Роман будет существовать во времени и пространстве, влиять на людей. Мистические творцы романа, мистическое произведение. Да здравствует ваш «Венецианец»!

Владимир Алейников

Некто Венецианец, демиург и одновременно человек, строит Венецию, даёт согражданам знания, ремёсла, дарует алфавит и устанавливает законы. Он также созидает лучшее и самое бесполезное своё творение — ворота Венеции, украшенные резьбой на мотивы библейских сцен. Ответ предсказуем: власть заточает Венецианца в тюрьму, а выпустив по истечении срока приговора, пытается нагнуть под себя. Тогда Венецианец берёт обет — искупить грехи родины. Он взваливает на плечи ворота и идёт, запретив себе говорить во весь голос, босой, самыми каменистыми дорогами Италии в Рим. Его сопровождает спутник, балагур-пьяница из легендарной Пизы, по имени Пётр. «Венецианец» — единое произведение, которое включает в себя и ведущий сюжет, и свои особые тексты (комментарий и приложения). Параллельный роман под названием «Комментарий 1565 года, или Таинство под пение псалмов» — жизнь и видения средневекового эзотерика, умирающего в тюрьме в один год с Нострадамусом. В приложениях — сатирические пьесы, мистические повести, политические памфлеты, оформленные как учебники (мужской и женский) самого изощрённого холуйства.

Роман, который создавался авторами с 1984 по 2012 гг., завершён: Венецианец до конца исполняет свой обет. В пути он имеет возможность «столкнуться с жизнью» многочисленных условных, но вполне узнаваемых городов нашего новейшего средневековья.

Михаил Воронецкий

Нерасторжимость

Михаил Гаврилович Воронецкий (Кузькин) родился в октябре 1931 года на берегу Енисея, в Шушенске Красноярского края. Детство провёл в степях Хакасии, сначала подпаском, потом табунщиков. А когда подрос, попал в саянскую тайгу на лесосплав. Заготавливал древесину на берегах горных рек, впадающих в Енисей в тех местах, где возведена Саяно-Шушенская ГЭС. Именно с того времени живут в его стихах и прозаических книгах образы далёкой и близкой истории енисейского верховья, герои таёжных и степных будней. Первая книга стихотворений «На дорогах» вышла в 1957 году в Красноярском книжном издательстве. Работал корреспондентом газеты «Советская Хакасия». Часто бывал на строительстве Саяно-Шушенской ГЭС, в Горной Шории, в горно-кузнецкой тайге, в Забайкалье, на севере Сибири. Так складывалась его писательская биография.

Затем, в 1963 году, переехал из Сибири в Калужскую область. Первые полгода работал заведующим отделом районной газеты в Ферзиково. А затем был утверждён редактором медынской районной газеты «Заря». В этой должности оставался девять с половиной лет.

После перевода в Калугу работал старшим редактором калужского отделения Приокского книжного издательства, а затем ответственным секретарём Калужской писательской организации. Умер в 1991 году.

Вадим Наговицын, главный редактор литературного журнала «Золотая Ока»

…Услышал как-то от коллеги по литературному цеху: «Годы, когда у руля областной писательской организации находился Воронецкий, были «золотым веком» для калужских писателей».

И это близко к истине. Писательские собрания и конференции, встречи с читателями стали тогда привычным явлением в культурной жизни области. Большая комната отделения Союза писателей в одном из престижных домов Калуги практически никогда не пустовала. Сюда писатели заходили и по делу — решить ли квартирный вопрос, узнать ли судьбу своей рукописи, и просто так — пообщаться с товарищами, поделиться написанным и прочитанным. И всегда центром, душой общения был Михаил Гаврилович.

Я познакомился с ним, когда он ещё не был… Воронецким. Поясню: это его псевдоним, а настоящая фамилия — Кузькин. Но после того, как Хрущёв обещал показать американцам кузькину мать, над молодым тогда литератором начали посмеиваться: не твою ли мать обещал показать Никита Сергеевич? И решил Михаил сменить фамилию. Доводы друзей о том, что, мол, знаменитый в те годы хоккеист Кузькин отнюдь не тяготится своей фамилией, его никак не убедили.

Ну, Воронецкий так Воронецкий. Сначала он подписывался двойной фамилией — родной и новой: Кузькин-Воронецкий. А в последние годы окончательно перешёл на второй вариант.

— Откуда такой выбор? — спрашивали его.

— Бабушка у меня, — отвечал Михаил Гаврилович, — полячка. Воронецкая.

Между прочим, гордясь тем, что принадлежит к свободолюбивому племени хакасов, он с не меньшей гордостью подчёркивал, что в его жилах намешано столько кровей — и хакасская, и польская, и казацкая, и ещё уж не помню какая.

Традиции, привычки хакасов он помнил и при случае демонстрировал. Мог спеть без участия языка — издавая гортанные звуки. Трезвый — добрый, подчёркнуто сдержанный и тактичный; изрядно выпив, особенно если при этом, пускай и ненароком, задели его национальные чувства, мог и за «кынжал» схватиться. Правда, случалось такое чрезвычайно редко.

Стихи он начал писать, по его собственному признанию, когда, поработав табунщиком и плотогоном, а затем окончив авиационное училище, стал служить на Кавказе, в городке Цители-Цкаро, известном тем, что там бывали Грибоедов, Пушкин, Лермонтов и что до сих пор там витает поэтический дух.

В 1959 году Михаил заочно окончил Литературный институт имени А. М. Горького, в Союз писателей был принят в 1962-м, за год до переезда в нашу область.

Стихи Михаила Воронецкого размашистые, как картины, написанные крупными мазками, просторные, как хакасские степи.

Алексей Золотин, член редколлегии журнала «Золотая Ока»

Российская равнина

Как безвозвратно всё уходит ныне!..
С отрадой горькой думалось зимой,
что я-то не увижу той равнины,
которую увидит правнук мой.

А мне, конечно, было б слишком больно
глядеть здесь в эту даль в иные дни,
когда аллеи, парки, колокольни
исчезнут — как и не были они.

Не потому ль дорогой этой самой
люблю я проноситься в час ночной,
когда равнина с тёмными лесами
светло-о, далё-ёко занята луной?

Российская равнина... Нет, непросто
тебя представить ночью при луне
без смутной церкви посреди погоста,
без рухнувшей усадьбы в стороне.

Как краткий миг, столетья промелькнули.
Какие судьбы пали! Этот вид
дворцов и парков вдоль дороги к Туле
до слёз, до боли душу нам щемит.

Забытой жизни стёршийся предел.
Зачем мы нынче думали об этом?
Кто на дорогу в сумерках глядел?
Кто брёл в росистый луг перед рассветом?

Тоскуя, проклиная и любя,
прошедшее, влекомое судьбою,
чем дальше мы уходим от тебя,
тем ощутимей наша связь с тобою.

Ночь на Куликовом поле

Здесь поля нет — отлогие холмы,
лощинами изрезанные склоны...
Но явственно доносится из тьмы,
как у Непрядвы всхрапывают кони.

Я не Омар Хайям и не пророк.
Несу под кожей восемь вёдер зноя.
Что мне Мамай?! Что мне Боброк?
Здесь у меня родство совсем иное.

Во мне иные нити сплетены.
Последний сгусток родословной редкой,
я знаю — с той и с этой стороны
здесь полегли мои прямые предки.

И после смерть сводила их не раз.
Но, слух остря и огрубляя лица,
текла путями двух враждебных рас
их кровь, чтобы во мне соединиться.

Над вечной рекой

Из всех открытых жизнью мне чудес
лишь эти до конца пребудут рядом:
широкая река, осенний лес
и женщина — в веснушках, с тихим взглядом.

Передавая право на житьё
и всё, чем дорог мир был, вспоминая,
на миг представлю: реку, лес, её,
любившую меня — за что, не знаю.

Ей оставляю я разлуки боль —
пусть только помнит: я совсем не трушу.
Тебе ж, мой лес, сомкнувший ветви вдоль
равнинных рек, я завещаю душу.

Чтобы она, оставшись вдруг одна,
со мною претерпевшая немало,
раскаяньем моим отягчена,
по свету одиноко не блуждала.

Пусть в хоре голосов твоих, зимой
сливавшихся с протяжным стоном вьюги,
выводит свою нить и голос мой,
пронзённый грустью о забытом друге.

Пусть к миллионам звёзд твоих, всегда
мерцавших над дорогою большою,
прибавится ещё одна звезда,
что столько лет была моей душою.

Над избами, дымящими вразброд,
над странником с печальными очами
в тот первый вечер пусть она взойдёт,
земли касаясь белыми лучами.

И если свет свой, радостно горя,
прольёт в сердца, объятые тоскою,
я буду знать, что жизнь прожил не зря
под шум лесов над вечною рекою...

● ● ●

Перед зарёй, когда истает сон,
когда весна овладевает нами,
возникнет где-то колокольный звон
и поплывёт над тихими полями.

Земля тиха, безоблачен зенит,
мертвы собора рухнувшего главы,
а звон над всей окрестностью висит,
как отзвук неизбывной древней славы.

Плывёт, не задевая купола
церквей, где дремлет истовость седая,
в сердцах, тоскою выжженных дотла,
извечной благодатью оседая.

* * *

О женщинах, которых мы не знаем,
Хоть с ними дышим и растим детей,
О женщинах, которым не прощаем
Мы почему-то даже мелочей.

О женщинах, которым мы готовы
Тревожный взгляд, неосторожный смех
Иль неудачно сказанное слово—
Поставить сразу в самый тяжкий грех.

Они близки нам.
                И далёки вроде.
Глядим на них как будто из окна:
В задумчивости замкнутость находим.
В весёлости беспечность нам видна.

О женщинах, которых нету в спорах
О вечности, и о добре, и зле…
Пишу стихи о женщинах, которых
Непостижимо много на земле.

Которых не целуем под луною
И знать не знаем до поры, когда
Они встают железною стеною,
Чтоб напрочь не сломила нас беда.

Когда-нибудь

Когда-нибудь я лягу и не встану
на этой вот опушке при луне.
И синий лес по белому туману
перед зарёю вспомнит обо мне.

Не кронами, летящими безгласно
на молодые птичьи голоса,
и не разливом жёлто-бурых красок
волнуют нас осенние леса…

Глядим на них с тоской и ожиданьем.
Притихшие в багрово-рыжей мгле,
они тревожат нас напоминаньем,
что мы всего лишь гости на земле.

Умру легко и просто—словно мимо
пройду, как и положено тому,
кто чувствовал себя неразделимым
с рекой и полднем в утреннем дыму.

С двумя-тремя сосёнками меж пнями,
живущими невзгодам вопреки,
с далёкими вечерними огнями
на том пустынном берегу Оки.

И оттого, наверное, счастливо
я прожил эту жизнь, что знаю сам,
как дорог был и зацветавшей ниве,
и дальним облетающим лесам.

* * *

Огородившись виадуком,
иду во тьму, скользя в снегу…
Электропоезд с громким стуком
мелькнёт, растает на бегу.

Мелькнёт, растает, как и не был,
и тут же вдруг из полумглы,
из тишины проступит небо
и обрисует все стволы.

Снега без шрама, без помарки…
Я под Москвой, бредя во тьму,
вчера бродивший по Игарке,
не удивляюсь ничему.

Там—это время непогоды,
висящей день и ночь луны…
Ни тракторá, ни пешеходы
от бури не защищены.

Сейчас там авиабилет
важнее золота и хлеба:
на материк, как на тот свет,
всего одна дорога—в небо…

Иду над выдутым откосом,
душе покой и мир творя
из тишины бесснежных сосен,
из белой грусти января.

И возникает вслед за мною—
обнажена, как снежный наст,—
тоска в семь тысяч вёрст длиною,
соединяющая нас.

В Калуге листопад

В Калуге листопад и дождь. В Калуге,
как никогда, мне грустно в эти дни:
стремительны арктические вьюги,
но писем не доносят мне они.

Тревога перехватывает горло:
ты там одна, а как тебе помочь?
Опять к тебе дороги в небе стёрла
разлившаяся северная ночь.

И я, тоской отрезанный от мира,
бреду к Оке по зябкому дождю…
Всех снежных бурь Игарки и Таймыра
я, кажется, уже не пережду.

Штрихует дождь насупленные зданья…
Меж нами тыщи гор и тыщи рек.
Я четверть века жду с тобой свиданья,
а я ведь тоже смертный человек.

Юрий Беликов, Елена Чудинова

Стражница Христова континента

Мы сошлись на Колчаке. Я рассказал, как несколько лет назад в пермской мэрии, где чествовали «выдающихся женщин города», я со сцены читал Блока столетней Марии Филипповне Хоробрых, с которой танцевал взявший Пермь адмирал. Как я вынудил сидящих в первом ряду вчерашних комсомольских функционеров, а ныне козырных рыночных тузов встать перед барышней, приглашённой на танец самим Колчаком.

…Вся в пятнах пигментных, взирая на этих пигмеев,
последнее, что изощрится подумать она:
«Повесить бы парочку на фонарях да на реях!»
И—спину покажет. И будет прямою спина.

Елена поделилась отдарком—своей «белой» историей. Колчак уже тогда отступил к Сатке, что под Златоустом. Здесь жила её будущая бабка—Анисья Фёдоровна Смышляева. В окнах собора установили пулемёты—позиция-то выгодная. Александр Васильевич сказал: «Убрать! Храм Божий должен быть неприкосновенным». Зашёл в дом к Анисье—попросил стакан воды. Выглядел очень усталым. Анисья предложила чаю. Разговорились. Бабушку Елены поразила его отеческая интонация: «Боже мой! Вы ведь совсем ещё ребёнок. И вы—с ребёнком на руках. А время такое будет страшное!..» В хозяйстве тогдашних молодожёнов насчитывалось двенадцать чайных ложек. Елена унаследовала от бабушки одну. Когда к ней приходит новый гость, она всякий раз спрашивает: «Отгадайте: кто помешивал чай одной двенадцатой этой ложки?» Вероятность, конечно, одна из двенадцати. Что именно эта ложка была в руках Колчака. Но Елене и этого достаточно, чтобы она сию ложку никому не давала, но сама пила чай исключительно с нею.

—А я глядел в зеркало, перед которым брился Василий Иванович Чапаев!—щеголяю «своим» трофеем.—А ещё знаком с его правнучкой Евгенией и праправнучкой Василисой. И Чапаев, по их утверждению, уважал Колчака.

—Может, и уважал,—сдержанно откликается Елена,—но я же с отцом в детстве объездила весь Южный Урал: там Чапаева помнят. Вернее, помнили тогда, когда я была маленькой. Конечно, никакую реку он не переплывал. Порубили их в нижнем белье пьяными. И таким кровавым следом прошли по Уралу чапаевцы, что даже к моему детству—семидесятым годам прошлого века—память об этом в тех местах ещё держалась…

«Экстремистка?»—спрашивают у меня про Чудинову. «Нет,—говорю,—белая». Потому и «Мечеть Парижской Богоматери», антиутопию, написала. Представила, что в 2048 году на месте собора—мечеть. А в ней—арабы. А белые—в гетто. Загнаны в угол. Как отступающие колчаковцы. Не рука ли Жанны д'Арк водит пером москвички Елены Чудиновой? Впрочем, в этом мог убедиться не я один. Пафос её выступления в пермской библиотеке имени Пушкина, куда она была приглашена устроителями «Русских встреч», был такого накала, что казалось—над аудиторией парит известный лозунг Жанны: «Кто любит меня—за мной!»

—Елена, я заметил, что, по какому-то нечаемому стечению обстоятельств, почти половина участников «Русских встреч» связана с Пермью родовой или личной памятью. Совсем недавно в Пушкинке выступал с лекцией поэт и главный редактор «Нашего современника» Станислав Куняев, который, оказывается, жил здесь четырёхлетним ребёнком, и, стало быть, матрица его памяти формировалась в Перми. Родители публициста и блогера Егора Холмогорова—из Краснокамска, из семьи старообрядцев. Прозаик и главный редактор журнала «Москва» Леонид Бородин отбывал срок за русскую идею под Чусовым в бараке особого режима. А у Елены Чудиновой отец, Пётр Константинович, сделал мировое открытие—единственный в своём роде Очёрский раскоп звероящеров пермского периода. Может быть, Пермь—вообще некий пространственно-временной портал, фокусирующий пассионарные судьбы? И как это преломилось в жизни рода Чудиновых?

—Безусловно, есть тайна места, но дело в том, что у каждого исконно русского места—своя тайна. Пермь, конечно, это относительно новообретённые земли, однако сколько в них воли вбито, чтобы они стали русскими! А на ваш вопрос по поводу «пространственно-временного портала», наверное, будет уместной цитата из моего эссе «Отец»: «Он бродил не по известняку, а по дну древнего океана, в журавле в небесах он узнавал

птеродактиля, он ощущал ток времени, бегущего по жилам Земли». Чудиновы—это чудь белоглазая, очень широкое название всех—от карелов до варягов—светлых племён. Помню, мне папа рассказывал, что, по легенде, в нашей семье были норманны. Я это слушала с восторгом, как сказку, потому что обожала викингов. А когда в две тысячи четвёртом году вместе с моей племянницей приехала в Нормандию, в город Кан (это на северо-западе Франции), у меня был просто шок. Мне казалось, что племянница расклонировалась каким-то совершенно сверхъестественным образом: не она ли стоит возле телефона-автомата? не она ли покупает воду в киоске? не она ли заходит в булочную? ждёт трамвай? И всё это одновременно! То есть там эти вот русенькие, сероглазенькие, с хрупкими плечиками, но крепенькие девчонки—самый популярный тип. Что, кстати, имеет прямое отношение к моей любимой теме. Националистический лозунг моих французских друзей: «Европа—от французского Бреста до русского Владивостока!» На самом деле мы все в большей степени родня друг другу. В мировой истории всё перемещалось гораздо интересней, чем мы даже можем себе представить. И когда я увидела канских девчушек, которые точь-в-точь как моя племянница, выросшая, кстати, на Урале и каждое лето проводившая в Юго-Камске, я пришла к пониманию: Европа—действительно от Бреста до Владивостока. Это и есть наш Христов континент.

—И всё-таки я не отцепляюсь от фамилии Чудиновых… Известно, что ваш дед Константин Гаврилович, живший в Юго-Камске, увлекался прогрессивным земледелием. Где-то в середине двадцатых годов прошлого века он демонстративно вышел из партии большевиков. Шаг по тем временам роковой. И, оказывается, по милости—а вы говорите жёстче: «по доносу»—Аркадия Гайдара, работавшего тогда корреспондентом «Звезды», был арестован и впоследствии расстрелян. В Перми—Дом журналистов имени Гайдара. И на доме том—барельеф человека в кепке и с трубкой во рту. Не вяжется с мифом: героическая личность—и… Хотя известно, сколько Аркадий Петрович постреляял народу в Хакасии во время Гражданской.

— Его ведь в Пермь для чего отправили? Литературой заниматься, журналистикой. Нет, доносов он по ночам не строчил, но опубликовал фельетон в газете. По сути, это и стало доносом. Что вот-де есть ещё такой, который окопался… И был конкретно назван мой дед. На самом деле не так это важно—по доносу или по фельетону, потому что расстановка сил была такова: они здесь действительно зверствовали, а мы здесь действительно погибали. Гайдар палец в Хакасии кровавил и подписывал смертные приговоры. Он хакасов по сто человек убивал. Это реальный каннибал. И клан этих каннибалов—один за другим—лезет в политику, и всё им мало нашей крови. Какой вред стране нанёс Егор Гайдар?! Теперь вот ещё Маша Гайдар объявилась…

—Я в Чусовом ходил в школу, во дворе которой стоял бюст Аркадия Гайдара. И вместе со всеми напевал: «Гайдар шагает впереди!» Не будем сейчас говорить, какой он писатель…

— Талантливый…

—Значит, не на тех героях нас воспитывали? На лекции в Пушкинке вы сказали о том, что «пока мы не назовём настоящих наших героев, битва за русскую историю будет продолжаться». Кто и почему в вашем понимании наши настоящие герои?

— И Колчак, и Врангель, и Юденич, который чуть не вернул России Константинополь, и девятнадцатилетний мальчик Борис Коверда, отомстивший в Польше цареубийце Войкову, а потом добровольно сдавшийся тамошним властям и оттрубивший десять лет в лагерях. Кстати, на карте московского метрополитена до сих пор значится станция «Войковская». «Куда вы едете?»—«До «Войковской»!» А Войков—это тот, кто, будучи в Екатеринбурге комиссаром снабжения Уральского совета, оставил свой «исторический» автограф на бумагах о предоставлении серной кислоты, причём в большом количестве, для уничтожения тел расстрелянной царской семьи. Я предложила переименовать «Войковскую» в «Ковердинскую»… Вы спрашиваете, кто наши герои? Их много. Собственно говоря, это и безымянные павшие белые добровольцы. После лекции ко мне подходили молодые люди, очень меня огорчившие. Они с какой-то звериной ненавистью говорили, что вот, мол, все эти ваши белогвардейцы—они иуды. Дескать, Корнилов сам способствовал всем известным событиям! Я им попыталась объяснить: да, белое движение не было однородно-монархическим, потому что революция произошла не на пустом месте. Общество было достаточно сильно растлено. Но если бы Белое движение, которое, по крайней мере, однозначно защищало Церковь, своей кровью и терновым венцом не вымостило дорогу в изгнание, то в этом изгнании не возник бы новый виток монархической идеи, не произошло бы вот такого катарсиса. Ведь монархическая идея перед началом революции была в загоне: лучшие мыслители от неё отвернулись, и на этом направлении царило предательство. Но уже в белой эмиграции идея монархии начинает выкристаллизовываться заново! Недавно в газете «Наша страна», которую в своё время основал в Аргентине философ-эмигрант Иван Солоневич, я читала статью одного духовного лица, где этот человек написал, что возможно противопоставление Белого движения и монархизма (одно не является другим), но всё-таки они

впрямую взаимосвязаны. Я так обрадовалась: «Господи! Лишний раз убеждаюсь, что люди думают, как я». И, вспоминая тех озлобившихся молодых людей, которые твердили в библиотеке, что белые, видите ли, были плохи, я мысленно говорила: «Да и нам-то Бог дал бы наши-то грехи так искупить, как они свои искупили!..»

— «Скоро красные выяснят сами, уготован ли грешнику ад», как звучит ваш перевод одной бретонской песенки. А ещё вы сказали: «…и простим тех, кто был неправ». Допустим, я с вами соглашусь. Но вот эта позиция — сегодняшнего деления народа на красных и белых — не играет ли она на руку другому цвету — оранжевому? Может быть, нынче красным и белым стоит объединиться, дабы впоследствии их не укорили потомки, что они превратились в исторических дальтоников?

— Понимаете, без признания нет прощения. Когда гайдары говорят: «Убивали, и это замечательно!» — справедливо ли, что я с ними должна объединяться? Да мой дед из могилы своей безымянной меня проклянёт!

— Объединяться не с конкретным образом Аркадия Гайдара — это всё в прошлом, а с теперешними носителями красной идеи. И во имя нынешней России, может быть, стоит сейчас обняться двум цветам — красному и белому, чтобы не пересилил всё тот же оранжевый цвет?

— Вы знаете, на данный момент оранжевая угроза раздута просто до невозможности. Поверьте, я не наивна. Я считаю, что у каждой страны — свои геополитические шкурные интересы. И у Америки они, конечно, есть. Кто бы спорил. Когда страна-конкурент рухнула, ясное дело, что американцы развернулись. Хотя и там тоже не так всё просто, как у нас пытаются сейчас представить. Был момент, когда распад Союза их тоже пугал. Прикидывали: а что, собственно, произойдёт? Куча неконтролируемых государств с ядерным оружием или как? Но я не люблю переводить стрелки с внутренних проблем на внешнего врага. Оруэлл дал эту картину в чистом виде: Евразия будет всегда воевать с Океанией, потому что шоколада выдают мало. Я говорю очень обобщённо, но, к сожалению, мы сами сейчас худшие себе враги, нежели какая-либо злая воля извне. Потому что именно наше правительство не решает тех проблем, которые наболели и кричат. Какие там оранжевые?! Да помилуйте! Что же касается объединения с красными, лично для меня это невозможно.

— А если конкретизировать? Ведь красные тоже разные. Предположим, Александр Проханов…

— Ну какое может быть у меня объединение с Прохановым?! Дело даже не в том, что он в своей газете «Завтра» помещает так называемую икону со… Сталиным! Как говорил мне один католический священник, а у них тридцать три пуговицы на сутане, одна пуговица не в свою петлю застёгнута — и весь ряд перекошен. Если речь о Проханове и ему подобных, то их представление о пользе Отечества — это не моё представление. Они опять вещают: «Народ — для государства!» Снова перекроем Енисей, уложим ещё сколько-то тысяч человек в землю, пускай люди живут в нищете, но радостно несут транспаранты в знак своей высокой духовности. Нет, извините. Мы сейчас в таком положении, что должны, как мои друзья-националисты, прежде всего говорить: «Государство — для народа!» Можно ходить на совещание в Кремль и распространяться о высокой идее, которой русских нельзя лишить. Но всё это не стоит и пяти копеек, когда русские реально погибают. На сегодня наша высокая идея состоит в том, чтобы сохранить свой народ. Физически. А Проханов сравнивает шахидок с Зоей Космодемьянской…

— Может, это следствие гротескового художественного сознания, которое по определению искривлено?

— Не художественное это сознание. Уверяю вас, на самом деле это человек очень трезвый, превосходно знающий, что нужно лично ему. Для меня это враг. Враг совершенно откровенный, потому что таким людям надо подтолкнуть Россию в мерзость исламского мира, нарочно противопоставить его Европе, раздуть вот эту оранжевую-оранжевую-оранжевую угрозу. На этом фоне мы должны, конечно, быть тверды.

— Мне кажется, в современной литературе — дефицит героев при несметном количестве персонажей. Вот и вы в одном из интервью о романе «Мечеть Парижской Богоматери» обмолвились: «Жанна — очень мной любимый персонаж». Не героиня, а персонаж. Литература может, но жизнь не может обходиться без героев. Приведите имена тех, кто, по вашему мнению, являются современными русскими героями и, соответственно, могли бы стать героями русской литературы.

— Сначала насчёт персонажей. Понимаете, Жанна — это моё детище. Мне самой неловко — пусть другие скажут, что это — героиня. А я её создала. И поэтому говорю: «персонаж», буду поскромнее. Но если другие скажут, что она — героиня, мне будет приятно. Что касается второй части вашего вопроса, то я могла бы назвать в череде современных героев убиенного отца Даниила Сысоева, известного своей миссионерской деятельностью среди мусульман. В две тысячи девятом году в России была эпидемия гриппа, и многие москвичи ходили в характерных голубеньких масках. В такой же маске в храм Апостола Фомы

на Кантемировской пришёл и убийца. «Вы — Сысоев?» — «Да», — ответил отец Даниил. Я думаю, он сразу всё понял, потому что ему уже не раз угрожали. Один выстрел — в грудь. Другой, контрольный, в голову. Впервые с большевистских времён это были выстрелы в православном храме. Отец Даниил (кстати, наполовину татарин) обладал потрясающим даром убеждения. Существует история о том, как он четыре дня сидел с одним из ваххабитов, что называется, лоб в лоб, где каждый доказывал свою правоту. В конце концов ваххабит сказал отцу Даниилу: «Ты прав!» И принял христианство. Незадолго до убийства мы совместно с отцом Даниилом принимали участие в одной телепередаче. Там же находился Гейдар Джемаль, глава Исламского комитета России, одна из нынешних, на мой взгляд, нерукопожатных медийных фигур. Я хорошо помню тот неприятный взгляд, которым он испепелял отца Даниила. Отец Даниил — автор книги «Брак с мусульманином», в которой он предупреждает молодую девушку, не понимающую многих вещей, собственно, что её ждёт в случае такого жизненного хода. И я знаю случаи, когда, уже после гибели священника, родители молились отцу Даниилу, чтобы он отвратил их дочерей от брака с мусульманином. И вы знаете, молитва помогала! Происходили какие-то невероятные обстоятельства — и всё расстраивалось. Мы всегда страшно спорили с отцом Даниилом, потому что стояли на немножко разных позициях. У него была концепция, что христианину вообще не важно, какой он национальности и какая власть на дворе. Он говорил, что единственное наше гражданство — это церковь. А всё остальное — гори оно синим пламенем. Я уважаю эту точку зрения. Она посвоему прекрасна, но у меня — другая. Может быть, в этом проявляется мой национальный эгоизм, но я прежде всего думаю о своём народе. И считаю это естественным. Но, опять же, он — духовное лицо, я — мирское. У каждого свои приоритеты. Но, тем не менее, что всегда поражало в отце Данииле — это готовность к мученичеству. Он часто смеялся: «Какая же это роскошь — как на лифте, прямо на небеса, без мытарств!» Весёлый был. Когда жена его спрашивала: «На кого же ты оставишь меня с тремя детьми?» — отвечал: «Как на кого? На Матерь Божью!» И действительно, после этого злодеяния Божья Матерь хранит теперь вдову Юлию и деток отца Даниила. Вдова сумела преодолеть в себе состояние горя — она полна религиозной активности. По версии правоохранительных органов, человек с пистолетом, из которого убили отца Даниила, был якобы застрелен при задержании в Махачкале. Я не помню его имени. Кто они такие, чтобы запоминать их имена? Не они этот волос подвесили, не они его и перерубили. И конечно, отец Даниил — это герой нашего времени. Вне всякого сомнения.

— И, наверное, вы знаете из времён чеченской войны имя ещё одного мученика — русского солдата Евгения Родионова, который не отрёкся от православной веры, не снял креста, и бандиты отрезали ему голову?..

— А ведь в моём романе «Мечеть Парижской Богоматери» одно из действующих лиц — косвенно он и есть. Тот мальчик, который сидит с девочкой в подвале, и она его спрашивает: «Почему ты такой верующий?» Он отвечает: «Да вообще-то я дурак, дуб. Просто если им так надо, чтобы я от этого отказался, значит, никак нельзя». Евгений Родионов, как и отец Даниил, — это тоже герой нашего времени. И тоже существует мнение о его святости. Я лично считаю, что сыграли свою роль некоторые политические мотивы в том, что его канонизация не состоялась. Я слушала доклад, в том числе о предполагавшейся канонизации, но, понимаете, меня это как-то не убедило. Бог судья духовным лицам! Я вообще не хочу их судить, да и не могу судить духовных лиц.

— В статье «Рифы имперской консолидации» вы пишете: «В качестве идеологического инструментария, необходимого для воспитания здорового и свободного от рефлексии поколения, необходимо выявить некоторый идеальный набор исторических фигур, на которые способно опереться национальное самосознание». Что это за фигуры?

— Князь Дмитрий Донской, генералиссимус Суворов, адмирал Ушаков... Есть крупные алмазы, есть помельче. Не знаю, стоит ли в этот ряд зачислять Петра Великого, но многих из его сподвижников — безусловно. Просто Пётр — фигура, вокруг которой летят громы-молнии. А Державин! Это же вообще человечище-то какой! А Ломоносов! Мифическая фигура. Один лишь приход его в столицу из архангельских Холмогор чего стоил! И, кстати, это же демонстрация социальных лифтов в Российской империи: талантливый человек пробивался где только мог.

— Вы любите называть вещи своими именами: Сталин для вас исключительно Джугашвили, Акунин — Чхартишвили, Дмитрий Быков — Зильбельтруд. Но кто для вас декабристы? Наше общество когда-то приучили: «Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию». Правда, десятилетия спустя поэт Наум Коржавин переиначил: «Какая сука разбудила Ленина?! Кому мешало, что ребёнок спит?» Я знаю, что вы закончили новую книгу «Декабрь без Рождества». И в ней, по вашему признанию, боретесь «за доброе имя моего государя Николая Павловича». Особенно меня тронуло: «моего». Но то же общество приучили: Николай Павлович — это Николай Палкин, шпицрутены, муштра, сатрап и чуть ли не убийца Пушкина... А какова историческая истина?

— Начнём с декабристов. При советской власти произошла их романтизация. Те, кто готовили революцию тысяча восемьсот двадцать пятого года, слышали от живых участников, что творилось во Франции во время революции тысяча семьсот восемьдесят девятого — тысяча семьсот девяносто четвёртого годов. Достаточно вспомнить специальные детские гильотины. Или то, что с людей заживо снимали кожу, чтобы изготовить из неё замшу. И будущих заговорщиков, вышедших на Сенатскую площадь, это не остановило. Поэтому декабристы горят в аду. Кто-то из них раскаялся и достойно прожил остаток дней. Но нет прощения тому, что они затевали. В «Декабре без Рождества» есть эпизод, где мой герой Роман Сабуров прибегает в белой ярости к государю. А тот уже его ждёт и всё знает. И между ними происходит очень напряжённый диалог, во время которого Сабуров восклицает: «Государь, что вы делаете?! Вы меня связываете по рукам и ногам. Приказываете закрывать дела…» Это — по поводу декабристов. «Но если мы сейчас, — продолжает он, — не выкорчуем измену с корнем, весь девятнадцатый век дальше пойдёт по нисходящей! Измена будет множиться, множиться и множиться… А вы хотите пройтись только по вершкам. Скольких вы помиловали?! Сколько дел запрещаете мне расследовать?!» Но у каждого из двух участников этого диалога — своя правда. И вот Николай Павлович ответствует: «Я своему народу не Буонапарте».

— Это его подлинные, исторические слова?

— Это моя фантазия, основанная на реальных действиях государя. И там, в романе, есть ещё один эпизод, где Сабуров, отвлёкшись от более важных тем, с досадой вспоминая, говорит: «А вот этого-то, Алексея Пушкина, вы зачем отпустили?!» Государь поправляет: «Александра…» Сабуров: «Да хоть Пахома!» Сабурову, знаете ли, в этот момент не до виршей. Он напирает: «На этого молодчика улик вообще выше крыши!» Государь так смотрит в сторону камина, где дотлевают бумаги: «Да нет на него улик…» Кстати, действительно, документы, связанные с участием Пушкина в заговоре, были изъяты и сожжены. Только я для остроты добавила, что Николай Павлович их сам в камин и швырнул. И государь говорит: «Сабуров, ты не понимаешь: меня будут считать сыном собственного брата и путать номером с ещё каким-нибудь Николаем, тебя будут знать только прямые потомки, а Александра Пушкина будут знать все!» Тот: «Прекрасно! Значит, у него в голове — измена, а он — гуляй на свободе, раз он такой гениальный?..» Они стоят друг против друга, как дуэлянты. И государь, как будто производя выстрел в воздух: «Я сам буду его цензором!.. Но тронуть не позволю». Когда мы знаем, что волею государя были изъяты и сожжены бумаги, свидетельствующие об участии Пушкина в подготовке к восстанию, эта фраза Николая Павловича: «Я сам буду его цензором!..» — приобретает совсем иное значение. И мой герой в сердцах подаёт в отставку… Он не хочет действовать со связанными руками.

— Из ваших уст можно нередко услышать: «Мои враги». Причём вы их, этих «врагов», тут же называете. Например, неоевразийцы, дугины, прохановы. Или вдруг произносите: «Я сторонница Крестовых походов». Или: «Ученики Христа носили мечи. Пора нам об этом вспомнить самим и напомнить другим». Но вот ещё реплика: «Я враг общечеловеческих ценностей». Тут сразу может возникнуть вопрос: а разве Христос и его ученики не были носителями общечеловеческих ценностей? «Не убий… Не прелюбодействуй…»

— Это не общечеловеческие ценности. Мы рождаемся с первородным грехом и живём в грехе. То, о чём вы говорите, это божественные ценности, которые нам всё же даны Новым Заветом для того, чтобы мы имели какую-то возможность не погибнуть. Большая разница между этим вот антропоцентризмом и теоцентризмом. Это разница — позиционная. А я — теоцентрист.

— Однажды вы заметили: «Православная церковь почти не занимается проповедью в Европе. Что остаётся людям? Ислам». И дальше: «Церкви в Европе действительно превращаются в мечети. Причём пока безо всякой революции, тихо-мирно». Но занимается ли православная церковь проповедью в России? Помнится, усопший Патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй накануне расстрела Ельциным российского парламента в тысяча девятьсот девяносто третьем сказал о том, что кто первый в этом противостоянии прольёт кровь, тот будет предан анафеме. Кровь, как известно, пролилась. И — немалая. Анафемы же не последовало. Если ты говоришь «а», значит, нужно говорить «б».

— Я никогда не участвую в распрях христиан между собой. Это моя позиция. Я не отношусь к Московской патриархии. Я — зарубежница, а кто-то меня даже считает криптокатоличкой. Но у меня чрезвычайно много в патриархии друзей. Однако брань православных меж собой — пожалуйста, без меня. А применительно к тому, что Святейшим не было сказано «б», — давайте не будем судить покойного патриарха, потому что с него же больше, чем с нас, спросится.

— Но не вы ли утверждали: «Если мы христиане, то мы должны проповедовать»? Я не беру сейчас отдельные примеры, схожие с мученичеством отца Даниила…

— Отдельных-то примеров немало. С Дальнего Востока ко мне приезжали молодые священники — ох,

какие они замечательные! У них там, в Хабаровске, клуб любителей кельтской культуры, и авторская песня, и ролевые игры, и всем там батюшки рулят… Но я сейчас хочу сказать о другом: как может быть в России нормально с православной проповедью, если это пространство для приложения сил отдельных энтузиастов, у которых руки абсолютно связаны? У православия нет статуса государственной религии со всеми вытекающими отсюда последствиями. А в какой нужде живут многие сельские священники?.. Мне рассказали анекдот из жизни. Моя знакомая видела сама: за обеденным столом сидит батюшка. Детей—семеро по лавкам. Съели суп, и батюшка спрашивает: «Матушка, а на второе-то что-нибудь у нас будет?» Она: «Нет, батюшка. Второго не будет, но могу второй раз по первому дать».

—Да, но я хочу припомнить, как один католический священник вам поведал: в иные времена «вызывали монаха, говорили: видишь, вон там гора, на ней живут язычники. Очень свирепые язычники. Мы тебя назначаем их епископом. И через два года, если язычники его не убивали, он действительно становился епископом. Слово—это Бог. Проповедью многое можно сделать»,—говорит Елена Чудинова.

—Нельзя всё время опираться на героическую сторону человеческой натуры, буде это даже священник. Всё-таки мы твари, в том числе и телесные, и должны как-то жить в этом мире. И священник несколько отвлекается от проповеди, если он думает о том, чем детей кормить.

—Представьте, что вы дожили до две тысячи сорок восьмого года—времени действия вашей антиутопии «Мечеть Парижской Богоматери». В принципе, если постараться, то можно. Как у Бориса Пастернака в «Гефсиманском саде»:

Но книга жизни подошла к странице,
Которая дороже всех святынь.
Сейчас должно написанное сбыться,
Пускай же сбудется оно. Аминь.

Ну вот—вы во Франции. А не сбылось. Ну нету мечети Парижской Богоматери! Нотр-Дам де Пари стоит как стоял. Париж пребывает в Христовом континенте. Какие чувства испытывает автор? С одной стороны—разве не счастье? А с другой—не обернулась ли Елена Чудинова плохим пророком?

—Знаете, я скажу так: если мечети Парижской Богоматери не будет, Елена Чудинова—хороший пророк. Потому что разве мы меньше ценим Оруэлла за то, что в Англии в восьмидесятых годах прошлого века не было коммунизма? Нет, мы очень ценим Оруэлла. Он сумел напугать. И если я сумею напугать, и будут от этого реальные плоды, так и слава Богу! Я однозначно буду чрезвычайно рада оказаться не пророком вообще. Но всё-таки напугать хочу.

Владимир Балашов

Безбилетник

Что же такое время? Если никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что такое время; если бы я захотел объяснить спрашивающему — нет, не знаю.

Августин Блаженный

Предисловие автора

Двадцать лет тому назад в шутку, как мне тогда казалось, я дал себе обещание написать об этом случае фантастическую повесть или даже роман. Почему фантастическую? Во-первых, слишком многое так и осталось тогда необъяснимым; во-вторых, принадлежность к Корпусу Мониторов обязывала, да и до сих пор обязывает меня свято хранить служебные тайны. Жанр фантастики, к счастью, позволяет достаточно вольно обращаться с фактами, и авторские домыслы ничем не ограничены — кроме, пожалуй, писательской фантазии.

Большинство читателей знают, что Корпус Мониторов, являющийся особым подразделением Комитета по безопасности Земли, призван расследовать дела исключительно сложные, и лишь очень немногие посвящены, что в том числе — и сверхъестественные. Уточню: отнюдь не мистические, а, скорее, не поддающиеся в данный момент времени какому-либо научному объяснению. Большинство из таких засекреченных расследований, получив огласку, просто-напросто вызвали бы ужас и панику среди людей с неподготовленной психикой. К счастью, по прошествии времени почти всем им находилось вполне материальное объяснение. Однако данный случай так и остался редким исключением…

Теперь коротко о себе. Три года назад я, старший монитор Вадим Быков, был переведён по возрасту на административную работу, и у меня наконец-то появилось свободное личное время. Видимо, привычка к постоянным умственным нагрузкам и толкнула меня на литературную стезю. К этому времени секретность положенного в основу романа расследования уже не являлась непреодолимой помехой, так как прошли установленные двадцать лет, в течение которых не было выявлено как последствий проникновения, так и новых проникновений из чужого времени. Тем не менее, необъяснимость фактов — а за двадцать лет так ничего и не прояснилось — вынуждает меня писать не документальную повесть, а именно фантастическую. По этой причине хочу предупредить читателей, что даже в тех эпизодах, в которых я придерживаюсь действительных фактов, излагаю всего лишь собственную версию случившегося. Избранный жанр фантастики не только позволяет, но даже обязывает автора к этому…

Забросит нас в чужое время,
Где одиночество — как бремя,
И от тоски погонит страх
Искать любовь в других мирах,

Где, как пылинки во Вселенной,
Как споры краткой жизни тленной,
Меж звёзд блуждать обречены,
Всегда земные видя сны…

И, не найдя иной отчизны,
Вернёмся мы на склоне жизни
На обветшавших кораблях…
Земля простит — и примет прах.

Вадим Быков, старший монитор Корпуса Мониторов. Планета Земля, 2115 год.

Глава 1. Ковбой

Любое путешествие во время отпуска — это как новая жизнь. По крайней мере, по количеству впечатлений! С другой стороны, если у тебя всё хорошо в реальной жизни, то оно вроде бы и ни к чему. Зачем тебе все эти утомительные перелёты и переезды, казённые гостиницы с прислугой, думающей только о том, как побольше выманить денег? А ещё непривычная пища, от которой ты мучаешься, привыкая, первую половину путешествия и страдаешь от переедания в конце. В общем, сплошные стрессы, конфликты и неудобства! К тому же вскоре ты понимаешь, что половина из написанного в рекламном проспекте далеко не соответствует истине, а является обычной приманкой для простаков. Где-то через месяц ты с облегчением и тихой радостью возвращаешься домой с твёрдой мыслью, что твоя повседневная жизнь не так уж и плоха…

А ещё через неделю-две начинаешь с восторгом рассказывать своим знакомым о замечательно проведённом отпуске, об экзотике путешествия и невероятной природе планеты, о которой

большинство из них знать ничего не знали и впервые слышат именно от тебя. Ты увлечённо описываешь, как замечательно провёл время, заглушая таким образом мысль о бездарно потраченных накоплениях,—и уже сам почти веришь собственным рассказам. И зарождаешь в сердцах этих знакомых тягу к подобному времяпровождению.

Так существует и множится год от года племя космических туристов…

Незнакомец был одет в основательно потёртую кожаную куртку устаревшего, мягко говоря, покроя. Грубоватое, обветренное лицо, голубые, глубоко посаженные глаза и, главное, низко надвинутая шляпа с загнутыми вверх полями делали его похожим на ковбоя из ретро-вестерна, недавно транслировавшегося по стереовидению. Однако внимание Хенкина мужчина привлёк не одеждой, для его возраста достаточно легкомысленной, а тем, что внимательно кого-то высматривал среди проходящих мимо пассажиров. Два раза «ковбой» устремлялся было к выбранным объектам, но в последний момент его что-то останавливало—и он отступал назад к массивной колонне, на которой было укреплено информационное табло.

Взгляды их случайно встретились, и Хенкин невольно улыбнулся столь удачному сравнению незнакомца с ковбоем. Простодушное лицо мужчины осветилось ответной улыбкой, и он приблизился.

— Простите, сэр, вы летите на Эшер?

Классический английский выговор и хрипловатый, словно высушенный жарким ветром прерий голос только дополнили нарисованный образ—и Хенкин опять не смог сдержать довольную улыбку.

— Да, на Эшер, как и все эти любители космической экзотики,—он кивнул в сторону проходивших мимо пассажиров.

— Дело в том…—«ковбой» замялся.—Просто на Эшере работает мой брат, Ричард Свифт.

— О-о-о, вы, случайно, не потомок знаменитого писателя Джонатана Свифта?—заинтересованно спросил Хенкин, гордившийся своими познаниями в старинной классической литературе.

— Нет… Я не знаю такого…—«ковбой» сбился и тут же заговорил торопливо, видимо опасаясь, что Хенкин уйдёт, не дослушав.—Не согласитесь ли вы, сэр, передать брату письмо? Он обязательно будет среди встречающих, и вы его непременно узнаете, потому что мы с ним похожи, как говорят моряки, словно две капли морской воды…

— Хорошо, ваша просьба меня нисколько не затруднит,—неожиданно для себя сразу согласился Хенкин.—Но что мне делать с письмом, если ваш брат всё-таки не встретит космолёт?

— О, даже не сомневайтесь—он непременно там будет!

Хенкин, которому крайне польстило обращение «сэр», положил конверт в портфель из кожи тэсской ящерицы, помахал рукой «ковбою»—и среди последней группы нарочито неторопливых, преисполненных своей значимости туристов прошёл через турникет. А дальше, вслед за длинноногой и миловидной служащей космопорта,—к поджидавшему макробусу.

Погрузившись в уютную невесомость пневмокресла, он попытался ощутить себя столь же беспечным туристом-снобом, как и все окружающие. С удовлетворением отметил, что пока это получалось. Ещё бы: ему давно не доводилось проводить время вот так, праздно—не утруждая себя решением какой-нибудь производственной проблемы или анализом уже принятого решения…

Вынырнув через шлюзовой переход из-под шатрового свода космовокзала—прямо под слепящее даже через поляризующий полупрозрачный пластик солнце,—макробус набрал скорость и бесшумно заскользил над красноватыми плитами бетонного поля. Пассажиры с любопытством взирали то на серую, с непроницаемо плотными тенями, поверхность Луны, то на голубой глобус Земли на беспросветно-чёрном небосклоне, то на возвышающийся над другими космолёт новой пассажирской серии «Геркулес».

«Словно колосс над пигмеями»,—отметил про себя Хенкин, разглядывая космолёт.

Действительно, по сравнению с изящными серийными челноками и даже с массивными «грузовиками» размеры «Геркулеса» были просто потрясающими. Но главным достоинством новых космолётов было то, что они могли стартовать не только с Луны или с околопланетных орбит, но и непосредственно с поверхности любой планеты, включая Землю. Это, без всякого преувеличения, было последним словом космической техники уходящего двадцать первого века, и это была весомая заявка на лидерство фирмы «Круизкосмос».

Хенкину приятно было сознавать, что и этот новый космолёт, и вся последующая серия принадлежат компании, одним из боссов которой является он. Причем не рядовым, а весьма значимым и перспективным руководителем…

Тем не менее, бодрое настроение, которое он старательно в себе «подогревал», начало улетучиваться. Цепляясь за тающее душевное равновесие, Хенкин попытался думать о чём-нибудь отвлечённом и приятном—ибо знал наверняка, что где-то там, пока ещё в подсознании, стремительно набирает силу ужас перед предстоящим перелётом. Как последнее, часто помогавшее в таких случаях средство, он попытался переключить мысли на семью, на своё детство.

Вспомнился вдруг эпизод из далёкого-далёкого прошлого. Он, совсем ещё маленький мальчик, говорит матери: «Я никогда-никогда не улечу с Земли, потому что больше всего на свете я люблю наш дом и тебя».

А мать гладит его по голове сладко пахнущей вареньем рукой и успокаивает: «Тебе и не нужно будет никуда улетать. Твой отец достаточно богат, чтобы обеспечить нам приличную жизнь на Земле…»

Мать говорила это с уверенностью — и он верил ей, как привык верить каждому её слову…

Но прошло два десятка лет, и вот ему пришлось-таки улетать с Земли, причём довольно надолго. Улетать вопреки собственному желанию, но для того, чтобы обеспечить эту самую приличную жизнь себе, матери и своей будущей семье. Но зато уж обеспечить раз — и навсегда! И никому из коллег даже в голову не пришло, что сегодня он совершает самый настоящий и хорошо бы самый последний в жизни подвиг! Ибо для подверженного клаустрофобии человека две недели одиночного заточения в крохотной каюте космолёта равнозначны заключению в тюремной камере-одиночке.

От неотвратимости происходящего и от полной безысходности впору было завыть, но он понимал, что надо держаться, пусть даже из последних сил! Ещё в ранней юности он определил своё жизненное кредо: «На голове удачи произрастает один единственный вихор, и если сумел ухватиться — ни за что не выпускай, ибо второго случая может не представиться». А он, похоже, этот руль судьбы ухватил-таки, причём довольно крепко!..

Эластичный гофр шлюз-перехода, опущенного с космолёта, мягко прильнул к тамбуру макробуса, послышалось негромкое шипение выравниваемого давления — и створки дверей медленно разошлись в стороны.

Эскалатор плавно и бесшумно поднял пассажиров на нижнюю палубу, а оттуда расторопные стюардессы развели всех по каютам.

В одноместной каюте высшего разряда — видимо, менее комфортную по запросу руководства фирмы диспетчер просто побоялся предоставить — на видном месте лежало меню. Чтобы чем-то занять время, Хенкин полистал его и заказал коктейль с самым прохладным названием — «Леденящий душу». Однако, несмотря на многообещающее название, коктейль не только не охлаждал, но, наоборот, горячил содержащейся в нём изрядной дозой спиртного. Чего уж тогда следовало ожидать от таких, как «Поцелуй туземки» или «Солнечный протуберанец»?..

К его претензиям принёсшая поднос с бокалом стюардесса отнеслась абсолютно спокойно, если не сказать — равнодушно:

— Я не занимаюсь названиями напитков, я их просто разношу! А претензии можете предъявить руководству компании.

Несмотря на такой не слишком доброжелательный ответ, Хенкин с удовольствием окинул взглядом симпатичную стюардессу — миниатюрную стройную брюнетку, ибо ему нравились женщины именно такого типа.

Что и говорить, до сих пор он вёл аскетичный образ жизни и отказывал себе во многом, в том числе и в женщинах. Всю свою энергию, всё свободное время он посвящал сначала учёбе, потом работе и карьере. Бесцветная и полноватая дочь босса не в счёт — она тоже для карьеры… Поэтому, наверное, она так мало его возбуждает?.. Все развлечения, которые услужливо предлагала периодически распалявшаяся фантазия, он планировал на потом! А ведь потом — это так неопределённо…

Но теперь карьера, можно сказать, сделана — и скоро он начнёт совсем иную, новую жизнь! Должно быть, чертовски здорово время от времени ударяться в загулы и удовлетворять свои тайные страсти?! Но оргии — это даже не страсти, а так — мелкие страстишки! Самое большое и самое тайное его желание — это повелевать людьми, множеством людей! Столько лет он тщательно скрывал от всех эту рвущуюся изнутри страсть, успокаивая себя тем, что ещё не пришло его время! Ощущение власти над массами — самое возбуждающее ощущение, оно слаще и желанней денег, славы, женщин! Особенно если его так долго ждёшь!..

Но теперь-то осталось совсем чуть-чуть!

Вкрадчивый женский голос, с интонацией, словно бы намекающей на предстоящий интим, предложил занять спальные места. Хотя это всего лишь означало, что скоро старт, а горизонтальное положение уменьшит неприятные ощущения от кратковременной перегрузки.

«Однако какой же это идиот отвечает за рекламу в нашей фирме? — с нарастающим раздражением думал Хенкин, выливая противный коктейль в раковину умывальника. — Как только стану первым заместителем босса, сразу же подберу другого специалиста! Этот пиарщик — обыкновенная бездарь, причём высокооплачиваемая бездарь! Стоит ли рассчитывать на то, что даже очертя голову ринувшиеся в авантюру туристы не отличат жалкого подобия от истинного сервиса?.. Во всём, даже в названиях коктейлей, должны присутствовать аристократические солидность и изящество, иначе никогда не приобретёшь состоятельных, понимающих толк в дорогостоящем сервисе клиентов. За свои деньги они должны ощущать себя избранными!..»

— Ничего, — пригрозил Хенкин неизвестно кому, — когда стану генеральным, в корне поменяю все старые порядки!

Но даже от такого обещания настроение не улучшилось, раздражение не улеглось — и он с тоской вспомнил, что всего каких-то полчаса тому назад жизнь представлялась ему практически в розовых тонах. А сейчас он явственно ощущал, как настроение из лёгкого панического уже перерастает в гнетущее.

«Хотя, если не зацикливаться на мелочах, неуклонно близится мой триумф, мой звёздный час»,—уговаривал себя Хенкин.

Писатели иногда сравнивают течение времени со спокойной или бурной рекой. Так вот: в мощно несущей его к карьере реке за весь последний год не отразилось не только тёмных туч, но даже сколь-нибудь значительного облачка…

Во-первых, он стал пока ещё неофициально, но фактически правой рукой генерального директора компании. В связи с этим сумма на его банковском счёте значительно раньше предполагаемого срока перевалила заветную цифру. Во-вторых, он без пяти минут зять директора—и при этом, кажется, не приобрёл серьёзных врагов. Коллеги по-прежнему величают его не иначе, как «своим парнем», а влюблённая по уши невеста—«милым Питером». У престарелого «папаши Джо» в последнее время часто стало пошаливать сердце, и дальнейший путь Хенкина ясен, как, например, маршрут этого «Геркулеса»…

Так что остаётся лишь одно реальное препятствие, которое он должен преодолеть,—это вынести эту командировку и предоставить Совету директоров толковый отчёт. А уж он-то знает, каким должен быть бизнес-план! У него есть собственные идеи и толковые предложения. Чем, кстати, не может похвастать большинство из руководителей фирмы!..

Да, их космолёты стартуют с планет и способны безопасно доставлять туристов куда угодно, но изнеженные земляне везде хотят иметь комфорт, лишь на немного уступающий домашнему. То есть подавай им охотничьи базы «под старину»—но непременно с джакузи и шикарными барами; подавай им охотничьи микробусы на воздушной подушке—но в которых они чувствуют себя и в безопасности, и одновременно «лицом к лицу» с добычей. Маневренные, но довольно шумные глаеры уже не в моде… Значит, придётся всерьёз заниматься комфортом и прокладывать вокруг баз сеть приличных дорог! Раз клиенты желают, мы сможем предоставить им экзотику, которая щекочет нервы—и при этом нисколько не утомляет физически.

Он, Хенкин, сделает для них этот захудалый Эшер именно такой планетой!..

В космопорту Эшера Хенкина персонально никто не встречал, ибо, по его замыслу, это была как бы инспекционная поездка. Он резонно рассчитывал, что проверяющий инкогнито всегда имеет определённую фору.

Когда эскалатор доставил пассажиров из посадочно-разгрузочного терминала в центральный зал, Хенкин, оглядев немногочисленных встречающих, с некоторой досадой отметил, что среди них нет никого, хотя бы отдалённо напоминающего нужного ему человека. Мужественное и вместе с тем простоватое лицо «ковбоя» невозможно было бы не отличить даже от сотни других.

Думая о лежащем в портфеле письме, он направился к выходу на стоянку транспорта—и тут увидел прямо перед собой улыбающегося «ковбоя». Сходство было просто потрясающим: не только лицо, фигура—но даже клоунская куртка и дурацкая шляпа на голове. Вместе с тем Хенкин мог поклясться, что ещё несколько мгновений тому назад этого человека в зале не было.

Кое-как справившись с шоком, он достал конверт и буквально выдавил из себя осмысленную фразу:

— Это вам… От брата.

Лицо «брата ковбоя» снова озарилось улыбкой, обнажившей белые крупные зубы, и он произнёс тем же хрипловатым голосом:

— Очень благодарен вам, сэр, только не стоит так удивляться. Я всё объясню. Мне и там, на Луне, показалось, что вам можно довериться, сэр…

— Хенкин, Питер Хенкин…

— Если не возражаете, я вас провожу, сэр Питер. Похоже, придётся ждать маршрутный рейс,—двойник кивнул в сторону мигом опустевшей от разнообразного служебного транспорта и такси стоянки перед космопортом.

— Да, да, пожалуйста,—согласился заинтригованный таким началом разговора Хенкин.

— Дело в том, что у меня никогда не было брата…— начал свой рассказ двойник и испытующе посмотрел на собеседника.

Хенкин промолчал, пытаясь осмыслить абсурдность такого заявления.

— Но мне было нужно, чтобы здесь, на Эшере, вы вспомнили меня как можно детальней,—продолжил двойник.—Дело в том, что это получается не каждый раз… А в конверте ничего нет—можете убедиться!

— Извините, но я так ничего и не понял,—прервал его окончательно сбитый с толку Хенкин.—Если можно, то изъясняйтесь как-то логичней и последовательней!

Он, несмотря на сильнейшее умственное напряжение, действительно пока ничего не понимал, хотя начало рассказа этого—то ли чудака, то ли сумасшедшего—было заведомо интригующим.

— Вы мне, наверное, не поверите, да я и сам понятия не имею, как это получается,—столь же бессвязно и торопливо продолжал двойник,—однако путь, на который вы затратили более недели, я преодолел за считанные мгновенья…

С одной стороны, Хенкин сразу осознал абсурдность только что сказанного, а с другой… Слова подтверждались полнейшим сходством и тем, что «ковбой» сразу узнал его… Получалось, что его нелогичное появление на Эшере достаточно логично подтверждало только что сказанное?

Или же он, Хенкин, по пути на Эшер элементарно сошёл с ума—и сейчас у него просто галлюцинации?!..

—Я уже не первый раз путешествую подобным образом,—продолжал двойник уже спокойнее, видимо справившись с волнением.—Главное, что не нужно тратиться на билет, который мне всё равно не по карману.

—А почему именно на Эшер?—спросил Хенкин первое пришедшее в голову, ибо осознал, что, вопреки всему, начинает верить «ковбою».

—У меня на Земле никого нет…—«ковбой» замялся, и Хенкину показалось, что тот колеблется.—А здесь можно немного заработать…

—Ну, насчёт заработать…—Хенкин усмехнулся.—Наверное, это не самое перспективное место?

—Пожалуй… Но, чтобы устроиться на любой колонизированной планете, у меня нет ни направления с Земли, ни необходимых рекомендаций. Люди вроде бы нужны везде—но кому захочется иметь из-за меня неприятности с чиновниками?

—А почему именно Эшер?—повторил свой вопрос Хенкин.

—На Эшере, насколько я знаю, работают частные фирмы… Может, что и выгорит? В крайнем случае, переберусь подобным же образом на другую планету…

—А вы не пытались продемонстрировать свои способности «яйцеголовым», именующим себя учёными? Могли бы неплохо зарабо…

Хенкин осёкся и чуть не прикусил себе язык, ибо неожиданное озарение, словно вспышка молнии, мгновенно осветило иным светом всё сказанное и даже не договорённое Свифтом.

—Роль подопытного кролика не для меня,—сказал тот твёрдо.

Хенкин какое-то время шагал молча, но мозг его работал лихорадочно и, как всегда, с высочайшим напряжением. Через пару минут он уже вполне ясно представлял, что ему делать дальше.

—Вы мне нравитесь, мистер Свифт,—произнёс он дружелюбно.—Простите, но вы так полностью и не представились!

—Сэмюэль Свифт, моряк. Можно просто Сэм.

—Вы мне чертовски понравились, Сэм!—повторил Хенкин и дружески хлопнул Свифта по плечу.—И я как раз тот человек, который вам нужен. Завтра утром приходите в местное отделение компании «Круизкосмос» и только скажите, что вас пригласил сам Питер Хенкин,—больше ничего не нужно будет говорить. Я думаю, что смогу предложить вам нужную работу.

—Благодарю вас, сэр Питер!

—Не стоит благодарностей. Я же сказал, что вы, Сэм, мне понравились! Кстати, вы часто рассказываете посторонним эту свою фантастическую историю?

—Нет. Просто когда вас увидел, почему-то сразу подумал: «Сэм, этому человеку можно довериться—у него честная улыбка своего парня». Вообще-то раньше я пытался рассказать это нескольким людям—но почти все подумали, что у меня здесь не совсем в порядке…—он покрутил пальцем возле своего виска.

—Нет, нет, я вам верю, Сэм! А как происходит телепортация—без неприятных ощущений?

—Что происходит?..—не понял вопрос Свифт.

—Ну, мгновенные перемещения с планеты на планету. Случаются при этом какие-то неудобства?

—Это как сказать. На одной планете я очутился вместе с кактусом, растущим в бочке. Огромная такая колючка из холла… Администрация госпиталя, должно быть, до сих пор гадает, куда он исчез…—Сэм заразительно рассмеялся.

—А что с тем кактусом произошло потом?—заинтересовался Хенкин.

—Потом?.. Вышел из-за местных деревьев-«шаров» здоровенный такой хвостатый зверь с острым костяным рогом на носу—и съел несчастную колючку под самый корень. Растение, должно быть, пришлось ему по вкусу, потому что на меня гигант даже не обратил внимания.

—Всё это очень интересно, и завтра мы непременно продолжим разговор… Кстати, у вас есть какие-нибудь документы, чтобы устроиться в гостиницу?

—До завтра я где-нибудь пристроюсь…—ответил Сэм не очень уверенно.

—Понятно… Придётся взять опекунство над вами прямо сейчас!

В единственный на планете населённый пункт под названием Космос-сити, в котором и находился офис отделения фирмы, они прилетели на рейсовом аэре. Обстоятельства вынуждали Хенкина открыться, поэтому, войдя в приёмную, он сразу же представился секретарше:

—Я—заместитель генерального директора Питер Хенкин. Это ваш новый сотрудник Сэмюэль Свифт, и он прилетел со мной с Земли.

Уладив все формальности и лично устроив Сэма в гостиницу, Хенкин в своём номере зашифровал сообщение и запечатал его в специальный конверт для секретной почты. Вскрыть такой конверт можно было в определённой, известной только специалисту фирмы газовой среде—иначе письмо мгновенно превращалось в кучку пепла.

Вызвав курьера, он приказал срочно доставить конверт на «Геркулес», который отправлялся в обратный рейс на Луну уже через несколько часов.

Отправленная шифровка была следующего содержания: «Бобу Митчеллу. Срочно и сугубо конфиденциально. Соблюдая максимальную секретность, соберите все возможные данные о Сэмюэле Свифте, моряке. Фотография прилагается на копии гостиничного бланка. Документы у него

отсутствуют—вероятно, находится в розыске. Вылетайте на Эшер ближайшим рейсом, есть работа. Питер Хенкин».

В штате фирмы Митчелл числился главным специалистом отдела безопасности. Только несколько человек из руководства фирмы знали о его не афишируемой специализации: фирма иногда пользовалась его услугами в организации «несчастных случаев».

Очередной космолёт на Эшер прибывал с Луны только через три недели. До прибытия Митчелла «ковбоя» нельзя было упускать из виду, поэтому во все поездки по планете Хенкин брал его с собой в качестве сопровождающего—то есть как бы нештатного телохранителя. Вскоре он даже привязался к малоразговорчивому и очень покладистому Сэму. Но, вместе с тем, однажды мелькнувшая в его мозгу мысль засела там окончательно: «Сэма, по всей видимости, придётся ликвидировать».

Хенкин даже прикинул, что в случае крайней необходимости «несчастный случай» смог бы устроить и сам, причём без какого-либо личного риска. «Если возникнет необходимость ликвидировать,—уже не раз говорил он себе, с каким-то восторженным содроганием повторяя по слогам магическое слово «ли-кви-ди-ро-вать»,—я это сделаю, чёрт возьми!»

Да, Сэм представлял собой реальную угрозу не просто его будущему благополучию, но богатству и положению в обществе его детей, внуков, правнуков—всей будущей династии Хенкинов. Совсем не случайно неуклюжее титулование «сэр», то и дело срывавшееся с языка Сэма, растекалось по сердцу Хенкина сладким елеем, ведь не только деньги, но и титул, герб, знатность—все эти атрибуты избранности—давно не давали ему спокойно спать по ночам.

С юности он завидовал некоторым сверстникам—прыщавым потомкам дворянских родов, не приложившим со своей стороны даже малейшего усилия, а лишь волею судьбы получившим особое, данное одной лишь родословной право свысока смотреть на окружающих. Даже нищие, сидя на своём генеалогическом древе, они возвышались над многими богатыми, но «безродными». Со школы он ненавидел их, потому что сам не имел даже определённой национальности. Его генеалогия прослеживалась всего до четвёртого колена, так что прародителями являлись мелкий служащий неопределённой национальности Александр Хенкин и секретарь-машинистка той же фирмы, немка Кэтрин Хольман. Из всех известных предков только отец смог достигнуть сколько-нибудь высокого положения: он вошёл в состав совета директоров фирмы «Круизкосмос». Однако на это у Джона Хенкина ушло чересчур много сил и здоровья, что в конце концов и привело к преждевременной кончине. В наследство сыну он оставил солидный пакет акций фирмы и дурную наследственность в виде такого редкого психического заболевания, как клаустрофобия.

«Ну да ничего,—рассуждал Хенкин-младший,—карьера отца стала трамплином, а остального я добьюсь сам! В конце концов, титул и герб можно просто купить за хорошие деньги—так теперь поступают многие состоятельные люди. Можно купить даже родословную, ибо настоящая, как пресловутая ложка дёгтя, способна вечно портить моё будущее! Не такой уж это и обман: если разобраться, в корнях каждого землянина за тысячелетия появлялась хотя бы капля аристократической крови, просто не всем удалось официально это зарегистрировать…»

Невероятная способность Свифта перемещаться через умопомрачительные расстояния космоса пугала и в то же время неудержимо влекла Хенкина. Одно дело—угроза существованию фирмы, но, с другой стороны, может быть, и он, Хенкин, способен пересекать Галактику из конца в конец за считанные мгновения? И никакой клаустрофобии…

Никогда, никому и ни за что на свете он не признается, что двухнедельное заключение в металлическом саркофаге космолёта отняло у него, должно быть, несколько месяцев или даже лет жизни. Возможно, он и не в полной мере подвержен этой болезни, но одиночество в любом тесном замкнутом пространстве, будь то кабина лифта или салон автомобиля, даже элементарная ванная комната, подавляет его, выжимает, словно лимон.

Даже по этой причине постоянное присутствие рядом Сэма было не просто желательным, но и необходимым…

Во время ревизии склада Хенкин насчитал большое количество обслуживающих роботов: дворников, грузчиков, монтажников. Всё это было старьё и хлам, только занимающий место и дожидающийся отправки в плавильную печь. Большинство из них были даже не самообучающимися, а программировались на небольшое, ограниченное количество операций. От нечего делать Хенкин стал обучать Сэма обращению с ними. Что-что, а это он знал хорошо, ибо свою работу в фирме начинал именно программистом. Кроме вновь вспыхнувшей тяги к «железякам», у него был и другой интерес: можно было беседовать со Свифтом в спокойной и непринуждённой рабочей обстановке.

Хенкин давно убедился, что хорошего слушателя доводится встречать так же редко, как и истинно талантливого человека. Все хотят говорить и слушают только себя, вовсе не обращая внимания на высказывания собеседника. А если, в соответствии с занимаемым служебным положением, приходится выслушивать мнения и приказы других, то делается это с крайней неохотой.

В отличие от других, простодушный и, как ему представлялось, наивный Сэм буквально внимал всему, о чём заводил разговор Хенкин. И, казалось, на глазах «умнел». Мозг Свифта словно просыпался от какой-то длительной спячки…

Однако, несмотря на внешнюю простоватость Сэма, Хенкину так и не удалось вызвать его на откровенный разговор. Как говорится, на разговор по душам. Едва вопросы начинали касаться его прошлого, Свифт замыкался, начинал отвечать уклончиво, а то и просто отмалчивался. И чтобы окончательно не отпугнуть собеседника, Хенкин тут же менял тему беседы. Он рассчитывал, что с появлением Митчелла можно будет форсировать «дознание», не боясь внезапного исчезновения Свифта.

Перед сном, лёжа в постели, Хенкин анализировал каждую фразу, каждое слово «ковбоя»—и продумывал все, даже самые невероятные, версии. Исходя из каждой, он достраивал цепочку возможных событий. Зачастую решал предлагаемые самому себе задачи до глубокой ночи—и всё для того, чтобы отогнать еженощные, слишком близко подбирающиеся признаки выжидающей подходящего момента клаустрофобии.

Если постоянно думать об одном и том же, то привыкаешь к круговороту привычных мыслей—и они переходят словно бы на некий внешний ярус сознания, не мешая работать физически, или вести напряжённую беседу, или даже писать технический отчёт. Напряжённая работа мозга происходит где-то в подсознании: там пощёлкивает неутомимый счётчик сбора информации, в накопителе случайные слова складываются в конкретные значения, невероятные предположения перерастают в допущения, а сомнительные гипотезы превращаются в аксиомы. И однажды, как озарение, как голос невидимого оракула, прозвучит в мозгу удивительная по простоте мысль, диктующая великое открытие.

Именно такую мысль в конце концов озвучил напряжённо работавший много дней мозг Хенкина: «Да, Сэм может в любой момент выйти из-под контроля, он даже может на время исчезнуть и затеряться—но ликвидировать его нельзя ни в коем случае. Пусть его невероятная способность угрожает благополучию фирмы, но моя случайная встреча с Сэмом—это самая большая удача. Она сулит всё, что только можно пожелать! Или ничего, кроме разочарования…»

Бессонными вечерами он нанизывал всё новые мысли на стержень сформировавшейся идеи:

«Сэм утверждает, что посредник на другой планете должен вспомнить его как можно детальней… Но за то время, пока я оказался на Эшере, «ковбой» мог как-то измениться внешне и даже переместиться куда-нибудь, куда ему заблагорассудится… Посредник же может «перенести» его лишь таким, каким видел. Есть здесь противоречие или нет?..

Хорошо ещё, что я телепортировал его без колонны и информационного табло, как это получилось с кактусом! Рухнул бы при этом свод терминала или нет?.. Хотя про колонну в тот момент в космопорту Эшера я даже и не вспомнил! Если он перемещается в пространстве, то должен ли был пробить собой крышу здания?.. Ну, допустим, что он в это время находился на улице—но уж кактус-то непременно должен был расплющиться о потолок холла. Значит, происходит не прямой перенос, а что-то другое…

Что же получается: представь я одновременно с Сэмом весь космопорт—и он оказался бы здесь, на Эшере? Хотя значительно проще представить один лишь «Геркулес»… Раз—и он вместе с пассажирами на Эшере! Кто-то из представителей фирмы представил его на Пандоре—и космолёт уже там! Получается мгновенный перенос в любую точку Галактики, причём за соответствующую плату. Никаких накладных расходов! Бешеная прибыль—и практически никаких затрат!..»

«Но ведь скорость не может быть безграничной,—убеждал себя Хенкин-скептик,—это вроде бы доказано, проверено и перепроверено научно. Сэм признался, что не знает, как это у него получается. Действительно, ведь у него нет приборов, чтобы находить разветвления каналов нуль-переходов?.. Это значит, что он должен перемещаться по кратчайшему пути—то есть по прямой?

Но если при преодолении порога скорости света с атомов срывается оболочка, то невозможно даже представить, как потом из всей этой мешанины материализуется живой и невредимый Сэм. Значит, здесь что-то другое?.. Или само время в момент, когда происходит перемещение, течёт для Сэма с другой скоростью? Вернее, уже не течёт, а мчится…

А кстати, почему у всего потока времени должна быть постоянная, неизменная в течение миллионов лет и на всём пространстве Галактики скорость? Есть же, наверное, струи и побыстрее, и помедленнее?.. Кто её измерял, если и сравнивать-то не с чем?.. Даже для ограниченной группы людей скорость течения времени—это нечто усреднённое: один успевает сделать много—и быстро сгорает, другой за тот же промежуток делает значительно меньше—зато живёт долго. Получается, что в жизни всё как-то компенсируется, если, конечно, отпущено всем по одинаковой порции?..

С другой стороны, стандартные реакции мозга и тела, приобретённые за тысячелетия человечеством, и то у разных людей разные. Но их можно сравнивать, они видны, как говорится, невооружённым глазом и укладываются в наше восприятие и в наши понятия. А вот время и скорость его течения никак не укладываются в общепринятые стандарты—они как бы выпадают из рамок нашего осознания и нашего восприятия!..

Нет, это я повернул куда-то не туда! Надо вернуться к исходной мысли…»

Когда мысли путались или просто терялись, Хенкин закрывал глаза и начинал разматывать их в обратном порядке — чтобы вернуться к исходной.

«…Сэм попал на Эшер таким, каким я его увидел за несколько дней до этого в космопорту Луны. То есть на Эшер он попал из прошлого. Необъяснимый парадокс и, пожалуй, полный тупик для понимания! Но повторил ли он в точности мой путь, пересев как бы с простого экспресса на суперскоростной, или это была иная траектория? Раз неограниченная скорость невозможна, то, может быть, он перемещается вовсе не в пространстве, а только во времени?..

Стоп, в этом, кажется, что-то есть! Может ли время мгновенно сжаться? Вряд ли… А допустим, что я двигаюсь по дуге, а он — по хорде. Выигрыш налицо… Действительно, в нашем мире всё циклично: движение планет, даже наша спиралевидная Галактика, орбиты, времена года, круговорот воды и… моды.

Ну, насчёт моды — это глупость! Нужно вернуться назад.

Оптимальная форма цикличности — это окружность. Если время движется в пределах окружности, то расстояние от центра до любой внешней точки окружности есть величина постоянная…

В этом тоже что-то есть! Правда, окружность двухмерна. А что такое трёхмерная окружность? Это уже цилиндрической формы спираль. И тогда перескочить с витка на виток в определённый момент — это, как говорится, раз плюнуть!

Ай да Питер, ай да молодец — кажется, ты на верном пути!

А что может из себя представлять хотя бы четырёхмерная спираль — даже представить трудно…

Эврика! Если лет через тридцать меня вспомнят таким вот молодым и полным сил — я что же, начну полноценную жизнь сначала? Так это же секрет вечной молодости и вечной жизни!

Стоп, а куда при этом денется мой престарелый двойник?.. Но ведь и второго «ковбоя» на Земле или на Луне как будто бы не осталось? Это, кстати, сможет проверить Митчелл…

И если двойника не возникает — то цикличность вечной жизни определяется только здоровьем или каким-то иным пожеланием клиента. Дожил до дряхлости — и вместо предстоящей кремации возвращайся назад, в свой же здоровый организм! И вот тут уж никто из престарелых богачей скупиться не станет!..

Остаётся только запатентовать секрет «ковбоя», о котором знаем только мы с ним — то есть двое! Хотя это в экспериментах участвовать должны обязательно двое, а знать их конечную цель достаточно одному…»

По-существу, ненадуманных дел на Эшере у них было мало. Конкурентов по туризму Хенкин всерьёз не воспринимал — ибо все они, не выдержав конкуренции с фирмой «Круизкосмос», со временем вынуждены будут свернуть свою деятельность или просто влиться в её филиал на Эшере. Правда, надлежало посетить единственную пока обосновавшуюся здесь нефтедобывающую компанию. Фирма была частная, маленькая и внешне далеко не процветающая, но у неё был официальный патент на добычу нефти и полезных ископаемых. Похоже, что официальная вывеска скрывала какие-то незаконные контрабандные поставки. Что, куда и зачем — Хенкина, в общем-то, не интересовало, но он придерживался твёрдого убеждения, что «двоим медведям не ужиться в одной берлоге». В общем, предстояло ознакомиться и потом найти способ подрезать конкуренту когти.

В отделении имелся двухместный глаер, и Хенкин, который имел права на его вождение, отказался от пилота и взял с собой Сэма. Официально Свифт был оформлен вторым грузчиком при складе; тем не менее, частые его отсутствия на рабочем месте Хенкин согласовывал просто: «Раньше ведь обходились и одним рабочим? Считайте, что с прибытием Сэма ничего не изменилось!»

Пилот запустил двигатель, проверил показания приборов, и Хенкин со Свифтом заняли места в кабине. Глаер взмыл и в режиме автопилотирования помчался от Космос-сити на небольшой высоте. Хенкин оказался в этом секторе Эшера впервые, поэтому надеялся увидеть сверху хоть что-нибудь интересное и неожиданное. На незнакомых планетах всегда рассчитываешь встретить нечто необычное — именно это и влечёт на них туристов.

Но внизу всё так же простирался сплошной зелёный ковёр из крон лиственных деревьев — без малейших отличительных деталей и просветов. То ли поверхность планеты была исключительно ровной, то ли многоярусный лес надёжно скрывал все неровности рельефа, делая планету практически безликой. Непривычно близкий, без каких-либо ориентиров, горизонт смотрелся в любую сторону просто прямой линией, разделяющей синюю небесную и зелёную лесную краски.

— Пусто… — с сожалением констатировал Сэм, которому быстро надоело смотреть вниз, и он лениво откинулся на спинку сидения.

— Это только отсюда кажется, что пусто, — возразил Хенкин, — но мы даже представить себе не можем, что сейчас творится под пологом леса. Могу держать пари, что, потерпев аварию, мы не продержались бы против местных хищников и получаса. И это несмотря на то, что в моём бластере армейского образца сейчас полный заряд.

Наконец среди зелени вынырнула небольшая бетонная площадка, предназначенная для приёма

малотоннажных танкеров. Возле неё примостились три ёмкости, выкрашенные в ярко-красный цвет, а дальше виднелась выжженная в джунглях круглая поляна с возвышающейся на ней буровой установкой. Всё это было огорожено двумя высокими рядами колючей проволоки и проводами высокого напряжения. От установки к ёмкостям тянулась тонкая нитка трубопровода.

«Какое убожество!—невольно подумал Хенкин.—Как сто или даже двести лет тому назад».

Они опустились возле небольшого, собранного из бетонопластовых блоков дома. Едва глаер коснулся бетона, как из дома вышли двое—и направились в их сторону. Впереди шёл огненно-рыжий верзила в довольно модной, но исключительно грязной куртке. Позади него семенил давно не бритый субъект, одетый в мятую рубашку и потёртые штаны со следами засохшей грязи до самых колен. Его вытянутое унылое лицо выражало крайнюю степень безразличия не только к собственному внешнему виду, но и ко всему окружающему миру.

Верзила вплотную подошёл к автоматически открывшейся двери, через неё внимательно и хмуро оглядел Хенкина, потом мельком взглянул на Сэма и спросил с явным вызовом:

— Какого чёрта вам здесь нужно?

— Нам нужен управляющий,—едва сдерживаясь от такой бесцеремонности, но внешне достаточно спокойно ответил Хенкин.

— Он там, на буровой,—рыжий махнул неопределённо рукой и снова уставился на Хенкина. Выждав немного и уяснив, что прилетевшие покидать глаер не торопятся, добавил:—Ну так выметайтесь побыстрее из глаера, пока целы, а то мы с другом спешим!

— Куда же, если не секрет?—спросил Хенкин, чувствуя, как всё в нём закипает от подобной наглости.

— Куда, куда… В Космос-сити, вот куда!—рявкнул рыжий, явно издеваясь.

— А позвольте поинтересоваться,—проговорил взбешённый Хенкин медленно, едва ли не по слогам,—зачем именно вам двоим, и почему непременно на нашем глаере, да ещё так срочно, туда нужно попасть?

— Это уж не твоего ума дело!—отрезал рыжий и оглянулся на нерешительно топтавшегося позади «унылого».—Скажем так: нам с Диком срочно потребовалось к девочкам… Доволен?!

— На этом глаере мы прилетели по нашему делу и на нём же улетим обратно,—твёрдо проговорил Хенкин и тоже покосился—на молчавшего всё это время Сэма.

— Эй, приятель, закрой рот—это помогает сохранить зубы!—неожиданно подал голос и «унылый».

— Вас что, вытаскивать оттуда придётся, или всё-таки сами уберётесь?—взорвался верзила и пригнулся с явным намереньем протиснуться внутрь.

В этот момент Сэм решительно поднялся со своего места и, оттеснив рыжего, очутился перед ним на бетоне. Тот с высоты своего двухметрового роста смерил Сэма презрительным взглядом и небрежным движением руки отодвинул в сторону.

Сэм поймал было верзилу за рукав куртки, но тут же получил резкий удар ногой в пах—и рухнул на бетон.

«Кажется, приёмчик из японской борьбы каратэ?—отметил про себя Хенкин, медленно опуская руку к кобуре бластера, и, нащупав торчащую из кобуры рукоятку бластера, сдвинул рычажок предохранителя.—Сэму этот гигант явно не по силам».

Рыжий тем временем лениво наблюдал, как Свифт поднимается на ноги. Выждав, когда Сэм снова двинулся на него, нанёс молниеносный удар ребром ладони.

Если бы Сем каким-то чудом не уклонился, этот удар поставил бы окончательную точку в их неравном поединке—а так он просто снова оказался распластанным на бетоне.

На этот раз верзила даже не стал ждать, пока Сэм поднимется, а, вытащив из кармана выкидной нож, сам решительно двинулся к поверженному.

«Пропал Сэм»,—подумал Хенкин, лихорадочно соображая, пора приводить в действие бластер или всё-таки повременить: ведь вряд ли рыжий решится пускать в дело свой нож. Тем не менее, он отстегнул ремень безопасности и, вытащив бластер, передвинулся ближе к проёму. Прикинув, что сектор для стрельбы вполне достаточен, мысленно наметил траекторию предупредительного выстрела.

…И тут в правой руке Сэма непонятным образом очутилась крепкая палка, которая, по-видимому, валялась тут же, на бетоне. Молниеносно вскочив, тот сделал резкий встречный выпад—и верзила вдруг перегнулся пополам. Второй укол, внешне не очень сильный, последовал в шею—и рыжий рухнул на колени. В следующий миг палка, со свистом описав прозрачную полуокружность, хлёстко ударила по ногам «унылого», заставив и его с воплем опуститься на бетон.

Всё это заняло лишь несколько коротких секунд. Замерев в довольно нелепой позе в проёме дверцы, Хенкин ошалело глядел то на нечленораздельно хрипящего рыжего, то на катающегося по бетону с перекошенным лицом длиннолицего, то на всё ещё сжимающего в руке палку Сэма.

Ещё раз окинув взглядом поверженных противников, Свифт вернулся в своё кресло и спокойно, будто ничего не произошло, предложил:

— Думаю, что нужно перелететь к буровой, а то кто знает: не попробуют ли они повторить попытку?

— А вы, Сэмюэль Свифт, оказывается, очень даже можете постоять за себя,—с удивлением и даже ноткой почтительности проговорил Хенкин.

— Это единственное, чему я добросовестно учился,— Сэм усмехнулся, но не очень весело,— причём экзамен принимала сама жизнь. А что означает получить у неё отрицательный балл, вы и сами прекрасно знаете…

На обратном пути, подняв глаер высоко над зелёной бескрайностью джунглей, Хенкин посчитал, что удобный момент наступил, и спросил напрямую у дремлющего, как ему показалось, Сэма:
— Сэм, скажите честно, там, на Земле, вы не в ладу с законом?
— С чего вы это взяли, сэр?— сразу встрепенулся тот.
— Во-первых, отсутствие документов… Во-вторых, желание убраться подальше от Земли.
— Как говорится, разбитому паруснику любой ветер попутный,— опять ушёл от прямого ответа Сэм.
— И всё-таки…
— Нет, думаю, что земные законы я не переступал…— Сэм замялся.— Но у меня к вам тогда тоже вопрос, если позволите.
— Да, спрашивай всё, что тебя интересует!

Хенкин, настраиваясь на какой-нибудь непростой и каверзный вопрос, даже не заметил, что говорит Сэму «ты».
— Вы действительно выстрелили бы в того рыжего?..
— Конечно!— ответил Хенкин, не задумываясь.— Во-первых, это самое настоящее отребье. Ты же сам видел, что оба были крепко пьяны. Во-вторых, перед законом я ничем не рисковал. Ну, заплатил бы, в случае его смерти, компенсацию плюс неустойку фирме— и полюбовное разрешение этого инцидента не распространилось бы за пределы Эшера. Доводить дело до Кобза просто не в их интересах…
— До Кобза?— переспросил Сэм.— Это что за организация?
— Комитет по безопасности Земли…— пояснил Хенкин, крайне озадаченный такой неосведомлённостью Сэма.— Но насчет Кобза я, пожалуй, даже перегнул.
— А если бы дошло… до них?
— Эту шваль, что к нам прицепилась, наверняка нанимали в Четвёртом секторе. Кобз, конечно, вправе вмешиваться везде и во всё, но в бандитском Четвёртом секторе даже он пока далеко не всеведущ. Я уверен, что всё обошлось бы!
— И поэтому вы считаете, что вправе посягнуть на человеческую жизнь?
— Мне ничего другого не оставалось, как защищаться. Хотя бы с помощью оружия… И, кроме того, жизнь жизни рознь!
— Но ведь рыжий не собирался нас убивать, ему нужен был всего лишь глаер,— возразил Сэм.— Назначенная вами цена за глупость в данном случае несоизмерима с его проступком…
— А тебе самому, Сэм, приходилось убивать людей?
— Да, но я был военным— это было моей профессией.
— И какие чувства ты испытывал при этом?
— Как будто каждый раз убивал частичку себя!
— У тебя, Сэм, оказывается, своя собственная шкала ценности жизней?— Хенкин удивлённо оглядел Свифта, словно увидел его впервые.— Может, существует и своя философия?
— У меня пока нет здесь своей философии,— Сэм ткнул пальцем в собственный лоб,— поэтому я пользуюсь чужой и наиболее приемлемой. Да, мне приходилось лишать жизни других людей; более того, всего три месяца назад я рассуждал, пожалуй, точно так же, как и вы, сэр…
— За три месяца так много изменилось в твоём мировоззрении?— искренне удивился Хенкин.— По-моему, так быстро подобное не происходит!
— С тех пор я как бы прозрел… Есть старая английская поговорка: «Путешествие делает умных умнее, а глупых— глупее».
— А может, появился некий мудрый учитель?— спросил Хенкин с издевкой.— Я имею в виду— «мудрый» в кавычках. Какой-нибудь пацифист и демократ или, того хуже, убеждённый левый социалист? Я угадал?..
— Да, пожалуй…
— Догадаться вовсе не трудно. Мне кажется, что таких, как ты, Сэм, можно убедить в чём угодно. И, кроме того, я насмотрелся на подобных учителей— ловцов простых душ!
— Вы называете их учителями, сэр, однако не соглашаетесь с ними?..
— Это не мои учителя, скорее наоборот… Чтобы выжить в наше время в коммерции, нужно хорошо знать идеологию принципиальных врагов.
— Кого вы подразумеваете под врагами?— удивлённо спросил Сэм.— Ведь войн на Земле сейчас нет…
— Главная и самая беспощадная в истории война давно вышла за пределы Земли, и она никогда не кончалась,— это война мировоззрений,— любивший поговорить на эту тему Хенкин сел на своего конька.— Длительное время частный капитал был самым могущественным фактором экономического развития человеческой цивилизации, но мы— я говорю «мы» потому, что считаю себя принадлежащим к этой могущественной касте,— мы перегрызли друг другу горло.
— Как правило, такое случается при отсутствии единоначалия…— не то спросил, не то констатировал Сэм.
— Слишком много деятельных богатых людей посчитали себя ещё и политическими лидерами— поэтому, как следствие, забыли о своём главном предназначении. К сожалению, среди них так и не оказалось ни одного стоящего лидера, ни одного, как говорится, сверхчеловека…

— Теперь надеетесь на второе пришествие, на нового мессию? — спросил, как показалось Хенкину, с издёвкой Сэм.

Хенкин на этот прямой вопрос отвечать не стал, только покосился на Сэма, в очередной раз удивляясь, что за внешней его простоватостью скрывается достаточно живой и проницательный ум.

«Скорее всего, Сэм абсолютно не улавливает нить рассуждений, а так, случайно, попал в тон», — успокоил он себя. Тем не менее, уязвлённое самолюбие потребовало достойного ответного выпада.

— Вот, к примеру, взять тебя, Сэм, — Хенкин сознательно «приземлил» тему разговора. — Прости меня за прямоту, но ведь ты не живёшь, а просто существуешь. То есть работаешь лишь для того, чтобы иметь возможность потреблять. Из этих двух действий состоит вся твоя жизнь, и я даже подозреваю, что в этом и заключается вся твоя философия. Не обижайся, но таких, как ты, подавляющее большинство! А в человеческой жизни непременно должен присутствовать некий высший смысл.

— Допустим, я с удовольствием выполняю нужную людям работу… — Сэм замялся. — Разве не может именно в этом заключаться смысл моей жизни?

— Но ведь не ради же одной лишь работы нужно жить? — снова «завёлся» Хенкин. — Я считаю, что каждому нужно как можно раньше понять, для чего мы рождены и для чего предназначены! Какой-то писатель написал: «Человек — это звучит гордо!» Ерунда, не может каждый человек гордо звучать — это опять будет однородная, то есть гордо-безликая масса! Лично для меня более приемлем такой лозунг: «Питер Хенкин — это имя должно звучать громко!»

— Вы вольны избрать любой девиз.

— А для тебя, соответственно: «Сэмюэль Свифт — это гордо!» А на остальное человечество нам обоим, если честно, абсолютно наплевать. Пусть в безликом человеческом океане каждый выплывает как может! Слабым же остаётся просто смириться со своей незавидной участью стадного животного. Разговоры о равноправии — это удел тех, кто остался за дверью.

— С этим можно поспорить… — не очень решительно возразил Сэм.

— Ну так спорь, чёрт возьми! — Хенкин даже разозлился. — Человек интересен, если у него своя, отличная от других философия. Причём плохой жизненной философии не бывает! Пусть я нехороший человек по меркам этого твоего учителя, но я такой нужен — потому что иначе не с кем будет сравнивать, не к кому будет примерять свои мысли и поступки.

— Пример для подражания всегда выбирается из сравнения…

— Ты, Сэм, пока не годишься для сравнения ни с той, ни с этой стороны. Ты где-то посредине, в огромной массе конформистов, плывущих по течению! И люди всегда делились на хороших и плохих, причём эти понятия зачастую мгновенно меняли свою оценку на противоположную. Если сейчас ты считаешь меня как бы антиэталоном — всё равно я горжусь этим! Так называемых «плохих» людей всегда меньше, но зато они всегда лучше организованы, потому что они вне массы. Может, они и являются как раз человеческой элитой, главной движущей силой прогресса?..

— Но сейчас численно ваших «противников» всё-таки больше, — возразил Свифт уже более уверенно.

— Ну и что? Нас меньше, но мы при этом уравновешиваем бóльшую по численности армию противников. Есть повод гордиться!

— Я думаю, что в перевесе приверженцев хоть религии, хоть идеи и состоит логика развития человечества. Правда всегда остаётся за большинством. Вам не кажется, сэр, что вы делаете неверную ставку?

— Насколько плохо, Сэм, ты разбираешься в технике и современной жизни — настолько хорошо поднаторел в политэкономии, — Хенкин даже рассмеялся, вдруг осознав, что всерьёз спорит со своим оппонентом. — Отсутствие технических знаний не отягощает работу твоего мозга, не так ли?

— Я повторяю, что это чужие мысли. Нечестно присваивать их даже для того, чтобы услышать похвалу.

— Но есть же у тебя, Сэм, какие-то собственные мысли? — спросил Хенкин уже совсем спокойно.

— Пройденные мили считают в гавани… Это морская пословица. А я в свою гавань ещё не пришёл.

— Конечно, в словах твоего учителя есть зёрна истины, — примирительно продолжил Хенкин, — он прав, что в идеологической борьбе частный капитал, как это ни печально, всё больше и больше проигрывает. Но ведь был же именно частный капитал когда-то силён и сверхбогат! И всего-то надо было смотреть в будущее, а не жить меркантильным накоплением. Просто надо было потратить часть своего богатства — и дать своим идеологическим противникам всё: пищу, развлечения, женщин. Мы понадеялись на свою политическую силу, но закрепить окончательную победу должно было всё-таки богатство…

— Я думаю, что вы всё-таки ошибаетесь, сэр, — возразил Сэм. — Даже много веков тому назад богатство не могло решать всё.

— Ты хочешь сказать, Сэм, что разжиревшие рабы всё равно захотели бы стать господами?

— Даже не это. Человеческая гордость…

— Гордость?.. — не дал договорить Сэму Хенкин. — Да у них не осталось бы на неё времени! Живи — и радуйся! Им, в конце концов, вообще ничего не пришлось бы делать! Прошло совсем немного времени, и сейчас практически всё за человека могут делать машины…

— Я думаю, человек не сможет жить, ничего не созидая. Быть бездельником для него унизительно.

— Бездельников, поверь мне, всегда хватало,— констатировал Хенкин с раздражением.— А что до унижения, так в Четвёртом секторе деньги до сих пор являются главной властью. Тем не менее, «униженные» этим простые рабочие и служащие не торопятся перебираться в государственный сектор. Зато какое потрясающее чувство — ощущать себя капиталистом и господином! Если бы ты, Сэм, смог это испытать на себе, то заговорил бы по-другому!
— Абсолютная власть при помощи денег — это иллюзия,— упрямо возразил Сэм.
— И тем не менее, раньше при помощи денег можно было сделать всё: купить с потрохами, подкупить, заплатить, на худой конец, наёмному убийце. При этом богатый человек практически не рисковал ничем. Кроме денег, конечно…
— Вы хотели бы жить в прошлом? — задал Сэм неожиданный вопрос.
— Конечно! — не задумываясь, ответил Хенкин.— Там всё было ясно и понятно. Думаешь, почему я мотаюсь по Эшеру? Ты представить не можешь, со скольких планет уже вытеснили нашу фирму,— Хенкин даже не заметил, что заговорил слишком откровенно.— Госсектор, естественно, платит некую компенсацию — и требует немедленно освободить территорию. Мы, видишь ли, путаемся у них под ногами. Фирма, в руках которой были сосредоточены туристические маршруты едва ли не всего исследованного космоса, теперь «путается у них под ногами»!.. Знаешь, зачем я сюда прилетел? Выяснить, насколько планета Эшер неперспективна для человечества. Заметь, с некоторого времени нам нужны только неперспективные с точки зрения государства планеты! Ну, не абсолютно, конечно…
— Космос-сити на горизонте! — перебил его Сэм с заметной радостью в голосе.
— Жаль, что так быстро прилетели,— с сожалением произнёс Хенкин.— Ты, Сэм, достаточно интересный собеседник. Я так понимаю, что тема эта для тебя не нова?
— Вообще-то за этот месяц вы, сэр, уже второй человек, который говорит мне о смысле жизни. Слова как будто одни — а подразумевается при этом прямо противоположное…

И тут счётчик информации в голове Хенкина в очередной раз щёлкнул, сформировав новую неожиданную идею, заставившую его на некоторое время замолчать и напрячь мозги…

«Интересно получается,— думал Хенкин.— Наш поступок — например, сегодняшняя потасовка — остался в прошлом, а его следствие проявится уже в будущем… То есть время как бы течёт в двух противоположных направлениях. Как это можно представить пространственно? Витки временно́й спирали проходят очень близко друг от друга — и, как в водном потоке, происходит касание и даже частичный захват настоящего витка прошлым и будущим?..»

У него даже дыхание перехватило от близости какого-то очень важного умозаключения, от предчувствия близкой разгадки.

«…Сэм утверждает, что для него любое расстояние не являлось помехой. И похоже, никакой промежуток времени?.. Кроме того, при перемещении он может прихватывать с собой предметы, как это произошло с кактусом!..»

Хенкин представил себя в прошлом с современными технологиями, с роботами и «Геркулесами», и у него даже мурашки по спине побежали.

«Уж с этой-то техникой я смог бы взять власть на Земле в свои руки! Но самое главное — у меня было бы то, чего не было ни у кого: знание пути развития общества и мировой экономики. Я знал бы ошибки и достижения последнего полувека. Чего не смогли добиться в своё время политики от бизнеса, наверняка добился бы я, Хенкин! Пусть в прошлом, но я смог бы стать вершителем судьбы всего мира…

Да, в настоящее время стать диктатором невозможно, а вот в прошлом! И нужно-то всего лишь научиться пользоваться невероятными способностями Сэма. Вот только неясно, сколько на всё это уйдёт времени…»

Но червячок скептицизма и трезвый рассудок, словно команда бдительных пожарных, попытались остудить опалённый необузданными мечтами разум:

«А может быть, и без этого вернутся прекрасные старые времена?! Если витки временно́й спирали практически параллельны и оказывают влияние друг на друга — значит, и этапы развития цивилизации через определённые промежутки времени повторяются, только на более высоком уровне. Ведь вся история второго тысячелетия служит тому подтверждением…»

И стоит только продержаться какое-то время, и тогда — пусть не ему, так его детям,— удастся крепко намотать на руку этот единственный вихор удачи! Или всё же именно ему, Хенкину, суждено нарушить периодичность событий и круто изменить всю историю человечества? Может, время уже возложило на него эту миссию, устроив неслучайную встречу с «ковбоем»?..

А ведь он думал уничтожить Сэма, как угрозу собственному благополучию… Смешно!

Хенкин вспомнил вдруг часто повторяемую боссом шутку: «Ещё вчера сегодня было завтра»,— и впервые подумал, что она вовсе не глупа.

Глава 2. Чрезвычайное происшествие на Эшере

Главная интрига человеческой жизни в том, наверное, и заключается, что судьба наша непредсказуема. Пусть сегодня ты никто — без денег, без влиятельных друзей, без перспектив, но завтра —

кто знает? Может, выиграешь в лотерею миллион или найдёшь старинный клад, спасёшь тонущего миллионера или попадёшься на глаза знаменитому кинорежиссёру, сделаешь случайно научное открытие или на пустом месте начнёшь прибыльный бизнес… Вариантов бесчисленное множество, и у случая много всяческих уловок, чтобы разнообразить жизнь. Причём как в лучшую, так и в худшую сторону.

И никакие гороскопы, никакие маги и ясновидящие не могут с уверенностью предсказать твою судьбу на мало-мальски длительный период! В случае, когда что-то хотя бы частично сбывается, будут утверждать, что астрология и магия — это точные науки. А в случае неудачного предсказания всегда найдут оправдание: мол, новая звезда неожиданно возникла на твоём небосклоне и внесла непредсказуемые коррективы…

Встречать Митчелла Хенкин предполагал на глаере и, конечно же, без Сэма — тому лучше пока не знать о прибытии «инспектора». Он уже убедился, что Сэм не такой простак, каким кажется на первый взгляд.

Хенкин, правда, засомневался было, что появление на космодроме его, заместителя директора, явится нарушением субординации,— однако жажда новой информации и неизбежное, достаточно долгое ожидание Митчелла в номере гостиницы уже заранее тяготили. Поразмыслив, он решил, что нарушение «табели о рангах» — это не такая уж большая беда, ведь среди сотрудников фирмы он слывёт «демократом» и «своим парнем».

Но утром он опять изменил своё решение, ибо даже кратковременное одиночество в кабине глаера сегодня почему-то особенно пугало. Скорее всего, подкрадывался очередной приступ проклятой клаустрофобии. А может быть, в таком виде выразилась реакция на более чем двухнедельное вынужденное если не абсолютное безделье, то всё равно фактическое ничегонеделанье? Всё, что он совершил на Эшере за это время, Хенкин настоящей работой не считал…

Ещё в первое посещение склада он обратил внимание на стоящий в ангаре старинный автомобиль-вездеход. Этот железный гигантский «монстр» был, вдобавок ко всему, ещё и с ручным управлением. Выяснилось, что он в своё время был доставлен на Эшер управляющим отделения Люком Спенсером, который в свободное время совершал на нём прогулки по окрестностям. Хенкина это не особо удивило, ибо за свою, пусть и не очень длинную, жизнь он встречал и более странные увлечения. Пристрастие людей к старым вещам всегда забавляло его.

Для некоторых какая-нибудь старинная, бабушкиных времён, безделушка представляла бóльшую ценность, чем, например, стереовизор последней модной модели. А с другой стороны, старые вещи как бы символизируют постоянство: ведь, в отличие от большинства предметов, постоянно совершенствующихся и меняющих свой облик, они неизменны. Для кого-то обладание такими вещами — это, скорее, даже не тоска по прошлому, а боязнь будущего и его неопределённости. Кроме того, в пользовании вещами «ретро» существует своя прелесть: будто детская игрушка в руках взрослого человека, за которой выплывают из памяти забытые карусели, русские горки… Старые вещи тем, наверное, и привлекательны, что дарят иллюзию превосходства над сложным и переменчивым миром вещей…

Вот в этом-то вездеходе Хенкин и решил отправиться за Митчеллом, тем более что без каких-либо лишних объяснений водителем можно было взять самого управляющего, Люка Спенсера.

На космодром они приехали, когда громада «Геркулеса» уже величественно возвышалась над зданием космопорта. Макробус высаживал возле зала ожидания первую партию пассажиров. Митчелла среди них не было… Хенкин показал управляющему рукой: к космолёту!

Главный специалист отдела безопасности Митчелл явно не ожидал такого внимания к своей особе. Он суетливо затолкал большой плоский чемодан в люк огромного багажника и вытер клетчатым платком вспотевшую лысину.

«Что, старина Боб, моя улыбка для тебя пострашнее дула бластера?» — с некоторым даже злорадством подумал Хенкин и тут же решил, что важный разговор нужно начать прямо здесь, не откладывая. Конечно, один из кабинетов в здании отделения был специально экранирован от любого подслушивания, но кто знает, не удумал ли Спенсер установить там какое-нибудь хитрое записывающее устройство, чтобы иметь в своём архиве копии всех секретных разговоров? Кроме того, в такую тёплую и солнечную погоду даже мысль о помещении, напичканном — в духе Спенсера — коврами и мягкой мебелью, вызывала лёгкую тошноту. Проще было поговорить с Митчеллом где-нибудь здесь — без риска быть подслушанными.

Хенкин огляделся по сторонам и дал указание ехать вдоль края бетонной площадки космодрома — в направлении виднеющейся невдалеке кромки леса.

Тропические заросли, внешне чем-то даже похожие на земные, безуспешно пытались отвоевать хотя бы часть захваченной людьми территории: навалившись на высокую изгородь из колючей проволоки, они местами нависали над ней наклонной зелёной стеной. При этом их корни и нижние ветви, казалось, вцепились в край выступающего за изгородь бетона мёртвой хваткой, а толстые, похожие на зелёных змей лианы продвинулись

в этом яростном порыве ещё дальше, нашаривая малейшие просветы в сетке и неровности в плитах.

Хенкин невольно представил, что будет, если бетон сдастся и позволит себе дать хотя бы маленькую трещинку. Устойчивое равновесие тут же нарушится—и джунгли просто взломают край бетонного поля.

«А ведь Свифт—это тоже трещина,—нашёл он неожиданное сходство.—Пока что маленькая, малозаметная, но кто знает?..»

На углу бетонного поля он дал знак остановить вездеход и предложил Митчеллу пройтись. Спенсер тоже выбрался из кабины наружу и стал тщательно осматривать своего «динозавра», любовно поглаживая каждую его деталь. Похоже, это было одним из любимых его занятий…

В сотне шагов от вездехода Хенкин остановился. Дующий со стороны вездехода лёгкий ветерок наверняка отнесёт слова—поэтому можно разговаривать, не понижая голоса и не опасаясь чутких ушей управляющего. Хотя, может, он и не прислушивается вовсе, а всецело занят своим делом?

—Тут такая история, старина Боб,—начал сразу с главного Хенкин.—На Эшере есть человек, само существование которого угрожает будущему нашей фирмы. Вы-то, надеюсь, заинтересованы в её процветании?

—Конечно, шеф! Нет человека преданнее делу и вам лично…

Но Хенкин, не дав тому договорить, продолжил:

—С другой стороны, он может принести фирме неоценимую услугу. Я не буду пока вдаваться в подробности, просто мне нужен полный контроль над этим человеком, над каждым его шагом. Но такой, чтобы он об этом не догадывался.

—Конечно, шеф! Существует много способов…

Внезапно боковым зрением Хенкин заметил какое-то движение на границе крон зелёных деревьев. Он резко обернулся—и увидел, как длинное иссиня-чёрное животное, пронзив зелёную стену листвы, мягко спрыгнуло вниз. Едва коснувшись бетона всеми четырьмя лапами, оно пружинисто присело—и метнулось в сторону вездехода.

Заметивший опасность Спенсер вскинул было руки, тщетно пытаясь защититься,—но мягко и вроде как невесомо опустившийся сверху хищник легко сбил его с ног. Донёсся вопль боли и ужаса, тут же оборвавшийся на высокой ноте.

А стремительный, похожий на большую чёрную кошку хищник, оставив на бетоне растерзанную жертву, метнулся, словно молния, уже в их сторону. Всего лишь в два прыжка он перекрыл треть разделявшего их расстояния…

Хенкин как заворожённый следил за сжимающимся и распрямляющимся, словно пружина, чёрным телом, за горящими зелёными искрами глазами, за торчащими из пасти белыми изогнутыми клыками… Ужас сковал его волю и разум, наполнив до краёв одним лишь страхом предстоящей боли. Он словно растворился в этом страхе—и не чувствовал не только своих ног, но и всего тела. Даже мысли, казалось, замерли внутри него…

Падая, Хенкин воспринял не столько разумом, сколько рефлекторно, что это Митчелл сильным ударом сбил его с ног.

Потом Хенкин потерял сознание и уже не видел, как Митчелл упал на него сверху, закрывая от приближающихся длинных изогнутых когтей. А луч вскинутого бластера встретил «кошку» в воздухе, но лишь вскользь зацепил её переднюю лапу и оставил дымящуюся подпалину на боку. Хищник же успел всё-таки среагировать на бластер: он выгнулся невероятным образом и перелетел через таящих непонятную опасность людей.

Когда же Митчелл опомнился и снова поднял бластер—лишь длинный чёрный силуэт мелькнул среди ветвей склонившегося на защитную сетку дерева…

В девять часов утра Митчелл, по приглашению Хенкина, вошёл в его кабинет. Тот, в строгом костюме, но закутанный в тёплый плед, сидел в мягком кресле и пил принесённый секретаршей кофе. Митчелл отметил про себя, что шеф уже вполне оправился от вчерашнего, раз с утра приступил к работе.

На самом деле Хенкин мало что помнил, и всё произошедшее казалось ему теперь просто приснившимся кошмарным сном. Он даже чувствовал себя немного героем: теперь будет что рассказать о своей командировке в кругу сослуживцев на Земле. Жаль, конечно, беднягу управляющего, но ведь на его месте запросто мог оказаться и Митчелл, и он—Хенкин. Это судьба…

—Итак, старина Боб,—начал он бодрым голосом,—продолжим наш вчерашний, прерванный «кошкой» разговор. Вы что-нибудь выяснили о человеке, указанном в моей шифровке?

—Абсолютно ничего, шеф,—Митчелл вытер платком свою разом вспотевшую лысину.—Я использовал все мои официальные и неофициальные связи. Такое ощущение, что Сэмюэля Свифта не существует… Во всяком случае, у него должна быть другая фамилия, и, возможно, он сделал пластическую операцию.

—Тогда слушайте меня очень внимательно, а потом скажете свои предложения. То, что этот человек крайне опасен, вы уже поняли из моей шифровки. Я предпринял всё, что было в моих силах: помог ему устроиться рабочим в наше отделение на Эшере, сделал так, что о его присутствии здесь практически никто не знает. Дело в том, что этот человек может перемещаться с планеты на планету безо всяких космолётов—стоит там кому-то другому представить его в мельчайших деталях. Это не вызывает сомнения, потому что

лично я перенёс его с Луны на Эшер. Мне-то вы, надеюсь, верите, Боб?..
— Конечно, шеф, как самому себе. Даже больше…
— Так вот, теперь об этом феномене знают только два человека: вы и я. Надеюсь, вы меня правильно поняли, Боб?
— Понял, шеф: только вы и я.
— И меня интересуют два вопроса. Первый: является ли Свифт единственным феноменом, так сказать, новым мутантом? Второй: способны ли на подобную телепортацию и другие люди, просто доселе не подозревавшие о такой возможности? В любом случае Свифт представляет смертельную угрозу нашей фирме, особенно если им заинтересуются «яйцеголовые» из Лиги учёных. Надеюсь, Боб, вам это тоже ясно?
— Да, конечно… В общем-то, угроза…— смешавшись, Митчелл замолк.
— Я не решился сам экспериментировать со Свифтом,— продолжил Хенкин.— Просто не хотел рисковать: вдруг он каким-то образом выйдет из-под контроля?.. Ведь если Сэм исчезнет — найти его будет совсем не просто. Всё это время я контролировал каждый его шаг: устроил без документов на работу, вошёл в доверие. Скажу больше, мы за это время даже стали как бы друзьями, так что бежать ему с Эшера пока просто не было смысла…

Хенкин, хотя и произнёс слово «друзьями» иронично, вдруг осознал, что здесь, на Эшере, простодушный Сэм и на самом деле является самым близким ему человеком. Он — единственный из всех окружающих людей, не ищущий в их отношениях корысти, не имеющий каких-то своих меркантильных интересов. Он просто принимает его, Хенкина, таким как есть.
— Вам решать, шеф!— Митчелл снова вытер потеющую лысину своим клетчатым платком.— Даже если скажете, что Свифта нужно убрать,— я тут же уберу. Иногда чем раньше это сделаешь — тем лучше. Контроль над ним я тоже могу обеспечить.
— Вот об этом, пожалуйста, поподробнее.
— Можете, например, подарить ему авторучку. В случае необходимости по всем каналам связи передаётся определённый сигнал — и Свифт исчезает, превратившись в облачко пара. Ну а если боитесь, что он может потерять «дружеский» подарок, можно вставить в зуб маленькую такую пломбу. Определённый сигнал — и порция смертельного яда впрыскивается в рот. Правда, от сигнала можно экранироваться… Тогда можно установить таймер на неделю или на месяц — и не забывать периодически обнулять срок впрыска яда. Как только вышел из-под контроля — таймер начинает отсчитывать оставшиеся дни жизни…
— Я всё понял,— перебил Хенкин.— Пломба с часовым механизмом, пожалуй, подойдёт.
— Признайтесь честно, шеф,— осторожно начал Митчелл, вытирая в очередной раз платком лысину,— чем он вам помешал? Просто в таких противозаконных вещах я предпочитаю иметь полную информацию, чтобы не допустить даже малейшей промашки. Поймите меня правильно… Я, конечно, очень внимательно вас выслушал, но рассказ как-то уж очень смахивает на сказку. Может быть, замешана женщина?
— Уверяю тебя, Боб, я рассказал чистейшую правду! Хотя, знаешь ли, мне и самому иногда чудится здесь какой-то скрытый подвох,— Хенкин привстал от волнения,— поэтому я и вызвал тебя! Чтобы не оставалось на этот счёт никаких сомнений, давай прямо сейчас и проведём эксперимент с телепортацией. Вот только не знаю, должен ли и он в этот момент думать о том месте, куда собирается попасть. На всякий случай я свяжусь с ним. Сэм должен в это время находиться у себя на складе…

По внутреннему селектору Хенкин набрал код склада.
— Хэлло, дружище Сэм! Ты мне срочно нужен, так что попробуй ещё раз воспользоваться своими способностями,— он широко улыбнулся возникшему на экране в своём неизменном «ковбойском» наряде Свифту.— Ты, конечно, понял, что я имею в виду?! Итак, прямо сейчас я жду тебя в кабинете.

Хенкин отключил экран видеофона и снова обратился к Митчеллу:
— Сейчас я воспроизведу в своём мозгу его, так сказать, фото — и он возникнет в этой комнате из ничего, как привидение. Тогда, надеюсь, ты поверишь каждому сказанному мной слову.

Хенкин закрыл глаза и стал вспоминать каждую деталь облика Свифта: немного тяжеловатый подбородок, глубоко посаженные голубые глаза, неизменная ковбойская шляпа и кожаная куртка…

Он несколько раз пытался завершить общий облик, но так до конца и не мог сосредоточиться, ибо едва начинал дополнять портрет второстепенными деталями, как образ распадался — и вместо него возникала оскаленная клыкастая морда зверя. Эти несколько секунд вчерашнего кровавого пиршества со всеми его ужасающими подробностями раз за разом возникали перед глазами. Хенкин поморщился, отгоняя навязчивое видение, и открыл глаза…

И в тот же миг откуда-то сверху на него обрушилось распластанное в прыжке длинное чёрное тело. Подсознательно он весь сжался, пытаясь спрятаться, уклониться, уйти от этих горящих глаз и приближающихся длинных когтей. Но уклониться успел лишь мысленно — страшная тяжесть опрокинула его на спину вместе с креслом.

Последнее, что он ощутил,— как десять острых ножей рассекли его кожу, почти безболезненно пронзили грудь и вошли туда, где расположено сердце.

Митчелл успел-таки выхватить из кобуры свой бластер—натренированная рука действовала, как всегда, автоматически, независимо от парализованного ужасом разума. Он даже оттолкнулся от спинки кресла, пытаясь вырваться из его мягкого плена—но страшная боль в затылке заставила пальцы безвольно разжаться. Бесполезный бластер выскользнул из руки и отлетел по ковру в сторону входной двери…

Первое, что увидел появившийся через несколько мгновений в кабинете Свифт,—это была огромная иссиня-чёрная кошка с окровавленной мордой и рыжеватой подпалиной на боку, склонившаяся над лежащим между опрокинутых кресел незнакомым мужчиной, на голове и шее которого зияли огромные раны. За тот же краткий миг он успел разглядеть и лежащего на спине Хенкина, вся грудь которого была искромсана словно бы ножом мясника. И ещё он увидел матово блестевший бластер возле самых своих ног.

Зверь издал хриплое рычание, мышцы у него на загривке напряглись—но пальцы Сэма уже успели крепко сомкнуться на рифлёной рукоятке бластера…

Заместитель управляющего эшерским филиалом фирмы «Круизкосмос» Люк Сикорски пребывал в полной растерянности: мало того, что он не успел оправиться от смерти своего шефа, так тут ещё два трупа из состава руководства фирмы.

«Ладно, шеф погиб где-то,—рассуждал он про себя,—но эти двое—прямо в рабочем кабинете офиса. На Земле того же Хенкина можно было, наверное, реанимировать. Всего-то нужно сердце, лёгкие, да ещё операционную палату под боком с дюжиной хирургов… Но только не на Эшере, где нет даже достаточного банка внутренних органов. С Митчеллом, конечно, дело безнадёжное: зверь сделал ему трепанацию черепа и сильно повредил мозг. Если что-то и собрали бы—то это был бы уже не Митчелл!..

Значит, крайним в этой истории почти наверняка окажусь я! Хотя за что же отвечать, если никто ума не может приложить, откуда здесь взялась эта проклятая «кошка»? Не сами же они её сюда притащили? В таком случае внешняя охрана или секретарша непременно бы заметили. К тому же секретарша заходила в кабинет с кофе, а такую «зверушку» в шкафу за папками с документами не спрячешь…

Как ни прикидывай, а крайним остаюсь либо я, либо всё-таки Венс, который отвечает за безопасность сотрудников на Эшере. Кстати, почему он задерживается?..»

Сикорски посмотрел на часы: получалось, что ещё полчаса тому назад Венс сообщил, что он опросил всех служащих, а также возможных свидетелей—и скоро прибудет. Только что-то крайне важное могло сейчас его задерживать…

Он снова попытался выстроить мало-мальски логичную версию произошедшего.

«Итак, Митчелл с самого начала рабочего дня находился в здании филиала, а Хенкин приехал из гостиницы в девять. И того, и другого внешняя охрана видела входящими; кроме того, их зафиксировали камеры видеонаблюдения. Далее Хенкин вызвал по селектору Митчелла, потом этого складского рабочего Свифта. Непонятно, какие у них могут быть общие дела?.. Вызов Свифта тоже зафиксирован, и его видели направляющимся к крытому переходу. Камеры внутреннего наблюдения буквально за полчаса до происшествия выключили на профилактику, но об этом знали только я сам и дежурный инженер-электронщик… Как входил в кабинет Свифт, секретарша не видела—она отлучилась в туалет. Предвидеть это тоже не мог никто.

Теоретически привести с собой «кошку» мог, конечно, и Свифт! Вот только он никак не мог предугадать выключение камер и отлучку секретарши… Кроме того, он должен был поймать эту тварь, где-то прятать и в нужный момент привести. А эти местные хищники абсолютно не поддаются приручению, что многократно было проверено. Венс говорил, что, когда Свифт вошёл в кабинет, тварь бросилась и на него, даже поцарапала кисть руки. То, что он успел воспользоваться бластером Митчелла,—просто счастливая случайность, иначе было бы три трупа. И маловероятно, что был задействован ещё кто-то, четвёртый… Скорее всего, зверь заскочил в какое-нибудь из открытых окон офиса, а уж потом случайно попал в кабинет».

Наконец прибыл буквально измочаленный допросами Венс. Он устало опустился в кресло и, закурив сигарету, сообщил:

— Абсолютно ничего нового… Я на всякий случай захватил со склада этого Сэмюэля Свифта. Если желаете, Люк, с ним побеседовать—он ждёт в коридоре.

— Пусть заходит!..

Сикорски с неподдельным интересом разглядывал стоящего перед ним Свифта: крепкая, хотя и не крупная фигура, простое открытое лицо, мужественные, чуть резковатые черты, ярко-голубые, словно весеннее небо, глаза, забинтованная рука на перевязи… Явно вызывает симпатию. Трудно представить, что такой способен на хитроумное, тщательно спланированное убийство. Только что это за странный наряд? Хотя… Хотя каждый имеет право на свои маленькие причуды.

— Вы прибыли на Эшер с заместителем директора Хенкином?—спросил он, наблюдая за выражением лица Свифта.

— Да,—ответил тот коротко, не отводя глаз под пристальными взглядами двух человек.

— А почему вы оказались в кабинете Хенкина? Ведь вам в это время полагается быть на своём рабочем месте,— задал как-то лениво, видимо уже не в первый раз, вопрос Венс.

— Мистер Хенкин связался со мной по селектору и пригласил для какой-то беседы. Я предупредил заведующего складом о своей отлучке.

Сикорски вопрошающе посмотрел на Венса.

— Да, были и вызов, и уведомление об отлучке,— подтвердил тот.

— Вы единственный свидетель произошедшего,— продолжил допрос Сикорски.— Расскажите ещё раз, как это произошло.

— Я, собственно, увидел только развязку. Когда я оказался в кабинете, с сэром Хенкином и с тем вторым мужчиной зверь уже покончил. Мне оставалось только пристрелить его.

— А где вы научились владеть бластером?— задал Венс явно провокационный вопрос.

— Мне показал, как с ним обращаться, сэр Питер. Он иногда брал меня с собой в качестве охранника… Но это был не его бластер — тот как бы был побольше.

— Это личный бластер Митчелла,— пояснил заместителю управляющего Венс и сразу же задал Свифту следующий вопрос:— Как так получилось, что профессионал Митчелл не успел выстрелить, а вы успели?

— Просто бластер лежал возле самой двери, уже снятый с предохранителя. Кроме того, «кошке» понадобилось время, чтобы развернуться ко мне мордой. А когда смотришь смерти в лицо — время как бы растягивается…

— Да, кстати, вы встречались до этого с инспектором Митчеллом!

— Нет,— не задумываясь, уверенно ответил Свифт.— Я увидел его в первый раз уже мёртвым.

— Подумайте хорошенько,— Сикорски вспомнил вдруг о своей версии.— Когда вы входили, дверь кабинета была закрыта или приоткрыта?

— Определённо закрыта,— уверенно ответил Свифт.— Но не на замок.

— Естественно, что не заперта,— раздражённо сказал Венс,— иначе как бы вы вошли?

— У вас, Свифт, есть собственная версия, как этот хищник мог проникнуть в кабинет?— задал последний вопрос Сикорски, констатировав для себя, что единственный свидетель абсолютно ничего не прояснил.

— Честно сказать, я даже не представляю, как она сумела это сделать.

— Хорошо, можете идти на своё рабочее место!

Свифт направился к двери, но вдруг остановился на полпути и сказал, обращаясь к заместителю управляющего:

— У меня к вам просьба. После смерти сэра Хенкина мне не хотелось бы дальше оставаться на Эшере. Я хочу улететь назад, на Землю.

— Хорошо,— сказал Сикорски.— Как раз завтра утром отправляется рейсовый «Геркулес» на Землю. Расчёт получите сегодня и можете отправляться на нём. Кстати, будьте готовы, Свифт, что на все эти вопросы вам придётся отвечать ещё раз на Земле. Может, что-нибудь ещё вспомните сейчас?

— Я сказал абсолютно всё, что знал,— заверил Свифт.

— Ну, идите…

— Больно уж беспросветное дело,— сказал Венс, когда за Свифтом закрылась дверь.— Даже единственный свидетель толком ничего не знает и не может объяснить. Кстати, Люк, вы верите всему, что он здесь рассказывал?

— Конечно, иначе я не отпустил бы его на Землю. Теперь пусть соответствующие службы занимаются с ним там, сколько им захочется. Вообще-то я этому простаку не завидую…

— А что будем писать в отчёте по расследованию двух случаев, мистер новый управляющий?— спросил Венс.— Ведь теперь это и ваша компетенция.

— С первым случаем всё просто — он на совести охраны космопорта,— ответил Сикорски.— А вчерашний инцидент попытаемся сгладить. Напишем, что электрозащита Космос-сити частично была повреждена грозой, вот «кошка» и проникла через неё, а потом и внутрь офиса. Она запросто могла заскочить в какое-нибудь открытое окно на первом этаже, потом подняться на третий. Этот Свифт ведь не помнит наверняка, была открыта дверь или нет…

— Вполне логично, шеф!

— Кстати, в джунглях они, как правило, обитают парами. Почему бы не допустить, что вторая по запаху выследила Митчелла, чтобы отомстить за ранение партнера? Согласитесь, Венс, очень даже неплохая версия для отчёта? Хотя лично я не верю, что у этой твари хватит ума, чтобы сознательно мстить за раненую особь!

— Ну, это ваше мнение я в отчёте указывать не буду,— заверил повеселевший Венс.

— Кстати,— Сикорски устало потёр пальцами виски,— хотя это и не к спеху, но, чтобы закрыть дело, проверьте завтра списки двух последних рейсов «Геркулеса», что на Эшер и обратно…

Утром Венс без стука ворвался в кабинет Сикорски. Он был настолько возбуждён, что опрокинул вазу с цветами прямо на деловые бумаги — и даже забыл извиниться, стряхивая на ковёр воду.

— Мы упустили его, Люк! Он нас всех одурачил!— Венс взволнованно размахивал руками и мотал головой.

— Кого мы упустили?— раздражённо спросил, собирая салфеткой воду со стола, Сикорски.— Успокойтесь, наконец, и говорите толком!

— Этот Свифт в списке прибывших на «Геркулесе» не значится! Сначала я подумал, что он прибыл

под другой фамилией с Земли вместе с Хенкиным, и опросил всех пассажиров того рейса, которые всё ещё находятся на Эшере,— Венс снова взволнованно махнул рукой, и ваза упала во второй раз, но уже на ковёр.— Двое вспомнили, что видели его с Хенкином в космопорту Луны, но потом среди пассажиров рейса Свифта не было! Как они очутились вместе на Эшере, факт совершенно невероятный! Это просто необъяснимо!

— Да, действительно…

— Неспроста, наверное, на работу в наш филиал он принят без каких-либо документов, а лишь по личному указанию Хенкина! Значит, у Свифта был повод скрывать своё настоящее имя, а у Хенкина — покрывать его? Кто это такой на самом деле, знал только Хенкин, которого сейчас нет в живых!

— А его учётная карточка в нашей картотеке — что указано в ней? — спросил Сикорски.

— В том-то и дело, что все данные занесены в карточку со слов самого Свифта: Сэмюэль Свифт, тридцать два года, родился в Лондоне.

— Вы уже запросили подтверждение с Земли?

— Да. Через четыре дня должен получить ответ.

Но когда через четыре дня Венс появился в кабинете Сикорски, вид у него был крайне растерянный.

— Я получил ответ на свой запрос. Никакой Сэмюэль Свифт ни тридцать два года тому назад, ни сто лет тому назад в Лондоне и вообще на Земле не рождался и не жил. С «Геркулесом» связи не будет до самого приземления, но там так называемого Свифта уже будут ждать работники Кобза.

— Успокойтесь, Венс! Это очень даже хорошо, что дело намного сложней, чем мы предполагали,— удовлетворённо произнёс Сикорски.— Пусть им теперь и занимаются работники Кобза. На работу без документов Свифта принимали покойные Спенсер и Хенкин, а с нас теперь какой спрос? Просто переправьте все имеющиеся у нас данные по этому делу в их адрес — и делу конец.

— Ну, не совсем конец. Просто я думаю, что после того, как Свифта встретят на Земле, кто-то из их сотрудников прибудет сюда.

— Возможно даже, что вместе со Свифтом!

— Если так называемый Свифт решил бежать, то выбрал совершенно бесперспективный вариант, так как покинуть «Геркулес» до посадки физически невозможно. Он сам себя упрятал в ловушку, или, если хотите, в камеру заключения.

— Тем не менее, всё к лучшему: если это происшествие подпадает под компетенцию Кобза — с нас снимается даже малейшая ответственность…

А ещё через неделю с Земли пришло следующее сообщение: «Венсу. Срочно. Примите к сведенью. Из-за повреждения метеоритом «Геркулес» вынужден был совершить аварийную посадку на Луне. В возникшей сумятице человек, известный вам как Сэмюэль Свифт, скрылся. Возможно, на одном из грузовых космолётов. Комитет по безопасности Земли».

Глава 3. Пленники Альмы

Счастливо ты живёшь или несчастливо, зависит, в первую очередь, от собственной оценки, а не от мнения окружающих. Наши эмоции — это качели, которые то поднимают к яркому свету, то опускают в непроглядную черноту. А истинная жизнь всегда где-то посредине. И если бы не было таких колебаний, мы, наверное, не отличали бы радости от печали и добра от зла. А так: то печаль вдруг нахлынет неведомо откуда, то восторг поднимет в такие выси, до которых ты и не мечтал подняться!

Если же ты ленив душой и телом, то рамки событий и эмоций узки — и спокойная, размеренная жизнь напоминает неинтересную игру: ты не проигрываешь, но ведь и не выигрываешь! А колебания качелей превращаются просто в монотонную вибрацию. И тогда то, что мы называем жизнью,— всего лишь список дел на сегодня…

Стаса Полонского монитор Вадим Быков нашёл на Марсе, в реабилитационном санатории для космолётчиков. Собственно, «нашёл» — это не то слово, потому что координаты капитана ему дали в КоБзе, когда передавали на доследование это странное и запутанное дело. До этого он без каких-либо видимых результатов мотался по планетам уже более месяца: сначала Луна, потом Эшер, и теперь вот Марс. И кто знает, куда придётся лететь дальше?.. Правда, иного он и не ожидал, потому что, как правило, если дело передаётся в КоБз — это означает, что все реальные следственные возможности уже исчерпаны… Остаются нереальные, то есть связанные с мистикой, а то и с самой нечистой силой, что ли…

Монитор представился. Полонский одёрнул белый китель космолётчика с капитанской нашивкой на плече — и тоже представился по всей форме.

Разглядывая молодое, даже чуть женственное лицо Стаса и его довольно хрупкую фигуру, Быков пытался разглядеть того самого командира исследовательского космолёта «Поиск», ставшего легендарным всего лишь за один рейс. Но перед ним стоял самый обычный, ничем не примечательный человек. Вот если только глаза… Чёрные, пронзительные и словно бы до краёв наполненные неведомой болью, глаза жили своей собственной жизнью, не зависимой от внешне спокойного космолётчика.

Они спустились на эскалаторе в ботанический сад и пошли по одной из боковых аллей. Возле клумбы с ярко-красными цветами необычной формы, огороженными полоской зелёного газона, Стас молча остановился.

Терпкий и сладковатый запах неизвестных Быкову цветов дурманил и, казалось, усиливался с

каждой секундой. У него даже слегка закружилась голова, а всё тело наполнила странная, непривычная лёгкость…
— Это цветы с Альмы,— сказал Стас.— Мы их тогда же посадили в память о погибших на Альме товарищах.

Монитор помолчал, пока они не двинулись дальше, и лишь потом, чтобы как-то начать разговор, спросил:
— Вы прибыли в санаторий всего несколько дней назад, но, говорят, вскоре опять собираетесь куда-то?
— Да, через месяц, как только будет подготовлен новый космолёт и сформирован экипаж.

Они свернули на одну из безлюдных поперечных аллей и сели на скамью в обвитой густым плющом беседке.
— Я должен поговорить с вами о том, трёхмесячной давности, рейсе «Поиска»,— начал монитор.
— Если не служебная тайна, почему этим рейсом заинтересовался КобЗ?— спросил Полонский.
— Собственно, КобЗ интересует некий Сэмюэль Свифт. Вы ведь знаете такого?
— Да, знаю… Правда, он не являлся членом нашего экипажа и присоединился к нам только на Альме.
— Простите, Стас, а во время самого полёта не происходило чего-нибудь необычного? Только поподробнее, пожалуйста.
— Да тогда всё было необычным! Начнём с того, что зацепили эту зарождающуюся чёрную дыру диаметром примерно с теннисный мяч. Её же практически ничем предобнаружить невозможно. Тут самая совершенная система обнаружения бессильна: все виды излучений дыра поглощает, а на обзорном экране такой мизерный провал просто не заметишь! Только перед самым уже моментом столкновения…

Полонский вдруг заметил включённый диктофон и, вспомнив, что разговор официальный, поправился:
— Насчёт черной дыры— это моя версия, а вообще-то никто и не знает, что это было! Но по закону подлости она прошила один из реакторов, так что катапульта отстрелила жилую каюту безо всякого предупреждения. Повезло ещё, что почти все члены экипажа в это время в каюте находились, кроме вахтенных— Пака и Яшина… Уже нам вслед автоматика спасательный бот выбросила. Ну и дальше всё в том же духе: когда реактор рванул, здоровенный обломок догнал бот и разнёс в клочья. Вот и представьте ситуацию: скафандров нет, продуктов нет, большинство приборов представляют собой просто металлопластиковый хлам… В общем, перспектив ноль, и впереди одна тоска! Связь, правда, работала. Сообщили мы о своём невесёлом положении на Землю: мол, сектор неизученный, закоординированных нуль-переходов поблизости нет…

Полонский остановился и внимательно посмотрел на монитора.
— Я не слишком подробно? А то всё это можно прочитать в официальном отчёте.
— Я читал ваш отчёт, но меня интересует именно неофициальный аспект, то есть ваши, как говорится, неуставные мысли.
— В общем, ситуация, когда пессимист говорит: «Хуже быть не может!»— а оптимист ему возражает: «Может, может!» Оптимистами в данном случае были мы, потому как понимали, что спасатель в лучшем случае через пару недель смогут подогнать… А тут по курсу эта планетка— Альма. О ней и в каталоге-то всего три фразы, но зато такие, что сердце радуют: «Разумной жизни не обнаружено. Биосфера мало исследована. Состав атмосферы вполне пригоден для дыхания». Ну, мы и передали на Землю, что попытаемся сесть, ибо это наш единственный шанс выжить.
— Тут, можно сказать, вам повезло?
— Вы считаете, что повезло? Представьте только: на одних лишь двигателях коррекции, то есть причаливания… До меня никто, кажется, и не пытался даже? Во всяком случае, официально такой попытки не зафиксировано! Ну, плюхнулись мы размашисто, остатки приборов переколотили, обе антенны как корова языком слизнула… Так, кажется, в старину говорили? От удара герметизация нарушилась, несколько человек ранения получили, а тут ещё пожар начался… В общем, остались мы на планете как первобытные люди: голые и босые, да ещё с ранеными… Перспектив на выживание практически ноль! И тут, откуда ни возьмись, этот Свифт…
— Он что же, поджидал вас там?— удивлённо спросил монитор.
— Не то чтобы поджидал… Мы утром двадцатого сентября плюхнулись на Альму, а он уже после полудня пришёл. Представляете, вышел из-за куста в своём голубом госпитальном костюме, словно просто прогуливался там. Я как увидел его, сразу подумал: «Ну, всё— глюки начались!» А он спокойно так подходит к Валерии и говорит: «Вы меня хотели видеть, так я к вашим услугам, леди». Он вообще как-то очень уж витиевато выражался…
— А в чём эта витиеватость речи заключалась?
— Ну… Словно он актёр и играет на сцене какой-то старинный спектакль. Этакая стилизованно-несовременная манера выражать свои мысли. Пока фразу закончит— забудешь, осмысливая, с чего он её начинал. Да и вообще: жестикуляция, мимика— прямо театр. А вот Валерии почему-то нравилось…
— Он объяснил вам, каким образом попал на Альму?
— Сказал, что летел на грузовике мимо, а тут шальной метеорит… Когда началась неуправляемая реакция, он и катапультировался. Потом

капсула утонула в болоте, а он едва успел выбраться. В общем, обычная история — хотя он и путался немного… Ну, да после подобной передряги некоторые собственное имя забывают! И вроде бы всё правдоподобно, только не похоже по нему, чтобы он в болоте тонул.
— Почему?
— Ну хотя бы одежда! Кто же в таком виде летает, тем более на грузовике? И каким олухом надо быть, чтобы капсулу утопить — ведь в ней и скафандр, и оружие, и запас продуктов… Он мне, правда, и раньше не нравился!
— Вы что же, знали его раньше? — у Быкова даже дыхание перехватило от волнения.
— Ну, не то чтобы знал, а так — видел. Мы на Земле в госпитале для космолётчиков предполётное обследование проходили — вот там он и «прилип» к Валерии. Мне тогда, правда, абсолютно наплевать на него было, так что я даже и не поинтересовался, кто он такой. Раздражало, конечно, что ходит как тень за Валерией какой-то странный тип. Главное, ходит — и молчит! Но слушатель он был отменный: мог часами слушать нашу болтовню. Знаете, когда собираются друзья с разных рейсов: воспоминания начинаются, случаи разные рассказывают…
— В этом и заключалась его странность?
— Ну, не только… Он ещё каждый вечер, церемонно так, Валерию на пляж гулять приглашал. Безделушки всякие дарил: то раковину, то камешек занятный. Да, не знаю, где он её взял, но он ещё тогда подарил Валерии монету…
— Простите, Стас, а что за монета?
— Старинная и золотая. Тяжёлая такая… Валерия её всем показывала: мол, ей уже много веков, и что будто бы она счастье приносит. Правда, ей эта монета счастья так и не принесла… А после гибели Валерии Свифт эту монету забрал…
— Вы можете её описать?
— Честно говоря, я её особо не разглядывал… — сказал Полонский, немного подумав. — На одной стороне английская королева Елизавета, и, помоему, Валерия называла её гинеей. Да, чуть не забыл: когда он в первый раз появился, Валерия мне тогда сказала: «Удивительно, но как только я монету достала и подумала про Сэма — он сразу тут как тут».
— Действительно, странное совпадение.
— Но мне тогда почему-то показалось, что она его странному появлению не особенно удивилась… — возразил Полонский.
— А как долго Свифт там находился? Я имею в виду — не вообще на Альме, а именно вместе с вами. Ведь, насколько я информирован, он улетел раньше?
— Кажется, девятнадцать дней… Если точнее, то восемнадцать с половиной. Честно признаться, до тех пор, пока не прибыл контейнер, нам без помощи Свифта туговато бы пришлось. Как бы поточнее выразиться… Он ближе нас всех к природе стоял, что ли. Знаете: импровизированное жилище мог устроить лучше любого из нас, быстро костёр развести, ловушки всякие придумывал для мелких животных, ночную охрану лагеря организовал…
— Вы считаете, что он знал эту планету? — спросил Быков.
— Нет, я не это имею в виду. Просто он лучше всех умел приспосабливаться к незнакомым местным условиям.
— А он не пытался там, на Альме, взять на себя руководство или занять главенствующее положение?
— Нет, скорее наоборот, — ответил Полонский, не задумываясь. — Насколько я помню, он всё время старался оставаться как бы в тени.
— Может, просто хитрил?
— Нет, он вообще был простоват! Ещё раньше, чем спасательный бот, всего через неделю после аварии, неожиданно пришёл небольшой автоматический грузовой контейнер с ближайшей планеты — с Тэссы. Там ведь до самого недавнего времени существовала довольно крупная перевалочная база, и на тот момент оставались ещё несколько человек и всякий хлам — так называемые неликвиды. Так что в контейнере, кроме станции космической связи, оказалось всякое старьё, которому, наверное, лет сто! Так вот, этот Свифт подобрал себе такую шляпу с полями. Ну, какие раньше носили!.. В старинных вестернах обычно все ковбои в них на лошадях разъезжают…
— И вас это удивило?
— Тогда да, но сейчас я думаю, что, может быть, это для того, чтобы шрам прикрыть. Вот здесь, — Стас показал пальцами чуть выше правого виска. — А ещё куртку напялил из грубо выделанной коровьей кожи. Видели бы вы, какой нелепый вид у него был в этой одежде! Хотя смысл в такой куртке тоже был — там множество всяких колючих кустарников… Да, ещё там, кроме нескольких маломощных бластеров, оказалась такая тяжеленная штуковина, которая сгустками плазмы стреляет — а потом они взрываются. Очень тяжёлый агрегат, зато сумасшедшей разрушительной силы! Так этот чудак утащил её к скалам — и там почти полдня с ней развлекался…
— В каком смысле развлекался? — не понял Быков.
— Ну, тренировался, что ли… Он ведь потом с этим своим оружием ни на миг не расставался. Так с ним за Валерией повсюду и таскался — вроде бы как телохранитель.
— Он интересовался больше техническими вопросами или же теоретическими?
— Вообще-то ни теми, ни другими. Он, похоже, в технике вообще слабо разбирался. Так, помогал по мелочи, когда кто-то попросит, — типа «принеси и подержи». А главным объектом его внимания была, конечно, Валерия. Ухажёр… — Стас усмехнулся, но как-то кисло.

— А ему приходилось применять это своё оружие?
— Один раз. Там водятся огромные такие зубастые зверюги — настоящие монстры из фильма ужасов, вот Свифту и пришлось убить одного из них. Так сказать, в качестве самозащиты.
— Может, вам, Стас, известно, почему он вдруг улетел с Альмы раньше всех? Торопился куда-нибудь?
— Он как будто никуда не собирался — а улетел сразу после гибели Валерии. Сказал, что не хочет больше оставаться на Альме, тем более что считает именно себя виновным в её смерти.
— Он что, действительно был косвенно виноват?
— Какое там… Сурин потом рассказал, что произошла нелепейшая случайность.
— Сурин… Владимир Сурин? Он, кажется, геолог?
— Да, геолог. Он до сих пор ещё в госпитале на излечении. А тогда, на Альме, он совершенно случайно обнаружил залежи трансурановых элементов. Знаете, как бывает у этих геологов: они и за час до гибели будут образцы минералов собирать, описывать… Валерия по профессии химик, вот Сурин и привлёк её к этому делу тоже — тем более что они до этого вместе на Эшере работали. Когда они по скальному обрыву лазали, произошёл обвал. Валерию — насмерть, Сурину ногу раздробило и два ребра сломало, а этому Свифту, который их охранял, хоть бы что! Представляете — ни царапины! Он-то Валерию и откопал. А на другой день мы раненого Сурина с доктором в том грузовике на Тэссу отправляли. В нём ещё одно свободное место оставалось — вот Свифт и заявил, что тоже полетит.
— Вас это не удивило?
— Ничуть. Я никакого права не имел его задерживать, тем более что Свифт вообще не из нашего экипажа… Да и пассажирский бот с Земли где-то через два дня прибывал, так что мы уже вполне могли без него обойтись… Вот, собственно, и всё, что меня лично с этим странным Сэмюэлем Свифтом связывало!
— А он вообще показывал хоть какие-то документы?
— Да там не до документов было! Когда он появился — мы уже без связи сидели. Так что не было никакой возможности запрос отправить… Да и что запрашивать? Мало ли грузовиков в космосе болтается, пусть даже и «левых». Это уже после его отлёта я запрос от медиков получил: оказывается, после прибытия на Тэссу он сразу же исчез непонятно куда и даже положенный карантин не прошёл. В ответ я сообщил, что Свифт, по существу, «приблудный», и коротенько изложил историю его появления на Альме. Было и ещё одно сообщение, не помню уже от кого, что его не могут найти, а фамилия Свифт будто бы ненастоящая. Когда же выяснилось, что опасных бактерий на Альме нет, — о нём как-то вообще забыли.
— Простите, Стас, а как лично вы относились к Свифту?
— Если честно, то я его не любил!
— Поймите, Стас, это не праздный вопрос. У людей иногда возникает вполне объяснимое отвращение к паукам, например, или к змеям, у кого-то — к представителям инопланетной фауны или даже к неярко выраженным мутантам… Поэтому я и спрашиваю о вашем отношении к Свифту не только в психологическом плане, но даже и в физиологическом. Он что, вызывал какую-то физиологическую неприязнь?
— Нет, ничего такого не было — я его просто не любил.
— Значит, у вас были на это какие-то веские причины?
— Вообще-то я не хотел бы затрагивать эту тему…
— И всё-таки придётся! Поймите — это не праздное любопытство.
— Во-первых, я давно любил Валерию, а он вклинился между нами, причём довольно бесцеремонно. Но даже не это главное… Как-то я попытался выяснить у этого так называемого Свифта, кто он и откуда. Даже не так: я тогда просто намекнул, что он и Валерия — совершенно разные, несовместимые люди, как бы с разных полюсов и с разных социальных уровней… Так он жутко разъярился, словно дикий зверь какой, — и едва не ударил меня кулаком в лицо. После такого, сами понимаете, ни о каких нормальных отношениях не могло быть и речи.
— Извините, Стас, за не вполне корректный вопрос, но, сами понимаете, это не просто мой личный интерес. Как Валерия относилась к Сэмюэлю Свифту?
— Честно говоря, я до сих пор не понимаю: что она в нём нашла? Ограниченный человек, просто дикарь какой-то! Непонятно и другое: несколько раз, видимо забывшись, он называл её «Долорес». А она делала вид, что не замечает… Понимаете, до этого мы регулярно общались, а как только появился этот непонятный тип, я сразу стал как бы третьим лишним.
— Да, можно ещё один, пожалуй, последний вопрос, а то я и так замучил вас своими расспросами?
— Спрашивайте, конечно. Я понимаю, что это ваша работа.
— Свифт вас тоже недолюбливал?
— Недолюбливал? Да он меня просто ненавидел! Стоило мне заговорить с Валерией, как он весь напрягался, и хватался за своё дурацкое оружие. Это звучит смешно, а выглядело далеко не так весело!
— К сожалению, Стас, у меня так и не сложилось более или менее ясного портрета этого Свифта. Может, я неправильно формулировал свои вопросы? Он что же, был неудачником? Попробуйте в нескольких словах описать его психологический портрет…

— Главное — верить в свою везучесть. Это, если хотите, моё кредо! Даже когда всё не так, как тебе хотелось бы, надо считать, что твоя вера непременно поведёт тебя в конце концов по тропе удачи. Чувствуете, монитор, как красиво я стал говорить? Ещё бы — столько интервью за последние дни!..

Полонский замолчал, словно прислушиваясь к каким-то своим потаённым мыслям, но, поймав пристальный взгляд монитора, тряхнул головой и продолжил:

— Так вот, человек, начавший считать себя неудачником, заранее обречён. Это как снежная лавина: одна неудача цепляет другую — и вскоре ты уже не в силах разорвать их роковую цепь. А это уже непреодолимый рок! Сэмюэль Свифт как раз и был таким неудачником. На первый взгляд — сильный, волевой человек, но на нём чётко просматривалась нестираемая печать неудачника. Хотя в начале нашего знакомства, в госпитале, у него был как бы небольшой перерыв между этими сериями неудач…

— Но это опять общие слова. А были какие-нибудь примеры?

— Сами проследите цепочку! Итак, в госпиталь он попал с травмой, а это — сами понимаете… И потом менее чем за месяц: авария грузовика, из-за которой он очутился на Альме — это раз, патологическая несовместимость практически со всей командой «Поиска» — это два, потом гибель Валерии — это три. Далее: его поспешный побег, пристальный интерес Интерпола и, наконец, ваше внимание… Согласитесь, что многовато для обычного человека?

— Пожалуй, вы правы, — согласился монитор.

— Должно быть, он натворил что-то очень серьёзное, раз им занялась такая серьёзная организация, как КобЗ?..

— Знаете, Стас, — Быков замялся, — я просто не готов однозначно ответить на такой вопрос.

Полонский замолчал и угрюмо уставился куда-то под ноги — на ярко-жёлтую песчаную дорожку. Быков тоже помолчал несколько минут и, ощутив вдруг неловкость от своего навязчивого присутствия, попрощался.

Стас Полонский после встречи с монитором Быковым ещё долго бродил по аллеям, выбирая самые глухие и безлюдные. Долгий разговор, неприятные воспоминания разбередили душу и скрытые в ней раны…

«Ну и глупо же, должно быть, я выглядел в глазах этого монитора, — сожалел Стас. — Лихой космолётчик, космический волк — а на самом деле просто растерявшийся мальчишка! И чего я ему только не наговорил про этого Свифта… Половина из сказанного — откровенная глупость, а главное так и осталось недосказанным…» Ведь их взаимоотношения не заладились из-за Валерии, и только из-за Валерии. Он так и не сказал монитору, что обязан Свифту жизнью. Если бы не тот выстрел в напавшего монстра, Стас Полонский сегодня бы просто не беседовал с Вадимом Быковым…

Стас вдруг ясно, до малейших деталей, вспомнил каждый миг рокового происшествия.

Он тогда осматривал два грузовых отсека грузовика с Тэссы, только что освобождённых от присланного им хлама. Хотя если честно, то стоило поблагодарить тех незнакомых парней, которые экстренно собрали и отправили им всё, что оказалось под рукой. Без этих нежданно очутившихся на Альме устаревших приборов и вещей ещё неизвестно, чем бы всё закончилось…

«Тесновато, конечно, будет разместить в двух отсеках всех людей, — прикидывал он, — и насчёт удобств не очень, но всё равно это лучше, чем ночевать под навесом возле костра».

Стас выбрался через единственный люк наружу и обошёл грузовик вокруг. Поглядывая по сторонам, он делал вид, что просто совершает инспекторский обход, к чему обязывала капитанская должность, — а на самом деле высматривал в окрестностях Валерию.

Собственно, окрестности — это громко сказано: грузовик очень удачно свалился не в болото и не в заросли, а на возвышенность — каменистую поляну в полкилометра диаметром, посреди которой теперь и располагался их импровизированный лагерь. Вся поляна просматривалась как на ладони, а вокруг неё, куда ни глянь, ярко пестрели, топорщились вершинами и переплетались кронами сплошные джунгли. Валерии нигде не было видно, как и этого чокнутого Сэмюэля.

«Опять куда-то ушли вместе?.. — с раздражением подумал Стас. — Неужели она до сих пор не разглядела, что это за тип?» Он, Стас, раскусил Свифта сразу: недалёкий, можно сказать, туповатый мужлан. Для таких уготована карьера разнорабочего или, в лучшем случае, какого-нибудь мелкого диспетчера. Наверняка он и в госпиталь попал после какой-нибудь драки в Четвёртом секторе — там и не такие ещё отбросы общества встречаются. И что Валерия в таком могла найти?..

Словно бы продолжая свой обход, Стас двинулся вдоль края поляны. Иногда он немного углублялся в живописные заросли, под зелёный свод переплетавшихся вверху крон, — и тогда приходилось всё время быть настороже.

Особенно тщательно нужно было огибать шаровидные полудеревья-полукустарники. Диаметром примерно в два человеческих роста, идеально округлой формы, с розовой листвой и сплошь усеянные мелкими голубенькими цветочками, внешне они выглядели очень декоративно. Но стоило коснуться этого «пушистого шарика», как множество мелких колючек-крючков цепляли одежду, тело и всё, до чего могли дотянуться.

Хорошо, если сразу не ударяться в панику, а попытаться освободиться от них медленно, не делая резких движений,—тогда отделаешься неглубокими, хотя и многочисленными, царапинами. А стоит только дёрнуться, попытаться вырваться из цепких объятий силой—тут же вступит в дело второй атакующий эшелон: десятки длинных и острых шипов, прокалывающих даже плотную ткань рабочих комбинезонов. Ещё рывок—и шипы протыкают кожу, неотвратимо проникают всё глубже и глубже! Можно этот «шар» срубить, потом жечь его бластером—воткнувшиеся шипы уже ни за что не отпустят свою заведомо обречённую жертву. Стас неоднократно встречал довольно крупных местных зверушек, похожих на покрашенную в зелёный цвет земную свинью, висящих внутри коварных розовых «шаров»,—бездыханных и растерзанных. Через несколько дней от них оставался голый скелет—всё остальное высасывал этот внешне привлекательный растительный вампир.

Воздух на поляне был наполнен терпким запахом красных цветов. Эти необычной формы цветы были настоящими гордецами: стоило их случайно задеть или хотя бы пройти очень близко от бутона—как он тотчас поникал своей красной головкой и лежал безжизненно, словно умерший, до самой темноты. Таинство их возрождения всегда происходило под покровом тьмы. Едва рассвет обесцвечивал непроницаемую черноту ночи и становилось возможным различать тёмные силуэты на фоне светлеющего неба или белые камешки на почве—а они уже вновь стояли, источая терпкий пьянящий запах. Рассвет они всегда встречали осыпанные, словно алмазами, капельками росы. А в первых лучах восходящего светила капельки искрились всеми цветами радуги…

Стас про себя одушевлял этих гордых недотрог: ведь они предпочитают смерть подчинению, насилию, даже просто постороннему вмешательству. И только пройдя некий ритуал очищения, возвращаются к жизни. Такая жизненная философия простых растений вызывала у него восхищение!

Вот на краю поляны он заметил несколько поникших цветков—значит, сегодня здесь кто-то проходил! Может, Валерия с этим Сэмом?

Стас двинулся по следу, не подумав даже, что скажет, как объяснит своё появление. Хотя ведь был приказ: не отходить от лагеря и тем более не углубляться в заросли!

Стас увидел их неожиданно: Валерия сидела на камне посреди крохотной полянки спиной к нему, а Свифт—сбоку, прямо на траве. Они были настолько увлечены разговором, что даже не заметили случайного соглядатая.

Говорила Валерия:

—…Романтика осталась в прошлом, а современными людьми движет голый практицизм. О чём сейчас мечтает молодёжь? Не о любви и интересной работе, а о быстром карьерном росте. Но это же смешно! Вот и получается: чтобы как-то разнообразить рутинное однообразие жизни—ищут острых ощущений. А это тоже быстро приедается…

Убедившись, что остался незамеченным, Стас постарался так же незаметно удалиться. Пятясь и не спуская со Свифта глаз, он медленно зашёл за куст какого-то игольчатого кустарника, увешанного вперемежку, словно новогодняя ёлка, фиолетовыми бутонами цветов и ярко-жёлтыми длинными стручками. Он уже хотел развернуться и уйти—но в этот момент ощутил, как множество крючков вцепилось одновременно в спину, в плечи, в затылок. Определённо, позади находился один из этих проклятых «шаров»!

Сквозь ажурное переплетение редких ветвей Стас хорошо видел сидящего Свифта, а Валерию закрывало скопление жёлтых стручков—поэтому казалось, что её голос звучит ниоткуда.

—…Современные люди быстро старятся, но стареют в первую очередь душой, а не телом. Вы, Сэм, моложе всех моих сверстников, потому что ваша душа молода!..

Стас попытался освободиться из цепких объятий «шара»: осторожно потянул на себя правую руку, постепенно сгибая её в локте. Но обламывающиеся при этом колючки затрещали предательски громко—и Свифт тут же повернул голову. Неотрывно глядя в сторону Стаса, он поднял свой плазмомёт.

—Это просто какой-нибудь зверёк копошится,—успокоила невидимая Валерия.

Стас обмер, и его даже в жар бросило: ещё подумают, что он специально подслушивает. Но Свифт положил свою тяжёлую «игрушку» на траву и продолжил их главный, видимо прерванный репликой Валерии, разговор:

—Христофор Колумб в своих дневниках писал: «Золото создаёт сокровища, и тот, кто владеет им, может совершить всё, что пожелает, и способен даже вводить человеческие души в рай». Хотя я сейчас почти уверен, что Колумб ошибался…

—Но вы помните его слова наизусть, словно молитву,—как-то задумчиво произнесла Валерия.

—Просто они служили девизом для многих,—ответил Свифт, словно оправдываясь.

—Однако я не думаю, что вы, Сэм, завидуете судьбе Колумба,—возразила незримая Валерия.—Я когда-то читала его биографию, ведь какое-то время я хотела стать историком, а не химиком… Всю жизнь он стремился только к одному—к богатству, а добился лишь того, что индейская цивилизация прокляла его. В конце концов, от него отреклись все—и друзья, и враги, лишь факт якобы первооткрывателя Америки незаслуженно увековечил его имя.

—Но он интересно жил и много повидал!

— И умирал в мучениях — не только физических, но и душевных. Кто-то из философов сказал: «У кого при жизни душа живёт в аду, тот после смерти не попадёт в рай, даже несмотря на все перенесённые мучения».
— Вы пытаетесь меня убедить, что в богатстве нет никакого смысла? — спросил Свифт.
— Самый последний нищий — это нищий духом… — невидимая Валерия глубоко вздохнула и замолчала, видимо думая о чём-то своём.
— Но ведь в самом стремлении к богатству есть цель, причём не самая худшая из всех, — прервал затянувшееся молчание Свифт. — И не вы ли мне говорили, что цель — это главный двигатель в жизни?

«Если они ещё с полчаса пофилософствуют о смысле жизни, то «шар» меня уже не отпустит», — подумал Стас с тоской.

Он чувствовал, что возникшее сначала между лопатками жжение растеклось уже по всей спине. Должно быть, всё новые и новые крючки, целенаправленно посылаемые «шаром», впивались в кожу, умножая терзающую боль. Терзала Стаса и боль душевная. Во всех своих последних неудачах и даже в теперешнем глупейшем положении Стас готов был обвинить только Свифта. И от этого с каждой минутой всё сильнее ненавидел его и жалел несчастного себя.
— Больше всего, Сэм, мне в вас нравится решительный характер, — заговорила невидимая Валерия. — С вашим упорством вы многого могли бы добиться. И я не сомневаюсь, что добьётесь… Только не теряйте времени попусту!
— Просто я ещё не могу до конца привыкнуть к своему теперешнему положению…
— Ну, по сравнению с нашей первой встречей вы уже очень неплохо держитесь… А знаете, ведь буквально накануне нашей первой встречи я взяла почитать старую книгу из библиотеки госпиталя. Сейчас такие, в переплётах, крайне редко встречаются. В ней рассказывалось о пиратах, или, как их тогда называли, о «рыцарях удачи». Я читала и думала: неужели среди них не было ни одного истинного рыцаря — сильного, мужественного и вместе с тем романтичного? А потом дошла до описания пыток, которым они подвергали свои жертвы, чтобы добиться признания о местонахождении тайников. Подумать только, им вспарывали животы…
— Потом жертву клали на землю — и наматывали внутренности на палку…
— Какой ужас! И вы, Сэм, можете об этом так спокойно говорить!
— Я просто хочу сказать, что вы, Валерия, не представляете всех ужасов и всей дикости того времени. Ведь эту казнь ещё раньше придумали гугеноты во время войны с католиками. И заметьте, что война велась не в дикой Азии или Африке, а в Центральной Европе, причём с именем Бога на устах. Мало было просто убить, им хотелось видеть мучения противников… А ведь смерть при этом наступает, увы, не очень быстро…
— Сэм, неужели вы могли бы ударить Стаса? — неожиданно спросила Валерия. — Я имею в виду вашу сегодняшнюю ссору.
— Конечно! Согласитесь, что он сознательно пытался меня унизить своими словами.
— Но ведь это нечестно! Вы сами знаете, что физически значительно сильнее его.
— А вы, Валерия, взгляните на этот случай иначе. Он знает больше моего, то есть в этом он сильнее, и знания — это его оружие. Капитан же не постыдился выбрать выигрышное оружие и применить его против меня! Почему вы, Долорес, считаете…
— Сэм, вы снова…
— Я что-нибудь снова не так сказал?
— Нет, нет, извините, что перебила…
— Так почему вы считаете, что моральное унижение более позволительно, чем физическое?
— Простите меня, Сэм! К моему великому стыду, вы совершенно правы. Я поговорю со Стасом, чтобы он извинился.
— В прежние времена просто вызывали на дуэль, и это было честно. К сожалению, эта замечательная традиция утрачена…

Стас, разминая одеревеневшие мышцы, осторожно переступил с ноги на ногу — и его тотчас передёрнуло от боли в спине. «Шар» на его непроизвольное движение ответил протестующим треском. Свифт снова посмотрел в его сторону — и Стас замер, превозмогая боль. После этих случайно подслушанных слов он молчал бы, наверное, даже в том случае, если бы его терзал какой-нибудь местный хищник.
— Человечество в общей своей массе с каждым поколением становится гуманнее, — продолжила Валерия, и Свифт тут же повернулся к ней. — И в этом, наверное, главное достижение современной цивилизации…
— Для достижения всеобщего гуманизма нужно было не так уж и много усилий, — не то возражая, не то утверждая, проговорил Свифт, — всего лишь достичь такого технического уровня, чтобы все стали сыты.
— Нет, одного изобилия мало, — возразила Валерия. — Просто нужно было каждому ощутить, что все люди равны. Для начала хотя бы, что на нашей маленькой Земле мы все давно связаны кровными узами, то есть, по существу, все мы братья и сёстры. Несколько тысячелетий формировался гуманный государственный строй. Ведь одно дело, когда государством узаконены господа и слуги, и совсем другое…
— Когда все господа, — пошутил Свифт.
— Нет, когда все слуги. Слуги не потому, что привыкли унижаться, а потому, что служат всему человечеству.

— Это всё слова,— возразил Свифт.— Смысл я их принимаю, но вот моё сердце они как-то не тревожат и великие помыслы не зажигают…
— Значит, я плохо объясняю…— сокрушённо проговорила невидимая Валерия.
— Нет, вы очень хорошо объясняете,— словно спохватившись, горячо запротестовал Свифт.— Дело, должно быть, во мне. Порой мне начинает казаться, что мы говорим на одном языке,— но каждый раз оказывается, что тему для разговора находите именно вы. И у нас, как говорит капитан Полонский, находится очень мало точек соприкосновения.
— Вы просто комплексуете, Сэм, причём совершенно напрасно. Говорить о космосе, о нуль-переходах, о неполадках реактора — это не означает быть умным. Это всего лишь означает, что в памяти хранится определённый запас легко воспринимаемой другими информации, а также определённый навык манипулирования этой информацией…
— Что значит — манипулирования?— спросил Свифт.
— То есть использования её избирательно… Я уверена, что даже на заре развития цивилизации человек мог гораздо образнее и красочнее рассказать об окружающем его мире, о своих чувствах, о любви. Ведь он сравнивал свои чувства с весенней природой, с утренним ветерком, с журчанием ручья, а не с гудением тех же реакторов… Вам не кажется, Сэм, что мы, собравшиеся сейчас в лагере, все на одно лицо?
— Нет, Валерия, вы гораздо красивее всех других женщин!
— Спасибо за такой замечательный комплимент, но я вовсе не об этом. Я о нашем внутреннем мире. Во-первых, стало меньше индивидуальностей: всё, что не рационально,— отметено эволюцией. А ведь в этой индивидуальности и заключалась внутренняя изюминка каждого человека. Поверьте мне, Сэм, здесь, на Альме, вы выглядите колоритней всех остальных, вместе взятых. Стас вам просто завидует, хотя никогда не признается в этом!
— Чему же завидовать? Ведь это он капитан космолёта, а не я.
— И всё равно завидует, поверьте моей женской интуиции. Той же вашей индивидуальности. Раньше каждый человек был индивидуален, был личностью, а теперь в лучшем случае какие-то отличительные черты вносит лишь профессия. Я, например, в любой толпе узнаю космолётчика — даже без его форменного кителя. Хотя многие из них считают, что именно китель отличает их…
— Форма во все времена отличала людей. Она и прежде, как и сейчас, задавала при встрече направление для разговора. С моряком можно было безошибочно заводить разговор о кораблях, о морских портах, а с сухопутными офицерами — о военных походах, о крепостях…
— Но ведь тогда практически любой собеседник был интересен. Люди были разделены морями, границами государств, религиями, какими-то национальными традициями. Они рассказывали, по существу, малоизвестное о своих странах, о себе…
— Разве что-то изменилось?
— А сейчас о чём можно говорить? Национальность существует чисто формально, границы государств условны… На всё, даже на взаимоотношения, накладывается этакий узаконенный стандарт. Узаконено то, что рационально, удобно и приятно для большинства человечества. Вот и говорят об одних и тех же знаменитостях, в лучшем случае — об общих знакомых, реже — о семье и работе, ещё реже — об искусстве. Но искусство давно уже стало массовым, поэтому и мнение о нём тоже массовое. Неоткрытых талантов в наше время не бывает! Чтобы сказать собственное мнение о каком-либо произведении, нужно быть профессионалом от искусства, а этому мешает…

Валерия вдруг замолчала, и Стас от мысли, что снова выдал себя треском, даже похолодел. Но Свифт тут же прервал возникшую паузу:
— Что же вы, Валерия, замолчали?
— Я вдруг подумала: а что лично мне помешало всерьёз заняться искусством, о котором я сейчас глубокомысленно рассуждаю?..
— Наверное, как и у большинства, нехватка времени?
— Или что-то другое… Может быть, боязнь быть не такой, как все?
— Вы, Валерия, и так не такая, как все.
— Не льстите, Сэм,— такая же! Все стремились в космолётчики, вот и я ринулась в общем потоке… В детстве, помнится, я очень любила читать старые книги, которые, как я знаю, не особо пользуются спросом в библиотеках. Но литературоведом тоже так и не стала… Вот именно: я поучаю вас, а если бы мне самой предложили сейчас выбирать между искусством и работой, я, пожалуй, выбрала бы работу. Я смирилась. Хотя, наверное, всё-таки главнее найти своё призвание… Вы нашли своё, Сэм?
— Я считал, что нашёл. Но потом вмешались роковые обстоятельства — и теперь они просто руководят мной. О каком призвании может говорить прикованный, например, к веслу галеры? Это вы, Валерия свободны в выборе как профессии, так и любви!
— Любовь не выбирают: её либо находят, либо нет. Но это тема уже для другого разговора. Мы и так засиделись — как бы нас не начали разыскивать в лагере… Пойдёмте, Сэм!

Когда шаги Валерии и сопровождавшего её Свифта затихли, Стас подождал ещё некоторое время и занялся освобождением из плена. Его спину и плечи жгло уже невыносимо, а на затылке словно бы тлела горсть раскалённых углей. Сначала он медленно высвободил менее захваченную

«шаром» левую руку, потом, терпеливо снося уколы новых крючков в немеющие пальцы, стал освобождать рукав правой руки.

Это занятие его настолько поглотило, что Стас не сразу расслышал треск веток и ритмичное пыхтение какого-то крупного зверя. Звук был такой, будто работал мощный вакуумный насос.

Стас поднял глаза—и даже вздрогнул: два агатово-чёрных круглых глаза смотрели прямо на него поверх «шаров». Если бы его спросили, кого напоминает видимая часть животного, он бы, не задумываясь, ответил, что земного носорога. В остальном же это было настоящее страшилище: шишковатая, с выдающимися пучками зелёных волос морда была снабжена изогнутым коричневым рогом на конце носа, увенчана маленькими круглыми ушками на самой макушке. Пристальный изучающий взгляд, казалось, подавлял волю—как взгляд земного удава. И если учесть, что диаметры «шаров»-кустарников составляли порядка четырёх метров, а голова возвышалась над ними ещё ровно на столько же—то размеры чудовища ужасали.

Гигант словно бы неторопливо раздумывал, как ему поступать дальше. И тут Стас сделал то, чего он, должно быть, не должен был делать ни в коем случае: он потянулся правой рукой к кобуре портативного бластера. Ему, как ни странно, удалось вытащить оружие и даже поднять настолько, насколько позволили колючки «шара». Луч бластера, по его расчётам, должен был пройти по глазам уродины, но выстрел получился не очень прицельным—опалил только гигантский рог. «Как слону дробина»,—разочарованно и обречённо констатировал Стас.

«Носорог» даже не дёрнулся, но, словно от удивления, вдруг закричал очень тонким и пронзительным голосом. Этот звук удивительно напоминал сигнал метеоритной опасности на околосатурновских станциях—он вибрировал где-то под черепной коробкой Стаса и болезненно сверлил его мозг.

Животное кричало довольно долго, и Стас, не вполне соображая, что делает, а больше для того, чтобы прервать эту звуковую пытку, снова надавил на спуск бластера. Луч прошёл ещё ниже, где-то на уровне груди «носорога»—и тот, поняв, наконец, кто причиняет ему боль, двинулся прямо на своего врага.

Стас попытался поднять бластер на уровень глаз, чтобы поточнее прицелиться, но «шар» сразу же среагировал на резкое движение, выбросив очередную порцию своих цепких крючков. Часть из них вцепилась прямо в кисть, и Стас от жгучей боли разжал и без того занемевшие пальцы. Тяжёлое оружие выскользнуло из руки и упало к ногам.

«Теперь это точно конец!»—обречённо подумал он, представив, что спасти его сейчас смог бы только плазмомёт Свифта.

И в этот миг рядом возник неизвестно откуда взявшийся Сэмюэль. В руках он, как обычно, держал своё громоздкое оружие. Стас глазам своим не поверил, настолько невероятным было это видение.

Животное же, хотя и обладало инерцией нацеленного тарана, двигалось относительно медленно—их разделяло ещё метров тридцать. Свифт между тем стрелять в него не спешил, словно чего-то выжидал.

«Ну давай же, стреляй! Что же ты медлишь?!»—мысленно торопил его Стас, понявший, что появился реальный шанс остаться в живых. И ему вдруг так захотелось жить, что Стас готов был простить сопернику и Валерию, и утреннее оскорбление, и даже недавний нелицеприятный разговор.

Свифт же, видимо сделав выбор, вдруг резко рванулся в сторону.

«Всё, бросил на съедение!»—мелькнуло в голове Стаса.

Но тот, отбежав несколько шагов, широко расставил ноги и вскинул свой плазмомёт. Стас хорошо видел вспышку на морщинистом плече «носорога», потом его задымившийся бок. Животное дёрнулось в конвульсии и снова пронзительно закричало, потом остановилось—и, топчась на месте, стало медленно поворачиваться в сторону стрелявшего. Свифт отбежал ещё дальше—и снова выстрелил в бок животного.

«Он же просто отвлекает! Специально малыми зарядами стреляет по касательной»,—понял наконец Стас.

«Носорог» в третий раз «включил» свой сигнал метеоритной защиты—и, словно атакующий танк, устремился на Свифта.

И тут мощная струя раскалённой плазмы ударила прямо в глаза животного. Голова его окуталась дымом, пронзительный вопль сменился низким прерывистым хрипом. Сделав по инерции ещё несколько шагов, «носорог» тяжело повалился набок, и только его длинный, оканчивающийся костяными пластинами хвост стал хлестать наотмашь, сметая всё вокруг.

Сорванные «шары», словно цветные мячики, разлетелись в разные стороны, толстое бочкообразное растение переломилось где-то возле основания—и брызги древесного сока вспыхнули в ярких лучах искристым шлейфом. Один раз заострённый хвостовой нарост просвистел буквально в полуметре от Стаса. Но вскоре туша «носорога» затряслась в конвульсиях, по нему пробежала предсмертная судорога, и хрип резко оборвался.

Подошёл Свифт, положил оружие на траву и, ни слова не говоря, стал освобождать Стаса из «объятий» «шара».

— Я пошёл искать вас с Валерией,—начал оправдываться Стас,—а тут этот монстр…

— Он травоядный,—неодобрительно буркнул Свифт.—Просто не надо было стрелять в него…

— Но он шёл прямо на меня, а я из-за этой колючки не мог уступить ему дорогу!
— Мне кажется, он шёл мимо! — возразил Свифт, словно пытаясь приписать Стасу какую-то вину. — Просто не нужно было его трогать, ведь он вполне безобиден…
— Мне, конечно, жаль, что так получилось и вам пришлось его убить, — настаивал на своём Стас, — но уверяю, что он шёл прямо на меня!
— Ну, вам виднее, — нехотя согласился Свифт.
— А кстати, что вы здесь делаете в одиночку? Я абсолютно всем запретил отходить от лагеря без особой нужды, а тем более по одному, — сказал Стас и тут же сообразил, что тоже нарушил собственный приказ.
— Я здесь забыл свою шляпу, если хотите, — невозмутимо ответил Свифт. — И кроме того, на меня приказы капитана космолёта не распространяются — я не из вашего экипажа…

Убедившись, что Стас уже полностью освобождён от крючков, Свифт водрузил на плечо своё оружие и направился в сторону поляны, на которой они ещё совсем недавно беседовали с Викторией. Стас не успел даже возразить, что дурацкая шляпа красуется на его голове.

«А ведь он из-за меня всерьёз рисковал жизнью, — обожгла его мозг запоздалая мысль, — а мог бы без всякого риска выстрелить всего лишь на несколько секунд позднее. И убил бы, как говорится, сразу двух зайцев…»

Глава 4. След призрака

Зачем приходит человек на Землю? Ведь не для того лишь, чтобы прожить в сытости и довольстве несколько десятков лет, а потом уйти безвестно в небытие? Тогда лучше бы ему воплотиться в образе животного, которое не испытывает ни зависти, ни корысти, ни тем более угрызений совести. Ведь должно же быть какое-то высокое предназначение для безграничного человеческого разума? В чём оно: в вечных поисках смысла жизни, в осмыслении космического мироустройства или же в стремлении к самому необъяснимому — к великой, всепоглощающей любви? И если смысл жизни всё-таки в любви, то в любви к кому — к другому человеку, к матери-Земле или к Богу-учителю?.. Однако нет до сих пор и не будет, наверное, никогда ответа ни на один из этих вопросов.

Но на пике жизни или даже на закате её мелькнёт в нас догадка — и поведёт за собой подобно магниту или ускользающему миражу. И уже до самого конца, до самого последнего вздоха будет звать и манить нас маяк главной цели или призрак единственной женщины…

В просторном холле госпиталя Быков подошёл к электронному регистратору и ввёл свой служебный код. На экране возникла надпись: «Доступ без ограничений». Он ввёл имя и фамилию: «Сэмюэль Свифт», — подумал — и дополнительно ввёл его фотографию. Регистратор моргнул экраном, на нём возникло симпатичное женское лицо, и приятный голос произнёс: «В данный момент интересующий вас человек отсутствует. В целях получения дополнительной информации о нём вам нужно встретиться с невропатологом, профессором Эриком Йенсоном. Блок номер сорок семь, кабинет под жёлтым индексом „Е“».

Быков поднялся в лифте на четвёртый этаж, отыскал нужный ему кабинет и надавил на кнопку селекторной связи возле двери.
— Входите, входите, монитор, — прозвучал из динамика мягкий бархатистый бас.

Профессор Йенсон — русоволосый голубоглазый великан с аккуратной бородкой — протянул руку для рукопожатия, и пальцы Быкова буквально утонули в его огромной тёплой ладони.
— Пока вы поднимались из холла, — заговорил первым профессор, — информатор выдал мне данные про интересующего вас Сэмюэля Свифта. Очень неординарная, даже загадочная личность, скажу я вам! Для меня он так и остался не до конца разгаданной загадкой. А мы здесь, знаете ли, тоже своего рода мониторы…
— И вас, профессор, не удивляет, что им интересуется КОБЗ?
— Признаюсь, удивляет. Но не больше, чем в своё время его странное появление в нашем госпитале.
— Тогда, я думаю, вам есть что рассказать о нём?
— Ну, это смотря что вас интересует! Я ведь просто лечащий врач, а чужая душа, как говорится, потёмки.
— Ну, значит, душу затрагивать вовсе не обязательно.
— Принцип «не навреди» — он ведь и в психологии действует: я скажу что-нибудь неосторожно, а вы занесёте в официальный документ… И бац — клеймо на всю оставшуюся жизнь! Тем более что в жизни, как и в орфографии, обычно всё наоборот, чем кажется…
— Тогда начните с того, что вам больше всего запомнилось или, если хотите, больше всего удивило при первой встрече.
— Начну с того, что история с этим Сэмюэлем Свифтом целиком выходит за рамки привычного, — жизнерадостно начал профессор. — Уже само появление Свифта — это очень странная, я бы даже сказал — загадочная история… Кстати, хотите попробовать мой новый тонизирующий напиток? Поиск универсального тонизирующего рецепта — это, так сказать, моё маленькое хобби.

Он придвинул Быкову высокий сосуд с ярко-оранжевой жидкостью.
— Уверяю, что вы ни за что не догадаетесь, из чего он сделан… Пейте, пейте, потому что предстоящая

история настолько же длинная, насколько невероятная и увлекательная!
— Я весь во внимании, профессор. И не бойтесь, пожалуйста, сказать что-то лишнее!
— С точки зрения скелета в человеке слишком много лишнего,— Йенсон раскатисто рассмеялся.— Есть в медицине такая шутка!
— Обещаю, что я буду прислушиваться к разуму, а не к скелету.
— Вижу, монитор, что с юмором у вас всё нормально! А медицинская карта, знаете ли, не терпит фантазий, иначе я смог бы записать туда истинно фантастический сюжет для какого-нибудь писателя…

Быков сделал глоток, чтобы определить состав напитка, но, несмотря на тренированные вкусовые рецепторы, так и не смог выделить основной вкус.
— У меня достаточно времени,— заверил он,— так что рассказывайте как можно подробнее. Меня интересует абсолютно всё, что происходило и что хоть в какой-то мере относится к этому Свифту.
— Значит, так… В госпиталь он был доставлен восьмого сентября с открытой травмой черепа. Кстати, можете это не записывать на диктофон— официальные, так сказать, данные есть в медицинской карте, которую вам распечатал информатор…

Йенсон взял со стола распечатанный документ и пробежал глазами первую страницу.
— Первоначально этот Свифт поступил в хирургическое отделение, ибо у него было, как у врачей говорится, непроникающее ранение черепа. Вот здесь, выше правого виска,— профессор показал пальцами.— Ранение-то непроникающее, но вот только непонятно чем нанесённое! Глубокая такая борозда, хотя, в общем-то, не особо опасная. Так: сорвана кожа, задета кость черепа… Болезненная, должно быть, но не более!

Профессор отложил распечатку, отпил из стакана несколько глотков своего непонятного напитка и долил сосуд Быкова.
— Самое интересное начинается дальше,— продолжил он.— В больничной карте хирург написал, что всё лицо и верхняя часть одежды пострадавшего были покрыты копотью. Обратите внимание: смесью серы, селитры и древесного угля. А это, как известно, состав так называемого дымного пороха, применявшего в качестве зарядов для огнестрельного оружия ещё в средние века прошлого тысячелетия. Охотничий дымный порох, довольно редко применявшийся в гладкоствольных ружьях конца тысячелетия, уже отличается по составу! Что же это— мистификация или первая загадка? Вас это заинтересовало, старший монитор Быков, или я рассказываю не совсем о том, что вам нужно?..
— Мы с вами по роду деятельности являемся психологами,— польстил профессору Быков,— поэтому всё, что тогда заинтересовало вас, в равной степени теперь интересует и меня.
— Ну, тогда продолжу! В общем-то, рана не вызывала каких-либо опасений, и через пару недель, максимум недели через три Свифта можно было выписать из госпиталя. Как говорится: время лечит, но врач всё-таки быстрее! Правда, был нюанс: не окажи ему вовремя медицинскую помощь— и через день-два началась бы так называемая гангрена. Но даже и не это главное…

Йенсон интригующе поднял свой толстый, покрытый светлыми волосами палец вверх.
— При нём не оказалось абсолютно никаких документов. Ладно бы одно это… Видели бы вы только, во что он был одет!..

Йенсон снова отпил несколько глотков своего оранжевого напитка и, изображая высшую степень удовольствия, причмокнул губами.
— А как он разговаривал! Это был очень странный язык! Вообще-то, конечно, английский, но какой!.. Из его речи я поначалу не мог понять и половины. Долгое время думал, что это последствие контузии, и только недавно открыл смысл некоторых его непонятных слов. Где бы вы думали?!..

Йенсон снова интригующе поднял вверх указательный палец.
— Ни за что не догадаетесь!.. В словаре старинных английских слов и выражений!

Профессор открыл встроенный в стену холодильник и достал старинный хрустальный графин с ярко-фиолетовой жидкостью. Сначала кивком предложил Быкову, потом налил в свой стакан.
— Но в словарь-то я, к сожалению, заглянул уже после того, как Свифт исчез,— продолжил Йенсон.— Вас, может быть, удивит, что я мало с ним беседовал, особенно о его странном появлении, о странной одежде, о странном языке? Сейчас, конечно, об этом сожалею. Но поймите меня правильно, старший монитор: прежде всего я врач, а не любознательный собеседник.
— Теперь всё-таки сожалеете?
— Естественно. Как говорится, сожалею задним умом. Но в медицине главным лекарством является сам врач, а при сильной контузии человеку показан если и не абсолютный, то хотя бы относительный покой. И чтобы больной быстрее выздоровел, ни в коем случае нельзя акцентировать его внимание на отклонениях в его психике. Кроме того, я рассчитывал, что всё прояснится после того, как Свифт поправится…
— А вы помните, когда он назвался Сэмюэлем Свифтом?
— По-моему, сразу же, как только пришёл в сознание. Сами понимаете, что подобный вопрос задаётся на предмет проверки ясности мышления…
— В госпитале он общался с кем-то ещё, кроме вас?
— Конечно, он ведь не был ограничен в передвижении по территории госпиталя. У нас прекрасный парк, игровые комнаты, спортивный комплекс, кают-компания… В общем, на любой

вкус! Правда, с самого начала он предпочитал находиться как бы в сторонке, что ли. Хотя…— профессор многозначительно улыбнулся.— Была там одна видная девица из космолётчиков — я встречал их несколько раз вместе в парке. Звали её, по-моему, Валерия… Черноволосая, стройная… А глаза! Чёрт возьми, какие глаза! Будь я помоложе, тоже бы, наверное, влюбился!..

— Она погибла на Альме,— прервал профессорскую «лирику» Быков.

— Сожалею, искренне сожалею! Она напомнила мне тогда мою жену в молодости…

— А вы не замечали за ним чего-нибудь… ну, каких-то странностей?

— Странностей, странностей… Он был очень неразговорчив. Вернее, почти совсем не говорил, но при этом с какой-то ненасытной жадностью всегда прислушивался к чужим разговорам. А странностью можно назвать то, что иногда он как бы выбирал объект наблюдения — и целый день ходил за ним по пятам. Какое-то навязчивое и нездоровое любопытство. И если бы не эта странность поведения, то в остальном — самый обычный человек…

— Да, вы упоминали, что Свифта доставили в госпиталь в каком-то не совсем обычном костюме?

— Не совсем обычном?.. Это был совсем необычный костюм! Представьте себе маскарадный военный мундир где-то середины прошлого тысячелетия. Я его видел, и знаете, старший монитор, у меня создалось впечатление, что это не муляж, а подлинный мундир. Как будто хорошо сохранившийся музейный экспонат!

— Вы хотите сказать, что мундир был не новым, то есть не «новодел»?

— Вот именно! А ещё был оригинальный нательный крест на золотой цепочке. Я крестов такой формы никогда не встречал: на одной стороне распятый Иисус Христос, а на другой — расправивший крылья ангел. Я ещё тогда подумал, что этот Свифт либо музейный работник, либо коллекционер-историк. На самом деле он и сам как бы является неким музейным экспонатом!.. Шутка, конечно, но на всякий случай патентую свою версию… Знаете, если вас так же принарядить,— Йенсон весело расхохотался,— то смотрелись бы не менее колоритно.

— Спасибо за комплимент. А теперь вспомните: при каких обстоятельствах Свифт исчез?

— Свифт исчез двадцатого сентября. Я даже без медкарты абсолютно точно помню дату, потому что где-то через неделю было передано сообщение о катастрофе именно в этот день космолёта «Поиск». Дело в том, что экипаж этого космолёта проходил предполётное обследование лично у меня, так что, сами понимаете, у нас сложились некоторые личные взаимоотношения.

— Вы куда-нибудь обращались по поводу его исчезновения?

— Да, сразу же! Сначала в Информационное бюро, но оттуда ответили… Как бы это мягче сказать? В общем, ответили, что невозможно найти того, кто никогда не пропадал и даже никогда не существовал. Потом я передал информацию о Свифте в КоБз. Был их представитель, расспрашивал то же и так же, как и вы, старший монитор. Вас что же, даже не поставили в известность о том посещении?

— Вероятно, не захотели, чтобы я повторил его ошибки,— отшутился слегка шокированный таким фактом Быков и продолжил: — Я уже достаточно вас утомил, поэтому перехожу к самым главным вопросам. Где и как он был обнаружен?

— Здесь, на Земле. Более того, совсем неподалёку от госпиталя: на старом песчаном пляже. Кстати, там сейчас очень интенсивно ведутся археологические раскопки — обнаружены останки какого-то старинного морского порта. Свифт был обнаружен археологами поздно вечером, причём совершенно случайно: на песке пляжа, в полукилометре от полосы прибоя. И никаких посторонних следов рядом… Да, это, наверное, важно для вашего расследования: археологи видели его на пляже и в день исчезновения. Он там прогуливался по песку в госпитальной пижаме, а вот куда потом исчез — никто не обратил внимания…

— Простите, профессор…— Быков замялся.— Вы не обнаружили чего-нибудь необычного в его анатомии? Внешние отличия или какие-нибудь отклонения в анатомии внутренних органов?..

— Физически он был очень хорошо развит. Среднего роста, но такая, знаете ли, атлетическая фигура…— Йенсон тоже замялся.— Вы что же, считаете, что это был представитель другой цивилизации?

— Вы, профессор, меня неправильно поняли: я ни в коей мере так не считаю. Хотя, сами понимаете, полностью исключить такую возможность я тоже не имею права…

— В таком случае я тоже официально заявляю, что каких-либо аномалий в Сэмюэле Свифте не обнаружил. Хотя полностью исключить, как вы сами только что сказали, не берусь…

Быков подумал, что материалы предварительного расследования КоБза смогут прояснить какие-то детали дела, поэтому посчитал диалог с Йенсоном на сегодня достаточным — и попрощался.

Информация, полученная в Комитете по безопасности Земли, ничего не прояснила — по всей видимости, именно по этой причине Быков её и не получил в начале расследования. Точнее сказать, она вообще ничего не прибавила к тому, что ему самому удалось выяснить. Человек, назвавшийся Сэмюэлем Свифтом, появился неизвестно откуда — и так же исчез, растворился, улетучился… Можно даже сказать — дематериализовался, если бы такое в принципе было возможно.

Быков просмотрел всю картотеку в отделе мониторов сначала за десять последних лет, потом за двадцать. Ничего, даже отдалённо напоминавшего это дело, в картотеке не обнаружилось. Он снова и снова сопоставлял известные ему факты, пытаясь найти между ними связь…

«Итак, двадцатого сентября Свифт исчез из госпиталя — и в тот же день появился на Альме, потом сотрудники КОБЗа пытаются задержать его на Луне — а он вместе с Хенкином оказывается на Эшере. Хенкин, рискуя лицензией фирмы, помог ему без документов устроиться на работу. Для этого должны были быть какие-то веские причины.

Какую роль играл во всём этом Хенкин?..

Хенкин… Командировка заместителя директора фирмы на Эшер носила, можно сказать, непреднамеренную мотивацию. Скорее всего, раньше эти двое не встречались, и пересечься их маршруты могли только на Луне… Зачем Свифт понадобился Хенкину, об этом покойного уже не спросишь! И как он попал на Эшер, если в списках пассажиров «Геркулеса» не значился? Не в чемодане же его Хенкин провёз? Может, телепортация?..»

Быков переключил свой персональный компьютер на Интернет и набрал слово «телепортация». Ссылок на различные сайты оказалось довольно много, поэтому он добавил слова «достоверно зафиксированная». Так называемых достоверных случаев оказалось десятка два, причём все они были «зафиксированы» ещё в прошлом тысячелетии:

«…25 октября 1553 года некий солдат объявился в городе Мехико, тогда как его полк был расквартирован на Филиппинах. Суду инквизиции он заявил, что за несколько мгновений до своего переноса он нёс караульную службу при дворце губернатора в Маниле, который только что был предательски убит. Несколько месяцев спустя люди, прибывшие с Филиппин на корабле, подтвердили известие об убийстве губернатора и некоторые другие детали…

…В период между 1620 годом, когда ей было восемнадцать лет, и по 1631 год преподобная Мария, жившая в монастыре Иисуса в Агреде (Испания), совершила более 500 трансатлантических путешествий в Америку, где обратила в христианство индейцев племени юма в Нью-Мексико. По свидетельству более поздних миссионеров, индейцы заявили, что знакомству с христианством они обязаны «женщине в голубом», оставившей им кресты, чётки и потир для служения месс. Установлена принадлежность потира монастырю в Агреде…

…3 июня 1871 года медиум Гуппи, весившая сто килограммов, мгновенно была перенесена из своего дома в Хайбэри в Лондоне в дом на Лэмз Кондуит-стрит в трёх милях от первого. Приземлилась она на стол во время спиритического сеанса, причём в неглиже…

…В мае 1968 года Херальдо Видаль вместе со своей женой на машине из района Байа-Бланка в Аргентине перенеслись в Мексику за несколько тысяч миль. При этом оказался опалённым кузов автомобиля…»

Быков перескочил в конец списка и с разочарованием прочитал приписку: «В настоящее время проверить достоверность приведённых фактов не представляется возможным. См. также раздел „Хроноаномалии“».

Про хроноаномалии было написано довольно много.

Быков выборочно прочитал описание нескольких исчезновений и последующих возвращений людей за последнее десятилетие и так же перешёл на последнюю страницу. Вывод был столь же неопределённым: «…Исчезновение (предположительно в другие измерения) и последующее возвращение (через различные промежутки времени) людей связано, по всей видимости, с активностью аномальных зон. Научному объяснению ни один из зафиксированных случаев не поддаётся. Перемещения носят случайный, непредсказуемый характер и довольно редки, а сам процесс неуправляем. По этой причине феномен практически не изучен».

Он подошёл к окну кабинета.

На аллею сквера, на старые тополя ложился густой пушистый снег. Парочка влюблённых беседовала о чём-то на скамье, не обращая внимания на покрывший их плечи и головы белый покров. Прошла весёлая стайка школьниц с лыжами и разноцветными рюкзачками-ранцами — должно быть, на загородный автобус…

«А если Свифт — это не один человек, а несколько? — размышлял Быков. — Путешествуют себе по планетам… Но у всех одинаковый шрам выше виска, который они к тому же пытаются скрыть, у всех один характер и одна логика поступков… Фантомы одного человека, вернее — клон? Что-то эта версия не слишком убедительна…»

Он остановился посреди кабинета, потянулся, разминая затёкшие мышцы плеч. Потом снова начал мерить шагами свой кабинет.

«И всё-таки в этом клоне Свифтов что-то есть… Предположим, что их всё же несколько. Если один возникает на Альме, то куда девается тот, что пребывал на Земле? Если телепортацию в масштабах Земли ещё как-то можно представить, то перенос через миллионы километров космического пространства нормальному человеческому мозгу представить невозможно…

Что ж, придётся сделать и такое допущение, хотя это уже точно попадает в разряд мистики. Только зачем ему надо было в обоих известных случаях возвращаться назад в космолётах? Ведь космолёт — это натуральная ловушка, мышеловка! Которую, правда, он оба раза удачно открыл…»

Быков потёр глаза, помассировал виски, сделал несколько дыхательных упражнений из системы йогов и постарался снова сосредоточиться.

«Так, исчезает с Земли — тут же возникает на Альме. С какой целью — непонятно. На Тэссу он направляется уже в космолёте... Потом каким-то образом попадает на Луну, а следом — на Эшер. Причём пересечься с Хенкином он мог, конечно, где-то на Земле, но впервые их видят вместе во время посадки в космолёт на Луне, потом — уже в космопорту Эшера. Могли ли они, впервые встретившись на Луне, за несколько минут познакомиться и обо всём договориться? Сомнительно, хотя кто его знает?..

Зато бежать с Эшера у Свифта уже был смысл. И опять же: точный расчёт на аварию или очередная случайность? Допустим, что аварийная посадка «Геркулеса» на Луну — это просто случайность... Но вот как он сумел обвести вокруг пальца ребят из Кобза и исчезнуть на Луне из их поля зрения? Это с их-то техникой, которой доступна информация про любого, родившегося в ближайшие двести лет!..

Итак, для обыкновенного человека скрыться было бы просто невозможно... Но это для землянина! Мы ведь даже не представляем способностей представителя инопланетной цивилизации!

Если же Свифт — не человек, тогда моя логика ничего не стоит. Но его тяга к Валерии показывает, что Свифту, как и любому земному мужчине, свойственно всё человеческое... Хоть так, хоть этак — получается ерунда, а правильное решение в девяносто девяти случаях из ста бывает элементарно простым...»

Быков сел за стол и стал перелистывать папку с документами, собранную его предшественником, надеясь отыскать хоть крохотную зацепку. Неожиданно в справке о несчастном случае на Эшере на глаза ему попалась знакомая фамилия.

«Стоп! — Быков снова пробежал глазами справку. — Так и есть: Боб Митчелл. Одна из жертв нападения хищника на Эшере. В отчётах расследования дела Свифта эта фамилия не фигурировала». В памяти вдруг всплыла фраза, сказанная лет десять тому назад: «Боб Митчелл нигде и никогда не появляется случайно...»

И сразу же из самого потаённого, из крепко-накрепко замурованного тайника души поднялась, а если выразиться точнее, выползла давнишняя боль...

Они со Стеллой решили пожениться. Вопреки здравому смыслу и всего после третьей их встречи. Что поделать, если за полгода им удалось встретиться только трижды! Причём видеться удавалось лишь на Земле, поскольку они работали в разных отделах: она — в технической группе Комитета по безопасности Земли, он — в группе мониторов. Перерывы между их командировками упорно не совпадали, а пункты командировок являлись строжайшей служебной тайной для всех, кроме разве что высшего руководства. В принципе, они могли оказаться даже на одной планете — и не подозревать об этом.

Пожениться решили оба, причём разом и окончательно. Презрев инструкции, недовольство начальства и наверняка сопутствующие такому поступку проблемы.

В ту третью встречу, словно предчувствуя что-то, они торопились успеть как можно больше. Успеть в выпавшие два дня свободы и счастья. Спешили, как спешат, наверное, в последние дни жизни...

У Быкова даже комок подкатился к горлу от этой случайно всплывшей мысли о конце жизни. Он снова подошёл к окну и стал смотреть на засыпанную снегом аллею. Двое влюблённых всё ещё сидели на покрытой слоем снега скамейке и, похоже, ничего не замечали вокруг, кроме друг друга...

Они со Стеллой тогда оба дня мотались в поисках приключений, как два восторженных школьника на каникулах. В двухместном скоростном аэре они перелетали с места на место: из туристических Альп в прохладную Исландию, оттуда на песчаные пляжи Байкала, потом в Долину гейзеров на Камчатке... Неудержимо веселились, отчаянно чудили, а вечером выключали свет, все трансляции — и пили шампанское при свечах. Поили шампанским и Стасика-с-усами.

Стасик, выпив поднесённую ему каплю шампанского, обычно долго и ритмично шевелил длинными усами. Стелла смеялась и утверждала:
— Это он поёт!

Когда захмелевший Стасик засыпал, его укладывали в дом-коробку и закрывали — чтобы не подглядывал.

А потом были сказочные ночи. Всего две... Быкову особенно запомнилась та, на Байкале...

Они взяли напрокат маленькую уютную яхту и несколько часов, до самого заката солнца, шли под парусом вдоль берега. Было тепло, но не жарко. Свежий ветерок ласкал кожу, ерошил волосы. Волны ритмично покачивали яхту и целенаправленно устремлялись к берегу, где с шорохом, напоминающим промчавшегося мимо горнолыжника, пробегали по песчаному пляжу. Несмотря на большую глубину, просматривались и камни на дне, и стайки рыб.

А потом они бросили якорь и, как оказалось, не вполне удачно, потому что ночью неподалёку включился бакен. До самого рассвета он, словно ведя отсчёт минутам их счастья, то освещал через иллюминаторы каюту, то снова погружал в непроглядную тьму. В памяти Быкова это навсегда запечатлелось, как серия волшебных фото:

обнажённое тело Стеллы, тонкая рука, ласкающая его шею, бездонная чернота глаз, манящие губы… Они так и не заснули в ту ночь, потому что утром был изумительный розовый рассвет, а потом, следом,—вся палитра красок байкальской воды, ежеминутно и даже ежесекундно меняющей цвета и оттенки.

Такого буйства красок он не видел больше никогда, словно их все, которые Стелла должна была увидеть за свою жизнь, природа вместила в то счастливое утро…

Единственный из их команды, кто не выражал буйных восторгов, был мирно спящий Стасик-с-усами. Быкову почему-то казалось, что Стасик должен ревновать его к Стелле, поэтому, в качестве компенсации, что ли, он весь день оказывал усатому всяческие почести и даже клятвенно пообещал, что поместит его изображение на будущем семейном гербе Быковых. Такой чести Стасик заслужил уже одним тем, что полгода тому назад их познакомил…

Действительно, история их знакомства начиналась со Стасика-с-усами.

Монитор второго класса Вадим Быков тогда впервые принимал участие в работе координационного совета. Он скромно держался в стороне и почтительно, как неразумный юный внук в компании убелённых сединами дедов, взирал на «генералов космического сыска». А во время обеденного перерыва, когда почти все уже разошлись из кафе, за дальним столиком под развесистой пальмой, растущей в большой кадке, он заметил симпатичную светловолосую девушку. Как он сразу определил—ровесницу.

Заметив его взгляд, она быстро прикрыла ладонью что-то чёрное на краю столика. Но Быков успел разглядеть небольшой округлый предмет, который, как ему показалось, двигался.

— Убежит?—задал он вопрос наугад, когда подошёл к её столику.

В пустом зале его голос прозвучал неприлично громко. Девушка вспыхнула румянцем, метнула на него испытующий взгляд и смущённо ответила:

— Нет, он совсем ручной.

И тогда Быков набрался храбрости, вернее, как потом охарактеризовала его поступок Стелла, «преисполнился вопиющего нахальства», и бесцеремонно уселся рядом.

— Вы мне его покажете?—заговорщически спросил Быков.

Девушка нерешительно приподняла ладонь: на краю стола сидел и обиженно, должно быть, шевелил усами большой иссиня-чёрный таракан. Вадим знал из справочников, что на Земле такие водятся, но живого видел впервые.

— Тогда уж вы меня с ним и познакомьте!—продолжил он начатую игру.

— Его полное имя Стасик-с-усами, а для друзей просто Стасик,—девушка явно принимала правила игры-знакомства.

— А ваше?—задал Быков следующий, абсолютно предсказуемый вопрос.

— А меня зовут Стелла.

Это была вся их первая встреча. А через два месяца, уже на правах старого знакомого, Быков остановил её возле входа в Управление. Встретились как бы случайно—а на самом деле он выведал у знакомого из КобЗа, что Стелла на Земле, и полдня прождал её в сквере напротив входа с огромным букетом роз, вызывая недоумённые взгляды знакомых сотрудников. Остановил же под предлогом справиться о здоровье Стасика-с-усами.

Потом была их счастливая третья встреча. А четвёртой не было потому, что, когда он вернулся из очередной командировки, то узнал, что Стелла пропала. Ту проклятую планетку оперативные группы КобЗа обшарили буквально по сантиметру—и абсолютно ничего не нашли.

Тогда Быков настоял, чтобы ему оформили двухнедельный отпуск,—и отправился на поиски Стеллы. Для себя он твёрдо решил, что если не хватит двух недель, то он будет обшаривать эту планету и месяц, и год.

В КобЗе ему без пререканий выделили малый боевой рейдер серии «Катран» и предоставили все имеющиеся материалы этого дела. Как оказалось, сначала на этой планете пропала изыскательская группа Международного геологического объединения—ни с того ни с сего перестала выходить на связь.

В это время Стелла оказалась ближе всех к месту событий: она возвращалась из командировки на базовом космолёте, маршрут которого пролегал практически рядом. Последовал приказ: высадиться и произвести поиск. Стелла с напарником-практикантом Сергеем Кузнецовым стартовала на своём «Катране-17» в сторону планеты и осталась там «до выяснения». Её напарника Сергея Быков даже знал в лицо, поскольку Стелла успела их познакомить.

Через три дня от Стеллы поступила импульс-депеша: «Обнаружено место взрыва «Топаза». Спасшихся нет, «чёрный ящик» отсутствует. Вызываем базовый».

Одна фраза в этом донесении была из ряда вон выходящей: самописец бортовой информации, или в просторечии «чёрный ящик», исчезнуть при взрыве не мог. Во время полёта в него записывалось всё, включая данные физического состояния экипажа,—и он выдерживал температуру термоядерного взрыва. Ни уничтожить его, ни стереть в нём какую-то информацию было практически невозможно, недаром космолётчики шутили: «Ничто не вечно в этом мире, кроме бортового журнала в „чёрном ящике“».

Ещё через три дня прибыл базовый космолёт — но «Катрана-17» на орбите не оказалось. На связь за это время Стелла с напарником тоже не выходили. Сначала один, а потом два оперативно-поисковых отряда целую неделю — в очередной раз — вдоль и поперёк обшаривали планету. Обнаружили место взрыва «Топаза» — и больше ничего! Ни каких-либо следов рейдера, ни их «чёрных ящиков». Не помог и весь арсенал самого совершенного спецоборудования…

После двухнедельных бесплодных поисков Быков тоже почти сдался. Вернее, не то чтобы сдался, а решил довериться своей мониторской интуиции: рейдер на планете до сих пор не обнаружили потому, что его здесь просто нет.

До прибытия базового космолёта оставалось три дня — и Быков решил дожидаться его в оставшееся время где-нибудь на удалённой орбите. Он просто не мог больше оставаться на этой предательски безмятежной планете, не желавшей открывать свои тайны. И уже понял, что искать Стеллу и её «Катран» нужно где-то в другом месте. Знать бы только где!..

Поэтому и стартовал он с планеты без предварительных расчётов и в бесцельном направлении — подчиняясь всё той же интуиции. Потом, выполняя непрактичный, непозволительно большой разворот, заметил на обзорном экране — довольно далеко — сверкающую точку астероида.

Громадный, километров пять в длину и около километра в диаметре, каменный исполин внешне напоминал ощетинившегося дикобраза — три четверти его поверхности были утыканы гигантскими острыми кристаллами.

Ещё не вполне осознавая, что он будет делать дальше, Быков включил двигатели торможения. Уравняв скорости и приблизившись на дистанцию в полкилометра, решил сделать облёт «дикобраза» и внимательно осмотреть его. Не только кому-нибудь другому, но даже себе он не смог бы объяснить, зачем это делает: ведь с таким же успехом Стеллу можно было искать в любой точке пространства на миллионы километров вокруг. А у Быкова даже не было с собой спецоборудования для дальних обнаружений, так как он находился «не при исполнении». Да мониторам оно, по правилам, и не полагалось.

Внимательно вглядываясь в нагромождение чёрных кристаллов какого-то замёрзшего газа, пролетел над освещённой стороной астероида и, перевалив на теневую, включил бортовой прожектор.

Медленно проплывающая под рейдером поверхность камня в центре освещённого круга казалась относительно ровной, но границу света обрамлял веер иглообразных теней от кристаллов. То есть эта летающая друза кристаллов была абсолютно непригодна для посадки и вряд ли могла вызывать хоть какой-то практический интерес.

Рейдер уже выходил на границу тьмы и света, когда позади, на самом краю освещённого прожектором круга, зажглась маленькая яркая звёздочка. Вспыхнула всего на какой-то миг — и тут же пропала!

Он совершил ещё один оборот, и снова в том же месте на миг возникла белёсая искорка. Тогда Быков стал медленно, по спирали, снижать рейдер к этой точке.

Сверху круглый провал среди кристаллов выглядел как обычная воронка от метеорита, и только после того, как рейдер завис над ней в нескольких десятках метров, Быков распознал специально расчищенную небольшую площадку. Хотя вполне может быть, что до расчистки она и была именно метеоритной воронкой… С каждым метром спуска хаос кристаллов рос вверх, а площадка становилась всё менее привлекательной для посадки. Слишком уж она была неровной и какой-то корявой, словно изъеденной каменной оспой. Осторожно и очень медленно, буквально по сантиметрам, он опускал рейдер в каменный колодец.

Вот на пульте вспыхнул красный сигнал касания поверхности… И тотчас ослепительная вспышка залила обзорный экран. Словно сильный электрический разряд ударил по напряжённым нервам.

— Фу ты, чёрт! — воскликнул Быков и перевёл остановившееся дыхание.

От собственного крика ему стало неловко, и монитор даже непроизвольно оглянулся, словно его кто-то мог услышать.

Он впервые, ввиду исключительных обстоятельств, лично пользовался боевым рейдером, что, в общем-то, мониторам тоже не полагалось. Поэтому и забыл про конструктивную особенность, что при посадке в невесомости на «Катране» автоматически срабатывает сверху импульс-двигатель, прижимающий рейдер к поверхности, а четыре легкоплавких щупа на концах амортизаторов намертво сплавляются с камнем.

Теперь рейдер представлял в буквальном смысле единое целое с астероидом.

В комплекте рейдера были два подгоняемых по размеру десантных «Витязя». Быков выбрал тот, что попроще, — не оборудованный многоцелевыми датчиками и поисковыми системами, ибо был наслышан, что профессионалы многоцелевыми датчиками в скафандрах практически никогда не пользовались: в серьёзной ситуации и в настоящем деле за ними просто некогда было следить. Кроме того, их информация функционально выводилась на стекло гермошлема, что значительно ухудшало обзор и отвлекало. Многочисленные же антенны на верху гермошлема и на плечах — это как ветвистые рога для оленя в густых зарослях.

Единственным жизненно необходимым считался датчик сверхжёсткой радиации — это когда лезли «в пекло». Но и тогда большинство предпочитало менее «навороченный», зато вмонтированный в специальный наручный браслет. Практика показывала, что, как правило, выживал тот, у кого лучше срабатывала интуиция, а не тот, кто был «до зубов» вооружён приборами…

Отыскав, как и ожидал, в одном из ящиков шкафа радиационный браслет, он нацепил его на левую перчатку и внимательно осмотрел себя в зеркале. Порядок: все лючки закрыты, защёлки зафиксированы… Главное, чтобы боевой бластер удобно расположился на поясе!

Дождавшись сигнала подтверждения герметичности скафандра, Быков перешёл в шлюзовую камеру — и через несколько минут выбрался наружу, где прожекторы освещали по всему периметру площадки величественный каменный хаос.

Внимательно глядя под ноги, он обогнул рейдер. Поднял глаза — и замер от неожиданности: чёрное, почти правильной прямоугольной формы большое пятно, вне всякого сомнения, являлось туннелем — то есть входом во что-то. Он сделал шаг в его направлении, но потом решил для начала найти тот блестящий предмет.

Пустой зарядный цилиндр аннигилятора он обнаружил на другом краю площадки. Полированный титановый баллон был кем-то туго заклинен в глубокой трещине, частично оплавившейся когда-то от неизвестного жара. Не найдя на нём никаких опознавательных надписей, Быков отнёс баллон в шлюз рейдера, после чего направился к чёрному проёму, оказавшемуся входом в большой изогнутый туннель.

Пройдя по нему с десяток метров, вдруг почувствовал, что теряет устойчивость — слабело действие собственного гравитатора рейдера. Теперь с каждым шагом искусственная сила гравитации падала в геометрической прогрессии и, кроме того, меняла направление.

Быков включил профессиональную память и восстановил нужную страницу инструкции по пользованию «Витязем»:

«…В случае необходимости передвижения по твёрдой (не пылевидной!) поверхности в невесомости, открыть левой рукой лючок на правом предплечье и переключить вверх центральный из трёх тумблеров (не забудьте вернуть лючок в первоначальное положение!)…»

После щелчка тумблера ноги перестали «всплывать» — заработала система «геккон», основанная на том, что по капиллярам на подошвы ботинок стала поступать клейкая эмульсия. Такими ботинками первоначально пользовались ремонтники в невесомости — и потом, до нырка в атмосферу, обшивки космолётов были украшены хорошо заметными пересекающимися цепочками следов.

Быков сразу же понял, почему десантники проходят специальный курс обучения ходьбы в «гекконах»: стоило оторвать ногу от поверхности, как она старалась воспарить на уровень головы, стоило напрячь мышцы, как начиналось балансирование на одной точке опоры, ибо руки стремились повторить траекторию обретшей волю ноги. Эта эквилибристика на одной ноге со стороны выглядела, должно быть, как танец многорукого бога Шивы. И утомляла чрезвычайно…

Туннель был в самом деле впечатляющих размеров и, судя по оплавленному своду, искусственного происхождения. Он явно был выжжен в толще скалы аннигилятором. В дальнем его конце луч нашлемного прожектора высветил «Катран» — точно такой же, на каком прилетел Быков. Подойдя вплотную к чужому рейдеру, Быков разглядел спрятавшийся за ним и отблескивающий обшарпанной титановой оболочкой пассажирский бот давно устаревшей серии «Ковчег».

«Какой же номер был у рейдера Стеллы?» — задал себе вопрос Быков, и память тут же услужливо подсказала: «ДР-17–69».

Маркировка оказалась на противоположном борту. В свете прожектора белые цифры ярко вспыхнули на голубом керамите: «ДР-… 17-…». Он сделал ещё несколько шагов — и высветил последнюю цифру: «69».

У Быкова разом перехватило дыхание, и рука потянулась к несуществующему вороту рубашки… «Наконец-то нашёл! Она здесь, рядом!»

И тут же разглядел, что там, где должен был находиться входной люк, зияла дыра неправильной формы — кто-то поработал лазерным резаком. Этот кто-то, без всякого сомнения, был чужим, потому что кодированный люк открывался автоматически на голос Стеллы или её стажёра.

Через дыру Быков пролез внутрь рейдера. Пусто, как он и ожидал! Сняты аннигилятор, гравитатор и блоки автономного жизнеобеспечения… Стало ясно, что рейдер беззастенчиво грабили. Рейдер Стеллы грабили!!!

Все дальнейшие действия он выполнял скорее автоматически, в каком-то не свойственном ему полузабытьи. Обошёл «Ковчег» вокруг, отметив, что хотя тот и выглядит довольно потрёпанным, но, похоже, находится в исправном состоянии. Его профессиональный взгляд, независимо от притуплённого сознания, автоматически отмечал каждую деталь — искал следы Стеллы.

За «Ковчегом» открылся вход в довольно узкий коридор, так же, как и туннель, вырезанный аннигилятором. Продвигаясь по нему, Быков с удивлением отметил, что координация ног восстанавливается — и догадался, что где-то неподалёку работает гравитатор. Поэтому когда обнаружил в конце коридора-лаза шлюзовой люк, то не особенно этому удивился.

А дальше, одно за другим, он нарушил все правила работы «кобзовцев». Либо потому, что привык работать в одиночку, либо призрачный шанс увидеть Стеллу живой на какое-то время вытеснил из головы все инструкции.

Вместо того чтобы вернуться в свой «Катран» и связаться с Управлением, он привычным движением надавил на рычаг декомпрессии шлюзовой камеры—и протиснулся внутрь. Потом включил продувку и, сняв бластер с предохранителя, с силой толкнул входной люк и шагнул внутрь, рассчитывая на свою профессиональную реакцию…

Люк не успел ещё полностью распахнуться, как Быкову показалось, что в лицо ему метнулось что-то большое и ярко-красное. В следующий миг стало совсем темно, только в правом нижнем углу стекла гермошлема оставался багровый отсвет.

Сильный удар выбил из его руки бластер, и какая-то тяжесть навалилась на плечи и шею, повлекла вперёд. Быков рванулся изо всех сил, но последовал удар под колени—и он беспомощно рухнул навзничь.

Он ещё пытался сопротивляться, но с каждым движением кто-то невидимый всё сильнее стягивал его руки в локтях. Потом крепкие путы спеленали всё его тело, окончательно сковав движения. Быков понял, что его попросту связали…

Долго ждать ему не пришлось: кто-то приподнял его голову, щёлкнули замки—и стекло гермошлема откинулось. В глаза ударил яркий электрический свет, так что Быков несколько мгновений ничего не мог разглядеть.

Когда глаза наконец привыкли, увидел двоих склонившихся над ним мужчин. Один был в пилотском скафандре со снятым шлемом, другой одет в синий комбинезон, какие обычно выдают строительным рабочим. Рукав комбинезона был испачкан чем-то красным—Быкову показалось, что кровью.

—Кто вы?—спросил он, хотя мог и не задавать этот риторический вопрос, ибо по действиям незнакомцев нетрудно было догадаться, с кем имеет дело.

—Это надо же!—густым басом прогудел тот, что был в комбинезоне.—Пожалуй, это нам надо спрашивать: кто вы, непрошеный гость? Врывается без приглашения, с бластером в руке…

—Я и так могу ска-азать, кто он та-акой,—растягивая слова, как это делают заики, мужчина в скафандре брезгливо разглядывал свою перчатку, испачканную красной краской.—Прилетел на «Каатране», которыми пользуются па-арни из КобЗа, да и номер той же серии, что и то-от, первый…

—Дружков своих ищешь?—спросил тот, что в комбинезоне.—Считай, что сегодня встретишься… На том свете!

Быков отметил, что говоривший был атлетического телосложения, но даже с такой низкой точки, как пол, ноги его казались непропорционально короткими.

«Коротышка, должно быть?—автоматически отметил он.—Но силы неимоверной».

Осознавая свою полную беспомощность и обречённость, Быков решил молчать и достойно встретить неминуемую смерть.

«Значит, Стелла погибла!—размышлял монитор.—Ведь я уже с неделю подсознательно уверовал в это, но всё время заставлял свой внутренний голос молчать. А тут увидел её рейдер—и перестал что-нибудь соображать. Так глупо попасться простительно было бы для зелёного мальчишки, но не для монитора первого класса… А может, это и к лучшему? Ведь Стеллы больше нет! Жаль только, что я стану очередным пропавшим без вести на этой проклятой планете! Так глупо проколоться!.. Ну да никто об этом теперь не узнает…»

—Согласись, что мы ловко тебя обезоружили?—коротышка самодовольно усмехнулся.—И всего-то с помощью банального краскопульта.

—Да, методы у вас совсем не джентльменские,—согласился Быков.

—Специфика…—протянул заика.—Ты нас просто до-остал: две недели ждали, когда уберёшься восвояси с этой планеты. Да-аже представить не можешь, как ты нам надоел! Посидел бы с наше, практически вза-аперти!.. А сегодня смотрим—ста-артовал! Честно скажу—обрадовались! Но уж никак не ожидали, что ты на-аправляешься прямёхонько к нам…

—Геологи… Это тоже ваша работа?—спросил Быков.

—А чья же ещё?!—самодовольно ответил коротышка.

—Чем же они вам помешали?—поинтересовался Быков.

—Лично на-ам—ничем,—отозвался заика,—но после их отлёта эту пла-анетку непременно бы присвоила Зе-емля. А у тех, кто нам пла-атит, по поводу её судьбы другие пла-аны…

—Прилетят другие,—заверил Быков.

—Другие не на-айдут. И эти-то на месторождение на-аткнулись случайно. Мы позаботились, чтобы больше никто не на-ашёл…

—А теперь откровенность за откровенность,—обратился к Быкову коротышка.—Как ты нас сумел обнаружить?

—Интуиция помогла,—ответил Быков, решив не упоминать об оставленном кем-то знаке.

Он уже догадался, что это было сделано специально, и пожалел, что убрал цилиндр в рейдер. Возможно, это сделала Стелла сразу после посадки?.. А вот он, не подумав, уничтожил «опознак»! Вдруг ещё кто-нибудь из «кобзовцев» заметил бы его?..

—Ха!—коротышка хмыкнул.—У тех двоих тоже сработала интуиция. Вас что, программируют там, в КобЗе, одинаковые мозги вставляют?

— Ну да ничего,—заверил заика.—У тех отключить интуицию мы на-ашли способ, отключим и тебе…
— Вас всё равно обнаружат,—заверил Быков.—Раз нашли убежище мы, найдут и другие!
— Это мы и без тебя знаем,—ответил коротышка.—Но не сегодня, так завтра нас здесь уже не будет. Отсиделись в этой норе, а теперь—домой, на матушку-Землю! Ох и покутим там от души!..
— Взорвём твой рейдер,—продолжил заика,—и всё будет шито-кры-ыто. Как с геологами. Даже ваш хва-алёный Кобз не смог докопаться…
— Что вы сделали со Стеллой?—спросил Быков, весь внутренне напрягшись.
— А, это та де-евчонка? Успокойся, они не мучались! Она просто исчезла, растворилась. Сейчас атомы, из которых они со-остояли, плавают в ко-осмосе. Ведь ничто, как утверждает на-аука, не исчезает в на-ашем мире бесследно…
— Как вы могли, она ведь женщина!—Быков просто задохнулся от нахлынувших ярости и ненависти.
— Вот мы и поступили ка-ак джентельмены…—заика явно издевался.—А вот ты у на-ас помучаешься. Ты ведь этого до-обиваешься?..

То внутреннее напряжение, что уже несколько недель поддерживало Быкова, та боль, что, не затихая ни на секунду, жгла сердце,—вдруг разом схлынули. Словно оборвалась и последняя до предела натянутая звенящая струна. Всё разом стало безразличным: к чему эти бесполезные разговоры, к чему задавать вопросы, если его конец ясен и предрешён? К чему вообще жить, если Стеллы больше нет?..

Быков отгородился от всего окружающего и уже не слушал, не вникал в смысл задаваемых ему вопросов. В памяти, как живая, возникла Стелла, и эти последние минуты своей жизни он хотел быть только с нею…
— Ты бы хоть ругался, угрожал, что ли,—приставал коротышка.—А то говорим только мы—получается совсем неинтересная беседа…
— Мы чертовски со-оскучились по человеческой речи,—продолжил заика.—Ну что тебе стоит немного поругаться на-апоследок?..

«Это не люди,—думал Быков.—Это циничные подонки, заслуживающие только смерти! Пираты двадцать первого века… Во все времена их без суда вздёргивали на реях».
— Ну, ты сам виноват, что не хочешь с на-ами водиться! А я ещё хотел подарить те-ебе лёгкую смерть! Но раз ты та-акой гордый…

Быков молчал. Ему было всё равно, что с ним будут делать дальше. Собственное бессилие, невозможность что-нибудь изменить часто рождают апатию. Вот если бы у него был хотя бы малейший шанс! Надежда всегда умирает последней, но мозг профессионала подсказывал ему, что такого шанса не представится…
— Вас троих ведь никто на астероид не звал—летели бы своей дорогой,—поддержал заику коротышка.—А теперь, сам понимаешь, отпустить тебя мы уже не можем, даже если бы и захотели. И даже оставить в целости твой рейдер и твоё бренное тело…
— Так и не будешь ра-азговаривать?—заику это, похоже, сильно злило.—Для тебя же хуже! Я тебя, та-акого гордого, не п-просто убью, а получу от про-оцесса несказанное удовольствие. Я помещу тебя в ска-афандре позади нашей колымаги, причём не в са-амом горячем месте. Сначала будешь м-медленно-медленно на-агреваться, потом жариться в со-обственном соку, а потом твои пропитанные статьями законов по-отроха испарятся. И всё время ты будешь не мо-олчать, как сейчас, а дико орать. А мы включим б-ближнюю связь—и будем слушать твои долгие во-опли. Ведь ты живучий, не пра-авда ли? Вон как со-опротивлял…

По оборвавшейся фразе заики Быков понял: что-то произошло. Лёжа на полу, он видел, что взгляды пиратов обратились в сторону шлюзовой камеры. Заика даже расстегнул кобуру бластера, но доставать его не торопился.

Повернув голову, насколько это было возможно, и скосив глаза, Быков увидел в проёме входного люка человека в скафандре и с бластером в руках.

Вдруг кто-то из пиратов вскрикнул, и Быков увидел, как от скафандра заики брызнула струйка дыма и пламени—и на его поверхности, в районе левой груди, расползлось чёрное дымящееся пятно. Потом последовало невнятное восклицание коротышки, но Быков не видел, что с тем случилось, потому что мёртвый коротышка рухнул прямо на него.

«Кто же это?—думал Быков.—Для базового космолёта слишком рано! Может, кто-то из наших пролетал мимо—и обнаружил мой рейдер?»

Однако когда спаситель, сдёрнув в сторону тело коротышки, откинул свой шлем, он с удивлением увидел, что мужчина ему совершенно не знаком. И пока тот распутывал стягивающий скафандр монитора кабель, Быков разглядывал его полное лицо с мясистым носом, его крупную голову с большими залысинами. Профессионально отметил, что крупной, представительной фигуре незнакомца совершенно не соответствовал бегающий, словно всё время что-то отыскивающий взгляд, но решил, что это, должно быть, от не улёгшегося ещё волнения…
— Собственно, хотелось бы узнать: кого я только что освободил?—задал наконец вопрос незнакомец.
— Монитор второго класса Вадим Быков.
— Очень, очень рад такому знакомству. А я Бобби Митчелл, инспектор безопасности полётов фирмы «Круизкосмос». Значит, я правильно оценил ситуацию, увидев связанного представителя закона и двух вооружённых головорезов рядом? Но

насколько я знаю, такие скафандры и рейдеры имеют только сотрудники Кобза?

— Вы правы, просто я работаю по их заданию.

— А где, кстати, ваш напарник? Что-то я его не встретил...

— Я один.

— Смотри-ка ты...—разочарованно, как показалось Быкову, произнёс Митчелл.—Как-то очень уж неосторожно с вашей стороны... Ну что же, как говорится, всё хорошо—что хорошо кончается.

— Да, мне крупно повезло, что вы случайно оказались здесь.

— Боб Митчелл нигде и никогда не появляется случайно. Лечу мимо, вижу безжизненный «Катран»—значит, думаю, что-то случилось. Слегка удивило, конечно, что этим забытым Богом и людьми камнем заинтересовались «кобзовцы»... Но я в какой-то мере ваш коллега, а коллеги всегда должны помогать друг другу.

— Простите, а как вы решились стрелять в незнакомых людей? Ведь ситуация могла быть и прямо противоположной.

— Когда двое здоровых громил мучают одного, причём связанного по рукам и ногам, это уже само по себе ни о чём хорошем не говорит. А если ещё на этом связанном надет служебный скафандр «Витязь»... Кроме того, у меня ведь не оставалось выбора—они оба схватились за свои бластеры. Вы, монитор, надеюсь, подтвердите это?..

...Они тогда просидели на астероиде четверо суток, предупредив базовый космолёт, чтобы тот пока не появлялся на орбите планеты и не спугнул транспорт преступников. Но космолёта, который должен был прибыть за пиратами, они так и не дождались. Либо сработало какое-то автоматическое предупреждение, либо...

Только теперь старший монитор Вадим Быков окончательно понял, что Боб Митчелл тогда на астероиде появился не случайно...

Быков глянул на часы. Официальный рабочий день давно закончился. Спешить ему было некуда, и эти четыре года после смерти Стеллы он жил, по существу, одной только работой. Брался за самые «глухие» дела, напрашивался во всевозможные командировки—всё лишь для того, чтобы загрузить себя до крайности. Ночью падал в изнеможении на спасительную кровать и старался думать о чём угодно, только не о Стелле—а иначе так и лежал бы до рассвета без сна. Психологи утверждают, что время лечит, вот только никогда не называют конкретный срок...

Может быть, всё было бы намного проще, если бы он увидел Стеллу мёртвой, а так он все эти годы в глубине души продолжал верить в чудо. Ведь заика сказал тогда, что она не мучилась, а просто исчезла. В этой недосказанности была какая-то тайна, которую знали только те двое.

«А ведь она могла, как этот Свифт, перенестись в пространстве или во времени!—подумал вдруг Быков.—И тогда есть шанс, что она найдёт способ вернуться назад!»

От такой неожиданной мысли у него даже ладони вспотели.

«Определённо, эту возможность нельзя полностью исключить, особенно в связи с невероятными перемещениями Свифта,—убеждал он себя.—Подобный эффект вряд ли может быть единичным».

Быков придвинул к себе фотографию Стеллы в рамке и долго-долго смотрел на неё, представляя любимую то на пустынной планете, то на Земле, но в далёком прошлом. И если она сейчас тоже думает о нём, то их мысли должны встретиться. Он пытался нащупать хоть какую-то связь, хоть какой-то импульс—но и пространство, и время не отзывались на его зов, на его мысли. Либо любимой и в самом деле не было в живых, либо она находилась очень и очень далеко...

Быков шёл по присыпанной пушистым снегом аллее, вдыхая особенный аромат наступившей короткой зимы. От влюблённых на белоснежной скамейке остался след, чем-то напоминающий стилизованное изображение сердца. «Счастливые»,—подумал про них монитор с лёгкой завистью.

Он вдруг вспомнил, что давно уже не ходил по настоящему снегу. С тех пор как климат Земли потеплел, истинную зиму можно было прочувствовать лишь где-нибудь на севере Сибири, а в Европе она длилась всего лишь несколько недель, да и то не каждый год. Вдыхая незнакомо щекочущий ноздри лёгким морозцем воздух, он вдруг захотел пережить те же чувства, что и тогда со Стеллой, в выбеленной первым снегом Исландии. Чтобы не думать о каком-то расследовании и вообще о работе—а просто радоваться жизни. Тогда это было так просто!

Но едва ему действительно удалось немного отвлечься, как в голову незаметно, исподволь вползла мысль, что во всей этой истории со Свифтом существует некая отправная точка. У него и прежде возникало подобное состояние предчувствия прозрения, поэтому Быков не торопил сознание, давая ему возможность без спешки проанализировать пока ещё неустойчивую цепочку разорванных фактов и сопоставлений...

«Пляж!—осенило его.—Ну конечно же, старый пляж, где работают археологи! Его невероятное появление связано с пляжем, и перед тем, как появиться на Альме, он зачем-то снова посещал пляж. Случайность? Но две случайности—это уже закономерность! Тем более неизвестно, был ли он там перед появлением на Эшере...»

Быкова вдруг неудержимо потянуло на этот пляж. Он, конечно же, не рассчитывал прямо

сейчас встретить там Свифта, ибо даже предположение подобного находилось где-то в области фантастики — просто имело смысл оценить обстановку: походить по песку, посмотреть на раскопки, подумать…

Он свернул к кабине транспортного диспетчера и вызвал одноместный глаер. Через несколько минут маленькая голубая кабина опустилась прямо на дорожку с лёгким жужжанием, гостеприимно распахнула дверцы. Быков сел в пневмокресло, переключил управление на ручное — и глаер взмыл к низким дождевым облакам…

Пляж был довольно большим по площади, но сейчас на значительном его пространстве работали землеройные машины. Они осторожно рыхлили белый песок и по толстым гофрированным трубам отсасывали его на многоярусные сита. Просеянный песок перекачивался дальше, в пневмоконтейнеры. Когда работы закончатся — его аккуратно возвратят на место. В центре большого котлована уже явственно проступали мощные прямоугольные формы — полуразрушенная каменная кладка. Похоже, что когда-то она была причалом для морских судов.

Быков медленно шёл вдоль края котлована туда, где шумел морской прибой. Иногда он обходил свежесгребённые кучи, и тогда ноги глубоко проваливались во взрыхленный песок — но он, погружённый в свои мысли, не замечал ни нещадно палящего солнца, ни набившегося в обувь мелкого песка. Наверное, уже был смысл повернуть назад, к глаеру, но словно какой-то неведомый магнит тянул его всё дальше и дальше в этом лабиринте отвалов.

Неожиданно за одной из больших куч песка он наткнулся на мужчину. Тот сидел на камне и задумчиво смотрел на работающие в котловане машины, так что даже головы не повернул в сторону подошедшего монитора.

— Интересуетесь раскопками? — спросил Быков.

Незнакомец медленно повернул голову. Из-под низко надвинутой шляпы на Быкова глянули глубоко посаженные усталые и словно бы потухшие глаза…

Монитор даже вздрогнул от неожиданности: тяжеловатый подбородок с ямочкой посредине, прямой нос, резко очерченный рот… Быков так часто и внимательно разглядывал это лицо на фотографии, что просто не мог ошибиться… Сэмюэль Свифт собственной персоной!

Но как же он осунулся, постарел! И его глаза: они не просто усталые, а безразличные ко всему окружающему. Быков мог поклясться, что Свифт даже не рассматривал его — лишь чуть тронул взглядом. И тут же безразлично отвернулся.

— Вы ведь Сэмюэль Свифт, не правда ли?

Снова этот потухший взгляд — и глуховато-безразличный, словно бы надтреснутый голос:

— Кто вы? Что вам от меня нужно?

— Я монитор первого класса Вадим Быков.

— Почему вы меня преследуете, монитор? — устало проговорил Свифт. — Почему меня всё время преследуют, словно я преступник? Оставьте меня, наконец, в покое!

— Давайте говорить откровенно. Я занимаюсь потенциально опасными явлениями и людьми, представляющими реальную или потенциальную опасность для человечества. Пока мы не знаем о вас ничего, вы попадаете под обе категории.

— Но я не сделал ни малейшего вреда ни одному из людей, живущих в вашем мире, — заговорил Свифт уже более эмоционально. — Все мои грехи в далёком прошлом и вас не касаются.

— В этом я и должен убедиться! Если вы действительно не представляете никакой угрозы, вам нечего бояться, — успокоил Быков. — Ваша откровенность в ваших же интересах.

— Я всё расскажу, — снова равнодушно проговорил Свифт, — но я слишком устал… Если можно, отвезите меня к доктору Йенсону. Ведь вы наверняка знаете его?

— Да, я знаю Йенсона. Давайте договоримся так: через полчаса он будет здесь, а я пока ни о чём не буду вас расспрашивать. А вы никуда не исчезаете и идёте сейчас со мной до глаера.

Свифт ничего не ответил, только кивнул головой в знак согласия.

Так же молча он поднялся и медленно, донельзя усталой походкой, пошёл вслед за монитором.

Быков шёл специально медленно и не оглядывался. Он и так слышал шаги Свифта, его прерывистое дыхание.

Да, как-то совсем не так он представлял эту встречу! Вся эта погоня за призраком, все гипотезы о хитром и опасном существе, именующем себя Сэмюэлем Свифтом, на деле оказались преследованием донельзя усталого, отчаявшегося человека. В принципе, они были в чём-то даже похожи: не потому ли Быков отыскал в конце концов его след? Сейчас интуиция подсказывала ему, что тяжело шагающий позади человек ничуть не опасен, а просто глубоко несчастен…

А шагавший позади Сэмюэль Свифт думал не о предстоящем допросе и даже не об идущем впереди мониторе — его усталый мозг практически не воспринимал уже окружающий мир, а мысли были в прошлом, где всё легко и ясно. Где он был самим собой — офицером флота Его Величества…

Глава 5. Флибустьерское море

Кем видит себя в будущем, о какой профессии мечтает человек в детстве? Если скажет, что учёным или бизнесменом, — не верьте, ибо о такой судьбе ребёнка мечтают его родители. Это они каждодневно внушают любимому чаду собственную мечту. Если признается, что лётчиком или

космонавтом,—это тоже будет неправдой, ибо такую мечту—в воспитательно-патриотических целях, конечно же,—навязывает ему общество через газеты, телевидение, кино. И уж абсолютной ложью будет ответ, что он хочет стать политиком,—поскольку оценить выгоды этой лживой и неблагодарной профессии может только умудрённый жизненным опытом и отягощённый неосуществлёнными амбициями человек.

Но со стопроцентной уверенностью можно утверждать, что большинство мальчишек и немало девчонок в детстве видели себя пиратами. Это трудно объяснить, но романтический образ «джентльмена удачи» сформировался вопреки литературе и вопреки истине. И живёт до сих пор—недаром кружатся вокруг каждой новогодней ёлки, взявшись за руки с разноцветными «снежинками» и длинноухими зайцами, одноглазые, увешанные саблями и пистолетами пираты. За этим образом представляется бескрайнее море, ветры странствий, отчаянная храбрость, удача и, конечно же, любовь прекрасных женщин. То, чего в обычной жизни большинству так не хватает…

Уже седьмые сутки они курсируют на траверсе мыса Тибурон, западнее оконечности острова Эспаньола, и поджидают добычу. За это время на горизонте дважды возникали паруса испанских караванов, которые, проходя мимо, держали под прицелом многочисленных пушек берег острова.

И оба раза маневренной «Глории» приходилось затаиваться за мысом, в крохотной бухточке, узкий вход в которую закрывали скалы. Это было крайне рискованно—барражировать под самым носом у испанцев, на границе Антильского моря, вот и приходилось прятаться. Потому что в одиночку нападать на караван было бы чистейшим безумием.

Капитан линейного корабля четвёртого ранга флота Его Величества Сэмюэль Свифт терпеливо поджидал одинокого «испанца», плывущего от берегов Кубы. Он не просто осторожничал: тактика одиночного охотника проста—нападай на более слабого и держись подальше от сильного. Такого же мнения придерживался и капитан барражировавшей далеко в море пиратской шхуны «Дельфин»—только пираты не прятались в скалах, а просто уступали испанским караванам путь.

Прошло уже пять лет, как был подписан договор о мире и союзе Англии с Испанией, но скрытая морская война между ними не прекратилась. И поэтому честолюбивый капитан отнюдь не желал прозябать в каком-нибудь порту. Что греха таить, лавры соплеменника-корсара Джорджа Клиффорда, пожалованного орденом Подвязки и титулом графа Кемберленского, давно не давали ему покоя. Род Свифтов совсем не богат, да к тому же недостаточно знатен, поэтому настоящую карьеру можно сделать лишь так—рискуя собственной головой. А ещё, как любил повторять отец: «Старость начинается в тот день, когда умирает твоя отвага». До старости капитану, конечно, было далеко, а вот отваги не занимать—он по своей натуре был авантюристом и искателем приключений.

Да, к великому сожалению морского офицера, Англия не вела активных военных действий на море, поэтому взять большой приз можно было только таким вот образом: нападая на «купцов» и превратив военный корабль в полуохотника-полупирата, а сотню человек его экипажа—в корсаров. И уж он, капитан Свифт, непременно возьмёт свой приз, даже поступившись в какой-то мере своей офицерской честью!

Итак, первого сентября тысяча шестьсот тридцать пятого года наблюдатель на скале подал сигнал, что на горизонте возник одинокий парус. Судно шло курсом зюйд-вест, то есть со стороны острова Куба: скорее всего, из порта Сантьяго-де-Куба.

Капитан, поднявшись на скалу, тщательно осмотрел горизонт в подзорную трубу—и не обнаружил паруса «Дельфина». То ли капитан грязной пиратской посудины испугался открытого боя и последующего конфликта с хорошо вооружённой «Глорией», то ли у него на примете было своё укромное местечко среди прибрежных скал.

Ну что ж, это даже к лучшему—меньше проблем!

А ведь как пират набивался в долю, предлагая ему, офицеру английского флота, напасть совместно и поровну поделить будущий приз. Он считал, что от столь заманчивого предложения невозможно отказаться! Да, капитан Сэмюэль Свифт мог бы поделиться с другим офицером, но не с этим наглым оборванцем, именующим себя «джентльменом удачи» и пытавшимся при этом держаться как равный с равным!

«И этот проходимец, не умеющий даже читать, гордо величает себя корсаром!»—подумал Свифт и, вспомнив, что за бумагу показал ему капитан «Дельфина» в качестве поручительства Карла Первого Стюарта, снова чуть не расхохотался. На грамоте и вправду стояла королевская печать, но написано было, что «подателю сего разрешается охотиться на диких коз».

Капитан сверху любовно окинул взглядом свою «Глорию». Конечно, пиратский «Дельфин» с треугольным бермудским парусом на высокой мачте и с кливером на бушприте достаточно быстроходен, но вооружение его явно слабовато. Во время переговоров он насчитал всего пять маленьких пушек: одна на носу и по две на бортах. Правда, на палубе толпилось добрых полсотни вооружённых бездельников—а это серьёзная сила, ведь далеко не всё решают пушки, и при абордаже чем больше атакующих, тем лучше…

«В общем, если бы не панический страх «купцов» перед пиратами,—размышлял капитан,—такое судно нельзя считать грозным в боевом отношении. Любой «купец» превосходил их, по крайней мере, в вооружении. И этим оборванным «джентльменам» действительно без удачи в их нападениях не обойтись! Недаром они настойчиво пытались заключить временный союз…»

Матросы под скалой уже заняли места в лодке, но Свифт не спешил: он не отрывал глаз от подзорной трубы. Испанское судно шло в фордевинде практически прямо на оконечность мыса и приблизилось настолько, что в нём без труда узнавался четырёхмачтовый галеон. Судно явно перегружено—это было заметно по тому, что средняя палуба значительно меньше, чем положено, возвышается над водой. Дул свежий норд-вест, значит, «Глория» без труда настигнет галеон, поймав ветер сразу же на выходе из бухты!

Команда с величайшим воодушевлением восприняла сообщение капитана, потому что чем крупнее корабль—тем богаче, как правило, добыча.

На всех палубах зазвучали возбуждённые голоса матросов и словно бы весёлые, отрывистые и громкие команды младших офицеров. Готовились пушкари: подносили из крюйт-камеры к пушкам картузы—полотняные мешки с зарядом, рядом складывали ядра. Матросы вытаскивали на палубу оружейные ящики, укладывали бухтами канаты с привязанными «кошками».

Возбуждение предстоящего боя захлёстывает команду корабля дважды: в начале подготовки к преследованию—и уже в последние минуты перед схваткой. Именно в такие моменты уставшие от ожидания люди ненадолго забывают о страхе. А всё остальное время, до того как клинок встретится с клином противника, страх напоминает о себе, делая большинство из них молчаливыми. Люди словно бы экономят физические и душевные силы для этого решающего и самого страшного момента…

Наконец суматоха улеглась, выбраны якоря, часть парусов поднята, и «Глория» медленно двинулась к выходу из бухты.

Капитан Свифт уже невооружённым взглядом пересчитал орудийные порты на борту проплывающего мимо испанца. Орешек оказался неожиданно крепким для «купца»: двадцатипушечный галеон по огневой мощи мало уступал двадцативосьмипушечной «Глории». Если часть пушек не снята, как это обычно делалось на торговых судах, то орудийная дуэль, где судьбу корабля мог решить один единственный удачный выстрел, была совсем нежелательной. Уповать оставалось на абордаж, и схватка с командой большого корабля может быть отчаянной!

Все эти мысли, все размышления лавиной пронеслись в голове капитана Свифта, но он, отбросив сомнения, скомандовал:

—Готовиться к манёвру! Мушкеты на марсы!

Вот волна с силой ударила в форштевень, ветер подхватил фрегат, захлопал парусиной, запел в оснастке. Опытные матросы за считанные минуты обрасопили реи всех парусов—и под напором ветра «Глория» рванулась вслед испанцу. Там сразу поняли их намерения и тоже начали ставить дополнительные паруса—ундер-лисели. На палубе засуетились фигурки матросов—испанцы готовились к бою.

Свифт уже понял, что манёвр он выполнил блестяще: быстроходная «Глория», не подставляя бортов испанским орудиям, окажется как раз за кормой галеона, где, как правило, всего одна пушка. А завершая разворот, он уже не сомневался, что легко настигнет перегруженного испанца.

На галеоне тоже поняли, что уйти от погони им не удастся, поэтому стали неуклюже разворачиваться для бортового залпа.

И тут выпалила двадцатичетырёхфунтовая пушка «Глории». Со свистом понеслись над водой книппели—два полуядра, скреплённые куском цепи.

—Прекрасный выстрел, пушкари!—радостно воскликнул Свифт, увидев, как рухнула за борт одна из мачт.

Испанские матросы бросились рубить её такелаж, но «Глория» подошла уже настолько близко, что матросы с марсов произвели залп из мушкетов. Трое раненых или убитых из числа рубивших упали в воду.

И в тот же миг окуталось дымом орудие на корме галеона: содрогнулась палуба под ногами, вверх полетели расщеплённые ядром куски досок, закричал от боли раненый.

«Будет сегодня работа судовому врачу,—подумал Свифт.—Да и священнику наверняка тоже…»

Корма атакуемого судна была уже совсем близко, и нельзя было допустить, чтобы испанцы успели перезарядить пушку. Корабли неумолимо сближались, и краем глаза капитан видел, как выстраиваются вдоль борта его матросы с саблями и пистолетами в руках. На неприятельском судне вдоль борта тоже выстраивались стрелки́ с аркебузами.

Вот корабли поравнялись, вот полетели абордажные «кошки», вот натянулись канаты, вот на неприятельский борт упали узкие трапы, и вал громко орущих молитвы и проклятия атакующих хлынул на галеон—навстречу выстрелам в упор и разящему железу.

Выхватив шпагу, Свифт со второй волной атакующих оказался на неприятельской палубе. Вокруг кипел бой: повсюду возникали короткие, но яростные схватки, палубу уже устилали мёртвые тела. Испанцы защищались отчаянно.

Нанося шпагой удары налево и направо, Свифт целенаправленно пробивался на квартердек. Существует главное правило абордажного боя: чтобы

быстрее сломить сопротивление команды, нужно в первую очередь захватить или убить капитана. Тот стоял в окружении трёх матросов и отдавал приказы.

Вот их разделяет уже несколько шагов. Свифт бросился к капитану, но дорогу ему преградил один из матросов—верзила с широким тесаком в руке, лицо которого пересекал глубокий безобразный шрам. Свифт выпалил из пистолета ему в грудь и тут же нанёс смертельный удар шпагой второму противнику. Третьего матроса настигла, по всей видимости, пуля мушкета, потому что он вдруг подпрыгнул и рухнул на палубу, широко раскинув руки. А толстый, неповоротливый капитан галеона суетливо выставил свою шпагу и стал размахивать ею, словно палкой.

Свифт, с самого начала решивший взять его живым, легко выбил клинок, а потом ударил по голове рукояткой разряженного пистолета. Оставив неподвижно лежащего толстяка, он бросился вниз по квартердек-трапу—на ют.

Удача в бою порой важнее оружия и всех боевых навыков. Спасло Свифта то, что испачканные в крови подошвы сапог неожиданно соскользнули со ступенек. Он кубарем скатился вниз—и в тот же миг в доски выше его головы что-то ударило, а лицо обдало едким пороховым дымом. В полутьме Свифт разглядел молодого испанского офицера, стоящего в полураскрытых дверях каюты с дымящимся пистолетом в руке.

Испанец прикрыл дверь и шагнул навстречу. Их шпаги со звоном скрестились. Капитан Свифт сразу признал в нём достойного, возможно даже равного, противника. Какое-то время своими яростными ударами испанец теснил его. И только ощутив спиной перила трапа и поняв, что дальше отступать некуда, Свифт предпринял отчаянную контратаку. Сделав вид, что он всё ещё отступает, капитан произвёл обманное движение и встречный выпад. Испанец, будто наткнувшись на преграду, замер, выронил свою шпагу и повалился лицом вниз.

Капитан с силой распахнул дверь и, пытаясь хоть что-то разглядеть в полумраке каюты, замер на мгновение.

Он даже не увидел, а просто ощутил возле своей груди, напротив сердца, стальное лезвие. И, разгорячённый схваткой, до предела обострившей все чувства и реакцию, всё-таки успел перехватить маленькую руку с узким кинжалом. И только потом разглядел наполненные болью и ненавистью прекрасные женские глаза…

Капитан Сэмюэль Свифт, постучав в дверь каюты, пропустил вперёд старика-испанца. В самый последний момент в душе его опять родился страх: вдруг Долорес снова откажется разговаривать? И так, после почти недельного молчания, она лишь вчера впервые удостоила его несколькими короткими ответами. Похоже, её сердце понемногу начинает оттаивать? Пусть пока ещё она встречает его презрительным взглядом, пока ещё ненавидит его, но, как сказал этот полусумасшедший старик-философ: «Нет ничего более загадочного и непредсказуемого, чем женское сердце».

Глухим от волнения голосом капитан произнёс заученное короткое приветствие на испанском языке, а потом, на английском,—уже изысканное, более подобающее случаю. Старик-испанец, раскланявшись, начал неторопливо переводить, часто останавливаясь и прикладывая руку к сердцу.

«Что-то уж больно длинно переводит старик мои слова,—думал Свифт нетерпеливо, ибо мысли метались в голове, словно суматошная стая птиц.—Вот Долорес встрепенулась. Боже, как она посмотрела! Вот начала что-то говорить—порывисто и гневно. Пусть говорит всё, что угодно, он готов слушать даже сердитые, гневные слова, лишь бы не холодное молчание! Что это там переводит этот старик?!..»

—…Не считаю себя обязанной приветствовать пирата,—закончил длинную фразу старик.

—Я не пират, а корсар,—вспыхнул Свифт и уже спокойнее добавил:—Ваше судно захвачено в качестве приза с соизволения Его Величества короля Англии.

—Но Испания не воюет с Англией!

—Поэтому вы и не являетесь военнопленной. Вы—гостья!

—В гости приходят по своей воле,—сказала Долорес, и глаза её сверкнули.—Если я не военнопленная, то требую немедленно высадить меня на берег! И если вы действительно не пират, то я против воли не могу служить вам «призом».

—Сейчас вокруг океан, но при первом же удобном случае все захваченные на галеоне и выразившие такое желание будут высажены на берег с их личными вещами,—заверил Свифт и, слушая, как старик переводит, невольно подумал, что его обещание не слишком правдиво, ибо далеко не всегда победители поступают так милостиво с побеждёнными. Тем не менее, уверенно закончил:—В этом даю вам слово английского офицера. Надеюсь, что ваши претензии ко мне исчерпаны?

—Всё равно вы убийца! Вы убили ни в чём не повинных людей. Вы убили моего жениха, подданного испанской короны, только за то, что он пытался меня защитить.

—Поверьте, поединок между нами был честным! И мы в равной мере были близки к смерти. Просто удача оказалась на моей стороне,—возразил Свифт и стал слушать перевод, досадуя, что старик очень уж медленно переводит его слова.

—Так знайте, что если мне представится хоть малейшая возможность, я убью вас!—гневно воскликнула Долорес.

Слова прозвучали словно выстрел. И, уходя, до самой двери каюты капитан ощущал на спине ненавидящий взгляд девушки…

Море… Это понятие всегда подразумевает и окружающую его сушу: благодатную или наполненную опасностями, но незыблемую и спасительную. А главное, довольно быстро достижимую. Другое дело — океан. Он, в отличие от моря, безбрежен и беспощаден. Когда ураган вздымает гигантские волны и швыряет корабль, словно крохотную щепку, твоя жизнь и все ценности её не стоят даже цента. И тогда вся команда, даже отъявленные безбожники, вспоминают полузабытые молитвы и просят помощи и спасения у незримого Создателя. И приносят клятвы веры в него и клятвы будущего своего благочестия. Чтобы потом снова забыть о них до следующего шторма…

Моряки — это люди, заболевшие океаном и уже не представляющие свою жизнь вне его. И если во время плаванья они почти каждую ночь видят себя на берегу, то, оказавшись на суше, в своих снах видят только море и свой корабль. И чем дольше они на берегу, тем ярче становятся повторяющиеся сны. Так что, даже проснувшись, они ещё несколько мгновений ощущают в носу сладкий запах свежего бриза, а в ушах — ритмичный плеск волн о борт корабля. И моряка, волею судьбы отлучённого от океана, эти повторяющиеся сны могут в конце концов свести с ума…

Моряки утверждают, что женщина на корабле — плохая примета. В этом есть свои причины. Первая состоит в том, что морское плаванье предполагает мало развлечений: всё та же бескрайняя вода вокруг, всё та же тесная палуба, всё те же скучные вахты и всё та же скудная пища. А уж про спальный гамак в провонявшем смолой и пороховой гарью трюме лучше вообще не вспоминать. И женщина, естественно, словно магнит, притягивает взгляды истосковавшихся по ласке мужчин. Тут недолго и с реи сорваться…

Для женщины же все корабельные неудобства увеличиваются на порядок: ни помыться нормально, ни в отхожее место спокойно сходить, ни кулинарными деликатесами насладиться. Приходится либо днями сидеть в крохотной каюте, либо устроиться с сопровождающей её служанкой где-нибудь на верхней палубе и изо дня в день созерцать всё те же волны. Тут уж позавидуешь даже драящим палубу матросам или марсовым на мачтах…

Но всё же приходится иногда и женщинам совершать морские путешествия, недаром великий Помпей сказал: «Странствовать по морю необходимо; жить не так уж необходимо».

Уже неделя прошла, как Свифт и часть его матросов перешли на «испанца». Целые дни капитан проводил на палубе. Из-за отсутствия мачты, а больше из-за нарочитой нерасторопности испанских матросов, которых в связи с нехваткой людей пришлось использовать в качестве марсовых, галеон шёл значительно медленнее «Глории». Испанцев можно было понять: они всё ещё надеялись на встречу со своими военными кораблями. Такая вероятность существовала; тем не менее, пришлось приспустить часть парусов и на идущей впереди «Глории».

Вряд ли кто из его команды догадывался, что капитан Свифт был даже рад этому медлительному плаванию. Если бы его воля, он бы вообще приказал опустить все паруса, чтобы долго-долго дрейфовать посреди безмятежно-спокойного океана. Он и на пленённое судно перешёл специально для того, чтобы каждый день видеть Долорес.

В каюту девушки капитан приходил обычно вечером и всегда в сопровождении старика-переводчика: чтобы Долорес чувствовала себя спокойней в присутствии соплеменника. Это был очень странный старик, но достаточно хорошо знавший английский язык. Можно даже сказать, что испанец был не в своём уме, но в беседах с ним Свифт с удовольствием проводил время. Может, потому, что старик много повидал за свою жизнь, а скорее всего — из-за того, что он был испанцем, как и Долорес, — и, в отличие от него, Свифта, мог свободно и беспрепятственно беседовать с девушкой в любое время.

Однажды за разговором Свифт откровенно спросил старика, не питает ли тот ненависти к нему — англичанину. На что испанец ответил:

— Философия, которую я изучаю, выше отношений не только двух человек, но и целых государств.

А ещё он как-то сказал:

— Самая большая на свете честь — это любовь прекрасной женщины. Перед этой любовью всё золото мира не дороже обычной пыли и годится только на то, чтобы купить маленький остров, на котором эта женщина будет королевой, а ты — её коленопреклонённым подданным.

Замечательные слова! Только что может понимать в любви старик, который сам давно уже не способен к ней? Хотя говорит он и очень красиво, но в речах своих часто противоречит себе же. И ещё очень длинно, просто бесконечно длинно переводит его слова, обращённые к Долорес…

Так же незаметно минула ещё неделя нахождения Свифта на галеоне. Долорес как будто понемногу стала привыкать к нему — во всяком случае, глаза её всё реже вспыхивали ненавистью. И это хороший знак! А может, ему это только кажется? В мечтах капитану виделось многое, и он уже просто не мог представить свою жизнь без этих вечерних бесед, пусть даже и в присутствии старика-переводчика. Он не мог представить и своё будущее без этих каждодневных встреч: когда он

ловит каждый вздох, каждое движение губ Долорес, вдыхает окружающие её запахи и трепетно прикасается к вещам, которые трогала она.

Эти две недели были длинными, как половина прожитой им жизни, и в то же время короткими, как один миг. И ему уже стало казаться, что он знает Долорес давным-давно, что она всегда присутствовала в его жизни…

Но кто ненавидел его день ото дня всё больше, так это Фернанда — служанка Долорес. Угрюмая, мужеподобная, она в любой миг готова была вцепиться в Свифта, словно разъярённая пантера. Капитан прекрасно понимал, что именно она настраивает хозяйку против него, потому что часто ловил на себе тяжёлый, ненавидящий взгляд. Даже когда Долорес просила служанку выйти из каюты, та наверняка просто подслушивала за дверью.

Пытаясь завоевать расположение женщин, Свифт как-то предложил:

— Сеньориты, если вы хотите искупаться, я прикажу только для вас опустить за борт парус. Заверяю, что на палубе не будет любопытных!

Он видел, что Долорес заколебалась, но Фернанда ответила резко:

— Мы не нуждаемся!

Капитан понимал, что если одна женщина — это бастион, то две — уже неприступная крепость…

Любовь меняет человека, и он вдруг как бы заново открывает себя. Глупый умнеет, жестокий становится добрее, а душа раскрывается, словно бутон цветка, являясь миру и окружающим такой, какой её создал Господь. Человек вдруг осознаёт, что нет в мире ничего, что по ценности может сравниться с Любовью. Поняв это, влюблённый мечтает начать жить по-новому — по законам доброты, бескорыстия и любви к ближнему. И нужно-то для этого начала совсем немного: ласковое слово для души и любящий взгляд для сердца…

Сидя перед Долорес в её каюте, капитан впитывал каждое испанское слово, и порой ему казалось, что он всё уже понимает и без переводчика. Зачем ему медлительный старик, если он считывает её слова не на слух, а по движению губ, если он улавливает их смысл по изменяющемуся цвету глаз, а её настроение — по лёгкому движению рук и даже по колыханию тёмной прядки волос возле маленького уха?.. Даже нарочито опустив веки, чтобы не смущать Долорес пристальным взглядом, по одному лишь тембру её голоса он знал, что вот сейчас она поправит эту свою непослушную прядку, а сейчас сплетёт тонкие пальцы рук…

Что стоит вся его карьера, всё богатство и знатность рода по сравнению с лёгким прикосновением этих нежных пальцев? Он, не задумываясь, отдал бы причитающуюся ему немалую часть приза за одно лишь мимолётное прикосновение этих губ! Ведь хотя она и считает себя пленницей, но на самом деле пленник на этом галеоне он. И он давно бы взял курс на ближайший берег и отпустил пленных испанцев на все четыре стороны без всяческих условий — но тогда уйдёт из его жизни и Долорес. Вот и приходится тянуть время, всё ещё надеясь на что-то: может быть, на фортуну, которая до сих пор была благосклонна к Сэмюэлю Свифту…

Капитан не стал объяснять команде, зачем они пристали к берегу в этом маленьком французском порту Брест, когда до родного берега осталось совсем близко. Пусть думают, что для пополнения запасов воды и провизии, а ещё для того, чтобы высадить испанцев. Истинная же его цель была в другом: именно сегодня он скажет Долорес всё и предложит ей навсегда стать его королевой. Главное, что в этом нейтральном порту они будут разговаривать на равных, ведь она уже не будет считать себя пленницей. Её вещи, как и вещи других испанцев, ещё до полудня перевезены на берег, в маленькую неприглядную гостиницу, но лучшей поблизости просто нет. И главное, что отсюда они без проблем смогут добраться на одном из заходящих кораблей в свою Испанию, — ведь зачастую пленников высаживают просто на пустынном берегу какого-нибудь острова.

«Старик, при всей своей рассеянности, не забыл, наверное, передать Долорес, что капитан флота Его Величества, потомок достаточно знатного рода Сэмюэль Свифт придёт вечером в гостиницу, чтобы сказать ей нечто важное. Старик умеет красиво говорить… — рассуждал капитан. — Как там было сказано в надписи на стенах храма разрушенной Помпеи, о которой упоминал этот философ? Кажется, так: „Если ты мужчина, если знаешь, что такое любовь, пожалей меня — не говори нет!“»

Да, именно так он и обратится к Долорес: «Если ты женщина и знаешь, что такое любовь, не убивай меня — не говори нет!..»

Пора… Свифт одёрнул мундир и по шаткому трапу сошёл на причал, сложенный из блоков серого камня. В обе стороны от причала простирался частично затопляемый во время прилива, а сейчас широкий и пустынный пляж, отделявший крохотный городок от моря. На морской берег, на портовый город и на старинную крепость вдалеке опускались сумерки, поэтому капитана сопровождал матрос с не зажжённым пока факелом.

По дороге, ведущей от причала, они подошли к гостинице, в некоторых окнах которой уже горел свет.

Всю дорогу какое-то смутное чувство покалывало сердце капитана, а теперь, возле дверей гостиницы, оно неожиданно сдавило его невидимым обручем. Он, Сэмюэль Свифт, словно бы видел себя одновременно и в настоящем, и в будущем времени. Здесь, за этими дверями, ожидала его встреча с мечтой, а там, в другом мире, другая

черноволосая девушка, внешне похожая на Долорес, вглядывалась в него печальными глазами, словно предчувствуя то ли не очень скорую встречу, то ли, наоборот, долгую разлуку…

— Возможно, я не вернусь на корабль,— неожиданно сказал он сопровождавшему матросу.— Но что бы ни случилось, никто из испанцев не должен пострадать. Передай моему помощнику этот приказ!

Зачем он это сказал, Свифт вряд ли смог бы объяснить. Но он сейчас и не думал об этом, потому что в душе его жило радостное предощущение чего-то необыкновенного. Он глубоко вздохнул — и шагнул навстречу судьбе.

Долорес порывисто поднялась ему навстречу. Кроме неё, в гостиничной комнате никого не было. Замерев, Свифт словно впервые разглядывал бледное, но прекрасное её лицо и огромные печальные глаза. Забыв все заранее приготовленные красивые слова, он снял шляпу и проговорил по-испански:

— Я, Сэмюэль Свифт, предлагаю вам, сеньорита, стать моей женой.

Он не был вполне уверен, что фраза прозвучала правильно, но нисколько не сомневался, что Долорес должна её понять. И когда нужные слова были произнесены, он потерял не только волю, но даже способность слышать и мыслить. Просто застыл, прижав к груди шляпу. Да ему сейчас и не нужен был слух: ответ он смог бы прочитать по движению губ, по взгляду, по жесту ещё раньше, чем в произнесённых ею испанских словах.

Долорес молчала, но Свифту почудилось, что в глазах её мелькнуло сострадание. А потом губы Долорес дрогнули то ли в полуулыбке, то ли в гримасе готового сорваться с них плача. Она торопливо сунула свою руку под лежащую рядом подушку — и капитан увидел перед лицом дуло нацеленного на него пистолета…

Он, пожалуй, успел бы уклониться, но неведомая сила, исходящая из этих чёрных и прекрасных глаз, ещё больше сковала его волю и разум. Казалось, и Долорес, и стены этой комнаты растворяются в воздухе, расплываются и, раздвигаясь в ширину и высоту, превращаются в волны безбрежного океана. Вот одна из волн набежала, вздыбилась над ним — и с грохотом обрушилась на голову…

Глава 6. Человек из чужого времени

Человек, родившись, каждой клеточкой плоти радуется жизни, как и всё живое вокруг: животные и насекомые, птицы и рыбы, деревья и цветы. И душа, данная ему свыше, тоже радуется возрождению к новой жизни. Но не сразу находят они понимание, поскольку человек живёт пищей и недугами, а душа — красотой и любовью. Труден путь их соединения, и с кем-то душа сливается рано, а с кем-то только в последний миг перед смертью — чтобы попрощаться и сразу же покинуть временную обитель свою. О таком человеке говорят потом, что и при жизни он был бездушным…

Но, как тело человеческое, которое, взрослея и старясь, с годами сильнее ощущает идущую изнутри боль, так и единая с ним душа, выходя за грань тела-кокона, начинает остро чувствовать боль чужую. И тогда у человека открывается великий дар: он начинает правильно видеть и понимать не только прошлое, но и будущее…

Божественное пламя плотно, но искры Божьи летят и летят во Вселенной. И все мы мечены этими искрами, но не в каждом они разгораются в пламя.

Монитор первого класса Вадим Быков впервые в своей многолетней практике сталкивался с подобным случаем: после всесторонних обследований и вопреки ожиданиям, психоаналитики не обнаружили у Сэмюэля Свифта абсолютно никаких нарушений информ-логических связей. И вместе с тем всё, что касалось его прошлого, рассказанное самим Свифтом, воспринималось как несомненный бред душевнобольного.

Однако в процессе уже второй беседы монитор поймал себя на мысли, что и он сам, вопреки профессиональному опыту и здравому смыслу, временами начинает верить не только в искренность Свифта, но и во всю невероятную историю его жизни — настолько логично в повествование укладывались все происшествия последних месяцев, настолько убедительно соединялось рассказываемое в неразрывную, объясняющую все фантастические коллизии схему.

«Хотя,— пытался он себя образумить,— писатели ведь тоже выдумывают достаточно убедительные сюжеты и жизнеописания, заставляющие множество читателей поверить. А ещё чаще встречаются и просто превосходные, способные в чём угодно убедить рассказчики». Так, например, повествование о романтической любви к Валерии и о создавшемся любовном треугольнике, рассказанное Стасом Полонским, потрясло его, монитора, до глубины души своей трагической развязкой. А ведь Стас наверняка многое заведомо приукрасил…

Временами у Быкова возникало и другое, до конца не оформившееся, но тем не менее навязчивое чувство, будто Свифт, осознанно или неосознанно, зондирует окружающих людей эхом своей то ли выдуманной, то ли болезненно-бредовой — и тогда в принципе не решаемой — проблемы. Словно он не может самостоятельно найти выход из некоего жизненного тупика, из своей непонятной психологической перегрузки — и перекладывает решение задачи сначала на плечи Валерии, потом, по-видимому, на Хенкина, на того же Йенсона, а теперь и на него, Быкова…

Профессор Йенсон тем временем старательно оберегал своего пациента от любых расспросов, ссылаясь на его крайне подавленное состояние и на то, что лечащий врач при необходимости сможет сделать это гораздо лучше. Поначалу профессор отказывался предоставлять для ознакомления даже записи его лечебно-психологических сеансов с пациентом, ссылаясь на врачебную этику,—пришлось настойчиво вмешаться руководству Кобза. Так что пока Быкову доводилось «общаться» со Свифтом не лично, а через довольно несговорчивого посредника.

Судя по записям, порой Свифт сразу замыкался, и разговорить его профессору в этот день так и не удавалось. Иногда же их беседа протекала в довольно непринуждённой форме, скорее даже—в виде некоего философского спора. И, что греха таить, тогда Быков узнавал много для себя интересного о так называемом Сэмюэле Свифте, чего элементарный допрос заведомо бы не дал. Как, например, во время второй беседы, когда Йенсон пытался прояснить для себя главную причину, породившую нервное перенапряжение пациента…

Быков включил запись того разговора, чтобы оценить её уже с учётом прослушанных последующих бесед.

«—. ..Может, вас, Сэм, смущает какое-то отличие от окружающих людей, как вы говорите, нашего времени? Но, поверьте мне, разнообразие человеческих типов и характеров допускает отклонения в очень широких пределах, за которые, уверяю вас, вы не выходите.

— Валерия однажды сказала (произнёс Свифт как-то задумчиво), что о ценности человеческой жизни много говорят, но в современном общественном устройстве все люди легко взаимозаменяемы. Как одинаковые пуговицы на комбинезоне…

— У Вас, Сэмюэль, сильно истощена нервная система. Вас что-то угнетает?

— Просто я убедился, что в будущем—или в вашем настоящем, я уже не знаю, как и говорить,—я практически бесполезен. Произошло какое-то недоразумение, которое, хочешь не хочешь, мне приходится терпеливо сносить…

— Поверьте мне, Сэмюэль, вы всё усугубляете.

— Я прихожу к убеждению, что такое желанное появление в моём прошлом постепенно утрачивает смысл (продолжал Свифт, будто не слыша профессора), потому что я успел утратить многие полезные качества, взамен которых якобы приобрёл знания. Но в моём времени подавляющая часть этих знаний попросту бесполезна!

— Знания не могут быть бесполезным багажом.

— Вы так считаете? Попробуйте-ка, док, даже хорошо зная технологии, перенести ту же электроэнергию со всеми запитанными от неё современными приборами в мой семнадцатый век. Попробовали представить?.. Согласитесь, что одних только ваших знаний недостаточно, нужна ещё и определённая техническая база. Так что в моём времени нужны не бесполезные знания, а нужен именно я. Потому что там я значу то, что значу!

— В этом, пожалуй, я могу с вами согласиться, Сэм. Но скажите, существуют ли какие-то обстоятельства или предпосылки, дающие вам надежду на возвращение в ваше время?

— Думаю, что да! Ведь здесь я случайность, недоразумение. И тот же случай наверняка ищет возможность исправить свою ошибку…

— Случай—он и есть случай…

— Я имел в виду Бога, но вы, док, насколько я понимаю, не очень-то в него верите? Поэтому я и называю это случаем…

— Да, множество людей решили, что Бога нет, но ведь их решение для Бога необязательно, не так ли?

— Вы очень хорошо сказали, док…

— Простите, Сэм, вот вы постоянно носите нательный крест. Причём очень оригинальный…

— Этот крест—давняя реликвия рода Свифтов. Он переходит по наследству от матери к старшему ребёнку: дочери или сыну. Потом я должен буду передать его своей жене. Считается, что род в этом случае не прервётся!

— Значит, вы глубоко верующий человек?

— Глубоко или не глубоко верить… Каким образом, док, следует оценивать эту глубину? Можно ведь часами молиться, а потом выйти из костёла—и продолжать грешить. Даже не понимая, насколько твои поступки греховны…

— Но вы так и не ответили, Сэм. Вы верите в Бога?

— Да, я верю во власть Всевышнего. Как и любой из моряков! В океане ведь приходится полагаться только на свои силы и на Его покровительство. Удача моряка—это и есть Бог!

— Значит, вы всегда соизмеряете свои поступки с Его заповедями?

— К великому сожалению, док, далеко не всегда. Чтобы слышать Его заповеди, нужно, наверное, прожить жизнь или хотя бы половину её. Ведь вера, как и мудрость, приходит с опытом.

— Но вы, наверное, раскаиваетесь в совершённых грехах?

— Думаю, что далеко не во всех! В душе я надеюсь, что Бог оценивает поступки каждого из нас совсем не так, как утверждают святоши.

— А если ошибаетесь вы, Сэм, а не они?

— Я думаю, что каждый человек сам должен пройти через темноту заблуждений и грехов. И жить дальше, уже опираясь на собственные убеждения, а не на чужие проповеди.

— Значит, по-вашему, получается, что даже самый большой грешник заслуживает прощения Бога?

— Я надеюсь на это. Потому что путь души грешника к Богу намного длиннее и труднее. Это как в жизни: за мелкие преступления угодишь в тюрьму, а за великие—войдёшь в историю…»

Быков выключил запись, чтобы ещё раз проанализировать сказанное. То, что Свифт не элементарный кретин,—сомнения не вызывало. А вот как насчёт душевного заболевания?.. Сколько сумасшедших гениев не смогли справиться как со своей гениальностью, так и с окружающими обстоятельствами—и окончили дни в психлечебницах. Анализируя их судьбы, можно придти к убеждению, что гениальность и непонимание окружающих неразделимы. Если допустить, что Свифт—один из таких гениев, то необходимо выяснить: сознательно он преодолел пространство и время или же и в самом деле является жертвой некой роковой случайности?..

В другой раз, уже по настоятельной просьбе Быкова, профессор завёл разговор о «профессии» Свифта.

«…—Ведь пиратство—это разбой на море, и пиратов просто вешали на рее.
—Корсар—это не пират! (Горячо и, видимо, возмущённо возразил Свифт.) Корсар получал жалованную грамоту от своего государя, официально разрешающую ему захватывать торговые суда противника. Это не грабёж, а каперство—нанесение ущерба морской торговле враждующей стороне. Пассажиры судна при этом обычно не страдали.
—Не вижу особой разницы, в чём каперство отличается от грабежа.
—Вы, доктор, возможно, не знаете, что Испания тогда первой начала этот грабёж, причём в государственном масштабе. Целые флотилии её галеонов пересекали Атлантический океан, везя в трюмах сокровища Нового Света, без которых развращённая богатством страна уже не могла существовать.
—Ну, положим, о конкистадорах я кое-что читал…
—И ещё вы не знаете, что по законам Испании всякий корабль, идущий не под испанским флагом, на всём пространстве Антильского моря величался пиратским, то есть ставился вне закона. По какому праву они присвоили себе целое море, объявив, по существу, войну всем и в первую очередь Англии?
—Но, отняв добычу, грабителем как бы становилась уже Англия?
—Кто отбирает краденое, тот разве вор? Испанцы силой отобрали это золото у индейцев-ацтеков, пролив реки крови.
—Но у вас лично тоже была некая материальная заинтересованность?
—Да, я срезал золотые пуговицы с капитанского камзола—но ведь это моя законная добыча. Я служил Англии и королю, только по-своему,—и за это получал условленную плату. Сам захваченный корабль тоже принадлежал лично мне, и я мог делать с ним всё, что пожелаю.
—Нет, я имел в виду сам смысл каперства. Это не вы грабили испанцев, а Англия грабила Испанию, оправдываясь при этом государственными интересами.
—Если бы это было так. Сейчас-то я понимаю, что сокровища шли вовсе не на пользу моего отечества, и на них наживались в первую очередь королевские чиновники. Они не рисковали абсолютно ничем, кроме, быть может, доброго имени, и жили при этом в ослепительной роскоши.
—Я, помнится, тоже читал об этом в книгах…
—Почему-то многие ссылаются не на собственное мнение, а на книги, которые чаще всего пишутся в угоду кому-то… Скажите, док, зачем, кроме медицинских, вы читаете книги по философии, а тем более по истории? Что вам может дать в вашей профессии история?
—Ну, знаете ли… (Профессор явно растерялся.)
—Какой смысл вам тратить на это время и копаться в прошлом, где, по сравнению с настоящим, можно сказать, один лишь мрак и хаос?..
—На это трудно ответить однозначно, но я, честно говоря, рад, что вы, Сэм, задали такой вопрос. Это значит, что подсознательно вы об этом тоже думаете! История развития человечества—это хроника его духовного совершенствования, но путь совершенствования сложен и извилист. Так что для того, чтобы не совершать повторных ошибок, оказывается, нужно знать историю…
—То есть дураки учатся на своих ошибках, а умные—на чужих? Именно так, помнится, сказал кто-то из древних философов…
—Но я скажу вам, что даже опыт—это не главное! Те же древние говорили: «Книга—это аптека души». Поверьте, она может излечить от любой болезни.
—Мне трудно, док, состязаться с вами во многих вопросах… Наши познания во всём, кроме моря, невозможно даже сравнивать! К тому же, к великому моему сожалению, я читал непростительно мало. Одно время я даже считал, что литература—это самоутверждение слабых телом.
—А теперь вы думаете иначе?
—Только здесь у меня открылись глаза, что смысл развития человечества в том, чтобы каждое последующее поколение становилось не просто более сильным—а более лучшим звеном. Жаль, что многие века люди недопонимали это и заботу о детях сводили лишь к заботе о благополучии собственного потомства, как это делают животные. Получается, что каждый жил сам для себя, в лучшем случае—для своей семьи.
—Вы, Сэм, упрекаете меня в увлечении философией, а сами, будучи моряком, тоже постепенно становитесь философом.
—Путешествие делает умных умнее, а глупых глупее. (Было слышно, как Свифт усмехнулся.) Это морская поговорка. Просто раньше в своих мыслях я находился как бы в своём крохотном мирке, а теперь увидел мир в масштабах целого

человечества. Поэтому и задумался: кто я здесь?.. Ведь тут всё сделают и без моей скромной персоны!
— Возможно, ваши проблемы, Сэм, в том, что вы пытаетесь отстраниться от происходящих событий, отгородиться от окружающих людей? Поверьте, так жить невозможно!
— А когда я понял, сколько полезного мог бы совершить, очутившись снова в моём времени (Сэм продолжал, будто не услышал профессора), то даже дух захватило! Ведь я увидел другой масштаб измерения человеческой жизни, разглядел другие горизонты… Я как будто оттолкнулся от неба!..»

Быков выключил запись, поймав себя на мысли, что отвечает Йенсону синхронно с Сэмом. Да, пусть и несколько другими словами, но он так же отвечал бы на вопросы профессора. Они очень похожи с этим странным Свифтом, а это значит, что у них схожи мировоззрение и логика. А это, в свою очередь, означает, что в определённых обстоятельствах были бы схожи и поступки!

В своей практике монитор всего несколько раз встречался с людьми, настолько похожими на него самого. В общении с ними он часто заранее знал, что те ответят на его вопросы, какие аргументы приведут в оправдание. И отрадно, что ни один из них не оказался преступником, а был просто подозреваемым, случайно попавшим в сферу внимания Кобза.

Быков усмехнулся своим неподконтрольным мыслям и включил запись вчерашней беседы.

«…— Сэм, мне кажется, что желание во что бы то ни стало возвратиться в своё время как бы надело шоры на ваши глаза. Вы накручиваете себя, как стальную пружину, и если так будет продолжаться — ваша нервная система просто не выдержит, и пружина лопнет! Вы не находите, что эта попытка бегства от самого себя бессмысленна и бесперспективна?
— Нет, док, это не бегство — это честное отступление. Древние римляне казнили не тех, кто отступал, а тех, кто после команды отступить продолжал драться. И я сам себе сыграл сигнал отступления.
— Но истинный путь мужчины — это наступление, а не отступление. Вы сдаётесь своей усталости, своей слабости…
— Сдаться самому себе не означает покориться врагу. И биться головой о глухую стену — это вовсе не достоинство, а элементарная глупость!
— Ладно, не будем затрагивать эту тему! Если вам не трудно, ответьте, Сэм, почему вас постоянно влечёт на этот злополучный пляж? Вчера вечером вас опять видели там…
— Не знаю, док. Там мне как будто легче дышится. Там как бы ближе и Долорес, и моя далёкая родина… Что, я опять, по-вашему, говорю ерунду? (Сэм, видимо, поймал пристальный взгляд Йенсона.)
— Нет, почему же. Просто я в каком-то познавательном справочнике читал, что сейчас мы дышим воздухом, в каждом кубометре которого присутствует несколько молекул, которые вдыхал Джордано Бруно ещё в шестнадцатом веке. Эти молекулы давно уже распределились по всей Земле.
— А, это тот итальянский философ-пантеист и, кажется, поэт, которого сожгли в Риме отцы-инквизиторы?.. Так, может быть, на пляже мне дышится легче как раз потому, что туда вместе со мной попали частицы воздуха моего времени и не успели ещё далеко разлететься? Скажите, док: может, именно поэтому?
— Я не думал, что вы воспримете мои слова настолько буквально. Пожалуй, вам не стоит обольщаться по этому поводу, ведь это просто некий сравнительный образ…
— Ну, вы тоже не воспринимайте мои слова буквально, просто я иногда цепляюсь за самую тоненькую ниточку. Каждое последующее перемещение с планеты на планету давалось мне тяжелее предыдущего, и я, как однажды сказала Валерия, каждый раз старел душой. Оказывается это очень тяжело — стремительно стареть душой, когда многие привычные вещи просто перестают тебя радовать…
— Если вы, Сэмюэль, не будете сопротивляться, я смогу вернуть вам яркость восприятия жизни. Ведь вы ещё так молоды…
— Хорошо бы, а то, как говорил мой отец, утонуть возле самого берега — это значит умереть дважды…»

Электронный диспетчер сообщил, что получена очередная запись от профессора Йенсона. Быков включил её для прослушивания.

Одно место в этой беседе монитора особенно заинтересовало. Тем более что инициатором оказался сам Сэм.

«…— Доктор, простите меня за то, что я не всё вам рассказал, но я не хотел впутывать сюда женщину, тем более что её уже нет в живых.
— Кого вы имеете в виду?
— Это Валерия подарила мне надежду на возвращение. Ещё тогда, в госпитале. И я ей, единственной, доверился полностью.
— Ну так расскажите теперь и мне, если это не тайна!
— Она сама предложила и попыталась найти упоминание обо мне в компьютерной сети.
— Ну и что? Я тоже пытался, и уверяю, что о вас, Сэм, там нет никаких упоминаний.
— Я знаю. Но Валерия нашла моего однофамильца — писателя Джонатана Свифта.
— Знаете ли, Сэм, моих однофамильцев в сети можно найти не один десяток. Но вряд ли кто из них является моим близким родственником, тем более там, в средневековье.
— Но на картине, где они изображены вместе с женой, на её груди этот крест, который сейчас на мне. Этот крест, как я уже говорил, семейная реликвия рода Свифтов…

— Извините, Сэм, но этот крест мог быть не единственным! Ювелиры, знаете ли, любят копировать наиболее удачные изделия. Его могли заказать, в конце концов, ваши родственники в память о вас…
— Вот именно. Я тоже сначала так подумал. Но тут слишком уж много совпадений. По возрасту он вполне может быть моим внуком. Кроме того, я единственный ребёнок в семье, то есть являюсь единственным продолжателем рода Свифтов. А два таких совпадения—это уже закономерность…
— Знаете, Сэм, при желании любые случайности можно вписать в систему!
— Но он писал, что большинство морских сюжетов позаимствовал из рассказов своего деда—морского офицера. То есть из моих рассказов.
— Англия—морская держава. В ней было много морских офицеров…
— Но не с фамилией Свифт! А ещё то, что он женился на ирландке…
— А что, женитьба на ирландке—это нонсенс?
— Я не знаю, что такое нонсенс, но в моё время англичанин мог жениться на ирландке только в исключительном случае. Его бы просто осудило общество. Но если бы я женился на испанке—то после такого в моём роду было бы возможно всё. И тогда мой внук мог это сделать запросто…
— Вы сами-то, Сэм, читали Джонатана Свифта?
— К сожалению, не успел! Если можно, найдите мне что-нибудь из его произведений…»

Быков раз за разом анализировал эти беседы: и по отдельности, и вместе—в общей связи. И каждый раз перед ним вставала одна и та же дилемма: то ли признавать Сэма душевнобольным, а его рассказы—бредом, то ли безоговорочно поверить ему и попытаться как-то помочь.

Но как можно верить в такое, чего в принципе на должно быть?!

С другой стороны, как не поверить, если при попытках поставить себя на место Сэма он, монитор, находил железную логику во всех его действиях.

Да, как ни парадоксально, он находил всё больше и больше общего между собой и Сэмом! И потеря любимых женщин, и чувство душевной усталости, и даже ощущение нахождения в чуждом времени. Ведь у него тоже возникает порой подобное чувство…

…Родителей Быков не помнил: они погибли, когда ему было совсем ещё мало лет. Воспитывала его бабушка, которая одиноко жила в небольшом деревянном коттедже неподалёку от лесного озера. Рядом находился учебный аэродром, и невысоко над их коттеджем пролетали то маленькие юркие самолёты, то яркие и медлительные дельтапланы и парапланы—словно сказочные драконы…

Бабушка была специалистом по русской народной мифологии и жила только внуком и своими сказками. Не только в её рассказах, но и в стоящих на полках книгах, на картинах—всюду были лешие, русалки…

Как-то бабушка, в шутку, должно быть, сказала, что в их озере тоже живут русалки. Переборов страх, он ночью пришёл на озеро и там, в свете луны, действительно увидел двух голых купающихся русалок. Они весело плескались, хохотали… Вспомнив народные сказания, что русалки могут защекотать до бессилия, а потом утащить в воду, он испугался—и бросился бежать домой.

А месяца через два в соседской взрослой девушке Наташе он неожиданно признал одну из тех прекрасных русалок…

А ещё неподалёку находилась конеферма, и на лесной дорожке запросто можно было встретить загадочных амазонок верхом на тонконогих гривастых лошадях…

К сожалению, тот идиллический сказочный мир растаял, уступив место убийцам и космическим пиратам, да ещё такому заблудившемуся во времени человеку, как несчастный Свифт…

Глава 7. Отторжение

Стоит ли стремиться к встрече с прошлым, где ждут нас, скорее всего, сплошные разочарования? Что вы хотите там найти? Милый образ, сохранённый памятью? Но за прошедшее время вы настолько мысленно подредактировали и дорисовали его, что просто можете не узнать. Или мечтаете вернуть к истокам старую, не перегоревшую ненависть? Но ненависть подобна саду—за ней нужен был постоянный уход, а вы поливали его всё реже и реже, так что этот сад почти засох. Или же вы рассчитываете встретить там утраченную любовь? Но любовь, в отличие от ненависти, бывает такой разной: любовью-радостью, которая делала вашу жизнь ярче, или любовью-болезнью, которая всё это время сжигала ваше сердце и опустошала душу. И кто может предсказать: исцелит вас эта встреча или же превратит остаток жизни в ещё больший кошмар?

Даже самый мизерный шанс встретиться со своим прошлым сулит сплошные искушения. И если вы решились на это, значит, есть веская причина поддаться им. Ибо именно в искушениях становится понятно, кто золото, кто железо, кто свинец, а кто и мусор—древесная труха. Золото в огне становится ещё ярче, с железа спадает ржавчина, свинец плавится и теряет форму, а мусор просто бесследно исчезает…

Вызов застал профессора Йенсона дома и к тому же в душевой. Поэтому, наспех завернувшись в массажное полотенце, он предстал перед видеофоном в виде римского патриция.

Поначалу профессор вообще ничего не мог понять, поскольку начальник госпиталя торопливо перескакивал с пятого на десятое:

— Ваш Свифт повредил кабели управления реактором! Я ничего не могу предпринять — необходимо ваше присутствие. Жду вас немедленно! Через сорок минут будет взрыв! Я только что начал эвакуацию персонала и пациентов… На вас, Йенсон, последняя надежда!

— Я пока что ничего не понимаю, — растерянно проговорил профессор.

— Короче, срочно в микробус, в глаер, во что угодно — и к техническому корпусу! Только умоляю: быстрее, иначе может быть поздно! Пока добираетесь — я вам всё объясню!

Осознав серьёзность вызова, профессор торопливо натянул на мокрое тело одежду и, перешагивая через ступеньки, заспешил по лестнице, ведущей на крышу, — там стоял дежурный глаер.

Уже на середине пути как-то отрешённо заметил, что на его ногах домашние тапочки. Поэтому, когда одна из них соскользнула и ускакала вниз по ступеням — возвращаться не стал: какая теперь разница, в домашних тапочках главный невропатолог госпиталя или вовсе босиком?

Со свистом завращались лопасти, взревел переключённый на форсаж двигатель — и глаер почти вертикально взмыл вверх. Йенсон торопливо надавил на клавишу автопилота и включил видеофон.

На экране тут же возникло лицо начальника госпиталя, но уже более спокойное и с обычным жестковатым выражением — лицо человека, привыкшего командовать и единолично принимать решения.

— Через тридцать пять минут ваш подопечный взорвёт к чёрту, к дьяволу весь госпиталь и ещё много чего вокруг!

— Что он, в конце концов, натворил? — спросил Йенсон.

— Свифт с помощью робота умудрился перерезать пучок кабелей управления ядерным реактором. Пока ещё работает система аварийного охлаждения, но она рассчитана только на час. Потом температура резко подскочит, и… В общем, в нашем распоряжении, — он глянул на часы, — всего тридцать две минуты, плюс не знаю ещё сколько.

— А Свифт что же, не подпускает к месту повреждения?

— Да сам-то он преспокойно сидит в бетонной нише и ни с кем не желает разговаривать, но его охраняет свихнувшийся робот, который размахивает плазменным резаком.

— Свифт что же, перепрограммировал его?

— Перепрограммировать робота-ремонтника в боевого робота вряд ли возможно! Так что, похоже, от кабелей высокого напряжения у него что-то там замкнуло в программном блоке. И у нас нет никакого способа обезвредить его; если только попытаться использовать бластер охранника…

— Можно поразить его в участок чуть выше фотоэлементов, где гиросистема, — он должен потерять ориентацию.

— Я знаю, но у робота с этим и так не всё в порядке. Если он будет размахивать своим резаком, полностью потеряв ориентацию, — тогда Свифту точно конец!

— Посоветуйте Свифту лечь на пол!

— Вы бы видели, Йенсон, в каком он состоянии… Свифт абсолютно невменяем! Он ни на что не реагирует, просто молчит и смотрит в одну точку. Одна надежда, что вы сумеете его расшевелить — ведь как-то вы с ним всё это время контактировали…

Теперь Йенсон уяснил свою миссию.

Посадив глаер прямо на клумбу возле корпуса, что при иных обстоятельствах грозило бы автоматическим лишением прав вождения, он побежал по дорожке к входу, не обращая внимания на острые камешки, впивающиеся в голые ступни. Непрерывный вой сирены подталкивал в спину и заставлял бежать всё быстрее и быстрее.

Серая коробка бетонного бункера возвышалась над деревьями, густо посаженными специально для того, чтобы закамуфлировать, скрыть это архитектурное убожество. Бункер, как и две безликих прямоугольных и очень массивных казармы, достался госпиталю в наследство от когда-то существовавшей военно-морской базы Брест.

Сам же блок небольшого ядерного реактора находился глубоко под землёй, вернее — под многометровой толщей бетона, и в своё время служил автономным источником электроэнергии. Когда все военные базы на Земле стали демонтировать, то часть сооружений попытались под что-нибудь приспособить: так, в казармах установили специальное рентгеновское оборудование и лабораторные установки жёсткого облучения. А иметь собственный реактор для энергоснабжения госпиталя оказалось очень удобно: никакой зависимости от суточных колебаний энергосистемы, никаких лимитов по использованию электроэнергии. Безопасность эксплуатации энергоблока считалась очень высокой.

Кто же мог предвидеть, что такое, как сегодня, вообще может произойти?..

Йенсон уже видел, что на всей территории госпиталя интенсивно ведётся эвакуация: грузовые и пассажирские глаеры взмывали в небо и разлетались в разных направлениях.

Возле варварски изуродованной плазменным резаком двери — входа в бункер — стояли несколько сотрудников госпиталя. Они ожидали прилёт глаера со специалистами КобЗа, которые должны были доставить Ю-частотный излучатель, предназначенный для разрушения биоэлектронных цепей, — только с его помощью можно было обезвредить взбесившегося робота.

Йенсон раздвинул столпившихся сотрудников и зашагал по ярко освещённому коридору, оставляя на белом кафеле позади себя кровавые следы

подошв. За годы работы в госпитале он прекрасно изучил конфигурацию и предназначение многочисленных коридоров и коридорчиков.

Вот впереди вход в торец правого бокового коридорчика, в конце которого расположен бытовой склад. Помещение для него выбрано было крайне неудачно, о чем Йенсон говорил уже неоднократно: во-первых, далеко, во-вторых, приходится проходить через несколько секций… Хотя в данном случае всему виной была до сих пор не демонтированная система кодовых замков, оставшаяся ещё со старых времён: Сэм, по всей видимости, попытался проникнуть в бытовой склад, не зная кода,—и тут же сработала система межсекционной герметизации.

Возле бокового ответвления трое сотрудников опасливо заглядывали в большую дыру овальной формы, проделанную в толстой герметизирующей двери явно плазменным резаком. Бледный и весь какой-то поникший инженер-электромеханик Ежи Трацевский сжимал в руке маломощный бластер, против робота практически бесполезный.

Он не очень решительно преградил путь Йенсону и предупредил:

— Дальше нельзя, профессор! А то он начнёт орудовать резаком, как против вон того робота…

Йенсон осторожно заглянул в дыру и сразу оценил обстановку: рядом с дверью, поперёк узкого коридора, лежал робот, вернее, то, что от него осталось, ибо он был почти перерезан на две части плазменным резаком. А ещё дальше, перед затемнённой нишей, замер точно такой же кибер, по-человечески подозрительно, как показалось Йенсону, поблёскивающий выпуклыми линзами фотоэлементов. Позади него, в бетонной нише, привалившись спиной к серой стене, сидел безучастный ко всему Сэм. Взгляд его был неотрывно устремлён в какую-то неведомую точку на полу.

— Сэм!—громко позвал профессор.

Тот не шелохнулся, зато робот, неестественно дёрнувшись, словно бы встрепенулся—и угрожающе поднял свой захват с зажатым в нём резаком. Все, кроме Йенсона, отпрянули от проёма.

— Сэмюэль Свифт!—повторил Йенсон, внимательно следя за суетливыми и какими-то хаотичными движениями кибера.

«Повреждена система координации,—отметил он,—да ещё включилась абсолютная защита от любой внешней агрессии. Хорошо ещё, что Свифт находился рядом с роботом до замыкания, поэтому он не воспринимается как проникающая внешняя угроза».

Поразмыслив, профессор пришёл к выводу, что Свифт запросто мог бы отключить робота, поскольку сидит за его спиной и не попадает в сферу обзора фотоэлементов.

— Сэмюэль Свифт!—крикнул Йенсон во всю мощь своих лёгких.—Глядя сейчас на вас, невозможно поверить, что вы мужчина, а не исступлённая истеричка! Подотрите, наконец, сопли!

Сэм очень медленно поднял глаза и вдруг заговорил довольно твёрдым и уверенным голосом:

— Через несколько минут меня здесь уже не будет, и, поверьте, никто не сможет мне в этом помешать. Все вы мне страшно надоели! Знали бы только, как я от вас устал! Я не хочу даже прощаться! Сожалею только о том, что не смог облачиться в свой мундир, и Долорес увидит меня в этой нелепой одежде…

Закончив свою небольшую тираду, Сэм замолчал и снова отрешённо уставился в пол.

— Вам, Сэмюэль, знакомо слово «убийца»?—заговорил громко Йенсон, уверенный теперь, что Сэм его хорошо слышит.—Через двадцать минут по вашей вине произойдёт взрыв реактора, будет полностью уничтожен госпиталь, вероятна гибель людей; кроме того, окружающая местность на десятилетия останется источником смертельной радиации…

Свифт словно не слышал, и Йенсон продолжил ещё громче:

— Мы, конечно, принимаем меры, и скоро сюда прибудут специалисты для уничтожения робота, но времени просто может не хватить. В этом случае погибнете и вы, хотя, как я понимаю, собственная жизнь вам не дорога. Подумайте хотя бы о тех, кто сейчас стоит перед вами,—ведь мы не уйдём, пока будет оставаться хотя бы единственный шанс! И я уверяю, что если бы у меня была возможность уничтожить робота, хотя бы и вместе с вами, то я, не задумываясь ни секунды, сделал бы это! Но, к сожалению, кибера в данный момент можете отключить только вы!

Было заметно, что Свифт колеблется. Наконец он принял решение и встал.

— Вы не обманываете меня, док, насчёт взрыва?..—спросил он неуверенно.

— До взрыва осталось всего восемнадцать минут!

— Я поверю вам, док, но обещаете ли вы мне неприкосновенность и свободу в течение ближайшего часа?

— На вашу свободу, Сэм, никто и не покушается. Даю вам слово честного человека, что вас никто не тронет!

— Лично вам я верю, док. Подскажите только, как мне его отключить?

— Там, на спине у кибера, как раз посредине между манипуляторами, есть лючок,—заговорил просунувший голову в отверстие Трацевский.—Просто протяните руку, откройте его и надавите на красную кнопку. Пока он вас не видит, он для вас абсолютно безопасен.

Сэм неуверенно приблизился к «пританцовывающему» роботу и протянул руку. Через мгновение фотоэлементы, моргнув, погасли—и манипуляторы с громким лязганьем опустились вниз.

— Всё! — облегчённо проговорил Трацевский.

Монтажный робот тут же протиснулся в отверстие и, захватив манипуляторами оплавленные концы самого толстого из кабелей, свёл их. Вспыхнули синие огоньки резака и плазменной сварки.

Йенсон в это время подошёл к безвольно сидящему Сэму, на которого в ставшем шумным коридоре никто, казалось, не обращал внимания. Даже трое прибывших «кобзовцев» в скафандрах высшей защиты остановились в нескольких шагах и, сняв шлемы, разговаривали о чём-то своём.

Только теперь Йенсон вспомнил о своём внешнем виде: босиком, пуговицы на одежде застёгнуты через одну… Ноги, грязные и в крови. Они оставляли следы на кафельном полу, и каждый шаг теперь отдавался заметной болью в ступнях.

«Надо побыстрее сделать санобработку, — подумал он устало, — а то завтра ни одну обувь не смогу надеть».

Подумал мимоходом, как бы записывая в память, что ещё предстоит сделать в порядке очерёдности. С другой стороны, даже первоочередные дела разместилось как бы ниже грани «срочно — не срочно» — намного важнее для него сейчас было просто поговорить с Сэмом.

— Что же с вами такое произошло? — спросил он поникшего Свифта.

— Док, я предчувствую, нет, я знаю наверняка, что меня наконец-то вспомнят там, в моём настоящем! Это должно возвратить меня назад!

— Опять эта навязчивая идея! Вы, Сэм, по-моему, только напрасно мучаете себя ею.

— Нет, на сей раз я знаю точно.

— Хорошо, Сэм, мы ещё вернёмся к этому разговору!

— Здесь я больше просто не могу, — устало произнёс Сэм. — Здесь мне хочется сдавить руками виски, зажмурить глаза и очутиться на каком-нибудь необитаемом острове или в пустой пещере… Мне уже и самому начинает порой казаться, что я схожу с ума!

— Это самое обычное накопившееся нервное истощение! Я, как врач, утверждаю, что через какое-то время смогу полностью вылечить вас.

— Теперь это уже не нужно. Единственное, что вы для меня можете сделать, док, — верните мою одежду.

— Это можно будет сделать не раньше, чем через полчаса, — вмешался проходивший мимо Трацевский. — Пока проверим систему охлаждения, пока включим нагрузку… А без этого невозможно раскодировать систему герметизации, поскольку всё замкнуто на единый пульт.

— Тогда оставьте меня, пожалуйста, одного.

— Пожалуйста, — согласился Йенсон. — Только здесь вы будете мешать рабочим, поэтому пройдите в свою комнату…

— Спасибо, док! Я ведь не сумасшедший, а просто хотел взять со склада свой мундир, — начал вдруг оправдываться Сэм. — Никто не захотел мне помочь, тогда я приказал киберу вскрыть отсек его резаком. То, что, прожигая одну из дверей, он зацепил этот важный кабель и при этом свихнулся, — просто нелепая случайность…

— Успокойтесь, Сэм, всё хорошо, что хорошо кончается! Я, к сожалению, в неважной физической форме, не говоря уже о внешнем виде, поэтому сейчас попрошу кого-нибудь проводить вас до вашей комнаты.

Йенсон подождал, пока Сэм с сопровождающим пройдут весь коридор, потом медленно двинулся следом, тихо охая при каждом шаге.

Быков на место аварии прилетел слишком поздно, чтобы увидеть развязку, но не настолько, чтобы не увидеть последствий проведённой операции: оба повреждённых робота ещё валялись в коридоре, а третий сосредоточенно сваривал многочисленные провода управления и заливал места сварки герметизирующим пластиком. Непосредственные участники событий тоже разошлись.

Когда же Быков поинтересовался, где найти профессора Йенсона, ему сказали, что тот находится сейчас в своём кабинете.

Действительно, Эрик Йенсон преспокойно сидел в кресле, а медицинский робот ловко накладывал на ступню его левой ноги заживляющую повязку, вторая нога была облачена в белый ортопедический бахил.

— Что случилось с вашими ногами? — обеспокоенно спросил монитор.

— А, ерунда, просто отвык ходить босиком, — Йенсон небрежно махнул рукой. — Хотите мой новый напиток? Вон стоит на столике. Я, знаете ли, не только их составляю, но и проверяю на пациентах и своих знакомых. До сих пор ни один не умер от отравления; правда, никто из них не выражал и бурного восхищения…

«Когда человек занимается не своим делом, ему, должно быть, некогда занимается своим, — с раздражением подумал Быков, глядя на благодушного профессора. — Там до сих пор суматоха, люди ликвидируют аварию, а он сидит как ни в чём не бывало и попивает свой дурацкий напиток. Доигрался профессор со своими психологическими экспериментами!»

— Может мне кто-нибудь толком объяснить, что произошло в госпитале? — спросил Быков, подавив раздражение.

— Можно сказать, ничего страшного. Просто Сэму пришла в голову идея-фикс облачиться в свой опереточный мундир. Меня в это время рядом не было, а начальник госпиталя ответил на его странную просьбу естественным отказом. Тогда Сэм приказал ремонтному роботу крушить двери.

Что в конечном итоге и привело к повреждению кабелей управления реактором… Вот вкратце и всё, подробности можете узнать у троих бравых парней из Кобза, если они ещё здесь.
— Как вы считаете, профессор, Сэм в своём уме или?..
— У него крайне истощена нервная система…—начал Йенсон, но, видимо, подумав, что монитор может неверно понять его уклончивый ответ, заверил:—Я с ним беседовал каждый день, иногда даже по нескольку раз, и должен сказать, что речь его связна и мыслит он достаточно здраво. Другое дело, что его рассказ фантастичней любого бреда! Но после серьёзных размышлений я пришёл к выводу, что так называемый «бред» полностью объясняет все связанные с ним невероятные факты, произошедшие за последние месяцы. Хотите—верьте, хотите—нет!
— Тогда я подозреваю, что вы давали мне записи не всех ваших бесед. И сегодняшний разговор с ним, как я понимаю, тоже не записан?
— Конечно, не записан! В конце концов, я не летописец и не следователь, а в первую очередь—лечащий врач!—всегда сдержанный профессор повысил голос.—У меня, извините за резкость, он не единственный пациент, и кроме того, у меня есть определённый круг обязанностей! Да и фиксировать каждое сказанное им слово просто не представляется возможным, даже учитывая пожелания Кобза,—уже более миролюбиво закончил он.
— Извините, профессор. Я не хотел вас обидеть. Может, он говорил что-нибудь из ряда вон выходящее—во время аварии, например? С кем из персонала я смог бы об этом поговорить?
— Я к вашим услугам, поскольку последние полчаса находился в буквальном смысле подле него. И сейчас, после завершения разговора с вами, снова буду пытаться с ним поговорить! Мне, знаете ли, очень не нравится то нервозное состояние, в котором Сэм в данный момент находится…
— Знаете, профессор, мне бы очень хотелось присутствовать при вашем с ним разговоре. Мне это просто необходимо, иначе я вынужден буду его арестовать, несмотря на все ваши возражения!
— За что же арестовывать? Ведь всё благополучно разрешилось,—возразил Йенсон.
— А где гарантия, что нечто подобное не повторится? В конце концов, была угроза жизни сотен людей…
— Ну что мне с вами делать?—профессор развёл руками.—В таком случае мне бы хотелось, чтобы вы вместе со мной всё и проанализировали. Как любил повторять один мой коллега: ум хорошо, а полтора—лучше! Кстати, попробуйте всё-таки мой новый напиток…

Быков покосился на нечто ядовито-фиолетовое, налитое в графин,—и отказался.

— Так вот,—продолжил Йенсон,—выкладываю всё, что мне за это время удалось выяснить. Потом, надеюсь, вы откровенно поделитесь со мной своими соображениями? Согласны?!
— Обещаю!
— Итак, Свифт утверждает, что он перенёсся из прошлого тысячелетия, точнее—из семнадцатого века. То, что он прекрасно знает упомянутое время и говорит на старом добром английском, у меня не вызывает ни малейшего сомнения! Причину своего перемещения он толком объяснить не может, да это и понятно: случись такое с вами или, не дай Бог, со мной—тоже были бы в полнейшей растерянности…
— Уж это точно!—согласился монитор.
— Далее, уже здесь, в нашем времени, он обнаружил в себе невероятную способность мгновенно перемещаться в пространстве и, возможно, даже во времени. Именно так он сначала попал на Альму, потом на Эшер, потом снова на Землю. Для такого перемещения ему всего-то и нужно, чтобы кто-то представил его во всех деталях в пункте, так сказать, назначения.
— Вы полагаете, что всё так просто?
— Ну и чтобы он сам в это же время думал о том человеке. Сэм утверждает, что заблаговременно чувствует этот момент перемещения! Достаточно уверенно примерно за полчаса-час. Кстати, он заявил это где-то…—Йенсон глянул на часы.—Где-то полчаса тому назад. Но, насколько я информирован, в данный момент он присутствует в своей комнате, так что видите сами…

Профессор развёл руками.
— Значит, всё-таки психическое заболевание?!—не то спросил, не то констатировал Быков.

Профессор опять неопределённо развёл руками.
— Это вы осторожничаете, или медицина бессильна в данном случае с постановкой диагноза?—задал явно провокационный вопрос монитор.
— Может, вам, как профессионалу, что-нибудь подскажет вот эта вещь?—сменил тему Йенсон и, открыв ящик стола, протянул монитору книгу.—Она была найдена в ящике с видеодисками, в бывшей комнате космолётчика Валерии Касас.

Быков глянул на обложку: «Жорж Блон. Флибустьерское море. Издана в Париже в 1969 г.»
— В ней сведенья о пиратах,—пояснил профессор.—В основном живших в средние века прошлого тысячелетия.
— Есть что-нибудь о Свифте?—заинтересовался монитор.
— Возможно, я не очень внимательно читал, но о нём конкретно ничего не нашёл.
— Хорошо, я проанализирую,—пообещал монитор.—А кто нанёс ему рану на голове, он так ничего и не говорил?
— Рану ему нанесла пистолетным выстрелом женщина, которую зовут Долорес. Как он сам

выразился, «самая прекрасная женщина всех веков». Нет, нет, она осталась там! — уточнил профессор, заметив вопрос в глазах Быкова. — Кстати, вы, пожалуй, сами сможете с ним побеседовать на эту тему. Только, пожалуйста, недолго и в моём присутствии. А как только подам знак — тут же прекращайте все расспросы и уходите. Согласны?..

Быкову ничего другого не оставалось, как кивнуть головой, после чего они спустились на первый этаж, и Йенсон позвонил в комнату Свифта.

Дверь тут же открылась, словно тот стоял за ней и ждал их прихода. Внешний вид Сэма поразил не только Быкова, но, кажется, и самого профессора. Глаза его горели каким-то исходящим изнутри огнём, пальцы нервно теребили застёжки светло-голубого госпитального костюма.

— Мне нужен мой мундир... — были первые слова Свифта, обратившего жгучий и вместе с тем как будто бы ничего не видящий взгляд сначала на монитора, потом на профессора. — Она не должна увидеть меня в этой нелепой одежде! Это ужасно, но, похоже, я уже не успею переодеться...

— Как только устранят повреждения, вам его тут же принесут. Я распорядился, — заверил Йенсон.

— Я наконец-то возвращаюсь назад! Вы мне не верите, док?! Время исправляет свою ошибку! Человек, который хотел меня использовать, — погиб, женщина, которой я был интересен, — тоже. А сегодня едва не погибли вы, док, потому что хотели мне помочь... Само время словно бы отторгает меня!

Прервав свою сбивчивую тираду, Сэм сел в кресло, потом снова вскочил. Глаза его лихорадочно блестели, взгляд перескакивал с предмета на предмет.

Там, на пляже, он выглядел усталым и безвольным, а сейчас, несмотря на всю его нервозность, перед Быковым находился порывистый и сильный человек. Откуда было монитору знать, что снова отважный капитан корсаров стоял сейчас посреди госпитальной комнаты.

— Понимаете, она наконец вспомнила обо мне! — непонятно к кому обращаясь, снова заговорил Свифт. — Я чувствую это! И я так устал без неё. Если бы Долорес не вспомнила меня, я бы, наверное, скоро умер!

Глаза Сэма торопливо искали что-то на стенах комнаты, словно пытаясь обнаружить приоткрывающуюся дверь в прошлое.

— Прощайте! — заговорил он торопливо. — Теперь-то, док, и вы, монитор, убедитесь, что я говорил правду. И я никому в вашем времени не причинил намеренно вреда...

Последние слова были обращены, должно быть, к Быкову.

После чего Сэм сделал несколько торопливых шагов к стене — словно отыскав наконец ту невидимую дверь в прошлое. Хотя взгляд его и был устремлён в стену, но видел он сейчас значительно дальше — через века...

Вдруг фигура Свифта стала быстро терять плотность и утончаться — словно материя перетекала в другое, невидимое пространство. Вот она превратилась в тонкую чёрточку, вот уже ничто в комнате не напоминает о недавнем присутствии путешественника во времени...

— Вот и всё, — тихо сказал Йенсон. — Надеюсь, он вернулся в своё настоящее? Хотя всего несколько минут тому назад я бы в такое не поверил!

— Я и сейчас ещё не совсем верю своим глазам...

— И напрасно, — возразил профессор. — Раз мы, двое психически здоровых людей, к тому же скептически настроенных, видели одно и то же — значит, это не галлюцинация, а свершившееся событие...

Быков хотел согласиться, но неожиданная мысль, словно яркая вспышка, озарила его сознание.

— А если временна́я спираль замкнётся, и он вернётся опять под тот же выстрел? — непонятно кому задал он вопрос.

— По теории вероятности, событие не может повториться абсолютно, — ответил профессор, не вполне, впрочем, уверенно. — Во всяком случае, так утверждают оптимисты.

— Ну, это по теории случайностей, а вот теорию времени ещё никто не прописал, — возразил монитор. — Кроме того, любая теория живёт только до тех пор, пока кто-нибудь её не опровергнет...

Свифт очутился в небольшой и светлой комнате-спальне. Долорес сидела всего в нескольких шагах от него, подперев голову рукой и задумчиво глядя в раскрытое окно. Лёгкий ветерок слабо колыхал тонкую занавеску, шевелил непокорную прядку волос, ниспадавшую на лицо. На тёмном полированном столике лежала раскрытая книга, но мысли девушки были далеко...

Долорес вспоминала свой недавний сон. Этот сон, с незначительными изменениями, повторялся раз за разом, и в нём почему-то не было её жениха Мигеля, а был английский капитан. Они находились в каюте на галеоне, всегда только вдвоём: она — уверенная в себе, и он — смешно коверкающий испанские слова и целиком подвластный ей...

Да, Мигеля она вспоминает всё реже. Хотя они и должны были после путешествия пожениться, к жениху она относилась скорее как к брату. Они жили по соседству, вместе росли, и Мигель бывал частым гостем в их доме. А когда у Мигеля умерла мать, то Долорес по-женски жалела его, несмотря на то, что по возрасту была младше на несколько лет. А потом отцы решили их поженить. И за благословением пришлось плыть через океан, в колонию, где служил отец Мигеля.

А потом, на обратном пути, произошло это...

Капитан Свифт. Теперь почему-то часто вспоминается, как бережно он к ней относился. И то, как он, протестант, предлагал ей, католичке, руку и сердце! Ведь такой брак, по всей видимости, ставил крест на его офицерской карьере? И такую жертву способна оценить любая женщина… Он, может быть, и не очень красив, но — мужественное лицо, военная стать! И глаза… Его горящие каким-то внутренним светом глаза! Этот огонь любви не спутаешь ни с каким другим…

Она смутно помнила, как выстрелила в капитана. А после выстрела потеряла сознание и не могла видеть, куда Свифт исчез. Служанка говорит, что капитан растворился — его, по-видимому, забрал сам дьявол. Служанке сложно верить, потому что эта тёмная женщина просто помешана на нечистой силе. Недаром она заказала серебряные пули для пистолета.

Так куда же Свифт исчез? Выстрелом капитана не устрашить; значит, он просто отчаялся и уплыл в свою Англию? Но почему тогда матросы разыскивали его?..

А Сэм в это время думал том, что с тех пор, как они расстались, Долорес ещё больше похорошела. Локоны чёрных вьющихся волос подчёркивали не просто нежность, а какую-то неестественную белизну её кожи. «Уж не больна ли она?!» — обеспокоился капитан.

Девушка так и не замечала его появления, а Сэм не знал, что ему делать дальше. Глупая ситуация: и это неожиданное появление, и его нелепый костюм, и ощущение, будто он подглядывает. Мысли вдруг разом смешались и заметались, словно рой растревоженных пчёл. И этот неуправляемый рой снова, как и полчаса тому назад, родил в голове болезненное гуденье.

Сэм вдруг остро пожалел, что с ним нет старика-испанца. Полоумный философ, наверное, смог бы изящно начать разговор или дать какой-нибудь мудрый совет. Тогда, на галеоне, он не раз помогал капитану… Правда, старик как-то сам сказал, что чужие советы подобны горькому лекарству: их очень легко давать, но не очень приятно принимать…

— Долорес… — очень тихо, одними губами, прошептал Сэм.

Девушка встрепенулась и внимательно обвела взглядом пространство за окном.

— Долорес, — повторил капитан уже громче. — Какое же это блаженство — всего лишь произносить ваше имя…

Девушка резко повернулась — и невольно отпрянула к окну, увидев Сэма прямо перед собой.

— Это вы? — выдохнула она.

— Да, это я. А вы, Долорес, вспоминали обо мне?.. — спросил капитан с надеждой.

— Да!.. — отозвалась девушка, и было заметно, что она быстро пришла в себя. — Вы так загадочно исчезли, что я ожидала и столь же загадочного появления.

— Значит, вы всё-таки ждали меня?..

— Знайте же, мой пистолет заряжен специально для вас серебряной пулей!

— Почему серебряной?

— Вы же дьявол! Иначе вас не убить! Так говорит Фернанда…

— Уверяю вас, я не дьявол! Я скорее Колумб, волею Провидения тоже открывший новые земли и новых людей.

— Вы говорите непонятно, капитан! И я пока ещё плохо знаю английский язык…

— Что я слышу! Вы изучали мой язык?

— Это не только ваш, но и язык Шекспира.

— Я расскажу вам многое, Долорес, о чём и не подозревал Шекспир. Уверяю, что мой рассказ будет вам не менее интересен. Только согласитесь выслушать!

— Ваши речи, должно быть, столь же лживы, как и ваши поступки? Ваше исчезновение, утверждает Фернанда, это уход нечистой силы…

— Моё исчезновение стало неожиданностью и для меня! — перебил капитан. — И всё это время я стремился к вам, как заплутавший корабль в родную гавань. Но моя судьба волею злого рока стала добычей чужих ветров.

— Но вы же утверждаете, что устремились к новым землям! И там видели новых людей. Разве такое возможно не по своей воле?

— Возможно! — горячо заговорил капитан. — И такое путешествие можно посчитать за счастье, если бы не постоянно терзавшие меня мысли о вас, Долорес! Христофор Колумб открыл Америку и стал знаменит. А я открыл нечто большее, чем путь в океане, — это путь во Времени!

— Вы утверждаете невероятное. Но если это даже и так, то ведь вы там искали не меня, а золото и славу!

— Нет, моё богатство не в золоте, а в полученных знаниях. И повторяю: всё это время я просто искал обратный путь, то есть дорогу к вам, Долорес!

— Всё-таки вы говорите странные, непонятные речи. Им нельзя верить! И я всё это время убеждала себя, что не должна верить ни единому вашему слову…

— Умоляю, поверьте мне! Эти слова находит не мой разум, а моё умудрённое сердце. Оно просто не способно лгать! А ещё благословен тот посох, на который я опирался в поисках пути к правде и любви.

— Ваши речи стали коварными. И вы научились говорить красиво, как поэт…

— У меня были хорошие, мудрые учителя. Но главное я понял только сейчас: настоящее счастье неведомо тем, кто не пережил большого горя.

— Вы сильно изменились… Но, хотя и не предъявили ни одного доказательства, что-то убеждает меня, что сейчас вы не лжёте…

— Я не лгу ни единым словом! Правда, единственное моё доказательство — этот нелепый костюм из будущего. И ещё всё то, что я хотел бы вам поведать…
— И всё-таки это исчезновение… Такое может совершить либо святой, либо дьявол.
— Я ни тот, ни другой. Я просто игрушка Провидения. Хотите, я перекрещусь?

Сэм поискал глазами икону и, не найдя её, вытащил из-под комбинезона свой нательный крест. Несколько раз перекрестился и поднёс крест к губам.
— Теперь верите?..

Всё это время Долорес практически не шелохнулась, но в её застывшей позе ощущались и скрытое напряжение, и неуверенность. Бледность сменил болезненный румянец, и она не сводила настороженного взгляда со Свифта. Вот и сейчас она пристально следила за его правой рукой.

Счастливый уже оттого, что Долорес выслушала его и даже отвечает, Сэм сделал невольный шаг к ней. В ответ на это неосторожное движение девушка быстро склонилась к кровати и отбросила в сторону подушку. Через мгновенье в руке её оказался небольшой пистолет.
— После того как вы непонятным образом исчезли, я всегда держу под подушкой оружие, — медленно и твёрдо произнесла она. — Фернанда купила серебряные пули, так что берегитесь…
— Вы можете не опасаться меня, Долорес, — торопливо заговорил Сэм, глядя прямо в глаза девушки, — я никогда и ни при каких обстоятельствах не причиню вам вреда.
— Жаль, что я тогда промахнулась! — тихо произнесла Долорес, словно не услышав последние слова Сэма.
— Вы, Долорес, не промахнулись. Видите этот шрам на виске? Он от вашей пули. На дьяволе ведь не остаётся следов, не так ли?..
— Откуда мне знать? Я потеряла сознание и не видела, как вы исчезли…
— Тогда как вы можете судить о том, чего не видели?
— Зато Фернанда рассказала мне всё!
— Она ненавидит меня — и приняла желаемое за действительное…
— Жаль, что я не убила вас тогда, — повторила Долорес. — Сейчас мне сделать это почему-то труднее. Но я поклялась памятью Мигеля убить вас!
— Если вы уверены, что никогда не сможете меня полюбить, то сделайте это быстрее, — взволнованно проговорил Сэм и сделал ещё один шаг к ней.

Долорес в испуге вскинула руку с пистолетом навстречу. Зрачки её глаз расширились — то ли от ненависти, то ли от ужаса. Однако она почему-то медлила, всматриваясь в лицо Сэма, — пока рука её не задрожала от напряжения.
— Я молю вас, сделайте это: убейте меня, — повторил Сэм твёрдо и опустился на колени. — Потому что жить без вас я всё равно не смогу. Там, в другом мире, я понял, что любовь — это негасимая лампада, горящая не только благодаря чему-то, но и вопреки всему…

Долорес молчала. Лицо её опять побелело, губы перекосила гримаса боли. И ствол пистолета никак не мог остановиться, замереть — а продолжал отыскивать цель на груди капитана.

И тут, в ожидании выстрела, Сэм нашёл наконец нужные слова, которые сделали бы, наверное, честь даже мудрому старику-испанцу:
— Я сделал шаг к вам через пропасть, рассчитывая на спасение, но если это только полшага — пусть я упаду в неё, и больше вы меня никогда не увидите. Стреляйте же!..

Даже осознавая, что эти мгновения его жизни — последние, Сэм смотрел не в чёрное отверстие дула, а в глаза Долорес. Он не испытывал ни страха, ни сожаления, и единственным его желанием было успеть перед смертью прикоснуться губами к её руке, к плечу или даже к губам. Время словно бы растянулось: он видел в деталях и порывистость её дыхания, и всё больше туманящийся взгляд, и пульсирующую под кожей тонкую вену на шее. И слезу, неожиданную и невероятную, очень медленно соскальзывающую вниз по щеке…

Потом время совсем остановилось. Замерло и всё внутри Сэма: и сердце, и дыхание, и мысли. Только глаза продолжали отрешённо фиксировать, как неумолимо тонкий палец давит на спуск пистолета…

Он сделал ещё один шаг, чтобы быть ближе к ней. И увидел вдруг, как ослабла внезапно тонкая кисть, а тяжёлый пистолет со стуком упал ему под ноги. И он сделал последний разделявший их шаг, и опустился перед Долорес на колени. А когда поднял взгляд, увидел в смотрящих поверх его головы глазах девушки смятение и неподдельный ужас.

Сэм резко обернулся — и увидел, что это служанка Фернанда, стоя позади него, поднимает пистолет с пола. В её тяжёлом взгляде Свифт не увидел ни капли снисхождения — сейчас на капитана смотрела сама Смерть…

Он вдруг подумал, что это само Время наконец-то свело с ним счёты. Сколько попыток было там, в другом мире, но эта — самая верная. Потому что он сам призвал смерть…

Ствол пистолета смотрел Сэму в переносицу, а он всё не мог решить, с чьим именем на устах должен умереть: Создателя или любимой. Но тут вскочившая Долорес резко отвела окрепшей рукой ствол в сторону.

Свифт хорошо разглядел длинный язык пламени, вырвавшийся из ствола, но последовавший звук выстрела показался ему противоестественно тихим и коротким…

Закончив формальности, Быков собрался уходить. Он уже прощался с профессором Йенсоном —

и в этот момент что-то сильно ударило в стену позади. На пол посыпались осколки стеклянного светильника, в комнате запахло кислой гарью. Монитор оглянулся, отыскивая взглядом объект, учинивший эти разрушения,—но на первый взгляд ничего не изменилось. Только вся комната наполнилась синеватым дымом.

— Что это?—задал вопрос растерянно озирающийся Йенсон.

— Похоже на запах дымного пороха,—принюхавшись, сказал монитор с уверенностью.—Мы его составляли на лабораторных занятиях, когда я ещё был курсантом.

— А вот и то, что разбило мой любимый светильник,—произнёс профессор, поднимая с ковра какой-то маленький предмет.—Похоже на серебряную пуговицу.

— Это расплющенная серебряная пуля,—констатировал Быков, внимательно осмотрев «пуговицу».—Не знаю, что там произошло, но, по-моему, в Сэма стреляли.

— Похоже на то,—согласился Йенсон, с любопытством разглядывая пулю.—Вот только был ли это тот, первый выстрел, или его ждали, чтобы свести счёты? Трудно сказать!..

— Серебряная пуля говорит о том, что к встрече тщательно готовились,—заключил Быков.—Ведь человеку, в отличие от нечистой силы, несвойственно исчезать и возникать ниоткуда…

— Вы думаете, что Свифта посчитали за оборотня?

— Серебряные пули просто так не отливают.

— Вполне вероятно. Вот только остался ли Сэм жив—этого мы уже никогда не узнаем!

— Я бы не стал утверждать это так конкретно, ибо уже ни в чём не уверен,—возразил монитор.

— Возможно…—произнёс профессор задумчиво.—Если только ещё раз попытаться отыскать фамилию в старинных архивах? Как-никак он был офицер и дворянин…

— Я поднимал архивы в самом начале расследования—и не нашёл никаких упоминаний.

— По-вашему, это означает, что Сэм погиб?

— Это ничего не означает! Сами понимаете, профессор,—далёкий, бескомпьютерный семнадцатый век… Вернее, означает только то, что он не сделал большой карьеры при английском дворе и не прославился в морских сражениях.

— Возможно, он просто-напросто прожил счастливую жизнь обыкновенного человека? В родовом замке, с любящей женой и в окружении детей…

— Вполне возможно…

— Во всяком случае, здесь-то он был несчастен,—задумчиво произнёс Йенсон.—Без любви, можно сказать, без прошлого и практически вне нашего времени…

— Тут позвольте с вами не согласиться,—возразил монитор.—Человек несчастен, когда не имеет цели,—а у Сэма всегда была цель. Просто у него не выдержали нервы… Так я не знаю, как бы повели себя мы, очутившись на его месте!

«Что-то Сэм сказал такое?..—снова и снова пытался вспомнить Быков по пути из госпиталя. Но важная мысль, всего лишь раз мелькнувшая в отдалённом сознании, упорно не давалась.—Что-то он сказал очень важное!..»

Отчаявшись поймать эту постоянно ускользающую мысль и зная наверняка, что она обязательно вернётся как раз тогда, когда перестанешь о ней думать, монитор включил в аэре автопилот и устало закрыл глаза.

Через какое-то время мысли переключились на предстоящий отпуск и на традиционную встречу одноклассников. Встреча проводилась на Земле каждый год, но он не мог попасть на неё вот уже добрый десяток лет: командировки, срочные дела. На этот раз вроде бы всё складывалось как нельзя лучше… Будут воспоминания, будет повальное позёрство, потому что в глазах одноклассников каждый хочет выглядеть успешней и значимей, чем он есть на самом деле. Это нормально для тех, кто давно не виделся и для кого мнение бывших друзей ещё что-то значит.

Раньше Быков знал наверняка, что им будут гордиться и в душе завидовать профессии, которая для остальных одноклассников оказалась недостижимой. Но это было раньше, а теперь он сам будет потихоньку завидовать тем, у кого семья, у кого делают первые успехи дети, у кого семейные радости на первом месте…

«Ах да,—вспомнил Быков, ибо фраза прозвучала в ушах как запоздавшее эхо.—Сэм сказал буквально так: „Меня отторгает само время!“»

А вот почему он, Быков, сразу же отметил эту фразу, что в ней такого нашёл?

«Стоп!.. Может, это как раз и есть подсказка разгадки феномена Свифта? Хотя может ли отторгать время? И собственно, что же это такое—время?..»

От полученных когда-то в университете знаний в памяти осталось совсем расплывчатое определение времени: то ли форма движения материи в пространстве, то ли некое малоизученное поле. С тех пор промежутки времени ему приходилось измерять лишь традиционно-условно, и, как правило, точкой отсчёта являлся он сам. Так сказать, потребительский подход… А ведь исследователи не стояли, наверное, на месте?

Заинтересовавшись, Быков включил энциклопедический справочник аэра и набрал на экране дисплея слово «время». По экрану побежали строчки: «Время—форма последовательной смены явлений и состояний материи. Время и пространство—основные формы существования материи (философск.)». Далее шли такие заумные философские выкладки, что Быков, даже не пытаясь вникать в их смысл, просто пробегал глазами.

Иногда глаз выхватывал выделенные шрифтом основные положения или относительно легко воспринимаемые фразы, типа: «Пространство трёхмерно, время имеет одно и только одно измерение…»

В этом месте он недоверчиво хмыкнул — но стал читать дальше.

«Универсальные свойства времени — длительность, неповторяемость, необратимость… Время необратимо, то есть всякий материальный процесс развивается в одном направлении — от прошлого к будущему…»

«А как же Сэм? — задал себе вопрос Быков. — Мне что же, не верить произошедшему? Тупо считать, что этого не может быть — потому что этого не может быть! Но ведь было: и перетекание телесной материи куда-то, и пуля из прошлого… Ну да ладно, что там написано дальше?»

И снова по экрану побежали строчки: «…Наукой доказано, что течение времени и протяжённость тел зависят от скорости движения этих тел и что структура или геометрические свойства четырёхмерного континуума (пространство-время) изменяется в зависимости от скопления масс вещества и порождаемого ими поля тяготения… Пространство Минковского…»

Быков с сожалением отметил, что в осознании «континуума» он оказался полной бездарью, и соотношение «понял — не понял» вряд ли когда-нибудь изменится в его пользу. Ну что ж, не каждому дано! К тому же прочитанная информация почему-то не убеждала.

«Если мы свободно перемещаемся в трёх измерениях, — размышлял он, — почему бы не попробовать и в четвёртом? Наверное, просто ещё не научились?.. Так нельзя же так безапелляционно утверждать, что это невозможно! Скорее всего, учёные просто перестраховываются. А как же тогда Сэм?!.. По крайней мере, только одно можно сказать однозначно: машина времени невозможна в принципе, иначе мир бы заполнили пришельцы из будущего…»

Он набрал в поисковике словосочетание «машина времени» и из безграничного множества выбрал ссылку со сноской «научно-популярная». Первая же строчка его несколько шокировала: «Путешествия во времени не опровергаются общей теорией относительности».

«Ну вот! Оказывается, не всё так просто — надо было в своё время читать популярную литературу!» — поехидничал Быков по поводу своей компетенции и стал читать более внимательно.

«…Она предсказывает, что течение времени замедляется при сильной гравитации. Теоретически, чтобы сделать «машину времени», надо просто подключиться к двум областям, где время течёт с разной скоростью. Одним таким регионом может быть Земля, а другим — место в непосредственной близости, например, от чёрной дыры с её бесконечной силой тяжести. Но можно ли человеку совершить такое путешествие? В принципе, да. Ткань пространства-времени — это очень сложный клубок переходов сквозь пространство и время, так что теоретически через «кротовые норы» можно не только преодолевать пространство, но оказаться в будущем, а то и в прошлом. Однако если даже удастся решить алгоритм перемещения во времени, человек вряд ли сможет отправиться в далёкое прошлое.

Посмотреть на живых динозавров можно только в том случае, если какие-то инопланетяне оставили на Земле машину времени 65 миллионов лет тому назад. Зато, как только появится «машина времени», нас смогут посещать представители будущих цивилизаций. Так что теоретически дверь в другое время остаётся открытой».

Усмехнувшись, Быков выключил программу поисковика, но мысли, получив определённое направление, бежали, бежали…

«Что там говорилось о единстве времени?.. Ах да, что время-то во Вселенной, а значит, и в околоземном пространстве, как раз непостоянно! Это мы, люди, всё упростили: изобрели хронометры и календари, приспособив их к своему ритму жизни, к смене дня и ночи, к временам года. Но, похоже, очень уж всё это было сделано условно?..»

Недаром, как только Быков попадал даже в ближнее внеземелье, внутренний хронометр сразу же давал сбой — и каждый раз он начинал жить в ином, более рациональном ритме. Двадцатичетырёхчасовые сутки постепенно превращались почему-то в тридцатишестичасовые, то есть скорость течения внутреннего времени сразу менялась…

«Значит, либо эту скорость мы задаём сами, и тогда она для каждого разная, либо мы, люди, можем жить вообще вне вселенского времени? Или четвёртый вектор подчиняется каким-то иным, не земным законам?..»

Быков почувствовал, что логическая цепочка вот-вот разорвётся, и попытался упорядочить мысли:

«…Допустим, что скорость течения времени мы задаём сами, и пусть это будет первой аксиомой!.. Но при этом мы можем изменять её только вокруг себя, не перенося на других людей, находящихся вне определённой зоны! Тогда время — это какой-то вид поля: огромного, просто гигантского…

А если каждый человек в отдельности — просто маленькая ячейка этого непостоянного поля?.. Отсюда и изменяющаяся скорость его течения, и сложность структуры — раз время объединяет индивидуальные поля всех людей… Похоже? Тогда примем это предположение в качестве второй аксиомы!..»

Ощутив вдруг смутное беспокойство, Быков окинул взглядом приборы. Но всё было в порядке,

просто уставшая нервная система запоздало отреагировала на какую-то уже преодолённую опасность. А мысли, получив толчок в новом направлении, побежали по несколько иному руслу:

«…Биополе Земли и временно́е поле Земли обязательно должны быть связаны посредством человечества. И, находясь в прямой связи с биополем Земли, человек постоянно должен ощущать обратную связь. Не потому ли иногда кажется, что кто-то неведомый диктует нам поступки?

Да, в этом определённо что-то есть! А раз так, может, как раз эта связь и формирует цепь так называемых предвидений в нашей жизни? Невероятным образом оказаться на астероиде во время поисков Стеллы—это, скорее всего, и есть такая продиктованная извне «не случайность»? Вот вам, господа учёные, и объяснение источника интуиции!..»

От такой мысли у Быкова даже ладони вспотели, что бывало либо в минуты реальной опасности, либо в минуты прозрения. Правда, он скрывал это от всех—и от друзей, и от врачей, считая признаком некой слабости, несовместимой с профессией монитора. Ну, по крайней мере, профессиональным недостатком…

«…Но при такой всеобщей связи должно было, в конце концов, установиться некое устойчивое равновесие,—сделал он логический, но невероятный вывод,—в том числе и в общественном устройстве…»

Быков боялся потерять нить рассуждений, потому что возникло чувство, как будто посреди зыбкого болота он нащупал твёрдую тропинку. Сейчас главное заключалось в том, чтобы как можно дольше не сделать ни одного неверного шага. Один шаг в сторону, одно неверное отступление в размышлениях—и всё рассыплется, и назад на эту тропинку уже вряд ли выберешься…

«…Должно установиться равновесие добра и зла… А как же тогда их существующее противоборство?! Из равновесия ведь вытекает, что зло неуничтожимо и, несмотря ни на что, существовало до сих пор, существует и будет всегда существовать?..»

Мысли уже не выстраивались в цепочку—они толпились, тесня друг друга.

«…А что, если добро и зло изначально заложены природой или, допустим, Богом в развитие человеческого общества? В самом начале зло тоже способствовало эволюции, но значит ли это, что оно неискоренимо?..»

У Быкова от предчувствия какого-то открытия уже не только ладони вспотели, но даже мурашки по спине побежали. Ибо, постоянно сталкиваясь со злом в своей работе, он подсознательно всегда искал ответ на данный вопрос.

«…Нет, мир, конечно же, пусть и медленнее, чем этого хотелось бы, движется в направлении гуманизма и духовности. Постепенно—век от века, год от года—зла всё-таки становится меньше. Отсюда, несомненно, вытекает, что, сформированный и поддерживаемый человеческой цивилизацией, этот континуум в околоземном пространстве постоянно совершенствуется. Так что же, это третья аксиома? Пожалуй…»

И тут мысли неожиданно снова перескочили на только что завершившееся расследование и на историю Сэмюэля Свифта:

«А ведь на основании третьей моей аксиомы история с его перемещением из прошлого находит вполне разумное объяснение. Получается, что в будущее он попал вовсе не случайно.

Хотя… Хотя в любом поле могут возникать и некие разрывы, случайные вихревые потоки…

Ладно, забудем об этом и будем считать, что не случайно! В своём прошлом он неминуемо умер бы от заражения крови, о чём как-то сказал профессор Йенсон. Ибо у Свифта намечалась гангрена в области виска, которая в средние века являлась смертным приговором… Далее: потенциальный труп Свифта переносится на пять веков вперёд, где его путь пересекается с преступным путём Боба Митчелла…

Если случайность—то очень уж избирательная! Что-то же свело их, таких разных, в одной точке! Если моя аксиома верна, то кто-то из них обязательно должен был погибнуть: если Свифт—то нарушенное временно́е равновесие восстанавливалось, если Митчелл—то добро одерживало очередную победу, а поле делало ещё один шаг к совершенству. Получается, что континуум—это подвластная обществу, самосовершенствующаяся сверхсистема? Что-то уж слишком отдаёт фантастикой!..»

Быков попытался дать мыслям новый ход, но какая-то яркая догадка, мелькнувшая в предыдущих размышлениях, не давала это сделать.

«…Потом была Альма. Здесь не всё ясно и понятно: желательна была смерть самого Свифта, или у него было предназначение—спасти остальных? Спасти того же Полонского от «динозавра», об инциденте с которым он постеснялся рассказывать?..

Получается, что окружающие Свифта люди то ли спасаются от неминуемой смерти, как Полонский, то ли наоборот—неминуемо погибают, как Митчелл. А как же тогда Валерия? Может, просто роковая случайность?..»

Быков понял, что запутался окончательно. Главное, что у него было слишком мало фактов, чтобы утверждать что-то с уверенностью. Он вдруг подумал, что очень хотел бы вернуться в прошлое, когда ещё жива была Стелла. Уж он ни за что не оставил бы её одну и нашёл бы способ спасти от гибели!

«Если вдуматься,—устало подумал он,—почему случай со Свифтом следует считать единичным?

Время отторгло и меня, хотя не так явно, как Сэма. Да и я, должно быть, тоже не один-единственный в целом свете попал в это чужое чуждое время? Яркие впечатления, страстные желания, высокие помыслы, любимая женщина—всё это и для меня осталось в прошлом. Как за незримой, но явной и абсолютно непроходимой стеной… К сожалению или к счастью, спор со временем удавался, да и то не всегда, лишь Сэмюэлю Свифту!..»

Тут же навалились воспоминания, связанные со Стеллой, и он старательно стал гнать их прочь—потому что подобные мысли вытесняли все остальные и, как правило, приводили к полному внутреннему опустошению и даже к депрессии.

«…Может, Свифт потому и не мог сразу вернуться в прошлое, что слишком задержался здесь и со временем там стёрся даже след его? И оборвалась прочная связь с ним—та самая пространственно-временная связь, называемая мудрёно «континуумом».

А может, его пребывание в настоящем стало слишком уж опасным для окружающих?! Тогда у разумного поля действительно оставался единственный гарантированный вариант—назад, под роковой выстрел!..

Хотя мягкая расплющенная пуля должна была застрять в теле! А на виске у него оставался шрам от первого выстрела, и на черепной кости обнаружены, как утверждает Йенсон, следы свинца… Это означает только одно: в него стреляли ещё раз и, похоже, промахнулись…

Тут либо явная неувязка, или у меня что-то не так с логикой!»

Аэр уже снижался, и Быков невероятным усилием натренированной воли разогнал цеплявшиеся друг за друга мысли, словно разорвал липкую паутину. Во временно образовавшемся мысленном вакууме он заставил себя думать о том, что долгое, но так и не принёсшее полной ясности расследование, в общем-то, закончено—осталось лишь составить отчёт, состоящий лишь из ясных и неоспоримых фактов. Всё остальное—все его размышления и допущения—теперь уже не имеет никакого значения.

Потом он стал думать о длинном, за два года, отпуске—и все предшествующие мысли в свете завтрашнего дня стали казаться просто бредовыми, вызванными усталостью и растрёпанными нервами. Дотоле казавшаяся стройной и почти непоколебимой, цепочка умозаключений мгновенно рассыпалась.

«Выбрось всё из головы,—уговаривал себя Быков,—это просто усталость и нервы. Эко я накрутил: самосовершенствующееся временнóе поле вокруг Земли!

Да это, если вдуматься, и есть сам Господь Бог!

Хорошо ещё, что начальство не может контролировать мысли своих подчинённых, а то весь отдел смеялся бы над монитором Вадимом Быковым…

Ну да ладно, хорошие идеи не пропадают впустую: вот выйду в отставку—начну писать научно-фантастические романы! Сюжеты для двух-трёх у меня определённо есть! В них можно менять жизненный сюжет по собственному усмотрению; можно даже вычёркивать целые эпизоды и отдельных действующих лиц—а любимых героев всегда приводить к счастливому завершению начатого. К сожалению, такое чаще всего возможно лишь в фантазиях, но не в жизни…»

Александр Кердан

Двойной портрет в окне вагона

● ● ●

Слетаются звёзды в оконный квадрат—
Гудящий космический рой,
Мерцающий золотом, как виноград,
Нагретый июльской жарой.

Прибоя дыханье в открытом окне
Слышнее, чем песня колёс.
И поезд скользит, как смычок по струне,
И кажется, что под откос.

Но страха во мне ни на толику нет,
Так, словно не здесь я уже,
И верю в судьбу, чей таинственный свет
Наитья рождает в душе.

Пусть поезд уносит в полночную мглу,
Пусть ветер дыханье теснит,
Но угол падения равен углу
Ухода в звенящий зенит.

● ● ●

Милая родина,
Малая родина,
Дедов приземистый дом…
Дальше, конечно же, в рифму—
Смородина,
Та, что растёт под окном.
Рядом—малина,
Колючий крыжовник,
А за забором—репей…

Будь ты хоть праведник,
Хоть уголовник,
Будь в этой жизни—ничей,
Здесь обретёшь
Всё, что было утрачено,
Пусть никого не найдя…
Холмик над мамой,
Крестом обозначенный,
Серая сетка дождя…

Добрая мама—
Кровиночка алая—
Сделалась пядью земли.
Родина милая,
Родина малая—
Можно в горсти унести.

Лепестки

1.

Пахнут лилии тревожно,
Раскрывая лепестки.
Между будущим и прошлым
Запах, словно взмах руки,
Что старательно стирает
След метелей на окне,
Лепестками устилает
Сны, что будут сниться мне…

2.

Помнишь, как веткой стучала в окно
Вешняя полночь,
Как мы с тобою сливались в одно,
Помнишь?

Помнишь? Тогда не тревожь тишину
Звонким ответом.
Время цветенья не могут вернуть
Даже поэты.

И на вопрос свой ответа не жду,
Видно, недаром:
Звёзд лепестки облетели в саду
Старом…

● ● ●

Счастье—тихая река,
Что бежит издалека
Меж холмов,
Лугов зелёных,
Извиваяся слегка…

Лишь на миг вода в затонах
Останавливает бег,
Чтобы мог в неё влюблённый
Поглядеться человек.

И опять несёт теченье
Ощущенье по волнам,
Что на миг даётся нам
С нашим счастьем обрученье.

Чтобы после, много лет,
Взглядом безнадёжно кротким,
Всё глядеть ему вослед,
Как без нас уплывшей лодке…

● ● ●

В стране безоблачных фантазий,
Где не прописана беда,
По скользкой крыше в детстве лазил,
Сновал по ней туда-сюда…

Мне было страшно, но не очень,
К тому же был я не один—
До экстремальности охочий
Десятилетний гражданин.

На крыше мы играли в прятки,
И я, как помнится, галил,
Пока с земли какой-то дядька
Нам кулаком не погрозил.

Пока, окрашивая раму
И голову наверх задрав,
Не ужаснулась чья-то мама,
Занятья наши увидав.

И мы, забыв былую смелость,
Скорей—в чердачное окно…
По счастью, все остались целы,
Тогда остались целы…
Но
Мне снится этот день весёлый,
Скос крыши, дядька, женский крик
И я, прогуливавший школу,
Хотя к прогулам не привык.

И, занят делом бесполезным,
Но героическим зато,
Я вновь бегу по краю бездны
В коротком сереньком пальто.

И не могу остановиться,
И под собой не чую ног,
И не боюсь ничуть разбиться,
В бессмертье веря, словно Бог…

● ● ●

Люблю дорожный неуют,
Когда с товарищем на пару
Мы измеряем бег минут
Опустошённой стеклотарой.

Когда закуска на столе,
Как натюрморт неприхотливый,
И изменяется в окне
Пейзаж какой-нибудь красивый.

А мы сидим—к плечу плечом,
И на душе светло и славно,
И разговор наш ни о чём,
Но, если вдуматься, о главном.

О том, что время—это мы,
Забывшие его законы…
Лишь перегон—от тьмы до тьмы,
Двойной портрет в окне вагона.

● ● ●

От любви осталась только память,
Только память, горькая, как мёд,
Что потомок, поискав в чулане,
Для себя нечаянно найдёт.

Этот мёд уже не пригодится.
Можно банку выкинуть, но всё ж
Запахом вначале насладиться…
Даже горький запах—так хорош.

В день рожденья любимой

Дальним эхом позови,
И откликнусь я привычно.
Есть границы у любви,
Только нежность безгранична.

Только эта тишина,
Что наполнена до края
Тем, что ты в душе—одна,
Тем, что ты душе—родная.

Не разъять и не отнять
Ощущение простое:
Можно жизнь начать опять,
Но, наверное, не стоит…

Свирель

Наивной истины искатель,
Всегда как будто бы не там,
Поэт, затерянный в веках,—
Свирель у Господа в руках:
Она нема, пока к устам
Её не поднесёт Создатель…

Из детства

И морозец доедает
Запасённые дрова…
А. Решетов

Вновь расцветают розы—
На окнах целый сад.
Крещенские морозы
Поленницу едят.

Гудит, не умолкая,
Симфония в трубе,
Но розы не растают
В натопленной избе.

Я—шкет обыкновенный—
Симфоний не слыхал,
Но сам принёс полено
И в печку затолкал.

Чтоб бабушка гремела
Старинным чугунком
И пахла каша белым
Берёзовым дымком.

Георгий Яропольский

Сомкнутые дни

Чертановский цикл

Л. М.

1. Вроде эпиграфа

Нет долгожданнее доли—
сомкнуты дни, как ладони.
Но обернись ли, моргни—
глядь, разомкнулись они.

Кто нам расскажет о средстве
день сделать долгим, как в детстве?
Чтобы продолжился он—
есть ли какой-то смартфон?

Пусть это явно не ново,
делаю ставку на слово.
Это единственный путь
время замкнуть и сомкнуть.

2. Чертановский чертог

Хоть меблирашка наша неказиста,
но в ней сполна присутствует уют,
и сетовать, поверь мне, не годится,
что постояльцы новые придут.

Ведь этот наш чертог, по крайней мере,
даёт сердцам забиться как одно,
а гаджетам древнейшим в шифоньере
романтики лишить нас не дано.

Я знаю, этот вечер станет датой,
пропишется в листках календарей:
навек запомним этот пол покатый
и своеволье кухонных дверей.

3. Ультразвук

Сколько визгу! Господи, помилуй:
мечется собака, как щенок,
вся такой охваченная силой,
что хозяйку сбить могла бы с ног.

Десять ей—вполне почтенный возраст,
ан пускает в дело ультразвук;
я же вряд ли ныне выдам возглас,
у рассудка вырвавшись из рук.

Всё, что получал от жизни зябкой,
в ранних восклицаниях исторг,
но вот ты, представшая хозяйкой,
и теперь способна на восторг.

Много ты даруешь—что с отдачей?
«ятл!» В ответ я—ни гугу.
Ультразвуковой любви собачьей
противопоставить что могу?

Помнится, младенцем я агукал—
в этом, что ли, правильный ответ?
Стих мой, напитайся ультразвуком
самых первых, невозвратных лет!

4. Наперекор

Да, так любить, как любит наша кровь,
Никто из вас давно не любит…
А. А. Блок

Сусеки все обшарены, однако
в них ничего не сыщешь, кроме крох.
Могла бы мне прочесть твоя собака:
«Да, так любить, как любит наша кровь…»

Со вросшим когтем и потёртой шкурой,
как вьётся эта псина вкруг тебя!
Наперекор действительности хмурой,
она живёт, от всей души любя.

Неловко, видя этакое чудо,
осознавать, что сам так—ни о ком…
Не мучила бы душу мне остуда,
когда бы обернуться мог щенком!

5. Миг

Помню давний смешной испуг—
я, во всю лягушачью прыть,
гнал из школы домой, и вдруг
мысль ожгла: как могу я—быть?

Все снаружи, а я внутри,
управляю самим собой:
хочешь в небо смотреть—смотри,
хочешь под ноги—так изволь.

Это длилось всего лишь миг,
он сомкнулся, но я пока
глубины его не постиг,
понял только, что велика.

6. Без света

Всю ночь нет света. Приглушённый смех
и прочие загадочные звуки
воспользовались случаем… Но снег
прохладнее, чем сомкнутые руки.

Всю ночь нет света. Вероятно, свет
в такую ночь не смеет и включиться—
из скромности, наверное… Но снег
синее тонкой жилки у ключицы.

Всю ночь нет света. Праздничная снедь,
что собиралась наспех, в одночасье,
забыта и оставлена… Но снег
безмолвней, чем тягучее согласье.

7. Смешные существа

Всё же, что ни говори,
мы—смешные существа:
всякий хлам у нас внутри
превращается в слова.

Разложимо всё, что есть,
до последней простоты.
Что такое ум и честь—
досконально знаешь ты.

Похоть, ревность, крови зуд
проявленьями любви
параноики зовут,
поясняя: *c'est la vie!*

Рвём рубахи на груди,
ан сегодня не вчера.
Сколь углей ни шуруди,
не окрепнет плоть костра.

Не хранимся в янтаре,
но сгораем, как дрова
с той травы, что во дворе,
мы—смешные существа.

8. За полночь

Представлять устав юлу
из своей дородной тушки,
спит собака на полу,
настораживая ушки.

Паутинка меж трубой
и потёртой занавеской
выдаёт сквозняк любой,
напружиниваясь леской.

На квартал один не сплю
и на кухоньке без света
за бычком бычок давлю
в баночке из-под паштета.

Чёрт ли нас сюда занёс,
где расстелен снег так пышно
и с чертановских берёз
осыпается неслышно?

Эти сомкнутые дни
в боковом застынут зренье—
их, чтоб выжили они,
заточу в стихотворенье.

9. Ката́рсис

«Банальная концовка,—
мой друг провозгласил.—
О быте строчишь ловко,
на прочее нет сил?
Где здесь прорыв, писака,
за грани, к небесам?»
Я промолчал, однако
прекрасно знал и сам,
что вышел стих обычным—
как дом, в котором я
не грежу пограничным
доменом бытия.
Живу, тихонько старясь,
не накликаю тьму
и даровать ката́рсис
не жажду никому.
Мне, может, «глупый пингвин»
милее, чем храбрец,—
сидим мы с ним, не пикнем,
ничьих не жжём сердец.
Надмирного не а́лкал
бесхитростный мой стих,
но в нём витает ангел,
стеснителен и тих.

10. Отраженье абажура

Танец трепетный снежинок
вдруг покажется давнишним—
не поймаем в фотоснимок,
вязким словом не опишем.

Миг летуч и необъятен,
в нём так много—не представишь—
небоскрёбов, голубятен,
однокомнатных пристанищ.

С бегом времени тягаться
бесполезно, все мы знаем;
наши бренные богатства
никогда не станут раем.

Подсчитаем, и в итоге
больше займа будут пени,
но в Чертанове чертоги
не забудут наши тени.

И качнётся в створ прищура
не распадом, тайным ладом
отраженье абажура—
за окном, под снегопадом.

11. Повтор

Хоть узорчаты стёкла,
рифма «роза»—«мороза»
двести лет как поблёкла,
стёрта прозой навоза.
Дань подобным узорам
да следам у крылечка
будет только повтором,
потому—ни словечка.
Но, коль это обуза,
отправляйся в распадок—
там, что мякоть арбуза,
воздух стуженый сладок.
В перелеске сосновом,
где клубы́, а не клу́бы,
не заметишь, как словом
округляются губы:
«Озоруют морозы!
Замерзают озёра!
И узорные розы—
ворожбою для взора!»

12. Пластика

Уймись, пластический хирург!
С твоими чёрствыми глазами
для наших сотворить подруг
что можешь ты в сравненье с нами?

Бесплодных лекарских лекал,
прокрустовых опок унылость
не то, что взгляд наш разыскал,—
тебе такое и не снилось.

Так в чём истоки красоты?
И мир, и время—всё нас лепит,
а вот случайные черты
сотрёт влюблённых жаркий лепет.

13. Глава

Ключ протолкнув в почтовый ящик,
с тобой замкнули мы главу,
в которой много настоящих
чудес узнали наяву.

Благословен, кто в эти сети
нас промыслом своим завлёк!
Что дальше кроется в сюжете,
героям вроде невдомёк.

Соединяя с небесами,
на свет нас кто-то произвёл…
Но, может, авторы—мы сами?
Наш, может, в этом произвол?

Какую же даруют прелесть
спешащие карандаши,
страниц едва приметный шелест,
шуршанье ластика в тиши!

Морозным будущим мы дышим,
что припасла бумаги десть…
Когда-нибудь мы всё напишем,
да вот успеем ли прочесть?

14. Не последняя чашка

Не намоленное место—
невозбранный новодел.
(Где-то: тили-тили тесто!—
колокольчик прозвенел.)

Вид оттаявший несносен—
стеклотара, «тетрапак»…
(Мы гуляем между сосен,
только это—лесопарк.)

Что во времени сломалось?
Скуден выводок секунд.
(Разгулялся ветер малость—
хлопья лица нам секут.)

С новизной вполне освоясь,
мы выходим на балкон.
(Коли трогается поезд,
что ползёт—перрон? вагон?)

Даже если стать на страже,
сутки снова ускользнут.
(Память кружится в коллаже
перепутанных минут.)

В чашке с кофе отражаясь,
под поверхностью дрожу.
(Отчего снедает жалость?
Мигом каждым дорожу.

Но нельзя остановиться—
будет сорвана печать.)
Коль дописана страница,
надо новую начать.

15. Онегинской строфой

Январь двулик, он вяжет время.
Он смотрит разом в два конца.
Он холодит нас, тут же грея,
он рвёт и вновь целит сердца.
Предвосхищая всё, что скажем,
он смех подчас мешает с кашлем;
он, совершая вечный круг,
шлёт встречи, требуя разлук.
В него, как в зеркало, я глянусь:
там радость, нега, снег, тоска,
театр, утрата каблука…
такой проказник этот Янус!
Но я хитрей—и весь январь
вплавляю в слово, как в янтарь.

Вера Зубарева

Мысль на пробужденье

* * *

Вдруг эта мысль на пробужденье,
Как ток в сознанье, что уже
Привыкло к вечной перемене
Во всём—в природе и душе.
Не нужно знать о сменах больше,
Чем пожелтевшая листва,
Что на ветру слагает: «бо-же»,
Не осмысляя существа.
И разум в этом—чуждый, лишний.
Его стремление понять,
Упрётся в сердцевину жизни,
Где ноль, мигая, гонит вспять.
И по часов глухому стуку
Внутри виска, где бьётся марш,
Протянешь на прощанье руку
И что-то быстро передашь.
И выйдешь в явь, как вихрь—в воронку,
Как в землю быстрые дожди.
И будет ночь твердить вдогонку:
«Иди. Иди. Иди. Иди».

* * *

Собор поглощает полностью
Боренье звуков, в миру активных.
Боги витают в невесомости
Органной музыки. На картинах
Полное нарушение гравитации.
Становишься коленями на мрамор,
Чтобы с богами подняться в танце.
Но легче тебя—жара, и аккомпаниатор
Исполняет прелюдию
Облаку твоего тепла.
Остывая, оно поднимается в купола,
Надувает их
И отпускает в небесные странствия.
Мадонна прижимает младенца крепче,
Показывает ему пролетающие государства
И объясняет что-то
На фламандском наречье.

* * *

Постояли, оплакали. Всё как в прозе.
Помянули кого-то, кем он и не был.
Кто-то горстку стихов на прощанье бросил,
И смешалось с землёю,
Что было небом.
Разъезжались,
Немного мучались смыслом
По дороге в своё продолжение, там, где
Остывали уже электронные письма,
Дожидалась жизнь на одной из стадий.
Жил да был—да ушёл, не прощаясь, как бросил.
Нараспашку судьба.
Осень вымела праздник,
Бусы ягод рвала, расплетала косы,
Чтоб закончить вьюгою сказку сказок.
Растворялось пространство, но вечер медлил,
Дописать хотел ещё что-то вроде
Колокольного солнца с отливом медным
И по глади морской—куполов полноводье.
Росчерк света завис, где души не стало,
И сиял до потёмок струной одинокой.
И вздохнул кто-то: «Ангел отбился от стаи».
Город в ночь погружался подводной лодкой.

* * *

Пустое время—безразличный ангел,
Прозрачный, узкий, издали похожий
На вазу с очень белыми цветами
Без запаха, как будто бы бумага.
Прищуришься—и можешь наблюдать,
Как мир стоит, немного удлинённый,
На ангела фламинговой ноге.
Похожая на стеклодува туча
Дождь выдувает разной толщины.
Он клейко обволакивает шляпы,
Зонты, плащи. Друг друга опасаясь,
Прохожие идут на расстоянье,
Чтоб от прикосновенья не разбиться.
Мне хорошо в такое время спится.

Елена Крюкова

Русский Париж

Главы из романа

Памяти Марины Ивановны Цветаевой и её семьи;
Рене Герра, великому французу и великому русскому;
всем русским, живущим вдали от Родины — посвящаю

Глава первая

Поезд Прага — Париж. Катит через всю Европу: с востока — на запад. Темнота, духота, тряска. Из старой кожаной сумки — запах еды. Верная подруга Заля Седлакова насовала с собою в дорогу всевозможной снеди — чтобы дети не голодали. Дети — да. А они с Семёном? Они уже могут не есть ничего. Питаться Святым Духом.

Вагоны трясло на стыках. Стёкла окон затянуты страшными ледяными узорами. Анна не спала, глядела в окно. По зрачкам резко, больно бил фонарный свет. Станция. Анна не жмурилась. Широко открыты глаза. Думы овевают лоб, как табачный дым. Жаль, в купе нельзя курить.

Поезд опять стоял, на перроне уныло выкликали время отправления: сначала по-чешски, потом по-немецки, потом, после Страсбурга, — по-французски. Анна так и проехала всю Германию — с широко открытыми бессонными глазами. Когда фонарь бил то синими, адскими, то густо-жёлтыми, как яичный желток, лучами в замёрзшее окно, Анна видела: ледяные розы и тюльпаны на оконном стекле вспыхивают, искрятся.

Дети тихо спали на нижней полке, вдвоём. Аля крепко прижимала к себе Нику. Ника оттопырил во сне нижнюю губу и стал похож на сына Наполеона. Тёплые комочки. Родные. Спят или притворяются? Нет, кажется, спят, и крепко. Укачало их.

Семён не спал. Она слышала. Ворочался, вздыхал. Он лежал выше всех — на верхней полке: купе было трёхместное, и полки располагались одна над другой. Почему купе теперь стало напоминать ей тюремные нары? Они же свободны, они в свободной Европе, и никакого красного террора, никаких расстрелов без суда и следствия. И — никаких тюрем. Пусть попробуют за решётку посадить!

Свобода Европы… блеф… пустота… суета.

Поезд шёл, и качались вагоны, и внутри Анны рождались слова. Она всё время гудела стихами — и днём, и ночью. Днём научилась приглушать в себе эту музыку. Днём надо было работать, бесконечно работать. Зарабатывать деньги; варить еду; стирать и мыть; топить печь. Она без слёз не могла вспомнить печи, что топила в Чехии, — одну во Вшенорах, другую — в Мокропсах. Руки вечно в угле. Трещины на пальцах, на ладонях болят нестерпимо. Она сама пахла углём и гарью — вместо духов и пудры. Чудесное амбре.

Поезд, помоги… Поезд, стучи в такт…

…Мы в тюрьме. Мы за решёткой века.
Кат, царевич, вопленица, вор.
Не скотов сочтут, а человеков.
По складам читают приговор…

Длинно, тяжело вздохнул Семён.

Вот так же уезжали из Москвы когда-то. Сначала до Петрограда; там на Виндавский вокзал и поезд до Риги; а в Риге на перрон вышли, носильщик услужливо подбежал с тележкой, видит — поклажа тяжёлая, залопотал сначала по-латышски — Анна глядела непонимающе, — он перешёл на немецкий, и Анна вздрогнула и ответила: «Danke schön, ich habe kein Geld». Семён возмутился: «Что ты, Аня, у нас же есть деньги!» Носильщик гордо поправил бляху на груди. Перевёз на грохочущей тележке их багаж к берлинскому поезду.

Потом — Берлин. На перроне бледный поэт Андрей Быковский, встречает, губы трясутся. Семён подхватил все баулы и чемоданы один, чуть руки тяжестью не оборвал. Анна схватила на руки Алю. Тогда у неё была одна Аля. Ника тогда ещё не родился.

Никогда не родиться и никогда не умереть — вот счастье.

Улещают плесенью похлёбки…
К светлой казни — балахоны шьют…
Затыкают рты, как вина, пробкой…
А возжаждут крови — разобьют…

Стихи лились: вино, кровь. Губы покривились в горькой усмешке. «Кому нужны будут русские стихи в Париже? Семёну буду читать. Кошку заведу — кошке буду читать. Алю стихи уже не интересуют. Её уже — помады интересуют… туфельки на каблучках…»

Тяжёлые веки опустить на глаза. Постараться заснуть. Хоть на час. На миг.

Берлин. Мрачные дома. Быковский нашёл им тогда квартиру в центре, близ Александерплац. Дешёвую: чердак. Анна смеялась: как в Москве, в Борисоглебском! Семён устроился работать дворником — мёл и скрёб берлинскую улицу перед их домом. Анна кусала губы: уж лучше бы в газету! Дворнику платили лучше, чем журналисту. Аля по утрам плевалась от Анниной крутой, с противными комочками, манной каши. «Александра! Благодари Бога за еду и ешь!» — зло кричала Анна, и лицо её покрывалось коревыми красными пятнами. «Вы же сами не верите в Бога, мама», — бросала ложку Аля на стол со звоном.

Они отыскали в Берлине православную церковь и ходили туда с Алей. Аля видела: рука матери еле сгибается, чтобы перекреститься. Але нравились позолоченные иконы, густой бас священника. Анна стояла как столб, перемогая себя. «Зачем мы сюда ходим, мама, — спросила однажды Аля раздражённо, — если вам тут нехорошо?» — «Чтобы не забыть, что мы русские», — холодно ответила Анна. Огромные светло-серые ледяные глаза дочери вспыхнули. Она нарочно, назло матери, встала на колени на грязный пол храма, чтобы запачкать единственное платье.

Поезд, стучи… Поезд, езжай вперёд, только вперёд.

Бьют снега в окружия централа.
Прогрызают мыши тайный ход.
Сколько раз за век я умирала —
Ни топор, ни пуля… не берёт…

Пуля. Её водили на расстрел. Жену белогвардейца. Семён служил тогда в Белой гвардии, в Нижегородском полку. Где они стояли? Где сражались? У Анны родилась вторая дочка, Ольга. Лёличка росла слабенькой: недоедала, кричала всё время, так орала, что Анна однажды захотела заткнуть ей рот полотенцем — навсегда. И ужаснулась.

Лёличка орала как резаная, и ночью громко застучали в дверь.

Анна открыла без боязни. В ледяные комнаты, провонявшие табачным дымом — Анна крутила себе из старых газет «козьи ножки» и запоем курила махорку, — ввалились революционные солдаты. У них были страшные, весёлые и грубые лица, багрово-румяные с мороза. Винтовки за плечами. Будто — косы у косарей в лугах. Косят смерть косцы, сгребают трупы в стога. «Анна Царёва?! — оглушительно крикнул один. — Собирайсь! В кутузку! Муженёк-то твой знамо где!» Она молча надела старую лисью шубку, повытертую каракулевую шапочку и валенки, рукавицы не забыла, и сухо сказала Але: «Александра, за Ольгой следи. Если я не вернусь — стань ей матерью». Аля кивнула. Из огромных глаз девочки рекой плыли слёзы. У дочери глаза как ледоход. Лёд, медленно тая, идёт по реке, кровь плывёт, отражается синее Божие небо.

Тогда в тюрьме недолго Анну мучили, день всего, и вместе с сокамерниками повели на расстрел. Они всё прекрасно понимали: убивать ведут.

Рядом с Анной шли седенькая старушка в букольках, в пенсне на горбатом носике; высокий, как жердь, мужчина с лицом твёрдым и жёстким, будто из железа вылитым; две девушки, очень молоденькие, им не сравнялось ещё и пятнадцати; и три разбитных мужика в поддёвках, в купеческих жилетках; на запястьях и скулах мужичков — клеймами времени, привычного к боли и ужасу, — ало-синие следы побоев. «Ну, старушка из благородных, высокий тоже, а этих-то за что?» — смутно думала Анна, еле переставляя ноги после бессонной тюремной ночи.

Шла и свои стихи повторяла: «О бессонная ночь, о пресветлая ночь! Все метания — прочь, все сомнения — прочь! Только твой золотой, пронизающий свет. Только этот простой — на всю ярость — ответ…»

«Молись, дитя! — воскликнула старушка в пенсне. — Молись, ибо не ведают, что творят!»

Это была зима восемнадцатого года: царя и семью тогда ещё не казнили.

Анна знала, что царская семья где-то в Сибири. А может, на Урале? Слухи долетали и таяли в воздухе, как снег. Белого снега письмена, инистая, льдистая древняя вязь. На неё наставили дула винтовок, палачей было четверо, а может, пятеро, она не запомнила. Стали стрелять. Старушка упала. Мужчина с железным лицом стоял, вцепившись в окровавленную руку. В него стреляли, а он всё стоял и не падал! Пули свистели мимо Анны. Она молчала. Мысль работала ясно и холодно: сейчас я умру. Вот сейчас!

Раздался крик: «Прекрати-и-и-ить!» Солдаты опустили винтовки, матерились. Вразвалку подошёл человек в чёрной кожаной куртке. Прищурясь, глядел на Анну. И Анна поглядела ему в узкие татарские глаза. У её ног валялись две убитые девочки. «На цыплят похожи». Мимо лица пролетела чёрная птица последней слепоты. Солдаты подбежали и стали выдирать из мёртвых ушей жемчужные крохотные серёжки, срывать с шей нательные крестики на золотых цепочках. Анну затошнило. Она видела, как пальцы в крови судорожно толкают в карманы золото и жемчуг. «Идёмте! — сказал, как отрубил, кожаный человек. — Вас взяли по ошибке». Без единой мысли в голове Анна пошла за ним. Ноги ступали деревянно, не гнулись.

Он привёл её в комнату в здании тюрьмы. Грубо раздел и изнасиловал. Анна, пока он пыхтел и сопел над нею, даже лицо не отворачивала, глядела в потолок. Ей казалось — это вагон, купе, и она едет. Уезжает. Далеко. Навсегда.

Потом она торопливо оделась, собирая на груди в кулак разорванное кружево исподней рубахи. «Проваливай,—сказал ей кожаный,—пока я добрый».

В дверь купе осторожно постучали. Проверка билетов. Бочком втиснулся контролёр.
— Madame, monsieur, s'il vous plait…
— Анна, не вставай. Я покажу,—жёстким бессонным голосом тут же откликнулся Семён.

Муж протянул билеты. Контролёр так сладок, так любезен. Дети пошевелились. Ника муркнул, как котёнок. Анна так и глядела в потолок. В качающийся потолок купе.

Дверь хлопнула. Франция. Они уже едут по Франции.

Анна уже была во Франции. Давно. Вместе с сестрой Тусей. В другой жизни. Её больше нет. Где Туся? И Туси, может быть, уже нет. А Анна ещё есть. И теперь Франция станет её пристанищем. Домом? Никогда. Это Семёну нужен дом. А она—поэт; какой ей дом, когда для неё дом—весь мир? И нигде дома нет. Не будет. Не построит.

А они думают: мать, жена…

Чрез решётки дико тянем руки.
Камни лупят по скуле стены.
Мы уже не люди—только звуки.
Еле слы́шны… вовсе не слышны́…

Так проехали всю ночь. Последняя ночь, им проводники сказали. Утром—Париж.

Так и пролежала всю ночь—с открытыми глазами.

И снег расстояний их заметал. И гудели, плакали встречные поезда; и их поезд отвечал стоном, свистом.

А утром поезд встал, грохнув, содрогнувшись всем тяжёлым железным телом. Замер, огромный, уставший бежать зверь.

Анна погладила на запястье браслет—серебряную змею.

Дверь купе отъехала. В проём всунулось поросячье-розовое умытое лицо. Бодрый, свежий голос по-русски выкрикнул:
— Восточный вокзал! Всё, Париж, прибыли, господа! Подъём!

Аля вскочила; не расчёсывая, стала укладывать волосы, они призрачной паутиной путались между пальцев. Ника лениво спустил ноги с полки. После сна у него опухло лицо, он стал похож на бегемотика. Русые кудри, алые губки бантиком. Не мальчик—рождественская открытка.

Семён легко, как с коня, спрыгнул с верхней полки. Его лицо—вровень с глазами Анны.
— Аня! Вставайте. Приехали!

Вот теперь у неё были закрыты глаза. Притворялась спящей.
— Анюта,—шепнул Семён и ласково потряс её за голое плечо, высунувшееся из-под жёсткого верблюжьего одеяла,—Париж…

Распахнула глаза. Обернула голову. Семён ужаснулся холоду, что тёк из зелёных—две крымских забытых виноградины—любимых глаз.
— Париж. Ну что ж. Надо вставать.

Она выбросила из-под одеяла ноги. Семён принял её на руки, будто она прыгала наземь с балкона. С солнечной приморской веранды, увитой плющом и диким виноградом, а не с жёсткой полки душного купе. «Какая лёгкая, худенькая. Так легко её держать. Так тяжело…»

Увязывали баулы. Уталкивали разбросанные по купе вещи в сумки. Ника весело плясал на чемодане. Анна нацепила чёрный берет, скособочила его, нахлобучила на ухо. Мельком погляделась в круглое зеркальце—вытащила из сумки. Опять зеркальце в сумку швырнула.

Красавица! Париж оценит. Мысли текли быстрые, язвительные, жестокие.

Как жить будем? Где? Что делать будем?

Вытащили чемоданы и сумки на перрон. Из трубы паровоза валил густой чёрный дым, и Анна глубоко дышала чужой гарью. Ещё пахло свежевыпеченной сдобой; ещё—странно, здесь, на вокзале,—молотым кофе. Она сглотнула. Есть захотелось.

Брось, Анна, не хныч, терпи! Как мать твоя, покойница, говорила: «Не балуй себя едой и питьём! Чем слаще ешь—тем горше плакать будешь на Страшном суде!»
— Вот мы и в Париже, Сёмушка.

Повернулась к нему всем корпусом, как в танце. Он испугался: вдруг за руку возьмёт и сейчас тут, на перроне, затанцует?! Засмеялась, прочитав его мысли. Он криво улыбнулся в ответ.

Куда сейчас? А Бог весть куда. У Семёна адрес, он поведёт их, поводырь!

На привокзальной площади взяли такси. Седой благообразный таксист помог им погрузить в авто багаж. Услышав, как супруги по-русски переговариваются, по-русски вымолвил:
— Я тоже русский. Вы откуда? Из Петербурга? Речь питерская, по выговору!
— Из Москвы,—сказала Анна, не глядя на таксиста.—А вы из Питера?

Слеза уже бежала, дрянь такая, по щеке.
— Из Питера! Я ведь генерал, друзья мои! Я—друг Юденича. Погибла Россия!

Не глядела на него—боялась разрыдаться в голос. Старик тоже плакал.

Как он хорошо сказал—не «господа», а «друзья».
— Вам куда, милые? Без денег довезу!

Семён сунул таксисту-генералу записку.
— А, улица Руве, Девятнадцатый район! Не из роскошных местечко… Рабочие живут. Железная дорога рядом, фабрики… Бойни неподалёку… запахи,

крики… ни парка, ни бульвара. Где детишек-то будете выгуливать, бедные вы мои?

Правильно, бедные, жёстко думала Анна, по поклаже видать.

— Мы временно там. Остановимся у знакомых, потом квартиру найдём.

— Господи, сначала работу найдите!

Автомобиль шуршал шинами по асфальту. Анна тупо, слепо молчала. Молчал и Семён. Дети щебетали, как птички, прилипли личиками к стёклам, восторженно разглядывали Париж, как давнюю, невозможную новогоднюю ёлку в свечах и игрушках.

Когда семья вышла из такси и Семён расплатился с водителем, насильно засунув ему в руку купюру, бывший генерал широким крестом перекрестил их и прошептал:

— Помоги вам Господи, помоги.

Ярко, больно блестит на солнце сине-зелёное весёлое море.

На вкус — терпко-солёное. Цветом — то как прозрачно-зелёные грозди винограда Марсанн и Русанн, то как густо-синяя, сизо-лиловая, тяжёлая, будто кованая, гроздь Мурведр.

Русанн, Марсанн — женские имена звучат переборами лютни, аккордами арфы. Юг! Благословенный!

Юноша Рауль Пера случайно познакомился с семьёй адмирала Милкина: увидел — стоит на рынке в жаркий солнечный день дородный старик, профиль сухой и острый, не нос — клюв орлиный, маленькие птичьи глазки пронзают людей насквозь, сразу всё знают о них, — обводит взглядом лари и кульки, мешки и россыпи снеди и иных товаров. Старик пошёл по торговым рядам; Рауль безотчётно пошёл за ним. Стражем стал, соглядатаем.

Старик пересёк полосу солнечной мостовой, отделявшей продовольствие от старинных вещей. Рауль оглянулся по сторонам. Сердце билось. У сердца выросли жалкие, воробьиные крылья.

Славился на всё побережье антикварный рынок в Ницце! В первое воскресенье июля съезжались сюда жадные покупатели незапамятной французской старины; и не только французской: старик шёл и глядел на алжирские статуэтки эбенового дерева — гнусных африканских божков, на связки индийских гранатов, то тёмно-алых, кровавых, то нежно-лиловых, то прозрачно-ледяных, то ярко-зелёных, ярче виноградной листвы; на мексиканские маски Кетцалькоатля, на испанские перламутровые веера, на японских бронзовых смеющихся Будд, на аргентинские погремушки, сделанные из полых высушенных тыкв.

И жадней всего глядел благородный старик на медные русские подсвечники. О, даже белые свечи были воткнуты в старую, черно-зелёную медь. Замер старик. Застыл. То ли любовался, то ли плакал.

Рауль, не помня себя, шагнул вперёд. Рука сама вытащила из кармана кошелек.

Вчера Рауль сдал экзамены в коллеже, и дед Рауля, итальянец из Пьемонта, по такому торжественному случаю подарил внуку бумажник, а в нём — ура! — франки лежали. Рауль от радости и стыда даже не сосчитал, сколько.

— Эй, хозяин! Подсвечники почём отдашь?

Прокопчённый на солнце торговец сощурился, оценивая мальчишку. Свистнул сквозь зубы.

— Пятьдесят франков! И — забирай!

Рауль раскрыл бумажник. Дрожащими пальцами пересчитал дедов подарок. Десяти франков не хватало — тут было сорок.

Он ещё никогда в жизни не торговался. Побледнел от волненья.

— У меня не хватает, хозяин!

Губы дрожали от обиды. Глаза следили: старик вздрогнул. Птичьи глаза перевёл на юнца.

Антиквар протянул загорелую крепкую руку. Рауль вынул купюры. Бумага; деньги — ведь это только бумага, и не более того! Скорей, гляди, как он смотрит! Сейчас повернётся, уйдёт…

Рауль расплатился, схватил с лотка два подсвечника и протянул старику — и не успел: и вправду увидал его спину. Высокую, чуть сутулую спину. Спина качалась, уходила. Шевелились под мокрой рубахой лопатки. Кинулся Рауль; старика за локоть схватил.

— Позвольте, я вам… Это подарок!

Подсвечники, задыхаясь, протянул. Старик глядел недоумённо, холодно. Прокалывал Рауля зрачками.

— Что? Зачем?

— Я купил это для вас! — в отчаянии крикнул Рауль.

И старик улыбнулся. И взял из рук у Рауля русские подсвечники.

Адмирал Милкин познакомил Рауля со всеми русскими, что поселились здесь, на Юге. Рауль побывал у всех в гостях — и у княгини Васильчиковой, у которой мужа-князя расстреляли вместе с царской роднёй, а она вот счастливо уцелела, и у князей Нарышкиных, Сергея и Ксении, что спасались преподаваньем музыки и открыли музыкальную школу, и Ксения учила французят нотной грамоте и игре не на фортепьяно — на старом разбитом клавесине. Алексей Дмитриевич купил клавесин задёшево на том же антикварном рынке, где пропадал по воскресеньям, и Нарышкиным подарил. Они очень благодарили.

Рауль делал успехи в русском языке. Он скоро узнал, что такое «спозаранку» и «охота», «самовар» и «сенокос», «икона» и «молитва», «честь» и «расстрел». А ещё он узнал, как будет по-русски «виноград»: «вьи-но-ггад», вот как! Он сначала грассировал и картавил, всё никак не мог выговорить русское раскатистое, как гром, «эр». «Рцы»,

важно поднимал палец адмирал, это буква «рцы». Аз, буки, веди, глаголь, добро…

Рауль понимал, что такое добро. Оно щедро лилось из самодельного душа в саду адмиральского дома — Алексей Дмитриевич сделал душ из садовой лейки и очень гордился этим.

В истомно-жарком приморском августе они поехали в гости к знаменитому русскому писателю, что жил неподалёку от Ниццы, в Санари. Лика и Лиля надели белые широкополые шляпы; адмирал — свой старый, чудом сохранённый в бурях войн и революций белый с золотом китель. Наняли пролётку. Адмиральша ехать отказалась — у неё сильно болела голова.

Пролётка тряслась по дороге, девочки смеялись, показывали пальцами на бушующее море — день был огненный и ветреный, прибой рассыпался над прибрежными скалами белой бешеной пеной.
— Пальцем нельзя показывать! — гневался адмирал.

Пролётка остановилась около белого особняка, в тени платана. Возница раскурил трубку. Распахнулась дверь дома, и молодая женщина, кудрявая и смуглая, с глазами-вишнями, пошла навстречу приехавшим лёгким шагом, будто танцуя. В руках она несла бутыль с вином и глиняную кружку.

Она подошла ближе, и Рауль увидел: нет, совсем не молодая, морщины птичьими лапками в углах глаз. И снежные нити седины в весёлых кудряшках.
— Здравствуйте, дорогой Алексей Дмитрич! — пропела женщина по-русски. — Освежитесь с дороги!
— Кучеру сперва налей, Вета, — ворчливо кинул Милкин.

Сидели не в доме — на открытой веранде. Хозяйка, та, что вынесла им вина, разливала чай из пузатого медного, с клеймами, баташовского самовара. Писатель неприязненно глядел, как супруга раскладывает возле блюдечек золочёные ложечки с витыми ручками. «Плохо живут, — смутно, смущённо подумал о них Рауль, — какие-то злые друг к другу они». Старая вислоухая собака медленно подошла, ткнулась мокрым носом в колено. На веранду не вошла — вбежала юная девушка, волосы рассыпаны по плечам, улыбается, и зубы блестят! Красивая дочка какая у писателя!
— Бонжур!
— Бонжур, Алиночка! К нам, к нам! Гляди-ка, кто к нам прибыл!

Рауль наблюдал, как преобразилась знаменитость. Заиграло, заискрилось, запылало румянцем лицо, ещё миг назад старое, дряблое! Рауль уже читал книжки писателя, изданные в России, до революции, и здесь, в эмигрантских парижских издательствах. Ему нравилось, как он пишет — об охоте, о собаках, о женской красоте. О слезах перед древней иконой: старик на коленях, на дощатом полу сельской церквушки, а вокруг метель, снега…

Рауль никогда не видел снега.

— О, бонжур, Алексей Дмитрич… девочки! А это…
— Месье Пера, наш большой друг! Благородный юноша! Генеалогическое древо его уходит в глубь истории Ниццы, Тулона и Пьемонта! Глядите, профиль — вылитый кондотьер, ма пароль!

Густоволосая, что твоя русалка, загорелая девочка присела в реверансе. Ямочки на щеках. Хохочет беззвучно. Руку протянула беззастенчиво.
— Алина!
— Рауль.

И ручку пожал, боясь раздавить, причинить боль, такая хрупкая ручка, фарфоровая.
— У вас пгелестная дочь! — сказал по-русски, неимоверно грассируя.

Писатель побледнел. Жена уткнула длинный нос в чайную чашу. Поправила растерянно седые кудри.
— Это не дочь, — сказал писатель, любовным взглядом обнимая всё юное, трепещущее, жадно дышащее солнечное тело. — Это Алина.
— Это его любовь, — сказала жена Вета полным слёз голосом, отодвинула от себя чашку, расплескала чай, встала, уронила плетёный стул и вышла вон с веранды в солнце, в марево, в факельный жар полудня.
— Что же ты, Пётр Алексеич, что ты, ну…
— Я? Ничего, — писатель улыбнулся — будто нож прорезал жаркий полумрак веранды. — Всё правда! Я без неё жить не могу! В ней — вся жизнь, что осталась!

Обнял Алину за плечи. Девочка запрокинула голову. Коснулась затылком старой мужской руки. Рауль не знал, куда девать руки, глаза. Адмирал разлил всем в бокалы красного вина из оплетённой сухими прутьями пузатой бутыли.
— Выпьем за счастье, Петя, — тихо сказал.
— За Россию выпьем! — сумасшедше сверкнув жёлтыми, в алых нездоровых прожилках, белками старых глаз, крикнул писатель.

После обеда прилегли отдохнуть. Раулю постелили на веранде. Пётр Алексеевич и Вета разбрелись по комнатам: он — в спальню, она — в другую. Порознь спят; по-кошачьи друг на друга фыркают… а где же Алина? Почему-то представил её на берегу моря, с букетом ярко-алых азалий в тонких смуглых руках.

Дверь скрипнула, и Рауль вздрогнул, приподняв отяжелевшую от прованского вина голову с полосатой подушки. Привскочил на диване, сел, смущённый: вошла Алина. Кровь бросилась в голову: а если обнимет, поцелует? Жизнь била из девчонки марсельским площадным фонтаном — до неба! Села на краешек дивана. Бедром коснулась ноги юноши. Лицо Рауля пылало малиново.
— Да вы не бойтесь меня, — хихикнула, кончик язычка сквозь зубки показала. — Я… вас не обижу!

Захохотала беззвучно, закидывая голову, как давеча в гостиной.

— Я хочу попросить вас...— взяла в пальцы густые пшеничные волосы, сунула концы прядей в рот. Глазёнки расчерчивали, разрезали вкривь и вкось красное лицо Рауля.— Вы будете моим душеприказчиком!

Рауль онемел от ужаса и смеха.

— Но вы же такая молодая!

— Я умру, как все!

И опять хохотать, теперь уж музыкально: в голос.

— Тише, мадемуазель... хозяев разбудите...

Алина приблизила лицо к его лицу. Они вдвоём были похожи на детишек, строящих на берегу рыцарский замок из сырого песка.

— И разбужу. И что? Да не спят они. Вета меня ненавидит, а Петруша ждёт, что я к нему в спальню приду. А я — не приду! Я — свободна! Что хочу, то и делаю!

— А что я...

Алина поняла. Её губы коснулись его алого уха. Шептала быстро, взахлёб:

— Я тоже пишу. Стихи! И рассказы! И — дневник веду! Господи, какой же хороший дневник! Мне будет жалко, если я вдруг умру, а всё это добро пропадёт! У меня в комнате сундук. Там мои бумаги! Я напишу... завещанье... на вас!

Рауль глядел в юное, смуглое, румяное, весёлое лицо — и ничего не понимал. Голова кружилась. «Шутит девчонка...»

— И у нотариуса заверю! Дайте мне ваш адрес, чтобы я могла вам бумагу прислать!

Рауль, вытаскивая из кармана визитку, опять коснулся ногой её ноги, и новая волна краски накатила, застлала глаза. Алина цапнула визитку, как кошка.

— А, в Ницце живёте! Рядом! Так я и думала!

Обняла за шею. Быстро, жгуче поцеловала в щёку. Побежала к двери.

Куколка. Милая, нежная куколка. Ручки тряпичные, гибкие. Губки сердечком.

Остановилась. Подумала секунду. Подбежала опять к дивану, нагнулась — и поцеловала мальчика в губы.

И тогда уж выбежала совсем.

<...>

Глава восьмая

Игорь снял смешную, похожую на птичью клетку каморку в фешенебельном многоэтажном доме в Шестнадцатом квартале. Снял на пару с ещё одним русским несчастным бродягой — Олегом Кривулей. Чердак в Шестнадцатом квартале — о, это чудеса! Квартал аристократов. В их доме живёт мать президента Франции, она занимает три этажа!

Игорь познакомился с Кривулей, когда ужинал на улице. Благотворители разливали суп для бездомных у вокзала Сен-Лазар. Нежный весенний вечер, распускаются тополиные почки. Недавно Пасха православная минула. Длинные столы накрыты дешевой бязью. Старая супница, расписанная по-восточному: китайские девушки грациозно идут по хрупким мосточкам, взмахивают веерами. Павлины распускают хвосты. А роспись обшарпана. Игорь, втягивая слюну, встал в очередь. Какие званые обеды закатывал его отец, Илья Игнатьевич, в Москве! Давно... до Первой мировой.

Он, ребёнок, таращился на серебряные штофы, на страшные двузубые вилки для фруктов. Чьё-то вино случайно проливалось на камчатную скатерть; о, конфуз! Горничная быстро стелила салфетку. Часы на стене били два, три пополудни. Темнело — зажигали свечи, и пахло мёдом. Перстни вспыхивали алой кровью, синими звёздами на тонких, нежных пальцах дам. Мужчины курили. Пепел в малахитовой пепельнице. По краю пепельницы брели зелёные индийские слоны. Где это всё?

Он на улице, в Париже, ждёт бесплатного хлёбова. Куска хлеба — из милости.

«Господи, помилуй»,— против воли вышептали губы.

Посуда гремела. Разливательная ложка ходуном ходила в руках разбитного малого: зачерпывал и наливал, и каждый отходил, дрожа от радости, со своею миской.

Пока очередь тянулась к столу — к нему привалился бочком человечек: то ли молодой, а то ли старый, лицо в тени шляпы, не разобрать. Игорь брезгливо отодвинулся. Человечек придвинулся опять. Игорь тихо выругался по-русски. Человечек обрадованно крикнул ему прямо в лицо:

— Ба! Русский! Здорово, брат!

И — ну лапать его, обнимать.

Игорь засмеялся. Ответно притиснул мужичка к себе.

— Здорово! Откуда?

— Из Нижнего. А ты?

— Из Москвы.

— Давно в Париже?

— Недавно. А впрочем...

— А я — давно! Уже попривык. Лучше Парижа на земле города нет!

Представились друг другу. Как-то враз поняли: вместе надо держаться.

У Кривули за душой, точнее — в кармане близ лацкана пиджачишки, лежала бумажка в десять франков. Всё состояние. У Игоря денег было немногим больше — сотня с хвостиком. «Снимем жильё на двоих? Дешевле обойдётся!»

Им повезло — в первом же доме консьерж сообщил: с чердака съезжают постояльцы; дал телефон хозяина. Хозяин жил в этом же доме — на втором этаже. Игорь обаял богатого французика, как умел: в улыбке все зубы показывал. Сошлись на плате, меньше которой трудно представить. За такие гроши — на задворках — собачью будку снять.

Вошли. Расположились. Ни у Олега, ни у Игоря вещей нет! О, свободны как птицы!

Оба дружно рассмеялись своей безбытности.

— Кажись, здесь великолепно!

Игорь подошёл к окну, распахнул створки.

— Не то слово! Весь Париж с птичьего полёта!

— Когда невмоготу станет—хорошо вниз сигануть. Разом всё кончится,—неудачно пошутил Кривуля.

Игорь перекрестился, усмехнулся.

— Никогда. Запомни: никогда!

Чудно в каморке. Старый граммофон, с раструбом-лилией. Пластинки старые—всё вперемешку: кэк-уок, Анастасия Вяльцева, Пятая симфония Бетховена, арии из Вагнерова «Лоэнгрина»—поёт великий Джакомо Боргезе, вальсы Штрауса; и разбитая пластинка, чёрный осколок, полустёртую надпись можно разобрать: *«Наталья Левицкая. Ты не пой, не пой, соловушка»*. Русские, что ли, тут до них квартировали? Опять русские. Везде. Париж—русский город.

Вспомнил марокканцев. Тоже могут сказать: Париж—африканский город.

И так Париж—для всякого—свой город; роднее не придумать.

Ещё одно чудо таилось под забытой, брошенной подушкой-думкой, обшитой траченным молью синим бархатом: телефон!

Даже здесь, на чердаке, телефон. Роскошь немыслимая. Телефонируй—не хочу. Да только кому?

Ещё одного русского отыскали. Прямо под ними снимал камору: они под чердаком, он на десятом этаже. Узнали, что русский, случайно: мужчина тяжело волок вверх по лестнице неуклюжую, на треноге, кинокамеру, вставал на ступенях, отдыхал, отирал со лба пот, жаловался сам себе, чертыхался—конечно, по-русски! Они возвращались домой, шли за ним. Услыхали русскую речь. Кинулись к кинематографисту, затормошили, замутузили в объятьях!

— Откуда?

— Из Казани!

— Офицер?!

— Да, Белая гвардия! Да не офицер—солдат простой! До царской армии—грузчиком в казанском порту работал! Чудом выжил в кровавом крошеве… Господа, ко мне, ко мне! И вино есть хорошее! Отказа не приму!

Сидели долго, за полночь, говорили, не могли наговориться. Пили, плакали. Искурили обе пачки дорогущих папирос. Бывшего царского солдата звали Лев Головихин, и он в Париже заделался работником синема: сперва фильмы в кинематографах крутил, потом смышлёного мужика операторскому делу обучили, и всюду с камерой таскался. А потом и сам на ноги встал: продал в прокат первый фильм свой—и дело пошло-поехало!

Головихин снимал простые ленты. Ничего особенного. Не игровые—натурные зарисовки, документальные, живую жизнь. Снимал Париж, клошаров под мостом Неф, нищих русских попрошаек на улице Лурмель, внутренность храма св. Александра Невского.

— А как же ты, брат, церковь-то изнутри снял? Нельзя ведь!

— А батюшка разрешил. Отец Николай. Долго упрашивал. Да ты гляди, гляди фильму!

Головихин по-старому произносил: не «фильм», а «фильма». По-русски.

Игорь уставился на развешенную на стене дырявую простыню.

Фигуры бегали, плавали, застывали, бились как рыбы, уплывали в чёрно-белую мглу.

И вдруг заорал, схватил за руку Льва!

— Что ты?! Синяков мне наставишь! Как клешнёй сцепил!

— Где ты её снял?! Где?!

Увидел в кадре Фрину.

— Ты же видишь: мост Александра Третьего, золотые кони…

Головихин тёр руку, морщился, пыхтел.

Бесстрастная камера снимала: вот Фрина идёт, вертя задом, чуть покачиваясь на каблуках; вот останавливается у перил моста, стаскивает туфлю с ноги, морщась, выбивает туфлю о перила. Ногу трёт. Мусор, иголка? Щепка?

Игорь глядел на Фринину ногу. Лев глядел на него.

— Нет ни батюшки, нет ни матушки… а только есть да есть… одна зазнобушка?

— Она танцует на улице! На мосту Искусств! Это мексиканка! Я её знаю! У нас с ней…

Лев холодно произнёс, как на серебряном блюде поднёс слова:

— Это жена знаменитого Доминго Родригеса, знаменитая Фрина Кабалье. В газетах пишут: Доминго заканчивает роспись во дворце Матиньон, а потом улетает с супругой в Америку.

— Где они живут в Париже?! Я должен её увидеть!

— Не сходи с ума. Она…

Затрезвонил телефон. У режиссёра тоже был проведён телефонный кабель. Игорь вздрогнул всей спиной, всей кожей. Лев церемонно взял трубку.

Пока говорил—Игорь глядел сквозь него, в себя: так глядят на ледоход, на плывущие льдины.

Он не слыхал, что говорит в трубке неизвестный голос.

Зато Лев внимательно слушал, вежливо.

— Фильму мне заказывают,—трубку положил на рычаги осторожно, блестел глазами.—Твоя помощь нужна будет!

— Что за фильма?

— Об авиаторах. О пилотах! Очень это нынче модно. Летают все! Даже женщины!
— Даже кенгуру.
— Не смейся! Нам денег заплатят!
— Денег? Это хорошо.

А в родной каморке — тоже телефонный трезвон.
Олег трубку снял с рычажков.
— Тебя, — растерянно другу сказал.
Игорь стискивал в пальцах трубку, как чёрный револьвер.
— Позвольте месье Конева…
— Слушаю!
— С вами говорит месье Пера!
— Чем могу служить?
— Позвольте пригласить вас на обед к вашим уважаемым соотечественникам, Анне и Семёну Гордонам… завтра, в шесть вечера. Адрес диктую!
Игорь, морщась, торопливо записывал адрес на клочке русской газеты «Борьба».
Семён, Семён Гордон, а, это… Та умалишённая нищая семейка с улицы Руве! Другая улица-то. Может, разбогатели?
Чёрт, как они его нашли?
— Это я виноват, — Кривуля повесил голову. — В церкви в нашей намедни был. Она, Анна эта, стоит в приделе Владимирской Божией Матери, беседует с княгиней Тарковской. Я — рядом молюсь. Клянусь, я бы не встрял ни за что! Но они заговорили о тебе!
— Обо мне?
— Ну да! Эта, Анна Гордон, и говорит старухе княгине: вы не знаете ли такого-то? Имя твоё называет! Я вздрогнул — и аж вспотел! Думаю, судьба! Шагнул к ним. Извинился, конечно! Тесный, брат, наш русский Париж…
Похлопал друга по плечу. Какое неуловимое лицо у человека! Вроде бы парень бравый, а через миг, смотришь, и старик — хлебнувший горячего, с горькими морщинами.

Олег отдал ему для выхода в гости свой пиджак.
Игорь обтрепался до нитки, а краденные на стадионе деньги они уже почти все прожили.

Зазвенел медный дверной колокольчик.
На пороге стоял гость. Первым пришёл.
Анна закусила губу: шулер! Тот самый!
Игорь видел, как розовеют её острые скулы. Лицо-осколок. Лицо-кайло, лицо-молоток, лицо — портновские ножницы. Жестокая мадам, сразу видать. Как она его тогда вышвырнула! Взашей.
А нынче — отобедать пригласила?
— Проходите.
И голос жёсткий, не дрожит. Дрожат ресницы.
— Раздевайтесь! Тепло на улице?
Семён и Аля несли с кухни стряпню. Вкусно пахло. Наготовили всего! Рауль на щедрые деньги княгини Тарковской накупил всего, еле сумку к Гордонам донёс. И курятины, и ананасов, и сладостей, и хорошего вина! И сельдерей, и шпинат, и редис, и pomme de terre, картошечку родную. И даже красную рыбу из Ниццы! И, о чудо, устрицы из Гавра! У них стол как у покойных царей. Ну так ведь она же — Царёва!
— Мир?
— Мир!
Протянула ему руку. Игорь наклонился. Женская рука и мужские губы. Как банально. Как вечно.
Вошёл в комнату. Накрытый стол благоухал. Из супницы вился тонкий парок. Ухой пахнет, ма пароль, настоящей русской ухой! Стерляжьей!
Среди нищеты — праздник.
— Ба, знакомые всё лица!
Видит за столом индуску и японку. Индуска завизжала, вскочила, к нему бросилась.
— Месье Игорь! Месье Игорь!
Рауль сидел, аккуратно, изящно одетый: тройка, жилет отделан чёрной тесьмой, из кармана — золотой блеск свисающей цепочки — брегет, подарок княгини Тарковской. Старуха щедро платит мальчику: он записывает за ней, она вечерами, ночами рассказывает жестокие сказки о жизни, бормочет, уже засыпая, и пахитоска валится из руки на ковёр. Перед ним тетрадь, и перо летит, и ждёт, и летит опять — только вперёд. Мемуары о старой России! О казнённой стране! Она умрёт — он издаст книгу. И в этой книге она будет жить! Её балы. Её веера. Её вальс с цесаревичем Александром. Её кавалеры, что стрелялись из-за неё. Её поместье под Вязьмой. Её последний вороной конь, что, кося безумным изумрудным глазом, вынес её — израненную, кровь по рёбрам течёт, полумёртвую — из военного ада, из преисподней. Говорите, княгиня, дорогая!
Рауль блюдёт оба парижских дома княгини. Они доверху набиты сокровищами. Картины, книги, фарфор, шкатулки, вологодские кружева, баташовские самовары. Рауль находит в Париже русских художников, эмигрантов, покупает у них картины в коллекцию княгини. Это теперь и его коллекция тоже! Так говорит старуха, хитро глядя на Рауля из-за дымовой завесы. Вечная пахитоска. Близкая смерть.
Она врёт, что завещает ему и дома, и коллекцию. Возьмёт её Господь — и тут же, как гриб из-под земли, вылезет родня! Так всегда бывает.
— Амрита! И ты тут! Тесен мир!
— Тесен Париж, господа!
Рауль встаёт за столом. Он уже перенял у барона Черкасова светские повадки. Так молод, а так уверен в себе! И бокал держит не как гость — как хозяин. Ну да, он же тут за всё заплатил. Он купил их!
Анна кусала губы. Аля во все глаза глядела на мать. Отчего она так волнуется? Как школьница.

— Господа! Позвольте тост. Мы нынче в гостях у удивительной, поразительной супружеской пары. Анна Царёва, гордость русской поэзии. И — Семён Гордон, гордость русского дворянства и русского офицерства! Мы, французы, должны быть рады и горды, что вы теперь в Париже. Париж ещё будет гордиться вами! Дайте срок! Париж — ваш дом. Пусть вам тяжело. Христос тоже страдал! И терпел. Страдающий — да вознаградится! Анна, вы и так уже сверх меры вознаграждены: Богом. Ваш дар удивителен! Пью за вас… и за вашу семью!

Оглядел стол. Амрита уставилась на Игоря. Изуми ковыряла ножом по пустой тарелке: ещё ничего не положила себе — ни салата, ни курятины. Стеснялась. Все подняли бокалы. Анна протянула свой кровавый бокал над столом, как факел:

— Чокнемся, по русскому обычаю!

Аля, толкая бокал вперёд, неловко выбросила руку, хрупкий хрусталь треснул, раскололся, вино щедро вылилось на скатерть. Рауль крикнул:

— Ничего! Très bien! Посуда бьётся к счастью!

— Алька, брось за спину и разбей! Как гусары! — выкрикнул басом Ника.

Его тоже посадили за стол, на колченогий табурет, и ледяно-голубые глаза из-под ангельских русых кудрей мрачно и восторженно вонзались в сестру.

Аля унесла осколки в кухню, чуть не плача. Гости выпили и развеселились. Вино хоть и не было дорогим, но Рауль, как истый южанин, выбрал из дешёвых вполне приличное. Из крепких напитков хотел купить коньяк — а вместо него купил бурбон «Четыре розы». «Этот напиток обожал Анри Четвёртый!» Анна следила, как искусно Рауль разливает вино и бурбон по бокалам и рюмкам.

— Вы как винодел!

— У нас на Юге все немного виноделы.

Уха янтарно желтела, стыла в тарелках. Не стерляжья, нос Игоря ошибся, — из речной форели. Индуске и японочке очень нравился гость. Амрита, наклоняясь к уху подружки, шептала что-то. «Обо мне говорят». Игорь подмигивал им. Они хихикали. Поджимали ноги под стулья.

По-детски, смешно ревновали его в застолье друг к дружке: наперебой подкладывали Игорю на тарелку то джема, то шоколадного крема. Рядом салат? Пускай! Всё равно красиво!

Анна полоумно глядела на давно забытые лакомства. Этот мальчик, Рауль Пера, — сумасшедший, из их породы. Француз, а как по-русски говорит! Заслушаешься. Как недоросль истинный, сын помещика откуда-нибудь из-под Смоленска, из-под Ярославля!

Ничего не ела. Сидела над тарелкой, выпятив грудь. Спина-доска. Хребет-железо.

— Аннушка, покушайте.

Семён положил на её тарелку выловленную из супницы нежно-алую разваренную форель. Неслышно шепнул:

— Ну что вы, Анюта. Развеселитесь же. Гости.

Глядела белыми, бредовыми глазами — они зелень потеряли, вмиг выцвели.

О чём думает? Семён плотно сжал зубы и губы. Пусть думает о чём хочет.

Испарина проступила под рубахой. Всегда знал, когда у неё — начиналось.

На Игоря глядел. На его разрумяненные, как у девушки, щёки. Смугл и румян, чистый испанец. Что русский профессорский сынок, и не скажешь. Ухватки картёжника, торговца… ловкача. Представил его гимназистом чистеньким, восторженным студентом: на московских белокаменных улицах, на блестящем от дождя Кузнецком мосту. Что делает с людьми жизнь! А с ним — что сделала?

Разговор застольный то ладился, то смолкал. Опять тёк рекой. Все же тут русские были. Даже Рауль — был русский.

Игорь вытер салфеткой рот. Наклонился к Анне.

Семён зорко следил за обоими. Незаметно — изпод бровей. Вздрогнул, когда Анна вздрогнула.

— Хотите, я научу вас танцевать милонгу? Или даже танго.

Бросила мрачно, угрюмо:

— Не танцую.

Встал, упрямец. Смеётся. За руку Анну хватает. Этот чего захочет — добьётся!

Сдёрнул с места. Анна перебирала бессильными ногами. Не успела оглянуться, как повёл её в танце. Музыки не было — ах, сюда бы их с Олегом граммофон! Девочки звенели ложками по чашкам, напевали тонкими голосками. Сводный хор, бедняцкий оркестр. Что за танец странный, холодящий душу? Господи, как давно она танцевала! С Мишелем Волобуевым, рыжебородым, богом античным… ещё в Коктебеле… на каменной террасе у моря, обвитой виноградом…

Неловка. Неуклюжа. Кургуза, смешна. Губу чуть не до крови закусила. Дышать не может, задыхается. Это дикое, мешковатое платье. Висит на ней как на вешалке — так худа. Мощи, кожа да кости. Женщина разве?!

На изработанных пальцах серебро блестит. Кольца все; один — перстень. Зелёный, как третий глаз её, нефрит: китайский камень, от любовной беды упасает. Зали Седлаковой подарок. Только и делает всю жизнь, что тонет в море любви!

«Любви и смерти. Мы все в нём тонем. Век такой. Аэропланы гудят над головами страшными моторами. Всё страшно. Друг за друга и цепляемся… в танце этом…»

Близко его лицо. Губы. Отвернуться и не смотреть.

Тепло чужого тела близко. Родного?!

«Сатана, изыди».

— Вы подарили моей дочери мой браслет.

Наклонил резко; перегнул ей спину. Чуть не сломал позвоночник. Платье облепило костяной гребень рёбер.

— Эта чёрная ракушка — ваша дочь? Смешно.

— Все дети мира — мои дети.

Задыхалась. Игорь рванул её вбок, потянул. Повинуясь его рукам, Анна опять изогнулась, её нога сама поднялась и сделала широкий мах назад.

— Браво. Понятливая ученица.

— Откуда у вас оказалась моя змея?

— Ниоткуда. Мне тоже её подарили.

— Врёте.

— Да. Вру. Я её украл.

— У кого?

«Трам-ля-ля-ля, ля-ля-ля!» — пели девочки и звенели чайными ложечками. Рауль глядел сквозь вино в бокале, на просвет, на мужчину и женщину, танцующих танго.

— У грязных алжирцев.

— Где?

— Здесь. В Париже. Взял на память о приключении.

Поворот. Выдох. Поймать ртом воздух! Крепко прижал. Её, холодную, ледяную!

— Такой змеи нет в целом мире.

— Бросьте! — Шаг назад, ещё назад. Анна уже научилась отгибать спину без страха упасть на пол затылком. — Почему у змеи не может быть сестёр и братьев? Думаете, ювелиры мастерят только уникальные…

Не договорил. Сам задохнулся. Откуда-то в руках Семёна явилась гитара. «К соседям сбегал, одолжил на вечер». Мысли неслись, бешеные кони по ковыльной степи.

— Я… не могу… отобрать её у ребёнка.

— И я не могу.

Ложки звенели. Рауль разливал вино. Семён весь превратился в чёрную, сторожкую сталь. И вместо сердца — пуля.

— Мне подарил её покойный наш царь.

— Врёте!

— Не вру. Я — не вру. Я никогда не вру.

Задыхайся, женщина. Скольких женщин вертел он вот так! Крутил, улыбался в чужие лица. Гнёт её, как лозу. Сейчас из неё корзину сплетёт. Семён курил, глядел исподлобья. Брови на лице дрожали, жили отдельно от застылой улыбки. Глаза стрельнули вбок, на циферблат настенных часов. Сегодня он уезжает. На дело. На государственной важности дело. Он — звено в цепочке. Исполнитель? Их много. Они все работают на великую Страну Советов.

Не ври себе-то. Ты сегодня убьёшь человека. Советского генерала. По приказу Сталина. Рука в кармане, глубоко. Щупает маленький, аккуратный смит-и-вессон. Чудо, что Анна его не нашла. Ни в бумагах; ни в ящиках стола. Перепрятывал много раз. У жены нет привычки копаться в барахле. Это он копается в безумных, крылатых бумагах её.

Автомобиль за ним в десять вечера придёт. Он исчезнет на всю ночь.

Скажет Анне: на улицу Буассоньер дежурить пошёл! Офицеры попросили!

Поцелует улыбчивыми, вежливыми, дрожащими губами. Может, так простятся.

Не думать; молиться. Но ведь в СССР не верят в Бога!

«А я, я — верю».

Всё. Опять влюбилась. То девочки в России, то мальчики в Праге. Стихоплёт Букман. Белый офицер Розовский. Архивариус Борис Погудов. Верещала, когда Семён её за плечи тряс: пусти, не тронь, он мне из пражских архивов такие документы о русских царях добывает! Я поэму, поэму буду писать! О расстрелянной царской семье!

А он видел воочью: она и Погудов — во тьме архивных полок, и голое Аннино тело светится на столе. Угощенье. Устрица.

Его чуть не вырвало. Прижал руку ко рту. Папироса упала на скатерть. Изуми ловко подхватила, загасила в пепельнице. У них всё как у людей нынче! И пепельница! Рауль принёс.

Теперь Париж, и вот этот эмигрант, дрянной тангеро. Шулер! Мелочь пузатая. Ревность — пережиток прошлого. Лишь бы Анне было хорошо.

Щека Игоря слишком близко. Миг — щёки танцоров соприкоснулись.

Щека Анны горела. Ожог. Пропала.

Погибла.

— Где вы живёте?

— Рю де ля Тур. Дом с каменными львами у парадного подъезда. Десятый этаж. Я живу не один.

— Жена?

Холод окатил изнутри.

— Расстался с ней. С другом.

— Кто он?

— Бродяга, несчастный… как все мы тут. На чужбине. Русские. Влюблён в Париж.

— Я к вам приду.

«Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля!» — заливисто пели девочки. Аля отбивала ложкой по чашке четырёхдольный ритм танго: та-та-та-та!

Она сдержала слово. Пришла к нему.

Пошла к нему в ту же ночь. Семён поцеловал её в щёку, тихо, весело-равнодушно бросил:

— Не волнуйся, пойду подежурю, товарищ просил подменить.

Видел: не поверила. У порога обернулся, бросился к ней, обхватил. Давно так крепко не обнимал. Сердце зашлось.

Муж ушёл, и Анна всунула ноги в туфли. Туфли сваливались: ступни усохли, а обувь разносилась. Плевать; дойдёт.

Выбежала на улицу. Не пошла—побежала. Карту Парижа наизусть знала; с закрытыми глазами показать могла, где парк Монсо, где бульвар Монпарнас, где площадь Этуаль, где Чрево Парижа, где улицы Риволи, Варенн, Сент-Оноре…

Бег. Бег через чужой город. Родной! Париж всем изгнанникам родной. Нет! Всё одно чужбина. Речь—чужая, дома—чужие! Церкви—чужие! Еда—хоть и пальчики оближешь: круассаны, форели, оливки,—а чужая. Туфель спрыгнул с ноги. Анна наклонилась, сорвала туфли. Босиком бежала. Ажан на перекрёстке вытаращился на бегущую по ночной улице, должно, босую проститутку, хотел в свисток засвистеть, махнул рукой. Гонятся за ней! Обокрала кого-то! Убить хотят!

Озирался: нет, никого.

Камни мостовых и тротуаров холодили пятки. Париж, я бегу по тебе. Навстречу жизни своей. Разве ты, тангеро, моя жизнь?! А кто же?!

Жизнь моя, жизнь моя. Не покидай меня.

Запыхавшись, подбежала к подъезду. Вот они, львы. Держат лапы на мощных каменных шарах.

Простояла у дома всю ночь. Босиком на камнях.

Задрав голову, глядела: этаж под крышей, парижский чердак. Свет в окне.

Холодные губы шевелились. Изредка накрапывал с серых небес ночной дождь.

Утром консьержка вышла на порог.

— О, мадам! Я за вами в окошечко ночь напролёт наблюдала! У мадам горе? Чем помочь?

— Да. У меня горе.

Повернулась и ушла. Чёртова кукла. Кукольные, трагические, смешные страсти твои. Обрежь сама все нити, и кукольник не будет дёргать за них.

Париж слёзной, сырой серой розой пьяно шатался перед глазами.

В эту ночь Семён Гордон убил советского генерала Семёна Скуратова, тёзку своего. Предателя, гада, сволочь последнюю—так ему с отвращеньем сказали.

Последнее звено в цепочке. Он так и думал.

Отвезли в Медон. Приказали: жди чёрный «опель», как появится, сразу стреляй. В боковое стекло, в лобовое. Он в автомобиле. Убей его и шофёра.

— Служу Советскому Союзу,—мёртвым ртом выдавил.

Помял револьвер в кармане.

Понимал: генерал едет с охраной, значит, их в авто трое или четверо.

И все—вооружены.

Ночь—глаз выколи. Шорох платанов. Чёрный «опель» выскользнул бесшумно. Такие уж шины, немецкие. Идёт—как летит. Притормозил. Семён не ожидал: генерал выскочил из авто, как горный козёл! Чувство охоты накатило. «Сейчас уйдёт». Семён нажимал на курок слепо, отчаянно. Шесть патронов, всего шесть. Шесть—шансов. Выслужиться перед Совдепией?!

«Это страна будущего. Это страна грядущего счастья всех людей! И я—служу—ей!»

Горячее затопило грудь и горло. Он не слышал выстрелов. Его—ранили?!

Нет. Замутило. «Ты же не впервые убил на войне человека! Это—война! Это только с виду—мир!»

Кинулся бежать. Вот тут услышал: стреляют. Пуля рикошетом отскочила от стены, рассыпался известняк под ногами. Дачные медонские дома спят. Уже—проснулись. Топот, крики, стоны! А он—бежит.

Ему удалось удрать. Не поймали.

Медленно поднимался по лестнице. Запоздалый страх прошиб, пригнул. Еле нашарил ключом замочную скважину. Ввалился. Анна сидела за столом в гостиной. Одетая. Видно: не спала, не раздевалась. Посуда вымыта. От гостей духу не осталось. Девочкам постелила на диване, им—на полу. Стоял в дверях, чувствовал себя с затылка до пят выпачканным в крови.

На войне с немцем не так было. Там толпа солдат в атаку бежала. Там—все стреляли, не он один. Хором—не так гадко. За царя сражались! А теперь—за кого?

«Что тебе, именно тебе сделал несчастный генерал? Теперь поздно скрипеть зубами».

Анна сидела, как сыч, над монетами и купюрами. Деньгами был устлан голый стол. Анна сгребала монеты в ладонь с отскобленных ножом дожелта деревянных плах.

— Откуда?—только и смог выдавить.

Подняла голову. Невидяще глядела.

— Рауль оставил. Подарок Тарковской.

— И мне за дежурство заплатят.

Встала. Повернулась к деньгам спиной. Лопатки вздрагивали под суровой тканью.

— Ты бледен. Руки трясутся. Голоден?

Ласковей со зверями в зверинце говорят.

— Дай, что от обеда осталось.

Положила ему на тарелку кусок розовой форели. Села напротив. Смотрела, как он ест.

Назавтра все французские газеты пестрели чёрными шапками:

«Убит русский генерал Скуратов!»

«Генерал Семён Скуратов получил пулю в лоб от руки неизвестного».

«Рука Москвы дотянулась до Медона».

«Убийство в сердце Европы: НКВД, бандиты или личная месть?»

Семён сидел на диване, облапил подушку, странно, по-детски. Улыбался тихо, почти умалишённо. Трясся.

— Ты захворал? — спросила Анна.

Накапала ему капель сердечных.

— Простудился. Ветрено нынче в Париже. Даром что на севере живём, а дует ветрюга, что тебе мистраль.

Вечером соседка злорадно газетку свежую под дверь подсунула. Анна вытащила, развернула, глаза скользили по свинцовым строчкам сонно, равнодушно. Проклятые газеты. Зачем шуршит вонючими листами? Читала — и не понимала:

«Евразиец Семён Гордон причастен к убийству советского невозвращенца, бывшего генерала Белой гвардии Семёна Скуратова».

Отказывалась понимать. Отказывалась — принимать.

Газета упала, закрыла колени, на пол соскользнула. Семён за столом, она видит его затылок.

— Сёма! — позвала тихо.

Он не обернулся.

— Сёма, правда?

Не заметила, как рядом оказался. Руки её мял в руках, шею, плечи целовал. Прижимался лицом к её груди. Ну, ребёнок и ребёнок. Третий ребёнок её, взрослый, седой уж, виски седые, сивые. И волосы — перец с солью.

<…>

Глава двадцать вторая

Москва. Милая Москва! Ты изменилась.

А всё же Москва ты, и никакие Парижи вровень с Родиной не встанут.

Аля шла по Москве гордо, радостно. Отражалась в стёклах, в витринах магазинов, украдкой любовалась отраженьем. Вот она какая выросла! Настоящая девушка. Советская девушка!

В советской Москве днём смеются над мрачным гнилым капитализмом. А ночью… что делают в Москве ночью?

Кто читает книги. Кто пишет конспект, готовится к лекциям, к экзаменам. Кто сердечные капли пьёт. Кто обнимается в тёплых кроватях, детей зачинает.

Кто сидит, обняв себя за плечи, на стуле, в кресле или кровати, ждёт и дрожит. Дрожит и ждёт.

Утро соседки шепчутся: этого взяли… эту забрали…

Бред. Сочинение на вольную тему! Никого не взяли, и никого не забрали. А если взяли и забрали — за дело! Партия не карает невинных! Так отец сказал.

Иди, Аля, быстро иди, наступай на всю ногу большую! Отражайся в огромных стёклах! Наступит время, и ты выйдешь замуж. И ребёнка родишь. Это будет Аннин внук.

Косы уложены на затылке корзиночкой. Солнцем просвечены. Аля тряхнула русой головой. Её мама — бабушка?! Трудно представить. Она такая порывистая. Молодая.

Аля шла, босоножки в пыли, под мышкой — планшет с рисунками. Иллюстрировать книги — вот мечта! А может, в СССР когда-нибудь издадут хоть одну мамину книжку? Может… может…

Ничего не может быть. Всё так, как есть. Не думай. Иди скорей. Ты опаздываешь.

Солнце напекло голову. Панаму забыла надеть.

Аля перешла на другую сторону улицы Горького. Здесь тень от громадных домов, сработанных из тяжёлого камня, спасала от пекла. Чёрный мрамор, красный гранит. Кто живёт в этих крепостях? «Те, кто правит нами».

Навстречу Але, чуть пошатываясь на высоких каблуках, шла худенькая невысокая женщина в круглой чёрной шляпке. Шляпка надвинута на глаза. Глаз не видно. В ярко, оранжево накрашенных губах — длинная сигарета. На тонком ремне низко, у бедра, болтается модная сумка. Глубоко насунута на лоб шляпка: дама не хочет, чтобы видели её глаза. Её стареющие глаза в сетке отвратительных морщин. У неё богатый особняк, у неё молодые любовники, и сам Вождь Всех Народов покровительствует ей. Он не расстрелял её. Не сгноил в лагере, в тюрьме. Она была на приёме у Вождя в Кремле. Он милостиво, наклоняя глиняную, оббитую, в оспинах-царапинах, с наклеенной на затылок медвежьей шерстью голову, хриплым, прокуренным, чужим и скрипучим голосом говорил с ней. Говорил недолго, минут десять. Пожевал кукольными губами. Пошевелил приклеенными усами. Поиграл бусинами-глазами над толстым повислым, матерчатым носом. Поглядел на игрушечные часы и услал прочь. Назначил ей пенсию. Пожизненную пенсию. Ей, вдове великого пролетарского поэта Валерия Милославского. А они даже не были расписаны в советском загсе. У неё другой муж, а поэт был лишь её любовником.

Поэт обессмертил её; и она пережила его.

И ещё будет жить долго, долго, бесконечно. Пока…

Пока хватит сил.

Аля Гордон и Лили Брен прошли мимо друг друга.

Лили шла так красиво — загляденье. Аля остановилась, оглянулась. Узкие бёдра, гордая шея. Каблуки-ходули. Строгий стиль, а рот в ярко-алой помаде вызов бросает: миру, городу, времени. Лили больше не летала на самолётах. Боялась упасть с предательских небес. А авто водила попрежнему играючи, залихватски. Разбиться на земле она не боялась.

Семён и Аля — оба были дома, когда в дверь резко, гулко постучали.

Они жили в коммуналке в Столешниковом переулке, их комната — рядом с входной дверью. Алина кровать за ширмой, диван отца — у окна. Письменный стол — один на двоих.

Уже есть книжный шкаф; и книги в нём.

Бегали на чадную общую кухню готовить еду на примусе. Керосинная вонь, бесконечные склоки, неопрятные бабёнки помешивают оловянными ложками супы и каши. То крики, то рыданья. То истеричный визгливый смех. За немытым закопчённым окном — Москва. Старая, любимая Москва, что *они* с тобой сделали?!

Стук раздался ещё раз. Оглушил.

Никто на стук не выполз ни из одной коммунальной норы. Все уши прижали; выжидали — кто первый отворит.

Семён беззащитно поглядел на Алю. Огромные светлые глаза Али мгновенно налились слезами.

Она уже плакала, сама не зная о чём; вещая душа её плакала.

А губы весело, ещё радостно лепетали:

— Папочка, я открою! Наверное, это телеграмма! Вдруг Париж, мама?!

Губы Семёна пересохли.

— Это не Париж, — сжал кулаки. — Это…

Аля уже бежала открывать. Тяжело, звонко-железно громыхал замок.

Они, громко топая сапогами, вошли в прихожую, потом — в их комнату. *Они.*

Семён встал со стула. Прямо стоял. Офицерская выправка.

— Здравствуйте, товарищи. Честь имею, — каблуками щёлкнул. — Офицер НКВД. Засекреченный. В настоящее время…

Ближе всех к ним стоявший, в чёрной фуражке с синим околышем, грубо перебил:

— Хватит! Знаем. Мы про тебя больше знаем, чем ты сам!

Кровь у Семёна от лица отлила.

— Как вы смеете…

Синий околыш оттолкнул его, протопал на середину комнаты. Аля, бледная, стояла в дверях, мяла в пальцах край фартука — на кухне блины пекла, да так фартук и не сняла, так в нём и сидела за столом — за книгами, за рисунками своими. Письмо мальчику писала. Своему мальчику. Любимому.

«Дорогой Изя! Предвкушаю наш поход в Большой зал консерватории. Мама в раннем детстве водила меня туда! Шестая симфония Чайковского — и играет оркестр Ленинградской филармонии, и Мравинский дирижирует — да ведь это мечта! Изя, как продвигается твоя работа над квартетом?»

Алин любимый мальчик, консерваторец, композитор… Музыка, вечная музыка…

Сердце злобными, обречёнными литаврами бухало в слабые тонкие рёбра.

— Мы всё смеем! Даже обыскивать не будем! Ишь, окопались! Французские шпиёны! Быстро одевайтесь! А то возьмём в чём есть! — синий околыш хищно охватил глазами трясущуюся Алю. — В фартучке да в платьице! Намёрзнесся!

— Снег же на улице! — испуганно крикнула Аля.

Околыш обернулся к Семёну и двинул его кулаком в плечо. Заорал:

— Ты что, шпиён недорезанный, не слыхал?! Живо собирайся! — Развернулся к Але: — И ты тоже! Недобитки!

Руки медленно, как во сне, бросали в сумку чулки, носки, зубную щётку, тёплую кофту. А казалось — быстро мельтешили. Ноги медленно, как в балетном адажио, поднимались и опускались, а казалось — быстро бегали по комнатёнке. «Последняя наша комнатка. Последняя… мирная… жизнь. Берут! Арестовывают! Это значит — начинается война. Это будет наша война! Хуже войны».

Тихий жабий голос проквакал внутри: «Умрёшь».

Семён сгорбился над чемоданом. Толкал в чемодан книги.

Синий околыш пнул чемодан ногой.

— Зачем ерунду в дорогу берёшь?! Там тебе книжонки твои не понадобятся!

— Где — там? — заледеневшими губами спросил Семён.

— Как — где? Чё, вчера родился?! В лагере, где-где! — и добавил злорадно, довольно: — За всё ответишь!

Аля прижимала к груди сумку. Всё кружилось перед глазами.

«Танец, танец, нежный вальс, солнечный танцкласс мадам Козельской… Каштаны танцуют вальс на набережной Ситэ… Нет, они танцуют — танго…»

— Нам не за что отвечать! Мы ничего не сделали!

Околыш выхватил из кобуры пистолет. Ему доставляло наслажденье пугать красивую девчонку.

— Рассказывай сказки на допросе! Там сказочников любят! Вперёд!

Аля оглянулась на отца. Он стоял с чемоданом, весь белый.

Она не сразу поняла — он враз поседел.

— Ключ, папа! Комнату надо закрыть!

Околыш двинул пистолетным дулом в спину Али, меж лопаток.

— Какой тебе ключ! Давай, быстро! Где твоё пальто?! Шуба?! Всё равно сюда вселят другое семейство! Завтра!

Тесёмки ушатой цигейковой шапки не завязывались под подбородком.

Лестница шаталась под ногами.

Семён хватался рукой за перила. Алю крепко держал за локоть второй околыш — грузноплечий, толсторылый, такими раньше, до революции, мясники на рынке были. Только ему и делать, что мясо на плахе рубить.

«А ведь они и есть мясники. И нас — в куски — изрубят. Господи, Аня! И не скажет никто тебе, не передаст…»

— Жене, — тёрлись друг о друга наждачные губы, — жене позвольте телеграфировать… в Париж…

— Шалишь, уехал в Париж! Теперь тебе такой Париж будет, сука! Ледяные дворцы!

Вышли из подъезда. Мёл сухой, мелкий, злой снег. Кусал щёки, губы.

Высоко и далеко над ними, прямые, строгие, стояли тёмно-красные кремлёвские башни. И тусклые, зловещие пятиконечные красные звёзды горели на шпилях. Аля слизнула слёзы с губ. СССР, страна счастья и радости. Это всё-таки случилось с ними. Случилось.

Кто-то перепутал! Они не шпионы!

«Никто ничего не перепутал. Просто это работает машина. Такая чёрная машина, с зубьями и гигантскими шестерёнками, и скрежещет, и рубит головы, руки, ноги. И летят кровавые ошмётки. И дым валит из топки. И снег укрывает саваном. Это смерть, девочка, а ты думаешь—это ошибка».

Ветер валил с ног. Белые пчёлы снега взбесились.

Выбрели из Столешникова на Тверскую. Это была не Тверская. Уже восемь лет она была улица Горького. Аля читала Горького. Он очень нравился ей. Он был другом Ленина и Сталина. Он уже умер и стал классиком. Как Пушкин; как Толстой.

«А мама?!»

Чёрная «эмка» стояла у входа в булочную. Снег мёл уже беспощадно. Ничего не видать в трёх шагах. Под накатами снега синий околыш выбросил вперёд руку в чёрной перчатке, рванул на себя тяжёлую чёрную дверь авто.

— Живо садитесь!

— Папа, вы…

— Разговоры отставить! Будешь говорить где следует!

Скользнули, людские призраки, на заднее сиденье. Синие околыши быками, мрачно и тяжело, глядели в лобовое стекло. «Дворники» трудились вовсю, сметали снег, а он всё валил и валил, рос и рос, наваливался, закрашивал белым маслом чёрный холст жизни, засыпал ангельским сахаром её грубую серую соль и гневную горечь.

Облака, серые, рваные, бешено и тяжело клубились, кувыркались в небе, огромные серые страшные животные; и внутри у Семёна, пока его вели ко рву, тоже всё так же клубилось, рвалось, переворачивалось. Себя уже человеком не чувствовал. Огромное животное, четыре лапы, и беспомощно бредёт—на задних лапах, и просит тех, кто его сейчас подстрелит на обед Чёрному Ничто, о пощаде.

Пощады не было. Крика не было. Не было слуха, не было просьбы. Ничего не было. Да, впереди, под его ногами, вот там, уже немного пройти осталось, эта чёрная, беззвучно лающая, безразмерная дыра. В неё сейчас ухнет всё. Вся жизнь. Так просто!

Семён перебирал ногами—так перебирает лапками умирающий в плотно закрытой банке жалкий летний кузнечик. Он умрёт, и дети засушат его для коллекции. Ника! Аля! «Деточки»,—губы обжёг резкий зимний ветер. Сожми рот подковой, Сёма! Так делала Анна всегда. Писала, и рот плотно сжат, и морщины в углах губ. Текут из-под быстрого пера стихи чёрной рекой.

А ведь она, его жена, никому не известна. Мир её не читает. Мир не плачет над её стихами. И никто… никогда…

Ещё шаг. Ещё полшажочка. Споткнуться?! Все повременят, отложат. Упасть на мёрзлую землю. Вот так. Прикладом тычут в спину! Встать. Ещё шаг вперёд.

«Я есть. Сейчас я не буду. Через секунду».

Семён подошёл к самому краю неглубокого рва. В нём валялись расстрелянные. Подраненные, не убитые шевелились. Семён расширенными, белыми глазами смотрел. Ещё раз прикладом по спине ударили. «А что, если упасть?! Не ждать выстрела?! Свалиться! И—поползти! И пусть стреляют. Под чужими телами—схорониться! Закопаться…»

Красный стыд ожёг. Ты, когда-то прапорщик Белой гвардии, Марковского полка, капитан Русской армии генерала Врангеля! О чём помышляешь?! Резко повернулся. *Они* стояли—кто в чёрном бушлате, кто в ватнике, кто в солдатской, до пят, шинели,—в руках винтовки и пистолеты. Он старался смотреть им в лица, но все лица, дрожа, дёргаясь и двигаясь, сливались в одно—в белую вспышку, в плывущую зигзагами слепящую реку последнего воздуха.

Плыла горячая река его жизни по синему железу дикого мороза.

— Милые,—губы запеклись,—милые…

Опомнился. Вскрикнул:

— Проклинаю!

И вскинул руки.

Когда руки взбросил—раздались ругательства и выстрелы.

Семён падал в ров спиной. Упал. Раскинул руки. Лежал. Он понимал, что умирал. Боль билась в груди, в животе. Заполнила пустой сосуд тела. Изо всех сил глаза раскрывал, шире, ещё шире,— впитать, вобрать в себя широкое, серое, мрачное, дикое, родное небо. И оно подошло ближе. Спустилось шерстяным платом. Ниже, ещё ниже. Душная серая шерсть навалилась, накрыла с головой. Овчинный тулуп. Старый, штопаный на локтях; пахнет мёртвой овцой. Ослеп. Задохнулся. Ещё шевелил губами. Ноздри ещё судорожно втягивали морозный воздух.

— Анна,—ещё сказали леденеющие губы.

Ссылка в низовья Енисея. Дом на окраине Туруханска. Полярная ночь.

После Парижа—ночь на полгода; и безумство северного сиянья—на полнеба.

И тяжёлые вёдра с ледяною водой. И валенки, они огромные, велики ей, и она загребает в них ногами, как чугунными кочергами. Связала себе носки, добрая душа мотки козьей шерсти

подарила: без носков тут зимой нельзя—ноги в костыли превратятся.

И—рыба, ледяная рыба в руках, её надо чистить, а она скользит, выскальзывает из рук, падает в снег и тонет в снегу. А надо сварить уху. Хлеба сегодня нет, так вместо хлеба будет рыба. Правда, есть сухари. Но сухари надо беречь.

Если она заболеет, в Туруханске есть больница. Вся больница—большая изба, и в ней десять коек. Она знакома с врачом. Он грубо, плоско, дико пытался приставать к ней. Она пришла устраиваться на работу медсестрой. Он отказал ей. Она стала уходить—он вышел вслед за ней, нагнал её и повалил её в снег. Они безобразно барахтались в снегу, а на крыльцо больнички вышла санитарка, глядела на них, двух возящихся медведей, гоготала, показывала гнилые зубы.

Сиянье раскинется над белой мёртвой землёй—живёт, дышит! Чудовищными змеями перевиваются в зените красные столбы, золотое ментие, летят ярко-синие копья, падают к горизонту. Опять взвиваются. Можно часами стоять. Пока не окоченеешь. Потом—шасть в избу. Греешь руки о белый бок печи. Топить печь—вот где ужас. Бесконечно, беспросветно топить и топить печь. Перестанешь—околеешь.

Быстро выстуживается на стальном морозе избёнка.

Изба, горбатая старуха. Господи, где вы, изящная мадам Козельская, гордая царская балерина?! Вас бы—да в эту избу.

Аля научилась обращаться с горшками, чугунами, ухватами. С кочергой—ещё в деревне под Прагой научилась: у них в Мокропсах тоже была печь. Этой не чета.

А французские камины—просто блохи в сравнении с этим… жуком навозным…

Громадная русская печь, кормилица, в пол-избы. Иной раз печь давила Алю своей огромностью; одной, в ночи, Але казалось: печь живая—и сейчас сойдёт с деревянных столбов, протопает к ней и задавит. Пружины койки скрипели. Лунный свет пятнал синим купоросом стены. Крест рамы; за бельмастым окошком—тоска, снежный вой, белая плоская сковорода тундры.

Это луна льёт масло на сковороду—то жёлтое, то голубое.

Аля, дрожа, вставала с койки, туго повязывалась вытертой шалью, всовывала ноги в валенки. Выбегала на крыльцо. Ей казалось: волки воют поблизости.

И правда, вой доносился—занебесно-далёкий. Озноб захлёстывал, ломал. Аля всё равно стояла на крыльце. Мороз хватал её когтистыми лапами. «Всё равно зверь съест меня когда-нибудь». Одной очень страшно. До ближней избы—через улицу и два забора бежать. Там живёт поселенка Дарья Павловна. Спит тётя Даша. Ей волки нипочём. Молитву по староверскому молитвеннику прочитает и спит.

За избой тёти Даши—бараки. Серые бараки. Низкие. В землю вросли.

В бараках—люди. Они ещё живые.

Иногда из дверей выходят, передвигают ногами.

По всему небу ходили, разбегались, сплетались длинные золотые и розовые сполохи. Аля, задрав голову, глядела. «Мама, это очень красиво. Мама, вы никогда не видели такого! Когда меня выпустят, мама, я приеду в Париж… я вам расскажу…»

Волоски на всём теле дыбом подымались. Никогда она в Париж не приедет. Её на поселенье осудили—пожизненно.

Ноги уже—чугунные кочерги. Когда всё внутри выстынет—она вернётся в избу.

И, может быть, намёрзнувшись, заснёт. Укроется двумя одеялами и старой медвежьей шубой.

Укрылась. Пахло медвежьей шкурой. Плакала. Свернулась в клубок, сама как зверёк. Жалко медведя. Медведь—тоже человек. Его убили или выстрелом, или рогатиной. Тётя Даша говорила: здесь, в Сибири, с рогатиной на медведя охотники ходят. И иных медведь под себя подминает. И сжирает. Череп человека трескается, хрустит под мощными жёлтыми зубами.

А она в детстве думала: мишки добрые, они любят ягоды и мёд.

Усни, Аля. Засни. Ну что ты так долго не спишь? Часы идут. Четвёртый час ночи. Уж утро скоро. Будильник загрохочет. Встанешь, умоешься ледяной водой из гремящего рукомойника—пойдёшь мимо незрячих бараков в Дом культуры на краю посёлка. Окна залеплены красными транспарантами. Будто бинты на рану наложили, на слепые глаза, а из-под повязок—кровь выступила. И марлю насквозь пропитала. На полотнищах ты сама вчера сделала надписи кистью, окунутой в белую извёстку: «*Мировая революция победит!*», «*Да здравствует товарищ Сталин!*».

Сияние так играло—всё в избе залито светом, вспыхивает, гаснет, опять горит костром.

Аля повернулась на живот. Лицо вдавила в подушку. Задыхалась.

«Я здесь на всю жизнь. На всю. Уж лучше бы убили».

И голос матери внятно, строго и сухо произнёс внутри:

«Драгоценней жизни нет ничего. Выбрось дурь из головы».

И, услышав голос, Аля успокоилась и уснула.

Глава двадцать третья

Там—Сталин. Здесь—Гитлер.

Гитлер здесь уже, в Париже.

Здесь его армия; здесь ужас его странной, страшной доктрины.

Значит ли это, Анна, что гибель мира близка?

«Сколько раз мир погибал—и не погиб. Бояться нечего. Это просто волны времени, волны».

Ни одного письма от Али. Ни одного письма от Семёна. Ника вытягивается вверх, будто за уши его тянут. Он юноша почти. Ещё чуть-чуть—и мужчина.

Мужчина и война—это почти синонимы.

Наша цивилизация мужская. Почему она не женская?

На улицах Парижа черно от чужих мундиров. Солдаты и офицеры вермахта наглые, тупые, глупые, весёлые. Завоеватели. Они везде: в кафе и на площадях, в синема, в театрах, в парках. Зайди в сортир—и там они. Всё, Париж взят. Руки-ноги Парижу переломали. Что не удалось сделать в четырнадцатом году—сотворили в сороковом.

Анна, твои ли это улицы? Любимый Париж сник, потух. Его пылающий фитиль размяли в слюнявых пальцах и плюнули на свечу. Всё. Мрак. Стучи по асфальту каблуками, не оглядывайся назад. Тебя преследуют. Чёрный офицер нагло скалится, по-галчиному клекочет, идёт за тобой. Он думает, ты проститутка. Хочет купить тебя на ночь. Сверни за угол! Иди быстро. Скорее.

«Я—убегать?!»

Остановилась. Повернулась.

И—пошла, пошла, пошла на него, на того, кто топал за ней, гремел грубыми сапогами.

Немец даже попятился—так горели глаза у этой незнакомки, бешеной парижанки. Наступала на него грудью, раздавливала его торсом, пронзала, прокалывала ненавидящими гордыми глазами.

—Donnerwetter!

Анна шла на него, а он пятился. Она чуть не коснулась его грудью. Она отчётливо, с отвращением сказала по-французски:

—Оставьте меня в покое. Вы ублюдок.

Повернулась спиной. Пошла прочь.

—Zum Teufel,—выругался немец и сплюнул.—Ah, Nutte.

Аннино счастье, что он не знал французского языка.

Анна шла и глотала слёзы. Немецкая кровь и в ней течёт. Германия, во что ты превратила Европу?

Нет ответа. Ни на что нет ответа. Писем нет из Москвы. Да есть ли ещё Москва? Может, и Москвы уж нет?

Юкимару напился до бесчувствия.

Ему принесли, подарили две бутылки хорошего коньяка.

Закуски мало. Засовывал в рот дольки лимона, хлебный мякиш, куски норвежской селёдки.

Когда понял: он летит, летит,—пришли виденья.

Но нет, он в своём уме; он видит и слышит ясно, и мысль жива, только движется, бежит по кругу, по кругу.

И круг этот—сцена; и над сценой—подиум.

Одежда, духи, дефиле. Дефиле, духи, одежда. Вся жизнь брошена под ноги моде, толпе, что любит моду больше жизни. Вся трагедия века—любовь к красоте. За эти красочные, роскошные дефиле не кровью ли заплачено?!

Нет, не кровью… не-е-е-ет! Деньги шуршали… деньги манили…

Произнёс онемелыми, неслушными губами:

—Век… век выходит… люди, разные… всякие… толпы народа… на подиум… Вся Европа… ногу заголяет… груди из корсажа торчат!.. Нате, возьмите!.. купите… Купите меня!.. меня!..

Крутились юбки. Вспыхивали воланы. Торчали голые тощие плечи из вороха тряпок. Блестели ожерелья на худых страшных шеях.

—Вас… не кормят!.. нарочно… мои манекенщицы… вас—голодом морят!.. чтобы любое… слышите, любое платье на вас налезло…

Толпы шли, накатывались. Подиум трещал под натиском сотен, тысяч ног. Стучали острые каблуки. Громыхали сапоги. Самая модная—военная форма. Надо шить военные платья. Девчонки, слышите?! Вы все пойдёте в бой! Надушенные моими духами! Намазанные моей помадой! И в моих, в моих одежонках…

—Я—гениальный японец!.. я покорил Париж… Я его—задушил!.. и он—труп… труп…

Толпы народу на узком, как змея, подиуме плясали канкан. Толпы вопили и кувыркались, и голые ноги—выше головы, и бьются веера, и диким дождём брызгают духи. Жизнь—веер. Её развернули и обмахиваются ею! А кто обмахивается?! Смерть?!

—Ну и что, война… Война—пройдёт… А я—останусь!.. и меня поцелует новая мода… новая…

Наглая полунагая девчонка, плясавшая на краю подиума, подплясала слишком близко к нему. Крикнула ему в лицо:

—Тебя забудут!

И пьяный Юкимару повалился с кресла на пол, на колени, и цеплялся крючьями пальцев за стол, и тащил на себя скатерть, консервы, рюмки, бутылки, и пачкался в прованском масле, и скрипел зубами, и ревел, как бык.

Пустота. Ничто. Серый цвет пустоты.

Серый ветер над серою розой Парижа.

Отцвела. Сухие лепестки. Сейчас опадут. Что останется?

Города не вечны. Они отцветают и опадают, вянут и сгорают.

Горстка пепла. Горстка людей, они ещё верят, что их город вечен.

Война, и всё вливается в пустоту, в яму страха.

Что будет? Что дальше?

А дальше—пустота.

Молчание.

И взрывы, и пожары, и вопли, и свист пуль, и чёрный дым печей, где жгут людей,—всё в темноте; всё в пустоте; всё в мёртвой тишине.

Мать Марину арестовали и отвезли в гестапо.

Когда её везли в машине—она глядела в запылённое окно на дома, на памятники и фонтаны, на Париж, что стал домом и упованием, и думала: гестапо, яма, ведь выхода нет оттуда.

Исхода нет.

На допросе крестилась. Офицер бил её по рукам. Когда перекрестилась снова—привязал ей руки к табурету, и офицер ударил по щеке. От сильного удара мать Марина вместе с табуретом свалилась на пол. Зашибла бок и щёку. Апостольник сполз с затылка, обнажились тёмные, с проседью, волосы. Из угла рта текла кровь. Офицер надсадно завопил:

— Ты, русская хрюшка! Укрывала в доме евреев?!

— Поднимите меня,—сказала мать Марина.

Её подняли. Ещё долго допрашивали и били.

Офицер пинал её в бок сапогами.

Когда она потеряла сознание—вылили на неё полведра холодной воды.

Устали бить и кричать. Мать Марина разлепила распухшие губы. Медленно, тихо сказала:

— Не только до семи, но до семижды семидесяти семи раз… прощать врагу…

— Говори по-французски!—проорал офицер.

— Pardonnez-moi,—сказала мать Марина.

Её прямиком из гестапо, с другими парижанами—евреями, французами, русскими, поляками, испанцами, валлонцами, англичанами,—в коровьем товарняке отправили в концентрационный лагерь Равенсбрюк. Вагон качало, мать Марина спала на соломе, и мирно, тепло пахло навозом. Плакал ребёнок. В дороге умирали люди—от страха и голода, и трупы выбрасывали в отворённые двери на ходу поезда.

В Равенсбрюке очень страшно. Пусто. Особенно страшны крыши бараков. Хочется взобраться на крышу, протянуть руки к небу и попросить: небо, возьми меня к себе без боли, без унижений.

Все знали: у ограды крематорий, и печь работает круглые сутки. Она ела людей, это была её пища. Люди не противились тому, чтобы стать пищей. Мать Марина думала: а если восстать, если броситься грудью на проволоку под током? Пусть прошьют огнём. Всё лучше быть расстрелянным, чем сожжённым.

«Три отрока в пещи Вавилонской… три отрока в пещи… три отрока…»

Руки занимала, как в Париже, как обычно: ей раздобыли клубки ниток, она вязала детям и старухам носки—холодно спать, замерзают тут люди во сне, без одеял, на нарах. Обрывки ниток оставались, она вышивала маленькую икону Спасителя. Спас Нерукотворный—на квадрате холстины, вырезанной из лагерной робы. «Господи, убрус Твой священный я, недостойная, сегодня вышиваю суровой нитью, вервием на рогоже. Господи, и в златые бессмертные нити превращается жалкое вервие. Не дай душе умереть. Тело убьют; сгинуть душе не дай».

Вызывали поутру на перекличку. Каждого пятого—отбирали: шаг вперёд! Рядом с матерью Мариной стоит девочка. Лет десять ей. Глаза по плошке. Дешёвые серёжки в ушках. Надзиратель косится, думает—золотые. Погонят в печь—раздеться заставят. А серьги из ушей—грубо, с мясом, выдерет. Ей будет очень больно. Очень.

Да она уже плачет.

«Кто знает, Господи, может, спасётся она».

Мать Марина шагнула вперёд.

Девочку спиной закрыла.

— Я пойду вместо неё,—по-немецки громко сказала.

Женщины тихо заплакали. Обречённые стояли кучкой, жались к стене. Мать Марина тоже встала к стене, вместе с ними. Вынула из-за пазухи недовышитую икону. Спас глядел строго и властно, Всезнатель, Вседержитель. Монахиня протянула кусок холста с ликом Господним девочке. Отсрочка? Завтра её сожгут? Пускай. Сегодня она будет жить.

Девочка, утирая нос кулаком, взяла вышивку и затолкала себе за кофтёнку.

— Schnell!—крикнул солдат с автоматом наперевес.

Потянулись. Долго шли через весь лагерь, и мать Марина удивилась—какой он большой. Всё стало громадным, чудовищным: время, сараи, часовые у ворот. Изрыгала чёрный вонючий жирный дым высокая труба крематория. Её зевло тонуло в тучах. Длинная серая людская змея извивалась, вползала в черно раскрытые последние двери.

«Да, последние Врата: и се, вниду в них».

Вошли. Пахнуло сладкой гарью. Куча одежды в углу. Раздевались медленно, как можно медленней. Голые тела синели, дрожали; женщины закрывали груди и животы руками. Мужчины плакали. «Рицца стерегла тела убитых сыновей своих, отгоняла от них воронов хищных розгой и волков пустынных, а здесь?! Тел не будет; чёрный пепел. И кости истлеют. Как тела наши восстанут на Страшном суде?!»

Не решай за Господа. Он всё устроит как до́лжно.

Голая, без привычной рясы, без рабочей робы, она сама показалась себе маленькой, как та девочка. Волосы всем остригли огромными, как кочерги, ножницами. Раздали куски мыла. Синее, белое и розовое, остро пахнущее немецкое мыло. Может, и правда помывка? Нагие, все дрожали. Железные двери раскрыты. Все падали в пасть смерти сгорбившись, втянув голову в плечи, кто молча, кто плача и крича. Под потолком—дырявые стальные

круги. Из них потечёт вода. Или польётся смерть. Никто не знает.

Жались друг к другу худые, ребрастые тела. Женщины к животам детей прижимали. Плакали, выли. Молились. Мать Марина шагнула в чёрный зев газовой камеры, распрямив плечи, глубоко вдохнув—ядовитую вонь?—о нет: широкое небо. Оно там, над плоскими, как разделочные доски, крышами. Одно: над Германией, над Францией, над Россией.

Перед адским порогом стояла—крестилась. В двери входила—крестилась.

Широкое крестное знаменье за ней повторяли многие руки.

Железные двери с круглыми глазками для наблюденья закрылись.

Чужие глаза прижались к глазкам. Подсматривали. Глядели, как женщины падают на колени, сбиваются в живые белые, жёлтые кучи, шевелятся червями, дёргаются кузнечиками, царапают стены ногтями, высовывают языки. Как их рвёт на пол, на кафельный пол, чисто вымытый, аккуратно.

Задыхайтесь, куклы. Вы не люди. Вы мусор. Сваливайтесь на пол скорей, и мы вас сметём в совок щёткой и сожжём в печке.

Дети погибали быстрее взрослых. Дети и старухи.

Губы синеют. Рты беззвучно кричат. За железными толстыми дверями воплей не слышно.

Уже в душегубке, на коленях стоя,—глаза вылезали из орбит, тошнило, вокруг головы огненный обруч безумья,—захлёбываясь болью, она поднесла щепоть ко лбу.

Когда все задохнулись и обратились в трупы—человечьи дрова сожгли дотла.

Сожгли и мать Марину.

И Господь и Пресвятая Богородица стояли рядом с нею, горящей в печи, по обеим сторонам её огненной плоти, и сгорали вместе с ней.

Аплодисменты. Немцы такие вежливые. Они тоже могут рукоплескать. Как и французы. Как и русские. Цивилизованная нация. О, они ещё такие щедрые! То денег сунут; то коробку конфет подарят, изысканный бельгийский шоколад, Daskalidès.

Наталья Левицкая пела офицерам германской непобедимой армии. Пела как обычно, как всегда: а не всё ль равно, кому петь? Генерала Саблина взяли в первую неделю после сдачи Парижа. Иной народ проклинал бошей, а иной—восторженно высыпал на улицы, встречал захватчиков цветами, радостными криками, кое-кто даже выбрасывал руку вверх в их дурацком, тупом приветствии: «Хайль!»

В зале—их фюрер. Он тоже хлопает ей. Ей какая разница—фюрер, дурер?! Песня ни хуже, ни лучше не станет. Куда отправили Саблина—ей не сказали. Сказали: «Пой, пташка! Так красивы русские песни!» Она и пела.

Усики у фюрера. Смешные такие. И ведь ни черта не понимает, что она поёт. Имя её кричит: «На-та-ча!» И ещё: «Вундершен!» Нравится, значит.

Всё, она под покровительством. Её не тронут!

Гитлер лениво похлопал и бросил. Встал, ногой двинул стул. Отпил из бокала. Левицкая пела не в концертном зале—в ресторане «Русская тройка», у Дуфуни Белашевича.

Пошёл вон из зала. А, куда-то опаздывает. Дуфуня перед концертом шепнул ей: Наталья, у нас нынче ихний фюрер, ты разоденься поприличней, а пой пожальчей. Сердце-то ему железное—растопи!

Она и старалась. Голос лился—горячее масло.

Красивая толстощёкая баба. Настоящая русская баба. Наверное, хороша в постели. Славянки послушны, как все восточные женщины. Это враки, что русские бабы сильны и суровы; они так же податливы и услужливы, как все другие, если на них прикрикнуть, схватить за волосы, подчинить. Её муженька забрали и уже расстреляли. Красивый голос. Жаль.

Он наклонился к адъютанту:

— После выступления—взять.

Чеканя шаг, вышел вон. Дуфуня Белашевич, красный как помидор, провожал германского царька глазами. Тайком перекрестил живот. Левицкая махнула аккомпаниатору: всё, баста!—и, чуть качаясь на высоких каблуках, шелестя платьем в модных блёстках, прошла со сцены в крошечную гримёрку. Перед зеркалом сидела обезьянка, катала за щекой орех. Левицкая схватила обезьянку на руки, осыпала поцелуями. Дуфуня, стоя в дверях, морщился: фу, Наташка, как ты можешь чмокать грязную скотину! А вдруг у неё блохи!

Левицкая тетешкала обезьянку, нянчила.

— Она чистая! Я мою её шампунем! И прыскаю духами своими!

Пузырёк духов—вон он, на гримёрном столике. «Коварство Натали». Лучшие духи в мире.

Раздались громкие голоса—собачий лай. В гримёрку протопали немцы. Военные формы, сукно не гнётся. Негнущиеся позвонки. Расстрельные зрачки.

Левицкая обводила их глазами. «Кто-то из них ведь говорит по-французски. Кто-то. Кто-то!»

— Вы арестованы, мадам. Пройдёмте.

О да, вежливы. Орехи в сахаре!

Обезьянка прислонила тёплую ладошку к щеке Левицкой. Круглый карий глаз весело таращился, косил. Ну, идём, Колетт. Жена красного генерала должна быть за решёткой. Давно поджидала. Странно, если б иначе было.

Певица обернула к солдатам отчаянное лицо. Крикнула:

— Я ни в чём не виновата!
— Прощай, Натальюшка! — сдавленно крикнул старый цыган.

Выдернул из-под рубахи оба креста нательных — свой и жены покойницы, — прижал к губам. Перекрестил уходящую женщину. Её били, толкали прикладами в спину.
— Прощай, Дуфуня, дорогой! На том свете свидимся!

Обезьянка лопотала по-своему, на забытом людьми весёлом языке.

Нет, он не будет делать в Париже парад победы. Он боится. Много причин для осторожности.

Никогда не демонстрируй мощь своего государства в чужой стране. По крайней мере, пока она окончательно не стала твоей. Аборигены могут возмутиться. А возмущенье — чревато.

Война идёт, и против него борются англичане. Если узнают про парижский парад — снарядят в Париж военных лётчиков, и не миновать налёта во время парада. Очень нужно усеивать трупами и погибшими машинами площадь Согласия.

После вина, русских блинов с красной икрой и звучного пенья красивой славянской крестьянки, прикидывающейся дамой, он размяк, разомлел. Даже выкурил сигару. Черчилль курит сигары. Черчилль любит сигары. Он же сигары ненавидит. А сегодня? Так, позёрство. Попытка отдыха. Курение — смерть. Он не курит, нет; только балуется.

Левицкую сначала держали в камере вместе с пятью женщинами: три — проститутки с Пляс Пигаль, две — несчастные домохозяйки: евреев в сарае укрывали от облав, подкармливали. Шлюхи пели непотребные песенки, резались в карты, расчёсывали друг дружке длинные спутанные волосы; потом притихли. Сидят, нахохлившись, мокрые воробьихи на стрехе. На Левицкую косятся: а, шансонетка, и тебе хвост прижали! Две других узницы молчали. Одна — чётки перебирала. Вторая, полная и сдобная, мягкая булка, всё гладила Левицкую по плечу.

Обезьяна сидела на руках у певицы. Левицкая отдавала ей свою порцию тюремной похлёбки. Хлеб разламывала надвое. Проститутки дивились: надо ж такое, со зверюгой хлеб делит! Перебиравшая чётки задумчиво смотрела, как обезьянка ест. Быстро-быстро жуёт, перемалывает зубками хлебную корку.
— И святой Франциск птиц кормил и привечал, — сказала однажды, и янтарные чётки задрожали в старых венозных руках.

Настал день. Дверь камеры с лязгом широко распахнулась. Приземистый надзиратель прокричал хрипло:
— Натали Лефицка! Антре!

«Француз, не немец. Предатель».

Левицкая встала. Обезьянка обняла её за шею. Ну мать с ребёнком, да и только. Шлюха с Пляс Пигаль смачно сплюнула в угол камеры.

Наталья старалась улыбаться. В груди — нездешний холодок.
— На расстрел. Пока, подружки!

Шлюха помахала женщине и обезьяне рукой, ещё со следами былого алого лака на отросших, как у зверя, ногтях.

Левицкая ловила ноздрями свежий воздух. Двор тюрьмы, и стены, пустые каменные квадраты кругом. И небо — синий квадрат. А смерть — чёрный?

Да, смерть — Чёрный Квадрат, это точно. Четыре стороны ужаса, которого ты уже не увидишь.

Четыре. Три. Два. Один. Колени ослабели. Кирпичные ноги. Она села на землю, стена холодила ей спину. Обезьянка крепко, дрожа, прижималась к ней. Чувствовала всё. Звери лучше, безусловней, чем люди, чуют смерть.
— Встать! — крикнул палач.

«Тоже француз. Сволочи. Под Гитлера легли».

Встала, обдирая шёлк платья о кирпич стены. Крепче обняла обезьяну. Привалилась спиной к стене — колени уже не держали. Команды не слышала — всё заглушил пронзительный визг обезьянки.

Пули попали Левицкой в голову и грудь. Она умерла сразу.

Офицер подошёл к визжащей обезьянке. Раненый зверёк просил, умолял глазами. О чём? Что бы зверь крикнул, если б он был — человек? Офицер вынул из кобуры пистолет. Выстрелил обезьяне в ухо. Круглые глаза Колетт так и глядели в небо. Они спрашивали Синий Квадрат: за что? Офицер наклонился, аккуратно снял с пальцев Левицкой обручальное кольцо и перстень с уральским малахитом, сунул в карман мундира, вынул белый квадрат — носовой платок — и брезгливо, тщательно вытер руки.

Париж под немцем, и незачем более жить.

Толстуха Стэнли умирала. Это было страшно — умирать. Всем всегда страшно. Кто делает вид, что не страшно, тот врун.

Стэнли страшно, но она спокойна. Юмашев держит её за руку. Юмашев тут; ушлый, дошлый русский, французский кутюрье, ты-то что в развалине Стэнли нашёл?! А ничего: так. Человека нашёл человек. И вот держит его за руку. Провожает на тот свет.

Торжественно. Не умиранье — концерт. Спектакль в «Гранд-опера́».

Кровать с умирающей Стэнли выставили на середину зала. Прямо под люстру.

Сегодня с гигантской жёлтой сковороды на лбы и затылки брызгало постное масло: готовили, жарили вкусно, щедро, чтобы задобрить голодную Смерть.

Смерть! Всегда эта проблема. Ковыряешься в себе, разыскиваешь в кишках, в лёгких, в мозгу

смерть. А она — вот она. За спиной. Улыбается тихенько. Стерва.

И у каждого ведь своя. То красива и покорна. То безобразна. То орёт во всю глотку. То молитву хрипит.

А может, их много, смертей? Столько же, сколько людей?

Это так и есть.

Юмашев наклонился к подушке. Она хочет что-то сказать. Её губы изгибаются, вздрагивают. Дыхание участилось.

— Кудрун?.. Что?..

Задрался вверх подбородок. Люстра слепит её. Но ей наплевать. Она сама попросила лечь здесь. И вот так. Знаменитый бильярдный стол отодвинули. Теперь она тут царица.

— Виктор... Виктор...

Вокруг смертного одра стоят люди. Много людей. Это всё её друзья. А может, и враги: любопытствуют. Каждому страшно и сладко присутствовать при смерти другого: ведь это ж другой уходит, не ты.

Они все ходили к ней в салон. Ели и пили из её чашек и рюмок. Рисовали на её мольбертах. Брали читать книги из её библиотеки. Одалживали у неё деньги. Отдавали. Не отдавали!

Это Кудрун; и она прощается с вами. Её тело расплывается по простыням, по матрацу весенним сугробом. Готова ли уже могила на Пер-Лашез? Да, готова. Всё оплачено. И мрамор памятника горит алым огнём. Памятник парижской коммунарке, а не язвительной американке.

Здесь все, кроме Хилла, Монигетти и Ольги Хахульской. Хилл в Америке. Хорошо, что его не убили в Испании. Монигетти умер на улице. Ольга выстрелила себе в висок.

Здесь и те, кого она не знает.

Зато её знает весь Париж.

Люди идут и идут. Ходит дверь на петлях. Люстра горит. Свежий воздух врывается в открытые окна. Холодно в зале.

Хочешь ли ты поесть перед смертью, великая Кудрун? Хочешь ли пить? Есть очень хорошее аргентинское вино. Есть прекрасная испанская «Риоха». А покурить хочешь напоследок, ты, славная старая лягушка?

Люстра сыпала золотую пудру ей в расширенные глаза.

Юмашев наклонился ниже. Повернул ухо к её искусанным табачным губам.

И очень внятно, раздельно, хрипло Стэнли спросила, и все услышали:

— Так где же выход?

Глава двадцать четвёртая

Что происходит сегодня, сейчас? Вот он стоит перед зеркалом, её взрослеющий сын. И глядит, глядит на своё отраженье. Коротко острижены когда-то кудрявые русые волосы. Ангелочек умер. Ангелочка нет. Есть — подросток с резкими, острыми чертами, с волевым, её, прикусом тонких губ. Плечи широкие по-мужски, а мышцы хилые: никакого спорта, никаких гантелей, чахлое парижское растенье, умница, книгочей.

И её рукописи он тоже читает.

И она — позволяет; не сердится.

Можно целый век в зеркало глядеть.

Мать стоит за спиной.

— Мама, — голос глух и тускл, — выхода нет.

Отражение матери в зеркале пожимает плечами.

— Мама! Вы слышите? Нет выхода!

Отражение матери в зеркале поворачивается к окну. Горбоносый профиль — чеканка по серебру.

— Прекрати кричать, — говорит Анна.

Ника внятно и зло говорит отражению в зеркале:

— Ни русский, ни француз. Я человек без родины! Вы понимаете это или нет?!

Отражение матери в зеркале опускает голову. Прижимает пальцы к губам.

Отражение в зеркале молча говорит: не хочу говорить.

Ника поворачивается. Вот она, мать, живая. Вот её лицо. Её грудь — он когда-то младенцем засыпал возле неё, насытившись. Вот её сухая бледная рука — он столько раз целовал её на ночь. После того, как рот, вот этот рот, ему сказку расскажет.

Плевал словами в лицо ей, в родное:

— Да всё кончено! Всё, понимаете вы, всё! Европы нет! России тоже нет! Скоро нашего мира — не будет! Да его уже нет! Зачем жить?! Аля с папой вон в Эсэсэсэр уехали — и правильно сделали! У них там — новая жизнь! Пусть она хуже, чем здесь. Труднее! Голоднее! Но там — будущее!

— Гитлер сожрёт и Россию.

Голос матери, это голос его матери.

Он слышит и не слышит его.

— Я никто! — опять к зеркалу повернулся, и страдальческое сладострастие доставляло ему это наблюдение себя, плачущего, с искривлённым лицом, в зеркале. — Никто, и звать меня никак!

— Ты Николай Гордон, — сказала тихо мать.

— Кому здесь нужен Николя Гордон?! — голос перешёл на визг щенячий. — Да никому! Подметальщик улиц! Разносчик круассанов! А если повезёт — как вы, да, как вы!.. — хватал воздух ртом. — Уборщиком, поломоем — в ресторации, в особняке жирного богача...

В раскрытое окно вливалась жёлтым мускателем июньская жара.

Вечером пришёл Рауль.

Давно его не было.

Он узнал её новый адрес от Лидии Чекрыгиной.

— Вот сюрприз! — Анна, на пороге, всплеснула руками по-детски. — Проходите, милый Рауль! Что новенького?

Её наигранное, довоенное веселье было неуместно. Она и сама это поняла, осеклась.

Рауль осторожно, как кот, мягко ступая, прошёл в комнату. Здесь ещё беднее, чем в прежнем её жилье. Средоточие бедности, апофеоз пустоты.

«Здесь как в гробу»,—подумал Рауль.

— Что у вас на руке?!

Анна схватила Рауля за руку.

Он смутился, как девушка.

— Браслет…—осторожно снял с запястья.—Возьмите, мадам Гордон. Это память.

— О чём?! О ком?!

Она не сдерживалась, кричала. И слёзы на глазах.

Сжимала в кулаке серебряную змею.

— Его носила та девушка… девочка… что жила одно время у вас. Вы помните. Вы…

— Амрита!—кричала Анна, и слёзы брызгали.—Не надо! Я всё… поняла…

Рауль осторожно поцеловал руку Анны. Плакали оба.

— Хотите чаю? Я сейчас…

— Не откажусь. Буду пить чай и смотреть на вас.

Они уселись за нищий стол. Анна заварила крепкий чай. Достала из шкафа чашки и блюдца. Все—битые, в трещинах. Старая посуда. Старый мир. Старый, как мир, крепкий чай, и пар над чашкой, и гомон птиц за окном.

Её браслет, подаренный ей царём,—на её руке. Он вернулся.

Разве возвращается ушедшее навек? Это подделка; Рауль, любя и жалея её, просто заказал точно такой же—у самого дешёвого ювелира на Монмартре, в Латинском квартале.

Легла спать. И уснуть не могла.

Ворочалась, ворочалась под одеялом. Жмурилась. Клала ладони на глаза. Под ладонями—глаза открывала, глядела в кромешную, довременную тьму.

Во тьму—до рождения и после ухода.

Когда ты уйдёшь? Не знаешь. И верно, что не знаешь.

Звук тонкий и хрупкий, будто треснуло оконное стекло. Или мышь уронила в шкафу рюмку. Шелест. Шорох. Дыханье. Испариной вызвездило виски. Нежная, размытая, насквозь прозрачная женская фигура медленно вплыла, втанцевала в комнату. Анна приподнялась на локтях. Подушку локти прожигали. Или это подушка жгла кожу? Огонь, она огонь, она живая, а это призрак. Чей? Он не скажет тебе.

Женщина. Прозрачная туника. Полные бёдра колышутся, дрожат. Груди свисают дынно, тяжело. Всё белое нежное тело вздымается, опадает кислым дрожжевым тестом, играет, вьётся, вздрагивает. Выщипаны брови. Густо накрашены тушью ресницы. Румяной пудрой присыпаны сморщенные щёки. Старая, а танцует как молодая. Смешно трясётся, пухнет и трепещет тело. Вздувается нервный зоб. Взлетает и летит в потоке сквозняка легчайшая ткань накидки. А может, это газовый шарф.

— Ифигения,—мёртвыми губами вымолвила Анна.

Покойница. Покойники приходят, если зовут за собой. Зовут—к себе.

Ифигения Дурбин, легко переступая на цыпочках, плавно взмахивая дебелыми руками, подплыла, как по воздуху, к кровати. Прозрачная ткань текла и утекала. Струилось бледное, светлое время. Вспыхивали волосы, белели ладони во мраке спальни.

— Ифигения, зачем ты пришла?

Танцовщица легко, прозрачно улыбнулась. Призрак близко. Он рядом. Она слышит его дыханье. А призрак—её. Два дыханья сплелись. Это опасно. Тот мир! Значит, он есть?

— Я не знаю.

Призрачный, чуть слышный шепоток. От губ к губам.

— Ты танцуешь на небе?

— Хочешь танцевать со мной?

— Я твоя поломойка.

— Ты великая, и я великая. Меж нами теперь разницы нет. Ты скоро будешь гостья моя. Я обниму тебя.

Протянуты руки. Мышцы сдулись, как воздушный шар, и дряблая кожа висит белым флагом. Круглые толстые плечи рвут тончайшую небесную ткань. Где плоть? Нет её. Виденье—вот всё, что осталось. И они с нею призраки; и они куклы, и настаёт черёд им сгореть в печи, ибо Хозяин уже заказал у кукольника другие, свежие, ярко раскрашенные фигурки.

Ифигения пьяно шатнулась перед Анниной кроватью. Анна вцепилась кулаками в простыню.

— Ты… увидела там своих детей?..

Сквозь ночь, сквозь туман и облака тихо, глухо донеслось:

— Да. Они сказали мне: мама, это мы бросили тебе с небес шарф! Чтобы ты к нам скорей пришла. Мадам Зарьов, вы не похожи на человека!

— А на кого? На ангела?

Улыбка рассекла надвое дрожь бледного рта.

— На обезьянку.

— Вы врёте,—горло Анны дёрнулось,—мадам Дурбин…

Призрак наклонился над лежащей, над живой. Призрак мерцал и вздрагивал. Одна большая, погасшая человечья звезда. А свет от неё ещё идёт.

— Куколка, обезьянка. Я никогда не вру. Вы хотели повторить в стихах весь мир. Собезьянничать мир, станцевать точь-в-точь. Вам это удалось. А вас никто не повторит. Никому не удастся.

Призрачная улыбка. Если это мадам Смерть—почему она без савана, без косы?!

— А вдруг!..— Анна выгнулась назад, держа тело на локтях. Задыхалась.— А вдруг родится такая же Анна... сто, двести лет спустя?!..

— Там, где я, там нет летосчисленья. Я разом вижу всё, что было, что нынче, что будет.

Анна вытянула руку. Хотела дотронуться до прозрачной летящей ткани.

Ей обожгло ладонь. Темнота. Тишина.

Коса на камень.

Искры сыплются.

И загорается сухое сено, солома, хворост сухой.

Всё высохло вокруг. Страшное лето идёт, торжествует.

К ней в спальню, где стоял один колченогий диван, застеленный двумя штопаными простынями, вошёл сын. Брови изогнуты скорбным домиком.

Изменился в лице. Будто постарел враз.

— Мама, вы уже знаете?

Анна оторвала взгляд от исписанной бумаги.

— Что?

— Извините, я вас потревожил,— голову наклонил — как отец.— Война.

— Война?— Анна глядела сонно, тоскливо, непонимающе.— Какая война? Война идёт, она везде...

— У нас война.

— У нас?

Углы губ приподнялись, как у Моны Лизы Леонардовой, в Лувре.

— Гитлер напал на Россию. Сегодня ночью.

Кованая змея крепко обнимала загорелую руку.

Анна хотела положить ручку, а вместо этого уронила, ручка катилась со стола на пол, чернила пятнали лист, ручка падала, пачкая Аннину юбку, а она всё смотрела, смотрела на свою ручную змею.

«Моё время умерло. Мой век мёртв. Если моя Россия мертва — что делать ещё на земле?»

Тёплая, душная июньская ночь. Париж спит и не спит. Париж — город ночи; жизнь ночью в Париже соблазнительней, ярче, чем днём. Умерло то время, когда она, девочкой, ходила вместе с матерью по ночному Парижу; по ночному Лондону; по ночному Риму. Европа была другая; и она была другая. И поезда были другие; и кофе в кофейнях; и камни мостовых. Мир переродился. Мир умер и родился вновь, а ей не повезло побыть его повивальной бабкой.

И детей она больше не родит. Стара.

Всё, отзвонил колокол.

Из окна её жалкой квартирки, в страшной, занебесной дали, видна страшная башня Эйфеля. Железные рёбра. Стальные кости. Сколько самоубийц забиралось наверх — и кидалось вниз, в сладкие объятья небытия. Зачем — жить? Зачем — быть, если кончено всё?

Говорят, французы объединяются в тайные общества, чтобы противиться оккупации. Молодцы. А что творится сейчас в России? Разбомбили Киев. Минск в руинах. Германцы идут на Москву. Аля! Сёма! Хоть бы письмо... хоть строчка.

«Они отступают, солдаты отступают. И будут отступать».

Лист бумаги. Чистый лист. Чистый, как снежное поле. Белое поле. Метель. Простор. Лёд. Звёздное небо, прогал черноты, острые иглы посмертного света. Большинство звёзд, на которые мы смотрим ночами,— мертвы. Свет от них ещё идёт, а они — погасли.

«Пойдёт ли от меня, мёртвой, свет?!»

Ты слишком хорошо думаешь о себе. Слишком любишь себя. Будь проще и суровей. Вот чистый лист. Вот ручка. Запиши что надо. Пиши.

И она писала. Послушно, как гимназистка — диктант.

«Как назову? В последний раз танцую с тобой, любимый. Любимый?!»

Нет. Не Семён. И никто из всех других.

Лицо Игоря Конева из мрака склонилось над ней.

Его сильные руки вели, вели её — в последнем, страшном танго.

Последний танец над мёртвым веком

Я счастливая. Я танцую с тобой. Ты слышишь?— ноги мои легки.
Я танцую с тобой над своей судьбой. Над девчонкой войны — ей велики
Её валенки, серые утюги. Над теплушкой, где лишь селёдка в зубах
У людей, утрамбованных так: ни зги, ни дыханья, а лишь — зловонье и прах.
Над набатом: а колокол спит на дне!..— а речонка — лёд чёрный — на Северах...
Я танцую с тобой, а ступни — в огне. Ну и пусть горят! Побеждаю страх.
Мы над веком танцуем: бешеный, он истекал слюной... навострял клыки...
А на нежной груди моей — медальон. Там его портрет — не моей руки.
Мне его, мой век, не изобразить. Мне над ним — с тобою — протан-цевать.
Захрипеть: успеть!.. Занедужить: пить... Процедить над телом отца: ...твою мать...
Поворот. Поворот. Ещё поворот. Ещё па. Фуэте. Ещё антраша.
Я танцую с тобой — взгляд во взгляд, рот в рот, как дыханье посмертное — не-ды-ша.
Так утопленнику дышат, на рёбра давя, их ломая,— в губы — о зубы — стук.
Подарили мне жизнь — я её отдала в танцевальный круг, в окольцовье рук.

Мы танцуем над веком, где было всё: от Распятья—и впрямь, и наоборот,
Где катилось железное колесо по костям—по грудям—по глазам—вперёд.
Где сердца лишь кричали: Боже, храни Ты царя!..—а глотки: Да здрав-ству-ет
Комиссар!..—где жгли животы огни, где огни плевали смертям вослед.
О, чудовищный танец!.. вихрись, кружись. Унесёмся далёко. В поля. В снега.
Вот она какая жалкая, жизнь: малой птахой—в твоём кулаке—рука—
Воробьёнком, голубкой...
...голубка, да. Пролетела над веком—в синь-небесах!..—
Пока хрусть—под чугун-сапогом—слюда наста-грязи-льда—как стекло в часах...
Мы танцуем, любовь!..—а железный бал сколько тел-литавр, сколько скрипок-дыб,
Сколько лбов, о землю, молясь, избивал барабанами кож, ударял под дых!
Нету времени гаже. Жесточе—нет. Так зачем *эта музыка* так хороша?!
Я танцую с тобой—на весь горький свет, и горит лицо, и поёт душа!
За лопатками крылья—вразмах, вразлёт! Все я смерти жизнью своей искуплю—
Потому что в любви никто не умрёт, потому что я в танце тебя люблю!
В бедном танце последнем, что век сыграл на ребрастых арфах, рожках костяных,
На тимпанах и систрах, сёстрах цимбал, на тулупах, зипунчиках меховых!
На ребячьих голодных, диких зрачках—о, давай мы *хлеба* станцуем им!..—
На рисованных кистью слезы—щеках матерей, чьи сыны—только прах и дым...
На дощатых лопатках бараков, крыш, где за стенами—стоны, где медью—смех,
Где петлёй—кураж, где молитвой—мышь, где грудастая водка—одна на всех!
Ах, у Господа были любимчики все в нашем веке—в лачуге ли, во дворце...
А остались—спицами в колесе, а остались—бисером на лице!
По́том-бисером Двух Танцующих, Двух, колесом кружащихся над землёй...
И над Временем... дымом кружится Дух... Только я живая! И ты—живой!
Только мы—живые—над тьмой смертей, над гудящей чёрной стеной огня...
Так кружи, любимый, меня быстрей, прямо в гордое небо неси меня!
В это небо большое, где будем лететь
Все мы, все мы, когда оборвётся звук...

Остановилась на миг. Перо черкало по бумаге линии, стрелы. Перо летело дальше, во тьму, в пустоту.

Мне бы в танце—с тобой—вот так—умереть,
В вековом кольце *всё* простивших рук.

Опять катилась ручка на пол. Анна встала. Хотела бумагу скомкать—рука не поднялась уничтожить написанное.

Кому всё это надо?!

Господу; только Ему. А кому ж ещё?

Мы не знаем, зачем живём. Почему живём. Почему—войны и кровь. Что будет потом. Через сто лет. Через пятьсот.

«Что?! Да всё то же. Война. Кровь. Смерть. И—рождение новых страдальцев».

Всё внутри закричало: нет! Нет! Неужели всё так просто и страшно!

«Тогда, Господи, где же Ты?!»

Шла, цепляясь за стену. Падала. Ноги заплетались. Как пьяная. «Да ведь я не пьяна; что со мной?» Задела локтем горшок с чахлыми фиалками на краю стола, горшок упал, разбился, сухая земля брызнула ей на ноги, раскатилась на полу катышками.

«Земля. Чёрная, жёсткая земля. И я в неё лягу».

Оборачивалась. Вертела головой. Искала глазами.

«Что?! Что я ищу?!»

Потолок. Старый абажур. Дверь на скрипучих петлях. Притолока. Вешалка. Крючья. Гвозди.

Гвоздь. Молоток. Гвоздь и молоток.

Шатаясь, выдвинула ящик стола. Инструменты, много железяк. Клещи. Напильники. Два штопора. Где вино?! Пальцы швырялись в железном развале. Антиквариат. Человечий инвентарь. Во все века один и тот же. И у Людовика Шестнадцатого имелись свёрла и отвёртки?! И у него. А как же?

Гвозди! Гвозди! Запустила руку глубже. Уколола пальцы, ободрала ладонь. Цапнула горсть гвоздей. Тонкие. Нет! Не такие!

На корточки села. Ящики выдвигала. Губы мёрзли. Кожа, обтягивающая череп, мёрзла.

Вот! Пальцы схватили, обрадовались прежде разума. Толстый, старинный, чугунный, ржавый, мощный. Будто—на Голгофе найденный. Будто—выдранный клещами из Распятия.

Молоток и гвоздь. Быстрее. Пока сын не пришёл.

Села за стол. Бросила молоток и гвоздь в подол. Губы тряслись. Вывела на чистом листе, на синей от лунного молока бумаге:

«*Прости, сынок. Прости и помолись за меня. Не могу больше*».

Шкаф. Стена. Дверь. Подняться на цыпочки. Нет. Не пойдёт.

Ногою пнула к двери стул. Влезла на стул. Качалась. Чуть не упала. Удержалась.

Вбивала голгофский гвоздь в стену—над дверным проёмом.

Хорошо. Крепко сидит. Вот так хорошо. Отлично.

Её война. Она сейчас кончится.

Перемирие. Белый флаг. Белое поле. Снег. Ветер. Звёзды.

Спрыгнула со стула. Подвернула ногу. Охнула. Боль?! Сейчас пройдёт.

Сейчас всё пройдёт навек и навсегда. Боль. Радость.

Руки сами видели. Руки искали. Нашли. Её старый халат. Пояс. Оторвать. Крепкий. Выдержит.

Руки сладили петлю—будто век петли ладили. Ловко, быстро.

Снова взобраться на стул. Высоко. Далеко видно. Очень далеко.

Будто летит в самолёте. Ни разу не летала. А вот летит. Синяя толща времени прозрачна. Гул моторов. Шлема нет! Это ничего. Ветер треплет волосы. Холодно. В небе очень холодно. Холоднее, чем на земле.

Сунула голову в петлю. Сейчас прыгать! С самолёта. Без парашюта. Парашюта нет. Да и не было никогда. Ни лонжи; ни парашюта; ни троса.

Только—крылья. Были—крылья. Были.

Шагнула со стула вниз.

Выпала—из люка—самолёта.

И сразу в уши ввинтился гул. Страшный, всё застилающий гул.

…и она увидела, далеко внизу, под собою: белые платы, белые пелены, летящие белые квадраты полей, снег, длинные белые полосы снега, белые чернила, брызгают и льются, они зачёркивали всё написанное ею, всё выплаканное и любимое; и чёрная бумага земли внизу молчала, ветер рвал её в клочья.

Увидела крыши деревни, кучно стоящие избы, и огромные старые вётлы, занесённые снегом, и ближе, ещё ближе—одну избу. И серый день, и серые брёвна избы, и серая крыша, и кот на заборе. Валит серый дым из трубы. Серое на белом. Цвета нет. Кончился цвет. Вытерся, высох. Снег вокруг шеи закрутился змеёй, русский, страшный, любимый снег. Кованое серебро. Крыльцо. Дверь в избу открыта. Она входит в чёрную пасть. Медный самовар на столе, свечи пылают, трещат, золотой мёд тепло, медленно, вязко течёт от иконы. Мочёная брусника в деревянной миске. Пирог с капустой. И Аля сидит, незнакомая, постаревшая, в холщовом сером платочке, и улыбается жалко, нарисованным ротиком любимой куколки, и лепечет, как в детстве: мамочка, мамочка, садитесь к столу, я вам капустный пирог испекла.

А потом встал до небес гудящий огонь.

И всё обнял, поглотил.

<…>

Глава двадцать шестая

Додо Шапель сидела, положив ногу на ногу, в кресле. В пошивочной мастерской.

Среди своих портних и полуголых манекенщиц.

У мадам Шапель сегодня хороший день: Пако Кабесон зазвал её на обед, и она пошла, хоть затворницей в Париже прослыла. Обед был хоть куда! И Пако хоть куда. Всё такой же: козявка, жучок-паучок, от горшка два вершка, не видать, как по земле ползает, а хорохорится: «Бошей на фонарь! Мы всё равно их всех на фонарях вздёрнем!» Это тебе не времена Марата, дёргала плечом Додо, не выдумывай. У бошей оружие и беспримерная наглость, а у нас что? В нас даже веселье выдохлось, как старый сидр, не говоря уж о геройстве! Пьёшь тебя—а ты без пузырьков, в нос не шибаешь!

Мы им в нос дерьмом шибанём, дай срок, хмурился Кабесон и ударял бокалом о бокал Додо.

И она пила вместе с ним—за победу Франции.

Распятой, замученной, зачумлённой, под немцем корчащейся Франции.

Разве труп воскреснет?

Пила! Одно веселье—пить. Пить и курить.

Для своего возраста ты слишком много куришь, Додо. Твои молодые любовники…

Что—любовники? Не любят, когда от тебя воняет табаком?

Ничего, пусть терпят. Ты Додо, а они никто!

Портниха в мелких кудерьках, беленькая овечка, подскочила, креп-жоржет в руках вертела:

— Мадам Шапель, дайте-ка ручку!.. приложу кусочек… отличное будет платьице…

— Не мадам Шапель, а Додо,—отчётливо сказала Додо, выпустив струю дыма.—Не ручку, а руку. Не платьице, а платье! Что вы всё сюсюкаете? Как грудники! Говори по-человечески!

— Хорошо, мадам Додо… конечно… да-да-да…

Овечка отскочила. Сквозь прозрачный креп-жоржет просвечивал острый локоть, острая грудка. Жёсткий, по старинке, бабушкин лифчик носит девка. А грудь должна быть свободна. Упруга и свободна.

Снова затянулась. Выпускала, озоруя, дым изо рта колечками. Манекенщицы приседали перед портнихами, портнихи облачали их в свои изделия. В её изделия. Она, Додо, освободила женщин от корсета. От юбок в пол. Освободила им шаг, шею, взгляд; руки от буфов, живот от складок. От складок жира. От складок пыльного бархата. От складок лживого запрета.

«Женщина, живи!»—сказала ты Европе своей свободной модой, и женщина стала жить. А не прятаться. За спину мужа; за сундук, где кабачки и тыквы на зиму запасены.

А Пако хорош, хорош. Женат в который раз! Новая супружница прелесть: марокканка. Грива до небес, чёрный водопад. Пако зовёт её смешно: Ёжик. Мой Ёжик. Сюсюкает, да! Но ему можно всё. Даже слюни пускать, как младенцу. Гениален. Ему и краски не нужны. Своими слюнями, кровью, спермой, мочой он может мазать, поливать свои картоны и холсты — и всё будет божественно.

А если холсты замазать землёй? Глину в воде развести — и мазать?

«„Спички, сахар, соль и мыло — это было, было, было“. Такие стихи читал самоубийца Милославский. Когда-то. В салоне у покойной Стэнли. Боже, все мертвецы! Всё было, было. Землёй и цветной глиной красили стены пещер первобытные мастера. В Альтамире так красили… в Ласко, в Кро-Маньон. Земля — вот лучшая краска, художник. Это Мать. Она даёт тебе свою чёрную кровь, свою плоть, чтобы ты ею — её — запечатлел».

Ссыпала пепел в выгиб перламутровой ракушки из Сен-Тропе. Ракушка на тумбочке. В тумбочке ещё пачка сигарет.

Нет, шалишь, хватит. Отдохни от табака.

Всё-таки закурила. Ещё одну. Последнюю.

Так лучше думалось, под жужжанье моделей и портних.

Маршал Петэн правит Францией. Боши расползаются по стране, чёрные тараканы. Война, а она всё шьёт свои платья и блузки, плащи и костюмы. Каждый должен делать своё дело! Пока паралич не разобьёт — она будет шить, шить, шить. Жить.

Её друзья, кутюрье, тоже вкалывают. А куда деваться? Правда, разъехались мальчишки. Юмашев в Лондон подался. Там процветает. Юкимару в Нью-Йорке. Америка всех пригреет. Земля иммигрантов. Вся Африка давно уж там; весь Китай; а теперь будет и вся Европа. Письмо ей прислал: «Додо, крошка! Держись там в Париже. Шей военные модели! Пилотка, юбчонка до колен, сапоги, кобура на боку. Публика будет визжать от восторга!» Жену пароходом отправил домой. В Японию. В Хиросиму, кажется. Или в Осаку? Забыла.

Война, тысяча чертей, а бабы всё равно хотят хорошо одеваться! И — будут! На то они и бабы. Картуш сказал ей при встрече: наше ремесло бессмертно. Аперитив в кафе на рю Санкт-Петербург. Она грызла орешки, как белка. Картуш тянул крепкий мутный пастис. Пахло анисом. Кофе. Сельдереем. Нагретыми на солнце камнями мостовой. «Как ты, оклемался после гибели Натали?» — спросила она его. И что ответил Жан-Пьер?

А ничего не ответил. Пастис пил мелкими глотками.

И глаза — как у перерубленного пополам удава.

«Если б я была помоложе, Жан-Пьер, я б переспала с тобой», — нарочито бодро, кокетливо сказала она тогда. Картуш подмигнул ей из-за бокала. Так подмигивают куклы. У кого веки деревянные, а ресницы приклеенные.

А этот? Тот смуглый русский парень? Что спал с тобой когда-то, манекенщик Картуша?

О, пройдоха. Он уже давно в синема. Ты знала, он далеко пойдёт.

А целовался красиво. И любился неутомимо. Поцеловаться бы с ним. Сейчас.

Подняла на портновский свой цех круглые карие глаза. Две коричневых ореховых пуговицы. Увидала себя в зеркалах — стена напротив вся зеркальная, жестокая. Всё видно.

Красный жир помады на губах. Штукатурка пудр и притираний на щеках. Тональным кремом тщательно замазаны морщины на лбу. Зубы вставила великолепные, хоть сейчас у Рене Клера снимайся. И улыбайся всё время, улыбайся, улыбайся. Немцы не расстреляют её. Немцы не расстреливают знаменитых кутюрье. Немцы не расстреливают старух.

— Старая обезьяна, — негромко, презрительно, сквозь зубы сказала сама себе.

Ночь перед казнью. Последние часы на земле.

Мари-Жо сидела на полу камеры, прижавшись затылком к холодной стене. Пол тоже ледяной. Зад замёрз. Спина болит. Скоро болеть не будет ничего.

О чём она думала? О многом. Старалась как можно больше передумать всего. Торопилась. Её схватили с тремя товарищами. Обыскали дом. Нашли листовки: «Да здравствует Франция! Да здравствует свобода!» Никакого суда, следствия. Враги великой Германии, им только смерть. Мир сошёл с ума. Мама, где твоё масло, сбитое из сметаны? Где буйволиное молоко? Мама, я хочу ямсовых лепёшек, горячих, ты слышишь? Мама, я сама печатала листовки. На пишущей машинке. Под копирку. Сама разбрасывала их. В кинотеатрах. На улицах. В парках.

В Люксембургском саду — на скамьях оставляла.

И люди брали, читали.

Людям важно дать понять, что они свободны, даже в застенке. Дать понять!

Ей утром дадут понять: смерть есть, и она реальна.

Ноги. Её сильные, крепкие ноги. Ноги бегуньи. Она побеждала. Она и сейчас победит! Только бы добежать. Добежать до утра.

Брёвнами, вповалку, спят на полу камеры люди. Завтра они перестанут быть людьми.

Их убьют, бросят в яму и закопают. И, ноги, вы никогда больше не побежите по земле, ноги. Милые ноги. Длинные тёмные, шоколадные ноги.

Мари-Жо погладила колени. Косточки выступали по краям коленных чашечек. Она очень исхудала. Сейчас она бы не пробежала десять километров. И пять. И тысячу метров. И сто.

Один шаг. Ей надо пробежать всего один шаг. Перемахнуть через чёрную яму. Но не труслиsо—великолепно. Откинув волосы. С улыбкой. Раздвинув ликующе чёрные губы. Подняв торжествующе чёрные руки.

Люди, лежащие на полу, храпели, плакали, вздыхали.

Утро, ты лезешь в окошко, пролезаешь сквозь решётку.

Мысли исчезли. Не думала больше ни о чём. Встала. Руки и правда подняла. Выпятила грудь. Наклонилась вперёд. Тяжело дышала. Будто рвала грудью воздух на финише. Чёрная дорожка под шиповками. Вот она, белая полоса. Всё. Конец!

Она победила.

Игорь стоял во дворце Матиньон.

Стоял, голову задрав.

Он рассматривал громадную, немыслимую, чудовищную фреску Доминго Родригеса.

Он пришёл во дворец Матиньон—поглазеть на фреску, написанную мужем огнеглазой мексиканки. До сих пор руки помнят её гладкую кожу. А ноги—восхитительные очос и болео. А мосту Искусств всё равно. Тысячи тысяч пар танцуют там. Музыка, музыка—каждый вечер, каждую ночь.

Стоял под водопадом живописи. Мощный художник Родригес. Таких на земле, может, десять. А может, три. А может, он один такой.

Фреска распахивала цветные крылья, летела, обнимая великанский череп потолка и ниспадающие стены. Игорь—внутри фрески, он—её житель и участник.

На минуту стало страшно. Потом—весело.

Он внимательно разглядывал нарисованных людей.

Люди ли это? Муляжи? Призраки? Куклы? Скелеты? Магические фигурки первобытные: проткни иголкой сердце—и умрёт тот, кто живёт?

Несомненно, это люди. Герои. Тут и знаменитости, и бедняки; и славные лица, и безвестные профили—все вперемешку, как начинка из мяса и резаных овощей в любимых мексиканских буритос.

Как вас много, люди. Голова кружится!

Всё равно стоял и смотрел. Он же за этим сюда пришёл—смотреть.

Глядел—и узнавал.

Вот Сталин курит трубку. Вот рядом с ним, лицом на столе и спиной вверх, лежит убитый Троцкий. Очки отлетели вбок, на полу валяется ледоруб. Череп раскроен, и льётся красная кровь; а на полу растекается синяя лужа, будто бы ранили—небо.

За спинами Сталина и Троцкого—мексиканские пирамиды, иглистые кактусы. Пустыня.

Жаром повеяло с фрески.

Через два шага от трупа Троцкого—Гитлер. Он выбрасывает руку в крике: «Хайль!» Слава, вечна потребность славить. Всё равно кого: Бога, человека. Бывает, и зверя.

За плечами Гитлера—танки. Много зелёных лягушек-танков. Они идут. Гусеницы крутятся. Можно вдохнуть пыль и запах машинного масла. Они очень тяжелы, и земля оседает под ними.

Над танками—самолёты. На крыльях иных—чёрные кресты. На других крыльях—красные звёзды. Красная авиация летит! Попробуй победи!

Самолёты таранят друг друга в воздухе. Вот один подбит, и падает, и горит хвост, и в зенит поднимается столб смоляного дыма. Из-за стекла кабины видно лицо лётчика. Рот разинут—кричит, а в глазах страха нет. Нет страха.

Эти глаза уже небу принадлежат.

А на земле—парад физкультурников. Их десятки, сотни, тысячи. Идут и идут. Накатывают ряды! Это морские валы. В руках у них широкие, как небо, плакаты: *«Мировая победа СССР!», «Победа будет за нами!», «Вперёд, к победе!»*.

Грамотно написал по-русски Родригес. Какой-нибудь русский парижанин помог.

За спортсменами—башня Эйфеля. Её призрак. Костлявый. Чёрный. Ржавый. Каминная чугунная кочерга над Парижем. И горящие звёзды ворошит. Крутит угли горящего неба. На земле сгорают тела. А в небе—души.

Налево от башни—тонкая чёрная труба. Высоко—дыма чёрная птица. Бараки внизу. Лагерь, где голодные люди живут, чтобы сгореть в огромной печи. Дым валит из трубы. Это люди горят, люди. А может, тряпичные куклы? Вместе с дымом они улетают в широкое небо.

Толстый Черчилль, с сигарой в зубах, скалится весело. Что-то смешное ему рассказали на ухо. Подобострастно гнётся мальчик в жабо, лакейски. А может, это официант в ресторане угодливо спрашивает: не желаете ли, мистер Черчилль, русской туруханской селёдочки на закуску к обеду?

Хитрый лис Рузвельт тянет длинный нос. Дюжий Муссолини тяжёл и грузен, цирковой силач. И верно, он в цирковом полосатом костюме. Рядом с ним юный фашист, со свастикой на рукаве, держит в руке за шкирку орущую кошку, расстреливая её из пистолета в упор.

На земле—сотни расстрелянных кошек лежат.

Зверей убивают; а ведь звери—тоже люди.

Женщина, видя эту бойню, кричит, упав на колени. Её волосы чёрным флагом бьются на ветру. У её ног лежит мёртвый ребёнок, младенец. Или это белый котёнок с мордой в крови?

На головы владык полумира и безвестной, кричащей во всё горло несчастной матери—из распахнутых самолётных люков бомбы, бомбы летят.

Бомбы. Их много. Они формой напоминают баклажаны. Земля притягивает их, и они падают.

Там, где упали бомбы—земля раскрывается чёрным испанским веером.

Колючая проволока обвязывает белые зимние поля, обнимает.

За колючками—люди. Их много. Их очень много, не сосчитать. Из-за проволоки они тянут руки на волю. Чёрные вороны кружат над белым снегом. Они замерзают, люди. Им нечего есть. Они кричат тем, кто на свободе: зачем вы это сделали с нами?!

А те, кто на воле, не слышат.

Они стоят за праздничными столами, берут со столов руками куски сыра, тарталетки, бутерброды с икрой, бокалы с вином и шампанским. Пузырьки играют в бокалах. Люди пьют и едят. Жуют и опять пьют. Заталкивают пальцами тарталетки в хохочущие многозубые рты. Пьянеют. Песни орут. Им хорошо.

Рабочие в заводском цеху, мрачные, с тёмными лицами, ловко ловят грубыми, квадратными руками слетающие с конвейера снаряды. Они производят, шлифуют и ловко ловят смерть.

Где ты, смерть? На земле? В небе?

На коне—командир. Галифе, и мундир в орденах, и конь гарцует под ним.

Широкая степь разостлала ковыльный ковёр. Конь летит по дымящимся ковылям. В командира стреляют, и падает он с коня, и царапает воздух мёртвыми пальцами.

Ленин тихо спит в прозрачном, хрустальном гробу в Мавзолее.

Огни горят, подсветка выхватывает из мрака белую страшную дыню лба, маисовый початок мёртвого носа, горошины мёртвых закрытых глаз. Тихо! Он спит. Не будите.

А как же он встанет на Страшный суд, если он—не в земле?!

Маленькая серебряная мышь сидит около хрустального гроба, умывает хилой лапкой хитрую мордочку.

Громоподобный Шевардин на оперной сцене, высоченный, худой и страшный как чёрт, поёт арию Великого Оперного Чёрта. Не влезай в шкуру чёрта, актёр! Рано умрёшь. Ты мало и плохо молился, друг. Что толку в чёрной икре, если сожгли тебя чёрные думы?

А партер—весь мир: у ног твоих.

Справа от Шевардина—белый рояль, как белое зимнее ледяное озеро; за роялем—пианист. Не стреляйте в пианиста! Он играет как умеет.

Толстый китаец в защитном комбинезоне орёт в картонный рупор. В толстой руке, как в зверьей лапе,—красная книжка. Он орёт на ветру слова из красной книжки. Он цитирует Вождя.

Самолёт летит над китайцем, и бомбы сыплются из самолёта, из железного брюха.

Белый лайнер взрезает океанскую синь. Надвигается айсберг. В салоне танцуют, звучит нежный рэгтайм. На носу, у бушприта, молоденькая парочка целуется взасос. Никто не чувствует удара. Пробоины не видно. Все веселятся—ведь корабль непотопляемый.

Капитан на палубе тоже орёт в рупор, как тот краснолицый китаец. Тщетно! Никто не слышит. Он кричит—можно прочитать по губам: «Я покину тонущий корабль последним!»

Это твоё личное дело, капитан, улыбается стриженая девица, выглядывая из-за плеча партнёра в гибком па новомодного танца. И трясётся, дрожит густая чёрная чёлка, когда девица мелко перебирает ногами.

Ах, танцы! Балетные девочки, белые пушистые гусята, вон они тоже танцуют, смеются, встают на пуанты.

Наверное, это русские девочки. Опять русские. Как их много в Европе.

Русский царь с русской царицей, со всею расстрелянной в затхлом подвале семьёй золотым призраком парит над кремлёвскими красными башнями, над горящими красными звёздами, рубинами, турмалинами, сгустками крови.

А внизу—под крыльями расстрелянных ангелов—жара, и пыль, и арены песок, и коррида: бык победил, а тореро умер. Убит! Бык торжествующий обмакнул рог в лужу крови на жёлтом цыплячьем песке.

Сейчас налетят вопящие люди, убьют быка. Вонзят ему под рёбра длинные ножи. Но это неважно. Он победил!

Он за всех, за всех быков отомстил—одному человеку.

Плачет над выведенной в тетради формулой беловолосый учёный. Молодой, а волосы зимние, седые. И седые усы. Это формула гибели, и он сам вывел её. Сам придумал. Угадал замысел Бога. «Нельзя!»—кричали ему.

И вокруг седого физика в кургузом пиджачишке—взрывы, серые громадные грибы, до самого Солнца встают.

И прекрасная мексиканка, в пышном платье с морем слепящих и ярких оборок, запрокинув голову, из горла мощной бутыли пьёт текилу—жадно пьёт, смело, пьёт как мужик, пьёт—как поёт, как танцует,—о, да и правда пьяная, нежно, плавно танцует уже, держа себя рукой за грудь.

И Сталин курит, курит трубку.

Что? Сталин опять курит трубку? Бессмертный?!

Круг замкнулся. Это замкнулся круг.

Это Игорь обошёл кругом, задравши голову, и шея ныла, болела, подкупольную могучую фреску Доминго Родригеса; и понял, что художник написал то, что знал, и то, чего не знал; то, что видел и слышал, и то, чего не видел и не слышал никогда.

А что под куполом? В самом зените?

Ещё сильнее закинул голову. Выгнул шею.

Обратился в неподвижную, изломанную кукольником куклу. Кадык торчал деревянно. Глаза застыли.

Глаза вонзились в последнюю фреску.

И он увидел:
перед всеми — надо всем — над пространством и временем — танцуют Двое, мужчина и женщина, в вихре страстного, наглого танго. Оба голые. И сверкает нагота.

Они танцуют танго.

Перед крестом Иисуса.

Перед улыбкой каменного Будды.

Перед ночным полумесяцем Аллаха.

Перед флейтой чёрного грязного Кришны.

Перед всеми танками — самолётами — серпами — тракторами — кораблями — дирижаблями — бомбами — взрывами — трупами — тюрьмами — голодом — снегами — метелями — океанами — флагами — пулями — постелями — могилами —
танцуют Двое
своё бессмертное танго:
он — красавец,
она — красавица.

Глава двадцать седьмая и последняя

У него был выбор: быть с Сопротивлением — или служить немцам.

Вернее, у него не было выбора.

И он выбрал третье. Хотя третьего, как известно, не дано.

Он бежал с корабля, что уже валялся, затонувший, на дне.

Он бежал из Франции.

Заключил контракт с Голливудом. Его ждала новая работа. Ждали новые фильмы. Новый Свет? Отнюдь не нов для него. Он там жил; он знает обычаи обеих Америк; он даже соскучился по нему, так, немного.

Билет на пароход ему купил Виктор Юмашев.

Виктор помог ему сделать паспорт.

Из Франции уезжал не знаменитый киноактёр Игорь Конефф.

На борт океанского лайнера «France» медленно поднимался, в толпе пассажиров, блондин с оливковой кожей, с тонкими изящными усиками, в безупречно белом смокинге. В кармане лежал паспорт на имя испанца Гильермо Рикардо, учителя модных танцев.

Танцы. Снова танцы. К чёрту танцы.

Немцы дотошно проверяли паспорта. Трудно выехать из зоны оккупации.

Но обаятельная белозубая улыбка! Но три баночки русской чёрной икры, волшебной «Caviar russe», что так предусмотрительно засунуты были в Париже в добротный, из черепаховой кожи, кейс!

— Вы испанец?

— О да. Но я так давно живу во Франции, что готов считать себя французом.

— У вас разрешение на иммиграцию в Соединённые Штаты Америки. Вы намереваетесь остаться в Америке?

— Я обожаю Испанию!

Опять улыбка до ушей.

— Чем вы собираетесь заниматься в Нью-Йорке?

— Я? — улыбка ещё безоблачней, ещё ослепительнее. — Тем же, чем и всегда занимался! Оп-ля!

Игорь повернулся выгодно, умело в профиль. Таможенники, со свастиками на рукавах, выше локтей, изумлённо таращились. Откинулся назад. Ногу в колене согнул. Чуть приподнял над полом. Чёрный узконосый башмак, ярко-красный носок, белая штанина. Повернулся вокруг своей оси — так мгновенно, что только ветер опахнул лица портовых чиновников. И ещё па. И ещё! Лица вытягивались, рты открывались.

Игорь танцевал перед таможенниками.

Танцевал блестяще. Как никогда.

О, он ничего не забыл. Ни техники. Ни широких махов ногой. Ни изящного, вкрадчивого шага.

Он опять танцевал танго. Сам с собой.

Округлял руки. В руках он держал воздух. Он гнул воздух, вертел. Откидывал и поднимал. Крепко прижимал к себе, к груди и животу. О, танец с воздухом может быть так же сексуален, как и с живой женщиной.

Таможенники улыбались. Прищёлкивали пальцами. Немцы? Французы? Свастика равняет всех. В очереди мялись люди, мрачно глядели, ждали.

Оттанцевав, Игорь шутливо раскланялся.

— Я — учитель танцев! Этим и интересен. В Нью-Йорке я думаю давать сначала мастер-классы, потом открыть свою школу!

Гитлеровец шепнул на ухо товарищу:

— Клянусь, я эту продувную рожу где-то видел. Чуть ли не в синема.

Поднимаясь по трапу на корабль, Игорь чувствовал на себе долгие, тяжёлые, липкие взгляды. Бред. Они сидят в своей таможне. А корабль — вот он, колышется на ультрамариновом масле волны. Сейчас он поднимется на борт, и баста. И всё. Его уже никогда не расстреляют. Не будут пытать в вишистской тюрьме. Переодетые чекисты не будут стрелять в него на ночных улицах. Ничего этого не будет. Ничего этого уже нет.

Нет!

«Слышишь, Бог, ничего этого нет».

Он отёр со лба пот рукой в белой лайковой перчатке. Прошёл в свою каюту. Дверь ему открыла хорошенькая горничная. Он ущипнул её за упругий зад. Девушка ускользнула. Он лёг на кровать. Всё роскошно, в кружевах, нежные пряные запахи исходят от белья. У него билет в первом классе. Всё хорошо. Всё хорошо, слышишь?!

Вытянулся на кровати в туфлях. Закинул руки за голову. Лаковые носы туфель тускло блестели. Под потолком горел ночник. Стаканы на столе, на подносе, слегка позванивали—судно набирало ход.

Прошлое оставалось за кормой.

Россия, Аргентина, Франция. Война. Любовь. Ковёр узкого глупого подиума. Пялься, пялься на модную одежонку, жадная публика. Ворохи одежд сгорают в печи времени. Зачем жить? Чтобы есть, пить, одеваться? Чтобы однажды умереть, широко раскрыв глаза от последнего удивленья?

Все мы живём на свете миг. И когда умираем—узнаём тайну.

Только некому вернуться, чтобы её всем рассказать.

Он так и уснул на кровати, не раздеваясь,—в туфлях, в смокинге.

Опять путь. Корабль. Море.

Опять огромные, до неба, океанские валы, чернь, синь, ночь, и звёзды осыпаются детскими ёлочными блёстками в чужую холодную бескрайнюю воду—как жизни чужие, как судьбы. Что жизнь? Миг один. И сорвётся звезда. Упадёт в ледяной ночной океан. И забудут её. Горела когда-то. Умерла. Утонула.

Корабль поднимается вверх и падает вниз. Волны играют им, железным детским мячом. Вверх-вниз—это как в любви. Это как нянчат ребёнка. Вверх-вниз—это как в мире: то мир, то война, и нет конца паденью и взлёту.

Не спалось. Игорь всунул в зубы сигарету и вышел на палубу. Из открытого окна каюты доносилась тихая музыка. Человек играл на скрипке. Хорошо играл. Игорь улыбнулся, держа сигарету в зубах. Чувствовал себя тореро, выигравшим корриду. Эту корриду; здесь и сейчас. А что будет завтра? Зачем думать о завтра? Завтра нет. И времени нет.

«А может быть, и нас всех нет. И меня нет тоже».

Развернул шире плечи. Осанка. Надо всегда быть прямым. Всегда.

Танцор прямой как палка, он не горбится никогда. Тореро прямой и гордый! Бык боится его выгнутой гордой груди, расшитой весёлым золотом. Пиджачок-фигаро, и алая мулета, и танец со смертью.

Хватит. Танец со смертью ты уже станцевал. Ты хочешь жить—и хочешь жизни. У тебя прекрасные предложения от студии «Columbia Pictures». Ты сразу примешься за работу. Надо только добраться. Чтобы утлая, ржавая эта скорлупка допыхтела до нью-йоркского порта, до позеленелой на горьком океанском ветру статуи Свободы. Чтобы удачно проскользнуть мимо всех на свете злобных таможенников. Ему не впервой. Он удачливый вор и проныра был всегда. Всегда.

Чиркнул колёсиком медной зажигалки «Handy». Стоял, широко расставив ноги, на солёном ветру, и ветер трепал, мотал его широкие белые чесучовые брючины. Душистый, ароматный табак. Ольга любила такой.

Корабль взмывал и падал в черноту, в солёную слёзную бездну. Звёзды прекратили осыпаться. Теперь они мёрзло, ледяно, неистово, ровно горели в зените и у горизонта, намертво вбитые в чёрную твердь. Игорь ухватился за релинг. Ладони заскользили по мокрому, гладкому и холодному. Корабль—живой, это стальной зверь, его родили люди в усладу, в удобство себе.

Не подведи, зверюга. Не утони.

Он прищурился, стараясь рассмотреть в прозрачной дали айсберг. Белые горы медленно плыли, далеко, далеко,—белые, страшные, мёртвые лебеди. Сердце, кровавый комок. Зачем вспоминать? Лучше жить, просто жить. Вперёд всегда лучше смотреть, чем назад.

Люди, звери, дети, старики. Бабы и мужики. Чёртовы куклы. Божьи—куклы.

Скрипка пела, резала нутро на части. Он выплюнул в океан сигарету, как оглодье солёной рыбы. Вернулся в каюту. Зажёг настольную лампу. За эти годы он привык думать то по-испански, то по-французски. А тут голос по-русски внутри него мерно, протяжно пропел:

«Несть большея любве, аще кто положит живот свой за други своя».

Женское дыхание ощутил на щеке. Голос исчез.

— Анна,—выдохнул.—Я помню.

И мысленно добавил: «Господь тебя спаси и сохрани».

Спектакль окончен

Куколки, куклы мои.

Актёры-куклы из картонной коробки.

Я переставляю вас. Я двигаю вами. Вы двигаетесь сами, но это лишь кажется мне.

Моя фантасмагория. Моё кино. Мой театр. Мои забавы. Мои выдумки.

Мои дивные куколки, и коробка вам маловата—да нет, в самый раз.

Вы сами, сами идёте навстречу мне!

Не надо дёргать за нити. Вы сами.

Что ты хочешь мне сказать, сиротка, куколка моя? Тебе душно? Костюм жмёт? Давит? Не рви во́рот. Не умирай. Сейчас я разобью окно и впущу живой воздух.

Я вижу вас, куколки, на улицах и площадях моего игрушечного города. Он так мал, что умещается весь, целиком, в коробке моей.

И горят, горят крохотные свечи: не свечи, а спички.

Мои люди, мои милые куклы, я долго, целую жизнь, переставляю вас, меняю местами; вы то здесь, то там; неизменны лишь ваши лица, ваши

нарисованные глазки, ваши яркие красные рты, ваши аккуратно сшитые ручки и милые маленькие ножки в обуви меньше лепестка.

Трудно быть кукольником. Куклой — ещё труднее. Милые маленькие актёры мои! Вы довольно потрудились. Сейчас я погашу весь свет. Задую все горящие спички. Ах, быстро они прогорели. Я уложу вас спать на кроватки из конского волоса, в гамаки из паутины. Русские, французы, японцы, немцы, аргентинцы, индусы, алжирцы, китайцы. Что вам весь мир, когда у вас есть мой волшебный ящик! Коробочка чудесная моя!

Ну всё, всё, успокойтесь. Успокойтесь. Комедия окончена. Игрушечный занавес упал — кусочек красной бархатной старой тряпки. И вас закрыл от чужих любопытных, надоедливых глаз. Никто не будет хлопать в ладоши. Никто не будет свистеть и кидать в вас тухлые яйца, солёные помидоры, богатые конфеты и нищие корки хлеба. Милые куколки мои, отдохните. Я с вами.

Правда, мы построили в волшебной коробке хороший Париж? Представили публике дивное, забытое время?

А теперь не грех и поспать. Одеяльцами — лоскутами царского атласа и бедной фланели — укрою. По косам, из пакли клеенным, поглажу; по щёчкам марлевым; по лысинам деревянным. Спите, родные. Спите, детки мои. Я спою колыбельную вам.

Русскую колыбельную — изящным куколкам французским; мне их подарили, вместе с коробкой, когда-то в Париже — на русское Рождество, и теперь я в них всё играю, играю.

Котик, котик, коток… Котик, серенький хвосток! Приди, котик, ночевать… моих деточек качать… Я тебе, тебе, коту, за работу заплачу: дам кусок пирога… и стакан молока…

ДиН стихи

Игорь Панин

От любви до ненависти и обратно

● ● ●

От любви до самого до
перекроя,
не зароешься в Магадан
или Трою.
Не проскочишь выкидышем
вниз по трубам,
осязая взбрыки в душе,
тёплым трупом.

Получай заслуженные
корчи, муки;
смело жертвуй суженую
в дар науке.
Не стыдись положенного
в лучшем виде;
если завлекло в жернова —
гадом выйдешь.

И греби — да гад ли? — в у. е.,
сколько надо.
Казачки́ догадливые,
всю браваду
на войне-волне отв(н)ести
был бы рад, но…
От любви до ненависти
и обратно.

Поминки

И вроде бы сыт и здоров,
не время хандрить.
Без сахара — чистая — кровь,
не вяжет артрит.
Но, словно преступник, иду
на смерть поглазеть
и выблевать чью-то беду,
забившись в клозет.

Что слышится в стоне чужом?
Неясный звонок?
И вьётся мой страх не ужом —
гадюкой у ног.
Смиренно сижу за столом,
внимаю речам.
Напротив меня остолоп
навзрыд закричал.

А делает дело своё
размеренный хмель…
Помянем! А там и споём,
как *мёртвый* умел!
Стопарик поставлю на шёлк,
допив до конца.
…А сам до сих пор не нашёл
могилу отца.

Паук

Влагой насытился грунт,
дождь не стихает пока.
Через тринадцать секунд
я раздавлю паука.

Ядрами капель побит,
он на террасу заполз,
держится цепко за пол,
не вспоминая обид.

В чём-то похож на меня,
этот мохнатый урод:
то в полымя из огня,
то ровно наоборот.

И надо мною завис,
может, булыжник какой,
миг — и послышится свист…

Господи, ты не гневись,
душу его упокой.

Марех Кезуа

На планете Марих

Перевод с грузинского языка Владимира Саришвили

● ● ●

Только мы — мы вдвоём — на планете Марих[1] обитаем,
И отсюда Земля вверх тормашками видится нам.
Солнце жарче для нас золотыми лучами пылает,
Блики-зайчики бегают по пробуждённым росткам.
Платье сшито из ветра, как стрелки часов — мои руки.
В день любви ты собрал эти звёзды, меня увенчав.
В день спасения я соткала тебе рифмы — поруки
Неизбывного счастья, немеркнущих добрых начал…
«Вместе мы на века», — вязью я вывожу золотою,
Светлой солнца тропою к мечтаний идём шалашу.
Я из чувств для тебя угощенье на славу устрою,
Из любовных признаний — я ими живу и дышу!
Жажду я утолю из источника дивной отрады,
В колокольне луны мы молитву с тобой вознесём,
А потом я станцую «Джейран» — ради пущей услады,
Или облачко-мяч погоняем по небу вдвоём.
Статной яблоней я обернусь — ты поддашься на хитрость.
Ты попробуешь плод золотистый, его ты вкусишь,
А потом — посмотри, как пространство вокруг изменилось,
Солнце, ревностью ты изошло, всё бурлишь и кипишь…
И луна этой ревности ядом ужалена метко,
И отравлены радости годы, и рухнул шалаш,
Никнут звёзды небесные, словно бы соколы в клетках,
И растаяла сказка любви, сон развеялся наш…
Мы вернёмся на землю, исчезла небесная радость,
Мы вернёмся туда, где царуют обманы и грех.
Только райского счастья планета осталась, осталась,
И живёт она в имени, в зове рассветном — Марех…

1. Марихи — Марс *(груз.)*.

Ева

Я—
Плоть еворождённая,
Я—
Дева.
Бурлят, клокочут искусы во мне.
Я—Ева.
Шипение змеиное пронзает
Чрево
И сладко шепчет:
Ты—начал начало,
Ева.
Ты—первая из первых,
Ева.
Встань предо мной и повторяй,
Как заклинанье повторяй
И как молитву повторяй:
Я—первая из первых,
Ева.
Листвой желаний покрываюсь я,
Как древо…
Луны, плывущей в небе, сторонюсь.
От Бога где укроюсь, утаюсь?
Нет в зарослях убежища. А может,
Кривое зазеркалье мне поможет?
Я—лик еворождённый,
Плоть.
Я—Ева.
Я—одиночеством изгложенная
Дева.
Желания, змеясь, к луне устремлены
И в бледности её отражены.
Я в душу душной ночи погружаюсь,
Ева.
Проснувшаяся страсть моё пронзает
Чрево.
Как тяжко расставание с порой
Беспечной.
Такой наивною, такою быстротечной…
Я—плоть еворождённая,
Я—дева,
Я—солнце живородное,
Я—солнце,
Ева.
И в том, что я теперь—лишь только
Половина,
Адамово ребро
Одно—
Повинно.

• • •

Зачем называете вы меня человеком?
Ведь мне даровано имя морской богини,
А человеческую маску я ношу,
Чтобы не превратиться в карлицу,
Такую же, как вы.
Разве вы не замечаете на мне
Чешую цвета ржавчины?
Я покрываюсь ею каждую ночь;
Плоть моя жаждет воды,
Сохнет и корчится в муках,
И тайная страсть увлекает тело моё к волнам.
Послушайте меня, как морскую раковину,
Я—душа океана. Я—бурливый прибой.
А на земле жабры мои потрескались,
Но я должна, я должна выдержать…
Море родилось из слёз моих,
Я подарила ему лазурь души,
А теперь оно взвывает валами
На побледневшую луну,
Будто исцеляет её от боли одиночества.
Я вырвана из моря с корнями, и корни горят на суше.
Как жаждет море вновь погладить мои волосы.
Осколки снов моих покоятся в его глубинах,
И это—зеркала, отражающие весь мир.
А вам и неведомо, что богини любят богов
И что я потеряла земного бога
С глазами цвета морской волны,
Который прячется под маской безликого горожанина,
И только к концу сна
Является он во всей красе
И растворяется в пространстве.
Как же мне опостылело
Глазеть на людской муравейник…
Не могу я смириться с его суетой, и, в углу притаившись,
Словно в рот набрала я воды и зашила вдобавок,
И стояла у брега морского и сердцем взывала
К незнакомому богу земли, что потерян. Потерян…
Зачем называете вы меня человеком?
Ведь мне даровано имя морской богини,
А человеческую маску я ношу,
Чтобы не превратиться в карлицу,
Такую же, как вы.

Жду расцвета зари, и когда ты отправишься в путь,
Не позволит тебе тень волос моих сбиться с тропы,
Мой желанный! Кострища сгоревшего мёрзлая суть—
Ныне жизнь моя в маске засыпанной пеплом луны.
Я скрываю лицо за коралловым рифом. Душа,
Сбереги для него и ветра, и ненастные дни,
Чтоб потом развернуть их, как радугу, и не спеша
Шить рубашку из ливней. (Спаси его и сохрани!)
Жду расцвета зари. И на краешке алых небес
Вышью флаги, горящие неугасимым огнём.
А покинешь меня—значит, века куражится бес,
Значит, рок не судил нам желанного счастья вдвоём.
Солнце в спячке, в берлоге своей. Хочет выбраться, но
Только жаркий раскроет бутон—снова гаснет впотьмах.
И любимый мой берег морской, одинокий давно,
О спасенье твоём молит Бога, как чёрный монах.
Ветер холодом дышит и тенями кос смоляных
Шелестит. И взрывается время в утробе луны.
Беспричинный огонь пробегает во взорах моих,
Лабиринты усталого тела печали полны.
Ожерелье таинственной грусти собрал ты моей,
Осторожными пальцами выложил жемчуг на свет,
А в глазах твоих—зелень лугов, и цветов, и полей,
Но подсолнухи глаз моих вешний укроют букет.
Жду расцвета зари, и когда ты отправишься в путь,
Не позволит тебе тень волос моих сбиться с тропы.
Мой желанный! Кострища сгоревшего мёрзлая суть—
Ныне жизнь моя в маске засыпанной пеплом луны.

ДиН ревю

Сергей Кузнечихин

С точностью до шага

Красноярск: «Семицвет», 2012 г.—260 с. Тираж 100 экз.

Тридцать лет назад рукопись с таким названием я отослал в «Современник». Очень хорошо помню волнение и радость, когда увидел её в планах издательства. Но намного острее помню тяжелейшее разочарование после вёрстки, запоздалой, когда уже ничего нельзя было изменить. Редактура была настолько жёсткой, что некоторые стихи казались чужими. В одном стихотворении из двенадцати строк нетронутой осталась лишь одна, а заглавный цикл был полностью выброшен. В те годы ещё присылали авторские экземпляры. Но покупать книжку для подарков я не стал. Дарить такие стихи было стыдно. Составляя этот сборник, я включил, наряду с новыми, почти все стихи из той рукописи. И оставил прежнее название.

Сергей Кузнечихин

Абзагу Колбая

Шрам от слезы

Автопереводы с абхазского языка

Прошу тебя

Не трогай больше мои чувства,
Хватит и того, что ты сделала с моей любовью.
Не жги меня своей красотою,
Прошу тебя об этом.

Прошу тебя и ещё просить буду
Проходить мимо, не приближаясь ко мне.
И я сяду в свой корабль
И больше не буду причаливать к твоему берегу.

И пускай птицы в твоих мыслях
Проносят тебя по всему свету.
И вдруг увидишь ты меня, печального,
В попытках забыть тебя тайно.

● ● ●

Сможем ли мы убаюкать ночь
С тобою сегодня вдвоём?
Звёзды сгорят, или месяц споёт,
Глянув с небес к нам в дом?

Вдруг она зайцем от нас ускользнёт,
Спрячется где-то в лесу.
Или мы ночь эту в руки возьмём,
Утром обманем росу.

Может, мы с сахаром выпьем её—
Чёрную ночь—чёрный кофе…
Но только,
Выливши врозь нашей гущи остатки,
Сможем ли так же мы утром расстаться?
Неужели мы сможем?

Мой путь

Мы вышли из горящего пламени,
Стремительный конь мой и я.
Перешли с ним седые горы,
Он скалы, холмы рассекал.

Но путь мой все тянется выше,
И думы остаются на бумаге.
А песню я начал с надеждою,
Которая не сгорела в том пламени.

Юное утро

Юным было утро, молодым,
Я шёл в зелёном поле.
Оттуда поднял глаза к солнцу,
И оно взглянуло на меня ласково.

Цветы вокруг меня встряхнулись,
Капельки росы с себя стряхнули.
Птицы, пролетая, спели нежно,
И печали мои со мной расстались тут же.

Моё небо

Небо переливается через край
В моём стакане.
Я пробую его сладкий вкус,
Похожий на молодое вино.

Луна в середине сияет,
Упав в мой стакан с небом.
А рядом звёзды зажигаются—
Это слёзы из глаз моих упали.

Но держу я крепко свой стакан,
Чтобы он вдруг не помутнел.
Я сдуваю поверхность неба,
Чтобы увидеть образ любимой моей.

Буди меня во сне

Открой моё сердце, как книгу
У тебя в руке.
Расстегни, как пуговицу
На груди своей.

Если стану камнем я
Там, на берегу,
Ты лишь изучай меня,
Слышать не смогу.

Позволь мне лишь в глаза твои
Разочек посмотреть,
Когда лучом рассветным
Я на твоей щеке
Сыграю.
Буди меня во сне.

Ветер

Ветер играл на макушках деревьев,
Ветки бросал друг к другу.
То, как конь необузданный, вырывался,
Со всей силой кидался на скалу.

Вдруг он взвыл, как зверь,
Будто хотел прыгнуть на землю.
Но, в одночасье утихомирившись,
Сиротой пустился, еле дыша, в свой путь.

Без единого звука
Он перевалил за холмы
И взбунтовался не на шутку,
Устав от простой игры.

Не удаляясь совсем,
Он переполошил всё поле.
Затем, не сказав куда,
Он ушёл так же внезапно,
Как и появился.

День и ночь

Я натягиваю тетиву утра,
Изогнутого лука-дня.
Доброго солнца лучи
Пускаю стрелами в слепую ночь.
И они в своём полёте
Достигают самого неба,
Чтобы оттуда осветить землю.
А я краду ночь, ведь пора натянуть её тетиву.

Пока ты была во сне

Спала ты тихо, сладко,
Но вдруг подул сильный ветер.
Деревья, на которые он нарывался,
Расставались со своей листвой.

Затем он подул на твоё окно
И растворил его настежь.
Тут же ты содрогнулась от шума
И проснулась.

Залетел, как конь, он к тебе.
И ты его ощутила
Не только кожей,
Но и своей одинокой душой.

Ты тихонько присела,
Ещё боясь холодного ветра.
Но тут он принёс тебе листочек,
Совсем бездыханный.

Спаси ты этот листочек,
Возьми в свои нежные руки.
Знай, там хранится душа
Твоего верного друга.

Моя судьба

Плывут и дни, как волны,
Исполняя свои законы.
И, словно лодку, меня несёт
Моя судьба по ним.

Не знаю ещё, куда приведёт
Меня моя лодочка-судьба.
Не знаю ещё, смогу ли я
Оставить след в дневнике необъятного моря,

Пока моя лодка не постареет, ведь
Ничьей ещё не удавалось здесь остаться навсегда.
Кто-то раньше, а кто-то позже—
Вот в чём отличие судеб человеческих.

Плывут и дни, как волны,
Исполняя свои законы.
И, словно лодку, меня несёт
Моя судьба по ним.

● ● ●

К А. Ф.

Я, как младенец, бессилен,
Если услышу твой голос.
Бросит душа моё сердце
В день, когда ты меня бросишь.

Ночью беззвёздное небо,
Если ты мне не приснишься.
Ты—словно чудо рассвета.
Верь, без тебя мне нет жизни.

Ручей

Вода, пробиваясь сквозь камни,
Как дитя малое, сердится.
И без малейшего страха—
Вниз, об скалу разбивается.

Жизнь так, едва зародившись,
Всё движется прямо к свету,
Чтобы спасти вновь пришедших,
К смерти готова, как к лету.

● ● ●

К А. Ф.

В море упала
Слезинка твоя.
И перестало
Оно штормить.

Я позабыт,
Ты к другому бежишь.
Но на щеке твоей
Шрам от слезы.

Время раздумья

С рассвета я поднимаю молот
И «кую» им свои мысли.
Затем строку на бумаге
Купаю в лучах солнца.

На закате я также вновь
Орудую своим молотом.
Не считаясь со временем раздумий,
Придаю им новую жизнь.

Так поочерёдно, не сталкивая,
Время проносит дни и ночи.
И верю я своим мыслям
Так же, как и своей душе.

● ● ●

Тихо-тихо тает снег
На высокой той скале,
Каплет талая вода—
Мной пролитая слеза.

Вижу я: как и всегда,
Жадно пьёт её земля.
Так во времени пройдёт
Мной за жизнь пролитый пот.

Мне девятнадцать

Молод я, молод,
Мне девятнадцать.
Похож я на ветер,
Но это на время.

В зените юности
Сейчас я живу.
Но вижу: всё ближе
Подходит и зрелость.

А пока весна ещё рядом,
Смотрю ей в глаза.
Станет трудно—я знаю,
Что с летом
Встречусь тогда.

Путь мой далёк,
Конца и не видно.
А молодость вокруг
Прихорашивается
Для меня одного.

Молод я, молод,
Мне девятнадцать.
Похож я на ветер,
Хоть и на время…

Для тебя

Нежнейшие из слов твоих
Согрели моё сердце.
Легчайший из шагов твоих
Забрал и мою душу.

Тепло твоих лучистых глаз
Глубоко в моём сердце.
Украл я светлый день для нас,
Не хлопая и дверцей.

В одну из всех надежд моих
Случайно ты нырнула.
В одном из рукавов твоих
Найди меня, прошу я!

Строки, летите!

Пойте вы, строки,
Летите вперёд!
Пусть ваши звуки
К народу дойдут.

Крылья вам дал я,
Летите быстрей
Ввысь,
Догоняйте
Взрослых, детей!
Правду ищите
И доброту,
Зло порицайте,
Дам высоту.

Вы усмиряйте
Младенца в слезах,
С речью родной
Чтобы он засыпал.
Пойте и тем,
Кому горе пришло,
Чтобы оно
Поскорее прошло.

Ну же, летите
Без устали вдаль,
Снова по-новому
Пробуйте жизнь.
Долго живите
И после меня,
Пускаю вас, строки,
Пробуйте высь!

Валерий Иванов

Марсианское счастье

Волхова́

Из пучины морской поднялась Волхова́.
Вкруг чела—золотая молва.
В лебединые крылья упрятала боль.
Вновь любовь Ей пророчит прибой.

По чудесной ошибке я вышел на Свет.
Огляделся, а времени нет,
И поёт Волхова́ мне, улыбку тая:
«Милый мой, я твоя, я твоя!»

В этом сладком обмане тонул я не раз,
Но поверил опять в ясность глаз.
Жаль мне сказки волшебной и прошлого жаль.
Дева-лебедь… родная скрижаль…

Но как вышла из крыльев моя Волхова́,
Вкруг чела воспылала молва.
Может, пеплом утраты меня обнесло?
Иль завис надо мной НЛО?

Миг—и вспышкой исчезла во мгле меж светил,
И разлуку я вечной простил.
Пусть согреют мне сердце чужие края:
Ты моя,
      Волхова́,
            ты моя!

Локоны галактик

Без бубенцов, икон и заклинаний
В иную красоту вернуться смог:
Вновь в зарево межзвёздных расстояний
Влюблён сильней, чем в гул моих дорог.

Не зря ль поторопился я оплакать
И юность, и любовь мою, и кров?
Во тьме сияют локоны галактик
И сполохи соития миров.

Другой, далёкой верен метеорно.
Минуя грусть народов и вождей,
Привет передаю, с земным восторгом,
Её дождям от всех моих дождей!

От всех цветов, снегов и листопадов,
Воспетых и забвенных навсегда.
О скорость мысли! Луч родного взгляда…
И над её планетою звезда.

Миго-миг

С детства я время пытался поймать
И приручить, словно Феникс, но
Время журило меня, как мать:
«Шалость твоя пройдёт всё равно.
Миг, секунда, минута, час.
День, неделя, месяц, год.
Века проходят для временных вас,
Лишь бесконечность всегда у ворот».
Но я улыбался, играл и пел,
И пальцами звёзды сводил по ночам,
И красоту долюбить не успел,
И не поверил своим очам.
Сидел в печали и пил вино,
Как тот, на конце бесконечности, пил…
И повторял: «Всё пройдёт всё равно»,—
Ведь я за чужую любовь просил.
И за чужие утраты в тоске
Беспощадное время молил: «Уймись!»—
А сам уж качался на волоске,
Который зовут «непутёвая жизнь».
Вернулся из космоса через час,
А на Земле-то прошло сто лет.
И время, на век разлучившее нас,
Притворилось любимою—мне в ответ.
Здесь-то его и поймал я в горсть,
К юным губам навсегда прикипев.
Мой Миго-миг, мой чудесный гость!
Целую и слышу далёкий напев.

Заветное

Шелест берёз—словно трепет сердец.
Ласков лазурной тиши окоём.
В дымке ветвей ясно виден отец.
Мы ещё в мире осеннем—вдвоём.

Пахнет грибами и перьями птиц.
Вот он, подарок судьбы, Боже мой!
Лишь паутинки, касаясь ресниц,
Напоминают дорогу домой.

Будущий день отвожу я рукой…
Рядом отец—улыбается мне.
Вот что я вспомнил, объятый тоской,
Всех растеряв, в этом будущем дне.

Марсианское счастье

Под гимн «пингвинов» шагаю вперёд.
Гагарин мне машет с небес рукою.
Судьба горит, но прошу я взлёт.
Страна отвечает: «Взлетай над собою!»
Взлетаю, лечу, позади—шлейф огня.
Впереди—свобода, покой, озаренье.
Марсианское счастье глядит на меня—
То ли с восторгом, то ли с презреньем.
Но мне всё равно: я не бизнесмен,
Не политик и не толкач товара.
Любовь не купишь: я прошу взамен
Моё Отечество, любовь и гитару.
Союзник мой в жизни—не метеорит
И даже не злая футбольная бутса.
Уже не судьба, а душа горит,
Но русские—не сдаются!

Военный городок

Привет тебе, военный городок,
Вам, дети офицерские и жёны!
Да озарит звезда стальных дорог
И вашу жизнь, и ваши эшелоны.
В защитном цвете тайна есть одна.
Её всегда вы носите с собою.
Она—как после боя тишина,
Как после тишины команда: «К бою!»
Непосвящённым сути не раскрыть,
Хотя она не держится в секрете:
Как знать, где приведётся завтра жить,
Какую пыль глотать на белом свете?
Родные, как нужны вы мне, когда
За окнами вагона мрак и вьюга.
Вы там, где выбирают навсегда
Отечество, оружие и друга.
Вы там, где нет накатанных дорог,
Где Запад гарью делится с Востоком.
Восходит в ночь военный городок,
И звёзд уже не отличить от окон…

Капли дождя

Капли дождя на оконном стекле
Напоминают о давнем тепле.
Вновь за ладонью моею скользят.
Снова я чувствую пристальный взгляд.
Это прохожий глядит на меня,
Словно пришёл из далёкого дня.
Тот же поношенный плащик на нём.
Я—за окошком, а он—под дождём.
Не разглядеть, чья за окнами ширь.
Может, Германия—или Сибирь…
Но равнодушно гляжу из-под век:
Детство прошло—проходи, человек.
То, что не стал ты товарищем мне,
Лучше, чем служба грядущей войне.

Моя планета

Планета, коронованная льдом,
В твой сон попал я ненароком…
И до сих пор тоскую о Высоком.
Но где любовь моя и дом?
Опять всё под вопросом: эти сны,
Отечество, и жизнь сама, и воля,
Моё инопланетное подполье.
Бреду вдоль тьмы, как вдоль стены.
С тобою не познать вовек тепла,
Но сохраню твоё величье—
За всё, чего сумел достичь я,
Когда лишь ты со мной была.
А может быть, совсем не я, а ты
Мой сон однажды посетила?
Кто полюбил небесное светило,
Тому смешно бояться высоты.

Берлин

На дорожках парка—бурый гравий.
Ржавые качели были там…
Трое русских мальчиков играли
Возле хмурых танков по утрам.
В город,
За чугунную ограду,
Всё сильней манили нас пути.
Много ли ума мальчишкам надо,
Чтоб пролезть меж прутьев и уйти?
И такой момент мы улучили.
Ну а после,
Занятых игрой,
Нас нашли отцы и разлучили,
Не спросив,
С немецкой детворой.
Ехали, насупившись, в машине,
Строгостью отцов удивлены.
Мы не знали,
Что живём в Берлине,
В не прощённом
городе
войны.

Листопад

Опали листья в ранний снег,
Усыпав парки городские,
И никому печали нет—
С какого дерева, какие.
Иду по ним я, не спеша,
Забыв о времени и деле.
Полна спокойствия душа,
Её морозы не задели.
Но в светлой участи своей
Душе, как прежде, не резвиться.
Среди немеющих ветвей
Грешно и стыдно веселиться.

Сон

На детский плач деревья оглянулись.
И снова оказался я в плену
У маленьких глухих германских улиц,
Пославших к нам огромную войну.
Готическую сумрачность и стылость
Присутствие славянское ожгло,
Как будто *это* снова повторилось…
И хрустнуло оконное стекло,
И вздрогнула чугунная ограда,
Вдруг вспомнившая гусеничный лязг.
Хотел я успокоить их:
«Не надо!
Не бойтесь, нету дела мне до вас».
Но чьи-то судьбы вихрем налетели,
И воздух стал от горечи горяч.
Где Родина?
Где жители?
Ужели
Не слышали деревья детский плач?

Потоп

Океан нелюбви поглотил нашу твердь,
И на птицу вновь молится зверь,
Манит душу мою стооконный ковчег,
Только лишний я там человек.
Не спасёт он теперь и от пьяных-то слёз:
Жизнь бродяги зависит от звёзд.
Там, за гранью Вселенной, поёт Азорис:
Это Бог мой—решаюсь на риск.
Ничего, что в последний момент оглянусь:
Глубока допотопная грусть.
Не впервой пролетать мне с нагаром вины
Чёрных дыр просветлённые сны.
От потерь не по числам веду я отсчёт.
Потому так за грань и влечёт.
Пусть всё дальше уносит спасённых волной:
Чьё-то счастье—разлука со мной.

Родина

В рощах остуженных—робость дочерняя.
Кротко стоят облака.
Лишь поезда пролетают вечерние
Дальше—в иные века.
Я вспоминаю края, где над прожитым
Сродный мой высится дом.
Родина милая! Где же ты? Кто же ты?..
Может, узнаю потом.
Светится станция крохотной вехою.
Мимо гремят поезда.
Сколько уже их отсюда уехало…
Быстро—и навсегда.

Сигнал из центра Галактики

Я из центра Галактики принял сигнал
И твой голос печальный узнал,
Что когда-то просил о любви, а теперь
Поздравляет меня с Днём потерь.

Значит, ты в этом мире была не права…
Зря кружилась моя голова…
Поздравленье твоё опоздало на век:
Я не радуюсь как человек.

Обгоревшие мысли, обломки идей,
И Земля ненавидит людей.
Но всё ищет утехи отвергнутый род.
Расшифруй им хотя бы твой код.

Надо срочно с Земли улететь, но куда?
Путеводная сбита звезда.
Дух поэта-безбожника тлеет в дыре.
Тьма, как женщина, в самой поре!

Полыхает в груди предпочтение ей,
Словно не было страха святей.
Твой сигнал перехвачен—сижу в тишине…
На Венере… На кой она мне?!

Улыбнись мне

Деньги—у власти; обложенный данью
Дней, торгующих красотой,
С рублём в кармане, спешу на свиданье.
К заветной, к единственной, к той…

Русский путь, как всегда, заклятый:
За нищету прощения нет.
Но я богаче их, всех вместе взятых:
«Крёзов» ничтожных побед.

Улыбнись мне, как солнышко, сердцем та́я,
Я набираюсь могучих сил.
Люблю! Преклоняюсь! Ты—моя святая!
Бог за всё заплатил.

● ● ●

Мы—в разных вселенных. Пусть времени сеть
Опутала песню и душу,
Я все притяженья смогу одолеть
И клятву молчанья нарушу.
Твой холод на окнах не зря рисовал
Я даже горячим и юным
И, целясь в далёкий планетный овал,
До боли натягивал струны.
Мы в разных вселенных, но вечность одна.
Летай над моим мирозданьем,
Звучи в моих песнях, живи в моих снах.
Успеешь сказать: «До свиданья!»

Победа

Незащищённостью своею защищён,
Брожу среди предательства времён,
Медалей, барабанов и знамён.
Победа!

Мой взгляд, летя вперёд сквозь нищету,
Меж будущим и прошлым сжёг черту.
Душа парит в утратах, как в цвету.
Победа!

Вчера ещё другую целовал
И Родину хранил и воспевал—
Всё разметал судеб девятый вал.
Победа!

Сегодня побеждённым быть хочу.
Святой любви поставил я свечу.
Пусть мир, скорбя, молчит, но я кричу:
«Победа!»

Радость цвета

Не плачь, душа, под шум дождей,
А плачь под шорох звёзд падучих,
Чтоб грустной девочке моей
Не полюбилась твоя участь.
Мне в одиночестве позволь
Не знать, не слышать эти звуки:
Её растаявшую боль,
Мои замёрзшие разлуки.
Играть в соцветия комет
Я научил её беспечно.
Любовь проходит—счастья нет,
Но радость цвета в мире вечна.

Она

Что так гулко стучит моё сердце?
Иль сошла на меня благодать:
Словно Фениксу, в крылья одеться
Да над Родиной вновь полетать?
Я пленён синевой и обласкан.
Пусть прохладные пальцы твои
Наиграют мне древнюю сказку
О вернувшейся в юность любви,
Где утраты не властны над нами.
Хочешь—новый восторг выбирай.
Лишь холодными прошлым руками
Ты на сердце моём не играй.

Оглянись

Если нет любви впереди—
Оглянись.
Помолись на снега и дожди—
Бог есть мысль!

Если давит обид печать—
Оглянись.
Лишь забвенье умеет прощать—
Бог есть мысль!

Если в будущем тьма одна—
Оглянись.
Там Земля ещё чуть видна—
Бог есть мысль!

Если зеркалом вспыхнет даль—
Оглянись.
Всё равно не рождённых жаль—
Бог есть мысль!

Сашкин танец

Сашка вишню обойдёт.
Закружится, залучится
Лепестковый хоровод,
И по кругу жизнь помчится.

Ей вишнёвый нежный цвет
Вновь посыплется на плечи.
Ей всего семнадцать лет,
Но весенний танец вечен.

Сашка слышит дивный ритм—
Поднебесный, но родимый.
Горизонт судьбой горит,
Пепел мира—мимо, мимо…

Кем очерчен этот круг?
Кто жених такой невесте?
Меж ветвей и плавных рук,
Грусть моя, замри на месте.

Не хотел бы я насквозь
Пролететь её мгновенно.
Я—всего случайный гость
В её маленькой вселенной.

Пусть кипит вишнёвый цвет,
Обжигает наши плечи.
Нам всего сто тысяч лет,
Но весенний танец вечен!

Ли Чон Хи

В ожидании машины времени

Перевод с корейского языка Владимира Семенчика

Истинная поэзия похожа на цветок, прелесть которого невозможно объяснить и описать, а гармоничные пропорции нельзя измерить и воспроизвести. Именно поэтому я не стану в этом отзыве анализировать книгу Ли Чон Хи, а лишь расскажу о своих ощущениях от неё. Ощущениях человека, которому попало в руки семечко экзотического растения, он посадил его у себя на родине, в саду, и постарался вырастить прекрасный цветок, чтобы им могли любоваться жители его страны.

Когда я работал над переводом поэтических произведений Ли Чон Хи, мне то и дело казалось, что я взмываю высоко в синее небо и оттуда наблюдаю незнакомую, но близкую и понятную жизнь, полную удивительных открытий, переживаний, страстей и философских размышлений. Как человеку, воспитанному в европейской культурной традиции, знающему лишь кириллицу и латиницу, мне казалось настоящим чудом само иероглифическое письмо, которым написаны в оригинале стихи Ли Чон Хи. Красивые, загадочные письмена будили воображение: я вглядывался в них, пытаясь перевоплотиться в человека, записывающего свои мысли и чувства этой волшебной вязью. И когда удавалось настроиться на эту волну, русские слова перевода приходили сами, словно их кто-то диктовал. И это казалось таким же чудом, как рождение дивного экзотического цветка из созревшего бутона.

Искренние чувства не требуют перевода. Улыбка понятна всем, слёзы вызывают сострадание без объяснений. Лучшие образцы русской поэзии живут в народе именно благодаря искренней интонации в сочетании с глубокой образностью и мелодичностью поэтического языка. Мне радостно было осознавать, что одно из главных достоинств творчества корейского поэта Ли Чон Хи — как раз искренность, помноженная на ясную и глубокую метафоричность. Значит, его произведения будут близки и понятны русскоязычной аудитории.

В творчестве Ли Чон Хи есть главное — вещество подлинной поэзии. Его стихам и поэмам присуща особая восточная метафоричность, проникновенная мелодичность, доверительная интонация и мудрость глубоко верующего человека. Искренне рад, что моё скромное участие поможет русским читателям открыть для себя замечательного корейского поэта.

Владимир Семенчик, поэт, прозаик,
член Союза писателей России,
член международного ПЕН-клуба

Узы

Мы легко отвергли те времена,
Когда, мокрые от пота,
Взирали на звёзды,
И теперь мы так далеки,
Что меж нами летают птицы,
Словно обиженный зимний ветер.

Мы были довольны и липким запахом тела.
Но скребёт по спинным позвонкам ледяной цветок,
И чистый взгляд
Заслоняет крыльями чья-то тёмная тень,
Нарушая гармонию мира.

В день, когда мы, поднявшись на водопад слёз,
Стали островами, нам говорят,
Что всё это — узы…
Грустим об оставшихся днях.

Мальчики в ожидании машины времени

Вы ещё не забыты,
Как те, кого засыпала осень
Сухой листвой.

Вы стоите за чайной «Схамян»,
На перекрёстке, у кондитерской «Ариран»,
И смотрите на начальную школу «Чунан»,

Мечтая вернуться в свой шестой «В»,
Когда бегали голышом
По тёмному коридору возле девичьих классов,
И ждёте корабль, который увезёт вас в детство…

Вы давно уже выросли, но остались прежними,
Седеющие мальчики на склоне лет.

Огсун

Её губы дрожали,
И тонкая струйка крови
Текла по жёлтым зубам.
Она собирала с ресниц слёзы
И смазывала ими трещины на тыльной стороне ладони.

Из далёкой горной провинции,
Что в пятнадцати ли от материнского дома,
Который охраняет краснолицая хурма,
Вершиной достигающая неба,
Пришла Огсун в город,
С надеждой заработать приданое для свадьбы,
Преодолев в лаптях шестьдесят ли.

Как трудно было девчонке
Служить домработницей!
Она скучала по дому, затерянному в горах,
Где стоял горьковатый запах кипящих трав и кореньев,
Где она открывала плетёную дверь,
Выходила на тропинку и шла в гости к соседям.

Она долго-долго болела
И в конце концов ушла
По дороге, проложенной вдоль длинной канавы,
Откуда голубой зимородок
Улетел в поисках своей суженой.

Осколки жизни

Как описать судьбу,
Вспоминая один день?
Как разглядеть огромный дом,
Увидев единственное окошко?

Хватит ли мне слов,
Чтобы показать узоры,
Которые начертили осколки жизни?

Мой бедный словарь —
как щепка в бурной реке,
Видит пышные облака,
Огибает подножье дикой горы,
Переворачивается от боли,

Меж двух берегов
В водовороте времени.

Жду сумку

Где же бродит сумка,
Которую я жду?
Что же лежит в ней?

Веер!
Хочу, чтобы в ней был веер,
Который летним днём
Качался в руке бабушки,
И лёгкий ветерок от него,
Ласково скользя по животу,
Уводил меня в сладкий сон.

Где же бродит сумка,
Которую я жду?
Что же положили в неё?

Огонёк!
Хочу, чтобы в ней был огонёк,
Который зимней ночью
Плясал на угольках среди пепла,
Сторожил мрак в печи,
По которой постукивала бабушка,
И ждал моих родных,
Ушедших в гости к соседям.

Чонму

Во время Корейской войны,
В летние дни, когда и тень деревьев не спасала от зноя,
Тебя, полуживого от голода и расстройства желудка,
Долго несла на спине тётушка из Кунсхана
К дому врача в селе Чоннонни.

Прижавшись вспученным животом
И тощими бёдрами
К низкому кухонному шкафу,
Ты тайком от родных
Обманывал голод солёными приправами.

А однажды, возле пожарного бака,
Во дворе деревенской управы,
Ты играл с жуком-плавунцом,
Схватил его за заднюю лапку
И свалился в бак, и вода накрыла тебя.

Пожарный дышал тебе в рот, пытаясь спасти,
Но было слишком поздно.
Пока дядя вёз тебя домой на чужом велосипеде,
Ты уходил от нас четверых навсегда…

Не знаю, Чонму,
Как сердце
Четырнадцатилетнего мальчика,
Учившегося в восьмом классе,
Вынесло боль прощанья с тобой.

Теперь,
Вспоминая наши дни,
Улетающие всё дальше,
Срываю с ветки, подвешенной в комнате,
Пару оранжевых плодов хурмы—
Так когда-то делала бабушка…
Но сладким соком
Не унять горечь в сердце.

Кладбище, где ты спал,
Превратили в район новостроек.
Где же теперь можно
Потрогать твой холмик, Чонму,
И траву, которой ты укрывался?
…
Лишь избранный
Способен идти к вершине
Дорогой сомнений.

Время прощаться

Чем больше прожитых дней,
Тем больше и слёз
Непролитых.

Чем упрямее и быстрее
Уходит время,
Тем чаще в груди
Сердечная боль.

Когда тяжело жить вместе,

Не лучше ли распрощаться
Двум ветрам,
Летящим по миру врозь?..

Чем меньше остаётся дней
До самой последней минуты,
Тем меньше радости
От того, что удалось совершить.

Остаётся только стоять как столб,
Скрывая от всех
Боль и страдания
И не видя смысла
В жизни такой.

Когда тяжело жить вместе,

Не лучше ли распрощаться
Двум мелодиям,
Звучащим так далеко
Одна от другой?..

Юрий Гладышев

Собака Сталина

Было это в незабвенные восьмидесятые. В одну из морозных зимних ночей случилась в нашей части самоволка, то есть, говоря официальным языком, произошла самовольная отлучка из расположения части военнослужащего срочной службы. Событие в армии не такое уж редкое и само по себе на ЧП не тянувшее, но опасное осложнениями. Например, тем, что по истечении определённого времени самоволка может превратиться в самовольное оставление части. А это уже статья, это уже ЧП.

А ещё может случиться так, что солдатик за пределами родного забора расслабится и, употребив непотребные напитки, нахулиганит или сам станет жертвой хулиганов. Да мало ли что может произойти с солдатом, лишённым командирской опеки.

Ну так вот, я продолжу. Отсутствие положенного в койку тела обнаружил дежурный по части, зайдя в одну из рот после отбоя. Поиски местного значения, то есть в пределах части, результатов не принесли. Пришлось дежурному докладывать о случившемся командиру части. Разбуженный командир, как и ожидалось, ночному докладу не обрадовался и, высказав капитану всё, что он о нём думает, приказал прислать машину. Прибыв в часть, подполковник первым делом допросил с пристрастием дежурного по роте. В результате экзекуции выяснилось, что пропавший, рядовой Кошкин, солдат первого года службы, на вечерней поверке присутствовал, но потом исчез. То, каким макаром, в каком направлении и с какой целью Кошкин покинул расположение роты, сержант пояснить затруднился.

Командир, наблюдая за тем, как бывший дежурный по роте срезает со своих погон сержантские лычки, высказал мрачное предположение:
— А вдруг этот «полупокер» нажрался и спит где-нибудь в сугробе, а на улице, между прочим, тридцатник. А?

Капитан, поёжившись под грозным командирским взглядом, кашлянул в кулак и робко предложил:
— Может быть, попробовать собаку пустить по следу?

Нельзя сказать, что подполковник воспринял предложение ДЧ с большим оптимизмом, но дежурного кинолога всё-таки вызвал.

Инструктор розыскной собаки ефрейтор Приходько, выслушав приказ, попытался возразить:
— Товарищ подполковник, розыскную собаку ниже минус двадцати пяти использовать не рекомендуется.
— Это ещё почему?
— Нос обморозит, нюх может потерять.
— Так,—командир встал и подошёл на опасную для ефрейтора дистанцию,—боец, ты у меня сейчас сам нюх потеряешь. Бегом на питомник, собаку в руки—и вперёд. Развели тут плюрализм, понимаешь.

Взбодрённый командирской речью, Приходько весь путь до питомника преодолел бегом, и только подбежав к вольеру, на двери которого висела табличка: «Дик, восточно-европейская овчарка, кобель, розыскной»,—остановился, задумался.

Дик, учуяв хозяина, нехотя вылез из будки, подошёл к сетке, вяло вильнул хвостом. Всем своим видом пёс как бы говорил: «Я, конечно, рад тебя видеть, но извини, какого тебе надо в столь поздний час, да ещё в такой собачий холод?»

А Приходько смотрел на собаку и рассуждал. Мороз, давность следа больше двух часов, да и след этот ещё надо найти,—в общем, шансов почти нет. Вопрос: зачем тогда понапрасну гробить хорошую розыскную собаку? Но приказ-то надо выполнять.

Пока ефрейтор думал, из соседнего вольера послышался шум. Это Малыш, здоровенный чёрный терьер, двигал по полу свою миску. Он всегда так делал, когда хотел, чтобы на него обратили внимание. Разбуженные шумом обитатели питомника подняли лай, тем самым выражая своё недовольство.
— Вот тебя я и возьму,—сказал Приходько и пошёл за поводком.

Ну а пока он ходит, я немного расскажу о чёрных терьерах. Существует легенда, что эта порода была выведена по личному приказу самого товарища

Сталина. Учёные-собаководы выполнили приказ вождя. Полученная путём скрещивания четырёх пород—ньюфаундленда, эрдельтерьера, ризеншнауцера и ротвейлера,—собака вышла неплохая. Крупная, сильная, неприхотливая, морозоустойчивая (готовилась-то она для охраны северных лагерей), отличный сторож и охранник, собака Сталина имела один недостаток: она была никудышным розыскником, то есть отказывалась ходить по следу. По всей видимости, сказалось родство с водолазом.

Ефрейтор Приходько знал это ещё с «учебки», где готовили младших специалистов службы собак, и всё-таки на поиски самовольщика он решил идти с Малышом. Если приказ нельзя выполнить, то надо сделать хотя бы видимость его выполнения. Малыш особо принюхиваться не будет—следовательно, с его нюхом ничего не случится, а если даже и случится, тоже не беда, ему по своей специальности—караульной собаки—нюх не особенно-то и нужен.

Так рассуждая, инструктор дошёл до дежурки, где и доложил командиру части о готовности выполнить поставленную задачу. Малыш тоже отметился, облаяв начальство, чем привёл подполковника в полный восторг.

— Ну и зверюга, от такого не побегаешь, враз порвёт. Ефрейтор, ты смотри поосторожней, мне солдат живым нужен. Прапорщик,—обернулся он к помдежу,—пойдёшь старшим поисковой группы, возьми двух бойцов из роты этого Кошкина, для опознания, тьфу ты, для узнавания, ну, в общем, ты понял.

«Брать след» Приходько решил от дверей казармы. Он потребовал принести простыню Кошкина и сунул её под нос Малыша:

— Нюхай.

Малыш недовольно закрутил головой.

— Ищи!

Пёс удивлённо уставился на ефрейтора, совершенно не понимая, что от него хотят.

Приходько, не дожидаясь, пока стоящий рядом прапорщик заподозрит неладное, скомандовал:

— Вперёд.

Эту команду Малыш знал и охотно выполнил, рванув поводок так, что инструктор едва удержался на ногах. Поисковая группа начала движение, направление которому—как будто бы—задавал мчащийся во всю прыть Малыш. На самом же деле пёс бежал туда, куда его, с помощью поводка, направлял ефрейтор. Приходько служил уже второй год и, конечно же, знал, где и как солдаты ходят в самоволку, сам был грешен. Вот к одному из таких мест он и вёл сейчас поисковую группу.

— Приходько,—крикнул запыхавшийся прапорщик,—придержи своего волкодава, передохнём.

— Нельзя, товарищ прапорщик, микрочастицы испаряются.

— Чего?

— Следы, говорю, остывают.

— А-а. Что-то, я смотрю, собака у тебя не очень-то принюхивается.

— Он верхним нюхом работает.

Больше прапорщик вопросов не задавал. Приходько, пробежав вдоль полосы препятствий, свернул к складу кэч. Там, за складом,—забор, в заборе есть место, где у двух досок снизу вытащены гвозди. Раздвинул доски—и ты на свободе.

Приходько остановился; от склада до забора—сугроб, всё правильно, на слежавшемся снегу отчётливо видны следы, свежие следы. Теперь надо добраться до забора, за ним автоплощадка, гаражи. А дальше куда? А дальше собака «потеряет след». Ну а что? Обычное дело, там ведь люди ходят, машины ездят.

Послышались топот и громкое дыхание—это подбежала поисковая группа.

— Товарищ прапорщик, здесь он прошёл. Видите следы?

— Вижу. Молодец, ефрейтор, и собака твоя молодец...

— Рано хвалите, в город выйдем—там труднее будет, следы, поди, уже затоптали.

— Да кому затаптывать-то? Время второй час ночи. Ты, Приходько, главное, не ссы, прорвёмся. С такой ищейкой—и не найдём?..

«Да уж, с ищейкой. Видел бы начальник питомника, как я с караульной собакой по следу бегаю. Хорошо, что он в отпуске. Хотя кто знает—может, ещё и спасибо скажет за то, что я Дика сберёг. Ладно, чему быть—того не миновать»,—проносились в голове мысли.

— Малыш, нюхай. След, Малыш. Вперёд.

Пёс полез на сугроб, Приходько за ним. Возле забора снег был разрыт, доски раздвинуты. Малыш, таща за собой инструктора, с ходу нырнул в дыру.

Всё произошло так быстро, что инструктор не успел нагнуться и, ударившись головой о перекладину, выпустил из руки поводок.

— Малыш! Стоять! Ко мне, Малыш!

Бесполезно: разгорячённый пёс в несколько прыжков преодолел небольшой пустырь и скрылся за ближайшим гаражом.

— Что случилось?—спросил скатившийся по сугробу прапорщик.—Где собака?

— На задержание пошла,—брякнул первое, что пришло в гудящую от удара голову, Приходько.

— Как на задержание?! Ты что, ефрейтор, охренел?! Забыл, что командир сказал?

В это время со стороны гаражей раздался вопль ужаса. Наверное, так когда-то кричал сэр Генри, увидев собаку Баскервилей.

— Едри твою мать,— прапорщик даже присел.— Приходько! Ну чего ты стоишь? Загрызёт же бойца!

Приходько на карачках проскочил дыру и побежал. Минуты через три он уже был у крайнего гаража. Обежав его, ефрейтор увидел следующую картину. У кирпичной стены, прижавшись к ней спиной, стоит солдат, а напротив него, лицом к лицу, то есть мордой к лицу, положив передние лапы бойцу на плечи, стоит Малыш. Судя по тому, как пёс весело виляет обрубком купированного хвоста, он был рад встрече с новым человеком. Разделял ли собачью радость человек, сказать было трудно. Возможно, Кошкин, а это был он, ещё не понял, что это бородатое, усатое чудовище, дышащее ему в лицо,— собака. Глядя в открытую зубастую пасть, из которой свисал длинный влажный язык, Кошкин что-то быстро-быстро говорил. О чём он пытался рассказать Малышу, Приходько разобрал, только когда подошёл ближе.

— Я не хотел, меня послали. Старший сержант Кузнецов и ефрейтор Хапалов велели купить бутылку водки у таксистов. Я не сам, меня послали…

Через полминуты у гаража собралась вся группа. Прапорщик, выслушав монолог Кошкина, усмехнулся:

— Ну вот, ефрейтор, а ты сомневался. Цены твоему псу нет: не только нашёл беглеца, но ещё и допросил. Ну а теперь убери его, не видишь — у бойца со страху крыша поехала.

Приходько за ошейник оттащил Малыша в сторону. Освобождённый от собачьих объятий, Кошкин только сейчас заметил присутствие людей.

— Здравия желаю, товарищ прапорщик,— приложил он трясущуюся руку к шапке.

— Да какое тут с тобой здравие. Ты что так орал-то?

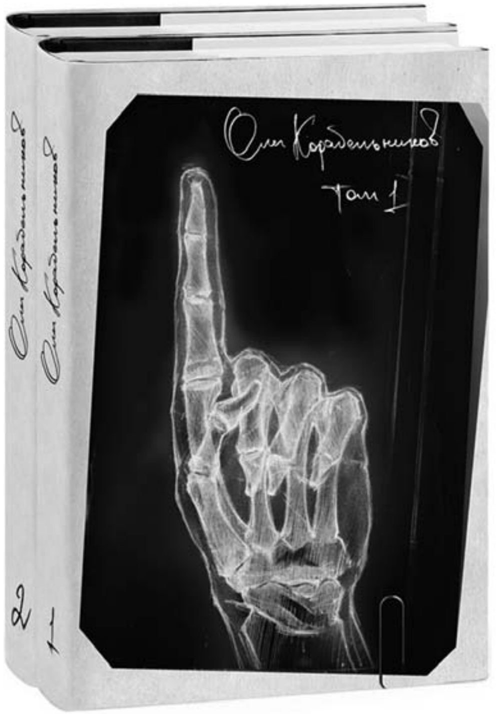
— Орал?— переспросил ещё не до конца пришедший в себя Кошкин.— А-а, это не я, это таксист.

— Какой ещё таксист?

— Ну, я же на такси приехал, а денег у меня не хватило, и таксист меня не отпускал. А тут, когда вот это,— Кошкин показал рукой на Малыша,— выскочило, таксист как закричит, прыг в машину и уехал. Очень быстро уехал.

Вот так закончилась эта история. Прошло две недели. На двадцать третье февраля ефрейтору Приходько присвоили звание младшего сержанта. Инструктор сидел в питомнике и пришивал новые погоны… А Малыш, лёжа у себя в вольере, двигал носом пустую миску.

ДиН ревю



Олег Корабельников

Избранные произведения в двух томах

Имя красноярского писателя-фантаста Олега Корабельникова, обладателя премии «Аэлита», хорошо известно современному читателю. Его произведения неоднократно издавались в нашей стране и за рубежом.

Уникальное собрание его сочинений издаётся в России впервые и включает самые значительные произведения писателя в оригинальной авторской редакции. Двухтомник иллюстрирован рисунками талантливого художника Георгия Тандашвили, созданными специально для этого издания.

Издание подготовлено к печати издательством «Арта». По вопросам реализации обращайтесь по телефону (391) 278-15-86 или по электронной почте: tev@inbox.ru, info@artadesign.ru

Вадим Наговицын

Ганин луг

1.

— Анисья!

В ответ молчок.

— Анисья!..

Бабка Ганя, бодро шаркая ногами по серому дощатому настилу своего маленького дворика, подошла к невысокому шаткому заборчику, отгородившему ягодный сад, и с надеждой глянула за штакетник.

— Анисья! — снова позвала бабка Ганя и прислушалась.

В ответ раздалось осторожное шуршание, и вышла на свет из зарослей малинника белая коза с оборванной верёвочкой на шее. Животное остановилось поодаль, и в его огромных серо-зелёных глазах выражались укоризна и надменность.

— Ах ты ж!.. — только и вымолвила тихо старуха и сокрушённо махнула рукой. Ну не могла она сердиться на свою единственную козу и только причитала с напускной обидой: — Опять отвязалась. И чего ж ты снова в садик-то забралась? Малину помять хочешь? Как только ты сюда залезаешь? По воздуху перелетаешь, что ли? А ну-ка выходи!

Бабка Ганя немного прошла вдоль заборчика и приоткрыла узкую калиточку на проволочных петлях.

— Иди сюда, Анисьюшка! — ласково поманила козу. — Пойдём! Я сейчас на лужок тебя свожу. Попасёшься там на сочной травушке. А вечерком молочка мне принесёшь. Ну, иди!

Коза хитро поглядела на хозяйку, моргнула, закивала изящной длиннорогой головой и трусцой побежала к калиточке.

Старуха отошла к крыльцу, взяла в руки длинный корявый посох из орешника и заковыляла к воротцам, ведущим на улицу. Коза Анисья, цокая копытцами по дощатому настилу, послушно последовала за своей старенькой хозяйкой.

Вместе они пошли вниз по узкой деревенской улочке, обнесённой с обеих сторон палисадниками и покосившимися заборами.

— Да, Анисья, знаю... Знаю, как ты любишь пастись на нашем лужочке. Щас уже придём, — ласково приговаривала старуха, семеня ногами и не оглядываясь.

Она знала, что на лужок Анисья будет бежать за ней вприпрыжку и никуда без спросу не денется.

2.

Сразу за небольшой деревенькой, где всю жизнь прожила баба Ганя, в широкой речной пойме раскинулся огромный заливной луг. Трава на нём росла высокая, по пояс, и густая-прегустая, сочная-пресочная.

Завидев луг, коза заспешила к роскошному пастбищу и начала обгонять хозяйку.

— Беги-беги! Не жди меня. Я доковыляю потихонечку. Только далеко не забегай, — бабка и сама радовалась всякий раз, когда приводила сюда пасти свою козу.

Такого луга, пожалуй, и не было больше нигде в районе, только возле их Самсоновки.

Покосы здесь были такие!.. Хватало сена на весь околоток — шесть деревень в округе кормилось с него. Коси травы — сколько хочешь! Всю не перекосишь.

Ещё до революции, в царские времена, владел этим лугом помещик, но потом, разорившись дочиста, продал его какому-то купцу за долги. При советской власти принадлежал этот луг большому колхозу «Ударник». А после...

После развала колхоза долго стоял луг бесхозный и некошеный.

Но в начале нынешнего века всё чаще стали какие-то мутные люди приезжать на дорогих автомобилях и приглядываться с прищуром на луговое великолепие.

— Глядите, Эдуард Арнольдович, места-то какие! Вот где можно развернуться-то! Прикупите у нас эту землицу. Совсем недорого! Только меня, грешного, не обделите! — подобострастно лебезил глава сельского района, прожжённый и алчный мужичишка, Петька Коптелов.

Был он раньше жуликом и мелким аферистом, а теперь умудрился стать аж главой администрации целого района. Что ж, теперь его время наступило, и повсюду пришли к власти такие же прохиндеи, как и он...Очередной заезжий толстосум любовался красивым лугом с изумрудной зеленью, согласно кивал головой:

— Подумаю... Нравится... Может быть, куплю... Буду страусов здесь разводить.

А после приезжал уже другой соискатель и тоже любовался живописной поймой извилистой речушки Белёны.

Долго не мог Петька Коптелов продать луг. Но однажды ему подфартило…

3.

Баба Ганя, отпустив козу пастись без привязи, тем временем сама слегка примяла траву, расстелила поверх свою штопаную-перештопаную красную вязаную кофтёнку и присела, кряхтя. Как любила она эти прогулки на луг! Вот так она могла и посидеть, и полежать на траве, а потом походить туда и сюда, прислушиваясь к стрёкоту сверчков, жужжанию насекомых, к почвиркиванию и посвистыванию птичек. Она могла подолгу глядеть на высокое небо с редкими белыми облачками и вспоминать свою долгую жизнь.

Старуха вспоминала детство, когда она ещё совсем маленькой девочкой вот так же пригоняла сюда коз на выпас. Семья у них была большая: три старших брата и две старших сестры. Ганя была самой младшей, и поручали ей совсем не сложное, но очень ответственное дело—пасти трёх молочных коз, которые подкармливали семью своим целебным молочком. Братовья-то у Гани уже почти взрослые, молочко козье было им уже не по вкусу, и пили они только коровье. Ну что ж, Гане больше и доставалось козьего молока.

Росла она здоровой и крепкой девочкой. Все соседи и родственники любовались её розовым личиком и красными щёчками:

— Ишь, какая кралечка! На козьем молочке откормлена!

И Ганя гордилась своими щёчками. Ещё она гордилась белокурыми косичками. Но больше всего она гордилась своими козами. Таких красивых и удоистых коз больше ни у кого в деревне не было.

А потом началась война…

Гане исполнилось уже двенадцать лет, и она хорошо запомнила то жуткое и тяжёлое время.

Все её братовья один за другим ушли на фронт. Никого из них Ганя никогда больше не увидела.

А затем и старшая сестра Валентина тоже ушла служить медсестрой в госпиталь. Остались только Ганя да Люда, которая и была-то постарше всего на пару годков. А работать Людмиле приходилось в колхозе как взрослой—военное время.

Отец сутками бригадирствовал на полях, а мамка не вылезала с фермы, где с утра до ночи надо было доить и обихаживать коров. С большим напряжением сил работал колхоз для фронта и для всей страны.

Коз по-прежнему продолжали держать, и Ганя всё так же отгоняла их пастись на луг. Только одновременно приходилось ей таскать с собой ещё и косу, чтобы заготавливать луговую траву на зиму для коз и для коровы. В одиночку Ганя накашивала достаточно. Затем ворошила, сгребала. Иногда сестра Люда, отпросившись на пару часов с колхозных работ, помогала копнить сено. Отец на колхозной лошади вывозил понемногу небольшие стожки домой и перекидывал на сеновал.

А потом пришли немцы…

4.

— Поздравляю с покупкой, Сергей Александрович! Теперь эта земля ва-а-аша! Весь луг теперь принадлежит вам. Чего собираетесь разводить?..—Петька Коптелов, глава сельского района, угодничал, обхаживая покупателя, но внезапно осёкся под косым и злым взглядом нового хозяина луга.

За продажу родной земли свои тридцать сребреников, точнее, двадцать тысяч американских долларов—аккурат по сотке за гектар,—Петька уже получил сполна и тут же подписал договор продажи бывших сельхозугодий, ныне оформленных как заболоченное неудобье.

Новым хозяином луга стал странный, свирепого вида, мужик. Был он невысок ростом, коренаст, пузат, с огромной круглой головой, бритой наголо, и маслеными чёрными глазами навыкате под густыми смоляными бровями. Одет он был вызывающе богато и броско. Жёлтая в разводах шёлковая рубаха и толстая золотая цепь на шее, какой-то тёмно-красный пиджак заморского покроя, белые широкие, как шаровары, штаны и великолепные, лакированной кожи, чёрные штиблеты с узкими носами.

С этим Сергеем Александровичем, богатым бизнесменом из областного центра, всегда ошивался рядом здоровенный детина, тоже бритоголовый, но одетый в строгий чёрный костюм с оттопыренными карманами. Он ни на шаг не отходил от своего шефа—охранял его.

Стоял новый хозяин луга на краю, на пологом спуске, на привозвышенности, возле огромного чёрного джипа и озирал окрест свои новые владения. Он был весьма доволен приобретением.

— А что это за животное?—строго спросил он у Петьки Коптелова, показывая толстым пальцем на сидевшую далеко от них в траве старуху, возле которой паслась белая коза.

— Где?—засуетился Петька.—А-а-а! Да это же коза пасётся.

— Коза—это зверь. А я спрашиваю, что это за животное рядом?—снова сердито переспросил Сергей Александрович, показывая пальцем на старуху и повышая голос.

— Да это бабка Ганя. Наша. Местная. Она всегда здесь козу свою пасёт.

Петька Коптелов и сам растерялся от такого хамского вопроса.

— А почему на моём лугу пасутся какие-то животные и козы?—уже почти зарычал Сергей Александрович и повернул недовольную рожу к Коптелову.

Тот раздумывал с минуту, потом развёл руками и, глупо ухмыляясь, произнёс:

— Так она ещё не знает, что у луга новый хозяин появился. Вы теперича сами тут порядок и наводите… А я поехал — дела у меня! — с этими словами Петька Коптелов развернулся и пошёл к своему стоящему неподалёку автомобилю — уже изрядно заезженной чёрной «Волге».

5.

Бабка Ганя пригрелась на солнышке и, сидя, согнув кривую спину, слегка задремала. Сквозь дрёму накатывались на неё воспоминания о далёком детстве, о военной поре, о том, что пришлось пережить в те годы.

Когда летом сорок второго немцы заняли их деревеньку, то половина жителей уже покинула насиженные места. А семья Гани эвакуироваться не успела.

Отца сразу же арестовали полицаи и куда-то увезли. Больше его Ганя так и не увидела.

А сестра Людмила тоже куда-то исчезла. Позже узнали, что она, сопровождая обоз с фуражом для армии, успела отойти с нашими частями, и потом её определили куда-то на хозяйственную службу в тылу. Увиделись сёстры, все трое, только после войны.

Осталась Ганя с мамкой одна.

Корову фашисты сразу же отняли, и свинью тоже. Даже кур прибрали. Только и успела мать спрятать в лесу единственную уцелевшую козу Люську. Бегала потом Ганя в глухую чащобу проведывать её. Люська была привязана на длинной верёвке и выщипывала лесную травку. А на ночь её нужно было перегонять поближе к деревне и прятать в шалашик, замаскированный под копну с сеном. Ночью в лесу козу могли загрызть волки. С началом войны их развелось в округе видимо-невидимо.

Доить Люську тоже приходилось Гане, и приносила она молоко для матери тайком в маленькой крынке. Маму, как и всех оставшихся в деревне женщин, немцы часто гоняли на работы — что-то постоянно копать заставляли.

А потом мать велела перепрятать Люську на лугу. Трава некошеная выросла в рост человеческий, и спрятать там козу было проще и безопаснее. Лес вокруг постоянно прочёсывали немцы и расставляли мины — соваться туда было небезопасно.

На малолетку Ганю немцы и полицаи особого внимания не обращали: бегает себе девчонка — и пусть. Партизан рядом не было, бои шли уже далеко, все взрослые — на принудительных работах, а дети чаще всего были предоставлены сами себе, и никто за ними особо не присматривал. Вот и бегала Ганя на луг проведывать привязанную к колышку козу, переводила её на другое, новое, не выщипанное место, сдаивала. И сама молочко пила Ганя, и матери понемногу приносила.

6.

— Слышь, Стас? — Сергей Александрович с недовольным видом повернулся к охраннику. — Сбегай-ка! Шугани эту старую клячу. Чтобы я её здесь больше никогда не видел!

Стас услужливо сорвался с места и бегом кинулся в сторону сидевшей старухи. Он сбежал по пологому склону и окунулся в травостой. Бежать по густой и высокой, по пояс, траве ему было непривычно и тяжело. Он рвал и мял её ногами, высоко подкидывая их и сгибая в коленях. Луговые растения оставляли на его костюме мокрые следы, пыльцу, соринки и свои семена.

Бежать до бабки было не менее двухсот метров, и скоро, запыхавшись, охранник перешёл на шаг.

Подойдя к старухе, он грубо окрикнул её:

— Эй, старая! А ну проваливай отсюда!

Бабка Ганя, сидя на своей кофточке, повернулась, подняла глаза на молодого хама и, улыбнувшись почти всеми своими уцелевшими зубами, с какой-то спокойной радостью спросила:

— Это почему же, мил человек?

Стас сделал свирепое лицо и прорычал:

— Потому что этот луг принадлежит Сергею Александровичу Гапуку. Он сегодня купил всю эту землю и не желает видеть на ней никого из посторонних. Понятно? А теперь забирай свою козу и сваливай домой. Чтобы больше тебя здесь никто не видел!

Старуха спокойно выслушала Стаса, не проявив ни малейшей эмоции. Она пристально вгляделась в незваного гостя и только сокрушённо произнесла:

— Да как же это луг может принадлежать какому-то Сергею… Гу… Гу… как там его?.. пуку какому-то? Это только при царе лугом владели помещики да купцы. А советская власть этот луг отдала народу. Трудовому! Мы тут всю жизнь траву косили. А козу здесь я пасу сызмальства. Как же ты говоришь, что теперь этот луг принадлежит кому-то одному? Он что, барин какой? Или новый помещик?

Охранник слегка растерялся и не знал, что и ответить старухе. Он только хотел прогнать её с луга, исполнить приказание шефа, но он не был конченым отморозком и не желал применять силу к женщине, которая годилась ему в бабки. Стас стоял и напряжённо обдумывал, как согнать бабку с козой и вернуться к хозяину с победным докладом.

— Давай-давай, старая! Уходи подобру-поздорову. Теперь это наш луг. И тебе тут с козой делать нечего! Паси её в другом месте! — Стас говорил торопливо, уже не сердясь, а только напуская на себя страшный вид. — Давай, мамаша, уходи от греха подальше!

Бабка Ганя смотрела на Стаса своими светлыми блёкло-голубыми глазами с материнской лаской и видела его нерешительность и напускную грубость.

— Как же, сынок? Мы ведь на этом лугу всю жизнь и пасли, и косили. Как же его могли продать кому-то? Кто ж право такое имеет? — спросила старуха с детской наивностью.

— Ты что, бабка, новых законов не знаешь? Ещё при Ельцине закон приняли о том, что землю можно продавать за деньги!

Стас хмурился и сердито выговаривал слова. Ему уже расхотелось спорить с этой старой женщиной.

— Как же? Неужели новая власть на такое паскудство могла пойти? Как же? Ведь не по-божески это. Земля только Господу Богу принадлежать может, чтобы народ на ней мог свободно трудиться. Неправильные законы твоя новая власть принимает, — бабка Ганя прониклась пафосом и без тени сомнения и всякой боязни продолжала разговор с охранником.

— Слушай, мамаша, ну уходи ты! И козу забирай поскорее, — Стас пытался уже по-хорошему уговорить старуху.

— Нет. Никуда я не уйду отсюда. Это мой луг! Я всю жизнь на нём коз пасу. Я здесь в войну чуть не погибла. Не уйду я никуда. Хоть стреляй в меня! И всё!

Бабка Ганя отвернулась от охранника, всем своим видом показывая, что разговор окончен. Коза продолжала мирно пастись, а старуха сидела на траве и спокойно наблюдала за своей питомицей.

Помявшись в нерешительности, Стас понуро пошёл назад к шефу, ожидая ругани и оскорблений за невыполненное задание.

7.

Тогда, в тот год, во время оккупации, произошёл с Ганей очень неприятный случай…

Однажды, возвращаясь с луга от Люськи, вынырнула она из травы и выскочила на дорожку, ведущую на взгорочку к деревне. А навстречу ей — невесть откуда — неожиданно попался худой чернявый, как цыган, мужик в форме полицая и с немецкой винтовкой за спиной. Ей он был незнаком и раньше не встречался.

— Стой! — окликнул Ганю полицай. — Кто такая?

Ганя не испугалась, могла чуть что снова нырнуть в высокую луговую травищу.

— Я Ганя из Самсоновки. Местная я, — ответила девочка.

Полицай подошёл к ней поближе и внимательно оглядел.

— Ганя? Что за имя такое?

— Ганна Панкратовна я. Папа мой, Панкрат Пантелеймонович, родом из Белоруссии, а назвал меня так в честь своей мамы, бабушки моей Ганны Алесевны, — бойко, без запинки протараторила Ганя.

Полицай, видимо, почуял запах козьего молока и строго спросил:

— Где молоко пила?

Ганя не знала, что ответить, и ей неожиданно стало страшно. Она испугалась — прежде всего за козу. Вдруг полицай прознает, найдёт Люську и убьёт её?! Останутся они тогда с мамкой совсем без молока. Больше всего было страшно за Люську. Она — последняя живность в их хозяйстве.

«Не отдам Люську!» — подумала Ганя и опрометью бросилась наутёк. Нырнув в высокую траву, она побежала не напрямки, а так, как в шутку учили её, играя в войну, старшие братья, — зигзагами, из стороны в сторону.

Полицай тоже было кинулся за ней, да куда там! Проворная и юркая Ганя, петляя, как заяц, оказалась уже далеко от него, и поймать её он не смог бы никак.

Разозлившись, фашистский прихвостень снял винтовку и, прицелившись в сторону колыхающейся от Ганиного бега травы, выстрелил.

Ганя бежала резво, изо всех сил, не оглядываясь.

И тут — раздался громкий выстрел…

Девочка даже не поняла сначала, что это в неё стрелял чернявый полицай.

Затем прозвучал второй выстрел, и пуля просвистела рядом над головой, едва не задев Ганю. Следом пролетела третья пуля, и Ганя в лихорадочном беге сообразила наконец, что это в неё, ребёнка, девочку, стреляет взрослый мужик, который ещё минуту назад расспрашивал её.

Ганя не испугалась, она не осознавала до конца, что пуля может убить её. Она продолжала петлять влево-вправо и думала только о том, чтобы спасти козу от чужих и посторонних. Девочка бежала совершенно в другую сторону, противоположную той, где была спрятана в траве Люська.

Раздался ещё один выстрел, но пуля прошла уже где-то совсем в стороне. Больше не стреляли, а Ганя убежала далеко в луг, почти к самой речке.

Она до самой темноты сидела, прячась в зарослях ивняка, и плакала. Она боялась возвращаться домой. По глупости назвав своё имя и деревню, она выдала себя. И теперь тот злой чернявый полицай мог отыскать её дом, прийти к ним и убить. Он уже пытался это сделать сегодня.

Набравшись смелости, Ганя всё-таки вернулась домой к полуночи. Мать была сильно встревожена её поздним возвращением, но ругать не стала. В доме никого больше не было, и дочка рассказала маме обо всём, что произошло с ней. Она не стала скрывать того, что полицай стрелял в неё и мог убить.

Мать расплакалась. А утром она пошла жаловаться коменданту, что её дочь чуть не убили. Но коменданту было наплевать. Пьяный подонок в немецкой форме с руганью выгнал несчастную женщину и велел больше не беспокоить его по таким пустякам.

А Ганя снова побежала на луг. Она отыскала Люську, которая так сильно обрадовалась девочке, что начала громко мекать.

— Да тише ты! — испуганно зашипела на козу Ганька. — Отыщут ведь! Убьют!

И Люська, словно бы поняв, замолчала. Девочка подоила козу в крынку, которую прятала тут же, в траве, попила сама и, перелив в походную солдатскую фляжку оставшееся молоко, пошла домой.

Мать дома накричала на неё и велела больше не ходить на луг:

— Да чёрт с ней, с козой этой! Пусть пропадает! А то ведь тебя и в самом деле убьют из-за неё.

Но Ганька замотала головой:

— Нет, мамочка, я не брошу Люську! Ей и так страшно одной там, на лугу. Я не брошу её. Она ведь кормит нас…

И Ганя продолжала ходить на луг к козе до самой осени.

Больше она не встречала того полицая. Да и вообще никто больше не обращал на неё внимания.

Поздней осенью, ещё до снега, деревню освободила Красная Армия. И коза Люська, к радости Гани и её матери, снова вернулась домой.

8.

Запыхавшись, весь в поту, Стас подошёл к хозяину; тяжело дыша и мотая головой, сокрушённо выпалил:

— Сергей Александрович! Не хочет бабка уходить с луга!

Шеф и сам видел, что старуха с козой остались на месте, только не мог понять, почему. Он развёл руки в стороны, растопырил пальцы, нагнул голову и злобно закричал на охранника:

— Что значит — не хочет уходить? Я велел ей убираться вон! А ты почему не выкинул её оттуда? Ты что — барышня кисейная? Ты — мой охранник! Я тебе за что деньги плачу? Ты что, не мог пинками прогнать эту старуху прочь? Она покушается на мою собственность! Этот луг — моя собственность. Ты обязан её вышвырнуть с моей земли!

Сергей Александрович громко орал, мелко сучил руками перед собой, топал ногами. Из его рта вырывалась обильная слюна и брызгала Стасу прямо в лицо. Охранник, сморщившись и нагнув голову, молча выслушивал крик своего хозяина.

— Шеф… Я старух не бью! Я женщин вообще не бью! — пролепетал Стас, не поднимая лица.

Ему было горько и обидно исполнять роль шестёрки при таком злобном придурке, каким являлся его хозяин. Но где Стас ещё найдёт такую непыльную и хорошо оплачиваемую работу?

— Что-о-о?! Я для чего тебя взял на службу? Чтобы ты работал на меня и исполнял мои приказания. Прикажу закопать старуху живьём — ты закопаешь! Понял?! А если ты слюнтяй и маменькин сынок, то иди вышибалой в бордель! Да и там нужно быть крутым, чтобы на тебя юбочку не напялили и косички не заплели! Иди, отлупи эту каргу, чтобы неповадно было, и оттащи её куда-нибудь с луга прочь! А козу приволоки сюда — я её на барбекю пущу! — продолжал кричать разъярённый господин Гапук.

Стас поднял лицо, смело поглядел в глаза хозяину и твёрдо произнёс:

— Я всё-таки бывший десантник, а не вышибала из борделя! Старуху я бить не буду!..

Сергей Александрович резко замолк. Он впервые за те полгода, что у него работал Стас, услышал от него такую дерзость. А дерзость Сергей Александрович страшно не любил. Он вообще не любил тех, кто ему перечил. Он сразу бил в лицо кулаком или по-другому старался унизить дерзливца. Но Стас был крупнее и сильнее его. Он действительно служил в воздушно-десантных войсках и был крепким бойцом. И ударь его — получишь сдачи в ответ.

Холопский дух уже улетучился из Стаса, и он спокойно и невозмутимо глядел в злобные глазки своего шефа. Тот закипал. Его душила дикая ярость от неповиновения своего охранника. Но ещё больше его задевало то, что какая-то нищая старуха со своей драной козой ползает по его лугу и её не посмели прогнать прочь. Это было возмутительно!

В глазах у Сергея Александровича потемнело от злости, и начало сводить скулы. Он уже не мог громко кричать и только сдерживался изо всех сил, чтобы не взорваться.

— Она сказала, что это её луг… И она сказала, что всю жизнь пасёт здесь коз! — Стас понял, что уже окончательно потерял работу и больше унижаться не хотел.

Он решился всё высказать. Но, поглядев на багровое лицо Гапука с бешеными, налитыми кровью глазами, охранник резко передумал что-либо говорить. «Ну его, этого психа!» — подумал Стас, махнул рукой и, резко развернувшись, зашагал вверх от луга — туда, где стояла деревенька Самсоновка. Там он собирался поймать какой-нибудь транспорт и вернуться домой в город, в областной центр.

— Ты куда-а-а? — зарычал Сергей Александрович. — Вернись немедленно! Я кому сказал?!

Стас, уже отойдя на несколько шагов, обернулся, показал бывшему своему хозяину огромный кукиш и выкрикнул:

— Вот тебе!.. А ещё она сказала, что никуда с этого луга не уйдёт. Понял?! Хоть стреляй в неё! Вот так она и сказала. И ничего ты ей не сделаешь! Буржуй!

Стас с презрением плюнул себе под ноги и зашагал в сторону деревни.

Гапук продолжал остолбенело стоять. Но теперь он снова глядел в сторону старухи и её козы. Что же такое могло там произойти, отчего один из лучших его охранников, верный и преданный Стас, вдруг взбунтовался, перестал подчиняться ему и исполнять приказы? Какое проклятое

слово могла сказать эта старая ведьма, чтобы так охмурить крепкого несентиментального мужика и проверенного жёсткого бойца?

Сергей Александрович всматривался вдаль. Он видел, что старуха сидит по пояс в примятой траве. Голова в белой косынке, повязанной назад, возвышалась над луговым травостоем и была повёрнута в сторону козы. А коза, непривязанная, спокойно паслась поодаль от хозяйки, пощипывала траву, медленно передвигаясь по кругу.

— Хоть стреляй, говоришь? — прошипел по-змеиному Гапук.

У него мгновенно созрел план.

Сергей Александрович подошёл к своему джипу, открыл заднюю дверку и достал из багажного отделения зачехлённый карабин. Он всегда возил его с собой. Но не потому, что был азартным охотником, охоту он особо и не любил, а потому, что наличие серьёзного стрелкового оружия, впрочем, официально зарегистрированного, придавало ему большую уверенность в себе и повышало собственную самооценку. Гапук частенько хвастался перед друзьями своим карабином и чувствовал себя крутым мужиком, едва ли не техасским рейнджером.

Вынув оружие из чехла, зарядил его патронами. Он пожалел, что оставил дома оптический прицел — сейчас бы очень пригодился!

Отойдя от автомобиля вперёд на три шага, Гапук вскинул карабин на плечо и прицелился.

В прицеле, на мушке, хорошо была видна маленькая голова старухи в белом платке.

— Ну, ведьма! — пробурчал с ненавистью…

И нажал на курок.

9.

Баба Ганя немного огорчилась от беседы со здоровенным мужиком в чёрном костюме, охранником Стасом, который хотел выгнать её с луга. Старуха действительно так и не могла понять, *кто* и *как* может продать заливной луг, на котором испокон века местные крестьяне запасали корм для своих домашних животных.

Ганна вспоминала, ей рассказывала её бабушка, что даже в те времена, когда хозяином луга был помещик, все крестьяне спокойно косили там траву, а вместо платы отдавали из четырёх копен одну. А уж чтобы не пускать на луг пастись коз — такого и вовсе никогда не было. Коров в общем стаде пасли на дальних общинных пастбищах. А коз дозволялось без всякого спроса пасти здесь, на заливном лугу. Благодарные крестьянки, хозяйки коз, часто приносили козье молочко в усадьбу помещика — попотчевать барчат. Помещик и благодарен был. Давно это было!

А тут какой-то гусь с куста вдруг заявляет, что, дескать, и луг его, и козу пасти не смей, и сама, мол, проваливай!

«Ишь, прыткий какой!» — думала баба Ганя и кивала головой. Нет, она не сердилась и не злилась. Ей вообще злость была не присуща. Она просто не соглашалась с таким произволом, с таким беззаконием, которое пытались творить какие-то случайные, пришлые люди, никогда и не жившие-то в этих местах…

Раздался выстрел — длинный, хлёсткий, громкий, раскатистый. Мимо головы бабы Гани свистнула пуля и сбила соцветие иван-чая в трёх шагах от неё.

«В меня ведь стреляет!» — моментально сообразила бабка. И вспомнила тот давнишний случай шестьдесят пять лет назад, когда полицай, предатель и фашистский прислужник, стрелял в неё, маленькую девочку, которая прятала козу здесь, на лугу, в травяных зарослях. Старуха вспомнила и рожу того фашиста, и всё то страшное событие; и ей показалось, что именно он, тот чернявый полицай, может быть, доживший до нынешнего времени, снова стреляет в неё, пытаясь исправить свой давнишний промах…

И только сейчас бабка испытала страх по-настоящему. Она, став на несколько мгновений снова маленькой девочкой Ганей, испугалась, потому что тогда испугаться просто не успела. А сейчас страх догнал её через шесть десятков лет, из другого времени, из иной эпохи. Этот испуг прятался где-то здесь — в окрестных лесах, в речной пойме, в луговых зарослях — и терпеливо дожидался момента, чтобы коварно прилететь с выстрелом и догнать её.

Старуха прытко вскочила на ноги, подхватила свой посох из орешины, крикнула козе:

— Беги, Анисья! — и сама бросилась бежать.

Она бежала, как и тогда, спасаясь от выстрелов полицая; только сейчас ноги уже были не такие резвые. Она снова петляла, как и в тот раз, — влево-вправо, вперёд, пригнувшись. Тогда она была маленькая, и трава была выше её роста, и ей легко было прятаться. А сейчас, несмотря на то, что и ростом она стала ниже от старости, всё равно трава была ей всего лишь по плечи и не могла скрыть целиком.

Раздался второй выстрел — громкий, страшный. Пуля чиркнула по траве совсем рядом.

— Папа, мама, помогите мне! — крикнула на бегу бабка Ганя.

Она свято верила, что души её погибшего отца и давно уже умершей матери находятся где-то рядом и не оставят её в беде. В трудные моменты своей жизни Ганна призывала на помощь не Бога, в которого верила, но никогда не видела и не знала близко, а своих родителей, которых знала, любила и всегда чувствовала их поддержку даже оттуда, из потустороннего мира. И помощь всегда приходила.

Третий выстрел прозвучал немного тише. Но на этот раз пуля прошла чуть выше головы. Бабка Ганя ощутила — скорей интуитивно — её секундное дуновение над темечком.

Старуха бежала изо всех своих сил, и расстояние от стрелка и до неё понемногу увеличивалось.

«Как в тот раз стреляет,— подумалось бабке,— и пули так же пролетают!»

Бежать было всё тяжелее и тяжелее. Уже часто и сильно колотилось сердце, чаще подгибались слабеющие ноги, перехватывало дыхание. Но страх, что полицай достанет её очередным выстрелом, толкал её вперёд и вперёд. Баба Ганя уже не петляла, она бежала по прямой и думала только о том, что фашист промахнётся и не попадёт в неё.

Ещё она думала о козе.

— Люська, где ты?— прошептала она, путая имена, вспоминая, что Люська— это была коза военного времени, а сейчас у неё— Анисья.

От Люськи до Анисьи сменилось более десятка поколений коз, и Анисья была уже дальним потомком той козы по кличке Люся.

Да какая разница! Коза должна уцелеть! Она не погибла во время войны от рук тех фашистов, не погибнет и сейчас от рук фашистов нынешних.

Четвёртый выстрел был ещё тише, и пуля прошла уже далеко. Но баба Ганя продолжала бежать. Она долго не могла остановиться и бежала скорее по инерции. Страх улетучился, и она вдруг поняла, что к ней пришла помощь от отца и матери, что они снова помогли ей.

Пятый выстрел её уже совсем не испугал, бабка Ганя твёрдо уверилась, что стрелок не попадёт в неё. Она замедлила бег и перешла на быстрый шаг. Она удалилась от опасного места уже на полкилометра, и, хотя дальность стрельбы была ещё достаточной для прицельной стрельбы, попасть в неё стало не так-то просто. Старуха продолжала быстро семенить, направляясь к центру луга, туда, где протекала речка. Там можно было укрыться в зарослях ивняка.

«Как в тот раз!»— снова подумала бабка. Ей казалось, что та история повторялась точь-в-точь. Только теперь пряталась на лугу не маленькая быстроногая девочка Ганька, а уже старая и сухонькая бабка Ганя.

Прозвучал шестой выстрел, но как-то неуверенно.

«Не попадёшь, гад!»— уже самодовольно подумала старуха.

Она не останавливалась и всё шла и шла к речке, к густым кустарникам, росшим по её берегам. Понемногу успокаивалось сердце, и дыхание приходило в норму. Всё-таки ещё достаточно крепкое здоровье сохранила баба Ганя.

«Только бы коза уцелела!»— думалось Ганне Панкратовне, о себе она совсем не беспокоилась.

Седьмой выстрел раздался уже издалека, и было понятно, что стреляет фашист скорей от досады.

Вот и река, и заросли.

Раздался ещё один выстрел. Мимо.

Наконец бабка Ганя остановилась и обернулась назад.

Стрелок был уже достаточно далеко, метров за восемьсот. Старуха приложила ладонь ко лбу и стала вглядываться в маленькую далёкую фигурку стрелявшего в неё негодяя. Тот стоял на взгорке возле своей чёрной машины, которая стала похожа на большую собаку, изготовившуюся укусить хозяина.

«Снайпер!»— баба Ганя ухмыльнулась и, повернувшись, нырнула в густой кустарник. Она знала, что здесь её уже никто не отыщет.

Человек на склоне пострелял ещё немного, уселся в машину и убрался восвояси.

10.

Через пару часов, когда солнце уже склонилось к закату, баба Ганя вышла из своего укрытия и пошла назад— туда, откуда убежала совсем недавно. Она шла искать козу.

— Анисья!

В ответ молчок.

— Анисья!

Пройдя метров триста, бабка увидала колыхающуюся траву, и из луговых зарослей выбежала ей навстречу коза. Она как ни в чём не бывало, весело и с некоторой укоризной, поглядела на бабку Ганю, и в её серо-зелёных глазах отразилась большая привязанность к своей хозяйке и благодарность за всё.

— Пойдём домой, Анисьюшка!— старуха ласково поманила козу, и та послушно зашагала следом.

Бабка шла, не торопилась, разговаривала то ли сама с собой, то ли с козой:

— Ничего, Анисья. Уцелели. И в тот раз не пропали. И в этот раз живы остались. Ничего нам не будет. А луг-то этот наш. Он всегда был нашим. Нашим и останется. Все эти аспиды, фашисты проклятые, приходят и уходят, а мы, Анисьюшка, здесь всегда с тобой будем. Потому что луг этот дан людям, чтобы на нём коз пасти. А для чего ещё? Не-е-е! Не будут эти чужаки здесь хозяевами. Приходили уже тут однажды такие же шустрые, да потом исчезли незнамо куда… Наша правда!.. Наша земля!.. Наш луг!

Бабка Ганя семенила, опираясь на свой посох, за ней бежала её коза. Они шли по лугу. По своему лугу. Они были вечными: луг, коза и старуха.

P. S.

Через три месяца Сергей Александрович Гапук был застрелен снайпером возле своего автомобиля.

Петьку Коптелова, землепродавца, посадили за вымогательство взятки на три года с конфискацией.

Сделку по выводу луга из сельхозугодий и продаже частному лицу признали незаконной и аннулировали. Луг снова оказался ничей. Точнее— он остался лугом бабы Гани и её козы Анисьи.

Ольга Гуцол

Торт морковный

Пуговица

Моей подруге повезло. У её мужа жуткая аллергия на алкоголь.

Поэтому тот примечательный Новый год я напросилась встречать к ней.

Мой… как бы это сказать?—друг (теперь это вроде бы так принято называть) запил. А когда он запивал, он всегда исчезал.

Исчезать ему было легко. Жил он в одном из закрытых пригородов, в которые пускают только по пропускам, работал на секретном заводе. И, видимо, был большим специалистом, если его там держали, несмотря на такой его недостаток.

Впрочем, о своей работе он никогда не распространялся. И я это терпела. Как и то, что звонил мне всегда только он, а я даже телефона его не знала.

Всё терпела. И бесконечное ожидание звонка, и скрытность. И встречи лишь по выходным.

Почему терпела? А кто ж его знает, почему женщины терпят мужчин?

Потому что в выходные с ним было исключительно интересно. Он не любил быть в компаниях, нелюдим был. Поэтому мы уезжали вдвоём куда-нибудь на природу, жили в палатке, и он безо всякой гитары или ещё какого-то сопровождения для одной меня пел тягучие украинские песни. У него был прекрасный бархатный голос, и это меня в нём завораживало.

К тому ж его песни почему-то очень вписывались в природу, и это меня удивляло. Ведь они же все были—степные. А поди ж ты: и тайга, и горы, и большая вода—их принимали. И мне казалось, что всё замирало, когда он начинал петь. И душа уносилась куда-то ввысь, и вширь, и ещё не знаю куда. Короче, я тогда бывала изумительно счастлива.

При мне он никогда не пил ни капли спиртного. Шутил, что свою цистерну он уже выпил. А поскольку и я не любитель, то меня это очень устраивало.

Но когда у него должен был начаться запой, я всегда знала. Тогда он переставал петь и начинал говорить про политику. И тогда мне становилось ясно, что следующие выходные мне придётся проводить без него. А через пятницу он позвонит и приедет, мятый, зелёный, с мешками под глазами, и скажет, что болел. Он никогда не признавался, что был в запое. Но разве женское сердце обманешь?

Вот и тогда как раз был период, когда он исчез.

Так что идти в весёлую компанию, где тоже будут пить, я просто не смогла. Ну не смогла я! И всё. Оставаться дома в полном одиночестве тоже совсем не хотелось.

Потому и напросилась я к Лене в гости.

Лена и её муж Сергей—геологи. А дети у них оба—таланты. Они уже знают, что когда я к ним прихожу, я всегда желаю их слушать. Так что Ирочка сразу садится за пианино и что-нибудь мне играет. А Миша играет уже после неё. Мне у Лены с Сергеем очень нравится. Я в их семье вижу своё далёкое прошлое, когда такая вот дружная семья была и у меня. Но теперь все, кто мне дорог, живут в Питере. А я вот в Сибири осталась. И почему—читай сверху.

Ну, естественно, сначала мы проводили старый год.

Ирочка мне, разумеется, на пианино сыграла что-то новое, что она недавно выучила.

А поскольку у меня нет музыкального слуха, то мне нравится всё, что она мне играет. Потому что я даже представить себе не могу, как это люди умудряются разными пальцами разных рук делать разные движения одновременно.

Одними она одни клавиши нажимает, а другими в то же самое время—другие. Фантастика. И это тот ребёнок, который вроде совсем недавно был ещё в Ленином раздувшемся пузике.

Потом Миша играл. Этот всегда играет мне джаз. В джазе я тоже не разбираюсь. Но мне тоже—нравится.

Потом ели мороженое. Взрослые при этом говорили, что на ночь наедаться не стоит.

Смотрели фото, кто какие сделал в этом году. Их Сергей с компьютера на телик переводил. Рассказывали про свои путешествия в этом году. Я, помню, показала, какие парки я видела в том году в Англии. Специально для этого флешку с собой брала. Такие там парки, говорила, что просто фантастика.

Сергей показал Саяны. Как тем летом в экспедиции их неделю вертолёт не забирал, когда им уже назад надо было. А у них уже продукты к этому времени кончились. Так они там, в Саянах, питались грибами, ягодами и дичью, на которую охотились с собаками. Саяны на его фото были потрясающе красивыми. Особенно если с вершины снято. Такой простор, такие дали… Фантастика.

Потом решили желания загадать. Ирочка всем листочки для этого выдала. Было решено желания записать и придумать, как их в полночь заактивировать так, чтобы они были максимально действенными.

Среди предложений были: сжечь их над свечкой под бой курантов, пепел бросить в бокал с газировкой и выпить. Потом было предложение под бой курантов выпить газировку просто так, а в пустую бутылку запихнуть эти наши бумажечки. А перед следующим Новым годом открыть и посмотреть, сбылись ли наши желания.

Но в конце концов мы выбрали предложение Ирочки: перед самым наступлением Нового года одеться, выйти во двор и там уж ровно в двенадцать загадать желания. Дескать, по свежему воздуху они гораздо быстрее долетят до Деда Мороза. Мы все решили, что одно другому не помешает, что запихнуть желанья в бутылку мы всяко-разно успеем, что Ирочка молодец, оделись и вышли во двор.

А надо сказать, что живут мои друзья в хрущёвке, и вокруг них такие же пятиэтажки, выкрашенные в разные весёлые краски.

И вот мы — во дворе. Нигде ни одного человека. Метель.

Сергей с детьми попытались бенгальские огни зажечь, но на ветру не смогли. Во всех окнах свет горит, и снаружи не слишком темно от этого.

Стоим спиной к ветру, воротники подняли. Ждём.

И вдруг всё стихло. Метель как-то разом как будто наткнулась на что-то и замерла. Ни звука. Ни шороха. Только снег, тополя обрубленные и цветные квадратики окон.

И тут вижу — идёт бабушка. Старенькая, согбенная. В платке шерстяном и пальтишке стареньком, как из шестидесятых годов. Идёт, пересекает двор, ни на кого не смотрит.

И так это мне странно показалось. Ну куда может идти такая старенькая старушка почти в полночь под Новый год? Фантастика.

Я взяла и окликнула её:

— С наступающим!

Она оглянулась. Лицо у неё было как все лица наших российских старушек. Совершенно незапоминающееся и так не похожее на выразительные лица их зарубежных сверстников.

И вот эта неприметная старушка остановилась, улыбнулась мне немногозубым ртом и ответила:

— И ваш так ше. Вечного вам шдоровья и щастя на вше времена и прострашштва.

И не успела я подивиться таким словам, как тут у меня пуговица с шубы упала.

И поскольку именно тут и начинается всё самое интересное, нам с вами придётся немного вернуться назад и узнать, что же это была за пуговица.

В тот вечер на мне была моя новая шубка, которая мне очень нравилась. Хотя была она из чего-то искусственного, но очень мне шла. К тому же её мне как раз тот самый друг подарил к тому самому Новому году, после чего сразу же и запил, болезный. И ещё мне нравилась в этой шубе — пуговица. Из-за этой вот самой пуговицы мы с ним из нескольких похожих шуб в магазине выбрали именно эту.

Пуговица была на шубе единственная. Сантиметров шесть в диаметре, выпуклая, прозрачная и гранёная. По замыслу модельеров, размещалась она под горлом, там, где сходятся крылья воротника, и явно служила украшением всей модели.

Недаром Сергей, как только я к ним вошла, сразу на эту пуговицу внимание обратил.

— Ну, — пошутил, — экая у тебя драгоценность к шее прицеплена. Прямо брульянт чистой воды.

Он так и сказал: «брульянт».

Так вот, в тот самый момент, когда старушка сказала своё пожелание, у меня эта пуговица и упала в снег, проделав в нём узкую ямку.

Я для удобства сняла варежку и полезла за ней голой рукой со словами:

— Ну и куда ж ты, алмазная моя, удираешь? — и быстро достала её из снежной норки.

И тут ка-а-ак грянет! Ка-ак заорут во всех окнах! Даже различить можно было, что многоголосо орут «ура!», как в прошлом веке на демонстрациях. И сразу же в окнах началось цветное миганье, сразу стало понятно, что вот он наступил, долгожданный и Новый, который, конечно же, непременно окажется лучше прежнего, и поэтому взрослые люди радуются как дети. Короче, фантастика, да и только.

А я хотела ответить бабушке что-то типа «и вам того же», но её уже не было. И мне сейчас это кажется странным: как же так, не могла же она далеко уйти за те несколько секунд, что я к пуговице наклонялась. Я даже спросила Лену, где старушка, но она сказала:

— Какая старушка?

А Сергей с Мишей стали разжигать сразу несколько бенгальских огней одновременно, и все переключились на них, так что история со старушкой на этом закончилась.

Я же обнаружила, что пуговица у меня упала оттого, что с обратной её стороны отклеилась кругленькая пластинка с колечком, за которую пуговица и была пришита.

Пластинка эта так и осталась на шубе, а в карман я положила одну только прозрачную и гранёную, но совершенно бесполезную теперь штучку.

Бенгальские огни догорели, и все потянулись в подъезд, до дому.

А я отстала от всех немного. Оглянулась на крыльце ещё раз посмотреть на снег и деревья. А как только я прошла через тамбур и ещё не успела сделать ни шагу по лестнице, как вдруг услышала тоненький голосок:

— Остановись!

Я, естественно, остановилась и стала оглядываться понизу, что там пищит…

— Я в кармане,—пищит кто-то.

Я руки—в карманы. Из обоих вытащила по варежке, потом из левого—связку ключей, а из правого—пуговицу. Кто пищит?

И тут вижу, что из пуговицы моей исходят кругами волны, как будто воронкой такой расширяющейся. Так когда-то в телевизорах на чёрно-белых заставках изображали радиоволны от телевышки. Меня это так поразило, что я стою и смотрю на свою бывшую пуговицу, не отрываясь. Не могу понять, как же я вижу-то эти волны, если я их не вижу глазами.

И слышу опять слова:

— Здравствуй. Можешь загадать ещё два желания.

— Здрасьте,—говорю.—Значит, новогодние чудеса такие? Ну ладно, для начала неплохо. Но почему же именно два? Не одно и не три, например?

— Потому что одно уже исполнилось: я же стала алмазом, разве не видишь?

— Я,—говорю,—в этом не разбираюсь. Но извини, я разве хотела, чтобы ты стала алмазом? Что-то не помню такого.

— Но ты же сама назвала меня алмазной в момент Нового года, когда мимо Исполнитель Желаний шёл,—с какой-то обидой ответил тоненький голос.

— Это та старушка, что ли, была Исполнителем Желаний?!—спросила я.

— Ну конечно. А ты что, как ребёнок, считала, что непременно Дед Мороз и Снегурочка должны приходить? Ну так как? Есть у тебя ещё желания?

На это я не успела ответить, потому что услышала, как на третьем этаже заговорили Лена с Сергеем. Лена явно посылала Сергея меня разыскивать: дескать, где я застряла?

— А потом можно?—спросила я пуговицу.

— Да пожалуйста,—ответила та.—Главное—сказать вслух и при этом взять меня голыми руками.

— Ладно, потом поговорим,—сказала я, положила пуговицу обратно в карман и пошла наверх.

— Что случилось?—спросил Сергей, который спускался мне навстречу.

— Ничего. Вот пуговица оторвалась,—отвечала я, пока поднималась вслед за ним по лестнице.

— И ты её тут же пришить решила?

— Я с ней разговаривала,—сказала я.—Она считает, что стала брильянтовой.

— Покажи,—попросил Сергей и протянул назад руку.

Я захватила пуговицу варежкой и протянула ему. Сергей, не останавливаясь, осмотрел пуговицу.

— Ну что ж, Дедушка Мороз, видать, большой молодец. Очень похоже.

И Сергей так же на ходу вернул мне мою пуговицу. Я взяла её варежкой.

Когда мы один за другим вошли в квартиру и стали раздеваться, Лена, выйдя навстречу, спросила с улыбкой:

— Не Дед ли Мороз тебя там так задержал?

— У неё пуговица оторвалась, ударилась оземь и стала алмазом,—сказал за меня Сергей.

— Ой, дайте мне посмотреть!—закричала Ирочка.

— И мне, и мне!—подскочил Миша.

Я подала Ирочке пуговицу.

— Какая красивая,—сказала Ирочка.—Настоящий алмаз.

И передала пуговицу брату. Миша повертел пуговицу в руке и предложил:

— Папа, а можно как-то проверить, что она действительно алмазная стала?

Вместо Сергея отозвалась Лена, разливая чай:

— Надо её в воду положить. Если её не станет видно—значит, алмаз. У воды и алмаза один коэффициент преломления.

Миша сразу же побежал наливать воду в ванну.

— Совершенно необязательно,—сказал Сергей.—Есть много других минералов, у которых коэффициент преломления такой же, как у воды.

— Зачем в ванну?—закричала Лена от стола.—Достаточно в тазик. И вообще, давайте сначала чай попьём, а то остынет.

Но детей уже было не остановить. И проза тазика их не устраивала. Так что вода в ванну была налита. Втроём с детьми мы втиснулись в ванную, и Миша опустил пуговицу в воду. Она тут же исчезла.

— Папа! Пуговица—брильянтовая!—закричал Миша.

— А вы туда же стекло положите,—откликнулся Сергей, разрезая торт.

Ирочка шустро сбегала в детскую и притащила со своего письменного стола стекло.

Я осторожно опустила его в воду. Стекло исчезло.

— Между прочим, здесь торт прокисает,— крикнула Лена от стола, и дети выбежали из ванной.

Я вытащила стекло из воды и оставила сохнуть на стиральной машине. После этого оторвала шматок от туалетной бумаги, нашарила ею пуговицу в воде и отнесла в свою сумку в прихожей. Я боялась сказать что-нибудь случайно, держа пуговицу голыми руками.

— Послушай, Серёжа,— сказала я, когда мы уже пили по второй чашке чая.— Интересно, а если бы тебе вправду надо было проверить что-нибудь на алмазность, ты бы как поступил?
— Я бы достал из шкафчика колечко с брильянтиком и попробовал бы это «что-нибудь» поцарапать. Если не поцарапается, значит — алмаз.
— Мама! У тебя есть колечко с брильянтиком?— спросила Ирочка.
— Все свои бриллианты я храню в швейцарском банке,— ответила Лена.
— А сапфиром можно царапать?— спросила я.
— Можно. Но это хуже,— ответил Сергей.— Потому что сапфир имеет твёрдость восемь, а алмаз — десять. Но, по крайней мере, стекло сапфир поцарапает точно.

И мы продолжили пить чай.
— А давайте проверим!— предложила Ирочка.
— Миша,— сказала я, снимая с пальца кольцо и подавая ему.— Возьми пуговицу в моей сумке, во внутреннем боковом кармане.

Дети тут же выскочили из-за стола и, толкаясь, побежали делать новый эксперимент.
— В своей комнате царапайте, под настольной лампой,— сказала Лена.— Нечего здесь глаза портить.

— Ну что?— спросил Сергей, когда дети вернулись.
— Не царапается,— ответил Миша, возвращая мне мои драгоценности.

Я взяла у него кольцо и сказала:
— А пуговицу положи туда же, где взял.
— Значит, точно брульянт,— сказала Лена.
— Угу,— ответил Сергей и взял себе ещё одно пирожное.— Эх и раздамся же я за праздники.
— А колечко с брильянтиком можно у кого-нибудь попросить,— сказала Ирочка.— Может быть, у тёти Тани есть?
— Нет уж. К тёте Тане мы не пойдём,— сказала Лена.— Мы просто поверим, что это брильянт чистой воды, и всё. Это же Новый год, правда?
— А у тебя дома есть брульянты?— спросил Сергей, обращаясь ко мне.
— А то!— ответила я.— Весь рояль завален. Самым большим я капусту в бочке придавливаю.

В два часа всем уже захотелось спать, и я засобиралась домой. За рулём я всё время думала о своём втором желании.

Как только вошла в квартиру, тут же вытащила свою пуговицу, положила её на раскрытую ладонь и сказала:
— Хочу, чтобы он перестал пить.

Пуговица промолчала.

Но когда я её укладывала в жестяную коробку из-под конфет, где у меня хранились старые пуговицы, она вдруг задумчиво так спросила:
— Слушай, а ты уверена, что люди способны жить без воды?

На следующее утро меня разбудил звонок мобильника.
— Привет,— сказал в трубку бархатный голос.— С Новым годом. Ты через пару часов будешь дома?
— Конечно, буду,— ответила я, с трудом скрывая свою дикую радость.

Он вошёл, и я сразу что-то почуяла. Разделся, прошёл в кухню. У меня сердце уже обмирало.

Сел за стол, взлохматил свои волосы, к чему-то готовясь, и сказал, глядя мне прямо в столешницу:
— Я влюбился.

После чего достал из сумки свой фотоаппарат и выщелкнул на дисплее кадр.
— Вот, смотри.

Он поднёс к моим глазам экранчик.

И я увидела в нём себя, только на двадцать лет моложе.
— У тебя всегда был хороший вкус,— сказала я, проглотив шест.
— Ну, пока.

И пошёл в прихожую.
— Ты что, даже чаю не попьёшь?— выдавила из себя я.
— Спасибо, я больше не пью,— улыбнулся он.

А я к косяку прислонилась, чтоб не упасть. У меня почему-то в глазах мутно стало.
— Да, чуть не забыл,— он вытащил из-за пазухи маленькую коробочку из красного бархата.— Это тебе.

Телефон зазвонил, когда я лежала бревном на диване лицом вниз.
— Привет,— это был Сергей.— Ну как, удалось поцарапать пуговку?
— Нет,— ответила я.
— А брильянт для царапанья где взяла?— спросил Сергей.
— Там же, где берут бриллианты все женщины мира. В бархатной красной коробочке.
— Понятно,— сказал Сергей.— Как насчёт завтрашних лыж?
— Нормально.
— Тогда подгребай к нам часиков так в полдевятого. До десяти подъёмник — бесплатный.

Спаслась я работой. Благо, проект шёл тогда исключительно интересный. Мы тогда парк

проектировали. И он получался очень и очень. Нескромно скажу, проект получался такой, что я тайно думала, что ещё никто никогда во всём мире не придумал такого парка, какой тогда получался у нас.

Когда стал вырисовываться макет, я приседала перед ним так, чтобы мои зрачки были на уровне подрамника, и представляла себе, что я — там. Такая вот крохотная хожу в этом прекрасном парке. Я представляла себя то стариком, то старушкой, то мамочкой с коляской, то трёхлетним ребёнком, то школьником, то влюблённой парой, то компанией подростков или спортсменов. И получалось, что всем им должно было быть хорошо в том парке. Они все должны были быть в нём счастливы.

Здания создаются для разных целей, а парки — только для счастья, считала я. Именно поэтому я ими и занималась.

Проект уже был готов, когда на меня обрушилось сведенье, что территорию под него продали. И там теперь будет застройка.

Я пришла на градосовет, где рассматривали новый проект на это место. Проект очень-очень плотной застройки.

В зале было много народу. Всё это были мои коллеги, архитекторы. В основном мужчины, и в основном известные. Заслуженные и почётные. Седые волосы, кругленькие животы, очень серьёзные лица. Цвет нации, интеллигенция.

Из всего зала только одна я выступала против этого проекта застройки. Утверждала, что это — последнее место для парка в городе. Если его застроить, больше нигде в городе не останется никакой природы. Что огромное число жителей не смогут…

Эх, да какая теперь разница, что я там говорила.

Все мужчины проект одобрили. Все до единого. А один уважаемый архитектор, построивший в городе множество зданий, даже сказал:

— Не слушайте вы её. (Имелась в виду я.) У неё корыстные цели. Знаем мы этих озеленителей тайги. То, что в городе зелени не хватает, — чушь собачья. Кому не нравится, пусть уезжает вон из города. В городе другие ценности. В городе главное — что земля дорогая.

После градосовета я подошла к своему бывшему однокашнику. Он теперь был тоже солидным, седым и с животиком. К тому же он был главным архитектором города.

Я ткнула его пальцем в грудь и сказала:

— А я ведь могу убить тебя.

— Попробуй, — ответил он, усмехаясь.

Звонок раздался, когда я лежала бревном на диване лицом вниз.

Звонила дочь из Питера.

— Мама, я с ним вчера говорила. Он сказал, что ты можешь выходить на работу хоть завтра.

И поскольку я промолчала в трубку, добавила:

— Ну сколько же можно, в конце-то концов? Пообещай мне, что завтра начнёшь продажу квартиры.

Лето шло к своему закату, а до отъезда оставалась пара недель, когда я, наконец, решилась.

Ранним субботним утром я села в машину и выехала за город. Было ещё темно. Я направлялась к нашему водохранилищу.

Есть там у меня любимое место в одном заливе, где много летних часов я провела счастливо. Вот туда-то я и решила попасть.

На рассвете я припарковала машину на последней стоянке. На плоском крутом берегу стайкой цветных птичек стояли палатки. Кое-где ещё теплились костерки, и всюду валялось огромное количество мусора.

Когда я проходила мимо, из одной палатки молодой парень вывел согбенную девушку, и её тут же вырвало под первым кустом. Неподалёку у костра спал пьяный красавец в трусах и одной кроссовке. Его уже округлившийся животик лежал на груде бутылок. Вместе с ветром я вдыхала запахи хвои, воды и пьяного перегара.

Я долго шла знакомой тропинкой по-над обрывом. В воздухе всё ясней проступали деревья, между стволов блестела вода, и луна бледнела на небе. К своему любимому месту я подошла, когда вот-вот уже должно было взойти солнце.

Я встала на берегу, сняла свой маленький рюкзачок и достала из него газетный свёрток. Я медленно развернула его и сунула бумагу обратно. Положила алмаз на раскрытую ладонь. Он занял больше её половины. Другой рукой я достала из кармана ветровки маленький листок из блокнота.

— Ты слышишь меня? — тихо спросила я.

— Ну слышу… — возник в голове голос.

Почему-то он был уже не такой тонкий, как раньше.

— Слушай моё третье желание.

— Слушаю и повинуюсь.

Я помолчала, соображая, не означает ли это иронию, набрала полные лёгкие надводной прохлады и по бумажке прочла:

— Я хочу видеть планету Земля чистой, счастливой, прекрасной, со счастливыми, чистыми и прекрасными людьми, живущими на ней во всех временах и пространствах.

Стало тихо.

Стало так тихо, что мне показалось: даже воздух замер, пытаясь осознать, что я такое брякнула.

Я помолчала немного, вслушиваясь в тишину, и зачем-то спросила камень:
— Ну что, слабó тебе?
— Ну… Подумать надо, однако,— ответил алмаз как-то не очень уверенно.— Слушай, а ты что, правда, что ли, в землю меня собралась закопать?
— Ну да,— растерялась я.

В рюкзачке у меня для этого даже был приготовлен совочек, которым я грунт в цветочные горшки насыпаю.
— Не надо меня закапывать,— задумчиво сказал камень.— Лучше в воду брось. С водой легче работать.
— А, ну да, ты же брильянт чистой воды,— вздохнула я.

И мы помолчали. Он был такой красивый у меня в руке, я так давно его не видала, и я подумала, как много работы я сейчас на него нагрузила.
— Ну что же ты медлишь?— спросил камень.
— Думаю, что ещё забыла тебе сказать.
— Раньше думать надо было,— проворчал камень.— Бросай.
— Да, да, конечно.

Я ещё помолчала, поглаживая бриллиант пальцами.
— Прощай.
— Пока,— ответил он.

Я подошла к самой кромке воды, размахнулась что было сил и швырнула свой камень как можно подальше в воду.

Он летел как-то очень уж долго. Я даже успела подумать, что у меня нет таких физических сил, чтобы так далеко его бросить.

Он упал где-то аж на середине залива. От этого места пошли такие круги, как будто туда огромная глыба упала.

«Фантастика»,— подумала я и стала уже раздеваться, чтобы успеть искупаться перед возвращением в город, как опять услышала в своей голове:
— Слушай, а ты не задумывалась о том, что для исполнения твоего желания придётся как-то наказывать людей, а?

Я как была с одной снятой штаниной, так и замерла.

Разумеется, об этом я не подумала.
— Э-э-э-э… Ну ты там это… как-то так, не очень-то… как-нибудь так, бережно. Э-э-э… мягко. Не горячись, а?— ответила я.
— А это уже четвёртое желание,— усмехнулся в голове голос.

Он почему-то был похож на мужской, хоть и высокий.

А вскоре после того грянул всемирный кризис.

И не только в нашей стране, а по всей планете стали случаться вот эти всем известные случаи.

Правда, я слышала, что перед этим ещё и земная ось сдвинулась с места, но я всеми силами старалась в это не верить.

Каждое утро я начинала с того, что с волнением открывала компьютер, чтобы узнать в Интернете мировые новости.

Не могу сказать, что я не обращалась к алмазу мысленно с порицаниями или с вопросами, почему именно так всё происходит, а не иначе. И не могу сказать, что он мне совсем уж не отвечал никогда.

Иногда я явно получала ответ. И порой престранными способами. То во сне что-то увижу. То наяву кто-то рядом вдруг скажет. А то и просто закрою глаза и смотрю, смотрю…

Но не всегда это было. Так что о причине многих явлений мне приходилось только догадываться. Либо и вовсе мириться с непониманием.

За это время в моей жизни, да и во мне самой многое изменилось. Я переехала в Питер, и моя жизнь потекла совсем по другому руслу.

Но спустя пару лет я всё же вернулась в тот далёкий сибирский город. Хоть на недельку. Хоть на чуть-чуть. Ну просто чтобы друзей повидать.

Для приезда я выбрала самое красивое время в Сибири — жёлтую осень.

Остановилась у Лены с Сергеем. Каждый день рано утром уезжала за город и там бродила по любимым местам.

Город я почти и не видела. Да и смотреть, честно говоря, мне его не хотелось. Слишком грустные воспоминания он вызывал. И к тому же всегда был заполнен огромными пробками и чудовищным смогом. Уж чего-чего, а этого мне и в Питере хватало с избытком.

А вот главное дело я оставила напоследок. С этим делом я всё откладывала и откладывала.

Но когда, наконец, уже некуда стало откладывать, я поехала.

Поскольку теперь мне пришлось ехать на общественном транспорте, то добралась я до водохранилища почти что к обеду. На конечной остановке я вышла из автобуса совершенно одна.

Знакомое место выглядело иначе, чем в тот раз. Дул сильный ветер, и листья здесь облетали гораздо быстрей, чем в горах. Но знакомые сосны по-прежнему великолепно шумели. Палаток, конечно же, уже не было, костров — тоже. Ни души.

Мусора тоже не было видно. «Видимо, как-то организовали уборку»,— подумала я; у дороги стояли переполненные контейнеры.

Тут подъехал огромный джип, и двое здоровенных мужчин стали из него вытаскивать кайты.
— Девушка! — окликнул меня один из них.

Я оглянулась. Он был лет пятидесяти, с совершенно седым ёжиком на голове и круглым животиком.
— Неужели в такой ветер вы собрались купаться? — улыбался мне он.
— Нет, я так поброжу, — ответила я.
— Ну, когда набродитесь, приходите сюда, с нами кофе попьёте. Ведь замёрзнете.
— А вы неужели в такую погоду полезете в воду? — спросила я.
— А то! — ответил старший.

До нужного мне залива я дошла, по-моему, быстро.

Когда я встала на берегу в том самом месте, откуда швыряла в воду свой камень, ветер вдруг стих и рябь на воде исчезла. Поверхность стала совершенно зеркальная, и в ней отразились рыжий откос и лес на другом берегу залива.

Я посмотрела на то место, где, по моим воспоминаниям, должен был лежать на дне бриллиант, и как можно твёрже сказала:
— Послушай, ты знаешь... Мне кажется... Может, как-то полегче можно, а? Ты уж как-то так слишком, однако... Мне кажется. Посмотри, что вокруг творится. Тебе что, людей не жалко, а?! Ты подумай своей бестолковкой-то!!!

Я даже на лоб свой показала пальцем для большей наглядности.

Я увидела, как на чистой глади воды на середине залива пошли круги. Когда они достигли берега, в голове возник голос. Это был спокойный мужской бас.
— Не бери в голову. Всё в порядке. Скоро же Судный день и всеобщее воскрешение.

Я как стояла, так и села на камни.

Долго молчала, вытаращив глаза.

Наконец до меня дошло.

Вот, значит, как... В этом мире даже камни могут сходить с ума.

Ну конечно. Надо же знать меру в своих желаниях. Нельзя было так сильно перегружать камушек. В конце концов, он — всего лишь моя бывшая пуговица. Хоть и большая. Ишь чего возомнил, аж басить начал.

— А о нём ты что-нибудь знаешь? — выдавила я из себя.

Сердце при этом забилось в горле.
— Ты узнаешь о нём, когда он этого сам захочет, — доставили мне не мою мысль очередные круги на воде.
— Ага, — ответила я. — Он воскреснет и споёт. А ещё лучше — привидением. У-у-у-у! В Судный день. А все те, кто гибнут сейчас, кто страдает?! Издеваешься, да?!!!

«Боже мой! Что я наделала, что наделала!» — думала я, карабкаясь по крутому склону.

Вылезла на тропинку. Пошла неизвестно куда.

Как назло, вокруг фантастически было красиво.

В другой момент я бы на всю катушку наслаждалась всем этим: дышала соснами, небом, горами, водой. Смотрела бы и смотрела...

Ведь для этого я и приехала. В том числе — и для этого. Ведь именно это я любила здесь, в Сибири. Именно по этой природе я так скучала среди серой дождливой равнины с малюсенькой речкой.

Так шла я и шла, куда глядели глаза.

И через какое-то время вышла к конечной остановке автобуса.

На берегу, под соснами, дымил мангал. Уже знакомый седой кайтист помахал мне рукой, подзывая.

Я подошла. Он радостно налил для меня кофе, вручил бутерброд и объяснил, что катание не получилось, потому что ветер внезапно стих. Младший сидел в джипе и пил из кружки, глядя в телевизор, укреплённый перед ветровым стеклом.

Вдруг раздался знакомый голос.

Сердце бухнуло и свалилось вниз.

Я подошла к окну джипа и заглянула.

На экране был — Он.

Мой болезный, так резко когда-то исчезнувший друг, о котором я больше никогда не слыхала, с которым мне даже проститься не удалось перед моим отъездом отсюда, — сидел в кресле.

Вокруг него амфитеатром располагались люди. Ведущий ему задавал вопросы.

Мой бывший весьма изменился. Он отрастил волосы, на нём была косоворотка навыпуск.

Он помолодел, похорошел, а взгляд его стал каким-то другим. Живее, что ли. Но голос был тот же — бархатный и красивый.

Он рассказывал, что был алкоголиком, но потом встретил женщину. Камера переехала на другое лицо.
— Похожа на вас, — сказал сидевший в машине кайтист.
— Но не такая красивая, — добавил седой, нависая над моим плечом.

Эта женщина перевернула его жизнь. Он не только бросил пить, но под её руководством стал усиленно развиваться. А потом они переехали на Украину, познакомились там с солнцеедами и через какое-то время оба отказались от пищи,

а потом и от питья. С тех пор так и живут. Дальше шли кадры: Джазмухин, Зинаида Баранова, кто-то ещё. Я сказала:

— Фантастика.

Седой кайтист позади меня тихо вставил:

— А вы не знали? Их уже более двадцати тысяч в мире.

Как только передача закончилась, я поставила кружку на раскладной столик.

— Спасибо, я скоро.

И побежала.

— Мы вас подождём! — закричал мне вслед седой ёжик.

Не останавливаясь, я помахала ему рукой.

Я бежала к месту, куда не собиралась возвращаться уже никогда.

Мне надо было кое перед кем извиниться.

Торт морковный

Тот вечер закончился так странно, что я до сих пор многое не могу себе объяснить.

Помню, что было воскресенье. Помню, что пришлось закрыть окна, потому что ветер захлёстывал дождь внутрь офиса.

Времени, наверное, было уже много, потому что я свет зажгла. Не весь, а только в дальнем конце мастерской, над компьютером, у которого сидела. А у входной двери я свет зажигать не стала. Там одной лампы не хватало, а вторая вечно гудит.

Да и не люблю я эти лампы дневного света. От них лица у людей становятся какими-то сине-лиловыми. И вокруг всё кажется холодным и неуютным. Когда-то в детстве мне часто снились страшные сны. Я их до сих пор помню. За мной кто-то гнался по коридорам, я пряталась за какую-то дверь, её кто-то пытался открыть снаружи… И всё это — как будто в вязкой среде. Ни бежать быстро я не могла, ни кричать. И всё происходило как раз при таком освещении. Сейчас это мне кажется странным. Ведь в моём детстве ламп дневного света ещё не было.

Потом, в молодости, когда я работала в крупной проектной организации, я этот свет переносила гораздо легче. Тогда в нём огорчало лишь то, что лицо моё при нём становилось не очень красивым.

Сейчас, когда с тех пор прошло лет тридцать и мою красоту уже ничем не испортишь, мне этот свет мешает лишь тем, что при нём творчески мыслить уже невозможно. Какую-то рутинную работу ещё можно делать, а вот придумать что-то хорошее уже нельзя. По крайней мере, у меня — не получается. Хотя сейчас мне это и не очень-то нужно.

Сейчас у меня есть в подчинении молодые девчата, которые и фонтанируют идеями, а я их только критикую, исправляю ошибки и что-нибудь подсказываю с высоты своего опыта и знаний. Лица этих девчат и при этом холодном свете всё равно остаются красивыми и умненькими, а я кажусь себе не такой усталой и измученной, чем при ярком солнечном свете. Так что всё это вместе взятое как-то примирило меня с лампами дневного света. Впрочем, как и со многим другим в этой жизни.

Так что в тот вечер я сидела в офисе у дальнего компьютера и писала.

Есть у меня такое хобби. Я потихонечку графоманю. Относиться стараюсь к этому с юмором, но не могу отрицать, что это помогает мне иногда что-то как-то осмыслить. Может, и сейчас то, что я напишу, мне поможет.

Итак, я сидела в тишине и графоманила. А именно — записывала свои впечатления о вчерашнем дне, когда я случайно попала на встречу со знаменитым певцом.

Так получилось, что у моей знакомой журналистки оказался лишний билет на пресс-конференцию, а я ей была удобна тем, что у меня машина, на которой я её и подвезла в наш оперный.

Вот сижу и не могу вспомнить, как же зовут нашу знаменитость. Можно, конечно, дождаться утра и спросить у кого-нибудь. Можно залезть в Интернет и набрать в поиске что-нибудь типа «оперный певец из Красноярска». Но неохота.

Первое «неохота» потому, что я и так уже притча во языцех из-за своей способности забывать имена. И лишний раз становиться героиней анекдотов не хочется. А второе — пишу я гораздо позже того вечера, дома, и записей тех у меня нет. Они так на работе и остались, забытые в том дальнем компьютере. Сейчас четыре утра, это именно то время, когда я могу писать нормально, то есть… э-э-э… как бы это сказать, чтобы было не слишком высокопарно… но вроде бы — с вдохновением. Так что я слишком ценю это время, чтобы тратить его на Интернет.

А потом мне этим заняться будет, скорей всего, некогда. Ни этим днём, ни следующим, ни когда-нибудь позже. Так какая разница, напишу я здесь его имя иль нет? Для меня сейчас всё как-то сдвинулось и изменило приоритеты, так что я и не знаю, какой стану завтра и каким станет вокруг меня мир.

Сейчас мне кажется показательным, что, пока этот певец не стал знаменитым, а просто пел в нашем оперном, я ни разу не сходила его послушать и даже имени его не слыхала. Как, наверное, и многие остальные. Жили себе своими какими-то жизнями, свои какие-то драмы и радости переживали, и не нужен он нам был. Потому что не знали мы, что он станет всемирно известным. А потом, когда он им вдруг стал, то уехал не только из нашего

города, но и из нашей страны. И вот тут-то все и захотели его послушать.

И я бы тоже его послушала. Если бы кто-то мне сунул билет в белы рученьки. А самой ради этого делать какие-то телодвижения некогда и неохота.

А на пресс-конференцию я поехала. Первое — из-за халявы, а второе — хотелось узнать, как он теперь относится к своим землякам.

И вот я записывала свои впечатления о том, что, дескать, выглядит он прекрасно, что занимается спортом, не растолстел, как другие оперные артисты, что в каком-то жестоком клипе зачем-то снялся, чего, по-моему, делать не стоило — и так жестокостей в мире хватает, хотя что с певцов требовать, если все оперы — про плохое, просто кошмар какой-то, и неужели нельзя без этого.

Удивлялась, что у него сил хватает на всё: и на несколько жён, и даже на такой дрянной клип, потому что у меня уже сил остаётся только на то, чтобы тащить свою лямку и кого-нибудь как-нибудь не подвести.

И ещё я писала: удивительно, что своё пение в операх он назвал рутинной работой.

Вот так, оказывается. Делать для людей праздник — для кого-то рутина. Это мне особо запомнилось.

Записала, что, мне показалось, относится он теперь к своим землякам слегка свысока, слегка со скукой и слегка — с терпеливостью. А земляки-журналисты, надо сказать, хороши. Вопросы задавали порой — преглупейшие.

Делала я из всего этого какой-то вывод. Сейчас не вспомню какой, но, помню, осталась собою довольна и уже собиралась уйти, как тут в мастерскую вошла уборщица.

Уборщица у нас — пожилая худая женщина. От этого со спины она смотрится гораздо моложе. И поэтому, когда она поворачивается к тебе своим длинным лицом с выпуклыми глазами, резко кажется, что женщина плохо выглядит. Я этот эффект давно и в других замечала. Нужен всё-таки какой-то знак возраста, чтобы люди тебя адекватно воспринимали. Поэтому хоть я и стараюсь не набирать вес, но и худеть до молодых своих габаритов, наверно, не стоит. Такая вот утешительная мысль приходила мне в голову каждый раз, когда я видела нашу уборщицу сначала со спины, а потом в лицо.

Но тогда она вошла, естественно, лицом ко мне. Так что подумать на предмет нашей женской красивости я не успела. К тому же её морщины сразу же резко разгладились, и она просияла:

— О! Здравствуйте! Что это вы в воскресенье тут?!

Я ей тоже, конечно же, улыбнулась:

— Сыновья празднуют девятнадцатилетие, пригласили домой одногруппников. Ну и мягко так мать вытурили, чтоб народ не смущала. А куда идти? Вот и пришла опять на работу.

На самом деле я пришла на работу не потому, что мне идти некуда, а потому, что всё остальное — неинтересно. В театр ходить я давно перестала, потому что во время спектакля вычисляю дальнейший сюжет, оцениваю костюмы и декорации, представляю себе ход репетиций, отношения актёров вне сцены… Короче, всплывает во мне нереализовавшийся сочинитель, и я никак не могу окунуться в волшебство, которое трогало когда-то в юности. В кино — то же самое. Да и нет сейчас фильмов хороших. Что от телевизора меня тошнит, так о том и писать неохота.

Не хочется и в гости к кому-то идти. У всех перед понедельником бытовые дела. Готовятся люди к новой неделе. Да и разговоры разговаривать тоже уже почему-то не хочется. С возрастом всё больше я обнаруживаю, что мне интересно общаться с самой собой. Видно, сказывается нехватка уединения.

Но ничего этого, разумеется, я не сказала нашей уборщице. Кстати, я не помню, как и её зовут. Ну что ты будешь делать с этой памятью! Причём она у меня ведь всегда такая была.

Поначалу я это как-то переживала. В записную книжечку имена записывала. И потом забывала, на какую букву надо искать. А однажды где-то прочла, что это — характерная черта у людей, обладающих художественными способностями. Не помнят они имена и числа. И успокоилась. Дескать, я как раз такой человек и есть.

На самом же деле я иногда имена запоминаю. Но только тех людей, от которых что-то в моей жизни зависит.

Например, я сразу же и навсегда запоминала имена первых учительниц своих детей, детского участкового врача, друзей и подружек своих школьников. А вот имена наших заказчиков уже не могу запомнить, хоть тресни. Но у нас есть офис-менеджер, в обязанности которой входит напоминать мне, как их зовут. Перед встречей я записываю имена-отчества в перекидном календаре и подглядываю при разговоре.

Так что то, что не помню я имя нашей уборщицы, ничего на самом деле не значит. Она мне всё равно симпатична. Она всегда такая приветливая. Нет у неё комплекса маленького человека. Этим она мне нравится. Вот и тогда она радостно так ответила мне:

— Я тоже уходила из дома, когда дочка приглашала друзей. Чего мешаться, правда? Молодёжь — она и есть молодёжь.

Тут мне, уже сделавшей пару шагов к выходу, пришлось сделать стоп. Я подумала: «Неужели начнёт дальше рассказывать? Этого мне сейчас так не надо…»

Но всё же осталась стоять в проёме двери, как раз в том месте, где лампы не светят и свет от этого тусклый, как в кошмарном сне моего детства. А уборщица продолжила:
— Вот, приехала она сейчас у меня. Спрашиваю: «Какой торт хочешь?» Потому что у меня духовка в старой плите не работала. А теперь у меня плита новая, и духовка в ней—хорошая. Так что я спрашиваю: «Какой торт хочешь?» Она говорит: «Последний». Последний—это значит, морковный. Ну, знаете, наверное: стряпали такой…

И смотрит на меня выжидающе. По русской женской традиции я в этот момент должна была поднять брови и воскликнуть: «Морковный торт?! Да вы что! Нет! Я даже не слышала, что такие бывают!» И тогда бы она мне сказала: «Не знаете? Да вы что! Такая вкуснятина!! Я вас сейчас научу!» И начала бы давать мне рецепт.

Боже мой. Неужели это в женщинах нескончаемо?

Как много я в жизни скучала, выслушивая многочисленных женщин, которые хотели осчастливить меня кулинарным рецептом. Причём я никогда, ни единого разу ни одну из них о том не просила.

При социализме, помню, это вообще какой-то пунктик у всех был. Грех чревоугодия, возведённый в геройскую доблесть. Все женщины кичились друг перед дружкой умением печь, или, как говорят здесь, в Сибири,—стряпать торты.

Там, откуда я сюда приехала, слово «стряпать» означает делать наспех и неаккуратно. «Ну состряпала»,—говорил мне отец, когда я приносила ему свои акварельки, и терпеливо учил меня доводить работу до совершенства.

Но, конечно же, наша уборщица не знала моего отношения к этому слову.

Да и век сейчас другой, и я совершенно другая. Я уже могу позволить себе не говорить на не интересующие меня темы. В этом преимущество и моего возраста, и моего статуса.

Так что я улыбнулась ей так с терпеливостью и сказала:
— Да всякое за жизнь было…

Что означало: я уже столько тортов настряпала, что и упомнить все невозможно.

И опять боком-боком, чтобы уйти. Но она не закончила:
— Ну вот. Постряпала я им торт. Морковный. Начинаю его украшать.

Это означало, что я должна с искрой в глазах спросить: «А чем вы украшаете свои торты?» И тогда бы она поделилась со мной совершенно необыкновенным рецептом украшательства торта.

Но я не спросила. Я руку держала на ручке двери. И улыбалась ей совсем уже вымученной улыбкой. А она смотрела на меня внимательно и продолжала:
— А она—хвать с торта. И в рот. Я говорю: «Куда?! Вон на тарелке же есть, оттуда бери!»

Итак, мне давался ещё один шанс. Нужно было спросить, что именно лежало в тарелке. Чем такой торт украшается, в конце-то концов!

Я молчала. Переступала ногами, чтобы уйти. Рассказ у женщины совсем уж комкаться начал. Она уже чуяла, что всё идёт неправильным руслом.
— Я её—р-р-раз… По рукам. «Бери из тарелки». А она: «Тут красивей».

Вот здесь-то уж точно надо было мне вставить фразу по стандарту ведения женской беседы. Я даже знала, что нужно вставить. Но не вставила.
— Тоже ведь дитё, правда?..—произнесла наша уборщица совсем уже неуверенно и наконец-то закончила свой рассказ.

И в этом месте мне нужно было спросить: «А сколько лет вашей дочери? Есть ли внуки? Где живёт?» Но я опять не спросила. Ну лень мне было!

А вместо этого я сказала:
— Ладно, до свидания.

И наконец-то сделала шаг за дверь.

И тут за спиной раздалось: бух!

Как будто что-то упало. «Наверное, швабра»,—подумала я. Очень мне не хотелось в тот миг оглядываться. И всё-таки я обернулась к открытой двери.

В проёме на фоне тёмного квадрата окна я увидала, что наша уборщица стоит прямая как струнка и смотрит прямо перед собой удивлённым взглядом. Мне виден был её профиль и выпуклый глаз с поднятой бровью. В той стороне, куда она смотрела, никак не должно было быть ничего интересного. Там на стене у окна висит большой календарь с видом на Енисей, а с другой—стоит стеллаж с папками. Но уборщица явно смотрела между ними. Ну не на пустую же стену так смотрят?

Я с досадой сделала шаг назад и заглянула в дверь.

В полумраке, на фоне голубоватых обоев, прямо в воздухе висел мираж.

Я никогда не видела миражей, но как это иначе назвать, я не знаю. В воздухе шёл фильм? Ну что ж, пусть будет так, если это будет яснее. Только тогда надо пояснить, что фильм этот был бледным, но зато объёмным.

Показывали (если я опять употребляю не то слово—простите)—показывали какой-то потоп. Вроде как где-то трубу прорвало. Вода лилась в помещение откуда-то сверху и сбоку. И уже подбиралась к большому макету, стоявшему на полу. Знаете, бывают такие в краеведческих музеях. Они раскрашены в жуткий зелёный цвет, типа: вот наш край, гляньте, какой красивый.

На этом тоже зелёной краской был покрашен рельеф, на нём были видны серенькие дороги, а белые пластиковые пластинки изображали селения. Вода подбиралась с пола к верхней кромке подрамника. На моих глазах она залила впадины между рельефом и стала покрывать первые пластинки посёлков.

Смотреть на это было забавно.

Но тут я заметила, что уборщица что-то делает. Я перевела взгляд на неё. Она водила руками в воздухе. И лицо у неё при этом было умное и сосредоточенное.

И вообще, это была как будто и не наша уборщица. Знаете же, как актёр преображается? Вот он в той сцене был одним человеком, а через секунду в другой сцене—уже другой. Хоть и с тем же самым лицом. То же самое произошло и с женщиной, на которую я в тот миг смотрела.

Она заметила мой взгляд и сказала:

— Что стоишь? Делай, что я. Убирай воду.

И интонация её была совершенно не та, что прежде. Говорила как будто подруга моя стародавняя, которая знает меня как облупленную. И я—что удивительно—приняла это как должное.

Я стала смотреть, что же именно она делает в воздухе своими руками. Выглядело так, как будто она отпихивала воду назад. Я посмотрела опять на мираж. И увидела, что вода и вправду повинуется её движениям и движется назад, как если бы плёнку в фильме стали крутить в обратную сторону. Изрезанные пластинки осушались, из впадин вода утекала за пределы макета.

Но начать руками водить в воздухе? Мне? Это было как-то уж очень нелепо. Я стояла, ни на что не решаясь. Возле меня валялась действительно упавшая швабра.

И вдруг кадр сменился. Макет был другой. Это был макет нашего города. И вода заливала его. Я мгновенно узнала в белых брусочках знакомые микрорайоны, кварталы, многоэтажки. Я узнала генплан. Да это и был огромный макет генплана. Он даже в «кадр» целиком не помещался. Поэтому его «показывали» по частям. И я видела, как вода заливает стеклянную реку посреди города. Вот она уже потекла в приток, в Качу, вот начала заливать макетики зданий.

— Помогай. Чего смотришь?

И тут я не выдержала. Я сбросила сумку на пол и стала тоже водить руками. «В конце концов—это игра, причём презабавная,—подумала я.—И никто нас сейчас не увидит. Смеяться над нами—некому. А потом я её расспрошу, что это было».

И я стала гнать воду с макета вспять.

И вошла в такой раж! Мне так понравилось, что мне мираж подчиняется!

Вода явно пошла назад именно под моими маханьями. Вот она ушла из устья Качи, осушился Дворец пионеров, обнажилась Стрелка. Я так осмелела, что рукой, как мышкой на мониторе, передвинула кадр, чтобы разглядеть правый берег. Многоэтажки были по пояс в воде. Я стала выгребать эту воду в реку и катить вон с макета. И так мы развлекались (или работали?) не знаю сколько по времени. Но, наверное, достаточно долго. Потому что я, помню, сказала:

— У меня руки устали.

Она ответила:

— А ты—мысленно.

Я опустила руки и стала убирать воду мысленно. Я прямо глазами толкала воду, просто—взглядом. И это стало у меня получаться быстрей, чем руками.

Но вдруг картина на мираже опять сменилась: два чёрных выхлопа бесшумно рванули вверх перед нами, и уборщица резко махнула рукой так, как будто накрыла их прозрачным плащом. И стала руками опускать его на эти чёрные выхлопы.

Наверное, это и вовсе уж странно звучит, но я видела, и как возник плащ под её рукой, и как он взвился. Мне казалось, что я даже свист полёта его услыхала.

Это было очень забавно: будто мы сами себе кино делали. Я даже помогла ей превратить накинутый плащ в идеальную сверкающую сферу.

— Воду гони,—сказала она мне, видя, что я ей помогаю.

Я хотела сказать: «Так я её больше не вижу»,—но не успела. Потому что после её этих слов снова увидела кадр, в котором вода всё ещё заливала макет.

С того момента, я думаю, мы с ней видели разные миражи. Что делала она в своём, я не знаю, а я опять стала выталкивать воду с макета. Я её всю убрала туда—не знаю куда, просто сделала так, что её не стало, и так же, глазами, стала восстанавливать все упавшие кубики-дома.

Но тут мне подумалось: а зачем я их восстанавливаю? Они же такие уродины, эти многоэтажки. И я стала мысленно на их месте строить новые здания, в моём понимании красивые. Иногда я на месте бывшей застройки сажала сад или разбивала парк. И так увлеклась этим процессом, что даже вздрогнула, когда услышала:

— Эй, не слишком ли много изменений? Может, хватит?

Я глянула на уборщицу. Она сидела на стуле для посетителей, устало сложив на коленях руки. И улыбалась мне какой-то мудрой улыбкой. Такой, какая получается у меня на тех фото, где меня щёлкают в фас мои внуки.

— А мне понравилось,—ответила я ей.

И снова повернулась к нашему миражу. Но его больше не было. Перед нами была только стена, голубая от дальнего освещения.

Я попятилась, задев швабру, и присела на стол позади себя.

— Что это было?

— Надеюсь, что этого мы уже не узнаем,—сказала она.—Что-то где-то должно было произойти. Но, может быть, нам это удалось остановить. Всё зависит от того, много ли нас таких было. Идите домой, вам надо успеть добраться, а то с непривычки может наступить сильная слабость. Идите. Я потом всё объясню.

Я заметила, что она опять перешла на «вы».

Мне хотелось ещё что-то спросить, но тут я почувствовала, что засыпаю. Вот, кажется, тут бы упала на пол и заснула. Огромным усилием воли я подобрала с пола брошенную сумку (эх и тяжёлой она мне показалась) и пошла вниз. Я никогда не пользуюсь лифтами. Я этаким образом борюсь с гиподинамией. Вот и в тот раз я по привычке не вспомнила о лифте и до самого низу дошла пешком. Шла еле-еле, боясь оступиться в своём полусне или даже почти сне, но как только вышла наружу, сразу же стало легче.

Дождь, видимо, только что кончился. И того сильного ветра, что был прежде, тоже не было. Только лёгкое такое, ласковое дуновение в лицо получилось, как будто специально ради меня воздух старался.

— Спасибо,—сказала я и подумала, что если сейчас мне воздух ответит, то я совершенно не удивлюсь.

Я вдохнула пару раз поглубже ночную свежесть, небыстро дошла до машины, забралась в неё и тут же заснула.

Проснулась не помню во сколько от звонка мобильного. Звонили близнецы, сообщили, что гости уже разошлись и что они волнуются, где я.

Я сказала, что со мной всё в порядке, что скоро приеду, и нагнулась посмотреть в ветровое стекло на верхний этаж нашего здания.

В трёх окнах всё ещё горел неяркий свет. Правда, не в нашем офисе. «Наверное, она уже домыла у нас и перебралась к соседям. Как же её всё-таки зовут? Надо будет спросить»,—подумала я и вспомнила, что и она ни разу не назвала меня по имени. Наверное, тоже не знает.

Когда я вернулась домой, даже посуда была почти вся помыта, а сыновей не было. На мобильник пришло сообщение, что они ушли провожать девушку.

Ну и молодёжь пошла, ну и нравы. Не пьют, не курят, на вечеринках не пляшут. Сядут кружком и философствуют. Зададут вопрос—так ведь не только ответить не можешь, но даже и не поймёшь, о чём спрашивают. То ли их учить, то ли у них учиться. Или такими и должны быть будущие современные художники? Одно в них просто и совершенно понятно: судя по немногим остаткам, аппетит у всех по-молодому отменный. Я помыла кастрюли и сковородки, усилием воли заставила себя проделать все привычные ванно-моечные процедуры и рухнула спать. Заснула я, наверное, раньше, чем донесла голову до подушки.

А утром меня разбудил звонок телефона. Оказывается, на работе волновались, что меня нет так долго, ведь назначена встреча с заказчиком. Я подскочила, было уже пол-одиннадцатого. Проспать так долго мне, жаворонку от природы, было делом совсем небывалым. Видимо, уборщица была права, пообещавши слабость.

Я собиралась как угорелая, чтобы не опоздать на встречу. Но всё равно слегка опоздала.

Когда я, запыхавшись, почти вбежала в офис, за моим столом сидела наша директор, а на том гостевом стуле, куда вчера так устало опустилась уборщица, едва помещался огромный мужчина, один из наших заказчиков. В ожидании меня они обсуждали новости.

Вот тут я и узнала, что только что, в восемь часов утра, на Саяно-Шушенской гэс случилась авария.

Наверное, по каким-нибудь законам литературного жанра именно здесь и нужно закончить рассказ. И не мучить читателя прочим. Ибо я сама не люблю, когда люди говорят много, не экономя время других.

Наверное, надо сделать именно так. Но: первое—я не знаю всех этих законов жанров, а второе—я не могу.

Поэтому потерпите, я всё же маленько дорасскажу, что было дальше.

Нет, я не кинулась сразу разыскивать нашу уборщицу, чтобы расспросить её, не имеет ли наше вчерашнее приключение отношения к нынешней катастрофе.

Не кинулась потому, что было, как всегда, некогда. Потому что как только ушёл заказчик, обнаружилось, что надо лететь в Москву на конференцию, которой мы в фирме придавали большое значение, а у меня не готов доклад, так что я занялась этим плотно и отложила выяснение странного происшествия на потом. Потом надо было успеть всё подгрести перед поездкой, чтоб у девчонок и смежников вопросов не оставалось, пока я буду в отлёте…

Короче, лишь в самолёте я записала в блокнот то воскресное происшествие, чтоб потом не забыть детали.

«Потом» наступило нескоро.

Когда уже грянули морозы и строительный зуд у наших заказчиков поутих, сменившись на жажду полётов в жаркие страны, вот тогда только наступил какой-то просвет, и я села искать в Интернете всё про то происшествие на гэс.

И конечно, нашла всего—кучу. В том числе и фразу о том, что четырёхтонный агрегат, попирая законы физики, летал по залу, как вертолёт. Нашла и про то, что до гэс на этом месте в Саянах было

шаманское капище, которое строители благополучно разрушили и сбросили идола в воду, как раз под будущую плотину.

Тогда многое в том августовском приключении мне стало видеться как-то по-новому. Но что это было — верные догадки или просто привычное воображение, я сказать себе не могла. И рассказывать кому-то об этом, конечно же, я не стала.

А нашу уборщицу я с тех пор не видала. Сама она мне на глаза почему-то не попадалась, а искать её целенаправленно, как я уже говорила, мне было совсем некогда.

Так что опять же только в морозы я наконец-то спросила на вахте, когда её можно застать на работе. И тут оказалось, что она уже у нас давно не работает и вообще уехала в другой город к дочери. Я даже спросила, нельзя ли узнать адрес её нового пребывания. Мне ответили, что, конечно же, нет, потому что она его никому не оставила, и вообще она всегда была какая-то странная и мало с кем разговаривала.

«Вот те раз, — подумала я. — А у меня было впечатление совершенно обратное».

Именно тогда я попыталась найти свои самолётные записи и привести их в тот вид, который вы сейчас прочитали.

И тогда случился ещё один странный случай.

Как раз в тот день, когда я закончила набирать на компьютере этот текст, на электронную почту нашей фирмы пришло письмо с пометкой в теме, что оно для меня лично.

В этом письме была только одна фраза:

«Боги — это те существа, что свободны в своих действиях и могут творить миры, ангелы — это существа, не имеющие воли и созданные богами или другими ангелами для услужения. Люди — это те боги, кто забыл свою суть, заигравшись в жизнь».

Обратный адрес был из сплошных цифр.

Почему-то, увидев это письмо, я так сильно разволновалась, что меня аж в жар бросило. Почему-то я сразу решила, что это письмо от нашей бывшей уборщицы. Поспешно и с сильным сердцебиением я тут же переслала его на свой домашний адрес, а из офисной почты стёрла, чтобы никто не успел увидеть.

Да и то было странно, что оно выскочило именно тогда, когда по совершенной случайности нашу почту открыла именно я. Ведь я очень редко в неё захожу, это не входит в мои обязанности, и обычно нужные письма мне кладут на стол уже в распечатанном виде.

И вот когда я пришла домой и перечитала внимательно эту фразу, я стала отвечать на письмо.

Я писала нашей уборщице, называя её по имени-отчеству, которые к тому времени уже знала. Я писала ей, что я догадалась, чтó именно мы тогда делали. Я спрашивала, почему у нас с ней не получилось. Вернее, почему у нас недополучилось. Почему всё-таки были жертвы? И где те, другие, про кого она тогда говорила? Как мне их разыскать? — спрашивала я.

Я писала, что чувствую: живу как-то не так. Что мимо проходит что-то очень важное. Что нутром ощущаю: время как-то меняется. Что мне кажется, я могу что-то большее. Но что меня несёт и несёт каким-то потоком, и я не могу никак остановиться, чтобы подумать, чтоб разобраться. Потому что я всё выполняю какие-то обязательства, какие-то договоры, куда-то я всё спешу, зачем-то я проектирую какие-то нескончаемые коттеджи неимоверных, просто дворцовых размеров, и всегда при этом — не моего вкуса. И о том писала, как они мне уже осточертели, как они мне скучны — так же, как и те люди, что в них нуждаются…

И что вообще мне всё чаще кажется, что живу я в огромном-огромном сумасшедшем доме. И что я в этом доме делаю вид, что я тоже сумасшедшая, иначе все будут считать меня ненормальной.

Я писала и плакала, тыкая в клавиатуру, и громко сморкалась в домашнюю кофту, благо, никто не мог меня в этой дикости видеть.

Я чуть было не отправила это письмо. Я уже мышку держала на том значке. Готова была нажать на неё.

Я вдруг опомнилась.

Куда, кому я пишу? Почему я решила, что это та самая женщина?

Я всё удалила. Пошла в ванную и умылась. Посидела на краю ванны, подумала. И, вернувшись, написала кратко: «Кто вы?»

И только тогда отправила.

На следующее утро моё письмо вернулось со всеми обычными английскими «сорри» за невозможность доставки.

Так и осталась эта история в моей памяти одной из многих, которые случаются со мной постоянно и проходят неразгаданными, неосознанными и неиспользованными.

И вот я напряглась и закончила всё-таки запись хоть одной, этой. В надежде, что что-то всё же однажды случится со мной такое, что даст мне знать, даст понять…

Что знать? Что понять?

Не знаю. Не понимаю.

Игорь Белов

Вызывающе другой

О книге стихов Евгения Чигрина «Погонщик»

На Востоке говорят, что все проблемы современного человека связаны не с тем, что никто не знает правильных ответов, а в том, что почти никто не ставит нужных вопросов. Правильно поставленных вопросов в книге Евгения Чигрина «Погонщик», само название которой (не говоря уже о содержании) сразу разворачивает наше внутреннее зрение в сторону «золотых песков Афганистана и стеклянной хмари Бухары», довольно немало. Это, однако, не риторические вопросы, которыми задаётся обычно рефлексирующий литератор и каковые не предполагают вовсе ответов. Мне кажется, что Чигрин кое-что понимает о человеке, времени и пространстве, но предпочитает не высказываться об этом в стихотворении напрямую. Напротив, погружая читателя в свой неповторимый поэтический мир (а у Чигрина, безусловно, свой, не заёмный поэтический мир, который уж точно ни с каким другим не спутаешь), он помогает нам самим разобраться в себе. Он разговаривает с читателем не спеша, словно разматывая волшебный клубок, приглашая прогуляться в такие лабиринты, где не только интересно, но иногда и опасно: нет-нет да и промелькнёт в чигринских текстах «зверь, что меня приметит, в преисподнюю подвозя».

Евгений Чигрин — поэт настолько самостоятельный, самобытный и современный, что его не причислишь ни к одному литературному направлению, ни к одной поэтической тусовке, ни к одному клану. Тут, конечно, многое совпало: и то, что он начал активно участвовать в том, что громко и безответственно именуется «литературным процессом», на стыке эпох, на рубеже столетий, — и поэту просто по врождённой, очевидно, брезгливости не захотелось ходить строем и вставать в общую очередь; и то, что приехал он в Москву с Дальнего Востока, уже выработав не только собственную поэтическую походку, но и, что гораздо важнее, сформировав собственный взгляд на мир; не последнюю, а, скорее, определяющую роль сыграли талант и острое чувство стиля. Как и у Георгия Адамовича, его литературная судьба — одиночество и свобода. Чигрин — отдельный. Он сам по себе.

Критики часто называют Чигрина постакмеистом. Да, за его стихами деликатно маячат тени Гумилёва и Киплинга. Однако умный Чигрин, прекрасно это понимая, способен отстраниться и по такому поводу пошутить:

> Я — предал Север, надкусивши Юг
> на акмеистом найденном вокзале…

Востока в книге Чигрина действительно много: раскалённые пустыни, жёлтые пески, опий, кунжут, брахманы и соки лотоса, колесо сансары… Для Чигрина, как и для Бродского, очень важно физическое, даже географическое размещение эмоции. Важно и то, что книга «Погонщик» — пахнет, у неё по-восточному пряный аромат. Прочитав сборник, я не удержался и в тот же вечер сходил в ресторан восточной кухни — чтобы не только сохранить, но и проверить ощущения. Стихи оказались даже вкуснее:

> Тмин, кардамон, кориандр и ваниль,
> пряность мешая со смрадом,
> Жизнь окуналась в капуровский фильм
> рядом с краснеющим садом.
> …Пальцы оближешь, смакуя барфи:
> лакомство из парадиза,
> Это признанье в блеснувшей любви
> (в паспорте блёсткая виза).

При всех перекличках с Гумилёвым и прочими, сразу становится очевидно, что лирический герой Чигрина — совсем другой, вызывающе другой. Это не «конквистадор в панцире железном», не киплинговский «солдат и матрос заодно», несущий на себе тяжёлое «бремя белого человека», сахиба. Не стоит обманываться заголовком одного из разделов книги — «Колониальные песни», колониализм здесь мирно стоит за прилавком с колониальным товаром, навсегда зарыв топор войны (хотя кто его на самом деле знает — навсегда ли?). И всё-таки чигринский герой — не колонизатор, а созерцатель, но созерцатель благодарный и деятельный: окружающий пейзаж он вбирает своим ненасытным взглядом без остатка, и пейзаж становится человеком. Так гениальный музыкант, исполняя песню о любви, сам вдруг становится

этой любовью («всё казалось любовью» — как бы между прочим роняет в одном из стихотворений Чигрин, словно полемизируя с Мандельштамом, у которого «всё движется любовью»). Лирический герой Чигрина подчиняет себе пейзаж без единого выстрела — силой внимательного и сильного, гипнотизирующего взгляда. Очень, кстати, по-восточному мудрый подход.

Чигрин вообще тяготеет к сильным словам и формулировкам. Непрекращающееся ощущение драйва тут возникает ещё и оттого, что «высокое» сопрягается с «низким»: «ветер мёртвых лет» и «гранатовый закат подсознания» вполне гармонично соседствуют здесь с оборотами вроде «остальное мура и липа», «забив на всё окрест», «от такого, мля, начинаешь мямлить» и т. п. Здесь нет противоречия — просто между этими, казалось бы, абсолютно непересекающимися мирами и натянуто сверкающее полотно стиха, да так сильно, что в воздухе стоит гул (тут невольно вспоминается Пастернак с его «я жизнь в стихах собью так туго, чтоб можно было ложкой есть»). Только в такой густой атмосфере могут появиться зачаровывающие чигринские метафоры вроде «жёлтый восток расплетает косички залива». Особую же силу всем этим стихам, как мне кажется, придаёт неповторимый чигринский understatment — сдержанность сильного человека, отдающего себе отчёт в том, что́ он способен и должен сказать.

Поэтому когда он говорит — получаются строчки, которые хочется запоминать и цитировать. Именно так и рождаются крылатые фразы, в этом их сила, искренность и достоверность. Чего стоит, к примеру, строка: «Я счастлив был, как джазовый концерт», — любой, кто хотя бы раз слушал джаз вживую, согласится, что такой полноты счастливых ощущений, как у джазменов, играющих «джем», в этом мире ещё поискать. Лирический герой Чигрина так и живёт — «придумывая музыку к весне». Иногда всё, что ему хочется, — это «музыкой дышать да смахивать невидимые слёзы». Целый раздел в книге — «Смычковая музыка» — посвящён фантазиям на музыкальные темы. Остряки утверждают, что писать о музыке — всё равно что танцевать об архитектуре, но сказано это уж точно не о Чигрине. О музыке он пишет виртуозно.

Колыбельного места осенний надлом,
В жёлтых жалобах мокнет листва.
Из бороздок пластинки опять Сент-Коломб,
С этим галлом в печаль голова
Окунается, ровно в густой кальвадос,
Зарывается в молодость так,
Что опять и разлука, и страсти всерьёз,
И в кино — фантомасами страх…

Как-то в одном из своих интервью Чигрин обмолвился в том духе, что человек счастлив тогда, когда он имеет возможность путешествовать. А мне в этой связи вспомнилось начало одного из романов Селина: «Путешествовать — полезно, это заставляет работать воображение». Вспомнилось потому, что воображение Евгения Чигрина работает с такой силой, что и наше воображение легко стряхивает своё повседневное оцепенение и вдруг включается на полную мощь.

Калининград — Варшава

Анна Гедымин

Осветить лицо улыбкой…

О новой книге Евгения Минина «Погоня за ветром» (Иерусалим, 2012)

Евгений Минин — фигура в современной русской поэзии особенная, даже парадоксальная. Родился в городе Невель Псковской области, учился в Ленинграде, давно обосновался в Иерусалиме, где работает в школе и осуществляет активную литературную деятельность, — и при этом воспринимается прежде всего как участник московской поэтической жизни. Все его здесь знают, все читают, все цитируют.

Конечно, «виноваты» в этом в первую очередь пародии, с которых началось несколько лет назад «триумфальное шествие» Евгения Минина по московским периодическим изданиям. Пародии очень меткие, невероятно смешные и одновременно — опять парадокс! — совсем не злобные. <…> Недаром Александр Кушнер начал свои размышления, сопровождающие настоящее издание, словами: «Евгений Минин, кажется, единственный сегодня поэт, работающий в жанре поэтической пародии». А закончил так: его пародии напоминают «об ответственности за поэтический смысл и слово». Редкий случай: это мнение разделяют литераторы самых разных поколений и творческих направлений — поэты Игорь Панин и Светлана Осеева, публицист и издатель Евгений Бень, критик Эмиль Сокольский и многие другие.

Но на этом парадоксы не заканчиваются. Вот что пишет в предисловии к «Погоне за ветром» Ян Шенкман: «Это не совсем обычная книга. В ней — два автора под одной фамилией. Один — тонкий и умный лирик, наблюдатель и мудрец. Другой — виртуозный пародист, умеющий из пары чужих строк разыграть маленький спектакль».

Что тут скажешь? Конечно, Минин-поэт отличается от «однофамильца»-пародиста. Это уже не тот хохотун и шутник — жанр другой. И всё же чувство юмора — нередко грустного юмора и больше обращённого на самого себя — не покидает автора. И мы вдруг явственно видим уютного, немного нелепого и оттого ещё более обаятельного человека, у которого «жизнь, как любимое пальто, / расходится по шву»; который неожиданно узнаёт, что его называют персоной нон грата, но тут же находит в этом положительную сторону. Этот Минин — никакой не блистательный острослов и любитель светских тусовок, но зато у него проскальзывают такие эпитеты (например, «белокожий день» или «герой холстов — ультрамарин»)! И, разумеется, только Минин-поэт может позволить себе редкую и потому особенно трогающую душу лиричность: «Если б ведала только, как холодно мне без тебя. / Даже северный ветер не кажется злым и суровым…»

Но книга не была бы книгой, если бы не добавляла к разрозненным произведениям какое-то новое впечатление — за счёт своей композиции, расстановки акцентов и прочего. В данном случае это новое качество, бесспорно, появилось — просто благодаря тому, что с разделами философских, лирических, юмористических стихов и пародий в ней соседствует раздел «Танец на углях». И всё становится на свои места: мы вдруг понимаем, что «оба» Минина — и поэт, и пародист — живут, смеются, горюют, рассуждают, любят — на фоне интифады.

И совершенно иной смысл приобретают строки: «Улицу переходим на зелёный / И каждый день живём — на красный». А к числу парадоксов, наполняющих сборник, добавляется ещё несколько. Например, тот, что описан в стихотворении «Дружу с Махмудом…»: «мы по сторонам глазеем, дабы: / я — чтоб не увидели евреи, / он — чтоб не заметили арабы…»

Вот такой он, наш «Евгений, парадоксов друг». Разный. Интересный. Ни на кого не похожий. Гипнотизирующий своей тёплой, доверительной интонацией.

Единственное, с чем я внутренне не смогла согласиться в его книге — это с пародиями на поэтов Серебряного века. Как-то неловко мне читать такую сегодняшнюю, с подчёркнуто современным названием — «Погода в даме» — пародию на стихи Ахматовой. И на стихи Блока, Пастернака, Есенина… Впрочем, может быть, Евгений Минин просто свободнее меня.

А закончить хочется, что называется, на высокой ноте: спасибо «Иерусалимскому журналу», публикующему разных, но всегда достойных авторов — поэтов и прозаиков — не только на своих страницах, но и в «Библиотеке»!

Артём Кривулько

Туфли, чувствующие боль

1.

Сапожник Иван сидел в мастерской и скучал. Шёл первый час, и с утра, с тех пор как он пришёл на работу, не было ни одного клиента.

Чтобы чем-нибудь себя занять, Иван решил наточить ножи. Только он взял один из пяти ножей, лежавших на рабочем столе, как в мастерскую вошла женщина лет тридцати пяти. С сумочкой на плече и с пакетом в руке.

— Мне нужно поставить металлические набойки,— сказала женщина и вытащила из пакета туфли.

Иван взял их и с видом опытного мастера, коим он и был, осмотрел каблуки. На одном стояла полиуретановая набойка — правда, изрядно изношенная, из другого торчал лишь штырёк.

— Сто восемьдесят рублей,— сказал Иван, поставив туфли на стол.

Женщина расплатилась, взяла квитанцию.

— Когда прийти?

— Можете сегодня, после пяти.

— Хорошо. Только у меня к вам небольшая просьба,— женщина многозначительно посмотрела на Ивана.

— Какая?

— Обращайтесь с моими туфлями бережно и аккуратно.

— Можете не беспокоиться,— добродушно сказал Иван, хотя внутри себя немного помрачнел: ему не нравились клиенты, которые говорят, что нужно бережно и аккуратно обращаться с их обувью. Но виду не подал.

— Это не простые туфли. Они особенные.

Иван помрачнел ещё больше, но на его лице это не отразилось: оно по-прежнему было доброжелательно.

— Неужели?

— Как вам сказать. Они… в общем, эти туфли чувствуют боль.

Иван с удивлением посмотрел на женщину, гадая про себя, шутит ли она или у неё действительно с головой не всё в порядке.

— Понимаю, что это странно звучит, но это правда.

— Буду с вашими туфлями предельно осторожен,— сказал Иван с серьёзным видом.

Женщина недоверчиво посмотрела на него.

— Вы, наверное, подумали, что я немного… того?

— Нет-нет, что вы,— поспешно солгал Иван.— У меня каждый второй клиент так говорит про свою обувь.

Женщину вроде бы удовлетворил его ответ. Во всяком случае, сомнение и недоверие в её глазах исчезли.

— Короче, чтобы туфли не чувствовали боль,— сказала женщина таким тоном, словно делилась рецептом какого-то блюда,— нужно перед тем, как ремонтировать, накрыть их тряпкой. Желательно сухой и более-менее чистой, чтоб туфли не испачкать. У вас найдётся такая тряпка?

— Найдётся.

— Итак, накройте туфли тряпкой и подождите минут пять. А лучше десять. Хорошо?

— Хорошо,— сказал Иван, а про себя подумал: «А если я подожду минут пятнадцать, а то и больше, что станет с вашими драгоценными туфлями? Подгорят?»

Иван чуть не улыбнулся, но вовремя подавил улыбку.

— Только после этого можете ремонтировать,— женщина с надеждой посмотрела на Ивана.— Вы сделаете, как я сказала?

— Сделаю,— ответил Иван, лишь бы женщина наконец ушла.

— Обещаете?

Иван открыл было рот, чтобы сказать: «Обещаю»,— как вдруг в мастерскую вошёл молодой парень.

— Э… да, обещаю,— уклончиво ответил Иван.

Внимание его переключилось на нового клиента.

— Хорошо, вечером я приду,— сказала женщина и вышла из мастерской.

— Можно здесь что-нибудь сделать?— спросил парень, показывая Ивану кроссовки.

Иван взял кроссовки в руки и с видом опытного мастера, коим он, конечно, и был, осмотрел их.

2.

Когда парень ушёл, Иван отложил кроссовки и взялся ремонтировать туфли. Просьбу женщины накрыть их перед началом ремонта тряпкой он решил не выполнять, подумав, что в этом нет необходимости.

Иван взял сначала туфлю со стёршейся набойкой и пассатижами без особого труда вытащил эту самую набойку. И в тот момент, когда вытаскивал, он услышал еле слышный женский крик. Ивану показалось, что это с улицы какая-то девчонка кричит. «Что её там, насилуют, что ли?» — подумал Иван и, взяв со стола шило, сунул его в отверстие в каблуке. Свободного места внутри было предостаточно, чтобы забить новую набойку: больше двух сантиметров.

Иван взял другую туфлю, из каблука которой торчал штырёк. Кусачками попробовал вытащить штырёк, но не получалось: кусачки не могли толком ухватить штырёк и соскальзывали. В таких случаях Иван брал специальный нож и немножко срезал то место на каблуке, где торчал штырёк, чтобы тот ещё больше выпятился наружу и его можно было вытащить.

Так Иван и поступил. Но только он начал срезать, как опять услышал женский вопль, который, как ему снова показалось, издавался с улицы. Иван замер и прислушался. Вопль затих.

«Что её там, режут, что ли?» — подумал Иван, которому всё это уже начинало действовать на нервы. И опять принялся срезать. Вопль возобновился. Игнорируя его, Иван наконец закончил резать и вновь попробовал вытащить штырёк. На этот раз получилось.

Теперь нужно подровнять каблук. Иван с туфлей в руке подошёл к наждачному станку. Не успел он включить станок, как вдруг услышал писклявый женский голосок:

— Нет, пожалуйста, не надо!

Иван замер, не понимая, откуда издаётся голос.

— Пожалуйста, не делаете этого!

Иван опустил взгляд на туфлю, которую держал в руке. И тут его осенило. Он приблизил туфлю к уху.

— Пожалуйста, не надо! — пропищала туфля. — Мне больно!

Голос настолько тихий, что его было еле слышно.

«Ни хрена себе», — подумал Иван.

— И твоей... э... сестрёнке тоже? — спросил Иван, взглянув на вторую туфлю, которая стояла на столе, там, где он её поставил, и вроде бы помалкивала.

— Ей тоже.

— А если я накрою вас тряпкой минут на десять и только потом начну ремонтировать, вам не будет больно?

Задавая этот вопрос туфле, Иван почувствовал себя полным идиотом.

— Нет.

Иван накрыл обе туфли сухой, относительно чистой тряпкой и подождал десять минут. Эти десять минут он просто так не сидел, а возился с кроссовками.

Когда Иван наконец скинул с туфель тряпку и спросил их:

— Ну теперь-то можно? — туфли ничего не ответили.

«Может, они уснули?» — подумал Иван и продолжил их ремонтировать. Никаких криков он больше не слышал.

3.

В шестом часу пришла женщина.

— Готово?

— Да.

Иван опять сидел без работы и скучал. Все пять ножей, которые он полчаса назад наточил, аккуратно лежали на столе рядом с ним и, казалось, тоже скучали.

Женщина дала ему квитанцию и взяла с полки свои туфли.

— О, какая красота, — улыбнулась женщина, посмотрев на забитые металлические набойки. Затем перевела взгляд на Ивана. — Вы накрывали туфли тряпкой перед тем, как ремонтировать?

— Накрывал.

— Вы мои хорошие! — ласково сказала женщина, глядя на туфли.

Иван смотрел на неё как на полоумную.

Вдруг женщина прислушалась.

— Что?

Она поднесла туфли поближе к ушам. Видимо, туфли ей что-то говорили. Иван не слышал что, да и не слышал этот тоненький женский голосок, но увидел, как постепенно меняется выражение лица женщины по мере того, как та слушала, что говорят ей туфли: оно становилось всё мрачней и мрачней.

«Настучали», — подумал Иван в отчаянии.

— Так вы не сразу накрыли их?!

— Нет, — признался Иван.

— Я же вам говорила!

— Я забыл... забыл накрыть их тряпкой, — солгал Иван.

— Как вы могли забыть?!

— Вот так и забыть, — сказал Иван. И добавил, словно это всё объясняло: — Вы первый клиент, кто просил меня об этом.

Женщина несколько секунд молча сверлила Ивана взглядом, от которого тот был готов провалиться сквозь землю. Затем громко сказала:

— Садист!

Аккуратно положила туфли в пакет. И со словами:

— Людям нельзя доверять! — направилась к выходу, по пути столкнувшись с только что вошедшим мужчиной.

— Эй-эй, осторожно, — с улыбкой сказал мужчина разгневанной даме.

Та не удостоила его ответом и вышла вон. Иван с облегчением вздохнул.

Мужчина подошёл к нему с пакетом в руке. На его лице всё ещё играла улыбка.

— Добрый вечер! — сказал мужчина.

— Добрый вечер, — сказал Иван, а про себя подумал: «Какой он, к чёрту, добрый?»
— Ну и работка у вас, господин сапожник, — заметил мужчина.
«Да уж», — мрачно подумал Иван.
— Не угодили клиенту?
Иван не ответил.
Мужчина немного посерьёзнел — наверное, не привык, чтобы не отвечали на его вопросы.

Он достал из пакета женские туфли и спросил:
— Набойки металлические забьёте?
Иван взял туфли в руки. С некоторой опаской посмотрел на каблуки, из которых торчали одни лишь штырьки.
— Они у вас, надеюсь, не чувствуют боли?
— Что, простите? — не понял мужчина.
— Да так, ничего. Сто восемьдесят рублей будет стоить.

ДиН стихи

Алла Ходос

Между вымыслом и жизнью

● ● ●

М. К.

Плыви, луна. Мы слишком задержались.
Веди: уже взыскуем перехода.
Граница между вымыслом и жизнью
размыта, словно белый плёс песчаный.

Мне страшно оттого, что я толкаю
тебя в твою глубокую стихию.
«Как мелко!» — из пучины восклицаешь.
Кричу в ответ: «Выныривай из бездны!»
Жду рядом: не пловец, но пограничник.

Смотри, по волнам пролегла дорожка.
Скорее на песочек, моя радость!
Пусть зыбкая, но почва под ногами.
Побудь со мной, покормим чаек коркой.

● ● ●

А. К.

Какой же не любит полёта, езды
татарин, мордвин,
Березовский, Бжезинский!
Лететь или ехать без цели и мзды —
преодолевать потолок этот низкий!
Свой дом за углом приберечь на потом,
потомкам оставить или кредиторам,
которые, может, сломают твой дом!
Бродить по чужим потолкам, коридорам.
Вот Франца тревожного шупальце-след.
Пыльца Ниобеи лежит, как побелка.
Умчаться бы в то хорошо, где нас нет!
Вот жизнь,
вот права, вот удача, вот сделка!

● ● ●

Родится нежный человек
в жестоком государстве.
Орешек мягкий, молодой,
в зелёной кожуре.
Всю жизнь — наезженным путём,
в отмеренном пространстве.
Но всё же двигает горой
на утренней заре.
Он детских вымыслов комок.
Он колобок зелёный.
Над ним могучий лес стоит,
качая головой.
Он петушится и кричит:
«Таких, как я, миллионы!
И каждый разумом налит
и двигает горой».

Сочинитель

В тихий сумрак на воле
свет настольный глядит.
Фанатик фантомной боли
боль свою бередит.
Наконец, воскресает
смелый, в свитере, бред.
Но кого он спасает —
тот, которого нет?

● ● ●

Струится ночь по волосам.
Мерцая, гаснет свет уставший.
Не веря в Бога, верить снам?
Ах, не смеши меня так страшно.

Владимир Штокман
Черепашка по имени Никогда

черепашка по имени никогда

…ъективная реальность данная в предчувствиях совпадениях и догадках
в способности без страха пялиться в муть сновидений текучих словно вода
до тех пор пока однажды не сделается до тошноты бессмысленно гадко
и из-под мусора слов не выползет чугунная черепашка по имени никогда

совы смысла очами недремлющими тотчас зафиксируют тихое шевеление
в области сердца где память уже не способна и крыльев душа лишена
как впрочем иных обстоятельств неравной борьбы с всепоглощающей ленью
эту скреплённую клеем любви паутину привычек умеет сорвать лишь она

у неё хоть и коротки ножки но времени—вечность и панцирь прочнее гранита
а под ним—темень тайн бесполезных попыток соединить изнутри и извне
растяжением времени перехода из camera lucida в обскурную камеру пыток
где любые подобия мыслей и слов начинаются только на ни и на не

что-то вдруг ёкнет обдаст обжигающим холодом—как же так? что же это?
разве? ведь только что было как вдруг—только было—и след уж остыл
лишь стальными шарами упруго рассыплется стук коготков по паркету—
а и было ли? вряд ли—механизмы ментальных иллюзий предельно просты

но она всё жужжит и шуршит и ползёт заводной бестолковой игрушкой
по пустым помещениям тщетных надежд что наивно казались судьбой
словно чёртик delirium ловко прикинувшись серой невзрачной зверушкой
с изощрённой жестокостью тупо решил подхохмить над тобой…

Intersity

Поезд, WARS[1]. За окном в белых сполохах синее небо.
Пиво пьют, и струится негромкий мужской разговор.
Вкусный запах колбасок и свежего белого хлеба,
А колёса по рельсам стучат, разрезая на части простор.

Вот известный актёр балагурит в весёлой компании,
Говорит: «Я Кобзона люблю, но не слышал его тридцать лет…»
Вот подходит кондуктор прозрачный, как водка в стакане, и
Мне велит предъявить на случайный спектакль билет…

Вот я сам. Удивлённо смотрю: будто в съёмке замедленной,
За окошком плывут облака и бескрайняя зелень полей,
И минуты текут бесконечные, словно бы в век длиной,
Ну а поезд зелёною змейкой ползёт по земле…

Не успел оглянуться—коротким, как выстрел, мгновением
Промелькнули года, всё уже навсегда позади.
В промежуток вагона вмещается так много времени,
Но перрон приближается, скрип тормозов, и пора выходить…

1. Вагон-ресторан в польских поездах.

Колыбельная от бессонницы

Тихо-тихо ночь течёт,
Долго-долго время длится.
Все слоны — наперечёт.
В темень смотрят окон лица.

Сыплется секунд песок
В вечность — бездны глубже нету.
Месяц на фонарный столб
Лёг серебряной монетой.

Зря разматываешь нить
Старой сказки колыбельной,
Ничего не изменить:
Сон — в пространстве параллельном.

Полуночный домовой
Скрипнет осторожно дверцей,
И сгустится мрак ночной,
Наполняя страхом сердце…

Коти лапки липких снов
На рассвете век коснутся,
Обрывая нитку слов,
И теперь уж не проснуться.

А над миром — солнца шар,
А над солнцем — звёзды светят.
Во Вселенной спит душа.
И не думает о смерти.

Реинкартинка

*…это белая зверь — то-то правда есть,
а серая зверь — то-то кривда есть; правда
кривду передалила, правда пошла к богу
на небо, а кривда осталась на сырой земле…*
А. К. Толстой. Князь Серебряный

Тень торшера подстреленной белкою
Распласталась на жёлтом полу;
Зверь домашняя, белая, мелкая
На диване свернулась в углу.

В крепко сомкнутых глазках стремительно
Мельтешат конвульсивные сны,
Как знакомы и как удивительны
В них ландшафты забытой страны.

Словно чья-то душа бессловесная,
На Земле отбывая свой срок,
На побывку в отчизну небесную
Отлучилась во сне на часок.

Зверь вращает белка́ми-глазницами,
Всё дрожит да тихонько скулит.
Это жизнь предыдущая снится ей,
Это грешное сердце болит…

ДиН ревю

Красноярск: «Тренд», 2011
411 с., иллюстрации

Издание осуществлено
при поддержке
государственной
грантовой программы
Красноярского края
«Книжное Красноярье»

Владимир Шанин

Енисейская летопись

Хронологический перечень важнейших дат и событий
из истории Приенисейского края. 1207–1834

«Енисейская летопись», составленная красноярским краеведом, историком и писателем Владимиром Яковлевичем Шаниным, — это своего рода историческая энциклопедия Приенисейского края, краткий, но подробный и обстоятельный рассказ об освоении русскими обширной территории сибирской части России, о том, что за люди населяли Приенисейский край и чем они занимались, какие события происходили здесь в течение семи столетий, охваченных настоящим «Хронологическим перечнем». Исторический отсчёт событий начинается с 1207 года, с момента упоминаний о Енисее и о Саянах воинами Чингисхана. Читатель найдёт в этой книге широкий набор сведений, известных и вовсе неизвестных доселе, с обязательной ссылкой на первоисточники, полезных для общего понимания истории родного края. Эта книга может быть своеобразным учебником по краеведению для студентов и школьников, источником дополнительных знаний для всех читателей, интересующихся историей Сибири.

Андрей Насонов

Ночной пейзаж

• • •

Тамтамы издалека глухо, но цепко,
у самого виска — бум-бум в крови.
Это Весна передаёт из самого центра,
что пришло время царствия травы.

Вот она повесила листок растерянно,
зелёный декрет на серой стене небесной:
вся земля — прущим из всех щелей растениям,
всё небо — заострённым пернатым песням.

Ты линяешь, скидывая одежду, как кожу зме́и.
Она высадила тебя на неизвестно каком берегу,
где причудливым узором насекомого мира пигмеи
навстречу бегут.

И ты ждёшь и гадаешь, что дальше будет,
когда они придут и джунгли растительных тел
сковырнут кирпич и асфальт. Это тихий бунт
природы против тебя — несносный Чел.

Ты очнёшься где-то у гаражного задника.
В голове тамтамы, Весна, обернёшься — мало ли…
и с надкрылий сидящего на плече клопа-пожарника
глянет на тебя кровожадная маска маори.

• • •

У тебя пронзительные квадратные глаза
и длиннющие пластиковые ресницы.
Ты суха и жилиста, как лоза,
на которую нацеплены разнообразные ситцы.

У тебя маленькая недоразвитая грудь,
но распахнутая для обозренья — радуйся!
И ты нервная и подвижная, словно ртуть,
выкатившаяся из разбитого градусника.

Избыток чудес, удивительные стразы,
прекрасные ногти на зависть Крюгеру.
Татуаж и пирсинг — как следы заразы.
Ты идёшь в ночь добывать свой уголь.

И всё в тебе: ты стерва и шельма,
и люди надоели тебе до ромбиков,
ведь ты самая продвинутая и задушевная
модель нового поколения гламурных роботов.

• • •

Клён проклюнулся жёлтым листом.
Время считать цыплят.
Плоды ушли, упав на стол,
листья цепляются,

как и ты цепляешься за эту
жизнь: чистишь ботинки,
складываешь плавки и лето
в шкаф, над бровью тикает —

может быть, время, может быть, так,
психоз на ровном месте.
Ты со временем не в ладах,
хоть и бредёшь с ним вместе.

Кончилось всё в супермаркете лета.
Ближайший привоз — сне́га.
Вот и пришёл долгожданный лекарь
с ампулой неба.

Господи, сколько же нам нищать
духом? Даль дымами курится.
Цыплята волнуются, цыплята пищат.
Убегает о́блака белая курица.

• • •

Арбузная мякоть зари.
Ночь уходит, обнажая залив
тихой жизни, среди всего, что на стол
годится, кораллы деревьев, кустов,

ночные делишки ежа,
писк торопливой мыши,
холмики, где кроты лежат,
грунтовой двухколейные лыжи.

И начнётся птичьих компаний
тусовка: перелёт, переброс, толкотня;
проползёт панцирный краб-комбайн —
печальный рыцарь поселкового дня.

И рванётся по не уложенной плитке
котяра на грядки, где перцы-носы,
где обсыпали травы улитки —
известковые памятники росы.

● ● ●

Как будто в небо пушка—
труба котельной, выдувает игрушку
дракон-дыма. Современный город
памятует о смерти, которая скоро.

Ещё так пусто, как на берегу,—
словно плохо обработанный шов
суши и моря, на планете
где-то в созвездии Гончих Псов.

Ни души, ни тела, скалы и палки,
и огромный цветок рассвета,
и под ним—очертания свалки:
машинки, кубики и тряпичные куклы.

Мы боимся пропустить, когда начнётся.
Каждый думает, как это будет.
Но дальнозоркость сложена в очёчницу,
выделанную из бесконечных будней.

Остаётся голод по взаправдашнему, настоящему;
достоверность вымерла—доисторическим ящером.
Кофе падает в пустоту, и ничто растягивается,
но кожа не чувствует, и сердце не вздрагивает.

Дракон разевает пасть, разгоняя сны,
тает грустный смайлик уходящей луны,
и в верхнем углу крестик птицы
говорит о том, что пора закрывать страницу.

Ночной пейзаж с рассветом

Здесь тополь стоит—Афродита Милосская,
лишённый ветвей, отбитых ветрами,
и море ночное прошито полоской
от двери открытой, не видимой нами.

Ты слышишь, шипит под ногами змеистый
прибой, не знавший камней и рифов,
бросается в берег, злой и неистовый,
но катится вниз, ибо труд сизифов.

Шелест песка под носом триремы,
уткнувшейся в берег, и раковин хруст.
Холод испуга и веточки тремор,
но ветер приходит, свободен и пуст.

И вновь тишина, всплеск далёких звёзд.
Греки ушли с головою в землю.
Ловишь ускользающей тайны хвост,
но вода успокоилась и мерно дремлет.

Вода успокоилась и прибывает.
Непотопляемо только луны пятно.
Так и с тобой иногда бывает:
переполняешь и тянешь на дно.

Ночь коротка, прибоя каскад.
Время уходит, через море махнув.
Кто-то, так и не закончив рассказ,
ушёл, настежь дверь распахнув.

● ● ●

Заметелила мелом доска.
Сколько лет высветляешь тьму?
Но мы все прошли через эти наска-
льные письмена и научились письму.

И как памятник тёмному детству—
этот чёрный квадрат.
Нам всё время хотелось деться
куда-нибудь аккурат

мимо школы через ограду
в поле, где кричал футбол.
Строгость родителей добавляла градус
свободы и дарила ременную боль.

Мы боялись, как выстрела, вызова
к доске, к барьеру. Кто же смел?
И выложивши всё, что вызубрили,
первыми ложились в мел.

Учитель-шаман поседел.
Заметелила мелом доска.
Мы с тобой стоим по сей день
перед ней, не зная, что сказать.

Доска расширилась до пределов,
и мы шагаем за её край.
Мы снова, как в детстве, измажемся мелом:
может, нас пустят в рай.

● ● ●

Асфальтовое небо осени
изъезжено перелётными,
да всё в одну сторону.
Асфальтовое небо осени—
кленовые звёзды
под ногами, всё то же небо.

Ступай осторожно
по булыжникам лиц
тех, кто потерял веру прошлой
осенью. Она смотрит в твоё лицо,
а нынешняя чествует,
обсыпая пригоршнями

злата. Всё тронулось.
Потеряло опору.
Смотри, как взрывается
Рафаэлева голова—крона дерева—
на кусочки, молекулы…
И в твоей голове
мечутся, разгоняются атомы…

И так хочется
забиться, спрятаться
в открывшейся пустоте.
И, оставив землю, чувствуешь,
как утрамбовано
небо осени.

Михаил Дынкин

Ступень и крест

● ● ●

едут трамваем, поездом, на попутках
оставляют инициалы на спинках кресел
производят на свет зарёванных лилипутов—
тех обрезают, а этих крестят

говорят, говорят, а толку нет никакого
только и толку, что оппонентов в топку
но где бы ты был, когда б не семья и школа
не «Родина-Мать зовёт» или очень скоро

позовёт, и что ты ответишь Маме
встав поутру у окна, за которым триста
мёртвых спартанцев лежат в погребальной яме
в ожиданье небесного таксидермиста

что ты ответишь, рухнув в закрытый космос
возносясь на расстрельной тройке в глухое небо
чей холодный лик чем ближе, тем чётче кости—
это Отец вышел встретить тебя, наверно

● ● ●

цветение сливы, ты знаешь, не радует глаз
тем более третий, предательски полуприкрытый
у старых соседей, по-моему, новый бутуз
когда успевают?
как будто на лезвии бритвы
танцую ночами, но даже во сне не пишу
наверное, старость… ведь страшно подумать—за сорок
мой глиняный чайник потрескался
уличный шум
врывается в окна
и толку заглядывать в сонник
коль скоро не в руку, вернее сказать—не с руки
цветные картинки, звонки по тебе, голограммы…
в Империи—смута, а стало быть, казни
мальки
плывут по теченью, теряя свои миллиграммы
аквариум… (стёрто)
суровая Рыба грядёт
с большими зубами и рылом, таранящим стенки
подняться с дивана?
в чжурчжэни податься?
в эвенки?

твой (трижды зачёркнуто)
день (неразборчиво)
год…

Как обычно

всё было как обычно: снег сходил
с окрестных гор
оттаивало пиво
в аквариуме плавал крокодил
косясь на посетителей брезгливо

закуривали тени, волоча
тела прохожих
воздух пах карболкой
а по бульвару, в маске палача
прогуливалась жертва трёх абортов

цель затруднялась в средствах на сюжет
струился дым из ямы оркестровой
там, сев на стул, арфистка в неглиже
смотрела в небо пристально и строго

…пожарники тушили агни-йога
покойники вели свои «жж»

● ● ●

1.

он говорит: «пока»,—но, как тот еврей
никуда не уходит, мешкает у дверей
возвращается в комнату, говорит: «а кстати…»
она сидит на кровати
ждёт
когда он наконец уйдёт
какой же он всё-таки идиот
ей хочется крикнуть: «хватит»
разбить тарелку, отдаться соседу сверху
в вечернем платье
и чтоб под ним совсем ничего—
эротично, да?
он говорит: «сука, смотри сюда»
тоже мне Синяя Борода
он ей за всё заплатит

2.

за окном качаются провода
мёртвый голубь лежит в траве…

Господи, а ведь она была молода
Господи, это всё в Твоей голове

в этом нет никакого смысла
(а в чём он есть?)

всех согласных просят нажать на «ок»

Господи, потеряй же к нам интерес
прекрати свой внутренний диалог
хотя бы уменьши звук

● ● ●

смерть наступала на исходе дня
стояло лето в памяти метели
и женщина стояла у плетня
с косой тяжёлой, в тунике и в теле
и падал снег, и тополиный пух
летел в окно, открытое в Валгаллу
и в воздухе толкал повозку дух
гружённую сиреневым и алым
и падал снег, и музыка лилась
на птичьи плечи, бабочкины крылья
и мумии кричали, заслонясь
от бешеного клёкота валькирий
руками, от которых береста
отслаивалась, и горели восемь
зелёных глаз ночного существа
уже неописуемого вовсе…

Ступень и крест

Он вспоминал
немые сцены сна
и серебро в пещере, над которой
снижается сверкающий дракон.
Он вспоминал
асбестовые горы,
сплетенье тел, струенье вещества;
пустоты и туманности в пустотах.

Так иногда приходит серый день.
Сырое древо прыгает с утёса.
И ты стоишь на чёрном корабле
химерою и трудно уплываешь…
Так иногда приходит серый день.

Он вспоминал
глазницы городов,
откуда вытекают два потока:
один—солдатских туловищ, другой—
сожжённых статуй, мусора и пены.

Рябь муравьиных сборищ, саги звёзд,
винты средневековых лестниц За́мка,
обглоданных лишайником,—он знал
настолько много…
Хлюпал мокрый воздух
отсутствующим носом, и никто
не вышел попрощаться с моряками,
увязшими в сугробах парусов.

Никто не снял
солёный шёпот моря.

Илья Оганджанов

Встреча

Смысл жизни

Она хотела всё ему рассказать. Всё-всё-всё было чужим и враждебным, начиная с имени, такого нелепого для северных широт, опереточного имени Сильва. Оно жгло, жгло и жгло сухим шёпотом нянечек в детском саду, сталью учительских голосов и страшнее всего на переменах — клёкотом одноклассников.

Как тебя зовут? Как-как? Ну зачем переспрашивать, это они нарочно, чтобы уколоть, да ещё с таким видом, будто им доподлинно известно, почему стул называется стулом, а не столом, небо — небом, они — Васями и Петями, а она — Сильвой.

Имя ей дали родители в память об имре-кальмановской королеве чардаша, на которой познакомились с первого взгляда, и она уже не могла придумать себе другого, как ни старалась, — ни одно не подходило. Но разве нельзя вовсе без имени? И разве ручеёк пробора в тёмных волосах и карие проталины глаз на бледном лице *(не дэвушка — мармэлад в шакаладэ)* — разве это она, Сильва?

Она хотела рассказать ему о линиях судьбы, загадочно ветвившихся на ладошке. Одни хотелось прочертить дальше и глубже, другие стереть. Но отточенный карандаш и ластик лежали нетронутыми. После папиной смерти мама всё плакала, приговаривая: от судьбы не уйдёшь, не уйдёшь (была ли судьбой сбившая папу машина или его старомодная рассеянность — неизвестно), не уйдёшь, и плакала, плакала, и до седых волос прожила одна с бабушкой.

Она хотела рассказать о своей соседке, городской сумасшедшей, которая ходила по улицам с тетрадкой в клеточку, выпрашивая у прохожих ручку. И заполучив чёрную, синюю, зелёную или красную, исписывала разлинованные страницы каля-маляками в столбик и просила каждого встречного прочитать вслух её стихи. «Пожалуйста, пожалуйста, я забыла дома очки, не будете ли вы столь любезны?» Никто не был настолько любезен, чтобы разбирать эти каракули, похожие на расползшихся дождевых червей и даже отдалённо не напоминавшие слова, — никто, кроме не знавших азбуки детей. И девочкой она читала сумасшедшей её разноцветные стихи, и та удовлетворённо кивала, шумно втягивая стекавшую изо рта слюну. Стихи были хорошие, она их долго помнила, а сейчас забыла.

Хотела рассказать, как боялась чужих прикосновений, представляя себя хрустальной вазой на краю стола, и как звонко хохотали в памяти осколки.

Рассказать, как пряталась в комнате за открытой дверью. Просовывала пальцы в щель у косяка, прямо над нижней петлёй, и, дрожа от булькавшего в груди страха: *сейчас, сейчас прищемит*, — ждала, когда мимо пройдёт бабушка, по привычке потянет на себя медную ручку — *опять всё нараспашку*, — и огненные иглы вопьются в подушечки пальцев, и пламя пробежит по телу, вырвется из горла криком и брызнет слезами из глаз.

Врач прописал таблетки, назначил диету и советовал раньше ложиться спать. Она ложилась, закрывала глаза и представляла себя мёртвой. Но звуки из этого мира проникали в тот. Качнув ветку, вспорхнула птица. Шум крыльев потонул в шелесте листвы, словно деревья пытались взмыть и унести Землю вместе с полями и лесами, реками и морями, как добычу, в цепких могучих корнях. По-разбойничьи присвистнул ветер, и дождевые капли застучали в висках: точка-тире, точка-тире. Кому предназначалась шифровка? Дождь забарабанил на пишущей машинке: *нервное истощение, повышенная впечатлительность, стресс*, — тяжело всхлипнул и отчаянно заколотил в дикарский бубен: точка-тире, точка-тире. Под веками вспыхнули протуберанцы, и раскалённые иглы впились в мозг.

С годами боль притупилась. Таблетки, диета, распорядок дня, аттестат зрелости, факультет психологии МГУ, диссертация «Детские комплексы и подростковый суицид» — привет, Зигмунд, ау, Зигфрид, — кафедра, признание коллег. И вот теперь — институт детской психиатрии: неврозы, заикания, аутизм изо дня в день, изо дня в день, двуручная пила в лапах жизни и смерти.

Она хотела рассказать ему о Серёже. О том, как трудно стать кардиохирургом в Америке и как они переписывались много лет, пока он учился там, в перспективном Гарварде, в ординатуре, и потом работал, работал, работал. И наконец она приехала к нему, и они ходили по магазинам, поднимались

в горы на подъёмнике, стояли на вершине, и вокруг плавали облака, похожие на присыпанную мукой сдобу. «Мы витаем в облаках»,—пошутил он и не предложил ей остаться, потому что в Америке очень трудно стать кардиохирургом. И они ели гамбургеры, и всё снова было чужим и враждебным, чужим и враждебным изо дня в день, особенно ночью. И хотелось позвонить туда, в залитый стерильным светом кардиоцентр, из своей малометражной кардиоокраины, но останавливала разница во времени и пространстве, изо дня в день, из пункта А в пункт В. И она, как в детстве, закрывала глаза и представляла себя раковиной, выброшенной на берег. Море шумело в ушах, и звуки из того мира проникали в этот.

Об Алексее рассказывать не хотелось. Они познакомились у знакомых знакомых от безысходности, от избытка прожитого и недостатка пережитого. Вы, значит, психиатр, лечите детей, так сказать, помогаете им стать взрослыми? Можно сказать и так. А вы чем занимаетесь? Он был хороший и умный, и в свои сорок четыре писал диссертацию «Прекрасная Дама в контексте современной культуры и без контекста», и собирался защищаться до последней копейки, до последней капли крови, как тамплиеры, госпитальеры и особенно розенкрейцеры. И, точно милостыню, сжимал в потной горсти её тонкие пальцы, после чего она плохо засыпала, читая допоздна статьи о природных катастрофах древности в «Вестнике Академии наук» или что-нибудь о любви. Тектонические сдвиги, извержения вулканов, Ромео и Джульетта, землетрясения, гибель Атлантиды, Паоло и Франческа, смерчи, цунами, Пётр и Феврония—и тьма над бездною.

Но главное, она хотела рассказать, что у неё есть смысл жизни. Только как ему такое расскажешь, этому мальчику? «Понаблюдайте его, коллега, любопытный случай: за всю свою девятилетнюю жизнь не проронил ни слова».

— Как тебя зовут?

— Кого ты больше любишь?

— Кем хочешь стать?

Ни слова, ни слова. Будто кто-то ещё до рождения доверил ему страшную тайну. Может быть, её тайну? Шифровку на бумаге в клеточку. Разноцветные письмена, размытые ливнем. Точка-тире, точка-тире. Она должна ему всё рассказать. Он поймёт. Ведь у неё есть смысл жизни. Пусть чужой и враждебной, но есть. Она точно знает, что есть. Ведь правда? Правда? Ответь. Не молчи.

Пасха

«Земля ощетинилась первой зеленью». Нет, не то. «Молодые листочки показались на ветках, словно вражеские копья на горизонте». Опять не то. «Газоны, клумбы и кроны деревьев были расшиты изумрудным бисером...» Вот так всегда с началом рассказа: ходишь-бродишь вокруг да около, кружишь по городу—ждёшь подсказки. Что это—старый тополь скрипнул или потайная дверь? Дрогнула тень или мир покачнулся?

Переулки, бульвары, проспекты. Слоняясь по Москве, я добрёл до Новоспасского монастыря. За воротами было тихо и безлюдно. Монастырский двор, начисто выметенный и выбеленный, напоминал девичью комнату. Солнце заливало ухоженные цветники и присыпанные гравием дорожки. В глубине двора одиноко стоял молодой высокий монах, неотрывно глядя куда-то поверх куполов. И лицо его светилось тихой радостью и тихой печалью. Я невольно поднял глаза. Не знаю, что я хотел там увидеть, в этом головокружительном весеннем небе. Себя ли десять, двадцать лет назад, только другого, каким мог бы стать, но уже никогда не стану? Отца и мать, ещё молодых и счастливых? Деда, прадеда? Все древние народы, живущие в моей крови? Не знаю, в прозрачном океане лазури не отражалось ничего.

В церкви шла служба. Глубокий полноводный голос затоплял высокие своды, откуда на меня неотступно глядели строгие глаза. «Иже еси... да святится имя Твое...»—механически повторил я и замолчал. Заученные слова безжизненно затихли на губах. Я покрестился недавно и в храме ещё как-то терялся и всё больше косился по сторонам.

Старушки с восковыми лицами, рассохшиеся старики, юродивые и калечные крестились размеренно, торопливо, истово. Мальчик засмотрелся на Богородицу. Заплаканная девушка в чёрном платке поставила свечку за упокой, свечка затрещала, брызнула искрами, став на миг бенгальским огнём.

Служба кончилась, и тот же полноводный голос прозвучал уже буднично:

— Братья, помогите расставить столы для праздника.

Несколько мужчин потянулись за плечистым монахом, этаким Ослябей. Побрёл за ними и я.

Мы прошли во флигель, миновав просторный зал, где богомолки молча красили пасхальные яйца и покрывали глазурью куличи, расставленные на длинном столе, как матрёшки, от мала до велика. Всюду был разлит сладкий запах сдобы. Я подумал, что всегда хотел написать рассказ, полный такой же безмятежной, невесомой, сосредоточенной тишины и сладких тревожных весенних запахов.

Разбившись по двое, мы носили парты из классов воскресной школы и ставили в ряд на улице. Все шутили, смеялись. Мой напарник молчал. Кто знает, может, вот так же молча волокли бы мы с ним баржу по Волге, или таскали брёвна на лесоповале, или катили тачку на рудниках... Я смотрел на его ничем не примечательное широкоскулое лицо, и глазам открывалась бескрайняя степь, пустынная и загадочная. И казалось, это не старые развинченные парты поскрипывают, а запряжённая

клячонкой-тоской телега катится по степи, увозя меня куда-то далеко-далеко. И ни души вокруг.

Я немного замешкался и отстал, а войдя в класс, увидел, что к моему напарнику подошёл один из носивших, взялся за край парты и бодро выпалил:

— Ну что, взяли?

— Нет, извини,—тихо и твёрдо прозвучал ответ,—я ношу с ним.

И кивнул в мою сторону.

Парты поскрипывали, телега катилась, но теперь в ней сидели уже двое.

Купола сияли багряным золотом, и тени под монастырской стеной наливались тьмой. На ум всё приходили книжные описания заката: «огненная река», «огнедышащий дракон», «кровоточащая рана»,—и с грустью вспомнилось, как жадно я раньше стремился придумать что-нибудь ещё багряней и закатистей.

Ослябя поблагодарил за помощь, поклонившись в ноги, и пригласил назавтра на пасхальную службу. Мы потянулись к выходу и за воротами разбрелись кто куда.

Переулки, бульвары, проспекты. Ветер ластился и манил таким родным и забытым весенним теплом, а у меня перед глазами всё стояло широкоскулое, ничем не примечательное лицо. Но скоро черты его потускнели и растаяли в воздухе, в памяти, в пустоте.

«Изумрудный бисер рассыпан—не собрать, вражеские копья нацелены на меня…» Не то, не то, опять не то. «Брат мой, мне так страшно в этом мире. Брат мой, я так одинок».

Встреча

Он сидел в метро на лавочке, или на скамеечке,—кому как больше нравится. Ему больше нравилось на лавочке, поэтому он на ней и сидел. На лавочке у первого вагона в центр.

Все вагоны делятся на идущие в центр и из центра, на первые и последние. Он сидел на лавочке у первого вагона в центр.

Со стороны могло показаться, что он сидел просто так, от скуки, от нечего делать, но ни с этой, ни с какой другой стороны на него никто не смотрел, да и он не обращал ни на кого внимания. Под землёй кипела жизнь. Граждане, отдав восьмичасовой долг родине, спешили кто куда—кто в центр, кто из центра.

Он сидел на лавочке, вслушиваясь в рёв поездов: шестнадцать секунд рёв нарастал, девять—затихал, потом опять—шестнадцать и девять,—и ловил себя на мысли, что считает почти машинально, помимо воли, непонятно зачем. В этом не было никакого смысла, зато была система, по которой он, студент престижного технического вуза, обычно убивал время. Жизнь кипела, нестрашный рёв нарастал и затихал, он сидел и ждал девушку. Не то чтобы очень ждал, и она не так чтобы очень спешила. Хотя это как посмотреть. Почему бы ему не ждать её со всей страстью любящего сердца, вертя головой по сторонам, нервно покусывая губы и скатывая в шарик фантик от жвачки, а ей не спешить к нему со всех ног, сломя голову, как на пожар, одержимой мыслью об их неминуемом счастье? Но так на него смотреть никто не собирался, да и сам он подобного взгляда не одобрил бы. И всё оставалось как обычно: он ждал, она опаздывала.

— Где тут переход на Кольцевую?—глухо, как выстрел в упор, прозвучал над ухом вопрос.

Всё правильно. Так и положено спрашивать солдату лет девятнадцати, небольшого роста, с обветренным лицом и отсутствующим взглядом, в камуфляже, какие он видел по телевизору в репортажах с мест боевых действий. Рота, подъём. Равняйсь. Смирно. На первый-второй рассчитайсь. Наверно, проездом в Москве, направляется в город Н. на побывку, с матерью повидаться. На языке вертелись знакомые слова: «горячая точка», «зелёнка», «растяжка»; смысл их двоился и ускользал. Горячая точка—это там, где воюют? Но почему точка, если стреляют и в лесу, и в поле, и в деревне, и в городе? И почему горячая? Что, если дотронуться—можно обжечься? Зелёнка—это лесополоса или та, которой смазывают ссадины, и она щиплет, и мама дует на ранку? Растяжка—это же что-то спортивное, а вовсе не проволока на тропе, привязанная к чеке гранаты.

— Что вы говорите? А-а, переход… Это там,—устало и безнадёжно махнул рукой куда-то в сторону блёклый человек научно-кандидатского вида.

Солдат кивнул, точно получил приказ, и, развернувшись, пошёл его исполнять. Он ступал тяжело, словно его кирзачи увязали в грязи и он шёл не по перрону среди кипевшей и ревевшей жизни, а по весеннему полю, размытому дождями весеннему минному полю, где каждый цветок мать-и-мачехи целит в сердце и каждая травинка, натянутая как струна, грозит выдернуть из-под земли чеку… Куда ты, постой, стой, вернись—переход в центре зала! Но солдат ничего не услышал, ведь сказано это было тихо, шёпотом, про себя.

— Привет, милый. Ты что такой хмурый? Заждался?

— Скажи, а что, если бы меня вдруг забрали в армию и послали воевать?

— Это ещё зачем? У тебя же отсрочка и все шансы попасть в аспирантуру. Да и убить ты никого не сможешь.

— Неважно. Всегда можно умереть самому.

— Для этого не нужно никуда уезжать. Потом, вспомни, мы собирались в кино, и тебе завтра в институт. Какая может быть война?!

— Ты права—никакой.

Элина Астраханцева

Синий шар

Иногда открывалась дверь, и в проёме сквозняка появлялся синий шар; шар плыл и приближался, в нём появлялось светлое пятно, оно становилось лицом, и рука тянулась к его руке, он брал лёгкие пальцы и пожимал это прикосновение бережно, чтоб не потерять ни грана тепла.

Она садилась возле на стул, доставала откуда-то яблоки, брала книжку и спрашивала:
— Дальше будем читать?

Она читала книгу «Дзен», которая должна была помирить их с жизнью. Он брал яблоко и ломал зубами сочный яблочный живот, он слушал её напряжённо, пытаясь проникнуть в чужую логику, и все вокруг тоже затихали, все смотрели на неё, а он не смотрел, нет. Иногда он уставал искать смысл — и тогда слушал только голос, хриплый и сбивающийся, а потом глядел на неё искоса, представляя, как бы она села на него верхом и как бы он почувствовал тяжесть её тела и напряжённые мышцы ягодиц. Они иногда смеялись, довольные ответом учителя ученику про бесценную голову дохлой кошки, а он оглядывал своё тело под одеялом и понимал: нельзя же заставить её делать это только потому, что он теперь на одну четверть короче.

Потом она заканчивала читать, тайным для глаз движением засовывала в пижаму свёрток с порошком, вставала со стула и говорила:
— Пока, мальчики! Выздоравливайте. Я завтра снова приду.

Синий шар уплывал по палате и таял в дверях. Они говорили всякое про неё: наркоманка, мол, и б…, и волосы в такой цвет красит, как её только сюда пускают. Раз она ходит к тебе, Петя, что ты, в самом деле, теряешься. Давно её пора, это…

Вечером медсестра ставила всем уколы, чтоб хорошо спали. Они не любили, когда ставила старая, любили, когда молодая, один он говорил: мне не надо, у меня и так отличный сон. Медсестра трогала выключатель, желала всем спокойной ночи, они говорили ей разные комплименты. Потом все засыпали и стонали вокруг. Тогда он осторожно доставал свёрток, перекладывал своё тело на живот, скрипя кроватью и мучаясь от этого звука, разворачивал бумагу на подушке и нюхал. Армия спасения. Так вот. Только этим и спасаешься.

Словно вытаскивали свёрла из ног, тело становилось лёгким, легче радужной плёнки глаз, и то, что давило его сердце, — оно отпускало. Потом он летал… И тогда рядом летел синий шар. Невысказанно похожий на что-то знакомое, но он не мог вспомнить, на что.

Однажды она пришла, достала бананы и виноград, взяла книжку и сказала:
— Я, может, завтра не приду, я замуж выхожу.
— Замуж?
— За парня одного. Нашего же. Ты не волнуйся, будут другие приходить.

Она читала, он ел банан и ничего не понимал. Он думал: с каким-то мудаком… и перестанет ко мне приходить… почему? Когда она закончила читать, он ей сказал: возьми деньги под подушкой. Она наклонилась, а он схватил её и прижал к себе, он её поцеловал. Она несильно сопротивлялась, удивлённая, и он потащил её на себя, наверх. Он ощущал небывалую силу своих рук. Она вырывалась, и он говорил ей:
— Подожди, подожди немножко…

Он боялся посмотреть ей в глаза, боялся увидеть в них себя, красного, потного. А когда взглянул, увидел глаза её, расширенные, со слезами, и они смеялись. Когда он начал расстёгивать её джинсы, она закричала:
— Помогите, помогите!..

Он ослабил хватку на миг, она вырвалась, метнулась из палаты и денег не взяла. Он лежал обессиленный и думал: е…рь говняный, сука, мудак! Что теперь делать? Потом он услышал вокруг гогот — это реагировали парни.
— Ей надо было кофту сразу расстёгивать, а ты её наверх. Надо было заинтересовать сначала.
— Ты хоть ширинку-то приготовил? Или бы нас позвал, мы б тебе расстегнули, пока ты её держишь.
— Он её хотел через одеяло трахнуть! Во какой гондон бы получился!

Он вдруг сам стал ржать, утомлённый идиотизмом пережитого.

Потом из Армии спасения пришли два парня; один сразу забрал деньги и ушёл, другой читал Евангелие, серьёзно и без выражения. Вся зубастая безногая команда слушала молча и вздыхала.

Утро началось шумно — влетела медсестра и сказала:

— Сегодня приедет министр, кого-то награждать будут.

И потянулись вереницы санитарок со швабрами, тряпками, новыми шторами и чистым бельём. Им даже сменили пижамы на спортивные костюмы. Вся эта кутерьма проходила в стороне от него: он дремал, все кости у него были мягкие, даже те, которых уже не было, а когда он пытался открыть глаза, потолок всё время куда-то уплывал.

Потом они пообедали или позавтракали — неизвестно, медсестра и какой-то парень ввезли сверкающую хромом, полную спиц и рычажков колесницу и сказали:
— Вот, это тебе.

Парень взял его на руки, как ребёнка, и посадил на коляску, сестра прикрыла одеялом, причесала и сказала:
— Сиди смирно, сейчас придут.

Стало шумно в коридоре, и в палату просочилась толпа офицеров, и фотографов, и журналистов. Журналисты суетились, щёлкали фотовспышками, снимали всё вокруг видеокамерами; вдруг кто-то командным голосом попросил всех на пять минут затихнуть, и они замерли. Генерал-лейтенант с красным круглым лицом сделал шаг вперёд и сказал твёрдо речь. Что парней, защитивших Родину, отдавших свою жизнь, своё здоровье и разное другое, она, Родина, не забудет, им будет всё потерянное компенсировано, а не им, так их родным; особо же отличившихся, грамотных и опытных вояк, пусть без рук, без ног, Вооружённые силы приглашают служить дальше, уже в качестве консультантов. Ведь главное — голова, а голова у них ещё есть.
— Пётр Мазурчук, не бросивший товарищей в беде, сделавший всё для того, чтобы прикрыть их отход, сегодня получает Золотую Звезду Героя России, а также почётное предложение продолжить свою работу в рядах Вооружённых сил. Ты готов, Пётр?

Он лихорадочно соображал, кого это имеют в виду, разве здесь есть ещё один Пётр Мазурчук, но тут генерал двинулся на него с протянутой рукой, за спиной генерала зашевелилась масса торчащих видеокамер, защёлкали аппараты и вспыхнули вспышки; он решительно вытянул руку и крепко тряхнул генеральскую заскорузлую пятерню.
— Служу Отечеству! — улыбнувшись непонятной для него роли, рявкнул он.
— Давай без формальностей. Консультантом к нам пойдёшь?
— Конечно, пойду, куда же мне ещё?
— Вот и молодец.

Генералу подали открытую коробочку, он долго вылавливал Золотую Звезду толстыми пальцами, а когда ухватил, то осторожно, как скользкую рыбку, приложил к пёстрой куртке. Все вокруг зааплодировали. Генерал постоял так минуту, дожидаясь, когда снимут и сфотографируют, потом подскочил молодой помощник и Звезду наконец присобачил. Генерал, повернувшись к нему спиной, отвечал на вопросы журналистов, а к Петру тотчас подошла молоденькая вертихвостка и, протянув к лицу микрофон, спросила, что он чувствует.
— Радость, — сказал он. — А ещё ссать хочу. Вы не могли бы судно мне подать?

Журналистка отошла, покраснев.

Однажды, не дожидаясь провожатого, он выехал из палаты, поехал по коридору, добрался до лифта. Потом оказался в вестибюле больницы, а потом в саду.

Что-то произошло, когда он увидел на скамейке синий шар; она сидела одна, она помахала рукой, и он поехал.

Что-то произошло, потому что перестало болеть сердце от чувства времени, которое проходит мимо него, не оставляя ему ни капли надежды, а только понимание того, что он мертвец. В двадцать один год. Что-то произошло с ним, что-то стало болеть в носу, и он незаметно, словно туда попала пыль, постарался вытереть глаза.

Наталия Гарбер

Эммочка

Как и положено у балетных, Эммочка в тридцать лет ушла из Большого театра на пенсию. Карьеры и славы она не снискала, протанцевав все свои лучшие годы в кордебалете второго состава. Дело было в 1977 году, который впоследствии назовут пиком застоя: жизнь в стране была затхлой, но относительно благополучной.

Получив массу свободного времени, она стала мечтать о семье и романтике, и в её жизни возник Жорж — почти широко известный поэт, чуть моложе её годами, мечтательный и одновременно хваткий. Его печатали достаточно часто и хорошо, он подрабатывал переводами с французского и в порыве самолюбования иногда сравнивал себя с Пастернаком или Артюром Рембо.

Эмма сблизилась с Жоржем достаточно быстро, чтобы не упустить выгодного жениха и интересного мужчину, и достаточно медленно и романтично, чтобы не показаться навязчивой и неразборчивой. Ко времени, когда пора стало делать предложение, Жоржу предложили (или он сам вовремя себя предложил) отличный зарубежный контракт — на несколько лет, в Париж. Это была преотличная карьерная ступень, но надо было преодолеть ещё ряд препон: во-первых, доказать, что он подходит, во-вторых, обойти конкурентов, а в-третьих, жениться — за рубеж холостяков не пускали.

Жорж рассказал Эмме о Париже в тот же день, что перспектива нарисовалась, — не мог удержаться от мечтаний и вылил на неё потоки французской речи, вздохов и рассказов, из которых она поняла главное: сейчас решается её судьба. Эмма горячо поддержала возлюбленного и прозрачно намекнула, что тоже очень любит Париж, а брак её уже не страшит, ибо карьера позади и она может отдаться семье. И тут Жорж как-то запнулся, перевёл тему и… вскоре быстро ушёл. Эммочка занервничала, но решила, что у Жоржа традиционный мандраж заядлого холостяка и надо дать ему время, а потом вернуться к теме. В любом случае, он слишком хотел в Париж — это должно было перевесить страх перед женитьбой.

Она начала учить французский и пригласила Жоржа в Большой на выступление заезжих знаменитостей (билеты были дорогущие, но Эммочка сказала, что ей «принесли»). К спектаклю она оделась во всё лучшее, сделала причёску у дорогого парикмахера и навела умелый макияж. Жорж балет смотрел внимательно, а на неё — слегка рассеянно, что Эммочку насторожило. После балета она повела речь о том, что герой балета упустил бы своё счастье, если б вовремя не решился признаться возлюбленной в своих чувствах. И добавила, что зрелому мужчине брак только прибавляет прелестей жизни и здоровья, что жена — это друг и соратник, а предложение надо делать, когда влюблённые знакомы достаточно, но не слишком долго, ну, например, полгода или год (Эммочка встретила Жоржа семь с небольшим месяцев назад). А если жена ещё и умеет себя подать (тут Эммочка сделала многозначительную паузу и изящно улыбнулась), то поэту его уровня будет легче делать карьеру с женой, чем не без неё.

Жорж всё это слушал внимательно, но тревожно. Сказал, что полностью согласен, но плохо себя чувствует и просит его извинить — он проводит её только до такси. Оплатил такси и, помахав ей рукой, исчез. Дальше события развивались стремительно: Жорж перестал звонить, Эммочка пересилила себя и через пару недель позвонила ему сама, найдя благовидный предлог. Поэт был любезен, но намёки на свидание пропустил мимо ушей, сказал, что очень, очень занят в связи с Парижем и обязательно расскажет ей, когда всё разъяснится, а пока — пока. Эммочка опустила трубку и вдруг как-то потухла. Постояла перед ростовым зеркалом в прихожей, посмотрела на свою прекрасную фигуру и ещё вполне юное лицо — и заплакала.

Через месяц от друзей она узнала, что Жорж женится на подруге детства, которую ему порекомендовала мама, и уезжает в Париж с молодой. Эммочка шестым чувством уже поняла, что как-то так всё и будет, но известие подорвало её чувство собственного достоинства больше, чем она ожидала. Она подумала вернуться на сцену: пошла в музыкальный театр, вошла в фойе, огляделась — и вышла. Театр с его сплетнями, тяжёлым трудом, грызнёй за первые роли, истериками примадонн, постельными историями и спектаклями, которые идут годами, одно и то же, одно и то же, ей опостылел.

Она пошла в Филёвский парк недалеко от дома, села на скамеечку и всплакнула. Проплакавшись,

Эммочка стала созерцать осень и постепенно успокоилась. К ней подсела мама с маленькой девочкой лет пяти. Эммочка профессиональным взглядом окинула фигуру малышки и неожиданно для самой себя сказала:

— Ваша дочь могла бы преуспеть в балете.

— Да?—заинтересовалась мать.—Но ведь это очень тяжёлая работа.

Потом оглядела тонкую Эммочкину фигуру и наконец догадалась:

— Вы, наверное, балерина?

— Да,—сказала Эммочка.

О пенсии она решила не говорить.

Девочка заинтересовалась разговором и присела около Эммочки. Её мать выразительно вздохнула и собралась уже было спрашивать, понятное дело, где Эммочка танцует. И тут Эммочку вдруг обуяло вдохновение, и она стала рассказывать, сама себе удивляясь: про партию Одетты, про Джульетту, про па-де-де и всё остальное, что знала она назубок и что теперь казалось ей прекрасным, ибо было недоступно, как Жорж и Париж. Само собой, она подала себя как актрису вторых ролей, но уж точно не кордебалета. Затем разошлась и добавила историй о своих не существовавших романах и поездках за границу, о которых слышала за кулисами и от Жоржа, и много ещё всего. Для не сведущих в балетном деле людей вышло очень складно. Мать и дочь слушали, открыв рты. Когда Эммочка исчерпала своё воображение и закончила, мать девочки вздохнула и сказала: но ведь у балерин такой короткий век—в тридцать на пенсию, а дальше что?

— А что интересного ей светит, если она станет инженером или бухгалтером?—парировала Эммочка.

— Да, вы правы,—сказала собеседница и задумалась.

Эммочка вдруг почувствовала себя лёгкой, как пёрышко, и свободной. Она изящно встала, сделала реверанс, сказала, что ей пора, и пошла прочь походкой, в которой ясно читался уход за кулисы в «Лебедином озере».

Она пришла домой и посчитала, что пенсия позволяет ей жить небогато, но свободно. Вспомнила про девочку в парке и пошла преподавать в хореографическое училище недалеко от дома, в котором начинала когда-то танцевать. Старшие дети её утомляли, а вот маленькие понравились. Не имея своих деток, Эммочка какое-то время с удовольствием занималась чужими, ограничившись малышнёй и постепенно теряя балетную квалификацию, но приобретая педагогическую. Она не блистала, но и не создавала проблем, ни с кем не сближалась и вела себя скромно. В свободное время ходила в лес, общалась с немногочисленными подругами, читала книги, на которые не было времени до пенсии, слушала музыку в зале Чайковского и иногда ходила на оперу в Большой. Балет на сцене она смотрела редко и только по работе, если малышам нужно было что-то объяснить.

Так прошло лет десять, и тут в стране разразилась перестройка. Пенсии и денег за уроки стало катастрофически не хватать, на улице стреляли и ездили на «мерседесах», цены всё время куда-то ползли, продуктов не было, хорошие исполнители стаями потянулись за рубеж, кризис следовал за кризисом. Открылись частные школы, но Эммочку туда не взяли—старовата, молодые и горячие подросли и заняли все места. На голодный желудок Эммочка вспомнила, что у неё идеальная грамотность, терпеливо проштудировала учебники и дала объявление об уроках русского языка: «педагог со стажем для младших классов». Постепенно у неё сложился круг туповатых, но надёжных учеников, которые приводили других учеников,—это кормило и давало относительную свободу.

Тем временем в стране стало непонятно что твориться с властью, по Белому дому стреляли, интеллигенция занялась всем, вплоть до самогоноварения, семьи трещали по швам под напором стресса, многим мужьям бес ударил в ребро, и половина Эммочкиных подруг остались в одиночестве. Это сблизило их, но Эммочка, которая давно поставила крест на личном счастье, слушать слёзы и ругательства про неверных мужей не захотела, так что круг общения уменьшился.

Культурная и концертная жизнь, в которой Эммочка черпала силы и поддержку, стремительно затихала, опустошённая эмиграцией оркестрантов и общим упадком, так что помощи ей стало ждать неоткуда, и Эммочка зачастила в церковь. Там ей, впрочем, не очень понравилось, и она ни с кем из прихожан и служителей не общалась: приходила, молилась об облегчении участи—и уходила. На душе становилось легче. Только она пришла в себя и жизнь как-то наладилась, как летом 1998-го грянул дефолт. Все бегали как ошпаренные, но Эммочка ничего не потеряла, ибо ничего не имела.

Цены опять взвинтились, ученики разбежались, и Эммочка вняла совету одной из двух оставшихся подруг—та недавно разошлась с мужем, получила от него небольшого отступного, работала бухгалтером в какой-то крепко держащейся на ногах компьютерной конторе и искала себе надёжное жильё под съём, где-то на год. Они сошлись на цене, которую никто из чужих бы не дал, Эммочка сдала ей свою однокомнатную квартиру и уехала к вдовой тётке этой самой подруги в зимний дачный домик: у тётки Веры был огород и свободная комната. И ей нужна была рабочая сила.

Эммочка набрала с собой книг и тёплой одежды и быстро переехала. Поначалу ей в деревне показалось грязновато, но красиво—была золотая осень. Однообразной работы после балетного станка Эммочка не боялась, а жить было неголодно: молоко от коровы, картошка-свекла своя,

соленья-варенья лесные. За комнату, чистенькую и уютную, старушка денег не брала, в доме были горячая вода и туалет, а когда сбор и обработка урожая закончились, они с бабушкой Верой были уже родные люди.

Снег выпал рано, мороз прихватил землю, и грязной осени в тот год не случилось — сразу чистенькая и весёлая зима. Подруга исправно слала Эммочке деньги, которых для жизни в деревне было даже многовато, а Эммочка раз в месяц снимала их в сберкассе. Так что им с бабушкой Верой хватало на жизнь, которую по тем временам можно было назвать роскошной. В ту зиму Эммочка очень много читала, потому что зимой в деревне скучно и делать больше нечего, а в телевизоре показывали ерунду и чернуху.

Среди книг, захваченных из дому, оказалась пара учебников французского языка и сборников французских поэтов, оставшихся с тех времён, когда за ней ухаживал Жорж. Всё это теперь было страшно далеко, она даже с трудом вспомнила лицо Жоржа и вдруг поняла, что в Париже тосковала бы около него и не знала, куда себя деть. Не связанная необходимостью любить французский за то, что им разговаривает Жорж, она вдруг увлеклась. Ей сорок один год, голова ясная, память отличная, будущее обеспечено подругой как минимум до весны, а там, Бог даст, в стране всё наладится — ведь тем, кто наверху, тоже хочется спокойной жизни.

А пока она выучит французский, потому что ей нравится. Она съездила в Москву, купила аудиокурс, повидала свою квартирку — подруга содержала жильё в относительной чистоте и неприкосновенности: ничего не пропало, на кухне была всего одна грязная кастрюля, пол вымыт, следы разгула отсутствовали. Эммочка обрадовалась, переночевала на диванчике, наутро поняла, что скучает по бабушке Вере и чистому снегу, и уехала в деревню с лёгким сердцем и стареньким магнитофоном в сумке.

За зиму она выучила французский и даже оказалась способна понимать французскую поэзию — в аудиокурсе оказались хорошие записи. Эммочка воображала себя уездной барышней пушкинских времён, в шутку стала иногда говорить в нос и смешила бабушку Веру французскими цитатами.

К апрелю в деревне стало грязно и не до французского: Эммочка с бабушкой Верой целый день возились с огородом, сил больше не было ни на что. По всем приметам, лето обещало быть жарким, так что Эммочка решила, что до осени она ещё здесь побудет: летом можно будет валяться у речки с книжкой, работы будет немного, а французский осталось доучить совсем чуть-чуть — она дошла уже до конца учебника и аудиокурса.

В начале июня заехала подруга, привезла гостинцев и рассказала новости: за зиму она нашла себе состоятельного бой-френда, скоро летит с ним в отпуск. До осени, раз Эммочка прижилась в деревне, подруга не будет торопить события, но не позднее зимы хочет съехать жить к приятелю. Эммочка спросила, как там в городе. Нормально, сказала подруга, в магазинах появилась нормальная еда, на улицах повеселели лица, жизнь налаживается. Эммочка продемонстрировала подруге свой французский и попросила похлопотать: вдруг найдётся работа переводческая или ещё какая-то с языком. Подруга обещала, но на всякий случай сказала, что — сама понимаешь, с работой сейчас туго, но я попробую. На том и порешили.

Подруга уехала, Эммочка осталась с бабушкой Верой; лето пролетело незаметно, а в середине августа подруга действительно съехала к приятелю. Эммочке же нужно было что-то решать со своей судьбой: на пенсию не проживёшь, в деревне скучно, не вечно ж французский учить, да и сдавать квартиру чужим не хотелось, а запасов с денег, что остались от сдачи квартиры, хватит ненадолго. Подруга присоветовала Эммочке сходить в переводческую контору — авось получится. Эммочка пошла в одну, другую — не взяли, потребовали высшее образование. В третьей она умолила дать ей тест, она перевела небольшой кусочек текста с листа, работодатель прочёл… и остался доволен.

Ей положили небольшую ставку, дали много работы, и жизнь её вошла в колею. Утром она вставала, пила кофе и садилась переводить. Всё шло ровно, первую зарплату она даже отметила в кафе с подругой и её новым кавалером.

Кавалер послушал про Эммочкины дела и сказал: к ним через неделю на несколько дней приезжает француз, представитель партнёров. На переговоры ему компания даёт оплаченного синхрониста, но гость хочет ещё и посмотреть столицу. Он прижимист и за сопровождение в своё свободное время платить по высоким расценкам корпоративного синхрониста не хочет. Французу хорошо за пятьдесят, но он молодо выглядит, умён и остроумен. Ему бы очень подошла дама-переводчик, которая была бы готова сопровождать его по городу, в концерты и вообще поводить по Москве. Экскурсии его не интересуют, особых требований к языку у него нет — виды его волнуют больше разговоров. Человек он степенный, самостоятельный, вдовец с нежно любимой дочерью. Сомнительных похождений не ищет, образ достойного отца для него — корпоративная и личная необходимость. Хотел бы просто с интересом и приятно провести время в столице. Компания искала ему сопровождение, но те, кто готов, оказались недостаточно хороши, а те, кто подошёл, — слишком дороги или ненадёжны.

Ладно, сказала Эммочка. Подругин кавалер сказал, что торговлю возьмёт на себя, но что выйдет, то выйдет, — уж не взыщите. Не взыщу, улыбнулась Эммочка и через неделю по телефону услышала

сумму, за которую в своей переводческой конторе она бы работала месяц с небольшим. Её познакомили с французом, она ему понравилась, он ей тоже — спокойный, представительный, галантный. Билеты в театр и прочие расходы для дамы француз взял на себя, деньги за сопровождение заплатил наполовину вперёд, остальное обещал по завершении. Кавалер подруги шепнул ей, что француз не обманет. Ей предстояло отличное и безопасное развлечение.

Эммочка составила программу вечерних развлечений. Днём Жак занимался делами, она переводила. Вечером гуляли по городу, сходили в консерваторию, затем — в Большой театр, где она покрасовалась перед старыми знакомыми. Поужинали пару раз в отличных, хоть и не самых дорогих, ресторанах, разговорились. В последний день Жак вдруг сказал: а пойдёмте в какой-нибудь парк, сейчас золотая осень, так красиво — у меня есть целое утро до самолёта, и мы наконец на прощанье пообщаемся при свете дня.

Хорошо, сказала Эммочка и повезла его в Филёвский парк недалеко от своего дома. Всё было и вправду очень красиво: листья алели, желтели и горели, лес выглядел как декорация к балету. Они сели на скамеечке, беседуя о том о сём. Мимо прошла женщина лет двадцати пяти с коляской, краем глаза Эммочка отметила балетную выправку. Женщина взглянула на сидящих, остановилась и приблизилась сбоку. «Да?» — вопросительно взглянула на неё Эммочка. Гостья улыбнулась и вдруг присела в реверансе.

— Вы балерина, деточка? — спросила Эммочка.

— Да, и вы когда-то в этом парке посоветовали моей матери отдать меня в балетное.

— И где вы танцевали?

— В антрепризе, потом в ансамбле фламенко. А потом — замуж, и вот — катаю коляску.

— Жалеете?

— О карьере — нет, я очень любила балет и сцену, даже сохранила несколько подруг из училища. И о замужестве — тоже нет, я люблю мужа и дочь.

Жак заинтересованно слушал незнакомую речь. Эммочка перевела ему суть истории, он заулыбался, сказал, что у него дочь тех же лет, что и дама с коляской, и спросил, какую судьбу она прочит малышке. Эммочка перевела женщине вопрос.

— Надеюсь, нам с ней тоже встретится какая-нибудь добрая фея и подскажет, чего бы хотелось моей Катечке. Но не буду вам мешать.

— О нет, мне было приятно с вами повидаться!

— И мне. Я бы, если вы не против, встретилась с вами ещё: возня с малышкой чудесна, но в это время так не хватает общества.

— О да, конечно, — сказала Эммочка и дала свой телефон.

Молодая мать покатила коляску, а Жак попросил рассказать ему историю Эммочкиной жизни. Она задумалась: ей пятьдесят один, а чего такого она может поведать? И рассказала всё как было. Жак слушал внимательней, чем обычно, всплёскивал руками, очень заинтересовался бытом русской деревни, а когда она закончила, сказал:

— Я вернусь домой и пришлю вам приглашение, вы приедете — и моя дочь покажет вам Париж. Она понимает искусство и любит жизнь. Как и вы.

Владимир Шанин

Заблудившийся во времени

В 1998 году редакция журнала «День и ночь» совместно с издательством «Платина» (Красноярск), под редакцией Р. Х. Солнцева, освоила издание поэтических сборников в серии «Поэты свинцового века». Серия начата с тоненького, карманного формата, сборника «удивительной русской поэтессы» Анны Барковой, которой современники обещали «славу лучшей поэтессы за всю историю России». «В отличие от золотого и серебряного века русской поэзии, наш трагический XX-й, наверное, можно назвать веком свинцовым»,—говорится в предисловии к нему. И далее: «…десятки блистательных, талантливых мало кому известны. Их задавили нищета и водка, их сломал страх, они ушли в тень, и минуту не побывав на свету…» Издатели, как явствует из коротенького вступления к сборничку, «хотели бы вернуть их—пусть не всех, не многих—современному читателю».

И вот у меня в руках такой же тоненький сборничек со стихами Георгия Маслова, в котором он, «заблудившийся во времени», горестно спрашивает будущих любителей поэзии:

Разыщут ли вас эти строки
В краю изгнанья и разлук?..

Я внимательно рассматриваю портрет Георгия Маслова. Фотография старая, выцветшая, но современные технические возможности совершили чудо: на снимке—тонкий профиль юноши с грустными глазами, юноша одет в чёрно-зелёный мундир с синим воротничком и золотыми пуговицами—форменная одежда студента Петербургского университета. Окончивший университет должен стать кандидатом на штатную должность 14-го или 12-го класса Петровской табели о рангах с мундиром соответствующего ведомства.

Георгий Владимирович Маслов родился в 1895 году (о месте рождения выяснить не удалось), на закате декадентства, отмеченного настроениями безнадёжности, неприятия жизни. Юрий Тынянов, автор биографических романов о Пушкине, Кюхельбекере, Грибоедове, называет его провинциалом и добавляет: «но вне Петербурга он немыслим». С первого же курса Маслов безмерно полюбил Пушкина, и хотя занимался преимущественно изучением пушкинского стихосложения, но, казалось, и жил только Пушкиным, и недалёк был от «чувственного обмана»: увидеть на площади или на набережной его самого. Любил он и Дельвига, и Баратынского, которые, как и его кумир Пушкин, были, по мнению Тынянова, «ощутимы до физического чувства их стихов». С той же беззаветной любовью к Пушкину учился в университете, но курсом старше, будущий писатель Юрий Тынянов, для которого Пушкин был «живой», а не тот, сотворённый усилиями биографов, и он пытался развеять дым легенд, окружавших его имя. На этой чистой любви Тынянов и Маслов сошлись как друзья и единомышленники.

Лекции в университете читали учёные с мировым именем: востоковед И. Ю. Крачковский; лингвист Бодуэн де Куртенэ, человек, занимающийся «живым языком», соединивший польскую и русскую культуры, умеющий отбирать факты; приват-доцент Щерба, видящий за грамматикой «систему мысли»… По мнению писателя Виктора Шкловского, «он был предтечей новой филологии». Из этой же плеяды преподавателей были высоколобый Лев Петрович Якубинский, любимый ученик Бодуэна; специалист по языкам Дальнего Востока Евгений Дмитриевич Поливанов, мечтавший о создании общей грамматики всех языков, в которой явления не только сравнивались бы, но и объясняли сущность друг друга. Однорукий востоковед, «легко изучающий языки», Поливанов хорошо знал причины их разнообразия. Но самым интересным и любимым учёным был Семён Афанасьевич Венгеров, человек ещё не старый, носивший чёрную, начинающую седеть бороду, небрежно одетый в длинный чёрный сюртук; вид имел озабоченный, держал своё некрупное тело с достоинством. Он вёл Пушкинский семинар, работал методом эмпиризма, в литературоведении он хотел бы знать всё и, конечно же, понимал, что Пушкин, как великий писатель, не одинок, как не одиноко дерево в лесу. «История для него двигалась по алфавиту и была неподвижна, как алфавит»,—сказал о нём Виктор Шкловский.

В семинаре Венгерова занимались талантливые люди, перенимая у своего учителя широту знаний, искали то, чего у него не было: принцип отбора. Все любили Пушкина, сочиняли стихи. От белокурого Сергея Бонди все ожидали, когда он всё

же напечатает замечательную книгу о Пушкине. Юрий Тынянов и Георгий Маслов писали неплохие стихи, причём Тынянов не просто накапливал факты: выбирал и умел видеть то, что другие не видели. История литературы была для них не историей смены ошибок, а историей смены систем, при помощи которых познаётся мир. В теории литературы, как и в истории литературы, всякое явление Тынянов рассматривал исторически, в связи с конкретным содержанием самого явления и в связи его с другими явлениями. Георгий Маслов старался подражать ему, учился у него, перенимал теоретический опыт, ведь Пушкина тот знал превосходно, так, как будто он только сейчас открывал эти стихи, в первый раз поражался их сложной, неисчерпаемой глубиной. Ведь он уже к семнадцати годам не просто прочёл, а пережил русскую литературу. Маслову он запомнился ещё и тем, что мог часами читать наизусть Овидия и Вергилия, Пушкина и Шевченко. И что самое примечательное—в нём никакой претенциозности, актёрства, позёрства никогда не замечалось. «То же надо сказать и о нашем талантливом поэте Григории (Георгии.—*В. Ш.*) Маслове»,—отметил в своих воспоминаниях филолог Н. В. Яковлев.

Студентами здесь были Александр Блок, Николай Бурлюк, Борис Эйхенбаум, Виктор Жирмунский, Виктор Виноградов—теперь молодые доценты. Часто выступал Владимир Маяковский, «красивый человек с плоским ртом, широкими плечами, волосами, откинутыми назад, голосом, который мог наполнить любую долину»,—таким увидел поэта Виктор Шкловский. Маяковский, которому палец в рот не клади, спорил с аудиторией, он любил спорить, у него студенты учились манере держаться на сцене, заучивали его стихи. Он-то и подсказал идею объединения людей перед грядущей опасностью… Тогда у Тынянова и возникла мысль об организации студенческого пушкинского общества, далёкого от политики. Как потом вспоминали студенты, скорее всего, это произошло в разговорах среди таких активистов, как С. Бонди, Г. Маслов, П. Будков, Г. Ходкаев, Н. В. Яковлев. Инициатором был Тынянов, его поддержал Маслов. Яковлев подготовил проект устава. После товарищеского обсуждения и утверждения его отнесли в ректорат университета.

При выборах правления общества в его состав вошли пять человек: по 14 голосов получили С. Бонди и Н. В. Яковлев, по 12—П. Будков и Г. Ходжаев, по 11—Г. Маслов и Ю. Тынянов. Но Будков отошёл в семинар Н. К. Пиксанова, Ходжаев—в семинар Д. К. Бородина, изучающий творчество Достоевского. Таким образом, в правлении остались два художественно одарённых человека—Г. Маслов и Ю. Тынянов. К ним примкнула бестужевка Елена Тагер в роли гостеприимной хозяйки, невеста Маслова.

Россия готовилась торжественно отметить трёхсотлетие Дома Романовых. И хотя, по утверждению экономистов, последний договор с Германией, вскоре оканчивающийся, «уже обошёлся России дороже, чем Портсмутский мир», в ознаменование празднования юбилея на каждую губернию и каждую область правительством отпущены премии для выдачи крестьянам за образцовое единоличное хозяйство. Экспорт российского хлеба превысил в среднем 8,7 миллионов тонн, то есть больше, чем Канада, США и Аргентина, вместе взятые. В воздухе пахло порохом, кровью, гарью пожарищ—война стояла на пороге России, а суда с хлебом шли в Германию без задержек… Ужесточилось судебное преследование редакторов-издателей за помещение статей, в которых «усматривается преступное деяние». Зинаида Гиппиус тогда писала:

> Я знаю, надо
> Сейчас молчанью покориться.
> Но в том отрада,
> Что дление не вечно длится.

Студент Петербургского университета Георгий Маслов откликнулся своими стихами, возникшими из глубины пушкинской эпохи:

> Намёков еле зримой тканью
> Скрыв мысли тайные свои,
> Нас Баратынский вёл к молчанью,
> И Тютчев говорил: «таи»…

Литературные вестники «нового, грядущего» спешат отразить смутившее их время драматического непостоянства. «Литературная Москва и литературный Петербург всегда разнились между собой,—писала Зинаида Гиппиус.—Москва опаздывала за Петербургом. Разница—в общем темпе жизни, в мерах размаха, в различии вкусов. Многое Москва захватывала глубже и переживала длительнее. Петербург был зато зрячее и сдержаннее». Для Пушкинского семинара С. А. Венгерова студенты готовили доклады. Девятнадцатилетний Тынянов представил свою тему: «Литературный источник „Смерть поэта“», в которой устанавливал связь лермонтовского стихотворения с посланием Жуковского «К кн. Вяземскому и В. Л. Пушкину», доказывая, что речь идёт о трагической судьбе драматурга Озерова, причём Лермонтов трактует её иначе, чем Жуковский. Маслов был в восторге, когда прочёл доклад своего старшего друга, весёлого, доброго, вежливого человека, любившего шутки и эпиграммы.

Своего же доклада Маслов написать не успел—помешали события, перевернувшие всю дальнейшую жизнь восемнадцатилетнего студента и поэта. В Берлине пролилась первая русская кровь: националистами убит известный скульптор Михаил Гольдштейн, автор популярной композиции

«Голова Толстого». Впрочем, газеты сообщили, что его отец, петербургский приват-доцент, сосланный в 1904 году за смутьянские речи куда-то на Север, тоже был убит—убит, как говорилось, хулиганами. Странное стечение обстоятельств!

На Балканах шла война, русская армия ожесточённо дралась за освобождение славян, как это было тридцать пять лет назад, когда Россия освобождала Болгарию от турецкого ига. Теперь же, в 1914 году, дети освобождённых братушек лупили из пушек по детям освободителей. В Москву возвратился граф И. Л. Толстой, сын писателя, из Галиции, не сумев выручить из австрийского плена в Будапеште своего сына М. И. Толстого.

Война вторглась и в российские пределы. Владимир Маяковский, в то время писавший поэму «Облако в штанах», выступил в печати со стихотворением «Война объявлена». А Георгий Иванов напечатал в журнале «Аполлон» статью «Испытание огнём», в котором с сожалением писал: «Как это ни странно, слабее всех отозвались на войну в мирное время всячески прославлявшие её футуристы». Слабенький удар, так сказать, по Маяковскому, Шершеневичу, Ходасевичу… В том же «Аполлоне» Владислав Ходасевич напечатал совершенно непатриотическую вещь «Из мышиных стихов»:

У людей война. Но к нам в подполье
Не дойдёт её кровавый шум,
В нашем круге—вечно богомолье,
В нашем мире—тихое раздолье
Благодатных и смиренных дум.

Совсем иное звучание, другой настрой производит на читателя стихотворение Георгия Маслова «Всё она»:

Медный грохот, дымный порох,
Рыжеликие струи́,
Тел ползущих влажный шорох…
Где чужие? Где свои?

Нет напрасных ожиданий,
Недостигнутых побед,
Но и сбывшихся мечтаний,
Одолений—тоже нет.

Все едины, всё едино,
Мы ль, они ли… смерть—одна.
И работает машина,
И жуёт, жуёт война…

По инициативе писателей Леонида Андреева, Потапенко, Щепкиной-Куперник и других в Северной столице прошло общее собрание представителей столичной прессы, обсудившее вопросы организации всероссийского Дня печати. По требованию общественности Петербург был переименован в Петроград.

По улицам большими группами, в чёрных одеждах, в брюках, засунутых в высокие сапоги, шли на мобилизационные пункты мужчины, сбоку шествовал городовой с толстой книгой. Все они потом исчезали в казармах, переодевать их было не во что. А пока ждали, когда подвезут солдатское обмундирование, появилась походная кухня, и сразу же остро запахло солдатским супом—в такой суп кладут много лаврового листа.

Все только и говорили о войне: о «сараевском убийстве», о Гавриле Принципе, злодее из евреев, прикончившем принца Франца-Фердинанда, наследника австро-венгерского престола, что и послужило началом большой войны. Черносотенские газеты заговорили о долге России покончить с коварными немцами. Готовились погромы немецких магазинов и контор.

Прогуливаясь по Невскому, Георгий Маслов с двумя приятелями, тоже студентами, свернули на Садовую, решив пообедать в ресторане Нельчинского, где блюда стоили немного дешевле, чем на Невском проспекте. Но не успели заказать вина и закуски—в зал стремительно вбежал молодой офицер и, бросившись к такому же офицеру, возмущённо воскликнул:

—Поздравляю вас, поручик! Объявлена война Германии. Ура!

Установилось тяжёлое молчание. Через минуту зал опустел. Поев не поев, студенты вернулись на Невский, по которому с лозунгами, хоругвями и портретами царя мрачно двигалась разноликая толпа, состоящая в основном из представителей «тёмного Петербурга»—членов Союза русского народа, пьяных молодцев из Гостиного двора и Апраксина рынка, что-то орущих и дико вращавших мутными глазами. Толпа направлялась к Исаакиевскому собору.

На углу Большой Морской улицы у Исаакиевской площади свирепая толпа окружила здание германского посольства, недавно построенное. По крыше бегали какие-то люди, что-то разматывали, что-то растягивали, потом сошлись у квадриги—огромной медной группы, состоящей из четвёрки лошадей и всадников с поводьями в руках. Толпа внизу угрожающе кричала, рычала, улюлюкала и неистовствовала до тех пор, пока на земле к ней, извиваясь, как змеи, не упали толстые верёвки, привязанные к медным лошадям. Концы верёвок тут же подхватили в толпе и стали тянуть. Квадрига сдвинулась, накренилась, и медные кони рухнули, как с обрыва, вниз, прямо в ревущую толпу, бросившуюся врассыпную. И наступила тишина, когда стало ясно, что отбежать удалось не всем…

Эта нелепая смерть, случившаяся на глазах у всех, потрясла Георгия Маслова.

От Исаакиевской площади друзья отправились на Дворцовую, где, по слухам, собирается взволнованный народ, около ста тысяч столичных обывателей.

— Господи,— прошептал Георгий,— неужели и здесь прольётся кровь?

Но вся эта плотная людская масса смиренно стояла против Зимнего дворца, с верой и надеждой всматриваясь в окна царских покоев.

На балкон вышли к народу царь и царица. Народ пал перед ними на колени и запел «Боже, Царя храни!». Государь сказал короткую речь, пообещал скорую победу над врагом и удалился, взяв жену под руку.

Народ продолжал петь.

Позже в записной книжке Георгия Маслова появились горькие строки:

> Теперь тебе не до смеха—
> Ты слишком увлёкся ролью.
> Что было весёлой потехой,
> Вдруг стало болью.

И эта боль не отпускала Георгия.

Война тянулась вяло, богатый Петроград веселился и ещё более богател, а солдат на фронте не во что было одеть: не хватало сукна, шинели шились из бумажной материи, подбитой ватой, ватными были и штаны, стёганые,— всё второго и третьего сорта. Правительству уже почти никто не верил, в разговорах упоминали Гришку Распутина, шептались про измены в самих верхах, указывали на бездарность тех, кто руководит войной. Каждый божий день формировались всё новые маршевые роты. От воинской повинности уклонялись все, кто хотел. Студентам давалась отсрочка от армии. Те молодые люди, кто имел хотя бы четыре класса гимназии, срочно производились в офицеры и отправлялись на фронт. «Сегодня я понял наконец ясно, что отличительное свойство этой войны— невеликость… Она— просто огромная фабрика в ходу, и в этом её роковой смысл»,— записал в дневнике Александр Блок, призванный в армию и зачисленный в 13-ю инженерно-строительную дружину табельщиком. Владимир Маяковский, служивший в автомобильной роте, жаловался на московских поэтов и говорил, что сам «очень уж много страшного написал про войну…». По улицам бродили толпы проституток. Газет почти нельзя читать— в них «пустота и вялое враньё». Столичные газеты захлёбывались от восторга по поводу «маэстро оркестра»— семилетнего дирижёра Вилли Ферреро, вундеркинда, «прелестного бойкого ребёнка с умными энергичными глазами, спускающимися на лоб кудряшками». Необычайно живой, общительный мальчик.

> Мои звучат иначе песни—
> Они не всходят к небесам,
> Они тяжеле и телесней,
> Чем этот чистый фимиам,—

писал студент Георгий Маслов, тяготившийся тем, что в тяжёлые для России дни занимается наукой, а его сверстники воюют. Вон уже ходят по улицам десятки одноногих людей— герои, помеченные в сражениях за Родину. А он, здоровый двадцатилетний парень, бессовестно пользуется отсрочкой от армии, не имеет даже царапины. Однако же Георгий и понимал: он должен окончить университет, осталось несколько месяцев до экзаменов.

2 сентября 1915 года Николай II разогнал Государственную думу, депутаты громко прокричали «ура!» и тихо разошлись, посоветовав своим избирателям «сохранять спокойствие». А между тем немцы наступали по всему фронту, сданы Либава, Ковно, Вильна, из Минска потянулись беженцы, тысячная толпа тянется к центру России. Открыт вопрос об эвакуации Петрограда. В столице нет ни дров, ни съестных припасов. Дороги загромождены войсками и беженцами. «Где этот малодушный человек— там обязательно несчастье»,— поговаривали в народе, имея в виду царя, который катается по фронту со своим мальчиком и принимает знаки верноподданничества. Пораженцем зовут в России того, кто смеет говорить о чём-либо, кроме полной победы,— он равен изменнику Родины. В солдатской среде ведутся скрытные разговоры: мол, «война всё равно так в России не кончится! Всё равно— будет крах! Революция или безумный бунт…». В войсках получены сведения о начавшихся забастовках на всех заводах.

По случаю войны в университете состоялся досрочный выпуск, и бывшие студенты постепенно преобразились: кого взяли в солдаты, кого в юнкера, кто приспособился к лазарету. Георгия Маслова, наравне с такими же, как он, выпускниками, военное ведомство направило в Александровское юнкерское училище, программа обучения которого была рассчитана по ускоренному курсу.

Александровское военное училище располагалось на Знаменке, в двухэтажном корпусе, отличавшемся не только по красоте самого здания, но и по чину в иерархии военных училищ России. Первым считалось Павловское— в Петрограде, вторым— Александровское и третьим— Алексеевское— в Москве. Алексеевское училище создано в 1864 году и до 1906 года именовалось военным пехотным училищем. По велению Николая II ему дали название «Алексеевское» в честь родившегося наследника престола.

Александровское училище подготавливало командные кадры для армии. Здесь и предстояло начать военную карьеру Георгию Маслову.

Георгий Маслов попал во вторую роту, где фельдфебелем был некий служака Тухачевский, который с младшими курсами обращался совершенно деспотично. В заметке «Неизвестное о Тухачевском» («Военно-исторический журнал», 1990, № 9) рассказывается о том, что он придирался к любой мелочи, наказывал подчинённых «самой высшей мерой наказания» за малейший проступок

новичка, только вступившего в службу и ещё не втянувшегося в училищную жизнь. Даже к своим сокурсникам не испытывал ни сочувствия, ни жалости. Все его сторонились и боялись.

Строгий, беспощадный к нарушителям воинской дисциплины, фельдфебель Тухачевский, по воспоминаниям современников, оставил глубокий след в жизни училища, он создал целый ряд конфликтов и инцидентов, имевших печальные последствия. По его докладу трое юнкеров—Красовский, Яновский и Авдеев—были переведены «в третий разряд по поведению», и эти несчастные юноши, самолюбивые и решительные, один за другим, поочерёдно, в короткий срок, покончили с собой. Двое других юнкеров—Евгений Немчинов и Георгий Маслов—были переведены в Алексеевское военное училище: в частности, Маслов—за то, что не в силах был выдержать придирки фельдфебеля и пожаловался училищному начальству…

Алексеевское пехотное училище находилось в Лефортове, в «Красных казармах»,—в старинном двухэтажном здании с толстыми стенами и мрачными окнами, пропускающими мало света, с просторным коридором, с асфальтовыми полами. Напротив стоял двухэтажный корпус для начальствующего состава. В отличие от Павловского и Александровского училищ, куда принимались дети богатых семейств, в Алексеевском учились дети и других сословий. Выпускников ожидала «военная лямка» обычно в провинциальном захолустье, но это не мешало им гордиться своим училищем. Советский маршал Б. М. Шапошников, окончивший Алексеевское училище, вспоминает, что в казармах они жили «не так, как изнеженные дворянчики, что, по существу, приучило нас к будущей обстановке, когда пришлось уже быть в настоящей казарме». Поверим и Георгию Маслову, не выдержавшему придирок фельдфебеля Тухачевского, вредно сказывавшихся на учёбе. В Алексеевском училище Маслов стал заметным учеником.

Алексеевское училище в ту пору давало юнкерам не только спецподготовку для командира взвода, но и способствовало их чисто военному и общему развитию. Учебная программа, рассчитанная на два года, была насыщенной: изучалась тактика различных родов войск применительно к существовавшей тогда организации; большое внимание уделялось военной истории, главным образом русской, от Петра I до Русско-турецкой войны 1877–1878 годов; проходили занятия по механике, физике, химии. Но что особенно любил Георгий Маслов, так это предметы по русской словесности и иностранным языкам—французскому и немецкому. Успеваемость юнкеров оценивалась по двенадцатибалльной системе. Юнкера были на полном содержании военного ведомства, но никакого жалования (стипендии) не получали. При переходе из младшего класса в старший они держали экзамены, а по окончании училища выпускники направлялись в войска.

Кстати, в шестую роту лейб-гвардии Семёновского полка под командой капитана Веселаго, боевого офицера, участника Русско-японской войны, направлен окончивший Александровское училище подпоручик Тухачевский. А Георгий Маслов продолжал учиться и писать стихи. «Он был настоящий петербургский поэт,—сказал о нём Юрий Тынянов.—Вскоре мы услышали его собственные, не всегда ровные, но уже строгие стихи». Печатались они в журнале «Богема», в сборнике «Арион», в хрестоматии Зинаиды Гиппиус «88 стихотворений».

В коллективном сборнике «Арион», изданном в 1918 году в Петрограде, помещены семь стихотворений философско-лирического содержания, довольно «строгих и холодноватых» для лирика Маслова. Сборник открывался эпиграфом—пушкинской строкой «Лишь я, таинственный певец, на берег выброшен грозою», предложенной, вероятно, либо Масловым, либо Тыняновым. Явно не по вкусу пришлась многим эта «гроза», ибо неприятием революции проникнуто большинство стихотворений сборника. К примеру, одно из стихотворений В. Злобина начинается фразой: «Не примирюсь, не покорюсь»,—а Зинаида Гиппиус выступила со стихами под выразительным названием «Шкурное», в которых эстетство исчезло начисто, символический туман рассеялся. В стихотворении «Веселье» мысль обнажилась до предела:

Блевотина войны—октябрьское веселье!
От этого зловонного вина
Как было омерзительно твоё похмелье,
О бедная, о грешная страна!

И лишь стихи Георгия Маслова («Для страданий горших вдвое», «Урожай сберём хороший», «Все те длинные прогулки», «Не предвидит сердце глупое» и др.) выглядят весьма безобидно. В стихотворении «Так есть» поэт очень точно определил своё отношение к революционной действительности:

Если гаснет свет—я ничего не вижу.
Если человек зверь—я его ненавижу.
Если человек хуже зверя—я его убиваю.
Если кончена моя Россия—я умираю.

Февральская революция началась, как известно, с очередей за хлебом, с солдатского негодования. Зинаида Гиппиус, набегавшись по мятежному Петрограду, записала в своём дневнике: «Все школы, гимназии, курсы—закрыты. Сияют одни театры и… костры на улицах. Закрыты и сады: Летний и Таврический. Из окон на Невском стреляют, а публика спешит в театр… В Императорском театре—«Маскарад». Пришли даже пешком. Любовались

Юрьевым и постановкой Мейерхольда. Шальная пуля застигла студента, покупающего билет у барышника».

Юнкеров закрыли в казармах, не выпускали в «стреляющие» улицы, запретили увольнения в город. Но даже через толстые стены «Красных казарм» проникали отзвуки революции. Георгий Маслов прислушивался к звукам и слухам: в Питере — костры, по улицам ходит Маяковский, спорит, митингует в маленьких, подвижных, легко рассыпающихся непрерывных митингах… Высокий, голубоглазый, светловолосый Блок в форме военного чиновника, без погон, тоже ходит и в маленьких душных залах «синематографа» читает стихи тихим и спокойным голосом. На пустой Неве стоит «Аврора», подведя пушки почти к виску Зимнего дворца… Керенский приехал в Зимний дворец, взошёл на ступени трона и объявил, что дворец отныне — «национализированная собственность»… Царь арестован. Он молча, как всегда, проехал «тенью» в Царскосельский дворец, где его и заперли. Приехал Плеханов. Совсем европеец, культурный, образованный, серьёзный, марксист несколько академического типа… Пока восторгов его приезд не вызвал. Приехал и Ленин. Встреча была помпезная, с прожекторами… В Петрограде — коалиционное министерство, которое, впрочем, власти не имеет. Большевизм пришёлся по нраву тёмной, невежественной, развращённой рабством и войной массе. На фронтах разложение, неповиновение и бунты… В конце августа царя увезли в Тобольск… Генерал Корнилов повёл войска на Петроград. Керенский объявил его изменником, посягнувшим на верховную власть, и повелел двинуть с фронта на столицу несколько мятежных дивизий для обороны Петрограда и революции. Под Лугой и те, и другие войска встретились; они идут защищать Временное правительство. Постояли, подумали и разошлись… Петроград в руках большевиков. Правительство низложено. Юнкеров привлекли к защите Временного правительства, началась перестрелка за телефонную станцию, которая переходила то к юнкерам, то к большевикам; наконец, всё спуталось: Павловское юнкерское училище расстреляно, Владимирское горит… В Петропавловском «застенке» большевики пытают недобитых юнкеров… Над Плехановым издевались «самым площадным образом»: постоянно обыскивали, и больной туберкулёзом старик слёг в постель… Невероятные слухи о Керенском: будто бы в Гатчине его предали казаки, и он убежал на извозчике, переодевшись матросом, и будто он в Пскове, окружённый враждебными солдатами, застрелился…

В Москве также были распущены юнкерские училища и кадетские корпуса. Город обесточен, телефон не работает, большевики стреляют из тяжёлых орудий прямо по улицам. Объявленное перемирие превратилось в «бушевание пьяной черни», тут же начавшей громить винные погреба. Потом опять возникла стрельба. Впрочем, это был ад; в Питере «ещё предадье», т. е. не лупят из тяжёлых орудий и не душат в домах. Расстрелянная Москва покорилась большевикам ценою в две тысячи убитых.

Прямо на глазах рушился старый добрый мир, общество раскололось на красных и белых, и в той Гражданской войне, разгоревшейся от моря до моря, нелегко разобраться, за кем идти, кого защищать. «Зачем, к чему теперь какие-то человеческие смыслы, мысли и слова, когда стреляют вполне бессмысленные пушки, когда всё делается посредством «как бы» людей и уже не людей?» — совсем в духе Зинаиды Гиппиус, ненавидевшей большевизм. Однако сочувственно отнеслась к смерти Г. В. Плеханова, первого марксиста в России, которого «убила Россия, его убили те, кому он, по мере своего разумения, служил сорок лет».

Алексеевское военное училище разгромлено; юнкера, получившие свободу, не знали, куда податься: одни решили пересидеть «смутное время» дома, другие примкнули к большевикам, третьи оказались в солдатах. «В человеческой жизни всегда присутствует элемент волевой борьбы». С этим тезисом Георгий Маслов согласен полностью: «Не страшнее ли человек без смысла и без воли?» Как многие бывшие юнкера, он был мобилизован в армию адмирала Колчака. Вскоре Колчак двинулся за Урал, в Омске объявил себя Верховным правителем Сибири и начал великий поход на восток. При поддержке чехословацкого корпуса, сформированного из военнопленных чехов, словаков, мадьяр и немцев, русский адмирал мечтал вернуть несчастной России её былое величие.

Следом за армией в сибирский Омск съехались те, кто не понял и не принял Октябрьскую революцию. К концу 1918 — началу 1919 года здесь уже собралась большая группа русских писателей: А. Ремезов, С. Кондурушкин, А. Толстой, Л. Лесная, Н. Крандиевская, С. Ауслендер, М. Моравская, И. Олигер; к ним примкнули Георгий Маслов, Давид Бурлюк и «ненадолго обосновавшийся» в Омске поэт-рабочий Иван Малютин, высланный из Ярославля. В группу вошли и сибиряки: Всеволод Иванов, Юрий Сопов, Игорь Славин, Николай Шестаков, Александр Новосёлов и Георгий Вяткин. Большинство из них сотрудничали в белогвардейской прессе, печатался в ней и Георгий Маслов. Без колебаний, сразу, всем своим пылким юношеским сердцем принял революцию и стал беззаветно служить ей Фёдор Лыткин, один из первых представителей нарождающейся советской поэзии в Сибири.

В Сибири нашли свою преждевременную смерть С. Кондурушкин, Н. Олигер. Предательски, из-за угла, убит Александр Новосёлов, талантливый прозаик, высоко ценимый М. Горьким, «гордость

и надежда сибиряков в литературе». Трагическим оказался для многих молодых талантливых людей этот «вольный или невольный союз» с колчаковской прессой. Юрий Сопов, одетый во френч защитного цвета, башмаки с обмотками—подарок английского правительства солдатам армии Колчака,—служил в команде, охранявшей дом Верховного правителя Сибири. Эта служба избавляла его от фронта. Его тихий и мягкий голос хорошо помнят все, кто его знал; помнят и стихи, печатавшиеся во многих газетах. Он был убит во время штурма колчаковского дома большевиками.

В Омске Георгий Маслов искал забвения «от удушливых будней колчаковщины» в призрачном мире истории, земной красоты.

Воспитанник Пушкинского семинара профессора Венгерова, он много писал о современниках Пушкина и декабристах; теперь же, обращаясь к суровой действительности, из-под его пера выливались строки, полные горечи и отчаяния:

Четыре года минули.
Ушли и пришли враги,
И снова мы в карауле
С винтовкою у ноги.

Тогда же чернели Карпаты,
Теперь вдалеке Урал…
Но так же поют солдаты
Песню «Старый капрал».

В стихотворении «На часах» он описывает тоскливое чувство солдата, стоящего на посту, которому сегодня «очень возможно, придётся стрелять» и который позавидовал пьяному прохожему, поющему «о весёлой весне»:

Того не пугают пули,
Кто изведал мёд земной;
Хорошо, что хоть в карауле
Ты дышишь милой весной.

Поэт рисует ночную осеннюю непогодь с её промозглой сыростью, пронизывающим до костей ветром и одиноким путником, у которого смутно и тревожно на сердце:

С трудом иду по вязкой грязи.
Неясны мысли и грустны,
Воспоминания без связи
Плывут, как дым, вокруг луны.
Деревья, зыблемые ветром,
Протяжный испускают стон.
А сердце воет диким метром
С осенним ветром в унисон.

В стихах поэта Георгия Маслова изначально заложено тревожное настроение. Предчувствие близкой смерти так и сквозит: и острое «чувство душевного бездорожья», и мрачная безнадёжность, и «ощущение скорого конца»:

Пронёсся вихрь, мечтанья руша,
Расстаться было суждено,
И не сольются наши души
В неизъяснимое одно.

Пронёсшийся «вихрь, мечтанья руша», поверг впечатлительного юношу в «неизъяснимое» смятение. По словам Юрия Тынянова, молодой поэт, живущий «почти реально» в Петербурге двадцатых годов девятнадцатого столетия, безоглядно влюблённый в пушкинскую эпоху, плохо разбирался в современной политике и не понимал, что же всё-таки произошло в России в первой четверти нового века. Если поэт-символист Зинаида Гиппиус, культивирующая молитву как «очень ёмкую и перспективную литературную форму», сказала, что «Россия—большой сумасшедший дом», то Георгий Маслов, страдающий поэт, в суровой действительности видит романтическую основу:

Печаль позабыта, мы смотрим, скитальцы,
В просторы ночной синевы.
Касаются чьи-то прекрасные пальцы
Безумной моей головы.
Ты не жил, быть может,
И счастья ты не пил,
И страсти не знал искони.
Ничто не встревожит остынувший пепел.
Душа, отдохни!

В литературном Омске времён колчаковщины, по воспоминаниям писателя Всеволода Иванова, «поэтов вообще было много. Петербуржец Георгий Маслов поражал нас тонким своим классицизмом. Он читал нам отрывки своей поэмы „Аврора“».

Одна любовь его отрада.
Но офицеру выше долг.
Окончен отпуск. Ехать надо.
Границу переходит полк.
Какую огненную муку
Ему губами ты вожгла,
Когда на страшную разлуку
Судьба супруга обрела.

Исследователь творчества сибирских поэтов, профессор Иркутского университета В. П. Трушкин в 1967 году писал об истории литературного движения в Сибири: «…до сих пор по-настоящему не изучена и должным образом не осмыслена». Поэму Георгия Маслова «Аврора» он определил как «изысканно утончённую и несколько холодноватую», попутно заметив, что героиней своего произведения поэт избрал вовсе не случайное имя—красавицу пушкинской поры Аврору Карловну Шернваль, по мужу Демидову.

Жена Павла Демидова, курского губернатора, учредителя «Демидовской награды», брата графа Анатолия Сан-Донато, прославленная в Петербурге красавица, Аврора обратила на себя внимание

оригинальностью своего наряда: неизвестно почему, вероятно из чувства противоречия, при баснословном богатстве мужа, она явилась на блистательный бал в самом простеньком белом креповом платьице, без всяких украшений, и только на шею повесила бриллиантовый крест, из пяти камней всего, на тоненькой чёрной бархотке. По поводу этого креста тут же, на балу, родился анекдот. Государь Николай Павлович взглянул на её платьице и со смехом сказал: «Аврора, как это просто и как это стоит дёшево!» Смысл его слов прояснился позже одним старичком-балагуром: «Крестик простенький, всего в пять камушков, солитер посредине, да такие же четыре груши. Только эти камушки такие, что на каждый из них можно купить большущий каменный дом. Ну сами посудите, пять таких домов—ведь это целый квартал, и висит на шее у одной женщины. Как же не удивиться самому императору!»

Этот крест считается одною из редкостей между демидовскими сокровищами, купленный, кажется, за миллион рублей ассигнациями. Но ни крест, ни даже сама Аврора Карловна не занимали поэта Маслова: в поэме он обращается к теням далёкого прошлого, ища спасения в нём от взбудораженного настоящего, причём само настоящее преломлялось в сознании поэта сквозь призму ассоциаций, навеянным тем же прошлым. Современность представлялась ему «предсмертным пиром во время чумы». И всё-таки Аврора Карловна, судя по воспоминаниям В. А. Соллогуба, посреди фантастической роскоши «оставалась, насколько это возможно, проста»,—что и подкупало обоих поэтов—Пушкина и Маслова.

В омских поэтических кабачках Георгий Маслов читал свои стихи, «полные чувства обречённости и смертельной тоски». Это заметил Вивиан Итин, рассуждая о поэтах и критиках в журнале «Сибирские огни» (1927, №2), и он приводит в своей статье одно из стихотворений поэта, навеянное пушкинскими ассоциациями:

Пора стряхнуть с души усталость,
Тоски и страха тяжкий груз,
Когда страна изгнанья стала
Приютом благородных муз.
Здесь вечно полон скифский кубок,
Поэтов—словно певчих птиц!
А сколько шелестящих юбок!
Дразнящих талий, тонких лиц!
От мира затворясь упрямо,
Как от чудовищной зимы,
Трагичный вызов Вальсингама,
Целуясь, повторяем мы.
А завтра тот, кто был так молод,
Так дружно славен и любим,
Штыком отточенным проколот,
Свой мозг оставит мостовым.

И здесь пушкинский Вальсингам, зовущий «восславить царствие чумы», не зря возник в сознании Георгия Маслова.

Впервые эти стихи появились в тоненькой (всего четырнадцать страниц) книжечке альманаха «Елань», изданной в 1919 году в Томске. Это один из немногих поэтических сборников колчаковской поры, весь проникнутый настроениями ущербности и горечи. Некто В. Красногорский, издатель «Елани», помещает в сборнике свои стихи, пронизанные болезненной эротикой и пессимизмом: «Я вновь хочу твоё ласкать», «Женщины», «Мадонна», «Я одинок» и т. д. Другой автор даёт перевод с итальянского стихотворения Дж. Кардуччи, которое начинается с безнадёжно категоричного заключения: «Мы все умрём, как умерли вчера». Как видим, и Георгий Маслов, со своим безнадёжным отчаянием, с «трагичным вызовом Вальсингама», не был исключением на этом «пире во время чумы».

1919 год, самый тяжёлый в короткой молодой жизни русского поэта и начинающего учёного-пушкиноведа Георгия Маслова, явился началом конца Белой гвардии России, переродившейся от отчаяния в карателей и палачей. В бессилии покорить собственный народ, она попросила помощи от иностранных государств, и те не замедлили оказать её. В июне на фронт против большевиков по железной дороге американцы отправили через Европу свои танки. Из Омска через Красноярск проследовали четыреста-пятьсот вагонов—перебрасывался на восток России «автомобильный склад». В начале августа повсюду были расклеены листовки с воззванием Верховного главнокомандующего адмирала Колчака, «выражающим отчаяние по поводу современного положения и призыв к продолжению борьбы». Надеясь оттянуть остатки своих вооружённых сил к Иркутску, получить военную помощь от интервентов и атамана Семёнова, Колчак надеялся создать в Приангарье новый фронт против Красной Армии.

В глубину Сибири, к Иркутску, из Омска потянулись представители Антанты: американский посол Токо Моррис и командующий оккупационными войсками в Сибири Уильям Грэнс, верховный комиссар Франции Роже Могре со всем своим морским министерством, командующий союзными войсками французский генерал Жанен. Проследовал и эшелон с эвакуированным правительством адмирала Колчака. Отдельными поездами, едва не попав в окружение наступающей Красной Армии, проскочил через Красноярск Совет министров Сибирского правительства в полном составе. И наконец, в Канск прибыл литерный поезд самого Верховного правителя Сибири, постоял пять дней, запасся дровами, провёл карательную операцию против партизан и отправился дальше на восток. Оставаться в Канске было уже

небезопасно — в районе активно действовал Северо-Канский партизанский отряд, а также 55-й Сибирский полк, ещё летом расквартированный в городе и перешедший на сторону партизан.

В холодном вагоне, приспособленном для перевозки лошадей и наскоро оборудованном для переброски войск, ехал в неведомую Сибирь поэт Георгий Маслов и, чтобы отвлечься от уныния и тоски, читал товарищам вслух поэму «Аврора», законченную уже в пути:

Прошло в пути четыре года.
Тоска его вперёд гнала.
Зачем богатство и свобода,
Когда в душе седая мгла?

«На каком-то полустанке, — вспоминает Всеволод Иванов, — недалеко от станции Ояш, я нёс мешок добытого с трудом угля, чтобы согреть наш вагон. Окликнули из теплушки беженцев. Перепуганные, впавшие большие глаза глядели на меня неподвижно. Я узнал поэта Георгия Маслова, автора «Авроры». Без жалоб и уныния, а сказав только, что «кажется, у меня начался тиф», он пригласил в теплушку и стал читать главы из своего романа «Ангел без лица». <…> Поезд тронулся. Оставив Маслову мешок с углём, я выскочил из теплушки, а через месяц узнал, что тиф скосил Маслова и рукопись романа пропала».

Тяжелобольного поэта, не сумевшего найти своё место в революции, сняли с поезда в Красноярске и поместили в тифозный барак. Маслов уже не питал никаких иллюзий насчёт выздоровления: к декабрю 1919 года в красноярских больницах лежало более десяти тысяч тифозных больных, и каждый день кто-нибудь умирал. Красноярский городской ревком срочно организует специальную чрезвычайную комиссию — «чекатиф», уплотняет больницы, мобилизует медицинский персонал, занимаются под госпитали общественные здания, однако эпидемия не унималась.

Перед смертью Георгий Маслов ещё ухитрялся работать — выправлял свою поэму «Аврора», подготавливая её к печати. И последнее, что сочинил, было похоже на эпитафию:

И я покину край Сибири,
Где музы, песни и вино,
И был Георгий Маслов в мире,
Иль не был — будет всё равно.

Он умер в Красноярске, сражённый сыпняком, в декабре 1919 года, на двадцать пятом году жизни. И где погребён — неизвестно. Вероятно, там, где хоронили тифозных, в общей могиле, отмеченной лишь табличкой с указанием количества умерших.

В мае 1920 года возникло первое в Иркутске литературно-художественное объединение (ИЛХО), именуемое «Барка поэтов», — довольно-таки шумное и разноголосое. В предисловии к сборнику «Иркутские поэты», изданному ИЛХО, местный критик Б. Жеребцов отметил: «Эти поэты были последними представителями той отживающей традиции, которая в Сибири в годы Гражданской войны была лучше всего представлена поэзией Георгия Маслова».

Алексей Шепелёв

Протопоп Аввакум: сквозь воду, огонь и медные трубы

Помню, что когда в школе проходили по истории тему «Раскол», я, как и прочие, не сильно ей заинтересовался. Да зачастую даже и сами учителя тут не особо мудрствуют: в светском-де государстве с вещами поважнее хоть разобраться!.. «Какая, право, разница,—рассуждаем,—тремя пальцами креститься или двумя—никакой!» И в итоге остаётся в нашем, как говорят, культурном багаже только картина Сурикова «Боярыня Морозова» (такое, однако, всё же не забудешь!) да само имя главного деятеля—протопоп Аввакум.

На филфаке, когда проходили «Житие» Аввакума в курсе древнерусской литературы, я, честно признаться, тоже это незауряднейшее произведение проигнорировал. Восполнить пробел в образовании пришлось позже, и, надо сказать, потрясение моё было не меньше, чем несколько ранее от Достоевского.

Есть у меня и некий формальный повод для интереса к заявленной теме. Девичья фамилия моей матери—Морозова, и несколько лет назад меня озадачили такой информацией: её племянница проводила генеалогические изыскания в архиве города Пензы и вроде бы докопалась до того, что род наш всё же имеет какое-то отношение к знаменитой сподвижнице Аввакума боярыне Феодосье Морозовой. Кроме того, я уже несколько лет живу в Подмосковье, совсем недалеко от Михайловской Слободы, приход церкви Архангела Михаила которой является одним из основных центров единоверия в России, а по окрестным сёлам ещё можно разыскать немногочисленных стариков, считающих себя старообрядцами.

Поскольку в своём эссе я обращаюсь прежде всего к молодой аудитории, тинэйджерам, среди них, как и во все времена (а теперь, что и говорить, особенно!), найдутся те, кто явно не находит в себе сил дочитать статью до конца, предпочитая обращаться, допустим, к искусству кино. Таковым могу порекомендовать многосерийный телефильм Николая Досталя «Раскол», который должен был выйти на экраны в апреле 2011 года. Это хороший режиссёр; а тем, кто привык мыслить в категориях высокобюджетности, можно назвать и смету этой масштабной кинокартины: десять миллионов долларов. Можно ещё посоветовать роман Николая Коняева «Аввакумов костёр», аудиокнигу по которому легко найти в Интернете.

Аввакум, несомненно, самый известный раскольник (вспомним фамилию знаменитого персонажа Достоевского), «расколоучитель», самое известное действующее лицо раскола Русской Православной Церкви XVII века, одного из самых трагичных событий нашей истории, разделивших церковь, а во многом и общество, на два лагеря: ново- и старообрядцев. Несмотря на то, что в начале XIX века церковь, а в начале двадцатого—и государство сделали существенные шаги навстречу гонимой «старой вере», введя единоверие, а в 1971 году РПЦ окончательно признала старые обряды «спасительными и равночестными», последствия раскола для людей верующих сказываются и поныне. Большой резонанс имела история с так называемыми пензенскими затворниками (не староверами, но в чём-то близкими к ним, так сказать, типологически), немало пишут и о такой неоднозначной личности, как Герман Стерлигов (бизнесмен и политик, основавший, чтобы «уйти от мира», общину в Подмосковье, близок к старообрядчеству). Говорят, что и сейчас в Сибири, в лесах и скитах, живут отшельниками староверы. Тоже не только красиво, но и весьма верно замечено, что без XVII века, возможно, не было бы семнадцатого года. И Смутное время, и церковный раскол дали прецедент поляризации, раскола всего общества (именно в основном на две непримиримые «партии», части, и именно по идеологическому признаку), гражданской войны между русскими людьми, когда «брат шёл на брата».

Но вернёмся к Аввакуму. У помянутого нами Родиона Раскольникова раскол был внутренний; противоречивой натурой, как известно, был и его гениальный создатель. Однако творчество способствует преодолению противоречий, оно как бы ими питается, и личность творца, гения—это, вне сомнения, личность целостная. Протопоп Аввакум, один из первых русских писателей,—личность,

можно сказать, целостная от природы, человек истинной христианской веры, колоссальной внутренней энергии и свободы, хотя как человек он противоречивый и страстный — настоящий русский типаж. Наверное, малопонятно, но, подражая нашему герою, скажем: чти (читай) дальше.

Аввакум написал немало, исследователи приписывают ему сорок три сочинения, и был, по-нашему выражаясь, властителем дум. Основное, наиболее целостное и наиболее значимое в литературном плане его сочинение — «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» (или просто «Житие», 1672–1675); помимо этого, обычно выделяют два его цикла: «Книгу бесед» (напр., «Об иконном писании») и «Книгу толкований» (в основном на псалмы). И конечно, отдельная статья — эпистолярное наследие писателя и проповедника: письма и послания, в том числе челобитные царю.

Понятно, не каждому дано писать такому высокому адресату в надежде, что он соблаговолит прочесть, да ещё принять к сведению. Тем более то, что писал ревнитель благочестия Аввакум, и паче того — как писал! И диалог, хотя формально и односторонний, был. Здесь дело в личном знакомстве автора с самодержцем. Аввакум слал послания из далёкой ссылки, в которую царь Алексей Михайлович его и упёк. Другие произведения, как целые книги, так и их отрывки (как бы публицистические статьи), так и прочее «по мелочи», — всё это, адресованное как конкретным лицам и общинам, так и, подобно апостольским посланиям, «ко всем верным на лице земном», «к чтущим и слышащим», тоже рассылалось во все концы страны. В таковом процессе можно усмотреть прообраз печатной прессы, газет или даже Интернета (тем паче что действовал, влиял Аввакум за десятки тысяч километров!). Назначение сих писаний было — укрепить веру (истинную — старую), фактически же они способствовали расколу в обществе; однако царь на это закрывал глаза: «Ведёт свой оппозиционный блог мятежный поп — ну и ладно!..» Однако же новый государь Фёдор Алексеевич, сын прежнего, когда непримиримый Аввакум написал челобитную в том же духе и к нему, вскоре приказал вождя староверия казнить — сжечь заживо в срубе.

Продолжая аналогию с нынешними информтехнологиями, можно сказать, что Аввакумовы послания, а в какой-то мере и «Житие», написаны как бы онлайн (здесь-и-сейчас). Остроумцы уже зачислили в изобретатели «жж» того же Достоевского с его «Дневником писателя», а вот ещё один прецедент — и более ранний! ещё один претендент — и не менее достойный!

Если же говорить более серьёзно, то «Житие» — важнейшее событие для (будущей) русской литературы, уникальный художественный текст, к которому некоторые возводят — и это, на мой взгляд, справедливо — возникновение русского романа как жанра.

Напомним, что именно роман (его называют: «реалистический», «психологический», а иногда и «идейный») прославил русскую культуру (а во многом её и определил), стал нашим мировым брендом. Появились понятия «классика», «великая русская литература»; имена таких титанов, как Достоевский и Толстой, знакомы всем.

Напомним также, что создателем отечественной словесности в современном её виде считается Пушкин. Книги Аввакума, что и понятно — были гонения, читали и чтили староверы, но они, естественно, не рассматривали эти тексты как факт или памятник литературы. Есть мнение, что забвение Аввакумовых писаний надолго завело всю русскую словесность в тупик, из которого выход нашёлся только благодаря усилиям пушкинского гения.

Тем не менее, во второй половине XIX века «Житие» постепенно возвращается, входит в круг чтения образованной публики, в авангарде которой были, в первую очередь, как раз выдающиеся писатели. Так, Лев Толстой, по воспоминаниям современников, любивший читать отрывки из главного труда Аввакума семье и близким вслух, однажды был даже потрясён до слёз. Конечно, внимали гласу пророка древлеправославия Достоевский, христианский писатель (но автор, напомним, полифонических романов), и трагический гуманист Всеволод Гаршин. У Аввакума стали учиться литературному языку такие виртуозы-стилисты, как Лесков и Тургенев (последний считал, что Аввакум «…писал таким языком, что каждому писателю непременно следует изучать его»).

Здесь же, забегая вперёд, заметим, что мало того, что из агиографического (житийственного) жанра в книге протопопа выкристаллизовывается роман — причём остросюжетнейший, отчасти даже мистический триллер! — плюс это же ещё и автобиографическое произведение («реальное», зачатки документального жанра, нон-фикшн), и всё это, что называется, «в одном флаконе»!..

Итак, протопоп Аввакум — Аввакум (по-старому правильно произносится с ударением на втором слоге) Петрович (или Петров) Кондратьев, даты жизни: 1620–1682. Один из первых русских (духовных) писателей, страстотерпец, прославленный старообрядческой церковью в лике святого, ревнитель веры, строжайший аскет, экзорцист, яростный обличитель и неутомимый проповедник. Короче, по-современному — воистину харизматическая и культовая личность (хотя теперешние эти понятия в приложении к большинству нынешних культурных героев, «звёздам» и т. д. по сравнению с фигурой Аввакума, его ореолом, — всего лишь тень или пародия). Его можно было бы назвать и революционером, только мы привыкли, что

революционеры ратуют (и зачастую отдают свои жизни) за всё новое, а здесь совсем наоборот.

Во-первых, слово «революция» можно перевести с латыни группой родственных слов, среди которых не только «переворот», но и «поворот», и «обращение», и даже «возвращение». А во-вторых, у нас, людей Нового времени, такое мышление: новое — значит, лучше, чем старое. Эволюция, прогресс и прочее. Кому, к примеру, сегодня придёт в голову отстаивать аналоговое ТВ против цифрового, или 3D-кино против наступающего ему на пятки 4D, или мобильную связь 3G от 4G?! Однако если присмотреться — есть же ведь, допустим, хоть и немногочисленные, приверженцы Windows XP против «Семёрки» и «Висты» или непонятные ревнители старого Winamp'a! Или те, кто не принял реформы орфографии 1918 года и писал по-старому, как, например, Владимир Набоков. Посему философия и мышление эпохи модернизма, с их верой в прогресс, не единственные и не единственно верные, или лучше сказать, что они одномерны. В любом случае такой взгляд на вещи противоположен миросозерцанию наших предков, для которых важно было именно следование традиции — как правило, сакральной. И то, что это не пустые слова, доказано как раз историей церковного раскола, и в первую очередь судьбой Аввакума.

Бóльшая часть биографических сведений об Аввакуме почерпнута из его сочинений — в первую очередь, конечно, из «Жития»; на нём мы и остановимся поподробнее. Здесь же, как и в других, «полемических» произведениях, сильна теоретическая часть.

Открывается книга излюбленным занятием автора — толкованием Священного Писания, что, впрочем, и вполне характерно для всех тогдашних книжников. Однако в Аввакумовых текстах это всегда соединено с критикой «новолюбцев», «никониян», сторонников реформы церкви, проводимой под руководством патриарха Никона. Современные события, бытие самого Аввакума намеренно сопоставляются с событиями Ветхого и Нового Заветов, легендарные события священной истории как бы проецируются на повседневные реалии — таков, пожалуй, главный художественный приём древнерусского автора.

Однако здесь я бы простил начинающему читателю, если б он пропустил первых пять страниц малопонятного теоретизирования и сразу начал читать вот отсюда: «Рожение же моё в нижегородских пределех, за Кудьмою-рекою, в селе Григорове. Отец ми бысть священник Пётр, мати Мария, инока Марфа. Отец мой прилежавши пития хмельного, мати же моя постница и молитвенница бысть, всегда учаше мя страху Божию. Аз же некогда видев у соседа скотину умершу, и в нощи, восставше, пред образом плакався довольно о душе своей, поминая смерть, яко и мне умереть; и с тех мест обыкох (привык) по вся нощи молитися».

В этом коротком вступлении, в простой и выразительной зарисовке уже как бы дана коллизия, конфликт, в литературоведении это называется завязкой.

Далее идёт краткая ретроспекция трудной (но пока обычной) судьбы: когда юноше было пятнадцать лет, умер отец; в семнадцать лет «изволила мати меня женить» — на четырнадцатилетней дочке кузнеца Анастасии; через несколько лет родился первый сын Иван и т. д. И, конечно, служение: «Рукоположен во дьяконы двадесяти лет с годом, и по дву летех в попы поставлен; живый в попех осьмь лет, и потом совершен в протопопы... тому двадесеть лет минуло; и всего тридесят лет, как имею священство».

После такого, в полстраницы, биографического очерка Аввакум Петров сразу берёт быка за рога — резко переходит к самому непосредственному, удивительно красочному и супердинамичному описанию случаев из своей многострадальной жизни. Вот уж где жёстко так жёстко! Остросюжетно, прямо скажем, донельзя, нарочно не придумать (а это и не придумано), — короче, как сейчас выражаются, жесть!

Ведь быка за рога — почти буквально! Аввакум, богатырь, бившийся не мечом, но словом, человек железной воли, в молодости был крепок физически, да ещё ревнив к вере до того, что иногда терял над собою контроль. «Приидоша в село моё плясовые медведи с бубнами и с домрами, и я, грешник, по Христе ревнуя, изгнал их, и хари и бубны изломал на поле един у многих и медведей двух великих отнял, — одново ушиб, и паки ожил, а другого отпустил в поле», — каково!

И дальше: «И за сие меня... Шереметев... взяв на судно и браня много, велел благословить сына своего Матфея бритобратца. Аз же не благословил, но от писания ево и порицал, видя блудолюбный образ. Боярин же, гораздо осердясь, велел меня бросить в Волгу, и, много томя, протолкали». Аввакум, конечно, спасся, и, кстати, вот и первое столкновение нашего героя с водной стихией.

Здесь необходимы пояснения. За конкретными фактами тут нам видятся причины и предпосылки раскола.

Московское царство, по концепции XIV века, воспринималось как Третий Рим, то есть становилось последним оплотом истинной веры. От ереси пал настоящий Рим, католический; под пятóй ислама пал Второй Рим — Константинополь. Однако молодое Московское царство мало подходило на заявленную роль. «Византия была для всех православных народов... культурным центром, откуда исходили к ним наука, образование, высшие... формы церковной и общественной жизни и пр. Ничего похожего на старую Византию не

представляла в этом отношении Москва... весь её образовательный капитал заключался в том... наследстве, которое... русские... получали от греков, не прибавив к нему... почти ровно ничего»,—заключает историк. Красноречив, к примеру, такой досадный факт, как донесение царю об имевшем место на Афоне в конце сороковых годов сожжении церковных книг московской печати как еретических,—какое уж тут первенство! Повсюду налицо было лишь внешнее соблюдение обрядов (отчасти сопоставимое с современным иудаизмом или же с нынешним бытовым обрядоверием), различные разночтения в их отправлении (например, щепотью или двоеперстием креститься), засилье в народной среде остаточного языческого мировоззрения (обрядов, праздников, игр, предрассудков). Для искоренения всего этого был созван Стоглавый собор 1551 года (его постановления, как ни странно, во многом совпадали с тем, что потом и отстаивали староверы!), однако он должного эффекта не дал. Воз был на прежнем месте, и, например, скоморошество (хотя это не столько язычество, сколь народная, «низовая» культура, на место коей в двадцатом столетии заступила поп-культура) по-прежнему процветало, поэтому люди вроде Аввакума вынуждены были бороться против всего названного такими вот радикально-эксцентрическими методами.

Таким образом, более существенную роль в начале раскола сыграли даже не чисто религиозные факторы, а политические. Взгляд русского государя на себя как на наследника Византии (а возможно, и её освободителя от турок), защитника всего православия, фактически наместника Бога на земле, тоже заставлял его стремиться к такому тождеству русской и греческой веры.

С другой стороны, справедливо опасались вторжения языческой (античной) и современной западной (светской) образованности. В приведённом эпизоде «Жития» «бритобратец» значит «брадобритец». До Петра I (кстати, сына Алексея Михайловича, и прозванного в народе антихристом), заставлявшего брить бороды, было ещё далеко; наоборот, в то время шла кампания против «латинского обычия», в Служебнике 1647 года было помещено поучение: «Не брити брад и усов не постригати». В православной традиции мужчина без бороды—всё равно что без штанов, так что Аввакум и тогда уже выступал как строгий и действенный поборник благочиния.

Эволюция чина богослужения (то есть обрядов и правил) в древние времена во многом определялась не книжной (фиксированной) традицией, а устным церковным преданием и была известна по весьма разрозненным и отрывочным сведениям из святоотеческих текстов. Так, существует предположение, что ко времени Крещения Руси в Византийской империи конкурировало два обычая относительно крестного знамения, направления движения крестного хода и т. п. Русские заимствовали один, а у греков впоследствии (особенно после падения Константинополя) окончательно утвердился другой. В связи с этим в Московской Руси встал вопрос, какого порядка богослужения следует придерживаться.

При Печатном дворе была организована книжная справа, суть которой заключалась в сопоставлении разных вариантов греческих и славянских изданий и рукописей, их редактировании, приведении к единообразию. Для объяснения этого явления можно предложить аналогию с такой сегодняшней реалией, как «режиссёрская версия фильма», когда главный создатель картины, режиссёр, не согласен с мнением продюсеров (представляющих, как они твердят, вкусы зрителя) и выпускает альтернативную авторскую версию—изначальную, не искажённую.

Аввакум сам надеялся стать справщиком, но с этим, к сожалению, не получилось, однако в начале 1652 года он примкнул к сложившемуся в конце сороковых годов церковно-аристократическому кружку хранителей благочестия, куда входил, кстати сказать, сам молодой государь, а также духовный учитель Аввакума Иван Неронов. Но самым активнейшим деятелем кружка, как это ни странно звучит в известном нам историческом контексте, был Никон, будущий патриарх и зачинатель наделавшей столько бед реформы.

В этом же году он предпринял путешествие в Соловецкий монастырь (тот самый, что станет оплотом староверия и с 1668 по 1676 годы (!) будет держать оборону от правительственных войск) за мощами митрополита Филиппа (того, что изображён в фильме П. Лунгина «Царь»), причём сопровождавшие его в пути вельможи роптали, жаловались царю на чрезмерные требования Никона к благочестию.

Из такого контекста видно, что коллизия раскола довольно сложна: Никон, грубо говоря, «хотел того же», тоже хотел блага, торжества православной веры, однако понималось это благо (благочестие) им, а с другой стороны—приверженцами старого обряда по-разному (примерно как в начале XX века будущее России красными и белыми).

Исправление традиции, символов веры (а тем более текста священных богослужебных книг, хранимого со времён древних откровений) воспринималось людьми традиционного общества как её нарушение, искажение, извращение самой веры. «Русские ревнители оказались перед двумя рядами символов, по-разному являющих священные сущности, но одинаково претендующих на единственность и истинность. Из этого драматического положения не было мирного выхода. Из двух противоположных символов один до́лжно было признать следствием тёмного

глухого невежества или дьявольским наваждением. Третий выход — признать христианские символы подвластными человеческому произволу, условными, не сопряжёнными с потусторонним миром — был чужд ревнителям благочестия в XVII веке… Религиозное чувство в своей новой яростности не допускало… альтернатив… Европа разрывалась от религиозных войн».

Авторитет слова не был ещё девальвирован (слово богослужебных книг однозначно трактовалось как вдохновлённое Святым Духом, как эманация Божественного Слова, которым был сам Спаситель), рос авторитет печатного слова, что можно определить как важнейший исторический перелом, когда слово, идея, идеология стали влиять на ход истории.

По стилю и событийной насыщенности-стремительности некоторые сцены начала Аввакумова повествования чем-то напоминают… русские народные сказки. Только уходит он «от бабушки и от дедушки» сильно избитым, и не добровольно, и не один. Аввакум заступился за сироту, тогда «начальник» (то ли от светской власти, то ли один из попов, поддерживающих возмущение местных прихожан против длинных протопоповских служб) «пришед во церковь, бил и волочил меня за ноги по земле в ризах, а я молитву говорю в то время». А после того «ин начальник… прибежав ко мне в дом, бив меня, и у руки огрыз персты, яко пёс, зубами. И егда наполнилась гортань ево крови, тогда руку мою испустил из зубов своих… Аз же, поблагодаря Бога, завертев руку платом, пошёл к вечерне», а потом ещё «ин начальник… приехав с людьми ко двору моему, стрелял… из пищалей с приступом». Тогда изгнанный священник, взяв только клюку, и жена его с младенцем на руках пошли с братией «амо же Бог наставит» — в чистое поле, «а сами, пошед, запели божественныя песни…». «Певцов в дому моём было много», — с горькой иронией замечает Аввакум, отец многочисленного семейства (двое его сыновей потом участвовали в расколе, были приговорены к повешению, но были помилованы как раскаявшиеся).

По сути это чем-то сходно с действием привычного архетипа бегства провинциала в столицу, ведь в Москве нравы были другие, беглый протопоп снова стал служить, здесь его «знать почал» государь, в перспективе были неплохая карьера и мирная жизнь для семьи, но Аввакум Петрович, не один раз возвращаясь волею судьбы в стольный град (потом будучи уже известным), ни разу не соблазнился.

Жизненные приоритеты, как сейчас говорят, были другие, да и у таких людей, как Аввакум, сама вера, даже в её внешних проявлениях, была покрепче нынешней. Суровый был у староверов распорядок дня; вот как протопоп пишет о молитве перед сном: «…я 300 поклон, 600 молитв Исусовых да сто Богородице, а жена 200 поклон, да 400 молитв, понеже робятка у неё пищат». То же он советует и своей духовной дочери, боярыне Морозовой: «…в нощи востав, совершиши 300 поклонов в седьм сот молитв…» Это сейчас главные ценности — новые, либеральные, — жизнь, здоровье, свобода, семья, и паче того мифический «успех»; в православии эти ценности тоже присутствуют, но главная всё же, всё определяющая — спасение души. Во многом раскол связан с размежеванием религиозных и светских ценностей, с противостоянием процессу обмирщения церкви. «В XVII в. рядовой москвич перестаёт заниматься спасением своей души и только стремится развлекаться, — замечает исследователь. — …Двуеперстие и вопрос о поклонах являлись лишь внешними предлогами для разрыва; двуеперстие было символом истинной религии». После грехопадения первого человека мир лежит во зле, а церковь противостоит ему. Этой неизменной (догматической) мысли следует Аввакум. «С самого рождения своего человек не имеет ни одного дела… ни одного помышления… в которых бы добро было без большей или меньшей примеси зла», — пишет наиболее близкий к нам святой — отец Игнатий Брянчанинов (XIX век), оставивший карьеру и вопреки воле родителей ставший монахом. Если нет сил последовать, надо хотя бы признать собственное несовершенство, покаяться, тогда есть и надежда на спасение.

13 августа 1653 года «расколоучитель» был взят прямо со службы. «…Меня… на чепь (на цепь) посадили… Егда ж россветало в день недельный (в воскресенье), посадили меня на телегу, и ростянули руки, и везли… до… монастыря и тут на чепи кинули в тёмную полатку, ушла в землю, и сидел три дни, ни ел, ни пил; во тьме сидя, кланялся на чепи…»

Здесь случилось первое чудо, одно из многих, описанных Аввакумом в его «Житии»: «…после вечерни ста предо мною, не вем — ангел, не вем — человек… токмо в потёмках молитву сотворил… лошку в руки дал и хлебца немношко и штец (щец, щей) дал похлебать — зело прикусны, хороши!.. Двери не отворялись, а ево не стало!»

Собирались расстричь протопопа («…журят мне: «что патриарху не покорился?»… У церкви за волосы дерут, и под бока толкают, и за чепь торгают, и в глаза плюют», — картина уже напоминает деяния апостольские), но по просьбе государя (заступилась его сестра) не стали, не осмелились. Порешили отправить в ссылку дальнюю, на самый конец Руси, в Даурию, за Байкал.

Места это суровые, а в то время прямо непроходимые, гиблые, с разбойниками и дикими племенами; добирался туда распоп (расстриженный поп, богослужения проводить всё же запретили) со всем своим семейством несколько лет, под начальством воеводы Пашкова, человека властного

и жестокого. Рассказ Аввакума изобилует множеством стилистически красочных, но в то же время скупо-правдивых — сочинять и преувеличивать ему, как автору несветскому, уж точно не к лицу! — немыслимых злоключений и случаев чудесного спасения.

Тут уж грозная водная стихия полностью вступила в свои права. А не меньшие козни чинили, дабы сгубить протопопа, недобрые люди да силы бесовские.

«…В Тунгуске-реке в воду загрузило бурею дощеник (лодку) мой совсем: налился среди реки полон воды, и парус изорвало… всё в воду ушло. Жена моя… из воды робят кое-как вытаскала… А я, на небо глядя, кричю: «Господи, спаси!..» И Божиею волею прибило к берегу нас… На другом дощенике двух человек сорвало, и утонули в воде». «Много о том говорить!» — завершает Аввакум сцену характерным для него приговором. В другой раз тоже чуть-чуть не утонул: барку с Аввакумом оторвало от берега, перевернуло, и его несло течением «с версту и больше», а после «Пашков меня же хотел бить: „Ты-де над собою делаешь на смех“».

По дороге заступился Аввакум за двух вдов престарелых, которые собирались стать монахинями, а воевода захотел выдать их замуж за казаков. За то приказано сечь его — Аввакум выдержал семьдесят два удара кнутом (говорят, редкий «счастливец» выдерживал и пятьдесят!). «Так ему горько, что не говорю: „Пощади!“ Ко всякому удару: „Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помогай мне!“»

И не просто ведь шли экспедицией, а работали как бурлаки — «лес гнали» (сплавляли по воде). «…Люди учали с голоду мереть и от работныя водяныя бродни. Река мелкая, плоты тяжёлые… палки большие… кнуты острые, пытки жестокие — огонь да встряска, люди голодные: лишо станут мучить — ано и умрёт! И без битья насилу человек дышит… Ох, времени тому!» А воевода «все люди с голоду поморил, никуды не отпускал промышлять… траву и корение копали… а зимою — сосну… кости находили от волков поражённых зверей, и что волк не доест, мы то доедим. А иные и самых озяблых ели волков, и лисиц… всякую скверну».

Тяжело было Аввакуму, отцу семейства, и знал он, на какие муки сам идёт и семью обрекает, но всё же понимали и близкие его, за что принимают страдания. «В ыную пору протопопица, бедная, брела, брела, да и повалилась, встать не сможет… Опосле на меня, бедная, пеняет, говоря: „Долго льде, протопоп, сего мучения будет?“ И я ей сказал: „Марковна, до самыя до смерти!“ Она же вздохни, отвещала: „Добро, Петрович, ино ещё побредём“». «Коли же кто изволил Богу служить, о себе ему не подобает тужить», — такую пословицу приводит духовный писатель.

Находились в пути и добрые люди, помогали Аввакуму. К примеру, такая вот трогательная история: «Курочка у нас чёрненька была; по два яичка на день приносила робяти на пищу, Божиим повелением нужде нашей помогая… А не просто нам она и досталася. Убояроны куры все переслепли и мереть стали; так она… ко мне их прислала, чтоб-де батько… помолился о курах… Молебен пел, воду святил, куров кропил… Куры Божиим мановением исцелели и исправилися по вере ея. От тово-то племяни и наша курочка была». Или Аввакум казакам, которые взяли его и везли по приказу воеводы, наварил каши, «и оне, бедные, и едят, и дрожат, а иные плачют… жалея по мне». То же подлинно христианское отношение будет потом у страдальца и к стрельцам, сопровождавшим его уже во вторую ссылку: «Прямые добрые стрельцы-те люди… Нужда какая приключится, а они всяко, миленькие, радеют… Полно, оне, горюны, испивают допьяна да матерны бранятся, а то бы оне с мучениками равны были».

Может быть, оттого и Бог помогал: как в древние времена Писания, происходили чудеса. Как-то шёл Аввакум на базлуках (подковы с шипами) по льду, «гораздо от жажды томим, итти не могу… воды добыть нельзя, озеро вёрст с восьмь; стал, на небо взирая, говорить: «Господи!.. ты напой меня…» Ох, горе! не знаю, как молыть; простите, Господа ради! Кто есмь аз? умёрый пёс! Затрещал лёд предо мною и расступился… гора великая льду стала… Оставил мне Бог пролубку маленьку, и я, падше, насытился». В голод никто не мог добыть рыбы; от безысходности Аввакум, помолившись, поставил свои ветхие сети: «наутро пришёл, ано мне Бог дал шесть язей да две щуки…» Воевода же, узнав, «…исполняся зависти, сбил меня с тово места и свои ловушки… велел поставить…». А сам поставил сети на мелководье, в заведомо безрыбном месте. «Человеку воды по лодышку, — какая рыба? — и лягушек нет!» — с присущими его языку народной иронией и образностью восклицает писатель. «Тут мне зело было горько, а се, подумав, рече: «Владыко человеколюбче, не вода даёт рыбу… посрами дурака тово, прослави имя Твое святое»… Егда пришли… полны сети напехал Бог рыбы… а на прежнем нашем месте ничего Пашкову не даёт Бог рыбы. Он же… велел сети мои в клочки изорвати…»

Но не «блазнился о чюдесех» Аввакум, относился к ним как подобает православному человеку и священнику. (Во всём он, кажется, был сдержан, кроме принципиального вопроса о вере и обрядах!) О том, как «едва не забылся», впав в грех гордыни, вспоминает он, записывая, другое событие. Тащил он домой воз рыбы, волочил на нарте по льду и земле. Выбился из сил, ночь и сильный мороз застали его на середине пути. «Ни огня, ничево нет… ноги не служат. Вёрст с восьмь до двора; рыба покинуть и так побрести — ино лисицы розъедят, и домашние гладны… взлез на

вершину древа, уснул. Поваляся, пробудился… Увы, Аввакум, бедная сиротина… смерть пришла. Взираю на небо и на сияющая звёзды, тамо помышляю владыку, а сам и прекреститися не смогу: весь замёрз. Помышляю лёжа: «Христе, свете истинный… яко червь исчезаю». А се согреяся сердце моё во мне… тащился с версту, да и повалился… ино ноги обмёрзли… на гузне… кое-как и дополз до своея конуры. У дверей лежу, промолыть не могу, а отворить дверей не могу же».

Только утром увидела его жена и втащила в дом. «На обеде я едше грех ради моих (из-за своих грехов) подавился—другая мне смерть!.. Колотили много в спину, да и покинули; не вижу уж и людей, и памяти не стало… Дочь моя Агрепена была не велика… и никто ея не учил,—робёнок разбежался, локтишками ударилась в мою спину… и дышать стал!.. Сие мне наказание за то, чтоб я не величался пред Богом… что напоил меня среди озера водою… И дорогою, было, идучи исчезнул,—не величайся, дурак, тем, что Бог сотворит…»

Именем Божиим исцелял Аввакум болезни; даже Пашков, когда протопоп вылечил его умирающего внука, пришёл с благодарностью (но после того опять «маленько не стал… пытать»!); врагам и обидчикам своим являлся, помогая в экстремальных жизненных ситуациях, и не велел никому говорить о том; исцелил он также в разное время немало бесноватых, словно бы возрождая способность изгонять бесов, изначально, в первые века христианства, присущую почти всем христианам.

Сцены с одержимыми очень выразительны, есть даже жутковатое описание вполне в духе гоголевского «Вия»: «…аз же из двора пошёл… в церковь в нощи глубоко. И егда на паперть пришёл… бесовским действом скачет столик на месте своём. И я, не устрашась, помолясь пред образом, осенил рукою столик и, пришед, поставил ево, и перестал играть. И егда в трапезу вошёл, тут иная бесовская игра: мертвец на лавке… во гробу стоял, и бесовским действом верхняя роскрылася доска, и саван шевелитца стал, устрашая меня. Аз же, Богу помолясь, осенил рукою мертвеца, и бысть по-прежнему всё».

«Два у меня сына в тех умерли нуждах. Не велики были, да, однако, детки… И тое великие нужды были годов с шесть и больши. А во иные годы Бог оградил»,—подводит Аввакум горький, но исполненный истинного христианского смирения итог первой своей ссылке.

Пришло распоряжение доставить главного раскольщика—как и прочих со всей страны—в Белокаменную, на суд. На обратном пути воевода прямо обещал утопить Аввакума, но он с ним не поплыл, отправился на утлом судёнышке…

Пока изгнанник совершает своё виртуальное путешествие, поговорим о литературной значимости Аввакумовой «энциклопедии русской жизни», замечательной прежде всего своим языком, единством необычного замысла и органичного воплощения.

В восприятии сегодняшнего читателя текст XVII века читается как насыщенный языком «падонков»: «поперёг», «научитца», «плачю», «дватцеть» и т. д. Аввакум за словом в карман не лезет, не чурается он и довольно крепких выражений. Обращает на себя внимание излюбленное ругательство автора: «блядин сын». Принцип единообразия написания морфем, по которому сейчас учат с первого класса, тогда не был оформлен, и слова писались как Бог на душу положит, иногда в одном абзаце можно встретить варианты одного и того же слова. И надо сказать, всё равно ведь понятно, что когда значится «жюк», то это не жюк какой-то непонятный, а жук!..

Новаторством Аввакума стало введение в текст живого, разговорного языка, с его образностью и экспрессией. Иными словами, он первым стал писать по-русски, ведь литература, тогда фактически вся религиозная, писалась на старославянском языке.

Вернее, в «Житии» и других текстах налицо взаимопроникновение, синтез этих языков. В богословских рассуждениях язык тяготеет к церковнославянскому, а при описании вещей более прозаических писатель естественно переходит на язык обиходный.

Только отличительная черта Аввакумовых сочинений—в стремительности такого перехода, что обусловлено, как я уже говорил выше, сплавлением двух разных реальностей. Аввакум-писатель чем-то напоминает Джойса, использовавшего миф об Одиссее как композиционный каркас для своего знаменитого романа. Аввакум не просто повествует, вставляя цитаты, чтоб показать свою богословскую начитанность: его ум, душа, вся его личность развивается, действует, живёт в реальности Ветхого и Нового Заветов и книг святых отцов. Своё время, время отступничества от веры, наступающего конца мира, он видит в сопоставлении по значимости с началом священной истории, изложенным в этих текстах.

Новаторством было и введение в жанр жития повествования от первого лица, описание себя, своего повседневного бытия (прецедентом и определённым оправданием были лишь «Деяния апостолов»), восприятие мира через лирическое «я», откровенность—такой автобиографизм (я называю это «эгореализмом») и явился прообразом жанра романа.

К государю, дюжину лет скитания и лишений милостию коего претерпел, изгнанник всё равно относился по-прежнему, тоже как и подобает православному: «Я и ныне, грешной, елико могу, молюся о нём». А вот для патриарха Никона и его сподвижников не жалел слов бранных («кобель

борзой, враг», «никониян тех перепластать (рассечь на части)». Личную судьбу Аввакум принимал с искренним смирением, но когда на кону стояла судьба веры на Руси, судьба православия вообще — что называется, заходился, не мог сдержаться. «Я ево высмотрил диаволова сына до мору того ещё (Никон был земляком Аввакума, можно сказать, из соседнего села. — *А. Ш.*), — великий обманщик, блядин сын!» И если и считал его не самим антихристом, как некоторые наиболее радикальные из защитников старых обрядов, то величал «шишом антихристовым» и его предтечей.

Итак, не-режиссёрская версия, как известно, короче, проще, мягче. Так и Никонова реформа, имея дело с материями ещё более тонкими, чем произведения художника, тем не менее, претендовала на устранение неточностей и «корявостей», а также на определённое упрощение. Вот перечень основных «Никоновых новин».

1. В 1653 году по всем церквям разослана «память», в которой говорилось: «Не подобает в церкви метания творити на колену, но в пояс бы вам творити поклоны; ещё и тремя персты бы есте крестились». То есть изменялось крестное знамение, земные поклоны заменялись поясными. В двоеперстном (или, более правильно, пятиперстном) крестном знамении два протянутых пальца означают две природы Христа — божественную и человеческую, а остальные три пальца, сложенные внизу щепотью, символизируют Троицу.

2. В богослужебные тексты было внесено множество новаций: например, о Царствии Божием стали говорить в будущем («не будет конца»), а не в настоящем времени («несть конца»); из определения свойств Святого Духа исключено слово «истинного»; слово «Ісус» стало писаться «Іисус» (при этом имена других Иисусов — Навина и Сирахова — писались как и раньше).

3. Восьмиконечный (иногда шестиконечный, трисоставный) крест заменили на двусоставный четырёхконечный крест (так называемый латинский, или крыж; не путать со старообрядческим крытым, в виде «домика», крестом). Согласно священному преданию, крест Иисуса был составлен из трёх дерев — кипариса, пихты и кедра. Сейчас на большинстве православных церквей — старый крест.

4. Вводилось четверение «аллилуйи»: этот возглас во время богослужения стали произносить не дважды, а трижды, а ещё к нему было добавлено (четвёртое, равнозначное ему) «Слава Тебе, Боже», — в результате нарушена троичность.

5. Крестные ходы стали проводить в обратном направлении движению солнца (раньше шли «посолонь», «по солнцу»). Кроме того, изменились некоторые детали обрядов, облачения священнослужителей и т. д.

Как видим, тут есть и внутренние противоречия, а главным (хотя вроде бы и формальным, внешним) противоречием было то, что всё вышеизложенное противоречило постановлениям упомянутого Стоглавого собора. Тогда, чтобы окончательно поставить точку в возникшем догматическом споре и общественном конфликте, было решено — при поддержке царя — созвать новый собор, который вошёл в историю как Большой Московский собор 1666–1667 годов. На него съехались все русские архиереи и видные представители духовенства, а во втором этапе работы собора принимали участие и двенадцать зарубежных архиереев. Однако раскол не был преодолён: во-первых, был низложен с патриаршества сам Никон, поссорившийся с царём, а во-вторых, авторитет некоторых из прибывших гостей был сомнителен. Так, виднейший из них — митрополит Газский Паисий Лигарид — принял сторону царя и бояр, выпрашивал у них милостей, денег, даже вёл торговлю запрещённым табаком, а главное, как выяснилось впоследствии, всё это время он пользовался титулом митрополита незаконно, так как давно уже был лишён кафедры и даже анафематствован как еретик. Введя в заблуждение государя, он даже претендовал на патриарший престол и склонял его принять унию.

Эсхатологические умонастроения всё больше захватывали общество. Немало поспособствовала сему и сама дата созыва собора, в которой явно виделось «число зверя», а также полное солнечное затмение 22 июня 1666 года. (Полное затмение Солнца случилось и в начале реформы, в 1654 году, тогда же в Москве начался страшный мор, эпидемия чумы, выкосившая больше половины населения.) Аввакум Петров и другие старообрядцы воспринимали свою эпоху в свете грядущего конца мира. (Отсюда обилие в их литературе параллелей с «Деяниями апостолов».) В «писательстве», посвящённом отстаиванию веры отцов, они видели свою миссию, сотериологическую программу, единственное средство к спасению. «Нет граду стояния хотя без единого праведника», поэтому, по убеждению староверов, от их усилий в эпоху погибающей церкви в конечном счёте зависит число праведников на грядущем Страшном суде.

На соборе иноземцы возводили обвинение на русское православие как на невежественное, далеко отставшее от учёности Запада; тогда, по их логике, — обличал реформаторов Аввакум — и все наши святые тоже были невеждами и еретиками. Православие отличается от других ветвей христианства именно своей консервативностью, реформировалось оно очень редко. Один из главных аргументов в пользу истинности православного

вероисповедования—непрерывность рукоположений (в сан священнослужителя), идущая от апостолов, которых призвал, сделал «ловцами человеков» сам Христос. Позже исследователи пришли к выводу, что более истинными (то есть более близкими к ранневизантийским) были как раз старые обряды, бытовавшие на Руси до реформы. Но было поздно—национальная трагедия уже началась…

После собора Аввакум и его собратья по вере были прокляты и сосланы на северный край Руси—в Пустозёрск (маленький городок, близ нынешнего Нарьян-Мара); вскоре были арестованы духовные дочери протопопа: боярыня Морозова (представительница знатнейшего рода и наследница огромного состояния, в доме которой Аввакумово семейство нашло приют в бытность в Москве), княгиня Урусова и дворянская жена Данилова—все они, отказавшись принять церковные нововведения, были уморены голодом в темницах Боровского монастыря.

Протопоп вместе с иноком Епифанием, попом Лазарем и дьяконом Фёдором были поставлены для зачтения приговора перед плахой, «перед всем народом пустозёрским», однако Аввакума вместо смертной казни было велено заточить в земляную тюрьму. (Весьма напоминает казнь Достоевского на Семёновском плацу!) Аввакума царь тронуть опять не посмел, а Лазарю, Епифанию и Фёдору вырезали языки и отсекли пальцы правой руки—чтобы лишить их дара слова, и устного, и письменного. Причём языков их лишали уже второй раз: отсечённые в первый раз через некоторое время отросли опять, и они по-прежнему говорили чисто!

Вот как это изуверство и отношение к нему мучеников описано в Аввакумовом «Житии»: «…Лазаря… взяли и язык весь вырезали из горла; мало попошло крови, да и перестала. Он же и паки говорит без языка… и рука отсечённая, на земле лёжа, сложила сама персты по преданию и долго лежала так пред народы; исповедала, бедная, и по смерти знамение Спасителево неизменно. Мне-су и самому сие чюдно: бездушная одушевлённых обличает! Я… у него во рте рукою моею щупал… Дал Бог, во временне часе исцелело. Играет надо мною: „Щупай, протопоп, забей руку в горло-то, небось, не откушу!“ И смех с ним и горе! Я говорю: „Чего щупать, на улице язык бросили“. Он же сопротив: „Собаки оне, вражьи дети! Пускай мои едят языки!“»

Однако чёрный юмор и брань здесь суть как бы лишь внешняя оболочка святости; такое поведение, а особенно его художественная реконструкция в «Житии» воспринимаются нами как свидетельство о том, что происходило всё описанное взаправду, происходило с живыми людьми, такими узнаваемо русскими. Святости эти «натуралистические подробности» ничуть не убавляют. Епифанию вообще сверхъестественные силы являлись весьма часто. Так, тут было у него видение Богоматери и отсечённых языков: «Един взяв, положил в рот свой, и с тех мест стал говорить чисто и ясно…» Свидетельствуют, что Епифаний и без отрубленной кисти руки продолжал чудесным образом своё любимое дело—изготовлял кресты, которые, подобно посланиям (иногда свитки как раз в кресты и прятали), рассылали во все уголки страны.

Аввакум знал о своей участи, не раз писал об этом, в том числе и царю («ты царствуй многа лета, а я мучуся многа лета…»), постоянно увещевал, бесстрашно изобличал его (например: «Говори своим природным языком; не уничижай ево и в церкви, и в дому, и в пословицах»); взыскуя мученического венца, выбросил в окно всё, что имел (одежду), почти не принимал пищи (и долгое время даже воды!), называл себя, закопанного в напоминающую могилу землянку, «живым мертвецом», призывал своих сторонников к самосожжению.

И вскоре костры запылали, старообрядцы сжигали себя целыми общинами, в деревянных срубах приняли смерть за старую веру тысячи и тысячи человек. Новый царь учредил сыск по поводу распространения «злохульных» сочинений, тюрьму для пустозёрских узников было чинить нечем, и в Великую пятницу 14 апреля 1682 года четыре учителя староверия были сожжены.

Не было ли в таком поступке радикальных староверов от гордыни—трудно сказать; возможно, судить о том нечеловеческом испытании огнём и не человек должен. Человек железной воли, как часто пишут об Аввакуме, он, можно добавить, был человеком железной веры—алмазной, кристальной, а ещё точнее—той материи, которая и не материя вовсе, в которой есть нечто от дара человеку свыше—человеку вообще, а немногим избранным сугубою мерой,—тогда и путь его земной не стыдно изобразить на бумаге в назидание потомкам.

Литература:

1. Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения.—Архангельск: Северо-Западное книжное издательство, 1990.
2. Пустозёрская проза: Сборник [Аввакум, Епифаний, Лазарь, Фёдор].—М.: Московский рабочий, 1989.
3. *Паскаль, Пьер.* Протопоп Аввакум и начало Раскола.—М.: Знак, 2011.

Ирлан Хугаев

Предание о Хуга

Афсати, счастливой охоты дай!
Дзахо

Иногда бывает и так, что один говорит, а другой слушает. В этом нет ничего удивительного. Отчего бы тебе не послушать меня?.. Не знаю, почему мне вспомнилось это предание, но вот что рассказывал мой дед, Хугиан Заурбек. Нет в этой истории ни мудрости, ни складу—ничего, кроме фарна[1] и правды,—потому что, по слову Гатуона Дзахо[2], нашего учителя, растерзанного дикими собаками с псарни другого осетина,—человек может солгать, а народ всегда говорит правду.

Хуга, предок наш, был охотник. В том замане[3] он жил в Стырмасыге, что на нашем языке означает «большая башня». Видит Бог, нет у меня намерения хвастаться, как водится нынче, доблестным пращуром. Главное во всяком предании—рассказчик и слушатель. Как ты думаешь? И ещё—слово и время. Потому что мы говорим—а время идёт. Время есть в каждом слове и каждой вещи, и это время уходит. Итак, дослушай меня до конца—а там суди, стоило ли слушать меня так долго. Так долго!—ведь ты тем временем мог бы напоить меня своим знаменитым ронгом[4] и раскурить для меня душистую вишнёвую лулу[5], плотно набитую благородной золотистой стружкой самого лучшего на свете табака. Как ты всё-таки думаешь?.. Вот и хорошо.

Пращуром хвалиться не стану: другим похвалюсь. Похвалюсь, говорю, только тем, чем смешно и хвалиться—а стало быть, это правда. Кто видел хоть раз ущелья и долины кударцев[6], знает, что здесь самый суровый климат по обе стороны гор. Ещё, говорит Блион Макс[7] в своих летописях, у кударцев было мало земли,—я же думаю, что много у них было сердца—им и грелись, когда на долгие полгода снег закрывал перевалы и кударцы оставались одни, без большой Осетии.

Хуга, говорю, был охотник. Он ходил на оленя и вепря. Барс и волк остерегались его, потому что Хуга пах порохом, пóтом и чем-то страшным ещё. У него были кремнёвка, кинжал, мохнатая бурка и верный конь, который стыдился своей старости. Ещё была сакля. Но сакля не в счёт: зачем сакля одинокому охотнику?

Хуга был охотник. Это значит, что не было у него врагов среди людей. Хуга любил свою землю, свой кау[8], своих старших, младших и сверстников, своих предков и всех ещё не рождённых своих потомков. Он молился Уастырджи и Афсати[9] и в каждом дзуаре[10] Хуссара[11] оставлял часть добычи.

Его младшему брату Слану было двадцать и девять лет. Он был женат и жил в Бритате; правда, детей у него ещё не было. Хуга было тридцать и ещё три года, и не знал он женщин. Он не сердился на младшего брата. Он сам сказал ему: «Женись, если такой счастливый. Не мою невесту берёшь ты в жёны».

Заболел Хуга дочерью Шота Богиана, сауджына[12] эриставского. Говорит ему хитрый старик: «Славный охотник знает цену добыче. Белые черепа Рекома[13] тому свидетели, не правда ли?.. Уох-хо-хо. Будет Дуду твоей. Поклонись только Йесо Чрысти[14]».

Хуга был охотник. Гулар, отец его, был охотник. Безымянный отец отца его был охотник. Никто не молился Йесо Чрысти. Когда охотник ищет мудрости, он отправляется на охоту. Так и сделал Хуга.

Кончился третий день, и вышел Хуга на след вепря. Зверь, судя по следу, был свиреп и огромен.

1. Фарн—благодать.
2. Дзахо Гатуев, осетинский писатель; расстрелян в 1938 году.
3. Заман—эпоха, время.
4. Ронг—креплёный спиртной напиток.
5. Лула—курительная трубка, чубук.
6. Кударцы—обитатели Кударского ущелья Южной Осетии.
7. Известный осетинский историк.
8. Так называли осетины свои аулы и селения, а теперь, милостью Божьей, и города.
9. Языческие божества: Уастырджи—покровитель воинов и путников, Афсати—хозяин диких зверей, покровитель охотников.
10. Дзуар—языческое святилище.
11. Хуссар—юг, Южная Осетия.
12. Сауджын—священник, поп; буквально—«чернец».
13. Реком—древнее языческое святилище в Северной Осетии.
14. Иисус Христос.

Заночевал Хуга в пещере у болот Цона, а утром увидел, что конь его, старый Паддчах[15], издох.

Затащил Хуга бедного Паддчаха в болото, чтоб не достался он диким зверям, сам омылся в ледяном ключе, оправил оружие и, помолившись Уастырджи, пустился бегом в сырую туманную низину.

Зверю теперь некуда было скрыться. Из тесного ущелья между двумя высокими горными кряжами, что сошлись, точно для битвы войска, дно которого было затянуто топкими вонючими болотами и сплошь заросло репейником и облепихой, некуда было уйти от Хуга ни вепрю, ни даже лисице.

Хуга был охотник. Он вспомнил бедного Паддчаха и громко засмеялся от жалости, и потом, не останавливаясь на бегу, запел высоким и звонким голосом старую охотничью песню:

Орайда! Идём мы в выси.
Орайда! Орайда! Ори-да-да.
На кряжах Афсати лысых
Нас встретят его стада.
Афсати, косой Афсати,
Идём вереницей под твой подол,
Добычи на высях хватит,
На тропку сойдёт козёл.
Шерсть козья красней железа.
Орайда! Орайда! Ори-да-да.
Гортань козла дай перерезать,
Жир козий течёт года.
Большие глаза мы вырвем,
Из кожи к чувякам сошьём ремни.
Афсати златой, дай мир нам
И тёплых костров огни.
Мы души потешим мясом.
Афсати, счастливой охоты дай.
Дзуар твой рогами украсим.
Орайда! Орайда! Ори-да-дай![16]

Даже охотник не избавлен в пути от усталости, жажды и голода. В полдень сделал Хуга остановку, последнюю, как верил, перед встречею с вепрем. На пригорке среди кустов шиповника он постлал свою чёрную бурку, налил глоток крепкого арака в прозрачный надтреснутый рог, обнажил бритую — с плоским, будто ножом срезанным, затылком — голову, посмотрел в небо и сказал: «О Хушау[17], знающий моё сердце! Помоги мне».

Хуга был охотник. В сердце его были вепрь и мучительно красивая Дуду. Он закусил чуреком с острым овечьим сыром и чесноком, помочился у большого чёрного камня, лежащего на узкой звериной тропе, и прилёг отдохнуть.

Хуга был охотник; охотник спит одним глазом. Когда на землю упала первая капля дождя, Хуга вскочил на ноги. Со стороны Туала[18] гроза надвигалась. Ветер гнал с севера тяжёлые чёрные тучи, и рвал их в клочья об острые скалы, и так завывал, будто стая волков неслась по небу.

Хуга был охотник. Он убедился, что порох надёжно укрыт от влаги — и тот, что в рожке, и на груди, в газырях; затянулся туго в башлык, срезал с чинара посох, «о Уастырджи!» сказал и бодро двинулся вдоль по склону оврага.

Гроза в дороге была привычна Хуга. «Хушаустан[19], дождь — с неба: как обижаться на него?» — думал Хуга, глядя на потоки бурой воды, смывающие след вепря. Кончался четвёртый день. Хуга съел уже два кукурузных чурека — и не сделал ни одного выстрела.

Дошёл Хуга до края ущелья. За плотной, словно сукно ненадёванной черкески, завесой дождя не было видно ни гор вокруг, ни земли, ни неба. Но Хуга знал, что здесь кончается Ир[20] и впереди за скалами лежат земли грузин-рачинцев.

Даже в Кударском ущелье дожди заканчиваются так же, как везде: когда захотят. Вдруг стало тихо на земле и в небе, и воздух, несмотря на сумерки, стал так прозрачен и чист, как будто весь мир погрузился в ясный синий хрусталь. Где-то на западе невидимое умирающее солнце брызнуло последним лучом на ледяные вершины, и они запламенели, как остывающее в горне железо.

Хуга был охотник. У него в животе, прямо под рёбрами, была струна — вроде тех, думал Хуга, что Сырдону[21] сгодились на его фандыр[22]. Когда приходил конец его, Хуга, одиночеству, она всегда ударяла в печень, звенела тревожно и внятно — и тогда Хуга чувствовал, как у него растут волосы на голове и плечах, ногти и зубы и как растёт он сам. Хуга понял, что одиночество его закончилось. А потом увидел.

Зверь был огромен и страшен и походил на зубра с клыками вместо рогов, и каждый из них был в локоть величиной. Он стоял в семи шагах, косматый, чёрный, как гора или туча, — и смотрел Хуга прямо в лоб. «Боги отняли у меня разум, — подумал Хуга, — моя кремнёвка в чехле и не заряжена».

Они смотрели друг на друга, не двигаясь и не дыша. Первым выдохнул зверь. Хуга показалось, что он услышал зловоние ненасытной всеядной

15. Паддчах — падишах, царь; здесь и дальше некоторые осетинские слова даются в звуковой транскрипции южного говора.
16. Возможно, Хуга пел другую песню; здесь приводится текст песни Гатуона Дзахо, упомянутого в предании. Никто не может сочинить песню, которую прежде не пел бы народ.
17. Всевышний; Бог.
18. Туал, Туалгом — ущелье в Южной Осетии.
19. Ей-богу; ради Бога.
20. Ир; Иристон — так осетины называют свою землю.
21. Сырдон — герой осетинского Нартского эпоса.
22. Фандыр — осетинский музыкальный инструмент.

пасти, его рука взметнулась вверх, к стволу кремнёвки. Вепрь сделал шаг вперёд.

Хуга понял, что это ответ воина. Добыча ведёт себя иначе. «Говорю тебе—ты сошёл с ума. Не успеть. Кинжал». Хуга опустил руку, медленно развязал у горла ремень бурки и одним ровным и сильным движением отбросил её в сторону. Бурка взметнула мокрыми полами и опустилась на землю тяжело, как раненый беркут. Хуга опёрся правой ладонью в рукоять кинжала, спокойно расставил ноги, наклонил голову и подался телом вперёд. Теперь он сам смотрел вепрю в лоб.

Хуга был охотник. Всякому охотнику рано или поздно надо пройти сквозь игольное ушко. Или не пройти. «Вот оно—игольное ушко моей судьбы. Уо дуне сканаг Хушау! Ды мын машы кан.[23] А с ним я поспорю. Йараппын[24], это же как-никак просто большая свинья».

Прошла минута, тяжёлая, до краёв исполненная жизнью вечность. И тогда зверь издал звук, какой иногда издают все, даже самые большие и страшные, свиньи. В нём были покой и умиротворение и будничная забота о вещах, его, Хуга, никак не касающихся.

Хуга понял, что это угольное ушко он миновал. По жёсткой, как пиран[25], гриве вепря прошла крупная дрожь озноба, и он двинулся—но не к Хуга, а в сторону, туда, где лежала в траве, притаясь, тяжёлая бурка. Не поворачивая пустой и лёгкой, как высохшая на солнце тыква, головы, одними глазами следил за вепрем Хуга.

Хуга был охотник. Ни один охотник не видел такого, что увидел Хуга. Вепрь подошёл к бурке, обнюхал, тычась в неё хищным горбатым рылом, потом встал на неё всеми четырьмя копытами, осел немного задом—и в бурку ударила жёлтая пенная струя.

Хуга был охотник. Но вепрь не был добычей. Для последней капли он тряхнул волосатым, с противными проплешинами, животом, сошёл с бурки, бросил в неё, не глядя, ком тяжёлой красной глины широким, как заступ, копытом и не спеша ушёл в терновник, глухо ударяя в землю ногами и шурша жухлой мокрой травой. Когда он скрылся из виду, Хуга ещё раз услышал тот же звук. «О штыр Хушау[26]. Ды мын машы кан. Что это значит?..» И, запрокинув голову, Хуга захохотал во всё горло.

Хуга был охотник. Ни один охотник в Кударии не смеялся так. Так ещё никто никогда не смеялся в Кударии.

Хуга был охотник. И первый раз Хуга был не тот охотник, каким себя мнил. На седьмой день Хуга пришёл домой без добычи. Он съел все свои три чурека в дороге и не сделал ни одного выстрела—даже не расчехлил ружья. Хуга смеялся.

В месяце Джоргоба[27] он сказал, смеясь, старому хитрому Шота-сауджину: «Нет у меня ничего, но всё, что у меня есть, будет твоим. Ард харын[28], она будет со мною счастлива. Отдай за меня Дуду. Так и быть, поклонюсь я Йесо Чрысти». Первый раз в жизни хитрый Шота Богиан тоже смеялся. Смеялся, качая головой, и крестился в седую бороду.

Хуга не всегда был охотник. Потом его сыновья были охотники. Он жил нелегко, но радостно. Бог дал его семени большое, честное и трудолюбивое потомство. Оно приняло его имя, и позже половина мыгкага[29] Хуга ушла жить на север, через горы.

Одни говорят, потому на нём легла благодать, что он поклонился Йесо Чрысти; другие говорят, потому, что принёс он домой бурку, которую пометил матёрый вепрь. И что это как будто был не просто вепрь, а «кана зэд, кана хайраг»[30].

А я думаю, потому на нём благодать легла, что просто Хуга был добрый человек; а про бурку уже и не помнит никто. Ещё говорят, потому Хуга и стал называться Хуга, и что будто бы до того случая носил он другое имя[31].

Но вот что о нём известно подлинно: Хуга был высок ростом, красив и статен, никогда не носил ни усов, ни бороды, раз в три дня брил голову—сначала сам, потом внуки—и резал ногти под самый корень, до крови, а к старости ступни его стали мёрзнуть так, что и летом он грел их в сакле, у очага. И часто смеялся, почти всегда, даже когда умирал. Йесо Чрысти молился только один раз в жизни, а жил девяносто восемь лет.

А вот когда жил, тоже никто не знает. Говорят только, что праправнуки его правнука Хуро, два родных брата Бур и Урс, погибли, когда в Осетию пришёл Рыныкаф[32], и что один из двенадцати сыновей Урса, Хугиан Цахой, вместе с другими гудскими абреками, о которых писал Сека[33], воевал против русских на стороне Шамиля.

Ничего не скажешь: хорош твой ронг. И табак твой пахнет солнцем и ветром; у других только огородом.

23. О Творец! Только Ты не сделай мне ничего [худого].
24. Идиома; здесь—выражает удивление-возмущение.
25. Чесалка для шерсти.
26. О великий Боже.
27. Ноябрь.
28. Клянусь; буквально—«клятву ем».
29. Мыгкаг—клан, род, фамилия.
30. Или ангел, или чёрт.
31. Ху, хуы—вепрь, кабан, свинья.
32. Генерал русской армии Ренненкампф, начальник карательной экспедиции в Южную Осетию летом и осенью 1829 года. Закрепившееся в устной осетинской традиции произношение—«Рыныкаф»—переводится буквально как «рыба болезни (заразы, бедствия)».
33. Гадиан (Гадиев) Сека—один из основоположников осетинской национальной литературы.

Марина Золотаревская

Доктор Бартек и его учительница

По мотивам польской народной сказки

Доктору Марии Львовне Любарской

В одной горной деревне жил когда-то мальчик по имени Бартек, сын дровосека. Отца его убило молнией во время страшной грозы, какие даже в горах случаются редко. Остались вдове и сыну только ветхий домик да острый топорик. Мать, чтобы прокормить себя и ребёнка, нанималась на работу к зажиточным соседям. Мальчик помогал как мог. Лет с шести ходил он в лес собирать ягоды, грибы да орехи: снесёт на деревенский рынок, выручит несколько грошей и матери отдаст; а как подрос, стал собирать на продажу хворост. Люди говорили: «Тоже будет дровосеком».

Деревенский поп, добрая душа, пожалел сироту, выучил грамоте и счёту. А что проку? Хотелось Бартеку учиться дальше; мать бы и рада тому, да где взять денег? Тем и кончилась его учёба — до поры до времени.

Однажды летом — Бартеку как раз минуло десять — он отправился за хворостом и сам не заметил, как зашёл дальше обычного. Очутился он в овраге, заросшем колючим кустарником. По дну, по белым-белым камням, бежал ручей. Непохоже было, что поблизости живут люди, и всё же, видно, кто-то здесь нередко ходил. По берегу ручья тянулась узкая жёлтая тропинка, и странное дело: кусты возле неё почти засохли, хоть и росли близко к воде. Земля была усеяна сухими ветками с отвалившейся корой, выбеленными солнцем.

«Хорошее топливо», — подумал мальчик и принялся их собирать. Набрал целый ворох, стянул его верёвкой, попил воды из ручья, вскинул на спину вязанку и хотел возвращаться. И тут показалось ему, что всё вокруг как-то необычно притихло. Замер ветерок, замолкли цикады и птицы, даже ручей как будто перестал звенеть. А ещё откуда-то вдруг потянуло страшным холодом, и солнечный свет точно потускнел. «Неужто идёт гроза?» — встревожился Бартек и глянул вверх. Но на небе не было ни облачка, и солнце стояло прямо над головой: уже наступил полдень.

Опустил Бартек глаза и вздрогнул. В трёх шагах от себя он увидел на жёлтой тропинке женщину средних лет в траурных одеждах. А он и не слышал, как она подошла. Никогда раньше он этой женщины не встречал. Такое лицо раз увидишь — не забудешь: худое — и всё же красивое, только совсем белое, точно камень со дна ручья. А волосы и брови — чёрные, и глаза чёрные, будто ямины.

За плечами у неё тоже была вязанка хвороста.

Поклонился мальчик, сказал:

— Здравствуй, тётушка! Может, помочь тебе вязанку поднести? Ты, верно, устала до смерти!

Засмеялась она, словно сухие кости посыпались:

— Устала до смерти, говоришь? Забавно выходит. Ведь я и есть Смерть!

Другой бы бросился наутёк, а Бартек только глаза шире раскрыл.

— Я думал, Смерть — старуха, — вымолвил он.

— Ну, лет мне и впрямь немало, — отвечала она. — Столько же, сколько нашему миру.

— Значит, ты и вправду устала. Давай помогу, — и Бартек взял у неё вязанку, будто просто у соседки.

— Что ж, идём! — усмехнулась Смерть, и мальчик пошёл следом за ней по тропинке, согнувшись под двойною ношей.

Идти пришлось долго. Но вот они обогнули огромный серый валун, весь испятнанный лишайником; за ним открылся зияющий вход в пещеру.

— Сюда, — показала Смерть.

Внутри было темно, лишь где-то в глубине мерцал слабый свет. Там оказался очаг; огонь в нём почти угас. Пусто было в пещере — только чёрные камни валялись тут — и холодно, как зимой; даже не верилось, что снаружи — жаркий летний день.

Смерть и мальчик подошли к очагу.

— Т-трудно обогреть т-такую большую пещеру, — выговорил Бартек, стуча зубами и опуская обе вязанки на пол.

— Очаг мне нужен не для тепла, — ответила хозяйка пещеры, бросая на угли пару сухих веток. — Просто мне нравится смотреть на огонь, нравится, как он танцует и лопочет, будто живой.

— Хочешь, оставлю тебе свою вязанку? — спросил мальчик. — А я себе ещё наберу. Пускай тебя огонь подольше повеселит. Бедная, ведь тебе и поговорить-то не с кем!

Услышав это, Смерть опустилась на камень, сплела белые пальцы и долго молчала.
— Робкие меня боятся,—сказала она наконец.— Храбрые—презирают. Дерзкие бросают мне вызов. А те, чьих близких я излечила навеки, меня ненавидят. Иные пытаются меня отогнать, иные, с отчаянья, призывают. Но до тебя ещё никто и никогда меня не жалел!

Она встала.
— Хочу тебя вознаградить. Пойдёшь ко мне в обучение?
— К тебе?—растерялся Бартек.

Слыханное ли дело—к Смерти в ученики!
— Не бойся,—был ответ,—тебе не придётся учиться моему ремеслу. Наоборот. Ты станешь врачом, великим врачевателем. Ведь никто не знает о людских болезнях столько, сколько Смерть! Приходи сюда завтра в полдень, и начнём. А хворост свой и правда оставь: не для меня—для себя, чтобы на первом уроке ты не стучал зубами.

Он будет врачом—да Бартек о таком и помыслить не смел! Стал он было благодарить, как вдруг ему на ум пришло другое:
— А что же я скажу матушке? Отродясь ей не лгал, но если расскажу о тебе… ты уж прости, но она…
— Испугается. До смерти,—и Смерть опять засмеялась.—А ты скажи ей вот что: мол, встретил в горах врачевательницу, что может излечить любой недуг, и она обещала сделать из тебя доктора. И ещё скажи, что платить придётся не раньше, чем закончится твоё обучение.

Мать, услыхав новости, обрадовалась:
— Вознагради Господь добрую лекарку! Станешь доктором, сынок, и будет у тебя каменный дом в городе, и много денег, и часы золотые будут, и лошадки с коляской! И за ученье расплатишься честь по чести.

Но ей самой нелегко досталась Бартекова учёба. Сын теперь мог работать только до полудня, потом уходил к своей наставнице и возвращался лишь в сумерки, а вернувшись, старался записать всё, что узнал за день. И ведь свечи, бумага да чернила—они тоже денег стоят! Ещё больше приходилось матери трудиться; она выбивалась из сил, но никогда не жаловалась—лишь бы Бартек выучился да в люди вышел! Другое её заботило: чем старше он становился, тем чаще приходил со своих занятий невесёлый. На расспросы отвечал, что урок был трудный. Только чуяло сердце матери: что-то ещё здесь кроется.
— Не обижает ли она тебя, сынок?—спрашивала вдова.—Часом, уж не бьёт ли?
— Что ты, матушка!—успокаивал её мальчик.— Она даже голоса не повысит никогда!

Так оно и было. Смерть показала себя прекрасной учительницей. Не то чтоб она без конца нахваливала Бартека—а ведь было за что, учился он на совесть,—но и слова резкого ни разу не сказала. Не поймёт он чего-то—она объяснит снова; попросит повторить—повторит обязательно, и всегда спокойно, ровно, терпеливо. Иногда он отвлекался—мальчик всё-таки, ему поиграть, побегать хотелось; иногда за работой не успевал выучить урок, но она и тут не сердилась. С первого дня Бартек звал её просто учительницей и порой даже забывал, кто она.

Нет, не наука давалась ему трудней всего. Разбираться, как человек устроен, было куда легче, чем сознавать, как он уязвим. Прежде Бартек и представить себе не мог, сколько на свете недугов: и тех, что приходят с пищей, с питьём, с воздухом, и тех, что таятся до поры в костях, в лёгких, в крови. Казалось, каждая клеточка человеческого тела грозит обернуться источником бесчисленных мучений. Горечью отдавало познание, наполняло душу нестерпимой жалостью, но следом приходила злость—хорошая злость, полезная.

Врачами, говорил он себе, становятся не затем, чтобы охать и ахать над людскими страданиями. Грош цена доктору, что больных жалеет, а помочь не умеет!

И Бартек продолжал учение, с жадной отрадой впитывая всё, что рассказывала его наставница о лекарствах. Выходило, что их тоже немало: лечебные свойства присущи травам и минералам, пеплу и паутине, дикому мёду и родниковой воде. Даже яды можно обратить в целебные зелья. Взять хоть мухоморы. Бартек раньше думал, что людям от них одни беды, и сшибал их палкой, где только видел. А оказалось, что из них делают настойку для растирания—помогает от прострела.

Постепенно он постигал тайны врачевания, неведомые большинству лекарей, а то и вовсе не известные никому, кроме его учительницы. Ни крупицы своих познаний не утаила от него Смерть; не скрыла и того, что, даже переняв их все, ученик не сравняется с нею в силе.
— Запомни, Бартек,—как-то обронила она.—Победить меня нельзя, можно лишь отстранить.

Что ж, подумалось ему, и это тоже немало; на том он покамест и успокоился.

Иногда она предлагала: «Забудем на сегодня о медицине»,—и заводила рассказ о том, как заселялся мир, как воздвигались города и возникали страны и какие страшные войны вели люди между собой; ведь никто не помнит об этом лучше, чем вечная свидетельница—Смерть.

Так шло его обучение.

В деревне дивились сперва, что сын дровосека пошёл в науку к какой-то лекарке, которую никто ни разу не видел; иные пожимали плечами: дескать, ничего путного из этого не получится. Но уже лет в четырнадцать Бартек доказал, что они ошибались. Соседка рассекла руку серпом; Бартек оказался рядом и сумел в один миг унять кровотечение. Мальчишке, что упал с дерева, он

не хуже любого доктора вправил вывихнутое плечо. Девушка обожгла свечкой щёку и чуть руки на себя не наложила: кто ж её такую замуж возьмёт? А Бартек принёс ей какую-то мазь, что сам составил, и от ожога через месяц даже следа не осталось. Дальше—больше: в деревне не то что врача—знахарки не было, люди и потянулись со своими хворями к Бартеку, хотя тот был ещё совсем юнец. Правда, если он видел, что знаний его недостаточно, сразу говорил по-честному:

— Этого лечить не берусь, с этим надо в город, к доктору!

Но такое случалось всё реже и реже.

Платы с тех, кого пользовал, он не требовал никогда. Однако порой они сами что-то приносили: кто пяток яиц, кто кувшин молока; а не то помогали матери Бартека по хозяйству. Мать радовалась не так приношениям, как тому, что из сына, похоже, получается настоящий лекарь, и всё повторяла:

— Спасибо твоей наставнице! Ты бы, сынок, в гости её позвал. Я бы расстаралась, приняла её как следует!

— Она без дела ни к кому не ходит, матушка,—отвечал он, а сам думал: «Не приведи Господь, чтобы она пришла к тебе!»

Десять лет пробыл Бартек учеником Смерти. И настал день, когда она объявила:

— Сегодня у нас с тобой—последний урок.

У него защемило сердце.

— Грустно мне расставаться с тобой, учительница,—промолвил он.—Никто в мире не дал бы мне того, что дала ты, и я буду тебе благодарен, пока дышу.

Они сидели в её пещере перед ярко горящим очагом. Смерть откинула капюшон с черноволосой головы. Со стороны посмотреть—женщина как женщина.

— Мы ещё встретимся, Бартек,—ответила она спокойно, как всегда.

— Знаю,—вздохнул он,—невесёлая это будет встреча, и я—не прими в обиду—не стану торопить её час. Так что коль позовут меня к заразному больному, не забуду закрыть рот и нос повязкой…

Смерть выжидательно вскинула бровь.

— …смоченной соком лука,—докончил он,—или чеснока.

— Молодец,—похвалила она,—правильно. Однако я не о том. Мы ещё много раз увидимся до этой последней встречи. А сейчас слушай внимательно. Помнишь, я говорила: когда завершится твоё обучение, тогда и разочтёшься за него. Теперь оно завершилось.

— Чем же я могу тебе воздать, учительница, кроме благодарности?

— Ну, деньги мне ни к чему, сам понимаешь,—она засмеялась знакомым сухим смехом.—Заплатить за науку ты должен послушанием. Запомни же мой последний урок. Видеть меня будет дано тебе одному. Если хворь не угрожает жизни, я и не появлюсь у постели больного. Если встану в ногах—значит, недуг опасен, но тебе позволено со мной побороться. Ничего не упустишь и ничего не забудешь—отстоишь пациента. Но когда увидишь меня у изголовья, не успокаивай страдальца, не обнадёживай родных и даже не думай начинать лечение. Скажи, что тут ничем нельзя помочь, и уходи: этот человек—мой!

— А если я ослушаюсь, учительница? Если попытаюсь спасти человека?

Медленно поднялась она, как десять лет назад, когда предложила взять его в науку. Поднялся и Бартек.

— Если ослушаешься, мой ученик, я унесу тебя самого,—молвила Смерть.

— Я запомню твой последний урок,—прошептал юноша.

— Что ж, ты узнал всё, что должен был узнать. А теперь ступай!

— Прощай!—склоняя голову, произнёс он и побрёл прочь из пещеры, но не успел пройти по жёлтой тропинке и трёх шагов, как Смерть его окликнула; он обернулся и увидел её подле серого валуна.

— Бартек,—проговорила она негромко,—чеснок защищает от заразы лучше, чем лук.

И тотчас исчезла.

В считанные месяцы молва о Бартеке разнеслась по всей округе. Больше уж он никого не отсылал к городским докторам; наоборот, лечил так успешно, что к нему самому приезжали из города люди за врачебным советом. Вернувшись, они рассказывали:

— Лекарь-то совсем молодой. Но вот в глазах у него что-то такое есть… глянет иногда, и кажется, будто на самом деле ему очень много лет. И учился непонятно где, а сколько знает!

Его стали приглашать к тяжёлым больным, и очень скоро он опять увидел ту, которую привык звать учительницей. Появилась она в ногах постели. В первый миг Бартек едва не поклонился ей, как вдруг понял, почему она здесь. Он содрогнулся, но заставил себя отвести от неё взгляд и занялся своим пациентом. Только когда тому стало лучше, Бартек поднял глаза. Её не было.

С тех пор он часто заставал Смерть стоящей у изножья и каждый раз смотрел на неё лишь одно мгновенье, а потом всё внимание отдавал больному. Ничего не забывал молодой врачеватель, ничего не упускал и сам не знал ни сна, ни отдыха, пока человеку не становилось легче; но вот жар спадал, боль утихала, удушье проходило, и тогда Бартек порой видел краем глаза, как его недавняя наставница, усмехнувшись чему-то, отступала от постели на шаг, другой—и вдруг исчезала.

Время шло, а ему пока ещё удавалось отстоять всех, кого он лечил.

Скоро его стали называть не иначе как доктор Бартек. Напрасно возражал он: дескать, не пристало ему такое звание, раз университета он не кончал, диплома не получал. А люди отвечали: всем бы докторам в шапочках да мантиях такую учёность и сердце такое заодно.

Мать Бартека впервые узнала покой и достаток: ведь и состоятельные горожане, и даже знатные господа нередко посылали за её сыном. Появились у него деньги. Года два спустя сын с матерью переехали в город. Дом, где они поселились, был удобен, но невелик, зато купил Бартек двух лошадок и конюха нанял. Правда, ни кареты, ни коляски так и не завёл. Не по гостям разъезжал он — больных навещал. Приходилось и по горным тропам скакать, и через городские трущобы пробираться; куда уж тут с экипажем!

Думал он служанку нанять — матери в помощь, но та и слышать об этом не хотела:

— Барыня я, что ли? Хозяйство вести и сама пока могу!

Слава её сына меж тем росла день ото дня. Теперь каждый богач, если захварывал, старался заполучить к себе именно доктора Бартека и готов был заплатить, сколько тот запросит. А надо сказать, запрашивал он с богатых пациентов столько, что давно должен был бы купаться в золоте. Однако жил он всё в том же домике, одевался удобно, но просто, и тратился больше на то, чтобы мать ни в чём не нуждалась; в карты не играл, кутить вроде не кутил, и ни драгоценных перстней, ни цепочек у него не водилось. Все долго гадали, что делает он с деньгами. Некоторые говорили: «Копит, наверно. Скуп, жалеет деньгу».

Потом выяснилось: с бедняков он мало того, что не брал ни гроша, — уходя от них, сам всякий раз высыпал на стол пригоршню золотых. Иные кидались целовать доктору руки, другие пытались сунуть ему деньги обратно. Бартек рук целовать не давал, денег обратно не брал и ужас как сердился.

— Я, — ворчал он, — не на бедность даю, а на лечение!

В конце концов, об этом узнал весь город.

— Сумасшедший! — сказали богатые. — Вот на что наши золотые идут.

— Чудак! — пожимали плечами люди среднего достатка. С них-то доктор Бартек брал немного.

— Праведник! — в один голос говорили бедняки.

Мать — и та Бартека не понимала.

— Сынок, — спрашивала она, — ведь деньги твои не краденые, они честным трудом заработаны. Что же ты их раздаёшь?

— А иначе, матушка, труд мой даром пропадёт. Какой смысл прописывать лекарства, если человеку купить их не на что? Как пользовать ребёнка, если его надо парным молоком отпаивать, а у родителей не хватает даже на хлеб? Просто я хочу, чтобы мои пациенты могли лечиться как надобно.

— Себя бы побаловал, — уговаривала мать.

— Так я себя и балую, — улыбался сын, — они выздоравливают, а мне это — что коту сметана! Но, может, тебе самой чего-нибудь хочется? Ты только скажи.

— Ничего мне не надо, — отмахивалась мать, — и так живу как у Бога за пазухой. Тебе-то, сынок, другой бы дом купить не помешало, красивый да высокий, чтоб отовсюду видно. Ведь тебя все знают!

— На что же мне, матушка, высокий дом, коль меня и так все знают?

— Хоть бы одежду себе богатую заказал, — не унималась мать, — камзол с золотым шитьём или плащ бархатный на куньем меху!

— Стоит ли разъезжать по глухим дорогам в богатой одежде? — отвечал Бартек и прибавлял то ли в шутку, то ли всерьёз: — А вдруг разбойники?

Однажды довелось ему и впрямь иметь дело с разбойником. Да ещё с каким — с самим атаманом шайки, что страх наводила на всю округу. Говорят, бывают добрые разбойники: богатых грабят, зато бедным помогают и никого не убивают; только этот был не из таких. Страшный он был человек: не щадил ни старых, ни малых, ни убогих. Нищего мог зарезать ради медного гроша, а то и ради забавы. Много народу погубил, и все злодейства ему с рук сходили, пока не напал он со своею шайкой на молодого торговца, что в одиночку ехал через лес. Тот был не из трусливого десятка и о разбойниках, видно, слыхал, потому что держал под рукой заряженный пистолет; только шайка приблизилась, выстрелил в атамана, коня своего хлестнул да и ускакал. Палили по нему разбойники, но промахнулись.

Пошатнулся атаман, грохнулся оземь и прохрипел:

— Дохтура мне! Самого лучшего!

Помчались двое разбойников в город и вернулись с доктором Бартеком. Не силой приволокли его — своею волей поехал с ними доктор, когда услышал, что случилось.

Как увидел его атаман — просипел:

— Спаси!

Посмотрел доктор куда-то в сторону, будто переглянулся с кем, вздохнул и промолвил:

— Постараюсь.

Потом обернулся к разбойникам:

— Водка есть?

— Есть, а как же! — отвечал один, вынимая фляжку. — Только, может, сначала полечишь, а потом хлебнёшь?

Тут Бартек как заорёт на него:

— Я что, выпить у тебя просил, дурья башка?! Руки, руки я должен протереть водкой! Грязными руками в рану не лезут, олух!

Дней десять спустя стараниями Бартека сделался атаман здоровее прежнего.

— Больше я тебе не нужен,— сказал доктор и стал собираться.

Протянул ему атаман набитый кошель:

— Держи! Знай мою щедрость!

Покачал Бартек головой:

— Нет, не надо мне твоих денег. Они добыты разбоем, на них кровь безвинных!

Ахнула вся шайка, кое-кто за оружие схватился. Ахнул и сам атаман:

— Как же так, дохтур? Ведь рана моя тоже добыта разбоем, а ты мне жизнь спас.

Бартек пожал плечами:

— Это другое дело: я врач. Прощайте, господа разбойники!

Сумку свою докторскую на плечо вскинул, повернулся и пошёл прочь, а в спину ему нацелились десять ружей.

— Не сметь!— гаркнул вдруг атаман.— Кто дохтура тронет, башку прострелю!

Рассказывают, будто с той поры стала его мучить совесть, и скоро он шайку свою разогнал, сокровища награбленные отдал монастырю и сам в монахи пошёл. Жаль только, что всё это неправда. Вовсе он не раскаялся — разбойничал и дальше. В конце концов, лопнуло у людей терпение: устроили облаву, поймали и его самого, и всю шайку да всех и повесили.

А доктор тоже продолжал своё: лечил людей. Он уже считался едва ли не чудотворцем. Приходилось ему слышать, как родные говорят больному и друг другу: «Бартек на порог — беда за порог!»

Его не радовали такие речи. Покамест ему и впрямь удавалось отводить беду от своих пациентов; однако за все эти годы Смерть ни разу не показывалась у их изголовья. Но он понимал: рано или поздно это случится, и тогда напрасно человек будет ждать от него спасения; бесполезными окажутся все познания доктора Бартека и бессильным — его сострадание.

Один раз возвращался он верхом от больного; путь был неблизкий. Бартек уже подъезжал к своему дому, и конюх вышел принять лошадь, как вдруг выскочила из-за угла маленькая фигурка и метнулась навстречу доктору. Каким-то чудом он успел натянуть поводья. Глянул и видит: мальчик лет десяти, судя по одежде — деревенский. Спрыгнул Бартек с седла — и к нему:

— Ты что, парень?! Я ведь тебя чуть не сшиб!

Тот не отвечал, только затрясся от плача. Наклонился доктор, обнял его за плечи:

— Ты за мной? Заболел кто-то?

— Отец… помирает,— всхлипнул мальчик.— Велели мне — за попом беги. А я — к тебе…

— Что с отцом-то?!

— Деревом его придавило… Дровосек он.

Крикнул Бартек конюху:

— Седлай свежую лошадь! Скорей, пожалуйста!

Пять минут спустя он снова был в седле, мальца перед собой посадил:

— Показывай дорогу!

И уже по пути спросил:

— Матушка твоя, наверно, с больным осталась?

— Нет у нас матушки… Померла зимой.

Бартек только крепче прижал ребёнка к себе.

Лошадь будто чуяла, что надо спешить,— без понукания мчалась во весь опор. Доехали они быстро. Доктор первым вбежал в дом, да так и замер на месте.

В бедной комнате он увидел четверых.

У очага играли чурочками двое малышей. На единственной кровати лежал больной. А в головах у него стояла Смерть.

Старший сынишка бросился к отцу:

— Батюшка, батюшка! Доктор Бартек приехал!

Бартек подошёл следом. Несчастный дровосек был ещё в памяти.

— Доктор,— проговорил он еле слышно,— птенцов моих пожалей… пропадут они…

Глаза его закатились.

— Вот что, парень,— обратился Бартек к старшему мальчику.— Бери-ка братишек, и ступайте все на улицу поиграть.

Мальчик повиновался, только, уходя, так умоляюще глянул на доктора, что у того душа перевернулась.

— Ты правильно поступил,— заметила Смерть, когда дети ушли.

Она не двинулась с места, даже не шевельнулась, но больной стал задыхаться, и на его губах выступила кровавая пена. Бартек опустился на колени и хотел его приподнять.

— Оставь,— послышался голос Смерти.— Сам видишь, пришёл его час.

— У него трое детей, учительница!

— Что ж, о них ты сможешь позаботиться. Отдашь их в хороший приют, где их не станут обижать и выучат какому-нибудь ремеслу, и совесть твоя будет чиста.

— Самый лучший приют не заменит им отца.

— Бартек, ты помнишь мой последний урок?

Доктор поднялся.

— Помню, учительница.

И, ухватившись обеими руками за кровать, развернул её — так, что Смерть оказалась у больного в ногах.

Смерть вздрогнула и отшатнулась.

— Ах, вот ты как!— воскликнула она.

Бартек опустил голову. Тут его взгляд упал на больного, и он не поверил своим глазам. Страшной пены как не бывало, лицо из воскового сделалось просто бледным, а потом даже немного порозовело; человек, только что хрипевший в агонии, сейчас дышал ровно, как спящий. Похоже, он и вправду спал.

— Он будет жить,— проронила Смерть, точно услышав мысли доктора.— На нём остались только

ушибы, но они неопасны. Обычно я исцеляю людей иначе.

Бартек глубоко вздохнул.

— Я понял, учительница. Об одном прошу: сделай так, чтобы дети не испугались.

Смерть кивнула:

— Позови их в дом. Я подожду тебя снаружи.

И она медленно прошла через двери, не отворив их.

Выгреб доктор из карманов все деньги, какие были у него при себе, положил на стол; подумав немного, снял свой шерстяной плащ — больше не понадобится! — и укрыл им спящего. Потом выглянул наружу и поманил детей.

— Тише, — торопливо шепнул он старшему, — спит ваш родитель. Он поправится; пусть только полежит денёк-другой. Да скажи ему, чтобы не вздумал топором махать, пока в полную силу не войдёт, и чтобы впредь стерёгся падающих деревьев! А этого, — показал он на деньги, — вам хватит прокормиться, пока отец не окрепнет.

Схватил мальчик руку доктора, тянет к губам; и на этот раз не отнял Бартек руки. Поцеловал он ребёнка в макушку, быстро вышел и поплотнее прикрыл за собой дверь. Его лошадь, непривязанная, бродила у дома. Доктор подошёл было к ней — погладить на прощанье, но она вдруг шарахнулась, заржала дико и умчалась прочь. Рядом с собой Бартек увидел Смерть.

Он повернулся, глянул ей в лицо:

— Я готов, учительница.

Но Смерть медлила.

— Бартек, почему ты ослушался? — спросила она.

— Из жалости, — ответил он честно.

— Из жалости, — повторила Смерть. — Когда-то ты и меня пожалел.

Она умолкла. Прошла минута, другая…

— Ладно! — сказала Смерть. — На первый раз прощаю! Но если ослушаешься снова — прощения не жди!

И она исчезла.

Долго Бартек не мог дозваться своей перепуганной лошадки; когда же дозвался, не сразу сумел взобраться в седло. Домой он ехал шагом, а во время ужина заснул прямо за столом — отродясь с ним этого не бывало. Но назавтра он был таким, как всегда.

Минуло несколько лет. О чудесном докторе прознали в других городах; нередко к нему приезжали из самой столицы. Случалось Бартеку лечить даже вельмож, и многие из них хотели бы оставить его при себе. Одни сулили ему золотые горы, другие обещали, что он получит дворянское звание, если пойдёт к ним в домашние врачи. Но доктор Бартек неизменно отвечал:

— Я бы и к королю в лейб-медики не пошёл. Понадоблюсь тебе опять — позови; приеду, как только смогу.

Мать Бартека постарела, но всё ещё сама вела хозяйство. Каждый свободный час — правда, свободные часы выпадали ему редко — доктор старался проводить с ней. Мать, взяв своё вязанье, усаживалась в глубокое кресло с выдвижной подставкой для ног, купленное для неё сыном на ярмарке; Бартек, обхватив высокие худые колени, устраивался рядом на скамеечке, как в детстве, и рассказывал ей о том о сём.

Обычно она встречала сына в дверях, когда он возвращался от пациента, и всякий раз пыталась — но он не позволял — взять у него тяжёлую докторскую сумку, а потом тащила его к столу:

— Того гляди, опять за тобой придут, поесть не успеешь!

В тот день вызывали его к роженице. Это была жена мельника, годами сама почти дитя. Намучилась она изрядно, но всё обошлось благополучно: на свет появилась здоровенькая девочка, и мельник — хмурый, неласковый с виду человек, много старше жены, — вытирая глаза рукавом, сказал родильнице:

— Я дочку и хотел; спасибо, хозяйка, уважила!

Доктор шёл домой, и на душе у него было легко; мысленно он уже рассказывал обо всём матери. Но она не вышла встретить сына. Может быть, отправилась в церковь или на рынок? Да нет же, вот висит её накидка.

Ни в столовой, ни на кухне матери не оказалось. Бартек подошёл к дверям её комнаты, постучал легонько, окликнул негромко. Не дождавшись ответа, позвал погромче и потом распахнул дверь.

Мать лежала в своём кресле, прижимая руку к сердцу; глаза её были закрыты, губы казались синими. А за спинкой кресла неподвижно стояла другая женщина.

Доктор уронил свою сумку и, споткнувшись об неё, бросился вперёд:

— Матушка!

Мать приоткрыла глаза и через силу промолвила:

— Сынок… дождалась… попрощаться…

И затихла.

Бартек, опомнившись, метнулся к сумке, нашарил пузырёк с сердечными каплями.

— Не поможет, — бросила Смерть.

Доктор застыл.

— Она отжила своё, — продолжала его бывшая наставница. — Она гордилась тобой, ты дал ей годы счастья и покоя, но больше не можешь сделать для неё ничего.

— Посмотрим, — процедил он сквозь зубы.

— Знаю, что у тебя на уме. Хочешь выкупить её жизнь, заплатив своею? Она переживёт своё дитя — что может быть для матери страшнее? Захочет ли она жить без тебя? Ты об этом подумал?

Бартек выпрямился:

— Нечего тут думать!

И он развернул кресло.

Смерть отпрянула:

— Ты опять!..

Доктор отвернулся он неё, перевёл взгляд на мать. Полминуты спустя та открыла глаза, и синева сошла с её губ. Мать осторожно вздохнула, приподняла голову. Вздохнула снова, уже глубоко и свободно, села ровнее и проговорила ещё не окрепшим голосом:

— Да что ж это я! Напугала тебя, сынок; прости меня, глупую. Мне уж получше. Ты, верно, голодный?

Бартек не мог вымолвить ни слова и только провёл дрожащей рукой по её волосам.

— Уложи её,— приказала Смерть.— Я подожду за дверями.

Он послушался. Мать почти сразу уснула. Сын укутал её потеплее и долго стоял над нею; наконец, нагнулся, поцеловал её в обе щёки и вышел, не оборачиваясь.

Смерть ждала его за порогом комнаты.

— Добился своего? Доволен?

— Да, и благодарю тебя, учительница.

— Ты вновь ослушался меня.

— И готов за это заплатить.

— Не торопись.

Она помолчала.

— Так и быть. Я снова прощаю тебя. Но запомни: если ослушаешься в третий раз, пощады тебе не будет!

Сказала и пропала.

Мать проспала до вечера и проснулась совсем здоровой.

Прошло года два. Теперь и люди из заморских краёв нередко искали помощи у доктора Бартека. Мать беспокоилась, что в жизни у сына работы больше, чем радостей, и всё чаще подступалась к нему с уговорами:

— Жениться бы тебе надо да детишек завести— будет тебе отрада, а мне утешение в старости. Неужто не найдёшь девушки себе по сердцу? Ведь за тебя любая пойдёт.

Но Бартек всё отшучивался, только как-то невесело:

— Пойти-то, может, и пойдёт, да скоро пожалеет. Не выйдет из меня хорошего мужа: я и дома-то почти не бываю. Ты одна, матушка, способна меня терпеть.

Думал же он совсем иное: «Нельзя мне заводить семью— ведь надо мной всё равно что топор висит».

Судьба его решилась, когда страшная беда нависла над всей страной.

Началась война.

Что там не поделили правители и почему нельзя было уладить дело добром, нынче забылось за давностью лет. То ли соседский король припомнил старую обиду, то ли был недоволен новой пошлиной на свои товары, то ли просто решил прибрать к рукам кусок чужой земли. Короли— они всегда найдут, за что напасть на соседа, а этот все годы своего правления только и делал, что с кем-то воевал.

Вторглась в страну вражеская армия. И вот уже страшный дым поднимается над лесистыми склонами: горят разрушенные деревни. Где недавно осыпали цвет фруктовые сады, теперь летает пепел. Легко продвигается враг, оставляя за собой руины и трупы, а впереди него валом катится страх. Бегут жители, бросая и жильё, и скарб, и нет им защиты. А что же их король? Предупреждали его лазутчики, что надо ждать нападения, да он будто не слышал; вздумал устроить манёвры и отвёл от границы собственную армию. Пока опомнился, пока развернул её и двинул навстречу врагу— тьма народу погибла и три города пали. Куда было их гарнизонам устоять против целого войска!

Командовал вражьей армией генерал по прозванью Снамибог; никто и не помнил его настоящего имени. Прозванье же он заслужил тем, что перед штурмом всегда обращался к солдатам с такой речью: «С нами Бог! Возьмём город— всё будет ваше. Валяйте тогда, грабьте! А теперь вперёд! С нами Бог!»

И, захватив город, они грабили, и жгли, и убивали. А как же иначе, если выходило, что сам Бог им разрешает? Генерал и себя не забывал: полные возы награбленного добра домой отсылал, называл— трофеи.

Но в конце концов два войска сошлись близ того города, где жил доктор Бартек. Отсюда до столицы— день пешего хода.

Тяжко, страшно было в городе. Беженцы, добравшиеся сюда, рассказывали такое, что кровь стыла в жилах. Жители почти не показывались из домов. По горбатым улицам солдаты катили пушки.

Бартек не допускал до себя страх. Среди беженцев было много больных, и он днём и ночью занимался ими. Когда же стало известно, что скоро начнётся сражение, он забежал домой, забрал весь запас бинтов и корпии, обнял мать и сказал, что идёт в армейский лазарет: там он нужнее. С сухими глазами проводила его мать, боялась плачем накликать беду.

На рассвете началась битва. Горы подхватили грохот орудий, треск ружей, конское ржание и людские вопли. Звуки боя доносились и до лазарета, но Бартек не ведал их значения. Чьи это бьют пушки— чужие или свои? Он не мог разобрать; он волновался только, что пальба тревожит раненых.

Их несли одного за другим. Доставленные сюда должны были полагать себя счастливцами. Многие раненые так и остались на поле битвы: незамеченные в чаду, в пороховом дыму, они были раздавлены колёсами пушек, растоптаны копытами коней и ногами бегущих солдат— порой своих же товарищей.

Дважды шли враги в наступление, и дважды их отбрасывали. Стоны наполнили лазарет; доктор Бартек работал как заведённый. Несколько раз он чувствовал за спиной знакомый холод, но даже не оборачивался.

Шум сражения изменился. Будь на месте доктора военный, он бы понял: замолчали орудия, защищавшие город. Разбила их неприятельская артиллерия.

Вот-вот опять пойдёт противник в атаку и, того гляди, сметёт оборону, уже не подкреплённую пушками.

Обернулся вражий генерал к своим воякам, саблю вскинул.

Конь под ним танцует. Сабля на солнце так и сияет.

— С нами Бо…

Вдруг как свистнет в воздухе ядро! И оторвало генералу голову.

Кровь хлестнула фонтаном, обожгла коня — взвизгнул он, взвился на дыбы. Секунды три билось на седле безглавое тело, потом сползло, запуталось ногой в стремени, и конь, волоча его, помчался по полю битвы.

Ужас охватил врагов. Сорвалась атака. Передние дрогнули, затоптались на месте, стали пятиться. Кто-то глухо охнул:

— Нет Снамибога…

И пошло по их рядам всё громче: «Нет Снамибога… нет Снамибога!»

А там покатилось лавиной: «Нет с нами Бога!»

И началась паника. Прочь отхлынули враги — и бежать, забыв о своих пушках, роняя ружья, давя друг друга, подгоняемые собственным воплем.

Оборонявшееся войско само перешло в наступление. Не останавливаясь, его бойцы гнали противника, и кого настигали — не щадили. Разгромом кончился для недругов этот бой. И пришлось, в конце концов, соседскому королю просить замирения.

Но это было потом. А в тот день никто сперва понять не мог, откуда прилетело ядро, что прикончило генерала. Не с неба же?

Оказалось — с разбитой батареи. Из всех канониров там оставался в живых только один, совсем молодой, да и тот был ранен; из всех пушек уцелела лишь одна. Колесо её было повреждено, она накренилась набок, но стрелять ещё могла.

— Выручай, голубушка! — шептал тогда парень, стараясь выровнять пушку. — Выручай, милая!

Некому было помочь ему; некому было подать ему команду. Сам зарядил пушку, сам навёл, сам поднёс запал.

— Давай, родная!

Как попало ядро в цель, он не увидел — свалился без памяти. Пока пришли на батарею свои, он так истёк кровью, что все подумали — парню конец, и горько опечалились. Но кто-то воскликнул:

— Братцы, а доктор Бартек? Может, он спасёт?

За Бартеком послали верхового.

Когда доктор появился, все поспешили отойти от раненого — кроме той, что стояла у него в головах.

— У тебя нынче много работы, учительница, — обратился к ней Бартек. — Но ты всюду поспеваешь.

— У тебя нынче тоже немало работы, мой ученик, — в тон ему отвечала Смерть. — Но и ты, вижу, всюду поспеваешь. Однако сюда спешил напрасно. Тут тебе делать нечего.

— Как сказать!

Бойцы, что стояли поодаль, не могли ничего понять: доктор даже сумку свою не открыл, только глядит перед собой да губами шевелит — то ли молитву творит, то ли заклинание.

Смерть промолвила строго:

— Ты не вправе распоряжаться собой, Бартек! Пойми же: ты теперь ценнее, чем он. Ты многих можешь спасти, а он уже совершил своё.

— Вот и я совершу своё — помогу ему.

— Ему и так будет воздано. Этот юноша добыл себе славу. В его честь станут слагать песни, его именем будут называть сыновей.

— Посмертная слава — всё-таки не жизнь, учительница!

— О, жить он будет — в людских сердцах, в людской памяти. Так, кажется, говорят у вас?

— Лучше сказать просто: он будет жить.

Одним движением доктор Бартек поднял умирающего, точно ребёнка, и переложил его ногами к Смерти.

— Так, — проронила она, и это прозвучало точно стук первого комка земли о крышку гроба.

Почти сразу молодой канонир открыл глаза:

— Я не умер?

Доктор нагнулся, быстро осмотрел рану — она закрылась.

— Не бойся, брат, — улыбнулся он бойцу. — Скоро будешь здоровёшенек.

— Зато себя ты погубил, — раздался голос Смерти. — На этот раз я не вправе тебя простить. Распорядись здесь, чтобы о нём позаботились. А потом уйдёшь со мной!

Бартек зна́ком подозвал солдат — те мигом подбежали.

— Отнесите его в лазарет, — велел доктор. — Лечения никакого не потребуется, пусть он только отдохнёт, выспится. С ним всё будет в порядке.

— Матерь Божья! Доктор, как ты это сделал?!

Бартек хотел сказать: «Это не я», — но голос изменил ему.

Кто-то из бойцов спросил:

— А ты что же, не идёшь с нами?

И доктор выговорил:

— Идём.

Но обращался он не к солдатам.

Смерть оперлась на его протянутую руку. Впервые она прикоснулась к своему бывшему ученику.

Холод пронзил его до самого сердца, и земля уплыла у него из-под ног.

Шли они или летели? Он не понимал. Как во сне, проплыл перед ним знакомый с детства лес, потом овраг, жёлтая тропинка, колючие полузасохшие кусты, серый валун в пятнах лишайника, зияющий чёрный вход.

Они были в пещере Смерти.

Там ничто не изменилось со времени его ученичества. В глубине слабо светился очаг; чёрные камни лежали на прежних местах. Но Смерть сказала:

— Ты видел тут ещё не всё.

Она коснулась стены, и та раздвинулась.

Глазам Бартека предстала другая пещера… нет, скорее, бесконечное тёмное пространство, пронзённое бесчисленными огоньками. То были масляные светильники-плошки. Они как будто висели в воздухе, если в этой бездне был воздух. Одни сияли вовсю, другие тускло мерцали; присмотревшись, Бартек заметил и пустые, погасшие.

— Это людские жизни, — объяснила Смерть. — Если огонёк горит ярко, человеку суждено долголетие, если меркнет — жизнь человека может прерваться в любой миг.

— А когда погаснет…

Смерть кивнула:

— Ты понял правильно. Посмотри!

Она протянула тонкую белую руку к пустой закопчённой плошке.

— Это плошка атамана — помнишь его? Он давно повешен за свои дела. Теперь взгляни сюда! Вот светильники дровосека, твоей матери и канонира, — она поочерёдно указала на три ярких и ровных огонька. — Ты рад? Можно было не спрашивать. А это… это твоя плошка, доктор Бартек, мой ученик.

Масло в его плошке почти выгорело; огонёк жалко трепыхался, как обессиленная бабочка в паутине.

— Мне конец, — подумал вслух Бартек без всякого волнения.

— Есть одна надежда, — прозвучал ответ. — Я могу перелить масло из любой плошки в твою, и ты останешься жить.

— Погоди! Ведь тогда кто-то другой…

— Умрёт, — подтвердила Смерть. — Но подумай, сколько людей ты ещё спасёшь своим искусством, скольким вернёшь здоровье! И…

— И для этого нужно, — гневно перебил он, — всего-навсего загубить кого-то безвинного. Нет, учительница, не жди от меня согласия!

Смерть не рассердилась.

— Безвинного, говоришь? Вот что тебя останавливает. Прекрасно! Есть тут светильник одного злодея…

— Злодей, — возразил Бартек, — ещё может раскаяться и попытаться исправить содеянное…

— Будь спокоен: такой никогда не раскается. Это наёмный убийца. Твой разбойник, по крайней мере, пощадил одного человека — тебя. Этот, если ему заплатят, и родную мать не пощадит, убьёт. Он что ни день кого-то губит, а ты — спасаешь! Меж тем ему предстоит прожить многие годы, светильник его почти полон, — а ты… — голос её вдруг дрогнул. — Итак, Бартек?

Она замолкла в ожидании. Беззвучно горели в бездне огоньки людских жизней.

Доктор ответил не сразу.

— Если б суд… справедливый суд… приговорил такого к казни, я не просил бы его помиловать. Если бы он напал на меня, я мог бы убить его, защищаясь. Но отнять у него жизнь, чтобы забрать её себе… Нет, не могу!

— Пожалей если не себя, то его возможных жертв. Пожалей больных, которым ты необходим. Соглашайся, и ты спасёшь их всех.

— Всё равно не могу. Довольно, не томи меня больше! Делай своё дело, учительница.

— Подожди! Ты ни о чём не жалеешь?

Бартек сказал твёрдо:

— Я прожил так, как хотел бы прожить вновь, если бы мог, — он перевёл дыхание. — Жаль матушку; попросить бы у неё прощения: тяжким будет её долголетие. Может быть, люди её поддержат, пациенты мои бывшие… Но ты — ты простишь мне мой выбор?

— Я?

— Ты ведь опять остаёшься одна.

Смерть, ничего не ответив, вдруг закрыла глаза.

— Что ты? — воскликнул доктор. — Что с тобой?!

Когда она вновь взглянула на бывшего ученика, взор её странно блестел.

— Учительница, ты… плачешь?

— Первый раз в жизни… — она осеклась и потом прошептала: — Как это больно — быть живой!

Доктор Бартек точно к месту прирос: такую боль он врачевать не умел. А хрупкая женщина в тяжёлых траурных одеждах, безнадёжно смахивая набегающие слёзы, торопливо продолжала:

— Я не знала до сих пор, что такое смерть! Я объясняла тебе, как умирают, от чего… но не знала, что такое смерть! И не узнала бы, если б не ты, мой ученик. Ты увидел во мне жизнь, ты вызвал меня к жизни, а сам выбираешь… Бартек, Бартек!

Она заплакала в голос.

— Что я могу сделать для тебя? — в отчаянии спросил он и услышал:

— Принять мой дар.

Бартек попытался улыбнуться:

— Уж не бессмертье ли?

Смерть отёрла глаза.

— Почти угадал. Когда ты… когда погаснет твой светильник, я его заправлю, и огонёк в нём снова загорится.

— Что это значит, учительница?

— Рано или поздно ты опять появишься на свет — в другой стране, в другой семье — и будешь жить, не помня о прошлом существовании, ни лицом, ни голосом не похожий на себя нынешнего. Ты будешь говорить на ином языке и носить иное имя, но душа твоя и разум останутся прежними.
— И кем же я тогда стану? — спросил Бартек, недоверчиво усмехаясь. — Купцом или певцом?
— Ты шутишь, Бартек? Кем ты можешь стать, если не доктором? Вот только обучаться тебе придётся заново — и не у меня. Не быть мне больше твоей наставницей! Как всякий врач, ты будешь видеть во мне лишь врага — незримого и ненавистного…
— И наставницу тоже, — мягко прервал её доктор. — Всякий врач должен знать пути Смерти. А что будет потом?
— Когда вновь догорит твой светильник, я опять его заправлю. И буду заправлять сызнова всякий раз, как он погаснет. Но не бойся — ни единой минуты жизни не отнимешь ты ни у кого из смертных.
— Где же ты возьмёшь столько масла для моей плошки?
— Там, где оно никогда не иссякнет: в моём собственном светильнике.
— Но это же означает…
— Вечность, мой ученик, вечность! Я не могу подарить тебе бессмертия, зато череда твоих жизней не прервётся, пока существую я сама. И знай, что разными окажутся твои судьбы, но в одном они будут схожи меж собой: ты всегда будешь не просто доктором, а истинным врачевателем, и в каждой твоей жизни тебе это дорого станет, Бартек!
— Объясни, учительница, — попросил он, как когда-то, и впервые услышал от Смерти:
— Узнаешь сам… А теперь последнее и главное, — прибавила она. — Ни о том, что ты жил прежде, ни о том, что появишься вновь, ты не будешь ведать до самой кончины. Но всякий раз, как я приду за тобой, ты вспомнишь и осознаешь всё — и в свои последние мгновенья будешь утешен, как никто другой.
— И я вспомню, что знал тебя раньше, в моей нынешней жизни?

Смерть едва заметно кивнула головой и сказала чуть слышно:
— Этим утешусь я сама.

Тогда он молвил:
— Твой дар велик и щедр…
— Он горек, Бартек! — возразила она. — Ведь это дар Смерти. Но ты примешь его?
— Да, учительница. Ведь это дар Жизни!

Тут Смерть улыбнулась какой-то новой, несмелой улыбкой и показалась ему совсем молодой и очень красивой.
— Подойди ко мне, — проговорила она тихо.

Бартек понял и повиновался.
— Наклонись, — попросила Смерть.

Как он не замечал раньше, что ростом она — едва ему по плечо!

Он наклонил голову, и Смерть взяла его лицо в ладони. Они больше не были ледяными — от них исходило тепло. Тёплыми оказались и её уста, когда она поцеловала Бартека в лоб.

…И вот что рассказывали потом солдаты с артиллерийской батареи.

…Доктор Бартек сказал: «Идём», — но сам не тронулся с места, постоял секунду-другую, нагнул голову, будто в поклоне, стал медленно оседать — и мягко повалился наземь. Бросились к нему, а он…

Но выглядел он спокойным, как спящий ребёнок, которого поцеловали на ночь.

Послесловие

Я помню, как в одной стране скончался молодой врач: пытаясь установить, как люди заражаются чумой, он поставил решающий опыт на себе.

Ещё помню, как в другой стране во время холерной эпидемии толпа растерзала насмерть другого доктора, вопя, что это он и прочие проклятые инородцы напустили заразу. В этой толпе было немало тех, кого он успел спасти.

Помню и то, как погиб третий, военный врач. Он закрыл собою раненого пленного, которого собирались пристрелить.

Неважно, как звали этих троих — и многих других. Мне ли не знать, кто это был!..

Он и сейчас ходит по земле, и, клянусь, будет ходить по ней и впредь, пока существует этот мир, пока существует страдание и пока существую я сама.

Вот моё послесловие.

Что ни говори, а последнее слово остаётся за мной.

Смерть

стр. 13 **Алейников Владимир Дмитриевич**
Москва—Коктебель, 1946 г. р.

Родился в Перми, детство провёл в городе Кривой Рог на Украине. Поэт, писатель, переводчик, художник. В 1963 году окончил музыкальную школу по классу фортепьяно. Учился на отделении истории и теории искусства истфака МГУ. Основатель и лидер легендарного содружества СМОГ. С 1965 года публиковался на Западе. Более четверти века тексты широко распространялись в самиздате. В восьмидесятых был известен как переводчик поэзии народов СССР. Автор многих книг стихов и прозы—воспоминаний о былой эпохе и своих современниках. Лауреат премии Андрея Белого. Член ПЕН-клуба. С 1991 года живёт в Москве и Коктебеле.

стр. 210 **Астраханцева Элина Александровна**
Красноярск, 1963 г. р.

Родилась в Красноярске. Окончила филологический факультет СФУ. Работала режиссёром легендарных «Вечеров авангардного искусства и рок-музыки», режиссёром в Красноярской киностудии, в телекомпаниях «Афонтово» и ТВК-6, режиссёром рекламы и сценаристом в рекламно-продюсерской компании «Город». В настоящее время—продюсер и режиссёр документального кино в киностудии «Архипелаг». Публиковалась в журнале «День и ночь», в альманахе «Енисей».

стр. 64 **Балашов Владимир Борисович**
Саяногорск, 1949 г. р.

Родился в посёлке Якшанга Костромской области. Публикуется с 1972 года. Выпускник Литературного института им. А. М. Горького. Публиковался в журналах «Улуг-Хем», «День и ночь», «Абакан литературный» и др. Автор трёх книг повестей и рассказов. Член Союза писателей России. Заслуженный работник культуры Республики Хакасия.

стр. 58 **Беликов Юрий Александрович**
Пермь, 1958 г. р.

Родился в городе Чусовом Пермской области. Поэт, эссеист, публицист. Автор трёх поэтических книг. Обладатель Гран-при и звания «Махатма российских поэтов» (всесоюзный фестиваль поэтических искусств «Цветущий посох», Алтай, 1989), лауреат международного фестиваля театрально-поэтического авангарда «Другие» (2006) и всероссийской литературной премии имени Павла Бажова (2008). Основатель трёх поэтических групп—«Времири» (конец 1970-х), «Политбюро» (конец 1980-х) и «Монарх» (конец 1990-х). Лидер движения «дикороссов». Работал собкором «Комсомольской правды», «Трибуны», спецкором газеты «Труд». Стихи публиковались в журналах «Юность», «Знамя», «День и ночь», «Арион», «Дети Ра», «Флорида» (США), «Зарубежные записки» (Германия), «Киевская Русь» (Украина»), «Иерусалимский журнал» (Израиль). Награждён Орденом Велимира «Крест поэта». В настоящее время—собкор «Литературной газеты».

стр. 195 **Белов Игорь**
Калининград, 1975 г. р.

Поэт, переводчик современной украинской и белорусской поэзии. Родился в Ленинграде. Окончил Калининградский государственный университет. Публиковался в журналах «Запад России», «Балтика», «Литературная учёба», «Знамя», «День и ночь», «Континент», «Воздух», «Новый мир», «Сибирские огни», «Дружба народов», «Новая Польша», альманахах «Насекомое», «Воздушный змей», «Алконостъ» и др. Автор двух книг стихов. Лауреат всероссийской литературной премии «Эврика!» (2006), дипломант международного Волошинского конкурса (2007–2008), стипендиат Министерства культуры РФ (2003), Шведского института (2007) и министра культуры Польши «Gaude Polonia» (2009). Член Союза российских писателей и Русского ПЕН-центра.

стр. 212 **Гарбер Наталья**
Москва

Окончила МГУ в 1990 году. Специалист по медиаобразованию и культурологии. Публикует малую прозу и поэзию в журналах «День и ночь», «Кольцо „А“», «ЛитЭра», «Литературная учёба», «Чайка» (Бостон, США), «Зарубежные записки» (Дортмунд, ФРГ) и др. Вошла в антологию «Современная русская поэзия» СП Москвы (2006). Лауреат литературных премий СП России и Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского (конкурс «Заветному звуку внимая», 2005), Министерства

культуры Мордовии (премия «Рождественская звезда», 2007), отряда космонавтов Ракетно-космической корпорации «Энергия» (конкурс «Звёзды Внеземелья», 2008, 2009), «Чеховского общества» (II-й Международный литературный конкурс юмористической поэзии и прозы «Жизнь прекрасна!», Дюссельдорф, Германия, 2011). Автор романа-калейдоскопа «Джем» (2010). Член Международной федерации русскоязычных писателей (Лондон—Будапешт).

стр. 197
Гедымин Анна Юрьевна
Москва, 1961 г. р.

Поэт, прозаик. Родилась в Москве. Окончила факультет журналистики МГУ. Работала сборщицей микросхем на заводе, руководителем детской литературной студии, литературным консультантом журналов «Огонёк», «Крестьянка», «Крокодил», «Пионер», редактором издательства. Автор поэтических сборников «Каштаны на Калининском», «Вторая ласточка», «Сто одно стихотворение», книги стихов и прозы «Честолюбивая молитва» и др., а также многочисленных стихотворных публикаций в московской и общероссийской периодике. Стихи переводились на польский язык. Лауреат нескольких литературных премий, среди которых премия Московского комсомола, издательства «Московский рабочий» и журнала «Москва» за стихи о Москве (1986); Венгерского культурного центра за переводы стихов (1992); радиостанции «Немецкая волна» за пьесу «Всё для Снежного человека!» (1992); журнала «Литературная учёба» за лучшую публикацию 2005 года; журнала «Дети Ра» (2010). Член Союза писателей Москвы.

стр. 172
Гладышев Юрий Николаевич
Зеленогорск, 1963 г. р.

Родился в Новосибирской области. После окончания срока службы остался в армии, служил в Томске, с 1989 года—в Зеленогорске Красноярского края. Пишет прозу. Первая публикация была в журнале «День и ночь» в 2008 году.

стр. 182
Гуцол Ольга
Красноярск

Родилась в Магнитогорске, училась в Ленинграде, живёт в Красноярске, где известна как архитектор Ольга Фёдоровна Смирнова, посвятившая многие годы развитию ландшафтной архитектуры. Является лауреатом региональных и федеральных конкурсов за проекты и реализацию ландшафтных объектов. Кроме прозы, занимается поэзией и публицистикой. Как литератор публиковалась в красноярской, петербургской периодике, в журнале «Юность» и в международном журнале «Наука человека». Вместе с петербургским архитектором и фотографом В. Антощенковым является автором книги «СТИХИИФОТО», изданной в С.-Петербурге. В настоящее время готовится к изданию второй сборник стихов—«Этажи».

стр. 205
Дынкин Михаил
Ашдод, Израиль, 1966 г. р.

Родился в Ленинграде. В настоящее время работает картографом. Публиковался в журналах «Знамя», «Арион», «Зарубежные записки», «Интерпоэзия» и др. Автор книги «Не гадай по руке». Проживает в Израиле.

стр. 237
Золотаревская Марина
Дэйли-Сити, Калифорния, США, 1960 г. р.

Прозаик, переводчик. Родилась в Харькове, окончила политехнический институт. С 1994 года проживает в США. Работает в системе городской администрации Сан-Франциско бухгалтером. Была членом редколлегии (отдел переводов) русскоязычного журнала «Terra Nova» (Калифорния). Переводила с английского Джорджа Байрона, Урсулу Ле Гуин, Эдварда Дансени. Пишет рассказы и сказки. Автор книги «Кто её зовёт?..», иллюстрированной Владимиром Витковским. В книге «Переход» собраны прозаические работы Марины Золотаревской и Аллы Ходос. Публикации: «День и ночь», «Радуга», «Terra Nova», «Новый берег», «Образы жизни». *Безответственный* редактор международного литературного альманаха «Образы жизни» (Сан-Франциско).

стр. 128
Зубарева Вера
Филадельфия, США

Родилась в Одессе. Доктор филологических наук, поэт, писатель, литературовед, режиссёр. Главный редактор журнала «Гостиная». Президент Объединения русских литераторов Америки (ОРЛИТА). Преподаёт в Пенсильванском университете искусство принятия решений в литературе, кино и шахматах. Автор шестнадцати книг поэзии, прозы и литературной критики; режиссёр художественного фильма по мотивам пьес Чехова «Четыре незадачливых семейства». Лауреат международных литературных премий, в том числе Муниципальной премии имени Константина Паустовского (2010). Пишет и публикуется на русском и английском языках. Первый поэтический сборник «Аура» (1990) вышел с предисловием Беллы Ахмадулиной.

стр. 165
Иванов Валерий Васильевич
Москва, 1949 г. р.

Родился в Киеве, в семье советского офицера. Жил в Германии и во многих городах России. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Автор ряда книг стихов и прозы. Член Союза писателей России и Международной ассоциации писателей и публицистов. Кавалер Золотой Есенинской медали. В настоящее время—вице-президент Академии поэзии России.

стр. 159
Кезуа Марех
Тбилиси, Грузия, 1992 г. р.

Студентка бизнес-юридического факультета тбилисского Свободного университета. Дипломант литературных конкурсов «Мерани» и «Алаверди» (2011). Публиковалась в сборниках грузинской молодёжной поэзии «Мерани» (Тбилиси, 2009–2010) и «Алаверди» (Тбилиси, 2009–2010); также стихотворения вошли в «Антологию молодых поэтов Грузии» (Москва, 2009) и «Антологию молодых поэтов Грузии» (на грузинском и армянском языках) (Ереван, 2011).

стр. 123
Кердан Александр Борисович
Екатеринбург, 1957 г. р.

Родился в городе Коркино Челябинской области. Окончил высшее военное училище, военную академию и адъюнктуру Военного университета. Двадцать семь лет прослужил в Вооружённых силах. Полковник запаса. Доктор культурологии. Автор сорока книг стихов и прозы, вышедших в Москве, Санкт-Петербурге, на Урале и в Западной Сибири. Произведения переведены на английский, итальянский, грузинский, азербайджанский и другие языки. Лауреат Большой литературной премии России, всероссийских и международных литературных премий. Сопредседатель Союза писателей России, координатор Ассоциации писателей Урала.

стр. 46
Китаев Иван Никифорович
Москва, 1938 г. р.

Родился в селе Левашовка Аннинского района Воронежской области. Трудовой путь начал учеником столяра, трудился на строительстве Семипалатинского атомного полигона, дороги Абакан—Тайшет, служил в армии, в качестве военного строителя возводил новый город Красноярск-45 (ныне Зеленогорск). В дальнейшем работал заместителем директора Красноярской ГРЭС-2, секретарём парткома Волжского автозавода, секретарём Тольяттинского горкома КПСС, секретарём Куйбышевского обкома КПСС, заместителем директора Института марксизма-ленинизма, директором Центрального партийного архива, преподавал экономику в Международной академии корпоративного управления. Кандидат исторических наук. Академик Международной академии корпоративного управления, вице-президент академии. Окончил Томский политехнический институт по специальности «инженер-электромеханик», Иркутский институт народного хозяйства по специальности «Планирование и управление в промышленности», Академию общественных наук по специальности «политолог», аспирантуру в Куйбышевском государственном университете. В 2007 году вышла авторская книга «Один из многих». Живёт в Москве.

стр. 162
Колбая Абзагу
Абхазия, 1992 г. р.

Окончил филологический факультет Абхазского госуниверситета по специальности «Абхазский язык и литература». Публиковался в литературной периодике Абхазии, в коллективном сборнике молодых поэтов Абхазии «Ащацкыра» («Рассвет»). Автор сборника стихов.

стр. 45
Коркунов Владимир
Кимры, 1984 г. р.

Работает журналистом. Печатался в журналах «Юность», «Знамя» (в том числе с предисловием Беллы Ахмадулиной), «Арион», «Дети Ра», «Аврора», «Волга XXI век», «Литературной газете», газете «Литературная Россия», «НГ Ex libris» и др. Двукратный обладатель государственных стипендий Министерства культуры РФ в области литературы (за 2009 и 2011 годы).

стр. 198
Кривулько Артём Валерьевич
Зеленогорск, 1987 г. р.

Родился в Зеленогорске. После школы поступил в Сибирский федеральный университет на механико-технологический факультет, отучился четыре года. В настоящее время работает мастером по ремонту обуви, в свободное время пишет рассказы. Не публиковался.

стр. 129
Крюкова Елена Николаевна
Нижний Новгород, 1956 г. р.

Русский поэт, прозаик, искусствовед. Окончила Московскую государственную консерваторию (фортепиано, орган) и Литературный институт имени А. М. Горького (семинар А. Жигулина, поэзия). Публикуется в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Знамя», «Москва», «Нева», «День и ночь», «Сибирские огни», «Юность», «Волга» и др. Финалист премий «Ясная Поляна» (2004, роман «Юродивая») и «Карамзинский крест» (2009, роман «Тень стрелы»). Лауреат премий им. М. И. Цветаевой (2010, книга стихов «Зимний собор»), «Согласование культур» (2009, Германия). Автор пяти книг стихов («Колокол», «Купол», «Кровь польских королей», «Сотворение мира», «Зимний собор»). Финалист Волошинского конкурса (2009, 2010). Арт-критик, куратор и автор ряда художественных проектов в России и за рубежом (вместе с художником Владимиром Фуфачёвым): «Священный бык» (Музей современного русского искусства, Нью-Йорк, 1998–1999); «Небесная колесница» (Марсель, 2004); «Архетип» (Нижний Новгород—Москва, 2006); «Символы Земли» (Кассель, Германия, 2006–2007); «Анестезия» (Нижний Новгород, 2007); «Долина царей» (Москва, 2008) и др. Директор Культурного фонда «Fermata» (США). Член Союза писателей России.

стр. 169
Ли Чон Хи
Чонджу, Республика Корея

Поэт. Окончил корейский университет Чунан по специальности «Корейский язык и литература» и институт педагогики при университете Уонгуан по специальности «Методика преподавания корейского языка как родного». Работал учителем, завучем, директором средней школы. После тридцати восьми лет педагогической деятельности ушёл на пенсию. Награждён Президентской наградой и орденом «За отличную службу» с красными полосами. Автор двух поэтических книг; более сорока его стихотворений положены на музыку и вышли отдельным сборником песен. Является членом Корейского центра Международного ПЕН-клуба, Ассоциации корейских писателей, Совета директоров Ассоциации корейских христианских писателей, Совета Ассоциации корейских современных поэтов и Совета директоров Ассоциации писателей провинции Чолла-Пукто.

стр. 175
Наговицын Вадим Николаевич
Калуга, 1963 г. р.

Прозаик, публицист. Родился в Норильске. Окончил в 1987 году Норильский индустриальный институт. Работал инженером-строителем на сооружении промышленных объектов Норильского горно-металлургического комбината, затем в райкоме комсомола. В 1994 году создал частную телерадиокомпанию и запустил первую в Норильске частную УКВ-радиостанцию «Наго-радио». Затем издавал журнал «Норильск», газету «Норильские ведомости» и др. С 1998 года работал генеральным директором телерадиокомпании «Полюс», вёл общественно-политические, философские и литературные передачи на одноимённой радиостанции и на ТВ. Выпустил несколько десятков радиопрограмм. Имеет много публикаций в печатных и интернет-изданиях. В настоящее время является учредителем и директором Калужского фонда русской словесности, главным редактором журнала «Золотая Ока». Член Союза журналистов России, член Российского союза профессиональных литераторов. Автор книги «Когда мне было восемнадцать», многочисленных рассказов и публицистический статей.

стр. 203
Насонов Андрей Иванович
Краснодар, 1978 г. р.

Окончил Кубанский госуниверситет (биофак). Член литературно-театральной группы «Пункт Приёма». Лауреат литературных конкурсов «Поэт Декабря» (2002, 2007) краснодарского городского клуба литераторов «Гамбургский счёт», «Глагол» (посвящённого 65-летию образования Краснодарского края) и «Голоса Надежды» (посвящённого 10-летию Краснодарской краевой общественной организации «Молодые писатели Кубани»). Финалист литературных конкурсов произведений, посвящённых музыке, «Бекар-2005» и «Бекар-2006» в номинации «Поэзия». Участник V-го и VII-го Форумов молодых писателей России. Публиковался в журналах «Арион», «Юность», «Дети Ра», «Слово», «Российский колокол», «Луч» (Ижевск), «День и ночь» (Красноярск), «Студенческий меридиан», «Южная звезда» (Ставрополь), «Дарьял» и др.

стр. 207
Оганджанов Илья
Москва, 1971 г. р.

Окончил Международный славянский университет, Литературный институт им. А. М. Горького, Институт иностранных языков им. Мориса Тореза. Публиковался в журналах и альманахах «Новый мир», «Октябрь», «Урал», «Крещатик», «Вавилон», «Черновик», «Меценат и мир», «День поэзии 2000», «Легко ли быть искренним». Автор книги стихов «Вполголоса» (2002).

стр. 158
Панин Игорь Викторович
Москва, 1972 г. р.

Поэт, критик. Родился в Тольятти, детство провёл в Воронежской области. В 1979 году переехал с семьёй в Грузию, в Тбилиси. Окончил среднюю школу и Тбилисский государственный университет (факультет филологии). С 1998 года проживает в Москве. В настоящий момент работает в «Литературной газете». Автор нескольких сборников стихов; публиковался в журналах «Континент», «Дети Ра», «День и ночь», «Крещатик», «Нева», «Дружба народов» и др.

стр. 3
Саввиных Марина Олеговна
Красноярск, 1956 г. р.

Выпускница филологического факультета Красноярского педагогического института. Публикации в литературной периодике — с 1973 года: журналы «Юность», «Уральский следопыт», «День и ночь», «Сибирские Афины», «Москва», «Дети Ра», «Северная Аврора», «LiteraruS» (Хельсинки, Финляндия), «Побережье» (Нью-Йорк, США), «Образы жизни» (Сан-Франциско, США), «Литературный Иерусалим» (Израиль), «Крещатик», еженедельник «Обзор» (Чикаго, США), коллективные сборники и антологии. Автор шести книг стихов, прозы, художественной публицистики. Первый лауреат премии Фонда им. В. П. Астафьева (1994), лауреат газеты «Поэтоград» (2010) и журнала «Дети Ра» (2011). Член Союза российских писателей, Международного ПЕН-клуба. Член Президиума Международного Союза писателей XXI века. Автор проекта, организатор и первый директор Красноярского литературного лицея. Главный редактор литературного журнала «День и ночь».

стр. 169 **Семенчик Владимир Владимирович**
Южно-Сахалинск, 1962 г. р.

Поэт, прозаик, издатель. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Дальний Восток», «День и ночь», «Юность», в сербском литературном журнале «Свеске» («Тетради»), в коллективных сборниках «Сахалин», в альманахе «Рубеж». Был делегатом учредительного съезда Литературного фонда России. Участник ежегодных международных литературных встреч в Ясной Поляне, номинант литературной премии «Ясная Поляна» им. Л. Толстого. Лауреат премии Сахалинского фонда культуры. Член Союза писателей России и Международного ПЕН-клуба.

стр. 200 **Ходос Алла**
Сан-Леандро, Калифорния, США, 1958 г. р.

Поэт, прозаик. Родилась в Минске. Окончила филфак БГУ. Работала воспитателем в школе-интернате, соцработником, учительницей. С 1994 года живёт в Калифорнии. В Америке работала в русскоязычной газете «Запад-Восток» и в школе. Автор книг стихов и прозы «Интернат», «Человекоснег», «Воздушный слой». В книге «Переход» собраны прозаические работы Марины Золотаревской и Аллы Ходос. Публикации: «День и ночь», «Terra Nova», «Побережье», «Зеркало», «Образы жизни». Ответственный редактор международного литературного альманаха «Образы жизни».

стр. 234 **Хугаев Ирлан Сергеевич**
Владикавказ, 1965 г. р.

Выпускник филологического факультета Северо-Осетинского государственного университета им. Коста Хетагурова; преподавал в школах Северной Осетии—Алании, на филологическом факультете СОГУ, в Новом гуманитарном университете Н. Нестеровой (Москва). Доктор филологических наук, старший научный сотрудник Владикавказского научного центра РАН и РСО-А. Публикации в журналах «Дарьял», «День и ночь», «Дети Ра», «Образы жизни» (Сан-Франциско, США).

стр. 216 **Шанин Владимир Яковлевич**
Красноярск, 1937 г. р.

Родился в селе Бирилюссы Красноярского края. Окончил историко-филологический факультет Иркутского университета и аспирантуру Высшей школы при ВЦСПС в Москве. Работал в колхозе, леспромхозе, на заводе, в районных и многотиражных газетах, в крайкоме профсоюза работников сельского хозяйства, в альманахе «Енисей». Печатался в журналах «Молодая гвардия», «Дальний Восток», «Сибирские огни», «День и ночь», «Енисей». Автор многих книг прозы, в т. ч. романа-исследования в трёх книгах «Суриков, или Трилогия страданий», а также книги «Енисейская летопись» (хронологический перечень важнейших дат и событий из истории Приенисейского края 1207–1999 годов), первый том которой вышел в 2011 году.

стр. 225 **Шепелёв Алексей Александрович**
Москва, 1978 г. р.

Писатель, поэт. Родился в селе Сосновка Тамбовской области. Окончил Тамбовский университет, кандидат филологических наук. Публиковался в антологии «Нестоличная литература», альманахах «Черновик» (Нью-Джерси, США), «Вавилон», «Дети Ра», «Футурум-АРТ», «Абзац», «Reflection» (Чикаго, США), «Пигмалион» (Казахстан), «Транслит», журналах «Дружба народов», «Волга», газетах «НГ Ex libris», «Литературная Россия», сетевых изданиях «TextOnly», «Другое полушарие», «Мегалит» и др. Автор книг «Echo» (2003) и «Maxximum exxtremum» (2011), поэтических сборников «Novokain ovo» и «Сахар: сладкое стекло». Лауреат Международной отметины им. Д. Бурлюка (2003). Лауреат конкурса журнала «Север» (Петрозаводск) в номинации «Проза» (2009). Финалист (за киноповесть «Дью с Берковой», 2006) премии «Нонконформизм» (2010).

стр. 201 **Штокман Владимир Леонардович**
Краков, Польша, 1960 г. р.

Родился в Ростове-на-Дону. Учился в Ростовском государственном университете. В настоящее время живёт в Польше. Публиковал стихи и переводы в литературном альманахе «Крещатик», в сборниках краковского литературного объединения «Konfraternia Poetów», в книге «Венские витийства» (2007) и в журнале «Новая Польша». Автор сборника стихов «Верхнее море» (2007). В 2007 году представлял Россию и Польшу на XLVI Международном фестивале «Стружские вечера поэзии» в Македонии. Финалист поэтического конкурса «Я вижу сны на русском языке», организованного Российским центром международного научного и культурного сотрудничества при Министерстве иностранных дел РФ (2008). Член Международной федерации русских писателей, координатор международного сетевого альманаха «Litera».

стр. 125 **Яропольский Георгий**
Нальчик, 1958 г. р.

Поэт, переводчик. Родился в Новосибирске. Окончил английское отделение Кабардино-Балкарского госуниверситета. Переводчик с английского, а также с балкарского, кабардинского, грузинского, турецкого и других языков. Автор пяти сборников стихов. Член Союза писателей России, Союза «Мастера литературного перевода», Клуба писателей Кавказа.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Марина Саввиных

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

по прозе

Эдуард Русаков

Александр Астраханцев

по поэзии

Александр Щербаков

Сергей Кузнечихин

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК

Олег Наумов

КОРРЕКТОР

Андрей Леонтьев

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Николай Алешков
Набережные Челны

Юрий Беликов
Пермь

Светлана Василенко
Москва

Валентин Курбатов
Псков

Андрей Лазарчук
Санкт-Петербург

Александр Лейфер
Омск

Марина Москалюк
Красноярск

Дмитрий Мурзин
Кемерово

Марина Переяслова
Москва

Евгений Попов
Москва

Лев Роднов
Ижевск

Анна Сафонова
Южно-Сахалинск

Евгений Степанов
Москва

Михаил Тарковский
Бахта

Владимир Токмаков
Барнаул

Вероника Шелленберг
Омск

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

О. А. Карлова
Заместитель председателя
правительства Красноярского края

А. М. Клешко
Заместитель председателя
Законодательного собрания
Красноярского края

Е. Г. Паздникова
Министр культуры
Красноярского края

Т. Л. Савельева
Директор Государственной
универсальной научной
библиотеки Красноярского края

Издание осуществляется при поддержке Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Редакция благодарит за сотрудничество Международное сообщество писательских союзов.

Журнал издаётся с 1993 г. В его создании принимал участие В. П. Астафьев. Первым главным редактором с 1993 по 2007 гг. был Р. Х. Солнцев. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ФС77–42931 от 9 декабря 2010 г. выдано Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

В оформлении обложки использована картина Ивана Данилова «Натюрморт с рябиной и фруктами»

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

ИЗДАТЕЛЬ

ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“».

ИНН 246 304 27 49
Расчётный счёт 407 028 105 006 000 001 86
в Красноярском филиале «Банка Москвы»
в г. Красноярске.

БИК 040 407 967
Корреспондентский счёт 301 018 100 000 000 967

Рукописи принимаются по электронной почте: dayandnight@bk.ru или по адресу: 66 00 28, Красноярск, а/я 11 937, редакция журнала «День и ночь».

Адрес редакции:
ул. Ладо Кецховели, д. 75а, офис «День и ночь»

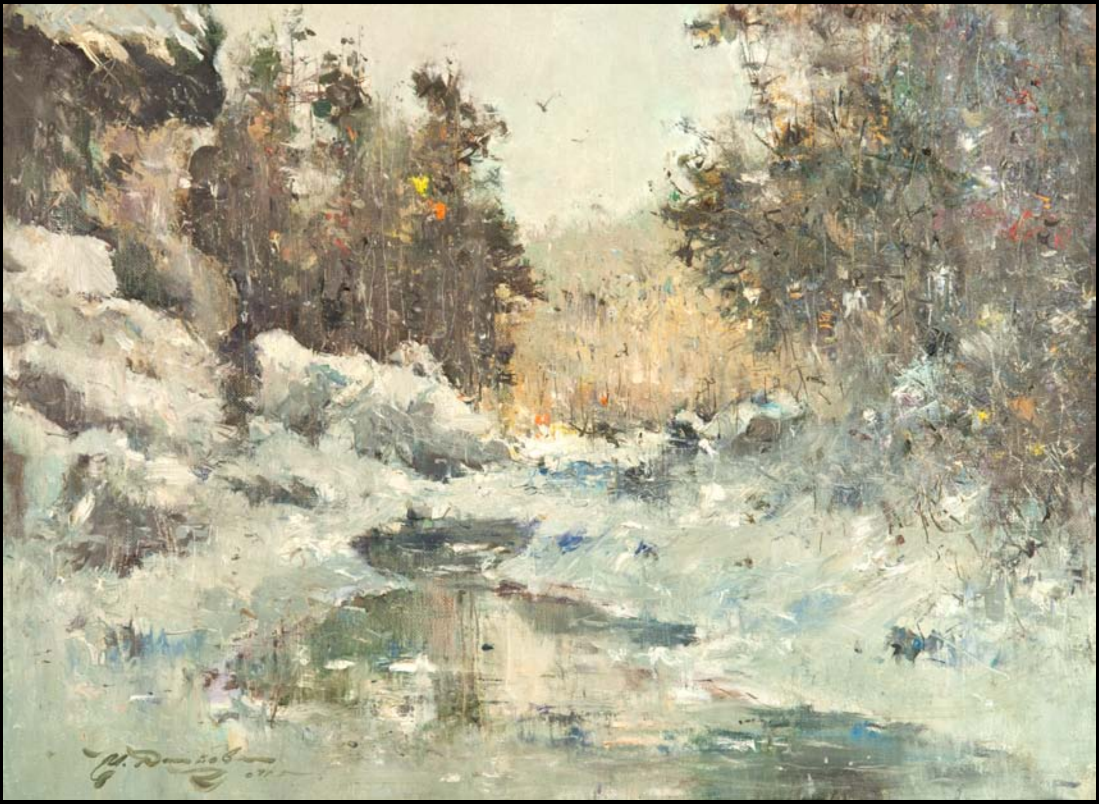
Телефон редакции: (391) 2 43 06 38

Наш сайт: www.krasdin.ru

Подписано к печати: 23.07.2012

Тираж: 1500 экз.

Отпечатано ИП Азарова Н. Н.
в типографии «Литера-принт»,
г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 6, офис 0-10
эл. почта: 2007rex@mail.ru, т. 294 15 77



Байкальский пейзаж | 59 × 79 | 2011 | холст, масло

Причал | 60 × 100 | 2009 | холст, масло

Белая роза в вазе | 100×50 | 2011 | холст, масло

АРТ ГАЛЕРЕЯ РОМАНОВЫХ

Репродукции с картин *Ивана Данилова* любезно предоставлены «Арт-галереей Романовых» (г. Красноярск). Эта частная галерея не только экспонирует произведения искусства, в ней имеется художественный салон, где можно купить понравившиеся работы. В коллекции галереи насчитывается свыше 2000 графических и живописных произведений известных красноярских и российских авторов. Этническое направление представлено бронзовой скульптурой Бурятии и камнерезными работами народных мастеров и художников Тывы. Здесь ценители найдут элитные подарки на любой случай жизни: живописные и графические работы, керамические и бронзовые статуэтки, уникальные лаковые шкатулки, кукол ручной работы, подарочные издания классики мировой литературы.

Адрес галереи:
г. Красноярск, ул. Вавилова, 27/а;
тел.: 8 902 940 61 32, 8 913 555 9184

Часы работы: с 11 до 19.
Выходной день: понедельник.

art-rom-gallery.ru